

Эрнест Хемингуэй

2

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1981

Эрнест Хемингуэй

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Под общей редакцией

Б. ГРИБАНОВА, М. ЛОРИЕ,

А. СТАРЦЕВА

МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1981

Эрнест Хемингуэй

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

ПРОЩАЙ. ОРУЖИЕ!

ИМЕТЬ И НЕ ИМЕТЬ

ЗА РЕКОЙ,
В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ

ОЧЕРКИ

Перевод с английского

МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1981

И (Амер)

X 37

Послесловие

М. МЕНДЕЛЬСОНА

Оформление художника

Ю. КОПЫЛОВА

© Оформление, перевод очерков. Издательство
«Художественная литература», 1981 г.

X $\frac{70304-371}{028(01)-81}$ подписное 4703000000

Прощай, оружие!

РОМАН

Перевод Е. Калашниковой

A FAREWELL TO ARMS

1929

Предисловие автора¹

Эта книга писалась в Париже, в Ки-Уэст, Флорида, в Пиготе, Арканзас, в Канзас-Сити, Миссури, в Шеридане, Вайоминг; а окончательная редакция была завершена в Париже, весной 1929 года.

Когда я писал первый вариант, в Канзас-Сити с помощью кесарева сечения родился мой сын Патрик, а когда я работал над окончательной редакцией, в Оук-Парке, Иллинойс, застрелился мой отец. Мне еще не было тридцати ко времени окончания этой книги, и она вышла в свет в день биржевого краха. Мне всегда казалось, что отец поторопился, но, может быть, он уже больше не мог терпеть. Я очень любил отца и потому не хочу высказывать никаких суждений.

Я помню все эти события и все места, где мы жили, и что у нас было в тот год хорошего и что было плохого. Но еще лучше я помню ту жизнь, которой я жил в книге и которую я сам сочинял изо дня в день. Никогда еще я не был так счастлив, как сочиняя все это — страну, и людей, и то, что с ними происходило. Каждый день я перечитывал все с самого начала и потом писал дальше и каждый день останавливался, когда еще хорошо писалось и когда мне было ясно, что произойдет дальше.

Меня не огорчало, что книга получается трагическая, так как я считал, что жизнь — это вообще трагедия, исход которой предreshен. Но убедиться, что можешь сочинять, и притом настолько правдиво, что самому приятно читать написанное, и начинать с этого каждый свой рабочий

¹ Предисловие написано для иллюстрированного издания 1948 года.

день,— было радостью, какой я никогда не знал раньше. Все прочее пустяки по сравнению с этим.

У меня уже вышел один роман в 1926 году. Но когда я за него принимался, я совершенно не знал, как нужно работать над романом: я писал слишком быстро и каждый день кончал только тогда, когда мне уже нечего было больше сказать. Поэтому первый вариант был очень плох. Я написал его за полгода, и потом мне пришлось все переписать заново. Но, переписывая, я многому научился.

Мой издатель, Чарльз Скрибнер, который превосходно разбирается в лошадях, знает все, что, вероятно, допустимо знать об издательском деле, и, как ни странно, кое-что смыслит в книгах, спросил меня, как я отношусь к иллюстрациям и согласен ли я, чтобы моя книга вышла иллюстрированным изданием. На такой вопрос нетрудно ответить: если только художник не такой же мастер своего дела, как писатель — своего (или лучший), ничто не может быть ужаснее для писателя, чем видеть живые в его памяти места, людей и вещи изображенными на бумаге кем-то, кто ничего этого не знает.

Напиши я роман, действие которого происходит на Багамских островах, я хотел бы, чтобы иллюстрации к нему сделал Уинслоу Хомер, но чтобы при этом он ничего не иллюстрировал, а просто нарисовал бы Багамские острова и то, что он там видел. Будь я Мопассаном (чего можно пожелать каждому, живому и мертвому), я взял бы в качестве иллюстраций к своим книгам рисунки и картины Тулуз-Лотрека и кое-какие пленеры Ренуара среднего периода, а нормандские пейзажи вовсе не позволил бы иллюстрировать, потому что никакому художнику не сделать это лучше.

Можно и еще придумывать, кого бы ты хотел взять в иллюстраторы, будь ты тем или другим писателем. Но писателей этих уже нет и этих художников тоже нет, как нет и Макса Перкина, и многих, умерших в прошлом году. Нынешний год хорош уже тем, что, какие бы потери ни ждали нас в этом году, он не будет хуже, чем прошлый год, или 1944-й, или начало зимы и весна 1945-го. То были урожайные годы по части потерь.

Когда мы встречали этот год в Сан-Вэлли, Айдахо, с шампанским, купленным в складчину, кто-то затеял игру, состоявшую в том, что нужно было проползти на спине под натянутой веревкой или под деревянной палкой так, чтобы не коснуться ее животом, носом, шнурами тироль-

ской куртки или еще чем-нибудь. Я сидел в уголке с мисс Ингрид Бергман, попивая складчинное шампанское, и я сказал ей: «Дочка, этот год будет худшим из худших». (Эпитеты опускаются.)

Мисс Бергман спросила, почему я так думаю. Для нее пока все годы были хорошими, и ей трудно было со мной согласиться. Я сказал, что недостаточный запас слов и плохая дикция мешают мне объяснить подробнее, но есть много разрозненных примет, которые не предвещают ничего хорошего, а это зрелище богатей и весельчаков, ползающих не то под палкой, не то под натянутой веревкой, еще укрепляет мои дурные предчувствия. На том мы и покончили.

Итак, эта книга впервые вышла в свет в 1929 году, в тот самый день, когда разразился крах на нью-йоркской бирже. Иллюстрированное издание должно появиться нынешней осенью. За это время умер Скотт Фицджеральд, умер Том Вулф, умер Джим Джойс (чудесный товарищ, непохожий на официального Джойса, выдуманного биографами, тот, что однажды в подпитии спросил меня, не кажутся ли мне его книги чересчур провинциальными); умер Джон Бишоп, умер Макс Перкинс. Умерло и много таких, кому следовало умереть; одни повисли вверх ногами у какой-нибудь бензоколонки в Милане, других повесили, худо ли, хорошо ли, в разбомбленных немецких городах. А сколько умерло безвестных, безымянных, и часто очень любивших жизнь.

Называется эта книга «Прощай, оружие!», а кроме первых трех лет после того, как она была написана, в мире почти все время где-нибудь да идет война. Многих тогда удивляло — почему этот человек так занят и поглощен мыслями о войне, но теперь, после 1933 года, быть может, даже им стало понятно, почему писатель не может оставаться равнодушным к тому непрекращающемуся наглоту, смертоубийственному, грязному преступлению, которое представляет собой война. Я принимал участие во многих войнах, поэтому я, конечно, пристрастен в этом вопросе, надеюсь, даже очень пристрастен. Но автор этой книги пришел к сознательному убеждению, что те, кто сражается на войне, самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встречаешь; зато те, кто затевает, разжигает и ведет войну, — свиньи, думающие только об экономической конкуренции и о том, что на этом можно нажиться. Я считаю, что все, кто наживаются на войне и кто способствует ее разжиганию, долж-

ны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться.

Автор этой книги с радостью взял бы на себя миссию организовать такой расстрел, если бы те, кто пойдет воевать, официально поручили ему это, и позаботился бы о том, чтобы все было сделано по возможности гуманно и прилично (ведь среди расстреливаемых могут попасться разные люди) и чтобы все тела были преданы погребению. Можно было бы даже похоронить их в целлофане или использовать какой-нибудь другой современный синтетический материал. А если бы под конец нашлись доказательства, что я сам каким-либо образом повинен в начавшейся войне, пусть бы и меня, как это ни печально, расстрелял тот же стрелковый взвод, а потом пусть бы меня похоронили в целлофане или без или просто бросили мое голое тело на склоне горы.

Итак — вот вам книга, спустя без малого двадцать лет, и вот вам предисловие к ней.

*Финка-Виджия,
Сан-Франсиско-де-Паула, Куба
30 июня 1948 г.*

Глава первая

В тот год поздним летом мы стояли в деревне, в домике, откуда видны были река и равнина, а за ними горы. Русло реки устилало голыш и галька, сухие и белые на солнце, а вода была прозрачная и быстрая и совсем голубая в протоках. По дороге мимо домика шли войска, и пыль, которую они поднимали, садилась на листья деревьев. Стволы деревьев тоже были покрыты пылью, и листья рано начали опадать в тот год, и мы смотрели, как идут по дороге войска, и клубится пыль, и падают листья, подхваченные ветром, и шагают солдаты, а потом только листья остаются лежать на дороге, пустой и белой.

Равнина была плодородна, на ней было много фруктовых садов, а горы за равниной были бурые и голые. В горах шли бои, и по ночам видны были вспышки разрывов. В темноте это напоминало зарницы; только ночи были прохладные, и в воздухе не чувствовалось приближения грозы.

Иногда в темноте мы слышали, как под нашими окнами проходят войска и тягачи везут мимо нас орудия. Ночью движение на дороге усиливалось, шло много мулов с ящиками боеприпасов по обе стороны вычного седла, ехали серые грузовики, в которых сидели солдаты, и другие, с грузом, под брезентовой покрывкой, подвигавшиеся вперед не так быстро. Днем тоже проезжали тягачи с тяжелыми орудиями на прицепе, длинные тела орудий были прикрыты зелеными ветками, и поверх тягачей лежали зеленые густые ветки и виноградные лозы. К северу от нас была долина, а за нею каштановая роща и дальше еще одна гора, на нашем берегу реки. Ту гору тоже пытались взять, но безуспешно, и осенью, когда начались дожди, с кашта-

нов облетели все листья, и ветки оголились, и стволы почернели от дождя. Виноградники тоже поредели и оголились, и все кругом было мокрое, и бурое, и мертвое по-осеннему. Над рекой стояли туманы, и на горы наплзали облака, и грузовики разбрызгивали грязь на дороге, и солдаты шли грязные и мокрые в своих плащах; винтовки у них были мокрые, и две кожаные патронные сумки на поясе, серые кожаные сумки, тяжелые от обоем с тонкими 6,5-миллиметровыми патронами, торчали спереди под плащами так, что казалось, будто солдаты, идущие по дороге, беременны на шестом месяце.

Проезжали маленькие серые легковые машины, которые шли очень быстро; обычно рядом с шофером сидел офицер, и еще офицеры сидели сзади. Эти машины разбрызгивали грязь сильнее, чем грузовики, и если один из офицеров был очень мал ростом и сидел сзади между двумя генералами и, оттого что он был так мал, лицо его не было видно, а только верх кепи и узкая спина, и если машина шла особенно быстро,— это, вероятно, был король. Он жил в Удине и почти каждый день ездил этой дорогой посмотреть, как идут дела, а дела шли очень плохо.

С приходом зимы начались сплошные дожди, а с дождями началась холера. Но ей не дали распространиться, и в армии за все время умерло от нее только семь тысяч.

Глава вторая

В следующем году было много побед. Была взята гора по ту сторону долины и склон, где росла каштановая роща, и на плато к югу от равнины тоже были победы, и в августе мы перешли реку и расположились в Гориции, в доме, где стены были увиты пурпурной вистарией и в саду с высокой оградой был фонтан и много густых тенистых деревьев. Теперь бои шли в ближних горах, меньше чем за милю от нас. Город был очень славный, а наш дом очень красивый. Река протекала позади нас, и город заняли без всякого труда, но горы за ним не удавалось взять, и я был очень рад, что австрийцы, как видно, собирались вернуться в город когда-нибудь, если окончится война, потому что они бомбардировали его не так, чтобы разрушить, а только слегка, для порядка. Население оставалось в городе, и там были госпитали, и кафе, и артиллерия в переулках, и два публичных дома — один для солдат, другой для офицеров; и

когда кончилось лето и ночи стали прохладными, бои в ближних горах, помятое снарядами железо моста, разрушенный туннель у реки, на месте бывшего боя, деревья вокруг площади и двойной ряд деревьев вдоль улицы, ведущей на площадь,— все это и то, что в городе были девицы, что король проезжал мимо на своей серой машине и теперь можно было разглядеть его лицо и маленькую фигурку с длинной шеей и седую бородку пучком, как у козла,— все это, и неожиданно обнаженная внутренность домов, у которых снарядами разрушило стену, штукатурка и щебень в садах, а иногда и на улице, и то, что на Карсо дела шли хорошо, сильно отличало осень этого года от прошлой осени, когда мы стояли в деревне. Война тоже стала другая.

Дубовый лес на горе за городом погиб. Этот лес был зеленый летом, когда мы пришли в город, но теперь от него остались только пни и расщепленные стволы, и земля была вся разворочена, и однажды, под конец осени, с того места, где прежде был дубовый лес, я увидел облако, которое надвигалось из-за горы. Оно двигалось очень быстро, и солнце стало тускло-желтое, и потом все сделалось серым, и небо заволокло, и облако спустилось на гору и вдруг накрыло нас, и это был снег. Снег падал косо по ветру, голая земля скрылась под ним, так что только пни деревьев торчали, снег лежал на орудиях, и в снегу были протоптанные дорожки к отхожим местам за траншеями.

Вечером, спустившись в город, я сидел у окна публичного дома, того, что для офицеров, в обществе приятеля и двух стаканов за бутылкой асти. За окном падал снег, и, глядя, как он падает, медленно и грузно, мы понимали, что на этот год кончено. Горы в верховьях реки не были взяты; ни одна гора за рекой тоже не была взята. Это все осталось на будущий год. Мой приятель увидел на улице нашего полкового священника, осторожно ступавшего по слякоти, и стал стучать по стеклу, чтобы привлечь его внимание. Священник поднял голову. Он увидел нас и улыбнулся. Мой приятель поманил его пальцем. Священник покачал головой и прошел мимо. Вечером в офицерской столовой, после спагетти, которые все ели очень серьезно и торопливо, поднимая их на вилке так, чтобы концы повисли в воздухе и можно было опустить их в рот, или же только приподнимая вилкой и всасывая в рот без перерыва, и потом запивая вином из плетеной фляги,— она качалась на металлической стойке, и нужно было нагнуть указатель-

ным пальцем горлышко фляги, и вино, прозрачно-красное, терпкое и приятное, лилось в стакан, придерживаемый той же рукой,— после спагетти капитан принялся дразнить священника.

Священник был молод и легко краснел и носил такую же форму, как и все мы, только с крестом из темно-красного бархата над левым нагрудным карманом серого френча. Капитан, специально для меня, говорил на ломаном итальянском языке, почему-то считая, что так я лучше пойму все и ничего не упущу.

— Священник сегодня с девочка,— сказал капитан, поглядывая на священника и на меня. Священник улыбнулся и покраснел и покачал головой. Капитан часто зубоскалил на его счет.

— Разве нет? — спросил капитан. — Я сегодня видеть священник у девочка.

— Нет,— сказал священник. Остальные офицеры забавлялись зубоскальством капитана.

— Священник с девочка нет,— продолжал капитан. — Священник с девочка никогда,— объяснил он мне. Он взял мой стакан и наполнил его, все время глядя мне в глаза, но не теряя из виду и священника.

— Священник каждую ночь сам по себе. — Все кругом засмеялись. — Вам понятно? Священник каждую ночь сам по себе. — Капитан сделал жест рукой и громко захохотал. Священник отнесся к этому как к шутке.

— Папа хочет, чтобы войну выиграли австрийцы,— сказал майор. — Он любит Франца-Иосифа. Вот откуда у австрийцев и деньги берутся. Я — атеист.

— Вы читали когда-нибудь «Черную свинью»? — спросил лейтенант. — Я вам достану. Вот книга, которая пошатнула мою веру.

— Это грязная и дурная книга,— сказал священник. — Не может быть, чтоб она вам действительно нравилась.

— Очень полезная книга,— сказал лейтенант. — Там все сказано про священников. Вам понравится,— сказал он мне.

Я улыбнулся священнику, и он улыбнулся мне в ответ из-за пламени свечи.

— Не читайте этого,— сказал он.

— Я вам достану,— сказал лейтенант.

— Все мыслящие люди атеисты,— сказал майор. — Впрочем, я и масонства не признаю.

— А я признаю масонство,— сказал лейтенант.— Это благородная организация.

Кто-то вошел, и в отворенную дверь я увидел, как падает снег.

— Теперь уже наступления не будет, раз выпал снег,— сказал я.

— Конечно, нет,— сказал майор.— Взять бы вам теперь отпуск. Поехать в Рим, в Неаполь, в Сицилию...

— Пусть он едет в Амальфи,— сказал лейтенант.— Я дам вам письмо к моим родным в Амальфи. Они вас полюбят, как сына.

— Пусть он едет в Палермо.

— А еще лучше на Капри.

— Мне бы хотелось, чтобы вы побывали в Абруццах и погостили у моих родных в Капракотта,— сказал священник.

— Очень ему нужно съездить в Абруццы. Там снега больше, чем здесь. Что ему, на крестьян любоваться? Пусть едет в центры культуры и цивилизации.

— Туда, где есть красивые девушки. Я дам вам адреса в Неаполе. Очаровательные молодые девушки — и все при мамашах. Ха-ха-ха!

Капитан раскрыл кулак, подняв большой палец и растопырив остальные, как делают, когда показывают китайские тени. На стене была тень от его руки. Он снова заговорил на ломаном языке:

— Вы уехать вот такой,— он указал на большой палец,— а вернуться вот такой,— он дотронулся до мизинца. Все засмеялись.

— Смотрите,— сказал капитан. Он снова растопырил пальцы. Снова пламя свечи отбросило на стену их тень. Он начал с большого и назвал по порядку все пять пальцев: *sotto-tenente*¹ (большой), *tenente*² (указательный), *capitano*³ (средний), *maggiore*⁴ (безымянный) и *tenente-colonnello*⁵ (мизинец).— Вы уезжаете *sotto-tenente*! Вы возвращаетесь *tenente-colonnello*!

Кругом все смеялись. Китайские тени капитана имели большой успех. Он посмотрел на священника и закричал:

¹ Младший лейтенант (ит.).

² Лейтенант (ит.).

³ Капитан (ит.).

⁴ Майор (ит.).

⁵ Подполковник (ит.).

— Священник каждую ночь сам по себе! — Все засмеялись.

— Поезжайте в отпуск сейчас же, — сказал майор.

— Жаль, я не могу поехать с вами вместе, все вам показать, — сказал лейтенант.

— Когда будете возвращаться, привезите граммофон.

— Привезите хороших оперных пластинок.

— Привезите Карузо.

— Карузо не привозите. Он воет.

— Попробуйте вы так повить!

— Он воет. Говорю вам, он воет.

— Мне бы хотелось, чтоб вы побывали в Абруццах, — сказал священник. Все остальные шумели. — Там хорошая охота. Народ у нас славный, и зима хоть холодная, но ясная и сухая. Вы могли бы пожить у моих родных. Мой отец страстный охотник.

— Ну, пошли, — сказал капитан. — Мы идти в бордель, а то закроют.

— Спокойной ночи, — сказал я священнику.

— Спокойной ночи, — сказал он.

Глава третья

Когда я возвратился из отпуска, мы все еще стояли в том же городе. В окрестностях было теперь гораздо больше артиллерии, и уже наступила весна. Поля были зеленые, и на лозах были маленькие зеленые побеги; на деревьях у дороги появились маленькие листочки, и с моря тянул ветерок. Я увидел город, и холм, и старый замок на уступе холма, а дальше горы, бурые горы, чуть тронутые зеленью на склонах. В городке стало больше орудий, открылось несколько новых госпиталей, на улицах встречались англичане, иногда англичанки, и от обстрела пострадало еще несколько домов. Было тепло, пахло весной, и я прошел по обсаженной деревьями улице, теплой от солнца, лучи которого падали на стену, и увидел, что мы занимаем все тот же дом и что ничего как будто не изменилось за это время. Дверь была открыта, на скамейке у стены сидел на солнце солдат, санитарная машина ожидала у бокового входа, а за дверьми меня встретил запах каменных полов и больницы. Ничего не изменилось, только теперь была весна. Я заглянул в дверь большой комнаты и увидел, что майор сидит за столом, окно раскрыто и солнце светит в

комнату. Он не видел меня, и я не знал, явиться ли мне с рапортом или сначала пойти наверх и почиститься. Я решил пойти наверх.

Комната, которую я делил с лейтенантом Ринальди, выходила во двор. Окно было распахнуто, моя кровать была застлана одеялом, и на стене висели мои вещи, противогаз в продолговатом жестяном футляре, стальная каска на том же крючке. В ногах кровати стоял мой сундучок, а на сундучке мои зимние сапоги, блестящие от жира. Моя винтовка австрийского образца с восьмигранным вороненым стволом и удобным, красивым, темного ореха прикладом висела между постелями. Я вспомнил, что телескопический прицел к ней заперт в сундучке. Ринальди, лейтенант, лежал на второй кровати и спал. Он проснулся, услышав мои шаги, и поднял голову с подушки.

— Ciao! ¹ — сказал он. — Ну, как провели время?

— Превосходно.

Мы пожали друг другу руки, а потом он обнял меня за шею и поцеловал.

— Уф! — сказал я.

— Вы грязный, — сказал он. — Вам нужно умыться. Где вы были, что делали? Выкладывайте все сразу.

— Я был везде. В Милане, Флоренции, Риме, Неаполе, Вилла-Сан-Джованни, Мессине, Таормине...

— Прямо железнодорожный справочник. Ну, а интересные приключения были?

— Да.

— Где?

— Milano, Firenze, Roma, Napoli...

— Хватит. Скажите, какое было самое лучшее?

— В Милане.

— Потому что это было первое. Где вы ее встретили? В «Кова»? Куда вы пошли? Как все было? Выкладывайте сразу. Оставались на ночь?

— Да.

— Подумаешь. Теперь и у нас здесь замечательные девочки. Новенькие, первый раз на фронте.

— Да ну?

— Не верите? Вот пойдем сегодня, увидите сами. А в городе появились хорошенькие молодые англичанки. Я теперь влюблен в мисс Баркли. Я вас познакомлю. Я, вероятно, женюсь на мисс Баркли.

¹ Итальянское приветствие.

— Мне нужно умыться и явиться с рапортом. А что, работы теперь нет?

— После вашего отъезда мы только и знаем, что отмороженные конечности, желтуху, триппер, умышленное членовредительство, воспаление легких, твердые и мягкие шанкры. Раз в неделю кого-нибудь пришибает осколком скалы. Есть несколько настоящих раненых. С будущей недели война опять начнется. То есть вероятно опять начнется. Так говорят. Как, по-вашему, стоит мне жениться на мисс Баркли,— разумеется, после войны?

— Бевусловно,— сказал я и налил полный таз воды.

— Вечером вы мне все расскажете,— сказал Ринальди.— А сейчас я должен еще поспать, чтобы явиться к мисс Баркли свежим и красивым.

Я снял френч и рубашку и умылся холодной водой из таза. Растираясь полотенцем, я глядел по сторонам, и в окно, и на Ринальди, лежавшего на постели с закрытыми глазами. Он был красив, одних лет со мной, родом из Амальфи. Он любил свою работу хирурга, и мы были большими друзьями. Почувствовав мой взгляд, он открыл глаза.

— У вас деньги есть?

— Есть.

— Одолжите мне пятьдесят лир.

Я вытер руки и достал бумажник из внутреннего кармана френча, висевшего на стене. Ринальди взял бумажку, сложил ее, не вставая с постели, и сунул в карман брюк. Он улыбнулся.

— Мне нужно произвести на мисс Баркли впечатление человека со средствами. Вы мой добрый, верный друг и финансовый покровитель.

— Ну вас к черту,— сказал я.

Вечером в офицерской столовой я сидел рядом со священником, и его очень огорчило и неожиданно обидело, что я не поехал в Абруццы. Он писал обо мне отцу, и к моему приезду готовились. Я сам жалел об этом не меньше, чем он, и мне было непонятно, почему я не поехал. Мне очень хотелось поехать, и я попытался объяснить, как тут одно цеплялось за другое, и в конце концов он понял и поверил, что мне действительно хотелось поехать, и все почти уладилось. Я выпил много вина, а потом кофе со стрега и, хмелея, рассуждал о том, как это выходит, что человеку не удастся сделать то, что хочется; никогда не удастся.

Мы с ним разговаривали, пока другие шумели и спорили. Мне хотелось поехать в Абруццы. Но я не поехал в

места, где дороги обледенелые и твердые, как железо, где в холод ясно и сухо, и снег сухой и рассыпчатый, и заячьи следы на снегу, и крестьяне снимают шапку и зовут вас «дон», и где хорошая охота. Я не поехал в такие места, а поехал туда, где дымные кафе и ночи, когда комната идет кругом, и нужно смотреть в стену, чтобы она остановилась, пьяные ночи в постели, когда знаешь, что больше ничего нет, кроме этого, и так странно просыпаться потом, не зная, кто рядом с тобой, и мир в потемках кажется нереальным и таким остро волнующим, что нужно начать все сызнова, не зная и не раздумывая в ночи, твердо веря, что больше ничего нет, и нет, и нет, и не раздумывая. И вдруг задумаешься очень глубоко и заснешь и иногда наутро проснешься, и того, что было, уже нет, и все так резко, и ясно, и четко, и иногда споры о плате. Иногда все-таки еще хорошо, и тепло, и нежно, и завтрак и обед. Иногда приятного не осталось ничего, и рад выбраться поскорее на улицу, но на следующий день всегда опять то же, и на следующую ночь. Я пытался рассказать о ночах, и о том, какая разница между днем и ночью, и почему ночь лучше, разве только день очень холодный и ясный, но я не мог рассказать этого, как не могу и сейчас. Если с вами так бывало, вы поймете. С ним так не бывало, но он понял, что я действительно хотел поехать в Абрुццы, но не поехал, и мы остались друзьями, похожие во многом и все же очень разные. Он всегда знал то, чего я не знал и что, узнав, всегда был готов позабыть. Но это я понял только позднее, а тогда не понимал. Между тем мы все еще сидели в столовой. Все уже поели, но продолжали спорить. Мы со священником замолчали, и капитан крикнул:

— Священнику скучно. Священнику скучно без девочек.

— Мне не скучно, — сказал священник.

— Священнику скучно. Священник хочет, чтоб войну выиграли австрийцы, — сказал капитан. Остальные прислушались. Священник покачал головой.

— Нет, — сказал он.

— Священник не хочет, чтоб мы наступали. Правда, вы не хотите, чтоб мы наступали?

— Нет. Раз идет война, мне кажется, мы должны наступать.

— Должны наступать. Будем наступать.

Священник кивнул.

— Оставьте его в покое,— сказал майор.— Он славный малый.

— Во всяком случае, он тут ничего не может поделать,— сказал капитан. Мы все встали и вышли из-за стола.

Глава четвертая

Утром меня разбудила батарея в соседнем саду, и я увидел, что в окно светит солнце, и встал с постели. Я подошел к окну и выглянул. Гравий на дорожках был мокрый и трава влажная от росы. Батарея дала два залпа, и каждый раз воздух сотрясался, как при взрыве, и от этого дребезжало окно и хлопали полы моей пижамы. Орудий не было видно, но снаряды летели, по-видимому, прямо над нами. Неприятно было, что батарея так близко, но приходилось утешаться тем, что орудия не из самых тяжелых. Глядя в окно, я услышал грохот грузовика, выезжавшего на дорогу. Я оделся, спустился вниз, выпил кофе на кухне и прошел в гараж.

Десять машин выстроились в ряд под длинным навесом. Это были тупоносые, с громоздким кузовом санитарные автомобили, выкрашенные в серое, похожие на мебельные фургоны. Во дворе у такой же машины возились механики. Еще три находились в горах, при перевязочных пунктах.

— Эта батарея бывает под обстрелом? — спросил я у одного из механиков.

— Нет, *signor tenente*¹. Она защищена холмом.

— Как у вас дела?

— Ничего. Вот эта машина никуда не годится, а остальные все в исправности. — Он прервал работу и улыбнулся. — Вы были в отпуску?

— Да.

Он вытер руки о свой свитер и ухмыльнулся.

— Хорошо время провели?

Его товарищи тоже заухмылялись.

— Неплохо,— сказал я.— А что с этой машиной?

— Никуда она не годится. То одно, то другое.

— Сейчас в чем дело?

— Поршневые кольца менять надо.

Я оставил их у машины, которая казалась обобранной и униженной, оттого что мотор был открыт и части выло-

¹ Господни лейтенант (ит.).

жены на подножку, а сам вошел под навес и одну за другой осмотрел все машины. Я нашел их сравнительно чистыми, одни были только что вымыты, другие уже слегка запылились. Я внимательно оглядел шины, ища порезов или царапин от камней. Казалось, все в полном порядке. Ничто, по-видимому, не менялось от того, здесь ли я и наблюдаю за всем сам или же нет. Я воображал, что состояние машин, возможность доставать те или иные части, бесперебойная эвакуация больных и раненых с перевязочных пунктов в горах, доставка их на распределительный пункт и затем размещение по госпиталям, указанным в документах, в значительной степени зависят от меня. Но, по-видимому, здесь я или нет, не имело значения.

— Были какие-нибудь затруднения с частями? — спросил я старшего механика.

— Нет.

— Где теперь склад горючего?

— Все там же.

— Прекрасно, — сказал я, вернувшись в дом и выпил еще одну чашку кофе в офицерской столовой. Кофе был светло-серого цвета, сладкий от сгущенного молока. За окном было чудесное весеннее утро. Уже появилось то ощущение сухости в носу, которое предвещает, что день будет жаркий. В этот день я объезжал посты в горах и вернулся в город уже под вечер.

Дела, как видно, поправились за время моего отсутствия. Я слышал, что скоро ожидается переход в наступление. Дивизия, которую мы обслуживали, должна была идти в атаку в верховьях реки, и майор сказал мне, чтобы я позаботился о постах на время атаки. Атакующие части должны были перейти реку повыше ущелья и рассыпаться по горному склону. Посты для машин нужно было выбрать как можно ближе к реке и держать под прикрытием. Определить для них места должна была, конечно, пехота, но считалось, что план разрабатываем мы. Это была одна из тех условностей, которые создают у вас иллюзию военной деятельности.

Я был весь в пыли и грязи и прошел в свою комнату, чтобы умыться. Ринальди сидел на кровати с английской грамматикой Хьюго в руках. Он был в полной форме, на нем были черные башмаки, и волосы его блестели.

— Чудесно, — сказал он, увидя меня. — Вы пойдете со мной в гости к мисс Баркли.

— Нет.

— Да. Вы пойдете, потому что я вас прошу, и смотрите, чтобы вы ей понравились.

— Ну ладно. Дайте только привести себя в порядок.

— Умойтесь и идите как есть.

Я умылся, пригладил волосы, и мы собрались идти.

— Пойдите, — сказал Ринальди, — пожалуй, не меша-
ет выпить. — Он открыл свой сундучок и вынул бутылку.

— Только не стрига, — сказал я.

— Нет. Граппа.

— Идет.

Он налил два стакана, и мы чокнулись, отставив указательные пальцы. Граппа была очень крепкая.

— Еще по одному?

— Идет, — сказал я. Мы выпили по второму стакану граппы. Ринальди убрал бутылку, и мы спустились вниз. Было жарко идти по городу, но солнце уже садилось, и было приятно. Английский госпиталь помещался в большой вилле, выстроенной каким-то немцем перед войной. Мисс Баркли была в саду. С ней была еще одна сестра. Мы увидели за деревьями их белые форменные платья и пошли прямо к ним. Ринальди отдал честь. Я тоже отдал честь, но более сдержанно.

— Здравствуйте, — сказала мисс Баркли. — Вы, кажется, не итальянец?

— Нет.

Ринальди разговаривал с другой сестрой. Они смеялись.

— Как странно — служить в итальянской армии.

— Собственно, это ведь не армия. Это только санитар-
ный отряд.

— А все-таки странно. Зачем вы это сделали?

— Не знаю, — сказал я. — Есть вещи, которые нельзя
объяснить.

— Разве? А меня всегда учили, что таких вещей нет.

— Это очень мило.

— Мы непременно должны поддерживать такой раз-
говор?

— Нет, — сказал я.

— Слава богу.

— Что это у вас за трость? — спросил я.

Мисс Баркли была довольно высокого роста. Она была в белом платье, которое я принял за форму сестры милосердия, блондинка с золотистой кожей и серыми глазами. Она показалась мне очень красивой. В руках у нее была тонкая ротанговая трость, нечто вроде игрушечного стека.

— Это одного офицера, он был убит в прошлом году.

— Простите...

— Он был очень славный. Я должна была выйти за него замуж, а его убили на Сомме.

— Там была настоящая бойня.

— Вы там были?

— Нет.

— Мне рассказывали, — сказала она. — Здесь война совсем не такая. Мне прислали эту тросточку, Его мать прислала. Ее вернули с другими его вещами.

— Вы долго были помолвлены?

— Восемь лет. Мы выросли вместе.

— Почему же вы не вышли за него раньше?

— Сама не знаю, — сказала она. — Очень глупо. Это я, во всяком случае, могла для него сделать. Но я думала, что так ему будет хуже.

— Понимаю.

— Вы любили когда-нибудь?

— Нет, — сказал я.

Мы сели на скамью, и я посмотрел на нее.

— У вас красивые волосы, — сказал я.

— Вам нравятся?

— Очень.

— Я хотела отрезать их, когда он умер.

— Что вы.

— Мне хотелось что-нибудь для него сделать. Я не придавала значения таким вещам; если б он хотел, он мог бы получить все. Он мог бы получить все, что хотел, если б я только понимала. Я бы вышла за него замуж или просто так. Теперь я все это понимаю. Но тогда он собирался на войну, а я ничего не понимала.

Я молчал.

— Я тогда вообще ничего не понимала. Я думала, так для него будет хуже. Я думала, может быть, он не в силах будет перенести это. А потом его убили, и теперь все кончено.

— Кто знает.

— Да, да, — сказала она. — Теперь все кончено.

Мы оглянулись на Ринальди, который разговаривал с другой сестрой.

— Как ее зовут?

— Фергюсон, Эллен Фергюсон. Ваш друг, кажется, врач.

— Да. Он очень хороший врач.

— Как это приятно. Так редко встречаешь хорошего врача в прифронтовой полосе. Ведь это прифронтовая полоса, правда?

— Конечно.

— Дурацкий фронт,— сказала она.— Но здесь очень красиво. Что, наступление будет?

— Да.

— Тогда у нас будет работа. Сейчас никакой работы нет.

— Вы давно работаете сестрой?

— С конца пятнадцатого года. Я пошла тогда же, когда и он. Помню, я все носилась с глупой мыслью, что он попадет в тот госпиталь, где я работала. Раненный сабельным ударом, с повязкой вокруг головы. Или с простреленным плечом. Что-нибудь романтическое.

— Здесь самый романтический фронт,— сказал я.

— Да,— сказала она.— Люди не представляют, что такое война во Франции. Если б они представляли, это не могло бы продолжаться. Он не был ранен сабельным ударом. Его разорвало на куски.

Я молчал.

— Вы думаете, это будет продолжаться вечно?

— Нет.

— А что же произойдет?

— Сорвется где-нибудь.

— Мы сорвемся. Мы сорвемся во Франции. Нельзя устраивать такие вещи, как на Сомме, и не сорваться.

— Здесь не сорвется,— сказал я.

— Вы думаете?

— Да. Прошрое лето все шло очень удачно.

— Может сорваться,— сказала она.— Всюду может сорваться.

— И у немцев тоже.

— Нет,— сказала она.— Не думаю.

Мы подошли к Ринальди и мисс Фергюсон.

— Вы любите Италию? — спрашивал Ринальди мисс Фергюсон по-английски.

— Здесь недурно.

— Не понимаю.— Ринальди покачал головой.

— *Abbastanza bene* ¹, — перевел я. Он покачал головой.

— Это не хорошо. Вы любите Англию?

¹ Недурно (ит.).

— Не очень. Я, видите ли, шотландка.

Ринальди вопросительно посмотрел на меня.

— Она шотландка и поэтому больше Англии любит Шотландию,— сказал я по-итальянски.

— Но Шотландия — это ведь Англия.

Я перевел мисс Фергюсон его слова.

— Раз епсге¹,— сказала мисс Фергюсон.

— Еще нет?

— И никогда не будет. Мы не любим англичан.

— Не любите англичан? Не любите мисс Баркли?

— Ну, это совсем другое. Нельзя понимать так буквально.

Немного погодя мы простились и ушли. По дороге домой Ринальди сказал:

— Вы понравились мисс Баркли больше, чем я. Это ясно, как день. Но та шотландка тоже очень мила.

— Очень,— сказал я. Я не обратил на нее внимания.— Она вам нравится?

— Нет,— сказал Ринальди.

Глава пятая

На следующий день я снова пошел к мисс Баркли. Ею не было в саду, и я свернул к боковому входу виллы, куда подъезжали санитарные машины. Войдя, я увидел старшую сестру госпиталя, которая сказала мне, что мисс Баркли на дежурстве.

— Война, знаете ли.

Я сказал, что знаю.

— Вы тот самый американец, который служит в итальянской армии? — спросила она.

— Да, мэм.

— Как это случилось? Почему вы не пошли к нам?

— Сам не знаю,— сказал я.— А можно мне теперь перейти к вам?

— Боюсь, что теперь нельзя. Скажите, почему вы пошли в итальянскую армию?

— Я жил в Италии,— сказал я,— и я говорю по-итальянски.

— О! — сказала она.— Я изучаю итальянский. Очень красивый язык.

¹ Еще нет (фр.).

— Говорят, можно выучиться ему в две недели.

— Ну нет, я не выучусь в две недели. Я уже занимаюсь несколько месяцев. Если хотите повидать ее, можете зайти после семи часов. Она сменится к этому времени. Но не приводите с собой разных итальянцев.

— Несмотря на красивый язык?

— Да. Несмотря даже на красивые мундиры.

— До свидания,— сказал я.

— A rivederci, tenente ¹.

— A rivederci.— Я отдал честь и вышел. Невозможно отдавать честь иностранцам так, как это делают в Италии, и при этом не испытывать замешательства. Итальянская манера отдавать честь, видимо, не рассчитана на экспорт.

День был жаркий. Утром я ездил в верховья реки, к предмостному укреплению у Плавы. Оттуда должно было начаться наступление. В прошлом году продвигаться по тому берегу было невозможно, потому что лишь одна дорога вела от перевала к понтонному мосту и она почти на протяжении мили была открыта пулеметному и орудийному огню. Кроме того, она была недостаточно широка, чтобы вместить весь необходимый для наступления транспорт, и австрийцы могли устроить там настоящую бойню. Но итальянцы перешли реку и продвинулись по берегу в обе стороны, так что теперь они удерживали на австрийском берегу реки полосу мили в полторы. Это давало им опасное преимущество, и австрийцам не следовало допускать, чтобы они закрепились там. Я думаю, тут проявлялась взаимная терпимость, потому что другое предмостное укрепление, ниже по реке, все еще оставалось в руках австрийцев. Австрийские окопы были ниже, на склоне горы, всего лишь в нескольких ярдах от итальянских позиций. Раньше на берегу был городок, но его разнесли в щепы. Немного дальше были развалины железнодорожной станции и разрушенный мост, который пельзя было починить и использовать, потому что он просматривался со всех сторон.

Я проехал по узкой дороге вниз, к реке, оставил машину на перевязочном пункте под выступом холма, переправился через понтонный мост, защищенный отрогом горы, и обошел окопы на месте разрушенного городка и у подножия склона. Все были в блиндажах. Я увидел сложенные наготове ракеты, которыми пользовались для вызова огневой поддержки артиллерии или для сигнализации, когда

¹ До свидания, лейтенант (ит.).

была перерезана связь. Было тихо, жарко и грязно. Я посмотрел через проволочные заграждения на австрийские позиции. Никого не было видно. Я выпил с знакомым капитаном в одном из блиндажей и через мост возвратился назад.

Достраивалась новая широкая дорога, которая переваливала через гору и зигзагами спускалась к мосту. Наступление должно было начаться, как только эта дорога будет построена. Она шла лесом, круто изгибаясь. План был такой: все подвозить по новой дороге, пустые же грузовики и повозки, санитарные машины с ранеными и весь обратный транспорт направлять по старой узкой дороге. Перевязочный пункт находился на австрийском берегу под выступом холма, и раненых должны были на носилках нести через понтонный мост. Предполагалось сохранить этот порядок и после начала наступления. Как я себе представлял, последняя миля с небольшим новой дороги, там, где кончался уклон, должна была простреливаться австрийской артиллерией. Дело могло обернуться скверно. Но я нашел место, где можно было укрыть машины после того, как они пройдут этот последний опасный перегон, и где они могли дожидаться, пока раненых перенесут через понтонный мост. Мне хотелось проехать по новой дороге, но она не была еще закончена. Она была широкая, с хорошо рассчитанным профилем, и ее изгибы выглядели очень живописно в просветах на лесистом склоне горы. Для машин с их сильными тормозами спуск будет нетруден, и, во всяком случае, вниз ведь они пойдут порожняком. Я поехал по узкой дороге обратно.

Двое карабинеров задержали машину. Впереди на дороге разорвался снаряд, и пока мы стояли, разорвалось еще три. Это были 77-миллиметровки, и когда они летели, слышен был свистящий шелест, а потом резкий, короткий взрыв, вспышка, и серый дым застилал дорогу. Карабинеры сделали нам знак ехать дальше. Поравнявшись с местами взрывов, я объехал небольшие воронки и почувствовал запах взрывчатки и запах развороченной глины, и камня, и свежераздробленного кремня. Я вернулся в Герицию, на нашу виллу, и, как я уже сказал, пошел к мисс Баркли, которая оказавшись на дежурстве.

За обедом я ел очень быстро и сейчас же снова отправился на виллу, где помещался английский госпиталь. Вилла была очень большая и красивая, и перед домом росли прекрасные деревья. Мисс Баркли сидела на скамейке

в саду. С ней была мисс Фергюсон. Они, казалось, обрадовались мне, и спустя немного мисс Фергюсон попросила извинения и встала.

— Я вас оставляю вдвоем,— сказала она.— Вы отлично обходитесь без меня.

— Не уходите, Эллен,— сказала мисс Баркли.

— Нет, уж я пойду. Мне надо писать письма.

— Покойной ночи,— сказал я.

— Покойной ночи, мистер Генри.

— Не пишите ничего такого, что смутило бы цензора.

— Не беспокойтесь. Я пишу только про то, в каком красивом месте мы живем и какие все итальянцы храбрые.

— Продолжайте в том же роде, и вы получите орден.

— Буду очень рада. Покойной ночи, Кэтрин.

— Я скоро зайду к вам,— сказала мисс Баркли. Мисс Фергюсон скрылась в темноте.

— Она славная,— сказал я.

— О да. Она очень славная. Она сестра.

— А вы разве не сестра?

— О нет. Я то, что называется VAD¹. Мы работаем очень много, но нам не доверяют.

— А почему?

— Не доверяют тогда, когда дела нет. Когда работы много, тогда доверяют.

— В чем же разница?

— Сестра — это вроде доктора. Нужно долго учиться. А VAD кончают только краткосрочные курсы.

— Понимаю.

— Итальянцы не хотели допускать женщин так близко к фронту. Так что у нас тут особый режим. Мы никуда не выходим.

— Но я могу приходить сюда?

— Ну конечно. Здесь не монастырь.

— Давайте забудем про войну.

— Это не так просто. В таком месте трудно забыть про войну.

— А все-таки забудем.

— Хорошо.

Мы посмотрели друг на друга в темноте. Она мне показалась очень красивой, и я взял ее за руку. Она не отняла руки, и я потянулся и обнял ее за талию.

¹ Voluntary Aid Department (англ.) — Женский добровольческий корпус обслуживания действующей армии.

— Не надо,— сказала она. Я не отпускал ее.

— Почему?

— Не надо.

— Надо,— сказал я.— Так хорошо.

Я наклонился в темноте, чтобы поцеловать ее, и что-то обожгло меня коротко и остро. Она сильно ударила меня по лицу. Удар пришелся по глазам и переносице, и на глазах у меня выступили слезы.

— Простите меня,— сказала она.

Я почувствовал за собой некоторое преимущество.

— Вы поступили правильно.

— Нет, вы меня, пожалуйста, простите,— сказала она.— Но это так противно получилось — сестра с офицером в выходной вечер. Я не хотела сделать вам больно. Вам больно?

Она смотрела на меня в темноте. Я был зол и в то же время испытывал уверенность, зная все наперед, точно ходы в шахматной партии.

— Вы поступили совершенно правильно,— сказал я.— Я ничуть не сержусь.

— Беденький!

— Видите ли, я живу довольно нелепой жизнью. Мне даже не приходится говорить по-английски. И потом, вы такая красивая.

Я смотрел на нее.

— Зачем вы все это говорите? Я ведь просила у вас прощения. Мы уже помирились.

— Да,— сказал я.— И мы перестали говорить о войне.

Она засмеялась. Первый раз я услышал, как она смеется. Я следил за ее лицом.

— Вы славный,— сказала она.

— Вовсе нет.

— Да. Вы добрый. Хотите, я сама вас поцелую?

Я посмотрел ей в глаза и снова обнял ее за талию и поцеловал. Я поцеловал ее крепко, и сильно прижал к себе, и старался раскрыть ей губы; они были крепко сжаты. Я все еще был зол, и когда я ее прижал к себе, она вдруг вздрогнула. Я крепко прижимал ее и чувствовал, как бьется ее сердце, и ее губы раскрылись и голова откинулась на мою руку, и я почувствовал, что она плачет у меня на плече.

— Милый! — сказала она.— Вы всегда будете добры ко мне, правда?

«Кой черт», — подумал я. Я погладил ее волосы и потрепал ее по плечу. Она плакала.

— Правда, будете? — Она подняла на меня глаза. — Потому что у нас будет очень странная жизнь.

Немного погодя я проводил ее до дверей виллы, и она вошла, а я отправился домой. Вернувшись домой, я поднялся к себе в комнату. Ринальди лежал на постели. Он посмотрел на меня.

— Итак, ваши дела с мисс Баркли подвигаются?

— Мы с ней друзья.

— Вы сейчас похожи на пса в охоте.

Я не понял.

— На кого?

Он пояснил.

— Это вы, — сказал я, — похожи на пса, который...

— Стойте, — сказал он. — Еще немного, и мы наговорим друг другу обидных вещей. — Он засмеялся.

— Покойной ночи, — сказал я.

— Покойной ночи, кутинька.

Я подушкой спшиб его свечу и улегся в темноте. Ринальди поднял свечу, зажег и продолжал читать.

Глава шестая

Два дня я объезжал посты. Когда я вернулся домой, было уже очень поздно, и только на следующий вечер я увиделся с мисс Баркли. В саду ее не было, и мне пришлось дожидаться в канцелярии госпиталя, когда она спустится вниз. По стенам комнаты, занятой под канцелярию, стояло много мраморных бюстов на постаментах из раскрашенного дерева. Вестибюль перед канцелярией тоже был уставлен ими. По общему свойству мраморных статуй они все казались на одно лицо. На меня скульптура всегда нагоняла тоску; еще бронза куда ни шло, но мраморные бюсты неизменно напоминают кладбище. Есть, впрочем, одно очень красивое кладбище — в Пизе. Скверных мраморных статуй больше всего в Генуе. Эта вилла принадлежала раньше какому-то немецкому богачу, и бюсты, наверно, стояли ему немало денег. Интересно, чьей они работы и сколько за них было уплачено. Я пытался определить, предки это или еще кто-нибудь; но у них у всех был однообразно-классический вид. Глядя на них, ничего нельзя было угадать.

Я сидел на стуле, держа кепи в руках. Нам полагалось даже в Гориции носить стальные каски, но они были неудобны и казались непристойно бутафорскими в городе, где гражданское население не было эвакуировано. Я свою надевал, когда выезжал на посты, и, кроме того, я имел при себе английский противогаз — противогазовую маску, как их тогда называли. Мы только начали получать их. Они и в самом деле были похожи на маски. Все мы также обязаны были носить автоматические пистолеты; даже врачи и офицеры санитарных частей. Я ощущал свой пистолет, прислонясь к спинке стула. Замеченный без пистолета подлежал аресту. Ринальди вместо пистолета набивал кобуру туалетной бумагой. Я носил свой без обмана и чувствовал себя вооруженным до тех пор, пока мне не приходилось стрелять из него. Это был пистолет системы «астра», калибра 7,65, с коротким стволом, который так подскакивал при спуске курка, что попасть в цель было совершенно невозможно. Упражняясь в стрельбе, я брал прицел ниже мишени и старался сдерживать судорогу нелепого ствола, и наконец я научился с двадцати шагов попадать не дальше ярда от намеченной цели, и тогда мне вдруг стало ясно, как нелепо вообще носить пистолет, и вскоре я забыл о нем, и он болтался у меня сзади на поясе, не вызывая никаких чувств, кроме разве легкого стыда при встрече с англичанами или американцами. И вот теперь я сидел на стуле, и дежурный канцелярист неодобрительно поглядывал на меня из-за конторки, а я рассматривал мраморный пол, постаменты с мраморными бюстами и фрески на стенах в ожидании мисс Баркли. Фрески были недурны. Фрески всегда хороши, когда краска на них начинает трескаться и осыпаться.

Я увидел, что Кэтрин Баркли вошла в вестибюль, и встал. Она не казалась высокой, когда шла мне навстречу, но она была очень хороша.

— Добрый вечер, мистер Генри, — сказала она.

— Добрый вечер, — сказал я. Канцелярист за конторкой прислушивался.

— Посидим здесь или выйдем в сад?

— Давайте выйдем. В саду прохладнее.

Я пошел за ней к двери, канцелярист глядел нам вслед. Когда мы уже шли по усыпанной гравием дорожке, она сказала:

— Где вы были?

— Я выезжал на посты.

— И вы не могли меня предупредить хоть запиской?
— Нет,— сказал я.— Не вышло. Я думал, что вернусь в тот же день.

— Все-таки нужно было дать мне знать, милый.

Мы свернули с аллеи и шли дорожкой под деревьями. Я взял ее за руку, потом остановился и поцеловал ее.

— Нельзя ли нам пойти куда-нибудь?

— Нет,— сказала она.— Мы можем только гулять здесь. Вас очень долго не было.

— Сегодня третий день. Но теперь я вернулся.

Она посмотрела на меня.

— И вы меня любите?

— Да.

— Правда, ведь вы сказали, что вы меня любите?

— Да,— солгал я.— Я люблю вас.

Я не говорил этого раньше.

— И вы будете звать меня Кэтрин?

— Кэтрин.

Мы прошли еще немного и опять остановились под деревом.

— Скажите: ночью я вернулся к Кэтрин.

— Ночью я вернулся к Кэтрин.

— Милый, вы ведь вернулись, правда?

— Да.

— Я так вас люблю, и это было так ужасно. Вы больше не уедете?

— Нет. Я всегда буду возвращаться.

— Я вас так люблю. Положите опять сюда руку.

— Она все время здесь.

Я повернул ее к себе, так что мне видно было ее лицо, когда я целовал ее, и я увидел, что ее глаза закрыты. Я поцеловал ее закрытые глаза. Я решил, что она, должно быть, слегка помешанная. Но не все ли равно? Я не думал о том, чем это может кончиться. Это было лучше, чем каждый вечер ходить в офицерский публичный дом, где девицы виснут у вас на шее и в знак своего расположения, в промежутках между путешествиями наверх с другими офицерами, надевают ваше кепи задом наперед. Я знал, что не люблю Кэтрин Баркли, и не собирался ее любить. Это была игра, как бридж, только вместо карт были слова. Как в бридже, нужно было делать вид, что играешь на деньги или еще на что-нибудь. О том, па что шла игра, не было сказано ни слова. Но мне было все равно.

— Куда бы нам пойти,— сказал я. Как всякий мужчина, я не умел долго любезничать стоя.

— Некуда,— сказала она. Она вернулась на землю из того мира, где была.

— Посидим тут немножко.

Мы сели на плоскую каменную скамью, и я взял Кэтрин Баркли за руку. Она не позволила мне обнять ее.

— Вы очень устали? — спросила она.

— Нет.

Она смотрела вниз, на траву.

— Скверную игру мы с вами затеяли.

— Какую игру?

— Не прикидывайтесь дурачком.

— Я и не думаю.

— Вы славный,— сказала она,— и вы стараетесь играть как можно лучше. Но игра все-таки скверная.

— Вы всегда угадываете чужие мысли?

— Не всегда. Но ваши я знаю. Вам незачем притворяться, что вы меня любите. На сегодня с этим кончено. О чем бы вы хотели теперь поговорить?

— Но я вас в самом деле люблю.

— Знаете что, не будем лгать, когда в этом нет надобности. Вы очень мило провели свою роль, и теперь все в порядке. Я ведь не совсем сумасшедшая. На меня если и находит, то чуть-чуть и ненадолго.

Я сжал ее руку.

— Кэтрин, дорогая...

— Как смешно это звучит сейчас: «Кэтрин». Вы не всегда одинаково это произносите. Но вы очень славный. Вы очень добрый, очень.

— Это и наш священник говорит.

— Да, вы добрый. И вы будете навещать меня?

— Конечно.

— И вам незачем говорить, что вы меня любите. С этим пока что кончено.— Она встала и протянула мне руку.— Спокойной ночи.

Я хотел поцеловать ее.

— Нет,— сказала она.— Я страшно устала.

— А все-таки поцелуйте меня,— сказал я.

— Я страшно устала, милый.

— Поцелуйте меня.

— Вам очень хочется?

— Очень.

Мы поцеловались, но она вдруг вырвалась.

— Не надо. Спокойной ночи, милый.

Мы дошли до дверей, и я видел, как она перестуцила порог и пошла по вестибюлю. Мне нравилось следить за ее движениями. Она скрылась в коридоре. Я пошел домой. Ночь была душная, и наверху, в горах, не стихало ни на минуту. Видны были вспышки на Сан-Габриеле.

Перед «Вилла-Росса» я остановился. Ставни были закрыты, но внутри еще шумели. Кто-то пел. Я поднялся к себе. Ринальди вошел, когда я раздевался.

— Ага,— сказал он.— Дело не идет на лад. Бэби в смущении.

— Где вы были?

— На «Вилла-Росса». Очень полезно для души, бэби. Мы пели хором. А вы где были?

— Заходил к англичанам.

— Слава богу, что я не спутался с англичанами.

Глава седьмая

На следующий день, возвращаясь с первого горного поста, я остановил машину у *smistimento*¹, где раненые и больные распределялись по их документам и на документах делалась отметка о направлении в тот или иной госпиталь. Я сам вел машину и остался сидеть у руля, а шофер понес документы для отметки. День был жаркий, и небо было очень синее и яркое, а дорога белая и пыльная. Я сидел на высоком сиденье «фиата» и ни о чем не думал. Мимо по дороге проходил полк, и я смотрел, как шагают ряды. Люди были разморены и потны. Некоторые были в стальных касках, но большинство несло их прицепленными к ранцам. Многим каски были слишком велики и почти накрывали уши. Офицеры все были в касках, по подобранных по размеру. Это была часть бригады Базиликата. Я узнал их полосатые, красные с белым, петлицы. Полк уже давно прошел, но мимо все еще тянулись отставшие — те, кто не в силах был шагать в ногу со своим отделением. Они были измучены, все в поту и в пыли. Некоторые казались совсем больными. Когда последний отставший прошел, на дороге показался еще солдат. Он шел прихрамывая. Он остановился и сел у дороги. Я вылез и подошел к нему.

— Что с вами?

¹ Эвакопункт (ит.).

Он посмотрел на меня, потом встал.

— Я уже иду.

— А в чем дело?

— Все война, ну ее к...

— Что с вашей ногой?

— Не в ногу дело. У меня грыжа.

— Почему же вы идете пешком? — спросил я. — Почему вы не в госпитале?

— Не пускают. Лейтенант говорит, что я нарочно сбросил бандаж.

— Покажите мне.

— Она вышла.

— С какой стороны?

— Вот здесь.

Я ощупал его живот.

— Капляните, — сказал я.

— Как бы от этого не стало хуже. Она уже и так вдвое больше, чем утром.

— Садитесь в машину, — сказал я. — Когда бумаги моих раненых будут готовы, я сам отвезу вас и сдам в вашу санитарную часть.

— Он скажет, что я нарочно.

— Тут они не смогут придаться, — сказал я. — Это по рана. У вас ведь это было и раньше?

— Но я потерял бандаж.

— Вас направят в госпиталь.

— А нельзя мне с вами остаться, *tenente*?

— Нет, у меня нет на вас документов.

В дверях показался шофер с документами раненых, которых мы везли.

— Четверых в сто пятый. Двоих в сто тридцать второй, — сказал он. Это были госпитали на другом берегу.

— Садитесь за руль, — сказал я.

Я помог солдату с грыжей взобраться на сиденье рядом с нами.

— Вы говорите по-английски? — спросил он.

— Да.

— Что вы скажете об этой проклятой войне?

— Скверная штука.

— Еще бы не скверная, черт дери. Еще бы не скверная.

— Вы бывали в Штатах?

— Бывал. В Питтсбурге. Я догадался, что вы американец.

— Разве я плохо говорю по-итальянски?

— Я сразу догадался, что вы американец.

— Еще один американец,— сказал шофер по-итальянски, взглянув на солдата с грыжей.

— Послушайте, лейтенант. Вы непременно должны меня доставить в полк?

— Да.

— Штука-то в том, что старший врач знает про мою грыжу. Я выбросил к черту бандаж, чтобы мне стало хуже и не пришлось опять идти на передовую.

— Понимаю.

— Может, вы отвезете меня куда-нибудь в другое место?

— Будь мы ближе к фронту, я мог бы сдать вас на первый медицинский пункт. Но здесь, в тылу, нельзя без документов.

— Если я вернусь, мне сделают операцию, а потом все время будут держать на передовой.

Я подумал.

— Хотели бы вы все время торчать на передовой? — спросил он.

— Нет.

— О, черт! — сказал он. — Что за мерзость эта война.

— Слушайте,— сказал я. — Выйдите из машины, упадите и набейте себе шишку на голове, а я на обратном пути захвачу вас и отвезу в госпиталь. Мы на минуту остановимся, Альдо.

Мы съехали на обочину и остановились. Я помог ему вылезть.

— Здесь вы меня и найдете, лейтенант,— сказал он.

— До свидания,— сказал я. Мы поехали дальше и обогнали полк приблизительно в миле пути, потом переправились через реку, мутную от талого снега и быстро бегущую между устоев моста, и дорогой, пересекающей равнину, добрались до госпиталей, где нужно было сдать раненых. На обратном пути я сам сидел у руля и быстро гнал пустую машину туда, где ждал солдат из Питтсбурга. Сначала мы миновали полк, еще более разморенный и двигавшийся еще медленнее, потом отставших. Потом мы увидели посреди дороги санитарную повозку. Двое санитаров поднимали солдата с грыжей. Они вернулись за ним. Увидя меня, он покачал головой. Его каска свалилась, и лоб, у самых волос, был окровавлен. На лосу была содрана кожа, и на кровавую ссадину налипла пыль, и в волосах тоже была пыль.

— Посмотрите, какая шишка, лейтенант,— закричал он.— Но ничего не поделаешь. Они вернулись за мной.

Когда я вернулся на виллу, было пять часов, и я пошел туда, где мыли машины, принять душ. Потом я составлял рапорт, сидя в своей комнате у открытого окна, в брюках и нижней рубашке. Наступление было назначено на послезавтра, и я должен был выехать со своими машинами к Плаве. Уже давно я не писал в Штаты, и я знал, что нужно написать, но я столько времени откладывал это, что теперь писать было уже почти невозможно. Не о чем было писать. Я послал несколько открыток *Zona di Guerra*¹, вычеркнув из текста все, кроме «я жив и здоров». Так скорее дойдут. Эти открытки очень понравятся в Америке — необычные и таинственные. Необычной и таинственной была война в этой зоне, но мне она казалась хорошо обдуманной и жестокой по сравнению с другими войнами, которые велись против австрийцев. Австрийская армия была создана ради побед Наполеона — любого Наполеона. Хорошо, если бы и у нас был Наполеон, но у нас были только Il Generale Cadorna, жирный и благоденствующий, и Vittorio-Emmanuele, маленький человек с худой длинной шеей и козлиной бородкой. В правобережной армии был герцог Аоста. Пожалуй, он был слишком красив для великого полководца, но у него была внешность настоящего мужчины. Многие хотели бы, чтоб королем был он. У него была внешность короля. Он приходился королю дядей и командовал третьей армией. Мы были во второй армии. В третьей армии было несколько английских батарей. В Милане я познакомился с двумя английскими артиллеристами оттуда. Они были очень милые, и мы отлично провели вечер. Они были большие и застенчивые, и все их смущало и в то же время очень им нравилось. Лучше бы мне служить в английской армии. Все было бы проще. Но я бы, наверно, погиб. Ну, в санитарном отряде едва ли. Нет, даже и в санитарном отряде. Случалось, и шоферы английских санитарных машин погибали. Но я знал, что не погибну. В эту войну нет. Она ко мне не имела никакого отношения. Для меня она казалась не более опасной, чем война в кипо. Все-таки я от души желал, чтобы она кончилась. Может быть, этим летом будет конец. Может быть, австрийцев побьют. Их всегда били в прежних войнах. А что особенного в этой войне? Все говорят, что французы выдохлись. Рипальди рассказывал, что

¹ Военная зона (ит.).

французские солдаты взбунтовались и войска пошли на Париж. Я спросил его, что же было дальше, и он сказал: «Ну, их остановили». Мне хотелось побывать в Австрии без всякой войны. Мне хотелось побывать в Шварцвальде. Мне хотелось побывать на Гарце. А где это Гарц, между прочим? Бои теперь шли в Карпатах. Туда мне не хотелось. Хотя, пожалуй, и это было бы недурно. Не будь войны, я мог бы поехать в Испанию. Солнце уже садилось, и день остывал. После ужина я пойду к Кэтрин Баркли. Мне хотелось, чтобы она сейчас была здесь со мной. Мне хотелось, чтобы мы вместе были в Милане. Хорошо бы поужинать в «Кова» и потом душевным вечером пройти по Виа-Манцони, и перейти мост, и свернуть вдоль канала, и пойти в отель с Кэтрин Баркли. Может быть, она пошла бы. Может быть, она представила бы себе, будто я — тот офицер, которого убили на Сомме, и вот мы входим в главный подъезд и швейцар снимает фуражку и я останавливаюсь у конторки портье спросить ключ и она дожидается у лифта и потом мы входим в кабину лифта и он ползет вверх очень медленно позвякивая на каждом этаже а потом вот и наш этаж и мальчик-лифтер отворяет дверь и она выходит и я выхожу и мы идем по коридору и я ключом отпираю дверь и вхожу и потом снимаю телефонную трубку и прошу чтобы принесли бутылку капри бьянка в серебряном ведерке полном льда и слышно как лед звенит в ведерке все ближе по коридору и мальчик стучится и я говорю поставьте пожалуйста у двери. Потому что мы все с себя сбросили потому что так жарко и окно раскрыто и ласточки летают над крышами домов и когда уже совсем стемнеет и подойдешь к окну крошечные летучие мыши носятся над домами и над верхушками деревьев и мы пьем капри и дверь на запоре и так жарко и только простыня и целая ночь и мы всю ночь любим друг друга жаркой ночью в Милане. Вот так все должно быть. Я быстро поужинаю и пойду к Кэтрин Баркли.

За столом слишком много было разговоров, и я пил вино, потому что сегодня вечером мы не были бы братьями, если б я не выпил немного, и я разговаривал со священником об архиепископе Айрленде, по-видимому очень достойном человеке, о его несправедливой судьбе, о несправедливостях по отношению к нему, в которых я, как американец, был отчасти повинен и о которых я понятия не имел, но делал вид, что мне все это отлично известно. Было бы невосприимчиво ничего об этом не знать, выслушав такое блестя-

щее объяснение сути всего дела, в конце концов, видимо, основанного на недоразумении. Я нашел, что у него очень красивое имя, и к тому же он был родом из Миннесоты, так что имя выходило действительно чудесное: Айрленд Миннесотский, Айрленд Висконсинский, Айрленд Мичиганский. Нет, не в том дело. Тут дело гораздо глубже. Да, отец мой. Верно, отец мой. Возможно, отец мой. Нет, отец мой. Что ж, может быть, и так, отец мой. Вам лучше знать, отец мой. Священник был хороший, но скучный. Офицеры были не хорошие, но скучные. Король был хороший, но скучный. Вино было плохое, но не скучное. Оно снимало с зубов эмаль и оставляло ее на небе.

— И священника посадили за решетку,— говорил Рокка,— потому что нашли при нем трехпроцентные бумаги. Это было во Франции, конечно. Здесь бы его никогда не арестовали. Он утверждал, что решительно ничего не знает о пятипроцентных. Случилось все это в Безье. Я как раз там был и, прочтя об этом в газетах, отправился в тюрьму и попросил, чтобы меня допустили к священнику. Было совершенно очевидно, что бумаги он украл.

— Не верю ни одному слову,— сказал Ринальди.

— Это как вам угодно,— сказал Рокка.— Но я рассказываю об этом для нашего священника. История очень поучительная. Он священник, он ее сумеет оценить.

Священник улыбнулся.

— Продолжайте,— сказал он.— Я слушаю.

— Конечно, часть бумаг так и не нашли, но все трехпроцентные оказались у священника, и еще облигации каких-то местных займов, не помню точно каких. Итак, я пришел в тюрьму,— вот тут-то и начинается самое интересное,— и стою у его камеры и говорю, будто перед исповедью: «Благословите меня, отец мой, ибо вы согрешили».

Все громко захохотали.

— И что же он ответил? — спросил священник.

Рокка не обратил на него внимания и принялся растолковывать мне смысл шутки:

— Понимаете, в чем тут соль? — По-видимому, это была очень остроумная шутка, если ее правильно понять. Мне подлили еще вина, и я рассказал анекдот об английском рядовом, которого поставили под душ. Потом майор рассказал анекдот об одиннадцати чехословаках и венгерском капрале. Выпив еще вина, я рассказал анекдот о жюкее, который нашел пенни. Майор сказал, что есть забавный итальянский анекдот о герцогине, которой не спалось

по ночам. Тут священник ушел, и я рассказал анекдот о коммивояжере, который приехал в Марсель в пять часов утра, когда дул мистраль. Майор сказал, что до него дошли слухи, что я умею пить. Я отрицал это. Он сказал, что это верно и что, Бахус свидетель, он проверит, так это или нет. Только не Бахус, сказал я. Не Бахус. Да, Бахус, сказал он. Я должен пить на выдержку с Басси Филиппо Винченца. Басси сказал: нет, это несправедливо, потому что он уже выпил вдвое больше, чем я. Я сказал, что это гнусная ложь, Бахус или не Бахус, Филиппо Винченца Басси или Басси Филиппо Винченца ни капли не проглотил за весь вечер, и как его, собственно, зовут? Он спросил, а как меня зовут — Энрико Федерико или Федерико Энрико? Я сказал, Бахуса к черту, а кто крепче, тот и победит, и майор дал нам старт кружками красного вина. Выпив половину кружки, я не захотел продолжать. Я вспомнил, куда иду.

— Басси победил,— сказал я.— Он крепче. Мне пора идти.

— Верно, ему пора,— сказал Ринальди.— У него свидание. Уж я знаю.

— Мне пора идти.

— До другого раза,— сказал Басси.— До другого раза, когда у вас сил будет больше.

Он хлопнул меня по плечу. На столе горели свечи. Все офицеры были очень веселы.

— Спокойной ночи, господа,— сказал я.

Ринальди вышел вместе со мной. Мы остановились на дворе у подъезда, и он сказал:

— Вы бы лучше не ходили туда пьяным.

— Я не пьян, Ринни. Честное слово.

— Вы бы хоть пожевали кофейных зерен.

— Ерунда.

— Я вам сейчас принесу, бэби. Пока погуляйте здесь.— Он вернулся с пригоршней жареных кофейных зерен.— Пожуйте, бэби, и да хранит вас бог.

— Бахус,— сказал я.

— Я провожу вас.

— Да я в полном порядке.

Мы шли вдвоем по городу, и я жевал кофейные зерна. У въезда в аллею, которая вела к вилле англичан, Ринальди пожелал мне спокойной ночи.

— Спокойной ночи,— сказал я.— Почему бы и вам не зайти?

Он покачал головой.

— Нет,— сказал он.— Я предпочитаю более простые удовольствия.

— Спасибо за кофейные зерна.

— Не стоит, бэби. Не стоит.

Я пошел по аллее. Очертания кипарисов по сторонам были четкие и ясные. Я оглянулся и увидел, что Ринальди стоит и смотрит мне вслед, и я помахал ему рукой.

Я сидел в приемной виллы, ожидая Кэтрин Баркли. Кто-то вошел в вестибюль. Я встал, но это была не Кэтрин. Это была мисс Фергюсон.

— Хэлло,— сказала она.— Кэтрин просила меня передать вам, что, к сожалению, она сегодня не может с вами увидеться.

— Как жаль. Она не больна, надеюсь?

— Она не совсем здорова.

— Скажите ей, пожалуйста, что я очень огорчен.

— Скажу.

— А может быть, мне зайти завтра утром?

— Зайдите.

— Очень вам благодарен,— сказал я.— Покойной ночи.

Я вышел из приемной, и мне вдруг стало тоскливо и несуютно. Я очень небрежно относился к свиданию с Кэтрин, я напился и едва не забыл прийти, но когда оказалось, что я ее не увижу, мне стало тоскливо и я почувствовал себя одиноким.

Глава восьмая

На другой день мы узнали, что ночью в верховьях реки будет атака и мы должны выехать туда с четырьмя машинами. Никто ничего не знал толком, хотя все говорили с большим апломбом, выказывая свои стратегические познания. Я сидел в первой машине, и когда мы проезжали мимо ворот английского госпиталя, я велел шоферу остановиться. Остальные машины затормозили. Я вышел и велел шоферам ехать дальше и ждать нас на перекрестке у Кормонской дороги, если мы их не нагоним раньше. Я торопливым шагом прошел по аллее и, войдя в приемную, попросил вызвать мисс Баркли.

— Она на дежурстве.

— Нельзя ли мне повидать ее на одну минуту?

Послали санитару узнать, и он вернулся с ней вместе.

— Я зашел узнать о вашем здоровье. Мне сказали, что вы на дежурстве, и я попросил вас вызвать.

— Я вполне здорова,— сказала она,— Вероятно, это от жары меня вчера разморило.

— Мне надо идти.

— Я на минутку выйду с вами.

— Вы себя совсем хорошо чувствуете? — спросил я, когда мы вышли.

— Да, милый. Вы сегодня придете?

— Нет. Я сейчас еду — сегодня потеха на Плаве.

— Потеха?

— Едва ли будет что-нибудь серьезное.

— А когда вы вернетесь?

— Завтра.

Она что-то расстегнула и сняла с шеи. Она вложила это мне в руку.

— Это святой Антоний,— сказала она.— А завтра вечером приходите.

— Разве вы католичка?

— Нет. Но святой Антоний, говорят, очень помогает.

— Буду беречь его ради вас. Прощайте.

— Нет,— сказала она.— Не прощайте.

— Слушаюсь.

— Будьте умницей и берегите себя. Нет, здесь нельзя целоваться. Нельзя.

— Слушаюсь.

Я оглянулся и увидел, что она стоит на ступенях. Она помахала мне рукой, и я послал ей воздушный поцелуй. Она еще помахала рукой, и потом аллея кончилась, и я уже усаживался в машину, и мы тронулись. Святой Антоний был в маленьком медальоне из белого металла. Я открыл медальон и вытряхнул его на ладонь.

— Святой Антоний? — спросил шофер.

— Да.

— У меня тоже есть.— Его правая рука отпустила руль, отстегнула пуговицу и вытащила из-под рубашки такой же медальон.— Видите?

Я положил святого Антония обратно в медальон, собрал в комок тоненькую золотую цепочку и все вместе спрятал в боковой карман.

— Вы его не наденете на шею?

— Нет.

— Лучше надеть. А иначе зачем он?

— Хорошо, — сказал я. Я расстегнул замок золотой пепочки, надел ее на шею и снова застегнул замок. Святой повис на моем форменном френче, и я раскрыл ворот, отстегнул воротник рубашки и опустил святого Антония под рубашку. Сидя в машине, я чувствовал на груди его металлический футляр. Скоро я позабыл о нем. После своего ранения я его больше не видел. Вероятно, его снял кто-нибудь на перевязочном пункте.

Переправившись через мост, мы поехали быстрее, и скоро впереди на дороге мы увидели пыль от остальных машин. Дорога сделала петлю, и мы увидели все три машины; они казались совсем маленькими, пыль вставала из-под колес и уходила за деревья. Мы поравнялись с ними, обогнали их и свернули на другую дорогу, которая шла в гору. Ехать в колонне совсем не плохо, если находишься в головной машине, и я уселся поудобнее и стал смотреть по сторонам. Мы ехали по предгорью со стороны реки, и когда дорога забралась выше, на севере показались высокие вершины, на которых уже лежал снег. Я оглянулся и увидел, как остальные три машины поднимаются в гору, отделенные друг от друга облаками пыли. Мы миновали длинный караван навьюченных мулов; рядом с мулами шли погонщики в красных фесках. Это были берсальеры.

После каравана мулов нам уже больше ничего не попадалось навстречу, и мы взбирались с холма на холм и потом длинным отлогим склоном спустились в речную долину. Здесь дорога была обсажена деревьями, и за правой шпалерой деревьев я увидел реку, неглубокую, прозрачную и быструю. Река обмелела и текла узкими протоками среди полос песка и гальки, а иногда, как сияние, разливалась по устланному галькой дну. У самого берега я видел глубокие ямы, вода в них была голубая, как небо. Я видел каменные мостики, дугой перекинутые через реку, к которым вели тропинки, ответвлявшиеся от дороги, и каменные крестьянские дома с канделябрами грушевых деревьев вдоль южной стены, и низкие каменные ограды в полях. Дорога долго шла по долине, а потом мы свернули и снова стали подниматься в гору. Дорога круто поднималась вверх, вилась и кружила в каштановой роще и наконец пошла вдоль кряжа горы. В просветах между деревьями видна была долина, и там, далеко внизу, блестела на солнце извилина реки, разделявшей две армии. Мы поехали по новой каменистой военной дороге, проложенной по самому гребню кряжа, и я смотрел на север, где тянулись две цепи

гор, зеленые и темные до линии вечных снегов, а выше белые и яркие в лучах солнца. Потом, когда опять начался подъем, я увидел третью цепь гор, высокие снеговые горы, белые, как мел, и изрезанные причудливыми складками, а за ними вдалеке вставали еще горы, и нельзя было сказать, видишь ли их или это только кажется. Это все были австрийские горы, а у нас таких не было. Впереди был закругленный поворот направо, и в просвет между деревьями я увидел, как дорога дальше круто спускается вниз. По этой дороге двигались войска, и грузовики, и мулы с горными орудиями, и когда мы ехали по ней вниз, держась у самого края, мне была видна река далеко внизу, шпалы и рельсы, бегущие рядом, старый железнодорожный мост, а за рекой, у подножья горы, разрушенные дома городка, который мы должны были взять.

Уже почти стемнело, когда мы спустились вниз и выехали на главную дорогу, проложенную вдоль берега реки.

Глава девятая

Дорога была запружена транспортом и людьми; по обе стороны ее тянулись щиты из рогожи и соломенных циновок, и циновки перекрывали ее сверху, делая похожей на вход в цирк или селение дикарей. Мы медленно продвигались по этому соломенному туннелю и наконец выехали на голое, расчищенное место, где прежде была железнодорожная станция. Дальше дорога была прорыта в береговой насыпи, и по всей длине ее в насыпи были сделаны укрытия, и в них засела пехота. Солнце садилось, и, глядя поверх насыпи, я видел австрийские наблюдательные аэростаты, темневшие на закатном небе над горами по ту сторону реки. Мы поставили машины за развалинами кирпичного завода. В обжигательных печах и нескольких глубоких ямах оборудованы были перевязочные пункты. Среди врачей было трое моих знакомых. Главный врач сказал мне, что, когда начнется и наши машины примут раненых, мы повезем их замаскированной дорогой вдоль берега и потом вверх, к перевалу, где расположен пост и где раненых будут ждать другие машины. Только бы на дороге не образовалась пробка, сказал он. Другого пути не было. Дорогу замаскировали, потому что она просматривалась с австрийского берега. Здесь, на кирпичном заводе, береговая насыпь защищала нас от ружейного и пулеметного огня. Через ре-

ку вел только один полуразрушенный мост. Когда начнется артиллерийский обстрел, наведут еще один мост, а часть войск переправится вброд у изгиба реки, где мелко. Главный врач был низенький человек с подкрученными кверху усами. Он был в чине майора, участвовал в ливийской войне и имел две нашивки за ранения. Он сказал, что, если все пройдет хорошо, он представит меня к награде. Я сказал, что, надеюсь, все пройдет хорошо, и поблагодарил его за доброту. Я спросил, есть ли здесь большой блиндаж, где могли бы поместиться шоферы, и он вызвал солдата проводить меня. Я пошел за солдатом, и мы очень быстро дошли до блиндажа, который оказался очень удобным. Шоферы были довольны, и я оставил их там. Главный врач пригласил меня выпить с ним и еще с двумя офицерами. Мы выпили рому, и я почувствовал себя среди друзей. Становилось темно. Я спросил, в котором часу начнется атака, и мне сказали, что как только совсем стемнеет. Я вернулся к шоферам. Они сидели в блиндаже и разговаривали, и когда я вошел, они замолчали. Я дал им по пачке сигарет «Македония», слабо набитых сигарет, из которых сыпался табак, и нужно было закрутить конец, прежде чем закуривать. Маньера чиркнул зажигалкой и дал всем закурить. Зажигалка была сделана в виде радиатора «Фиата». Я рассказал им все, что узнал.

— Почему мы не видели поста, когда сюда ехали? — спросил Пассини.

— Он как раз за поворотом, где мы свернули.

— Да, весело будет ехать по этой дороге, — сказал Маньера.

— Дадут нам жизни австрийцы, так их и так.

— Уж будьте покойны.

— А как насчет того, чтобы поесть, лейтенант? Когда начнется, нечего будет и думать о еде.

— Сейчас пойду узнаю, — сказал я.

— Нам тут сидеть или можно выйти наружу?

— Лучше сидите тут.

Я вернулся к главному врачу, и он сказал, что походная кухня сейчас прибудет и шоферы могут прийти за похлебкой. Котелки он им даст, если у них своих нет. Я сказал, что, кажется, у них есть свои. Я вернулся назад и сказал шоферам, что приду за ними, как только привезут еду. Маньера сказал, что хорошо бы ее привезли прежде, чем начнется обстрел. Они молчали, пока я не ушел. Они все четверо были механики и ненавидели войну.

Я пошел проведать машины и посмотреть, что делается кругом, а затем вернулся в блиндаж к шоферам. Мы все сидели на земле, прислонившись к стенке, и курили. Снаружи было уже почти темно. Земля в блиндаже была теплая и сухая, и я прислонился к стенке плечами и расслабил все мышцы тела.

— Кто идет в атаку? — спросил Гавуцци.

— Берсальеры.

— Одни берсальеры?

— Кажется, да.

— Для настоящей атаки здесь слишком мало войск.

— Вероятно, это просто диверсия, а настоящая атака будет не здесь.

— А солдаты, которые идут в атаку, это знают?

— Не думаю.

— Конечно, не знают,— сказал Маньера.— Знали бы, так не пошли бы.

— Еще как пошли бы,— сказал Пассини.— Берсальеры дураки.

— Они храбрые солдаты и соблюдают дисциплину,— сказал я.

— Они здоровые парни, и у них у всех грудь широченная. Но все равно они дураки.

— Вот гранадеры молодцы,— сказал Маньера. Это была шутка. Все четверо захохотали.

— Это при вас было, *tenente*, когда они отказались идти, а потом каждого десятого расстреляли?

— Нет.

— Было такое дело. Их выстроили и отсчитали каждого десятого. Карабинеры их расстреливали.

— Карабинеры,— сказал Пассини и сплюнул на землю.— Но гранадеры-то: шести футов росту. И отказались идти.

— Вот отказались бы все, и войпа бы кончилась,— сказал Маньера.

— Ну, гранадеры вовсе об этом не думали. Просто трусили. Офицеры-то все были из знати.

— А некоторые офицеры одни пошли.

— Двоих офицеров застрелил сержант за то, что они не хотели идти.

— Некоторые рядовые тоже пошли.

— Которые пошли, тех и не выстраивали, когда брали десятого.

— Однако моего земляка там расстреляли,— сказал Пассини.— Большой такой, красивый парень, высокий, как раз для гренадера. Вечно в Риме. Вечно с девочками. Вечно с карабинерами.— Он засмеялся.— Теперь у его дома поставили часового со птыком, и никто не смеет навещать его мать, и отца, и сестер, а его отца лишили всех гражданских прав, и даже голосовать он не может. И закон их больше не защищает. Всякий приходи и бери у них что хочешь.

— Если б не страх, что семье грозит такое, никто бы не пошел в атаку.

— Ну да. Альпийские стрелки пошли бы. Полк Виктора-Эммануила пошел бы. Пожалуй, и берсальеры тоже.

— А ведь и берсальеры удирали. Теперь они стараются забыть об этом.

— Вы напрасно позволяете нам вести такие разговоры, *tenente. Evviva l'esercito!*¹ — ехидно заметил Пассини.

— Я эти разговоры уже слышал,— сказал я.— Но куда вы сидите за рулем и делаете свое дело...

— ...и говорите достаточно тихо, чтобы не могли слышать другие офицеры,— закончил Маньера.

— Я считаю, что мы должны довести войну до конца,— сказал я.— Война не кончится, если одна сторона перестанет драться. Будет только хуже, если мы перестанем драться.

— Хуже быть не может,— почтительно сказал Пассини.— Нет ничего хуже войны.

— Поражение еще хуже.

— Вряд ли,— сказал Пассини по-прежнему почтительно.— Что такое поражение? Ну, вернемся домой.

— Враг пойдет за вами. Возьмет ваш дом. Возьмет ваших сестер.

— Едва ли,— сказал Пассини.— Так уж за каждым и пойдет. Пусть каждый защищает свой дом. Пусть не выпускает сестер за дверь.

— Вас повесят. Вас возьмут и отправят опять воевать. И не в санитарный транспорт, а в пехоту.

— Так уж каждого и повесят.

— Не может чужое государство заставить за себя воевать,— сказал Маньера.— В первом же сражении все разбегутся.

— Как чехи.

¹ Да здравствует армия! (ит.)

— Вы просто не знаете, что значит быть побежденным, вот вам и кажется, что это не так уж плохо.

— Tenente,— сказал Пассини,— вы как будто разрешили нам говорить. Так вот, слушайте. Страшнее войны ничего нет. Мы тут в санитарных частях даже не можем понять, какая это страшная штука — война. А те, кто поймет, как это страшно, те уже не могут помешать этому, потому что сходят с ума. Есть люди, которым никогда не понять. Есть люди, которые боятся своих офицеров. Вот такими и делают войну.

— Я знаю, что война — страшная вещь, но мы должны довести ее до конца.

— Конца нет. Война не имеет конца.

— Нет, конец есть.

Пассини покачал головой.

— Войну не выигрывают победами. Ну, возьмем мы Сан-Габриеле. Ну, возьмем Карсо, и Монфальконе, и Триест. А потом что? Видели вы сегодня все те дальние горы? Что же, вы думаете, мы можем их все взять? Только если австрийцы перестанут драться. Одна сторона должна перестать драться. Почему не перестать драться нам? Если они доберутся до Италии, они устанут и уйдут обратно. У них есть своя родина. Так нет же, непременно нужно воевать.

— Вы настоящий оратор.

— Мы думаем. Мы читаем. Мы не крестьяне. Мы механики. Но даже крестьяне не такие дураки, чтобы верить в войну. Все ненавидят эту войну.

— Страной правит класс, который глуп и ничего не понимает и не поймет никогда. Вот почему мы воюем.

— Эти люди еще наживаются на войне.

— Многие даже и не наживаются,— сказал Пассини.— Они слишком глупы. Они делают это просто так. Из глупости.

— Ну, хватит,— сказал Маньера.— Мы слишком разболтались, даже для tenente.

— Ему это нравится,— сказал Пассини.— Мы его обратим в свою веру.

— Но пока хватит,— сказал Маньера.

— Что ж, дадут нам поесть, tenente? — спросил Гавуцци.

— Сейчас я узнаю,— сказал я.

Гордини встал и вышел вместе со мной.

— Может, что-нибудь нужно сделать, *tenente*? Я вам ничем не могу помочь? — Он был самый тихий из всех четверых.

— Если хотите, идемте со мной, — сказал я, — узнаем, как там.

Было уже совсем темно, и длинные лучи прожекторов сповали над горами. На нашем фронте в ходу были огромные прожекторы, установленные на грузовиках, и порой, проезжая ночью близ самых позиций, можно было увидеть такой грузовик, остановившийся в стороне от дороги, офицера, направляющего свет, и перепуганную команду. Мы прошли заводским двором и остановились у главного перевязочного пункта. Снаружи над входом был небольшой навес из зеленых ветвей, и ночной ветер шуршал в темноте высохшими на солнце листьями. Внутри был свет. Главный врач, сидя на ящике, говорил по телефону. Один из врачей сказал мне, что атака на час отложена. Он предложил мне коньяку. Я оглядел длинные столы, инструменты, сверкающие при свете, тазы и бутылки с притертыми пробками. Гордини стоял за моей спиной. Главный врач отошел от телефона.

— Сейчас начинается, — сказал он. — Решили не откладывать.

Я выглянул наружу, было темно, и лучи австрийских прожекторов сповали над горами позади нас. С минуту было тихо, потом все орудия позади нас открыли огонь.

— Савойя, — сказал главный врач.

— А где обед? — спросил я. Он не слышал. Я повторил.

— Еще не подвезли.

Большой снаряд пролетел и разорвался на заводском дворе. Еще один разорвался, и в шуме разрыва можно было слышать более дробный шум от осколков кирпича и комьев грязи, дождем сыпавшихся вниз.

— Что-нибудь найдется перекусить?

— Есть немного *pasta asciutta*¹, — сказал главный врач.

— Давайте что есть.

Главный врач сказал что-то санитару, тот скрылся в глубине помещения и вынес оттуда металлический таз с холодными макаронами. Я передал его Гордини.

— Нет ли сыра?

¹ Блюдо из макарон (*ит.*).

Главный врач ворчливо сказал еще что-то санитару, тот снова нырнул вглубь и принес четверть круга белого сыра.

— Спасибо,— сказал я.

— Я вам не советую сейчас идти.

Что-то поставили на землю у входа снаружи. Один из санитаров, которые принесли это, заглянул внутрь.

— Давайте его сюда,— сказал главный врач.— Ну, в чем дело? Прикажете нам самим выйти и взять его?

Санитары подхватили раненого под руки и за ноги и внесли в помещение.

— Разрежьте рукав,— сказал главный врач.

Он держал пинцет с куском марли. Остальные два врача сняли шинели.

— Ступайте,— сказал главный врач санитарам.

— Идемте, *tenente*,— сказал Гордини.

— Подождите лучше, пока огонь прекратится,— не оборачиваясь, сказал главный врач.

— Люди голодны,— сказал я.

— Ну, как вам угодно.

Выйдя на заводской двор, мы пустились бежать. У самого берега разорвался снаряд. Другого мы не слышали, пока вдруг не ударило возле нас. Мы оба плашмя бросились на землю и в шуме и грохоте разрыва услышали жужжание осколков и стук падающих кирпичей. Гордини поднялся на ноги и побежал к блиндажу. Я бежал за ним, держа в руках сыр, весь в кирпичной пыли, облепившей его гладкую поверхность. В блиндаже три шофера по-прежнему сидели у стены и курили.

— Ну, вот вам, патриоты,— сказал я.

— Как там машины? — спросил Маньера.

— В порядке,— сказал я.

— Напугались, *tenente*?

— Есть грех,— сказал я.

Я вынул свой ножик, открыл его, вытер лезвие и скоблил верхний слой сыра. Гавуцци протянул мне таз с макаронами.

— Начинайте вы.

— Нет,— сказал я.— Поставьте на пол. Будем есть все вместе.

— Вилки нет.

— Ну и черт с ними,— сказал я по-английски.

Я разрезал сыр на куски и разложил на макаронах.

— Прошу,— сказал я. Они придвинулись и ждали. Я погрузил пальцы в макароны и стал тащить. Потянулась клейкая масса.

— Повыше поднимайте, *tenente*.

Я поднял руку до уровня плеча, и макароны отстали. Я опустил их в рот, втянул и поймал губами концы, прожевал, потом взял кусочек сыру, прожевал и запил глотком вина. Вино отдавало ржавым металлом. Я передал флягу Пассини.

— Дрянно,— сказал я.— Слишком долго оставалось во фляге. Я вез ее с собой в машине.

Все четверо ели, наклоняя подбородки к самому тазу, откидывая назад головы, всасывая концы. Я еще раз набрал полный рот, и откусил сыру, и отпил вина. Снаружи что-то бухнуло, и земля затряслась.

— Четырехсотдвадцатимиллиметровое или миномет,— сказал Гавуцци.

— В горах такого калибра не бывает,— сказал я.

— У них есть орудия Шкода. Я видел воронки.

— Трехсотпятимиллиметровые.

Мы продолжали есть. Послышался кашель, шипение, как при пуске паровоза, и потом взрыв, от которого опять затряслась земля.

— Блиндаж не очень глубокий,— сказал Пассини.

— А вот это, должно быть, миномет.

— Точно.

Я надкусил свой ломоть сыру и глотнул вина. Среди продолжавшегося шума я уловил кашель, потом послышалось: чух-чух-чух-чух, потом что-то сверкнуло, точно настужь распахнули летку домны, и рев, сначала белый, потом все краснее, краснее, краснее в стремительном вихре. Я попытался вздохнуть, но дыхания не было, и я почувствовал, что весь вырвался из самого себя и лечу, и лечу, и лечу, подхваченный вихрем. Я вылетел быстро, весь как есть, и я знал, что я мертв и что напрасно думают, будто умираешь, и все. Потом я поплыл по воздуху, но вместо того, чтобы подвигаться вперед, скользил назад. Я вздохнул и понял, что вернулся в себя. Земля была разворочена, и у самой моей головы лежала расщепленная деревянная балка. Голова моя тряслась, и я вдруг слышал чей-то плач. Потом словно кто-то вскрикнул. Я хотел шевельнуться, но я не мог шевельнуться. Я слышал пулеметную и ружейную стрельбу за рекой и по всей реке. Раздался громкий всплеск, и я увидел, как взвились осветительные

снаряды, и разорвались, и залили все белым светом, и как взлетели ракеты, и услышал взрывы мин, и все это в одно мгновение, и потом я услышал, как совсем рядом кто-то сказал: «Mamma mia! ¹ О, mamma mia!» Я стал вытягиваться и извиваться и наконец высвободил ноги и перевернулся и дотронулся до него. Это был Пассини, и когда я дотронулся до него, он вскрикнул. Он лежал ногами ко мне, и в коротких вспышках света мне было видно, что обе ноги у него раздроблены выше колен. Одну оторвало совсем, а другая висела на сухожилиях и лохмотьях штанины, и обрубок корчился и дергался, словно сам по себе. Он закусил свою руку и стонал: «О mamma mia, mamma mia!» — и потом: «Dio te salve, Maria ². Dio te salve, Maria. О Иисус, дай мне умереть! Христос, дай мне умереть, mamma mia, mamma mia! Пречистая дева Мария, дай мне умереть. Не могу я. Не могу. Не могу. О Иисус, пречистая дева, не могу я. О-о-о-о!» Потом, задыхаясь: «Mamma, mamma mia!» Потом он затих, кусая свою руку, а обрубок все дергался.

— Portaferiti! ³ — закричал я, сложив руки воронкой. — Portaferiti! — Я хотел подползти к Пассини, чтобы наложить ему на ноги турникет, но я не мог сдвинуться с места. Я попытался еще раз, и мои ноги сдвинулись немного. Теперь я мог подтягиваться на локтях. Пассини не было слышно. Я сел рядом с ним, расстегнул свой френч и попытался оторвать подол рубашки. Ткань не поддавалась, и я надорвал край зубами. Тут я вспомнил об его обмотках. На мне были шерстяные носки, но Пассини ходил в обмотках. Все шоферы ходили в обмотках. Но у Пассини оставалась только одна нога. Я отыскал конец обмотки, но, разматывая, я увидел, что не стоит накладывать турникет, потому что он уже мертв. Я проверил и убедился, что он мертв. Нужно было выяснить, что с остальными тремя. Я сел, и в это время что-то качнулось у меня в голове, точно гирька от глаз куклы, и ударило меня изнутри по глазам. Ногам стало тепло и мокро, и башмаки стали теплые и мокрые внутри. Я понял, что ранен, и наклонился и положил руку на колено. Колена не было. Моя рука скользнула дальше, и колено было там, вывернутое на сторону. Я вытер руку о рубашку, и откуда-то снова стал медленно разливаться белый свет, и я посмотрел на свою ногу, и мне

¹ Мама моя! (ит.)

² Спаси тебя бог, Мария (ит.).

³ Посылки! (ит.)

стало очень страшно. «Господи,— сказал я,— вызволи меня отсюда!» Но я знал, что должны быть еще трое. Шоферов было четверо. Пассини убит. Остаются трое. Кто-то подхватил меня под мышки, и еще кто-то стал поднимать мои ноги.

— Должны быть еще трое,— сказал я.— Один убит.

— Это я, Маньера. Мы ходили за носилками, но не нашли. Как вы, *tenente*?

— Где Гордини и Гавуцци?

— Гордини на пункте, ему делают перевязку. Гавуцци держит ваши ноги. Возьмите меня за шею, *tenente*. Вы тяжело ранены?

— В ногу. А что с Гордини?

— Отделался пустяками. Это была мина. Снаряд из миномета.

— Пассини убит.

— Да. Убит.

Рядом разорвался снаряд, и они оба бросились на землю и уронили меня.

— Простите, *tenente*,— сказал Маньера.— Держитесь за мою шею.

— Вы меня опять уроните.

— Это с перепугу.

— Вы не ранены?

— Ранены оба, но легко.

— Гордини сможет вести машину?

— Едва ли.

Пока мы добрались до пункта, они уронили меня еще раз.

— Сволочи! — сказал я.

— Простите, *tenente*,— сказал Маньера.— Больше по будем.

В темноте у перевязочного пункта лежало на земле много раненых. Санитары входили и выходили с носилками. Когда они, проходя, приподнимали занавеску, мне видел был свет, горевший внутри. Мертвые были сложены в стороне. Врачи работали, до плеч засучив рукава, и были красивы, как мясники. Посилок не хватало. Некоторые из раненых стонали, но большинство лежало тихо. Ветер шевелил листья в ветвях навеса над входом, и ночь становилась холодной. Все время подходили санитары, ставили носилки на землю, освобождали их и снова уходили. Как только мы добрались до пункта, Маньера привел фельдшера, и он наложил мне повязку на обе ноги. Он сказал, что

потеря крови незначительна благодаря тому, что столько грязи набилось в рану. Как только можно будет, меня возьмут на операцию. Он вернулся в помещение пункта. Гордини вести машину не сможет, сказал Маньера. У него раздроблено плечо и разбита голова. Сгоряча он не почувствовал боли, но теперь плечо у него онемело. Он там сидит у одной из кирпичных стен. Маньера и Гавуцци погрузили в свои машины раненых и уехали. Им ранение не мешало. Пришли три английских машины с двумя санитарами на каждой. Ко мне подошел один из английских шоферов, его привел Гордини, который был очень бледен и совсем плох на вид. Шофер наклонился ко мне.

— Вы тяжело ранены? — спросил он. Это был человек высокого роста, в стальных очках.

— Обе ноги.

— Надеюсь, не серьезно. Хотите сигарету?

— Спасибо.

— Я слышал, вы потеряли двух шоферов?

— Да. Один убит, другой — тот, что вас привел.

— Скверное дело. Может быть, нам взять их машины?

— Я как раз хотел просить вас об этом.

— Они у нас будут в порядке, а потом мы их вам вернем. Вы ведь из двести шестого?

— Да.

— Славное у вас там местечко. Я вас видел в городе. Мне сказали, что вы американец.

— Да.

— А я англичанин.

— Неужели?

— Да, англичанин. А вы думали — итальянец? У нас в одном отряде есть итальянцы.

— Очень хорошо, если вы возьмете наши машины, — сказал я.

— Мы вам возвратим их в полном порядке. — Он выпрямился. — Ваш шофер очень просил меня с вами сговориться. — Он похлопал Гордини по плечу. Гордини вздрогнул и улыбнулся. Англичанин легко и бегло заговорил по-итальянски:

— Ну, все улажено. Я сговорился с твоим *tenente*. Мы берем обе ваши машины. Теперь тебе не о чем тревожиться. — Он прервал себя. — Надо еще как-нибудь устроить, чтобы вас вытащить отсюда. Я сейчас поговорю с врачами. Мы возьмем вас с собой, когда поедем.

Он направился ко входу, осторожно ступая между ра-

ненными. Я увидел, как приподнялось одеяло, которым занавешен был вход, стал виден свет, и он вошел туда.

— Он позаботится о вас, *tenente*,— сказал Гордини.

— Как вы себя чувствуете, Франко?

— Ничего.

Он сел рядом со мной. В это время одеяло, которым занавешен был вход на пункт, приподнялось, и оттуда вышли два санитары и с ними высокий англичанин. Он подвел их ко мне.

— Вот американский *tenente*,— сказал он по-итальянски.

— Я могу подождать,— сказал я.— Тут есть гораздо более тяжело раненные. Мне не так уж плохо.

— Ну, ну, ладно,— сказал он,— нечего разыгрывать героя.— Затем по-итальянски: — Поднимайте осторожно, особенно ноги. Ему очень больно. Это законный сын президента Вильсона.

Они подняли меня и внесли в помещение пункта. На всех столах оперировали. Маленький главный врач свирепо оглянулся на нас. Он узнал меня и помахал мне щипцами.

— *Ça va bien?* ¹

— *Ça va* ².

— Это я его принес,— сказал высокий англичанин по-итальянски.— Единственный сын американского посла. Он полежит тут, пока вы сможете им заняться. А потом я в первый же рейс отвезу его.— Он наклонился ко мне.— Я посмотрю, чтобы вам выправили документы, тогда дело пойдет быстрее.— Он нагнулся, чтобы пройти в дверь, и вышел. Главный врач разнял щипцы и бросил их в таз. Я следил за его движениями. Теперь он накладывал повязку. Потом санитары сняли раненого со стола.

— Давайте мне американского *tenente*,— сказал один из врачей.

Меня подняли и положили на стол. Он был твердый и скользкий. Кругом было много крепких запахов, запахи лекарств и сладкий запах крови. С меня сняли брюки, и врач стал диктовать фельдшеру-ассистенту, продолжая работать:

— Множественные поверхностные ранения левого и правого бедра, левого и правого колена, правой ступни. Глубокие ранения правого колена и ступни. Рваные раны

¹ Ну как, ничего? (*фр.*)

² Ничего (*фр.*).

на голове (он вставил зонд: «Больно?» — «О-о-о, черт! Да!»), с возможной трещиной черепной кости. Ранен на боевом посту. Так вас, по крайней мере, не предадут военпо-левому суду за умышленное членовредительство, — сказал он. — Хотите глоток коньяку? Как это вас вообще угораздило? Захотелось покончить жизнь самоубийством? Дайте мне противостолбнячную сыворотку и пометьте на карточке крестом обе ноги. Так, спасибо. Сейчас я немножко вычищу, промою и сделаю вам перевязку. У вас пре-красно свертывается кровь.

Ассистент, поднимая глаза от карточки:

— Чем нанесены ранения?

Врач:

— Чем это вас?

Я, с закрытыми глазами:

— Миной.

Врач, делая что-то, причиняющее острую боль, и раз-резая ткани:

— Вы уверены?

Я, стараясь лежать спокойно и чувствуя, как в животе у меня вздрагивает, когда скальпель врзается в тело:

— Кажется, так.

Врач, обнаружив что-то, заинтересовавшее его:

— Осколки неприятельской мины. Если хотите, я еще пройду зондом с этой стороны, но в этом нет надобности. Теперь я здесь смажу и... Что, жжет? Ну, это пустяки в сравнении с тем, что будет после. Боль еще не началась. Принесите ему стопку коньяку. Шок притупляет ощущение боли. Но все равно опасаться нам нечего, если только не будет заражения, а это теперь случается редко. Как ваша голова?

— О, господи! — сказал я.

— Тогда лучше не пейте много коньяку. Если есть трещина, может начаться воспаление, а это ни к чему. Что, вот здесь — больно?

Меня бросило в пот.

— О, господи! — сказал я.

— По-видимому, все-таки есть трещина. Я сейчас забинтую, а вы не вертите головой.

Он начал перевязывать. Руки его двигались очень быстро, и перевязка выходила тугая и крепкая.

— Ну вот, счастливый путь, и *Vive la France!*¹

¹ Да здравствует Франция! (фр.)

— Он американец, — сказал другой врач.

— А мне показалось, вы сказали: француз. Он говорит по-французски, — сказал врач. — Я его знал раньше. Я всегда думал, что он француз. — Он выпил полстопки коньяку. — Ну, давайте что-нибудь посерьезнее. И приготовьте еще противостолбнячной сыворотки. — Он помахал мне рукой. Меня подняли и понесли; одеяло, служившее занавеской, мазило меня по лицу. Фельдшер-ассистент стал возле меня на колени, когда меня уложили.

— Фамилия? — спросил он вполголоса. — Имя? Возраст? Чин? Место рождения? Какой части? Какого корпуса? — И так далее. — Неприятно, что у вас и голова задела, *tenente*. Но сейчас вам, вероятно, уже лучше. Я вас отправлю с английской санитарной машиной.

— Мне хорошо, — сказал я. — Очень вам благодарен.

Боль, о которой говорил врач, уже началась, и все происходящее вокруг потеряло смысл и значение. Немного погодя подъехала английская машина, меня положили на носилки, потом носилки подняли на уровень кузова и вдвинули внутрь. Рядом были еще носилки, и на них лежал человек, все лицо которого было забинтовано, только нос, совсем восковой, торчал из бинтов. Он тяжело дышал. Еще двое носилок подняли и просунули в ременные лямки наверху. Высокий шофер-англичанин подошел и заглянул в дверцу.

— Я поеду потихоньку, — сказал он. — Постараюсь не беспокоить вас.

Я чувствовал, как завели мотор, чувствовал, как шофер взобрался на переднее сиденье, чувствовал, как он выключил тормоз и дал скорость. Потом мы тронулись. Я лежал неподвижно и не сопротивлялся боли.

Когда начался подъем, машина сбавила скорость, порой она останавливалась, порой давала задний ход на повороте, наконец довольно быстро поехала в гору. Я почувствовал, как что-то стекает сверху. Сначала падали размеренные и редкие капли, потом полилось струйкой. Я окликнул шофера. Он остановил машину и обернулся к окошку.

— Что случилось?

— У раненого надо мной кровотечение.

— До перевала осталось совсем немного. Одному мне не вытащить носилок.

Машина тронулась снова. Струйка все лилась. В темноте я не мог разглядеть, в каком месте она просачива-

лась сквозь брезент. Я попытался отодвинуться в сторону, чтобы на меня не попадало. Там, где мне натекло за рубашку, было тепло и липко. Я озяб, и нога болела так сильно, что меня тошнило. Немного погодя струйка полилась медленнее, и потом снова стали стекать капли, и я услышал и почувствовал, как брезент носилоч задвигался, словно человек там старался улечься удобнее.

— Ну, как там? — спросил англичанин, оглянувшись. — Мы уже почти доехали.

— Мне кажется, он умер, — сказал я.

Капли падали очень медленно, как стекает вода с союльки после захода солнца. Было холодно ночью в машине, подымавшейся в гору. На посту санитары вытащили носилки и заменили другими, и мы поехали дальше.

Глава десятая

В палате полевого госпиталя мне сказали, что после обеда ко мне придет посетитель. День был жаркий, и в комнате было много мух. Мой вестовой нарезал бумажных полос и, привязав их к палке в виде метелки, махал, отгоняя мух. Я смотрел, как они садились на потолок. Когда он перестал махать и заснул, они все слетели вниз, и я сдувал их и в конце концов закрыл лицо руками и тоже заснул. Было очень жарко, и когда я проснулся, у меня зудило в ногах. Я разбудил вестового, и он полил мне на повязки минеральной воды. От этого постель стала сырой и прохладной. Те из нас, кто не спал, переговаривались через всю палату. Время после обеда было самое спокойное. Утром три санитары и врач подходили к каждой койке по очереди, поднимали лежавшего на ней и уносили в перевязочную, чтобы можно было оправить постель, пока ему делали перевязку. Путешествие в перевязочную было особенно приятно, но я тогда не знал, что можно оправить постель, не поднимая человека. Мой вестовой вылил всю воду, и постель стала прохладная и приятная, и я как раз говорил ему, в каком месте почесать мне подошвы, чтобы унять зуд, когда один из врачей привел в палату Ринальди. Он вошел очень быстро и поклонился над койкой и поцеловал меня. Я заметил, что он в перчатках.

— Ну, как дела, бэби? Как вы себя чувствуете? Вот вам... — Он держал в руках бутылку коньяку. Вестовой принес ему стул, и он сел. — И еще приятная новость. Вы

представлены к награде. Рассчитывайте на серебряную медаль, но, может быть, выйдет только бронзовая.

— За что?

— Ведь вы серьезно ранены. Говорят так: если вы докажете, что совершили подвиг, получите серебряную. А не то будет бронзовая. Расскажите мне подробно, как было дело. Совершили подвиг?

— Нет,— сказал я.— Когда разорвалась мина, я ел сыр.

— Не дурите. Не может быть, чтоб вы не совершили какого-нибудь подвига или до того, или после. Припомните хорошенько.

— Ничего не совершал.

— Никого не переносили на плечах, уже будучи раненым? Гордини говорит, что вы перенесли на плечах несколько человек, но главный врач первого поста заявил, что это невозможно. А подписать представление к награде должен он.

— Никого я не носил. Я не мог шевельнуться.

— Это не важно,— сказал Ринальди.

Он снял перчатки.

— Все-таки мы, пожалуй, добьемся серебряной. Может быть, вы отказались принять медицинскую помощь раньше других?

— Не слишком решительно.

— Это не важно. А ваше решение? А мужество, которое вы проявили,— ведь вы же все время просились на передний край. К тому же операция закончилась успешно.

— Значит, реку удалось форсировать?

— Еще как удалось! Захвачено около тысячи пленных. Так сказано в сводке. Вы ее не видели?

— Нет.

— Я вам принесу. Это блестящий *сoup de main*¹.

— Ну, а как там у вас?

— Великолепно. Все обстоит великолепно. Все гордятся вами. Расскажите же мне, как было дело? Я уверен, что вы получите серебряную. Ну, говорите. Рассказывайте все по порядку.— Он помолчал, раздумывая.— Может быть, вы еще и английскую медаль получите. Там был один англичанин. Я его повидаю, спрошу, не согласится ли он поговорить о вас. Что-нибудь он, наверно, сумеет

¹ Выпад, удар (фр.).

сделать. Болит сильно? Выпейте. Вестовой, сходите за штопором. Посмотрели бы вы, как я удалил одному пациенту три метра тонких кишок. Об этом стоит написать в «Ланцет». Вы мне переведете, и я пошлю в «Ланцет». Я совершенствуюсь с каждым днем. Бедный мой бэби, а как ваше самочувствие? Где же этот чертов штопор? Вы такой терпеливый и тихий, что я забываю о вашей ране. — Он хлопнул перчатками по краю кровати.

— Вот штопор, *signor tenente*, — сказал вестовой.

— Откупорьте бутылку. Принесите стакан. Выпейте, бэби. Как ваша голова? Я смотрел историю болезни. Трепщины нет. Этот врач первого поста просто коновал. Я бы сделал все так, что вы бы и боли не почувствовали. У меня никто не чувствует боли. Уж так я работаю. С каждым днем я работаю все легче и лучше. Вы меня простите, бэби, что я так много болтаю. Я очень расстроен, что ваша рана серьезна. Ну, пейте. Хороший коньяк. Пятнадцать лир бутылка. Должен быть хороший. Пять звездочек. Прямо отсюда я пойду к этому англичанину, и он вам выхлопочет английскую медаль.

— Ее не так легко получить.

— Вы слишком скромны. Я пошлю офицера связи. Он умеет обращаться с англичанами.

— Вы не видели мисс Баркли?

— Я ее приведу сюда. Я сейчас же пойду и приведу ее сюда.

— Не уходите, — сказал я. — Расскажите мне о Горичии. Как девочки?

— Нет девочек. Уже две недели их не сменяли. Я больше туда и не хожу. Просто безобразие! Это уже не девочки, это старые боевые товарищи.

— Совсем не ходите?

— Только заглядываю иногда узнать, что нового. Так, мимоходом! Они все спрашивают про вас. Просто безобразие! Держат их так долго, что мы становимся друзьями.

— Может быть, нет больше желающих ехать на фронт?

— Не может быть. Девочек сколько угодно. Просто скверная организация. Придерживают их для тыловых героев.

— Бедный Ринальди! — сказал я. — Один-одинешпек на войне, и нет ему даже новых девочек.

Ринальди налил и себе коньяку.

— Это вам не повредит, бэби. Пейте.

Я вышел коньяк и почувствовал, как по всему телу разливается тепло. Ринальди налил еще стакан. Он немного успокоился. Он поднял свой стакан.

— За ваши доблестные раны! За серебряную медаль! Скажите-ка, бэби, все время лежать в такую жару — это вам не действует на нервы?

— Иногда.

— Я такого даже представить не могу. Я б с ума сошел.

— Вы и так сумасшедший.

— Хоть бы вы поскорее приехали. Не с кем возвращаться домой после ночных походов. Некого дразнить. Не у кого запясть денег. Нет моего сожителя и названного брата. И зачем вам понадобилась эта рана?

— Вы можете дразнить священника.

— Уж этот священник! Вовсе не я его дразню. Дразнит капитан. А мне он нравится. Если вам понадобится священник, берите нашего. Он собирается навестить вас. Готовится к этому заблаговременно.

— Я его очень люблю.

— Это я знаю. Мне даже кажется иногда, что вы с ним немножко то самое. Ну, вы знаете.

— Ничего вам не кажется.

— Нет, иногда кажется.

— Да ну вас к черту!

Он встал и надел перчатки.

— До чего ж я люблю вас изводить, бэби. А ведь, несмотря на вашего священника и вашу англичанку, вы такой же, как и я, в душе.

— Ничего подобного.

— Конечно, такой же. Вы настоящий итальянец. Весь — огонь и дым, а внутри ничего нет. Вы только прикидываетесь американцем. Мы с вами братья и любим друг друга.

— Ну, будьте пацанькой, пока меня нет, — сказал я.

— Я к вам пришлю мисс Баркли. Без меня вам с ней лучше. Вы чище и нежнее.

— Ну вас к черту!

— Я ее пришлю. Вам прекрасную холодную богиню. Английскую богиню. Господи, да что еще делать с такой женщиной, если не поклоняться ей? На что еще может годиться англичанка?

— Вы просто невеселый брехливый даго.

— Кто?

— Невежественный макаронник.

— Макаронник. Сами вы макаронник... с мороженой рожей.

— Невежественный. Тупой.— Я видел, что это слово кольнуло его, и продолжал: — Некультурный. Безграмотный. Безграмотный тупица.

— Ах, так? Я вот вам кое-что скажу о ваших певиных девушках. О ваших богинях. Между невинной девушкой и женщиной разница только одна. Когда берешь девушку, ей больно. Вот и все.— Он хлопнул перчаткой по кровати.— И еще с девушкой никогда не знаешь, как это ей понравится.

— Не злитесь.

— Я не злюсь. Я просто говорю вам это, бэби, для вашей же пользы. Чтобы избавить вас от лишних хлопот.

— В этом вся разница?

— Да. Но миллионы таких дураков, как вы, этого не знают.

— Очень мило с вашей стороны, что вы мне сказали.

— Не стоит ссориться, бэби. Я вас слишком люблю. Но не будьте дураком.

— Нет. Я буду таким умным, как вы.

— Не злитесь, бэби. Засмейтесь. Выпейте еще. Мне пора идти.

— Вы все-таки славный малый.

— Вот видите. В душе вы такой же, как я. Мы — братья по войне. Поцелуйте меня на прощанье.

— Вы слюняй.

— Нет. Просто во мне больше крепости.

Я почувствовал его дыхание у своего лица.

— До свидания. Я скоро к вам еще приду.— Его дыхание отодвинулось.— Не хотите целоваться — не надо. Я к вам пришлю вашу англичанку. До свидания, бэби. Коньяк под кроватью. Поправляйтесь скорее,

Он исчез.

Глава одиннадцатая

Уже смеркалось, когда вошел священник. Приносили суп, потом убрали тарелки, и я лежал, глядя на ряды коек и на верхушку дерева за окном, слегка качающуюся от легкого вечернего ветра. Ветер проникал в окно, и с приближением ночи стало прохладнее. Мухи облепили те-

перь потолок и висевшие на шнурах электрические лампы. Свет зажигали, только если ночью приносили раненого или когда что-нибудь делали в палате. Оттого что после сумерек сразу наступала темнота и уже до утра было темно, мне казалось, что я опять стал маленьким. Похоже было, как будто сейчас же после ужина тебя укладывают спать. Вестовой прошел между койками и остановился. С ним был еще кто-то. Это был священник. Он стоял передо мной, смуглый, невысокий и смущенный.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он. На полу у постели он положил какие-то свертки.

— Хорошо, отец мой.

Он сел на стул, принесенный для Ринальди, и смущенно поглядел в окно. Я заметил, что у него очень усталый вид.

— Я только на минутку, — сказал он. — Уже поздно.

— Еще не поздно. Как там у нас?

Он улыбнулся.

— Потешаются надо мной по-прежнему. — Голос у него тоже звучал устало. — Все, слава богу, здоровы. Я так рад, что у вас все обошлось, — сказал он. — Вам не очень больно?

Он казался очень усталым, а я не привык видеть его усталым.

— Теперь уже нет.

— Мне очень скучно без вас за столом.

— Я и сам хотел бы вернуться поскорее. Мне всегда приятно было беседовать с вами.

— Я вам тут кое-что принес, — сказал он. Он поднял с пола свертки. — Вот сетка от moskitov. Вот бутылка вермута. Вы любите вермут? Вот английские газеты.

— Пожалуйста, разверните их.

Он обрадовался и стал вскрывать бандероли. Я взял в руки сетку от moskitov. Вермут он приподнял, чтобы показать мне, а потом поставил опять на стол у постели. Я взял одну газету из пачки. Мне удалось прочитать заголовки, повернув газету так, чтобы на нее падал слабый свет из окна. Это была «Ньюс оф уорлд».

— Остальное — иллюстрированные листки, — сказал он.

— С большим удовольствием прочитаю их. Откуда они у вас?

— Я посылал за ними в Местре. Я достану еще.

— Вы очень добры, что павестили меня, отец мой. Выпьете стакан вермута?

— Спасибо, не стоит. Это вам.

— Нет, выпейте стаканчик.

— Ну, хорошо. В следующий раз я вам принесу еще.

Вестовой принес стаканы и откупорил бутылку. Пробка раскрошилась, и пришлось протолкнуть кусочек в бутылку. Я видел, что священника это огорчило, но он сказал:

— Ну, ничего. Не важно.

— За ваше здоровье, отец мой.

— За ваше здоровье.

Потом он держал стакан в руке, и мы глядели друг на друга. Время от времени мы пытались завести дружеский разговор, но это сегодня как-то не удавалось.

— Что с вами, отец мой? У вас очень усталый вид.

— Я устал, но я не имею на это права.

— Это от жары.

— Нет. Ведь еще только весна. На душе у меня тяжело.

— Вам опротивела война?

— Нет. Но я ненавижу войну.

— Я тоже не нахожу в ней удовольствия,— сказал я.

Он покачал головой и посмотрел в окно.

— Вам она не мешает. Вам она не видна. Простите. Я знаю, вы ранены.

— Это случайность.

— И все-таки, даже раненный, вы не видите ее. Я убежден в этом. Я сам не вижу ее, но я ее чувствую немного.

— Когда меня ранило, мы как раз говорили о войне. Пассини говорил.

Священник поставил стакан. Он думал о чем-то другом.

— Я их понимаю, потому что я сам такой, как они,— сказал он.

— Но вы совсем другой.

— А на самом деле я такой же, как они.

— Офицеры ничего не видят.

— Не все. Есть очень чуткие, им еще хуже, чем нам.

— Таких немного.

— Здесь дело не в образовании и не в деньгах. Здесь что-то другое. Такие люди, как Пассини, даже имея образование и деньги, не захотели бы быть офицерами. Я бы не хотел быть офицером.

— По чину вы все равно что офицер. И я офицер.

— Нет, это не все равно. А вы даже не итальянец. Вы иностранный подданный. Но вы ближе к офицерам, чем к рядовым.

— В чем же разница?

— Мне трудно объяснить. Есть люди, которые хотят воевать. В нашей стране много таких. Есть другие люди, которые не хотят воевать.

— Но первые заставляют их.

— Да.

— А я помогаю этому.

— Вы иностранец. Вы патриот.

— А те, что не хотят воевать? Могут они помешать войне?

— Не знаю.

Он снова посмотрел в окно. Я следил за выражением его лица.

— Разве они когда-нибудь могли помешать?

— Они не организованы и поэтому не могут помешать ничему, а когда они организуются, их вожди предают их.

— Значит, это безнадежно?

— Нет ничего безнадежного. Но бывает, что я не могу надеяться. Я всегда стараюсь надеяться, но бывает, что не могу.

— Но война копчится же когда-нибудь?

— Надеюсь.

— Что вы тогда будете делать?

— Если можно будет, вернусь в Абруццы.

Его смуглое лицо вдруг осветилось радостью.

— Вы любите Абруццы?

— Да, очень люблю.

— Вот и поезжайте туда.

— Это было бы большое счастье. Жить там и любить бога и служить ему.

— И пользоваться уважением, — сказал я.

— Да, и пользоваться уважением. А что?

— Ничего. У вас для этого есть все основания.

— Не в том дело. Там, на моей родине, считается естественным, что человек может любить бога. Это не гнусная комедия.

— Понимаю.

Он посмотрел на меня и улыбнулся.

— Вы понимаете, но вы не любите бога.

— Нет.

- Совсем не любите? — спросил он.
- Иногда по ночам я боюсь его.
- Лучше бы вы любили его.
- Я мало кого люблю.
- Нет,— сказал он.— Неправда. Те ночи, о которых вы мне рассказывали. Это не любовь. Это только похоть и страсть. Когда любишь, хочется что-то делать во имя любви. Хочется жертвовать собой. Хочется служить.
- Я никого не люблю.
- Вы полюбите. Я знаю, что полюбите. И тогда вы будете счастливы.
- Я и так счастлив. Всегда счастлив.
- Это совсем другое. Вы не можете понять, что это, пока не испытаете.
- Хорошо,— сказал я,— если когда-нибудь я пойму, я скажу вам.
- Я слишком долго сижу с вами и слишком много болтаю.— Он искренне забеспокоился.
- Нет. Не уходите. А любовь к женщине? Если б я в самом деле полюбил женщину, тоже было бы так?
- Этого я не знаю. Я не любил ни одной женщины.
- А свою мать?
- Да, мать я, вероятно, любил.
- Вы всегда любили бога?
- С самого детства.
- Так,— сказал я. Я не знал, что сказать.— Вы совсем еще молоды.
- Я молод,— сказал он.— Но вы зовете меня отцом.
- Это из вежливости.
- Он улыбнулся.
- Правда, мне пора идти,— сказал он.— Вам от меня ничего не нужно? — спросил он с надеждой.
- Нет. Только разговаривать с вами.
- Я передам от вас привет всем нашим.
- Спасибо за подарки.
- Не стоит.
- Приходите еще навестить меня.
- Приду. До свидания.— Он потрепал меня по руке.
- Прощайте,— сказал я на диалекте.
- Сiao,— повторил он.

В комнате было темно, и вестовой, который все время сидел в ногах постели, встал и пошел его проводить. Священник мне очень нравился, и я желал ему когда-нибудь возвратиться в Абруццы. В офицерской столовой ему

отравляли жизнь, и он очень мило сносил это, но я думал о том, какой он у себя на родине. В Капракотта, рассказывал он, в речке под самым городом водится форель. Запрещено играть на флейте по ночам. Молодые люди поют серенады, и только играть на флейте запрещено. Я спросил — почему. Потому что девушкам вредно слушать флейту по ночам. Крестьяне зовут вас «дон» и снимают при встрече шляпу. Его отец каждый день охотится и заходит поест в крестьянские хижинки. Там это за честь считают. Иностранцу, чтобы получить разрешение на охоту, надо представить свидетельство, что он никогда не подвергался аресту. На Гран-Сассо-д'Италия водятся медведи, но это очень далеко. Аквила — красивый город. Летом по вечерам прохладно, а весна в Абруццах самая прекрасная во всей Италии. Но лучше всего осень, когда можно охотиться в каштановых рощах. Дичь очень хороша, потому что питается виноградом. И завтрака с собой никогда не нужно брать, крестьяне считают за честь, если поешь у них в доме вместе с ними. Немного погода я заснул.

Глава двенадцатая

Палата была длинная, с окнами по правой стене и дверью в углу, которая вела в перевязочную. Один ряд коек, где была и моя, стоял вдоль стены, напротив окон, а другой — под окнами, напротив стены. Лежа на левом боку, я видел дверь перевязочной. В глубине была еще одна дверь, в которую иногда входили люди. Когда у кого-нибудь начиналась агония, его койку загораживали ширмой так, чтобы никто не видел, как он умирает, и только башмаки и обмотки врачей и санитаров видны были из-под ширмы, а иногда под конец слышался шепот. Потом из-за ширмы выходил священник, и тогда санитары снова заходили за ширму и выносили оттуда умершего, с головой накрытого одеялом, и несли его вдоль прохода между койками, и кто-нибудь складывал ширму и убирал ее.

В это утро палатный врач спросил меня, чувствую ли я себя в силах завтра выехать. Я сказал, что да. Он сказал, что в таком случае меня отправят рано утром. Для меня лучше, сказал он, совершить переезд теперь, пока еще не слишком жарко.

Когда поднимали с койки, чтобы нести в перевязочную, можно было посмотреть в окно и увидеть новые могилы

в саду. Там, у двери, выходящей в сад, сидел солдат, который мастерил кресты и писал на них имена, чины и названия полка тех, кто был похоронен в саду. Он также выполнял поручения раненых и в свободное время сделал мне зажигалку из пустого патрона от австрийской винтовки. Врачи были очень милые и казались очень опытными. Им непременно хотелось отправить меня в Милан. Нас торопились всех выписать и отправить в тыл, чтобы освободить все койки к началу наступления.

Вечером, накануне моего отъезда из полевого госпиталя, пришел Ринальди и с ним наш главный врач. Они сказали, что меня отправляют в Милан, в американский госпиталь, который только что открылся. Ожидалось прибытие из Америки нескольких санитарных отрядов, и этот госпиталь должен был обслуживать их и всех других американцев в итальянской армии. В Красном Кресте их было много. Соединенные Штаты объявили войну Германии, но не Австрии.

Итальянцы были уверены, что Америка объявит войну и Австрии, и поэтому они очень радовались приезду американцев, хотя бы просто служащих Красного Креста. Меня спросили, как я думаю, объявит ли президент Вильсон войну Австрии, и я сказал, что это вопрос дней. Я не знал, что мы имеем против Австрии, но казалось логичным, что раз объявили войну Германии, значит, объявят и Австрии. Меня спросили, объявим ли мы войну Турции. Я сказал: да, вероятно, мы объявим войну Турции. А Болгарии? Мы уже выпили несколько стаканов коньяку, и я сказал: да, черт побери, и Болгарии тоже и Японии. Как же так, сказали они, ведь Япония союзница Англии. Все равно, этим гадам англичанам доверять нельзя. Японцы хотят Гавайские острова, сказал я. А где это Гавайские острова? В Тихом океане. А почему японцы их хотят? Да они их и не хотят вовсе, сказал я. Это все одни разговоры. Японцы прелестный маленький народ, любят танцы и легкое вино. Совсем как французы, сказал майор. Мы отнимем у французов Ниццу и Савойю. И Корсику отнимем, и Адриатическое побережье, сказал Ринальди. К Италии возвратится величие Рима, сказал майор. Мне не нравится Рим, сказал я. Там жарко и полно блох. Вам не нравится Рим? Нет, я люблю Рим. Рим — мать народов. Никогда не забуду, как Ромул сосал Тибр. Что? Ничего. Поедьте все в Рим. Поедьте в Рим сегодня вечером и больше не вернемся. Рим — прекрасный город, сказал майор. Отец и мать на-

родов, сказал я. Рома женского рода, сказал Ринальди. Рома не может быть отцом. А кто же тогда отец? Святой дух? Не богохульствуйте. Я не богохульствую, я прошу разъяснения. Вы пьяны, бэби. Кто меня напоил? Я вас напоил, сказал майор. Я вас напоил, потому что люблю вас и потому что Америка вступила в войну. Дальше некуда, сказал я. Вы утром уезжаете, бэби, сказал Ринальди. В Рим, сказал я. Нет, в Милан, сказал майор, в «Кристалл-Палас», в «Кова», к Кампари, к Биффи, в Galleria. Счастличик. В «Гран-Италия», сказал я, где я возьму займы у Жоржа. В «Ла Скала», сказал Ринальди. Вы будете ходить в «Ла Скала». Каждый вечер, сказал я. Вам будет не по карману каждый вечер, сказал майор. Билеты очень дороги. Я выпишу предъявительский чек на своего дедушку, сказал я. Какой чек? Предъявительский. Он должен уплатить, или меня посадят в тюрьму. Мистер Кэнингэм в банке устроит мне это. Я живу предъявительскими чеками. Неужели дедушка отправит в тюрьму патриота-внука, который умирает за спасение Италии? Да здоровствует американский Гарибальди, сказал Ринальди. Да здоровствуют предъявительские чеки, сказал я. Не надо шуметь, сказал майор. Нас уже несколько раз просили не шуметь. Так вы правда завтра едете, Федерико? Я же вам говорил, он едет в американский госпиталь, сказал Ринальди. К красоткам сестрам. Не то что бородатые сиделки полевого госпиталя. Да, да, сказал майор, я знаю, что он едет в американский госпиталь. Мне не мешают бороды, сказал я. Если кто хочет отпустить бороду — на здоровье. Отчего бы вам не отпустить бороду, *signor maggiore*? Она не влезет в противогаз. Влезет. В противогаз все влезет. Я раз наблевал в противогаз. Не так громко, бэби, сказал Ринальди. Мы все знаем, что вы были на фронте. Ах вы, милый бэби, что я буду делать, когда вы уедете? Нам пора, сказал майор. А то начинают сентименты. Слушайте, у меня для вас есть сюрприз. Ваша англичанка. Знаете? Та, к которой вы каждый вечер ходили в английский госпиталь? Она тоже едет в Милан. Она и еще одна сестра едут на службу в американский госпиталь. Из Америки еще не прибыли сестры. Я сегодня говорил с начальником их *riparto*¹. У них слишком много женщин здесь, на фронте. Решили отправить часть в тыл. Как это вам нравится, бэби? Ничего? А? Будете

¹ Отряд (*ит.*).

жить в большом городе и любезничать со своей англичанкой. Почему я не ранен? Еще успеете, сказал я. Нам пора, сказал майор. Мы пьем и шумим и беспокоим Федерико. Не уходите. Нет, нам пора. До свидания. Счастливого пути. Всего хорошего. Ciao. Ciao. Ciao. Поскорее возвращайтесь, бэби. Ринальди поцеловал меня. От вас пахнет лизолом. До свидания, бэби. До свидания. Всего хорошего. Майор похлопал меня по плечу. Они вышли на цыпочках. Я чувствовал, что совершенно пьян, но заснул.

На следующее утро мы выехали в Милан и ровно через двое суток прибыли на место. Ехать было скверно, Мы долго стояли на запасном пути, не доезжая Местре, и ребяташки подходили и заглядывали в окна. Я уговорил одного мальчика сходить за бутылкой коньяку, но он вернулся и сказал, что есть только граппа. Я велел ему взять граппу, и когда он принес бутылку, я сказал, чтобы сдачу он оставил себе, и мой сосед и я напились пьяными и проспали до самой Виченцы, где я проснулся, и меня вырвало прямо на пол. Это не имело значения, потому что моего соседа несколько раз вырвало на пол еще раньше. Потом я думал, что умру от жажды, и на остановке в Вероне я окликнул солдата, который прохаживался взад и вперед у поезда, и он принес мне воды. Я разбудил Жоржетти, соседа, который напился вместе со мной, и предложил ему воды. Он сказал, чтобы я ее вылил ему на голову, и снова заснул. Солдат не хотел брать монету, которую я предложил ему за труды, и принес мне мясистый апельсин. Я сосал и выплевывал кожицу и смотрел, как солдат ходит взад и вперед у товарного вагона на соседнем пути, и немного погодя поезд дернул и тронулся.

Глава тринадцатая

Мы приехали в Милан рано утром, и нас выгрузили на товарной станции. Санитарный автомобиль повез меня в американский госпиталь. Лежа в автомобиле на носилках, я не мог определить, какими улицами мы едем, но когда носилки вытащили, я увидел рыночную площадь и распахнутую дверь закусочной, откуда девушка выметала сор. Улицу поливали, и пахло ранним утром. Санитары поставили носилки на землю и вошли в дом. Потом они вернулись вместе со швейцаром. Швейцар был седоусый, в фуражке с галунами, но без ливреи. Носилки не умещались в кабине лифта, и они заспорили, что лучше: снять ли меня с носилок и поднять на лифте или нести на носилках по лестнице. Я слушал их спор. Они порешили — на лифте. Меня стали поднимать с носилок.

— Легче, легче, — сказал я. — Осторожнее.

В кабине было тесно, и когда мои ноги согнулись, мне стало очень больно.

— Выпрямите мои ноги, — сказал я.

— Нельзя, signor tenente. Не хватает места.

Человек, сказавший это, поддерживал меня одной рукой, а я его обхватил за шею. Его дыхание обдало меня мсталическим запахом чеснока и красного вина.

— Ты потише, — сказал другой санитар.

— А что я, не тихо, что ли?

— Потише, говорят тебе, — повторил другой, тот, что держал мои ноги.

Я увидел, как затворились двери кабины, захлопнулась решетка и швейцар надавил кнопку четвертого этажа. У швейцара был озабоченный вид. Лифт медленно пошел вверх.

— Тяжело? — спросил я человека, от которого пахло чесноком.

— Ничего, — сказал он. На лице у него выступил пот, и он крихтел. Лифт поднимался все выше и наконец остановился. Человек, который держал мои ноги, отворил дверь и вышел. Мы очутились на площадке. На площадку выходило несколько дверей с медными ручками. Человек, который держал мои ноги, нажал кнопку. Мы услышали, как за дверью затрещал звонок. Никто не отозвался. Потом по лестнице поднялся швейцар.

— Где они все? — спросили санитары.

— Не знаю, — сказал швейцар. — Они спят внизу.

— Позовите кого-нибудь.

Швейцар позвонил, потом постучался, потом отворил дверь и вошел. Когда он вернулся, за ним шла пожилая женщина в очках. Волосы ее были растрепаны, и прическа разваливалась, она была в форме сестры милосердия.

— Я не понимаю, — сказала она. — Я не понимаю по-итальянски.

— Я говорю по-английски, — сказал я. — Нужно устроить меня куда-нибудь.

— Ни одна палата не готова. Мы еще никого не ждали.

Она старалась подобрать волосы и близоруко щурилась на меня.

— Покажите, куда меня положить.

— Не знаю, — сказала она. — Мы никого не ждали. Я не могу положить вас куда попало.

— Все равно куда, — сказал я. Затем швейцару по-итальянски: — Найдите свободную комнату.

— Они все свободны, — сказал швейцар. — Вы здесь первый раненый. — Он держал фуражку в руке и смотрел на пожилую сестру.

— Да положите вы меня куда-нибудь, ради бога! — Боль в согнутых ногах все усиливалась, и я чувствовал, как она насквозь пронизывает кость. Швейцар скрылся за дверью вместе с седой сестрой и быстро вернулся.

— Идите за мной, — сказал он. Меня понесли длинным коридором и внесли в комнату со спущенными шторами. В ней пахло новой мебелью. У стены стояла кровать, в углу — большой зеркальный шкаф. Меня положили на кровать.

— Я не могу дать простынь, — сказала женщина, — простыни все заперты.

Я не стал разговаривать с ней.

— У меня в кармане деньги,— сказал я швейцару.— В том, который застегнут на пуговицу.

Швейцар достал деньги. Оба санитара стояли у постели с шапками в руках.

— Дайте им обоим по пять лир и пять лир возьмите себе. Мои бумаги в другом кармане. Можете отдать их сестре.

Санитары взяли под козырек и сказали спасибо.

— До свидания,— сказал я.— Вам тоже большое спасибо.

Они еще раз взяли под козырек и вышли.

— Вот,— сказал я сестре,— это моя карточка и история болезни.

Женщина взяла бумаги и посмотрела на них сквозь очки. Бумаг было три, и они были сложены.

— Я не знаю, что делать,— сказала она.— Я не умею читать по-итальянски. Я ничего не могу сделать без распоряжения врача.— Она расплакалась и сунула бумаги в карман передника.— Вы американец? — спросила она сквозь слезы.

— Да. Положите, пожалуйста, бумаги на столик у кровати.

В комнате было полутемно и прохладно. С кровати мне было видно большое зеркало в шкафу, но не было видно, что в нем отражалось. Швейцар стоял в ногах кровати. У него было славное лицо, и он казался мне добрым.

— Вы можете идти,— сказал я ему.— И вы тоже,— сказал я сестре.— Как вас зовут?

— Миссис Уокер.

— Идите, миссис Уокер. Я попытаюсь уснуть.

Я остался один в комнате. В ней было прохладно и не пахло больницей. Матрац был тугой и удобный, и я лежал не двигаясь, почти не дыша, радуясь, что боль утихает. Немного погодя мне захотелось пить, и я пашел у изголовья грушу звонка и позвонил, но никто не явился. Я заснул.

Проснувшись, я огляделся по сторонам. Сквозь ставни проникал солнечный свет. Я увидел большой гардероб, голые стены и два стула. Мои ноги в грязных биптах, как палки, торчали на кровати. Я старался не шевелить ими. Мне хотелось пить, и я потянулся к звонку и нажал кнопку. Я услышал, как отворилась дверь, и оглянулся, и увидел сестру, не вчерашнюю, а другую. Она показалась мне молодой и хорошенькой.

— Доброе утро,— сказал я.

— Доброе утро,— сказала она и подошла к кровати.— Нам не удалось вызвать доктора. Он уехал на Комо. Мы не знали, что сегодня привезут кого-нибудь. А что у вас?

— Я ранен. Оба колена и ступни, и голова тоже задета.

— Как вас зовут?

— Генри, Фредерик Генри.

— Я сейчас вас умою. Но повязок мы не можем трогать до прихода доктора.

— Скажите, мисс Баркли здесь?

— Нет. У нас такой нет.

— Что это за женщина, которая плакала, когда меня привезли?

Сестра рассмеялась.

— Это миссис Уокер. Она дежурила ночью и заснула. Она не думала, что кого-нибудь привезут.

Разговаривая, она раздевала меня, и когда сняла все, кроме повязок, то стала меня умывать, очень легко и ловко. Умывание меня очень освежило. Голова моя была забинтована, но она обмыла везде вокруг бинта.

— Где вы получили ранение?

— На Изонцо, к северу от Плавы.

— Где это?

— К северу от Гориции.

Я видел, что все эти названия ничего не говорят ей.

— Вам очень больно?

Она вложила мне градусник в рот.

— Итальянцы ставят под мышку,— сказал я.

— Не разговаривайте.

Вынув градусник, она посмотрела температуру и сейчас же стряхнула.

— Какая температура?

— Вам не полагается знать.

— Скажите какая.

— Почти нормальная.

— У меня никогда не поднимается температура. А ведь мои ноги набиты старым железом.

— То есть как это?

— Там и осколки мины, и старые гвозди, и пружины от матраца, и всякий хлам.

Она покачала головой и улыбнулась.

— Если б у вас было в ноге хоть одно постороннее тело, оно дало бы воспаление, и у вас поднялась бы температура.

— А вот посмотрим,— сказал я,— увидим, что извлекут при операции.

Она вышла из комнаты и возвратилась вместе с пожилой сестрой, которая дежурила ночью. Вдвоем они постелили мне простыни, не поднимая меня. Это было ново для меня и очень ловко проделано.

— Кто заведует госпиталем?

— Мисс Ван-Кампен.

— Сколько тут сестер?

— Только мы две.

— А больше не будет?

— Должны приехать еще.

— А когда?

— Не знаю. Нельзя больному быть таким любопытным.

— Я не большой,— сказал я.— Я раненый.

Они покончили с постелью, и я лежал теперь на свежей, чистой простыне, укрытый другой такой же. Миссис Уокер вышла и возвратилась с пижамой в руках. Они натянули ее на меня, и я почувствовал себя одетым и очень чистым.

— Вы страшно любезны,— сказал я. Сестра, которую звали мисс Гэйдж, усмехнулась.— Я хотел бы попросить стакан воды.

— Пожалуйста. А потом можно и позавтракать.

— Я не хочу завтракать. Если можно, я попросил бы открыть ставни.

В комнате был полумрак, и когда ставни раскрыли, ее наполнил яркий солнечный свет, и я увидел балкон и за ним черепицы крыши и дымовые трубы. Я посмотрел вверх черепичных крыш и увидел белые облака и очень синее небо.

— Вы не знаете, когда должны присхать остальные сестры?

— А что? Разве вы недовольны нашим уходом?

— Вы очень любезны.

— Может быть, вам нужен подсов?

— Пожалуй.

Они приподняли меня и поддержали, но это оказалось бесполезным. Потом я лежал и глядел в открытую дверь на балкон.

— Когда доктор должен прийти?

— Как только вернется. Мы звонили по телефону на Комо, чтобы он приехал.

- Разве нет других врачей?
- Он наш госпитальный врач.

Мисс Гэйдж принесла графин с водой и стакан. Я выпил три стакана, и потом они обе ушли, и я еще некоторое время смотрел в окно и потом снова заснул. Второй завтрак я съел, а после завтрака ко мне зашла заведующая, мисс Ван-Кампен. Я ей не понравился, и она не понравилась мне. Она была маленького роста, мелочно подозрительная и надутая высокомерием. Она задала мне множество вопросов и, по-видимому, считала почти позором службу в итальянской армии.

- Можно мне получить вина к обеду? — спросил я.
- Только по предписанию врача.
- А до его прихода нельзя?
- Ни в коем случае.
- Вы полагаете, что он все-таки явится?
- Ему звонили по телефону.

Она ушла, и в комнату вернулась мисс Гэйдж.

— Зачем вы нагрубили мисс Ван-Кампен? — спросила она, после того как очень ловко сделала для меня все, что нужно.

- Я не хотел грубить, но она очень задирает нос.
- Она сказала, что вы требовательны и грубы.
- Ничего подобного. Но, в самом деле, что за госпиталь без врача?
- Он должен приехать. Ему звонили по телефону на Комо.
- А что он там делает? Купается в озере?
- Нет. У него там клиника.
- Почему же не возьмут другого врача?
- Ш-ш. Ш-ш. Будьте пайнойкой, и он скоро приседет.

Я попросил позвать швейцара, и когда он пришел, сказал ему по-итальянски, чтобы он купил мне бутылку чинцано в винной лавке, флягу кьянти и вечернюю газету. Он пошел и принес бутылки завернутыми в газету, развернул их, откупорил по моей просьбе и поставил под кровать. Больше ко мне никто не приходил, и я лежал в постели и читал газету, известия с фронта и списки убитых офицеров и полученных ими наград, а потом опустил вниз руку, и достал бутылку с чинцано, и поставил ее холодным дном себе на живот, и пил поемножку, и между глотками снова ставил бутылку на живот, отпечатывая кружки на коже, и смотрел, как небо над городскими крышами становится все темней и темней. Над крышами ле-

тали ласточки и летали ночные ястребы, и я следил за их полетом и пил чинцано. Мисс Гэйдж принесла мне гоголь-моголь в стакане. Когда она вошла, я сунул бутылку за кровать.

— Мисс Ван-Кампен велела подлить сюда немного хересу,— сказала она.— Не нужно ей грубить. Она уже не молода, а заведовать госпиталями — большая ответственность. Миссис Уокер слишком стара, и от нее очень мало помощи.

— Она замечательная женщина,— сказал я,— поблагодарите ее от меня.

— Я сейчас принесу вам поужинать.

— Не стоит,— сказал я.— Я не голоден.

Когда она внесла поднос и поставила его на столик у постели, я поблагодарил ее и немного поел. Потом стало совсем темно, и мне видно было, как по небу сновали лучи прожекторов. Некоторое время я следил за ними, а потом заснул. Я спал крепко, но один раз проснулся весь в поту от страха и потом заснул снова, стараясь не возвращаться в только что виденный сон. Я проснулся опять задолго до рассвета, и слышал, как пели петухи, и лежал без сна, пока не пачало светать. Это утомило меня, и когда совсем рассвело, я снова заснул.

Глава четырнадцатая

Солнце ярко светило в комнату, когда я проснулся. Мне показалось, что я опять на фронте, и я вытянулся на постели. Стало больно в ногах, и я посмотрел на них и, увидев грязные бинты, вспомнил, где пахожусь. Я потянулся к звонку и нажал кнопку. Я услышал, как в коридоре затрещал звонок и кто-то, мягко ступая резиновыми подошвами, прошел по коридору. Это была мисс Гэйдж; при ярком солнечном свете она казалась старше и не такой хорошепкой.

— Доброе утро,— сказала она.— Ну, как спали?

— Хорошо, благодарю вас,— сказал я.— Нельзя ли позвать ко мне парикмахера?

— Я заходила к вам, и вы спали вот с этим в руках.— Она открыла шкаф и показала мне бутылку с чинцано. Бутылка была почти пуста.— Я и другую бутылку из-под кровати тоже поставила туда,— сказала она.— Почему вы не попросили у меня стакап?

— Я боялся, что вы не позволите мне пить.

— Я бы и сама выпила с вами.

— Вот это вы молодец.

— Вам вредно пить одному,— сказала она.— Никогда этого не делайте.

— Больше не буду.

— Ваша мисс Баркли приехала,— сказала она,

— Правда?

— Да. Она мне не нравится.

— Потом понравится. Она очень славная.

Она покачала головой.

— Не сомневаюсь, что она чудо. Вы можете немножко подвинуться сюда? Вот так, хорошо. Я вас приведу в порядок к завтраку.— Она умыла меня с помощью тряпочки, мыла и теплой воды.— Приподнимите руку,— сказала она.— Вот так, хорошо.

— Нельзя ли, чтоб парикмахер пришел до завтрака?

— Сейчас скажу швейцару.— Она вышла и скоро вернулась.— Швейцар пошел за ним,— сказала она и опустила тряпочку в таз с водой.

Парикмахер пришел вместе со швейцаром. Это был человек лет пятидесяти, с подкрученными кверху усами. Мисс Гэйдж кончила свои дела и вышла, а парикмахер намылил мне щеки и стал брить. Он делал все очень торжественно и воздерживался от разговора.

— Что же вы молчите? Рассказывайте новости,— сказал я.

— Какие новости?

— Все равно какие. Что слышно в городе?

— Теперь война,— сказал он.— У неприятеля повсюду уши.— Я оглянулся на него.— Пожалуйста, не вертите головой,— сказал он и продолжал брить.— Я ничего не скажу.

— Да что с вами такое? — спросил я.

— Я итальянец. Я не вступаю в разговоры с неприятелем.

Я не настаивал. Если он сумасшедший, то чем скорее он уберет от меня бритву, тем лучше. Один раз я попытался рассмотреть его.

— Берегитесь,— сказал он.— Бритва острая.

Когда он кончил, я уплатил что следовало и прибавил пол-лиры на чай. Он вернул мне деньги.

— Я не возьму. Я не на фронте. Но я итальянец.

— Убирайтесь к черту!

— С вашего разрешения,— сказал он и завернул свои бритвы в газету. Он вышел, оставив пять медных монет на столике у кровати. Я позвонил. Вошла мисс Гэйдж.

— Будьте так добры, пришлите ко мне швейцара.

— Пожалуйста.

Швейцар пришел. Он с трудом удерживался от смеха.

— Что, этот парикмахер сумасшедший?

— Нет, *signorino*. Он ошибся. Он меня не расслышал, и ему показалось, будто я сказал, что вы австрийский офицер.

— О, господи,— сказал я.

— Ха-ха-ха,— захохотал швейцар.— Вот потеха! «Только пошевелись он, говорит, и я бы ему...» — Швейцар провел пальцем по шее.— Ха-ха-ха! — Он никак не мог удержаться от смеха.— А когда я сказал ему, что вы не австриец!.. Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха,— сказал я сердито.— Вот была бы потеха, если б он перерезал мне глотку. Ха-ха-ха.

— Да нет же, *signorino*. Нет, нет. Он до смерти испугался австрийца. Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха,— сказал я.— Убирайтесь вон.

Он вышел, и мне было слышно, как он хохочет за дверью. Я услышал чьи-то шаги в коридоре. Я оглянулся на дверь. Это была Кэтрин Баркли.

Она вошла в комнату и подошла к постели.

— Здравствуйте, милый! — сказала она. Лицо у нее было свежее и молодое и очень красивое. Я подумал, что никогда не видел такого красивого лица.

— Здравствуйте! — сказал я. Как только я ее увидел, я понял, что влюблен в нее. Все во мне перевернулось. Она посмотрела на дверь и увидела, что никого нет. Тогда она присела на край кровати, наклонилась и поцеловала меня. Я притянул ее к себе и поцеловал и почувствовал, как бьется ее сердце.

— Милая моя,— сказал я.— Как хорошо, что вы приехали.

— Это было нетрудно. Вот остаться, пожалуй, будет труднее.

— Вы должны остаться,— сказал я.— Вы прелесть.— Я был как сумасшедший. Мне не верилось, что она действительно здесь, и я крепко прижимал ее к себе.

— Не надо,— сказала она.— Вы еще нездоровы,
— Я здоров. Иди ко мне.
— Нет. Вы еще слабы.
— Да. Ничего я не слаб. Иди.
— Вы меня любите?
— Я тебя очень люблю. Я просто с ума схожу. Ну иди же.

— Слышите, как сердце бьется?
— Что мне сердце? Я хочу тебя. Я с ума схожу.
— Вы меня правда любите?
— Перестань говорить об этом. Иди ко мне. Ты слышишь? Иди, Кэтрин.
— Ну, хорошо, но только на минутку.
— Хорошо,— сказал я.— Закрой дверь.
— Нельзя. Сейчас нельзя.
— Иди. Не говори ничего. Иди ко мне.

Кэтрин сидела в кресле у кровати. Дверь в коридор была открыта. Безумие миновало, и мне было так хорошо, как ни разу в жизни.

Она спросила:

— Теперь ты веришь, что я тебя люблю?
— Ты моя дорогая,— сказал я.— Ты останешься здесь. Тебя никуда не переведут. Я с ума схожу от любви к тебе.
— Мы должны быть страшно осторожны. Мы совсем голову потеряли. Так нельзя.
— Ночью можно.
— Мы должны быть страшно осторожны. Ты должен быть осторожен при посторонних.
— Я буду осторожен.
— Ты должен, непременно. Ты хороший. Ты меня любишь, да?
— Не говори об этом. А то я тебя не отпущу.
— Ну, я больше не буду. Ты должен меня отпустить. Мне пора идти, милый, правда.
— Возвращайся сейчас же.
— Я вернусь, как только можно будет.
— До свидания.
— До свидания, хороший мой.

Она вышла. Видит бог, я не хотел влюбляться в нее. Я ни в кого не хотел влюбляться. Но, видит бог, я влюбился и лежал на кровати в миланском госпитале, и всякие

мысли кружились у меня в голове, и мне было удивительно хорошо, и наконец в комнату вошла мисс Гэйдж.

— Доктор приезжает,— сказала она.— Он звонил с Комо.

— Когда он будет здесь?

— Он придет вечером.

Глава пятнадцатая

До вечера ничего не произошло. Доктор был тихий худенький человек, которого война, казалось, выбила из колеи. С деликатным и утонченным отвращением он извлек из моего бедра несколько мелких стальных осколков. Он применил местную анестезию, или, как он говорил, «замораживание», от которого ткани одеревенели и боль не чувствовалась, пока зонд, скальпель или ланцет не проникли глубже замороженного слоя. Можно было точно определить, где этот слой кончается, и вскоре деликатность доктора истощилась, и он сказал, что лучше прибегнуть к рентгену. Зондирование ничего не дает, сказал он.

Рентгеновский кабинет был при Ospedale Maggiore ¹, и доктор, который делал просвечивание, был шумный, ловкий и веселый. Пациента поддерживали за плечи, так что он сам мог видеть на экране самые крупные из инородных тел. Снимки должны были прислать потом. Доктор попросил меня написать в его записной книжке мое имя, полк и что-нибудь на память. Он объявил, что все инородное — безобразие, мерзость, гадость. Австрийцы просто сукины дети. Скольких я убил? Я не убивал ни одного, но мне очень хотелось сказать ему приятное, и я сказал, что убил тьму австрийцев. Со мной была мисс Гэйдж, и доктор обнял ее за талию и сказал, что она прекраснее Клеопатры. Понятно ей? Клеопатра — бывшая египетская царица. Да, как бог свят, она прекраснее. Санитарная машина отвезла нас обратно, в наш госпиталь, и через некоторое время, после многих переключиваний с носилок на носилки, я наконец очутился наверху, в своей постели. После обеда прибыли снимки; доктор пообещал, что, как бог свят, они будут готовы после обеда, и сдержал обещание. Кэтрин Баркли показала мне снимки. Они были в красных кон-

¹ Главный госпиталь (ит.).

вертах, и она вынула их из конвертов, и мы вместе рассматривали их на свет.

— Это правая нога,— сказала она и вложила снимок опять в конверт.— А это левая.

— Положи их куда-нибудь,— сказал я,— а сама иди ко мне.

— Нельзя,— сказала она.— Я пришла только на минуточку, показать тебе снимки.

Она ушла, и я остался один. День был жаркий, и мне очень надоело лежать в постели. Я попросил швейцара пойти купить мне газеты, все газеты, какие только можно достать.

Пока я его дожидался, в комнату вошли три врача. Я давно заметил, что врачи, которым не хватает опыта, склонны прибегать друг к другу за помощью и советом. Врач, который не в состоянии как следует вырезать вам аппендикс, пошлет вас к другому, который не сумеет толком удалить вам гланды. Эти три врача были тоже из таких.

— Вот наш молодой человек,— сказал госпитальный врач, тот, у которого были деликатные движения.

— Здравствуйте,— сказал высокий, худой врач с бородой. Третий врач, державший в руках рентгеновские снимки в красных конвертах, ничего не сказал.

— Снимем повязки? — вопросительно произнес врач с бородой.

— Безусловно. Снимите, пожалуйста, повязки, сестра,— сказал госпитальный врач мисс Гэйдж.

Мисс Гэйдж сняла повязки. Я посмотрел на свои ноги. Когда я лежал в полевом госпитале, они были похожи на заветривший мясной фарш. Теперь их покрывала корка, и колено распухло и побелело, а икра обмякла, но гноя не было.

— Очень чисто,— сказал госпитальный врач.— Очень чисто и хорошо.

— Гм,— сказал врач с бородой. Третий врач заглянул через плечо госпитального врача.

— Согните, пожалуйста, колено,— сказал бородатый врач.

— Не могу.

— Проверим функционирование сустава? — вопросительно произнес бородатый врач. У него на рукаве, кроме трех звездочек, была еще полоска. Это означало, что он состоит в чине капитана медицинской службы.

— Безусловно,— сказал госпитальный врач. Вдвоем они осторожно взяли за мою правую ногу и стали сгибать ее.

— Больно,— сказал я.

— Так, так. Еще немножко, доктор.

— Довольно. Дальше не идет,— сказал я.

— Функционирование неполное,— сказал бородатый врач. Он выпрямился.— Разрешите еще раз взглянуть на снимки, доктор.— Третий врач подал ему один из снимков.— Нет. Левую ногу, пожалуйста.

— Это левая нога, доктор.

— Да, верно. Я смотрел не с той стороны.— Он вернул снимок. Другой снимок он разглядывал несколько минут.— Видите, доктор? — Он указал на одно из инородных тел, ясно и отчетливо видимое на свет. Они рассматривали снимок еще несколько минут.

— Я могу сказать только одно,— сказал бородатый врач в чине капитана.— Это вопрос времени. Месяца три, а возможно, и полгода.

— Безусловно, ведь должна накопиться вновь синовиальная жидкость.

— Безусловно. Это вопрос времени. Я не взял бы на себя вскрыть такой коленный сустав, прежде чем вокруг осколка образуется капсула.

— Вполне разделяю ваше мнение, доктор.

— Для чего полгода? — спросил я.

— Полгода, чтобы вокруг осколка образовалась капсула и можно было без риска вскрыть коленный сустав.

— Я этому не верю,— сказал я.

— Вы хотите сохранить ногу, молодой человек?

— Нет,— сказал я.

— Что?

— Я хочу, чтобы ее отрезали,— сказал я,— так, чтобы можно было приделать к ней крючок.

— Что вы хотите сказать? Крючок?

— Он шутит,— сказал госпитальный врач и очень деликатно потрепал меня по плечу.— Он хочет сохранить ногу. Это очень мужественный молодой человек. Он представлен к серебряной медали за храбрость.

— От души поздравляю,— сказал врач в чине капитана. Он пожал мне руку.— Я могу только сказать, что во избежание риска необходимо выждать, по крайней мере, полгода, прежде чем вскрывать такое колено. Разумеется, вы вольны придерживаться другого мнения.

— Благодарю вас,— сказал я.— Ваше мнение для меня очень ценно.

Врач в чине капитана взглянул на часы.

— Нам пора идти,— сказал он.— Желаю вам всего хорошего.

— Вам также всего хорошего и большое спасибо,— сказал я.

Я пожал руку третьему врачу: «Capitano Varini — tenente Енгу», и все трое вышли из комнаты.

— Мисс Гэйдж,— позвал я. Она вошла.— Пожалуйста, попросите госпитального врача еще на минутку ко мне.

Он пришел, держа кепи в руке, и стал у кровати.

— Вы хотели меня видеть?

— Да. Я не могу ждать операции полгода. Господи, доктор, приходилось вам когда-нибудь полгода лежать в постели?

— Вы не будете все время лежать. Сначала вам нужно будет погреть раны на солнце. Потом вы начнете ходить на костылях.

— Полгода, а потом операция?

— Это наименее рискованный путь. Нужно выждать, когда вокруг инородных тел образуется капсула и снова накопится синовиальная жидкость. Тогда можно без риска вскрыть коленный сустав.

— А вы сами уверены, что мне нужно так долго ждать?

— Это наименее рискованный путь.

— Кто этот врач в чине капитана?

— Это очень хороший миланский хирург.

— Ведь он в чине капитана, правда?

— Да, но он очень хороший хирург.

— Я не желаю, чтобы в моей ноге копался какой-то капитан. Если бы он чего-нибудь стоил, он был бы майором. Я знаю, что такое капитан, доктор.

— Он очень хороший хирург, и я с его мнением считаюсь больше, чем с чьим бы то ни было.

— Можно показать мою ногу другому хирургу?

— Безусловно, если вы захотите. Но я лично последовал бы совету доктора Варелла.

— Вы можете пригласить ко мне другого хирурга?

— Я приглашу Валентини.

— Кто он такой?

— Хирург из Ospedale Maggiore.

— Идет. Я вам буду очень признателен. Поймите, доктор, не могу я полгода лежать в постели.

— Вы не будете лежать в постели. Сначала вы будете принимать солнечные ванны. Потом можно перейти к легким упражнениям. Потом, когда образуется капсула, мы сделаем операцию.

— Но я не могу ждать полгода.

Доктор деликатным движением погладил кепи, которое держал в руке, и улыбнулся.

— Вам так не терпится возвратиться на фронт?

— А почему бы и нет?

— Как это прекрасно! — сказал он. — Благородный молодой человек. — Он наклонился и очень деликатно поцеловал меня в лоб. — Я пошлю за Валентини. Не волнуйтесь и не нервничайте. Будьте умницей.

— Стакан вина, доктор? — предложил я.

— Нет, благодарю. Я не пью.

— Ну, один стаканчик. — Я позвонил, чтобы швейцар принес стаканы.

— Нет, нет, благодарю вас, меня ждут.

— До свидания, — сказал я.

— До свидания,

Спустя два часа в комнату вошел доктор Валентини. Он очень торопился, и кончики его усов торчали кверху. Он был в чине майора, у него было загорелое лицо, и он все время смеялся.

— Как это вас угораздило? — сказал он. — Ну-ка, покажите снимки. Так. Так. Вот оно что. Да вы, я вижу, здоровы, как бык. А кто эта хорошенькая девушка? Ваша возлюбленная? Так я и думал. Уж эта мне чертова война! Здесь болит? Вы молодец. Починим, будете как новенький. Тут больно? Еще бы не больно. Как они любят делать больно, эти доктора. А чем вас до сих пор лечили? Эта девушка говорит по-итальянски? Надо ее выучить. Очаровательная девушка. Я бы взялся давать ей уроки. Я сам лягу в этот госпиталь. Нет, лучше я буду бесплатно принимать у нее все роды. Она понимает, что я говорю? Она вам принесет хорошего мальчишку. Блондина, как она сама. Так, хорошо. Так, отлично. Очаровательная девушка. Спросите ее, не согласится ли она со мной поужинать. Нет, я не хочу ее у вас отбивать. Спасибо. Большое вам спасибо, мисс. Вот и все. Вот и все, что я хотел знать. — Он хлопал меня по плечу. — Повязку накладывать не надо.

— Стакан вина, доктор Валентини?

— Вина? Ну конечно... Десять стаканов. Где оно у вас?
— В шкафу. Мисс Баркли достанет бутылку.
— Ваше здоровье. Ваше здоровье, мисс. Очаровательная девушка. Я вам принесу вина получше этого.— Он вытер усы.

— Когда, по-вашему, можно делать операцию?

— Завтра утром. Не раньше. Нужно освободить кишечник. Вычистить из вас все. Я зайду к старушке вниз и распоряжусь. До свидания. Завтра увидимся. Я вам принесу вина получше этого. А у вас здесь очень славно. До свидания, до завтра. Выспитесь хорошенько. Я приду рано.

Он помахал мне с порога, его усы топорщились, коричневое лицо улыбалось. На рукаве у него была звездочка в окаймлении, потому что он был в чине майора.

Глава шестнадцатая

В ту ночь летучая мышь влетела в комнату через открытую дверь балкона, в которую нам видна была ночь над крышами города. В комнате было темно, только ночь над городом слабо светила в балконную дверь, и летучая мышь не испугалась и стала носиться по комнате, словно под открытым небом. Мы лежали и смотрели на нее, и, должно быть, она нас не видела, потому что мы лежали очень тихо. Когда она улетела, мы увидели луч прожектора и смотрели, как светлая полоса передвигалась по небу и потом исчезла, и снова стало темно. Среди ночи поднялся ветер, и мы слышали голоса артиллеристов у зенитного орудия на соседней крыше. Было прохладно, и они надевали плащи. Я вдруг встревожился среди ночи, как бы кто не вошел, но Кэтрин сказала, что все спят. Один раз среди ночи мы заснули, и когда я проснулся, Кэтрин не было в комнате, но я услышал ее шаги в коридоре, и дверь отворилась, и она подошла к постели и сказала, что все в порядке: она была внизу, и там все спят. Она подходила к двери мисс Ван-Кампен и слышала, как та дышит во сне. Она принесла сухих галет, и мы ели их, запивая вермутом. Мы были очень голодны, но она сказала, что утром все это нужно будет из меня вычистить. Под утро, когда стало светать, я заснул снова, и когда проснулся, увидел, что ее снова нет в комнате. Она пришла, свежая и красивая, и села на кровать, и пока я лежал с градусником во рту,

взошло солнце, и мы почувствовали запах росы на крышах и потом запах кофе, который варили артиллеристы у орудия на соседней крыше.

— Сейчас хорошо бы погулять, — сказала Кэтрин, — Будь тут кресло, я могла бы вывезти тебя.

— А как бы я сел в кресло?

— Уж как-нибудь.

— Вот поехать бы в парк, позавтракать на воздухе. — Я поглядел в отворенную дверь.

— Нет, сейчас мы займемся другим делом, — сказала она. — Нужно приготовить тебя к приходу твоего друга доктора Валентини.

— А правда замечательный доктор?

— Мне он не так понравился, как тебе. Но он, должно быть, хороший врач.

— Иди ко мне, Кэтрин. Слышишь? — сказал я.

— Нельзя. А как хорошо было ночью!

— А нельзя тебе взять дежурство и на эту ночь?

— Я и буду дежурить, вероятно. Но только ты меня не захочешь.

— Захочу.

— Не захочешь. Тебе еще никогда не делали операции. Ты не знаешь, какое у тебя будет самочувствие.

— Знаю. Очень хорошее.

— Тебя будет тошнить, и тебе не до меня будет.

— Ну, тогда иди ко мне сейчас.

— Нет, — сказала она. — Мне нужно вычертить кривую твоей температуры, милый, и приготовить тебя.

— Значит, ты меня не любишь, раз не хочешь прийти.

— Какой ты глупый! — Она поцеловала меня. — Ну вот, кривая готова. Температура все время нормальная. У тебя такая чудесная температура.

— А ты вся чудесная.

— Нет, нет. Вот у тебя температура чудесная. Я страшно горжусь твоей температурой.

— Наверно, у всех наших детей будет замечательная температура.

— Боюсь, что у наших детей будет отвратительная температура.

— А что нужно сделать, чтобы приготовить меня для Валентини?

— Пустяки, только это не очень приятно.

— Мне жаль, что тебе приходится с этим возиться.

— А мне нисколько. Я не хочу, чтобы кто-нибудь другой до тебя дотрагивался. Я глупая. Я взбешусь, если кто-нибудь до тебя дотронется.

— Даже Фергюсон?

— Особенно Фергюсон, и Гэйдж, и эта, как ее?

— Уокер?

— Вот-вот. Слишком много здесь сестер. Если не придут еще раненные, нас переведут отсюда. Здесь теперь четыре сестры.

— Наверное, придут еще. Четыре сестры не так уж много. Госпиталь большой.

— Надеюсь, что придут. Что мне делать, если меня захотят перевести отсюда? А ведь так и будет, если не прибавится раненных.

— Я тогда тоже уеду.

— Не говори глупостей. Ты еще не можешь никуда ехать. Но ты поскорее поправляйся, милый, и тогда мы с тобой куда-нибудь поедем.

— А потом что?

— Может быть, война кончится. Не вечно же будут воевать?

— Я поправлюсь,— сказал я.— Валентини меня вылечит.

— Еще бы, с такими-то усами! Только знаешь, милый, когда тебе дадут эфир, думай о чем-нибудь другом — только не о нас с тобой. А то ведь под наркозом многие болтают.

— О чем же мне думать?

— О чем хочешь. О чем хочешь, только не о нас с тобой. Думай о своих родных. Или о какой-нибудь другой девушке.

— Нет.

— Ну, тогда читай молитву. Это произведет прекрасное впечатление.

— А может быть, я не буду болтать.

— Возможно. Не все ведь болтают.

— Вот я и не буду.

— Не хвались, милый. Пожалуйста, не хвались. Ты такой хороший, не нужно тебе хвалиться.

— Я ни слова не скажу.

— Опять ты хвалишься, милый. Совсем тебе ни к чему хвалиться. Просто, когда тебе скажут дышать глубже, начни читать молитву, или стихи, или еще что-нибудь. Тогда все будет хорошо, и я буду гордиться тобой. Я вооб-

ще горжусь тобой. У тебя такая чудесная температура, и ты спишь, как маленький мальчик, обнимаешь подушку и думаешь, что это я. А может быть, не я, а другая? Какая-нибудь итальянская красавица?

— Нет, ты.

— Ну конечно я. И я тебя очень люблю, и Валентини приведет твою ногу в полный порядок. Как хорошо, что мне не придется быть при этом.

— А ты будешь дежурить ночью?

— Да. Но тебе будет все равно.

— Увидим.

— Ну, вот и все, милый. Теперь ты совсем чистый, и снаружи и внутри. Скажи мне вот что: сколько женщин ты любил в своей жизни?

— Ни одной.

— И меня нет?

— Тебя — да.

— А скольких еще?

— Ни одной.

— А скольких — как это говорят? — скольких ты знал?

— Ни одной.

— Ты говоришь неправду.

— Да.

— Так и надо. Ты мне все время говори неправду. Я так и хочу. Они были хорошенькие?

— Я ни одной не знал.

— Правильно. Они были очень привлекательные?

— Понятия не имею.

— Ты только мой. Это верно, и больше ты никогда ничей не был. Но мне все равно, если даже и не так. Я их не боюсь. Только ты мне не рассказывай про них. А когда женщина говорит мужчине про то, сколько это стоит?

— Не знаю.

— Ну конечно, ты не знаешь. А она говорит ему, что любит его? Скажи мне. Я хочу знать.

— Да. Если он этого хочет.

— А он говорит ей, что любит ее? Скажи. Это очень важно.

— Говорит, если хочет.

— Но ты никогда не говорил? Верно?

— Нет.

— Нет, верно? Скажи мне правду.

— Нет, — солгал я.

— Ты не говорил,— сказала она.— Я так и знала, что ты не говорил. Ты милый, и я тебя очень, очень люблю.

Солнце высоко стояло над крышами, и я видел шпили собора с солнечными бликами на них. Я был чист снаружи и внутри и ожидал прихода врача.

— Значит, так? — сказала Кэтрин.— Она говорит все, что ему хочется?

— Не всегда.

— А я буду всегда. Я буду всегда говорить все, что ты пожелаешь, и я буду делать все, что ты пожелаешь, и ты никогда не захочешь других женщин, правда? — Она посмотрела на меня радостно.— Я буду делать то, что тебе хочется, и говорить то, что тебе хочется, и тогда все будет чудесно, правда?

— Да.

— Ну, вот ты и готов к операции. А теперь скажи, чего бы тебе хотелось сейчас?

— Иди ко мне.

— Хорошо. Иду.

— Ты моя очень, очень, очень любимая,— сказал я.

— Вот видишь,— сказала она.— Я делаю все, что ты хочешь.

— Ты у меня умница.

— Я только боюсь, что ты еще не совсем мной доволен.

— Ты умница.

— Я хочу того, чего хочешь ты. Меня больше нет. Только то, чего хочешь ты.

— Милая.

— Ты доволен? Правда, ты доволен? Ты не хочешь других женщин?

— Нет.

— Видишь, ты доволен. Я делаю все, что ты хочешь.

Глава семнадцатая

Когда я проснулся после операции, было не так, словно я куда-то исчезал. При этом не исчезаешь. Только берет удушье. Это не похоже на смерть, это просто удушье от газа, так что перестаешь чувствовать, а после все равно, как будто был сильно пьян, только когда рвет, то одной желчью и потом не делается лучше. В ногах постели я увидел мешки с песком. Они придавливали стержни, торчавшие из гипсовой повязки. Немного погодя я увидел мисс Гэйдж, и она спросила:

— Ну, как?
— Лучше,— сказал я.
— Он прямо чудо сделал с вашим коленом,
— Сколько это длилось?
— Два с половиной часа.
— Я говорил какие-нибудь глупости?
— Нет, нет, ничего. Не разговаривайте. Лежите спокойно.

Меня тошнило, и Кэтрин оказалась права. Мне было все равно, кто дежурит эту ночь.

В госпитале было теперь еще трое, кроме меня: тощий парень из Джорджии, работник Красного Креста, больной малярией, славный парень из Нью-Йорка, тоже тощий на вид, больной малярией и желтухой, и милейший парень, который вздумал отвинтить колпачок от дистанционной трубки австрийского снаряда, чтобы взять себе на память. Это был комбинированный шрапнельно-фугасный снаряд, какими австрийцы пользовались в горах: шрапнель с дистанционной трубкой двойного действия.

Все сестры очень любили Кэтрин Баркли за то, что она без конца готова была дежурить по ночам. Малярики не требовали много забот, а тот, который отвинтил колпачок взрывателя, был с нами в дружбе и звонил ночью только при крайней необходимости, и все свободное от работы время она проводила со мной. Я очень любил ее, и она любила меня. Днем я спал, а когда мы не спали, то писали друг другу записки и пересылали их через Фергюсон. Фергюсон была славная девушка. Я ничего не знал о ней, кроме того, что у нее один брат в пятьдесят второй дивизии, а другой — в Месопотамии и что она очень привязана к Кэтрин Баркли.

— Придете к нам на свадьбу, Ферджи? — спросил я ее как-то.

— Вы никогда не женитесь.

— Женимся.

— Нет, не жепитесь.

— Почему?

— Поссоритесь до свадьбы.

— Мы никогда не ссоримся.

— Еще успеете.

— Мы никогда не будем ссориться.

— Значит, умрете. Поссоритесь или умрете. Так всегда бывает. И никто не женится.

Я протянул к ней руку.

— Не трогайте меня,— сказала она.— Я и не думаю плакать. Может быть, у вас все обойдется. Только смотрите, как бы с ней чего-нибудь не случилось. Если что-нибудь с ней случится из-за вас, я вас убью.

— Ничего с ней не случится.

— Ну, так смотрите. Надеюсь, что у вас все обойдется. Сейчас вам хорошо.

— Сейчас нам чудесно.

— Так вот, не ссорьтесь и чтобы с ней ничего не случилось.

— Ладно.

— Смотрите же. Я не желаю, чтоб она осталась с младенцем военного времени на руках.

— Вы славная девушка, Ферджи.

— Ничего не славная. Не подлизывайтесь ко мне. Как ваша нога?

— Прекрасно.

— А голова? — Она дотронулась пальцами до моей макушки. Ощущение было такое, как если трогают затекшую ногу.

— Голова меня никогда не беспокоит.

— От такой шишки легко можно было остаться кретинком. Совсем не беспокоит?

— Нет.

— Ваше счастье. Записка готова? Я иду вниз.

— Вот, возьмите,— сказал я.

— Вы должны попросить ее, чтоб она на время отказалась от почных дежурств. Она очень устает.

— Хорошо. Я ее попрошу.

— Я хотела подежурить ночь, но она мне не дает. Другие рады уступить свою очередь. Можете дать ей немного отдохнуть.

— Хорошо.

— Мисс Ван-Кампен уже поговаривает о том, что вы всегда спите до полудня.

— Этого можно было ожидать.

— Хорошо бы вам настоять, чтоб она несколько почей не дежурила.

— Я бы и сам хотел.

— Вовсе вы бы не хотели. Но если вы ее уговорите, я буду уважать вас.

— Я ее уговорю.

— Что-то не верится.

Она взяла записку и вышла. Я позвонил, и очень скоро вошла мисс Гэйдж.

— Что случилось?

— Я просто хотел поговорить с вами. Как по-вашему, не пора ли мисс Баркли отдохнуть немного от ночных дежурств? У нее очень усталый вид. Почему она так долго в ночной смене?

Мисс Гэйдж посмотрела на меня.

— Я ваш друг,— сказала она.— Ни к чему вам так со мной разговаривать.

— Что вы хотите сказать?

— Не прикидывайтесь дурачком. Это все, что вам нужно было?

— Выпейте со мной вермуту.

— Хорошо. Но потом я сразу же уйду.— Она достала бутылку из шкафа и поставила на столик стакан.

— Вы берите стакан,— сказал я.— Я буду пить из бутылки.

— За ваше здоровье! — сказала мисс Гэйдж.

— Что там Ван-Кампен говорила насчет того, что я долго сплю по утрам?

— Просто скрипела на эту тему. Она называет вас «наш привилегированный пациент».

— Ну ее к черту!

— Она не зная,— сказала мисс Гэйдж.— Просто она старая и с причудами. Вы ей сразу не понравились.

— Это верно.

— А мне вы нравитесь. И я вам друг. Помните это.

— Вы на редкость славная девушка.

— Бросьте. Я знаю, кто, по-вашему, славный. Как пога?

— Прекрасно.

— Я принесу холодной минеральной воды и полью вам немного. Вероятно, зудит под гипсом. Сегодня жарко.

— Вы славная.

— Сильно зудит?

— Нет. Все очень хорошо.

— Надо поправить мешки с песком.— Она нагнулась.— Я вам друг.

— Я это знаю.

— Нет, вы не знаете. Но когда-нибудь узнаете.

Кэтрин Баркли не дежурила три ночи, но потом она снова пришла. Было так, будто каждый из нас уезжал в долгое путешествие и теперь мы встретились снова.

Нам чудесно жилось в то лето. Когда мне разрешили вставать, мы стали ездить в парк на прогулку. Я помню коляску, медленно переступающую лошадь, спину кучера впереди и его лакированный цилиндр и Кэтрин Баркли рядом со мной на сиденье. Если наши руки соприкасались, хотя бы краешком ее рука касалась моей, это нас волновало. Позднее, когда я уже мог передвигаться на костылях, мы ходили обедать к Биффи или в «Гран-Италия» и выбирали столик снаружи, в Galleria. Официанты входили и выходили, и прохожие шли мимо, и на покрытых скатертями столах стояли свечи с абажурами, и вскоре нашим излюбленным местом стал «Гран-Италия», и Жорж, метрдотель, всегда оставлял нам столик. Он был замечательный метрдотель, и мы предоставляли ему выбирать меню, пока мы сидели, глядя на прохожих, и на тонувшую в сумерках Galleria, и друг на друга. Мы пили сухое белое капри, стоявшее в ведерке со льдом; впрочем, мы перепробовали много других вин: фреза, барбера и сладкие белые вина. Из-за войны в ресторане не было специального официанта для вин, и Жорж смущенно улыбался, когда я спрашивал такие вина, как фреза.

— Что можно сказать о стране, где делают вино, имеющее вкус клубники, — сказал он.

— А чем плохо? — спросила Кэтрин. — Мне даже нравится.

— Попробуйте, леди, если вам угодно, — сказал Жорж. — Но позвольте мне захватить бутылочку марго для *tenente*.

— Я тоже хочу попробовать, Жорж.

— Сэр, я бы вам не советовал. Оно и вкуса клубники не имеет.

— А вдруг? — сказала Кэтрин. — Это было бы просто замечательно.

— Я сейчас подам его, — сказал Жорж, — и когда желание леди будет удовлетворено, я его уберу.

Вино было не из важных. Жорж был прав, оно не имело и вкуса клубники. Мы снова перешли на капри. Один раз у меня не хватило денег, и Жорж одолжил мне сто лир.

— Ничего, ничего, *tenente*, — сказал он. — Бывает всяким. Я знаю, как это бывает. Если вам или леди понадобятся деньги, у меня всегда найдутся.

После обеда мы шли по Galleria мимо других ресторанов и мимо магазинов со спущенными железными шторами и останавливались у киоска, где продавались сэндвичи: сэндвичи с ветчиной и латуком и сэндвичи с анчоусами на крошечных румяных булочках, не длиннее указательного пальца. Мы брали их с собой, чтоб съесть, когда проголодаемся ночью. Потом мы сидели в открытую коляску у выхода из Galleria против собора и возвращались в госпиталь. Швейцар выходил на крыльцо госпиталя помочь мне управиться с костылями. Я расплачивался с кучером, и мы ехали вверх в лифте. Кэтрин выходила в том этаже, где жили сестры, а я поднимался выше и на костылях шел по коридору в свою комнату; иногда я раздевался и ложился в постель, а иногда сидел на балконе, положив ногу на стул, и следил за полетом ласточек над крышами, и ждал Кэтрин. Когда она приходила вверх, было так, будто она вернулась из далекого путешествия, и я шел на костылях по коридору вместе с нею, и нес тапки, и дожидался у дверей или входил с нею вместе — смотря по тому, был больной из наших друзей или нет, и когда она оканчивала все свои дела, мы сидели на балконе моей комнаты. Потом я ложился в постель, и когда все уже спали и она была уверена, что никто не позовет, она приходила ко мне. Я любил распускать ее волосы, и она сидела на кровати, не шевелясь, только иногда вдруг быстро наклонялась поцеловать меня, и я вынимал шпильки и клал их на простыню, и узел на затылке едва держался, и я смотрел, как она сидит, не шевелясь, и потом вынимал две последние шпильки, и волосы распускались совсем, и она наклоняла голову, и они закрывали нас обоих, и было как будто в палатке или за водопадом.

У нее были удивительно красивые волосы, и я иногда лежал и смотрел, как она закручивает их при свете, который падал из открытой двери, и они даже ночью блестели, как блестит иногда вода перед самым рассветом. У нее было чудесное лицо и тело и чудесная гладкая кожа. Мы лежали рядом, и я кончиками пальцев трогал ее щеки и лоб, и под глазами, и подбородок, и шею и говорил: «Совсем как клавиши рояля», — и тогда она гладила пальцами мой подбородок и говорила: «Совсем как наждак, если им водить по клавишам рояля».

— Что, колется?

— Да нет же, милый. Это я просто чтоб подразнить тебя.

Ночью все было чудесно, и если мы могли хотя бы касаться друг друга — это уже было счастье. Помимо больших радостей, у нас еще было множество мелких выражений любви, а когда мы бывали не вместе, мы старались внушать друг другу мысли на расстоянии. Иногда это как будто удавалось, но, вероятно, это было потому, что, в сущности, мы оба думали об одном и том же.

Мы говорили друг другу, что в тот день, когда она приехала в госпиталь, мы поженились, и мы считали месяцы со дня своей свадьбы. Я хотел, чтобы мы на самом деле поженились, но Кэтрин сказала, что тогда ей придется уехать и что, как только мы начнем улаживать формальности, за ней станут следить и нас разлучат. Придется все делать по итальянским брачным законам, и с формальностями будет страшная возня. Я хотел, чтобы мы поженились на самом деле, потому что меня беспокоила мысль о ребенке, когда эта мысль приходила мне в голову, но для себя мы считали, что мы женаты, и беспокоились не так уж сильно, и, пожалуй, мне нравилось, что мы не женаты на самом деле. Я помню, как один раз ночью мы заговорили об этом и Кэтрин сказала:

— Но, милый, ведь мне сейчас же придется уехать отсюда.

— А может быть, не придется.

— Непременно придется. Меня отправят домой, и мы не увидимся, пока не кончится война.

— Я буду приезжать в отпуск.

— Нельзя успеть в Шотландию и обратно за время отпуска. И потом, я от тебя не уеду. Для чего нам жениться сейчас? Мы и так женаты. Уж больше женатыми и быть нельзя.

— Я хочу этого только из-за тебя.

— Никакой «меня» нет. Я — это ты. Пожалуйста, не выдумывай отдельной «меня».

— Я думал, девушки всегда хотят замуж.

— Так оно и есть. Но, милый, ведь я замужем. Я замужем за тобой. Разве я плохая жена?

— Ты чудесная жена.

— Видишь ли, милый, я уже один раз пробовала дожидаться замужества.

— Я не хочу слышать об этом.

— Ты знаешь, что я люблю только тебя одного. Не все ли тебе равно, что кто-кто другой любил меня?

— Не все равно.

— Ведь он погиб, а ты получил все, что же тут ревновать?

— Пусть так, но я не хочу слышать об этом.

— Бедненький мой! А вот я знаю, что у тебя были всякие жепщины, и меня это не трогает.

— Нельзя ли нам пожениться как-нибудь тайно? Вдруг со мной что-нибудь случится или у тебя будет ребенок.

— Брак существует только церковный или гражданский. А тайно мы и так женаты. Видишь ли, милый, это было бы для меня очень важно, если б я была религиозна. Но я не религиозна.

— Ты дала мне святого Антония.

— Это просто на счастье. Мне тоже его дали.

— Значит, тебя ничто не тревожит?

— Только мысль о том, что нас могут разлучить. Ты моя религия. Ты для меня все на свете.

— Ну, хорошо. Но я женюсь на тебе, как только ты захочешь.

— Ты так говоришь, милый, точно твой долг сделать из меня порядочную женщину. Я вполне порядочная женщина. Но может быть ничего стыдного в том, что дает счастье и гордость. Разве ты не счастлив?

— Но ты никогда не уйдешь от меня к другому?

— Нет, милый. Я от тебя никогда ни к кому не уйду. Мне кажется, с нами случится все самое ужасное. Но не нужно тревожиться об этом.

— Я и не тревожусь. Но я тебя так люблю, а ты уже до меня кого-то любила.

— А что было дальше?

— Он погиб.

— Да, а если бы это не случилось, я бы не встретила тебя. Меня нельзя назвать непостоянной, милый. У меня много недостатков, но я очень постоянна. Увидишь, тебе даже надоест мое постоянство.

— Я скоро должен буду вернуться на фронт.

— Не будем думать об этом, пока ты еще здесь. Понимаешь, милый, я счастлива, и нам хорошо вдвоем. Я очень давно уже не была счастлива, и, может быть, когда мы с тобой встретились, я была почти сумасшедшая. Может быть, совсем сумасшедшая. Но теперь мы счастливы, и мы любим друг друга. Ну, давай будем просто счастливы. Ведь ты счастлив, правда? Может быть, тебе не

правится во мне что-нибудь? Ну, что мне сделать, чтобы тебе было приятно? Хочешь, я распущу волосы? Хочешь?

— Да, а потом ложись тут.

— Хорошо. Только раньше обойду больных,

Глава девятнадцатая

Так проходило лето. Одних я помню немного, только то, что было очень жарко и газеты были полны побед. У меня был здоровый организм, и раны быстро заживали, так что очень скоро после того, как я впервые встал на костыли, я смог бросить их и ходить только с палкой. Тогда я начал в Ospedale Maggiore лечебные процедуры для сгибания колен, механотерапию, прогревание фиолетовыми лучами в зеркальном ящике, массаж и ванны. Я ходил туда после обеда и на обратном пути заходил в кафе, и пил вино, и читал газеты. Я не бродил по городу; из кафе мне всегда хотелось вернуться прямо в госпиталь. Мне хотелось только одного: видеть Кэтрин. Все остальное время я рад был как-нибудь убить. Чаще всего по утрам я спал, а после обеда иногда ездил на скачки и потом на механотерапию. Иногда я заходил в англо-американский клуб и сидел в глубоком кожаном кресле перед окном и читал журналы. Нам уже не разрешалось выходить вдвоем после того, как я бросил костыли, потому что неприлично было сестре гулять одной с больным, который по виду не нуждался в помощи, и поэтому днем мы редко бывали вместе. Иногда, впрочем, удавалось пообедать вместе где-нибудь в городе, если и Фергюсон была с нами. Мы с Кэтрин считались друзьями, и мисс Ван-Кампен принимала это положение, потому что Кэтрин много помогала ей в госпитале. Она решила, что Кэтрин из очень хорошей семьи, и это окончательно расположило ее в нашу пользу. Мисс Ван-Кампен придавала большое значение происхождению и сама принадлежала к высшему обществу. К тому же в госпитале было немало дел и хлопот, и это отвлекало ее. Лето было жаркое, и у меня в Милане было много знакомых, но я всегда спешил вернуться в госпиталь с наступлением сумерек. Фронт продвинулся к Карсо, уже был взят Кук, на другом берегу против Плавы, и теперь наступали на плато Баинзицца. На западном фронте дела были не так хороши. Казалось, что война тянется уже очень долго. Мы теперь тоже вступили в войну, но я считал, что пона-

добиться не меньше года, чтобы переправить достаточное количество войск и подготовить их к бою. На следующий год можно было ждать много плохого, а может быть, много хорошего. Итальянские войска несли огромные потери. Я не представлял себе, как это может продолжаться. Даже если займут все плато Баинзицца и Монте-Сан-Габриеле, дальше есть множество гор, которые останутся у австрийцев. Я видел их. Все самые высокие горы дальше. На Карсо удалось продвинуться вперед, но внизу, у моря, болота и топи. Наполеон разбил бы австрийцев в долине. Он никогда не стал бы сражаться с ними в горах. Он дал бы им спуститься и разбил бы их под Вероной. Но на западном фронте все еще никто никого не разбивал. Может быть, войны теперь не кончатся победой. Может быть, они вообще не кончатся. Может быть, это новая Столетняя война. Я положил газету на место и вышел из клуба. Я осторожно спустился по ступеням и пошел по Виа-Манцони. Перед «Гранд-отелем» я увидел старика Мейерса и его жену, выходивших из экипажа. Они возвращались со скачек. Она была женщина с большим бюстом, одетая в блестящий черный шелк. Он был маленький и старый, с седыми усами, страдал плоскостопием и ходил опираясь на палку.

— Как поживаете? Как здоровье?— Она подала мне руку.

— Привет! — сказал Мейерс.

— Ну, как скачки?

— Замечательно. Просто чудесно. Я три раза выиграла.

— А как ваши дела? — спросил я Мейерса.

— Ничего. Я выиграл один раз.

— Я никогда не знаю, как его дела,— сказала миссис Мейерс.— Он мне никогда не говорит.

— Мои дела хороши,— сказал Мейерс. Он старался быть сердечным.— Надо бы вам как-нибудь съездить на скачки.— Когда он говорил, создавалось впечатление, что он смотрит не на вас или что он принимает вас за кого-то другого.

— Непременно,— сказал я.

— Я приеду в госпиталь навестить вас,— сказала миссис Мейерс.— У меня кое-что есть для моих мальчиков. Вы ведь все мои мальчики. Вы все мои милые мальчики.

— Вам будут там очень рады.

— Такие милые мальчики. И вы тоже. Вы один из моих мальчиков.

— Мне пора идти,— сказал я.

— Передайте от меня привет всем моим милым мальчикам. Я им привезу много вкусных вещей. Я запасла хорошей марсалы и печенья.

— До свидания,— сказал я.— Вам все будут страшно рады.

— До свидания,— сказал Мейерс.— Заходите в Galleria. Вы знаете мой столик. Мы там бываем каждый день.— Я пошел дальше по улице. Я хотел купить в «Кова» что-нибудь для Кэтрин. Войдя в «Кова», я выбрал коробку шоколада, и пока продавщица завертывала ее, я подошел к стойке бара. Там сидели двое англичан и несколько летчиков. Я выпил martini, ни с кем не заговаривая, расплатился, взял у кондитерского прилавка свою коробку шоколада и пошел в госпиталь. Перед небольшим баром на улице, которая ведет к «Ла Скала», я увидел несколько знакомых: вице-консула, двух молодых людей, учившихся пению, и Этторе Моретти, итальянца из Сан-Франциско, служившего в итальянской армии. Я зашел выпить с ними. Одного из певцов звали Ральф Симмонс, и он пел под именем Энрико дель Кредо. Я не имел представления о том, как он поет, но он всегда был на пороге каких-то великих событий. Он был толст, и у него шелушилась кожа вокруг носа и рта, точно при сенном насморке. Он только что возвратился после выступления в Пьяченца. Он пел в «Тоске», и все было изумительно.

— Да ведь вы меня никогда не слышали,— сказал он.

— Когда вы будете петь здесь?

— Осенью я выступлю в «Ла Скала».

— Пари держу, что в него будут швырять скамейками,— сказал Этторе.— Вы слышали про то, как в него швыряли скамейками в Модене?

— Это враки.

— В него швыряли скамейками,— сказал Этторе.— Я был при этом. Я сам швырнул шесть скамеек.

— Вы просто жалкий макаронник из Фриско.

— У него скверное итальянское произношение,— сказал Этторе.— Где бы он ни выступал, в него швыряют скамейками.

— Во всей северной Италии нет театра хуже, чем в Пьяченца,— сказал другой тенор.— Верьте мне, препаршивый театришко.— Этого тенора звали Эдгар Саундерс, и пел он под именем Эдуардо Джованни.

— Жаль, меня там не было, а то бы я посмотрел, как

в вас швыряли скамейками,— сказал Этторе.— Вы же не умеете петь по-итальянски.

— Он дурачок,— сказал Эдгар Саундерс.— Швырять скамейками — ничего умнее он не может придумать.

— Ничего умнее публика не может придумать, когда вы поете,— сказал Этторе.— А потом вы возвращаетесь в Америку и рассказываете о своих триумфах в «Ла Скала». Да вас после первой же ноты выгнали бы из «Ла Скала».

— Я буду петь в «Ла Скала»,— сказал Симмонс.— В октябре я буду петь в «Тоске».

— Придется пойти, Мак,— сказал Этторе вице-консулу.— Им может понадобиться защита.

— Может быть, американская армия подоспеет к ним на защиту,— сказал вице-консул.— Хотите еще стакан, Симмонс? Саундерс, еще стаканчик?

— Давайте,— сказал Саундерс.

— Говорят, вы получаете серебряную медаль,— сказал мне Этторе.— А как вас представили — за какие заслуги?

— Не знаю. Я еще вообще не знаю, получу ли.

— Получите. Ах, черт, что будет с девушками в «Кова»! Они вообразят, что вы один убили две сотни австрийцев или захватили целый окоп. Уверяю вас, я за свои отличия честно поработал.

— Сколько их у вас, Этторе? — спросил вице-консул.

— У него все, какие только бывают,— сказал Симмонс.— Это же ради него ведется война.

— Я был представлен два раза к бронзовой медали и три раза к серебряной,— сказал Этторе.— Но получил только одну.

— А что случилось с остальными? — спросил Симмонс.

— Операция неудачно закончилась,— сказал Этторе.— Если операции заканчиваются неудачно, медалей не дают.

— Сколько раз вы были ранены, Этторе?

— Три раза тяжело. У меня три нашивки за ранения. Вот смотрите.— Он потянул вверх рукава. Нашивки были параллельные серебряные полосы на черном фоне, пастроченные на рукав дюймов на восемь ниже плеча.

— У вас ведь тоже есть одна,— сказал мне Этторе.— Уверяю вас, это очень хорошо — иметь нашивки. Я их предпочитаю медалям. Уверяю вас, дружище, три такие штучки — это уже кое-что. Чтоб получить хоть одну, нужно три месяца пролежать в госпитале.

— Куда вы были ранены, Этторе? — спросил вице-консул.

Этторе засучил рукав.

— Вот сюда.— Он показал длинный красный гладкий рубец.— Потом сюда, в ногу. Я не могу показать, потому что это под обмоткой; и еще в ступню. В ноге омертвел кусочек кости, и от него скверно пахнет. Каждое утро я выбираю оттуда осколки, но запах не проходит.

— Чем это вас? — спросил Симмонс.

— Ручной гранатой. Такая штука, вроде толкушки для картофеля. Так и снесла кусок ноги с одной стороны. Вам эти толкушки знакомы? — Он обернулся ко мне.

— Конечно.

— Я видел, как этот мерзавец ее бросил,— сказал Этторе.— Меня сбило с ног, и я уже думал, что песенка спета, но от этих толкушек, в общем, мало проку. Я застрелил мерзавца из винтовки. Я всегда ношу винтовку, чтобы пельзя было узнать во мне офицера.

— Какой у него был вид? — спросил Симмонс.

— И всего только одна граната была у мерзавца,— сказал Этторе.— Не знаю, зачем он ее бросил. Наверно, он давно ждал случая бросить гранату. Никогда не видел настоящего боя, должно быть. Я положил мерзавца на месте.

— Какой у него был вид, когда вы его застрелили? — спросил Симмонс.

— А я почему знаю? — сказал Этторе.— Я выстрелил ему в живот. Я боялся промахнуться, если буду стрелять в голову.

— Давно вы в офицерском чине, Этторе? — спросил я.

— Два года. Я скоро буду капитаном. А вы давно в чине лейтенанта?

— Третий год.

— Вы не можете быть капитаном, потому что вы плохо знаете итальянский язык,— сказал Этторе.— Говорить вы умеете, но читаете и пишете плохо. Чтоб быть капитаном, нужно иметь образование. Почему вы не переходите в американскую армию?

— Может быть, перейду.

— Я бы тоже ничего против не имел. Сколько получает американский капитан, Мак?

— Не знаю точно. Около двухсот пятидесяти долларов, кажется.

— Ах, черт! Чего только не сделаешь на двести пятьдесят долларов. Переходили бы вы скорее в американскую армию, Фред. Может, и меня тогда пристроите.

— Охотно.

— Я умею командовать ротой по-итальянски. Мне ничего не стоит выучиться и по-английски.

— Вы будете генералом,— сказал Симмонс.

— Нет, для генерала я слишком мало знаю. Генерал должен знать чертову гибель всяких вещей. Молодчики вроде вас всегда воображают, что война — пустое дело. У вас бы смекалки не хватило даже для капрала.

— Слава богу, мне этого и не нужно,— сказал Симмонс.

— Может, еще понадобится. Вот как призовут всех таких лежебок... Ах, черт, хотел бы я, чтобы вы оба попали ко мне во взвод. И Мак тоже. Я бы сделал вас своим вестовым, Мак.

— Вы славный малый, Этторе,— сказал Мак.— Но боюсь, что вы милитарист.

— Я буду полковником еще до окончания войны,— сказал Этторе.

— Если только вас не убьют раньше.

— Не убьют.— Он дотронулся большим и указательным пальцами до звездочек на воротнике.— Видали, что я сделал? Всегда нужно дотронуться до звездочек, когда кто-нибудь говорит о смерти на войне.

— Ну, пошли, Сим,— сказал Саундерс, вставая.

— Поехали.

— До свидания,— сказал я.— Мне тоже пора.— Часы в баре показывали без четверти шесть.— Сiao, Этторе.

— Сiao, Фред,— сказал Этторе.— Это здорово, что вы получите серебряную медаль.

— Не знаю, получу ли.

— Наверняка получите, Фред. Я слышал, что вы наверняка получите ее.

— Ну, до свидания,— сказал я.— Смотрите не попадите в беду, Этторе.

— Не беспокойтесь обо мне. Я не пью и не шляюсь. Я не забулдыга и не бабник. Я знаю, что хорошо и что плохо.

— До свидания,— сказал я.— Я рад, что вас произведут в капитаны.

— Мне не придется ждать производства. Я стану капитаном за боевые заслуги. Вы же знаете. Три звездочки со скрещенными шпагами и короной сверху. Вот это я и есть.

— Всего хорошего.

— Всего хорошего. Когда вы возвращаетесь на фронт?

- Теперь уже скоро.
- Ну, еще увидимся.
- До свидания.
- До свидания. Не хворайте.

Я пошел переулком, откуда через проходной двор можно было выйти к госпиталю. Этторе было двадцать три года. Он вырос у дяди в Сан-Франциско и только что приехал погостить к родителям в Турин, когда объявили войну. У него была сестра, которая вместе с ним воспитывалась у американского дяди и в этом году должна была окончить педагогический колледж. Он был из тех стандартизованных героев, которые на всех нагоняют скуку. Кэтрин его терпеть не могла.

— У нас тоже есть герои, — говорила она, — но знаешь, милый, они обычно гораздо тише.

— Мне он не мешает.

— Мне тоже, но уж очень он тщеславный, и потом, он на меня нагоняет скуку, скуку, скуку.

— Он и на меня нагоняет скуку.

— Ты это для меня говоришь, милый. Но это ни к чему. Можно представить себе его на фронте, и, наверно, он там делает свое дело, но я таких мальчишек не выношу.

— Ну, и не стоит обращать на него внимание.

— Это ты опять для меня говоришь, и я буду стараться, чтоб он мне нравился, но, право же, он противный, противный мальчишка.

— Он сегодня говорил, что будет капитаном.

— Как хорошо! — сказала Кэтрин. — Он, наверно, очень доволен.

— Ты бы хотела, чтоб у меня был чин повыше?

— Нет, милый. Я только хочу, чтобы у тебя был такой чин, чтобы нас пускали в хорошие рестораны.

— Для этого у меня достаточно высокий чин.

— У тебя прекрасный чин. Я вовсе не хочу, чтоб у тебя был более высокий чин. Это могло бы вскружить тебе голову. Ах, милый, я так рада, что ты не тщеславный. Я бы все равно вышла за тебя, даже если б ты был тщеславный, но это так спокойно, когда муж не тщеславный.

Мы тихо разговаривали, сидя на балконе. Луне пора было взойти, но над городом был туман, и она не взошла, и спустя немного времени начало моросить, и мы вошли в комнату. Туман перешел в дождь, и спустя немного дождь полил очень сильно, и мы слышали, как он барабанит по крыше. Я встал и подошел к двери, чтобы посмотреть, не

заливает ли в комнату, но оказалось, что нет, и я оставил дверь открытой.

— Кого ты еще видел? — спросила Кэтрин.

— Мистера и миссис Мейерс.

— Странная они пара.

— Говорят, на родине он сидел в тюрьме. Его выпустили, чтоб он мог умереть на свободе.

— И с тех пор он счастливо живет в Милане?

— Не знаю, счастливо ли.

— Достаточно счастливо после тюрьмы, надо полагать.

— Она собирается сюда с подарками.

— Она привозит великолепные подарки. Ты, конечно, тоже ее милый мальчик?

— А как же.

— Вы все ее милые мальчики, — сказала Кэтрин. — Она особенно любит милых мальчиков. Слышишь — дождь.

— Сильный дождь.

— А ты меня никогда не разлюбишь?

— Нет.

— И это ничего, что дождь?

— Ничего.

— Как хорошо. А то я боюсь дождя.

— Почему?

Меня клонило ко сну. За окном упорно лил дождь.

— Не знаю, милый. Я всегда боялась дождя.

— Я люблю дождь.

— Я люблю гулять под дождем. Но для любви это плохая примета.

— Я тебя всегда буду любить.

— Я тебя буду любить в дождь, и в снег, и в град, и... что еще бывает?

— Не знаю. Мне что-то спать хочется.

— Спи, милый, а я буду любить тебя, что бы ни было.

— Ты в самом деле боишься дождя?

— Когда я с тобой — нет.

— Почему ты боишься?

— Не знаю.

— Скажи.

— Не заставляй меня.

— Скажи.

— Нет.

— Скажи.

— Ну, хорошо. Я боюсь дождя, потому что иногда мне кажется, что я умру в дождь.

— Что ты!

— А иногда мне кажется, что ты умрешь.

— Вот это больше похоже на правду.

— Вовсе нет, милый. Потому что я могу тебя уберечь. Я знаю, что могу. Но себе ничем не поможешь.

— Пожалуйста, перестань. Я сегодня не хочу слушать сумасшедшие шотландские бредни. Нам не так много осталось быть вместе.

— Что же делать, если я шотландка и сумасшедшая, Но я перестану. Это все глупости.

— Да, это все глупости.

— Это все глупости. Это только глупости. Я не боюсь дождя. Я не боюсь дождя. Ах, господи, господи, если б я могла не бояться!

Она плакала. Я стал утешать ее, и она перестала плакать. Но дождь все шел.

Глава двадцатая

Как-то раз после обеда мы отправились на скачки. С нами были Фергюсон и Кроуэлл Роджерс, тот самый, что был ранен в глаза при разрыве дистанционной трубки. Пока девушки одевались, мы с Роджерсом сидели на кровати в его комнате и просматривали в спортивном листке отчеты о последних скачках и имена предполагаемых победителей. У Кроуэлла вся голова была забинтована, и он очень мало интересовался скачками, но постоянно читал спортивный листок и от нечего делать следил за всеми лошадьми. Он говорил, что все лошади — страшная дрянь, но лучших тут нет. Старый Мейерс любил его и давал ему советы. Мейерс всегда выигрывал, но не любил давать советы, потому что это уменьшало выдачу. На скачках было много жульничества. Жокеи, которых выгнали со всех ипподромов мира, работали в Италии. Советы Мейерса всегда были хороши, но я не любил спрашивать его, потому что иногда он не отвечал вовсе, а когда отвечал, видно было, что ему очень не хочется это делать, но по каким-то причинам он считал себя обязанным подсказывать нам, и Кроуэллу он подсказывал с меньшей неохотой, чем другим. У Кроуэлла были повреждены глаза, один глаз был поврежден серьезно, и у Мейерса тоже что-то было неладно с глазами, и поэтому он любил Кроуэлла. Мейерс никогда не говорил жене, на какую лошадь он ставит, и она то вы-

игрывала, то проигрывала, чаще проигрывала, и все время болтала.

Вчетвером мы в открытом экипаже поехали в Сан-Сиро. День был прекрасный, и мы ехали через парк, потом ехали вдоль трамвайных путей и наконец выехали за город, где дорога была очень пыльная. По сторонам тянулись виллы за железными оградами, и большие запущенные сады, и канавы с проточной водой, и огороды с запыленной зеленью на грядках. Вдали на равнине виднелись фермерские дома и обширные зеленые участки с каналами искусственного орошения, а на севере поднимались горы. По дороге к ипподрому двигалось много экипажей, и контролер у ворот пропустил нас без билетов, потому что мы были в военной форме. Мы вышли из экипажа, купили программу, пересекли круг и по гладкому плотному дерну дорожки пошли к паддоку. Трибуны были деревянные и старые, а ниже трибун были кассы, и еще другой ряд касс был возле конюшен. У забора толпились солдаты. На паддоке было довольно много народу. Под деревьями, за большой трибуной, конюхи проводили лошадей. Мы увидели знакомых и раздобыли для Фергюсон и Кэтрин стулья и стали смотреть на лошадей.

Они ходили по кругу, гуськом, опустив голову, на поводу у конюхов. Одна лошадь была вороная с лиловатым отливом, и Кроуэлл клялся, что она крашеная. Мы всмотрелись получше и решили, что, пожалуй, он прав. Эту лошадь вывели только за минуту перед тем, как дали сигнал седлать. Мы разыскали ее в программе по номеру у конюха на рукаве, и там значилось: вороной мерин, кличка Япалак. Предстоял заезд для лошадей, ни разу не бравших приза больше тысячи ливров. Кэтрин была твердо убеждена, что у лошади искусственно изменена масть. Фергюсон сказала, что она не уверена. Мне это дело тоже казалось подозрительным. Мы все решили играть эту лошадь и поставили сто лир. В расчетном листке было сказано, что выдача за нее будет тридцатипятикратная. Кроуэлл пошел покупать билеты, а мы остались и смотрели, как жокеи сделали еще один круг под деревьями и потом выехали на дорожку и медленным галопом направились к повороту, на место старта.

Мы поднялись на трибуну, чтоб следить за скачкой. В то время в Сан-Сиро не было резиновой ленточки, и стартер выравнивал всех лошадей,— они казались совсем

маленькими вдали на дорожке,—и затем, хлопнув своим длинным бичом, дал старт. Они прошли мимо нас; вороная лошадь скакала впереди, и на повороте оставила всех других далеко за собой. Я смотрел в бинокль, как они шли по задней дорожке, и видел, что жокей изо всех сил старается сдержать ее, но он не мог сдержать ее, и когда они вышли из-за поворота на переднюю дорожку, вороная шла на пятнадцатая корпусов впереди остальных. Пройдя столб, она сделала еще полкруга.

— Ах, как чудно,—сказала Кэтрин.— Мы получим больше трех тысяч лир. Просто замечательная лошадь.

— Надеюсь,—сказал Кроуэлл,— краска не слиняет до выдачи.

— Нет, правда, чудесная лошадь,—сказала Кэтрин.— Интересно, мистер Мейерс на нее ставил?

— Выиграли? — крикнул я Мейерсу. Он кивнул.

— А я нет,—сказала миссис Мейерс.— А вы, дети, на кого ставили?

— На Япалака.

— Да ну? За него тридцать пять дают.

— Нам поправилась его масть.

— А мне нет. Он мне показался каким-то жалким. Говорили, что на него не стоит ставить.

— Выдача будет небольшая,—сказал Мейерс.

— По подсчетам, тридцать пять,—сказал я.

— Выдача будет небольшая,—сказал Мейерс.— Его заграли в последнюю минуту.

— Кто?

— Кемптон со своими ребятами. Вот увидите. Хорошо, если вдвое выдадут.

— Значит, мы не получим три тысячи лир? — сказала Кэтрин.— Мне не нравятся эти скачки. Просто жульничество.

— Мы получим двести лир.

— Это чепуха. Это нам ни к чему. Я думала, мы получим три тысячи.

— Жульничество и гадость,—сказала Фергюсон.

— Правда, не будь тут жульничества, мы бы на нее не ставили,—сказала Кэтрин.— Но мне нравилось, что мы получим три тысячи лир.

— Идемте вниз, выпьем чего-нибудь и узнаем, какая выдача,—сказал Кроуэлл.

Мы спустились вниз, к доске, где вывешивали номера победителей, и в это время зазвенел сигнал к выдаче, и

против Япалака вывесили «восемнадцать пятьдесят». Это значило, что выдача меньше чем вдвое.

Мы спустились в бар под большой трибуной и выпили по стакану виски с содовой. Мы натолкнулись там на двух знакомых итальянцев и Мак-Адамса, вице-консула, и они все пошли вместе с нами наверх. Итальянцы держали себя очень церемонно. Мак-Адамс завел разговор с Кэтрин, а мы пошли вниз делать ставки. У одной из касс стоял мистер Мейерс.

— Спросите его, на какую он ставит,— сказал я Кроуэлли.

— Какую играете, мистер Мейерс? — спросил Кроуэлл. Мейерс вынул свою программу и карандашом указал на номер пятый.

— Вы не возражаете, если мы тоже на нее поставим? — спросил Кроуэлл.

— Валийте, валийте. Только не говорите жене, что это я вам посоветовал.

— Давайте выпьем чего-нибудь,— сказал я.

— Нет, спасибо. Я никогда не пью.

Мы поставили на номер пятый сто лир в ординаре и сто в двойном и выпили еще по стакану виски с содовой. Я был в прекрасном настроении, и мы подцепили еще двоих знакомых итальянцев и выпили с каждым из них и потом вернулись наверх. Эти итальянцы тоже были очень церемонны и не уступали в этом отношении тем двоим, которых мы повстречали раньше. Из-за их церемонности никому не сиделось на месте. Я отдал Кэтрин билеты.

— Какая лошадь?

— Не знаю. Это по выбору мистера Мейерса.

— Вы даже не знаете ее клички?

— Нет. Можно посмотреть в программе. Кажется, пятый номер.

— Ваша доверчивость просто трогательна,— сказала она.— Номер пятый выиграл, но выдача была ничтожная. Мистер Мейерс сердился.

— Нужно ставить двести лир, чтобы получить двадцать,— сказал он.— Двенадцать лир за десять. Не стоит труда. Моя жена выиграла двадцать лир.

— Я пойду с вами вниз,— сказала Кэтрин.

Все итальянцы встали. Мы спустились вниз и подошли к паддоку.

— Тебе тут нравится? — спросила Кэтрин.

— Да. Ничего себе.

— В общем, тут забавно,— сказала она.— Но знаешь, милый, я не выношу, когда так много знакомых.

— Не так уж их много.

— Правда. Но эти Мейерсы и этот из банка с женой и дочерьми...

— Он платит по моим чекам,— сказал я.

— Ну, не он, кто-нибудь другой платил бы. А эта последняя четверка итальянцев просто ужасна.

— Можно остаться здесь и отсюда смотреть следующий заезд.

— Вот это чудесно. И знаешь что, милый, давай поставим на такую лошадь, которой мы совсем не знаем и на которую не ставит мистер Мейерс.

— Давай.

Мы поставили на лошадь с кличкой «Свет очей», и она пришла четвертой из пяти. Мы облокотились на ограду и смотрели на лошадей, которые проносились мимо нас, стуча копытами, и видели горы вдаль и Милан за деревьями и полями.

— Я здесь себя чувствую как-то чище,— сказала Кэтрин.

Лошади, мокрые и дымящиеся, возвращались через ворота. Жокеев успокаивали их, подъезжая к деревьям, чтобы спешиться.

— Давай выпьем чего-нибудь. Только здесь, чтобы видеть лошадей.

— Сейчас принесу,— сказал я.

— Мальчик принесет,— сказала Кэтрин. Она подняла руку, и к нам подбежал мальчик из бара «Пагода» возле конюшен. Мы сели за круглый железный столик.

— Ведь правда, лучше, когда мы одни?

— Да,— сказал я.

— Я себя чувствовала такой одинокой, когда с нами были все эти люди.

— Здесь очень хорошо,— сказал я.

— Да. Ипподром замечательный.

— Недурной.

— Не давай мне портить тебе удовольствие, милый. Мы вернемся наверх, как только ты захочешь.

— Нет,— сказал я.— Мы останемся здесь и будем пить. А потом пойдем и станем у рва с водой на стиплчезе.

— Ты так добр ко мне,— сказала она.

После того как мы побыли вдвоем, нам приятно было опять увидеть остальных. Мы прекрасно провели день.

В сентябре наступили первые холодные ночи, потом и дни стали холодные, и на деревьях в парке пачали желтеть листья, и мы поняли, что лето прошло. На фронте дела шли очень плохо, и Сан-Габриеле все не удавалось взять. На плато Баинзицца боев уже не было, а к середине месяца прекратились бои и под Сан-Габриеле. Взять его так и не удалось. Этторе уехал на фронт. Лошадей увезли в Рим, и скачек больше не было. Кроуэлл тоже уехал в Рим, откуда должен был эвакуироваться в Америку. В городе два раза вспыхивали антивоенные бунты, и в Турине тоже были серьезные беспорядки. Один английский майор сказал мне в клубе, что итальянцы потеряли полтора-два тысяч человек на плато Баинзицца и под Сан-Габриеле. Он сказал, что, кроме того, они сорок тысяч потеряли на Карсо. Мы выпили, и он разговорился. Он сказал, что в этом году уже не будет боев и что итальянцы откусили больше, чем могли проглотить. Он сказал, что наступление во Фландрии обернулось скверно. Если и дальше будут так же мало беречь людей, как в эту осень, то союзники через год выдохнутся. Он сказал, что мы все уже выдохлись, но что это ничего до тех пор, пока мы сами этого не знаем. Мы все выдохлись. Вся штука в том, чтоб не признавать этого. Та страна, которая последней поймет, что она выдохлась, выиграет войну. Мы выпили еще. Не из штаба ли я? Нет. А он — да. Все чушь. Мы сидели вдвоем, развалившись на одном из больших кожаных диванов клуба. Сапоги у него были из матовой кожи и тщательно начищены. Это были роскошные сапоги. Он сказал, что все чушь. У всех на уме только дивизии и пополнения. Грызутся из-за дивизий, а как получают их, так сейчас и угробят. Все выдохлись. Победа все время за немцами. Вот это, черт подери, солдаты! Старый гунн, вот это солдат. Но и они выдохлись тоже. Мы все выдохлись. Я спросил про русских. Он сказал, что и они уже выдохлись. Я скоро сам увижу, что они выдохлись. Да и австрийцы выдохлись тоже. Вот если бы им получить несколько дивизий гуннов, тогда бы они справились. Думает ли он, что они перейдут в наступление этой осенью? Конечно, да. Итальянцы выдохлись. Все знают, что они выдохлись. Старый гунн пройдет через Трентино и перережет у Вичепцы железнодорожное сообщение, — вот наши итальянцы и готовы. Австрийцы уже пробовали это в шестнадцатом, сказал я. Но без немцев. Верно, сказал я.

Но они вряд ли пойдут на это, сказал он. Это слишком просто. Они придумают что-нибудь посложнее и на этом окончательно выдохнутся. Мне пора, сказал я. Пора возвращаться в госпиталь.

— До свидания,— сказал он. Потом весело: — Всяческих благ.— Пессимизм его суждений находился в резком противоречии с его веселым нравом.

Я зашел в парикмахерскую и побрился, а потом пошел в госпиталь. Моя нога к этому времени уже поправилась настолько, что большего пока нельзя было ожидать. Три дня назад я был на освидетельствовании. Мне оставалось лишь несколько процедур, чтобы закончить курс лечения в Ospedale Maggiore, и я шел по переулку, стараясь не хромать. Под навесом старик вырезывал силуэты. Я остановился посмотреть. Две девушки стояли перед ним, и он вырезывал их силуэты вместе, поглядывая на них, откинув голову набок и очень быстро двигая ножницами. Девушки хихикали. Он показал мне силуэты, прежде чем наклеить их на белую бумагу и передать девушкам.

— Что, хороши? — сказал он.— Не угодно ли вам, *tenente*?

Девушки ушли, рассматривая свои силуэты и смеясь. Обе были хорошенькие. Одна из них служила в закусочной напротив госпиталя.

— Пожалуй,— сказал я.

— Только снимите кепи.

— Нет. В кепи.

— Так будет хуже,— сказал старик.— Впрочем,— его лицо прояснилось,— так будет воинственнее.

Он задвигал ножницами по черной бумаге, потом разнял обе половинки листа, наклеил два профиля на картон и подал мне.

— Сколько вам?

— Ничего, ничего.— Он помахал рукой.— Я вам их просто так сделал.

— Пожалуйста.— Я вынул несколько медяков.— Доставьте мне удовольствие.

— Нет. Я сделал их для собственного удовольствия. Подарите их своей милой.

— Спасибо и до свидания.

— До скорой встречи.

Я вернулся в госпиталь. Для меня были в канцелярии письма, одно официальное и еще несколько. Мне предоставлялся трехнедельный отпуск для поправления здо-

ровья, после чего я должен был вернуться на фронт. Я внимательно перечел это. Да, так и есть. Отпуск будет считаться с 4 октября, когда я закончу курс лечения. В трех неделях двадцать один день. Это выходит 25 октября. Я сказал, что погуляю еще немного, и пошел в ресторан через несколько домов от госпиталя поужинать и посмотреть за столом письма и «Корьере делла сера». Одно письмо было от моего деда, в нем были семейные новости, патриотические наставления, чек на двести долларов и несколько газетных вырезок. Потом было скучное письмо от нашего священника, письмо от одного знакомого летчика, служившего во французской авиации, который попал в веселую компанию и об этом рассказывал, и записка от Ринальди, спрашивавшего, долго ли я еще намерен отсиживаться в Милане и вообще какие новости. Он просил, чтоб я привез ему граммофонные пластинки по приложенному списку. Я заказал к ужину бутылку кьянти, затем выпил кофе с коньяком, дочитал газету, положил все письма в карман, оставил газету на столе вместе с чаевыми и вышел. В своей комнате в госпитале я снял форму, надел пижаму и халат, опустил занавеси на балконной двери и, полулежа в постели, принялся читать бостонские газеты, из тех, что привозила своим мальчикам миссис Мейерс. Команда «Чикаго-Уайт-Сокс» взяла приз Американской лиги, а в Национальной лиге впереди шла команда «Нью-Йорк-Джайэнтс». Бейб Рут играл теперь за Бостон. Газеты были скучные, новости были затхлые и узко-местные, известия с фронта устарелые. Из американских повостей только и говорилось что об учебных лагерях. Я радовался, что я не в учебном лагере. Кроме спортивных известий, я ничего не мог читать, да и это читал без малейшего интереса. Когда читаешь много газет сразу, невозможно читать с интересом. Газеты были не очень новые, но я все же читал их. Я подумал, закроются ли спортивные союзы, если Америка по-настоящему вступит в войну. Должно быть, нет. В Милане по-прежнему бывают скачки, хотя война в разгаре. Во Франции скачек уже не бывает. Это оттуда привезли нашего Япалака. Дежурство Кэтрип начиналось только с девяти часов. Я слышал ее шаги по коридору, когда она пришла на дежурство, и один раз видел ее в раскрытую дверь. Она обошла несколько палат и наконец вошла в мою.

— Я сегодня поздно, милый,— сказала она.— Много дел. Ну, как ты?

Я рассказал ей про газеты и про отпуск.

— Чудесно,— сказала она.— Куда же ты думаешь ехать?

— Никуда. Думаю остаться здесь.

— И очень глупо. Ты выбери хорошее местечко, и я тоже поеду с тобой.

— А как же ты это сделаешь?

— Не знаю. Как-нибудь.

— Ты прелесть.

— Вовсе нет. Но в жизни не так уж трудно устроиться, когда нечего терять.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего. Я только подумала, как ничтожны теперь препятствия, которые казались непреодолимыми.

— По-моему, это довольно трудно будет устроить.

— Ничуть, милый. В крайнем случае я просто брошу все и уеду. Но до этого не дойдет.

— Куда же нам поехать?

— Все равно. Куда хочешь. Где мы никого не знаем.

— А тебе совсем все равно, куда ехать?

— Да. Только бы уехать.

Она была какая-то напряженная и озабоченная.

— Что случилось, Кэтрин?

— Ничего. Ничего не случилось.

— Неправда.

— Правда. Ровно ничего.

— Я знаю, что неправда. Скажи, дорогая. Мне ты можешь сказать.

— Ничего не случилось.

— Скажи.

— Я не хочу. Я боюсь, это тебя огорчит или встревожит.

— Да нет же.

— Ты уверен? Меня это не огорчает, но я боюсь огорчить тебя.

— Раз это тебя не огорчает, то и меня тоже нет.

— Мне не хочется говорить,

— Скажи.

— Это необходимо?

— Да.

— У меня будет ребенок, милый. Уже почти три месяца. Но ты не будешь огорчаться, правда? Не надо. Не огорчайся.

— Не буду.

— Правда не будешь?

— Конечно.

— Я все делала. Я все пробовала, но ничего не могло.

— Я и не думаю огорчаться.

— Так уж вышло, и я не стала огорчаться, милый. И ты не огорчайся и не тревожься.

— Я тревожусь только о тебе.

— Ну вот! Как раз этого и не надо. У всех рождаются дети. У других все время рождаются дети. Совершенно естественная вещь.

— Ты прелесть.

— Вовсе нет. Но ты не думай об этом, милый. Я постараюсь не причинять тебе беспокойства. Я знаю, что сейчас я тебе причинила беспокойство. Но ведь до сих пор я держалась молодцом, правда? Тебе и в голову не приходило?

— Нет.

— И дальше так будет. Ты совсем не должен огорчаться. Я вижу, что ты огорчен. Перестань. Перестань сейчас же. Хочешь выпить чего-нибудь, милый? Я знаю, стоит тебе выпить, и ты развеселишься.

— Нет. Я и так веселый. А ты прелесть.

— Вовсе нет. Но я все улажу, и мы будем вместе, а ты только выбери место, куда нам поехать. Октябрь, наверно, будет чудесный. Мы чудесно проведем это время, милый, а когда ты будешь на фронте, я буду писать тебе каждый день.

— А ты где будешь?

— Я еще не знаю. Но непременно в самом замечательном месте. Я обо всем позабочусь.

Мы притихли и перестали разговаривать. Кэтрин сидела на постели, и я смотрел на нее, но мы не прикасались друг к другу. Каждый из нас был сам по себе, как бывает, когда в комнату входит посторонний и все вдруг настораживаются. Она протянула руку и положила ее на мою.

— Ты не сердишься, милый, скажи?

— Нет.

— И у тебя нет такого чувства, будто ты попал в ловушку?

— Немножко есть, пожалуй. Но не из-за тебя.

— Я и не думаю, что из-за меня. Не говори глупостей. Я хочу сказать — вообще в ловушку.

— Физиология всегда ловушка.

Она вдруг далеко ушла от меня, хотя не шевельнулась и не отняла руки.

— Всегда — нехорошее слово.

— Прости.

— Да нет, ничего. Но ты понимаешь, у меня никогда не было ребенка, и я никогда никого не любила. И я старалась быть такой, как ты хотел, а ты вдруг говоришь «всегда».

— Ну давай я отрежу себе язык, — предложил я.

— Милый! — Она вернулась ко мне издалека. — Не обращай внимания. — Мы снова были вместе, и настороженность исчезла. — Ведь, правда же, мы с тобой — одно, и не стоит придирается к пустякам.

— И не нужно.

— А бывает. Люди любят друг друга, и придираются к пустякам, и ссорятся, и потом вдруг сразу перестают быть — одно.

— Мы не будем ссориться.

— И не надо. Потому что ведь мы с тобой только вдвоем против всех остальных в мире. Если что-нибудь встанет между нами, мы пропали, они нас схватят.

— Им до нас не достать, — сказал я. — Потому что ты очень храбрая. С храбрыми не бывает беды.

— Все равно, и храбрые умирают.

— Но только один раз.

— Так ли? Кто это сказал?

— Трус умирает тысячу раз, а храбрый только один?

— Ну да. Кто это сказал?

— Не знаю.

— Сам был трус, наверно, — сказала она. — Он хорошо разбирался в трусах, но в храбрых не смыслил ничего. Храбрый, может быть, две тысячи раз умирает, если он умен. Только он об этом не рассказывает.

— Не знаю. Храбром в душу не заглянешь.

— Да. Этим он и силен.

— Ты говоришь со знанием дела.

— Ты прав, милый. На этот раз ты прав.

— Ты сама храбрая.

— Нет, — сказала она. — Но я бы хотела быть храброй.

— А я не храбрый, — сказал я. — Я знаю себе цену. У меня было достаточно времени, чтобы узнать. Я точно

бейсболист, который выбивает двадцать два за сезон и знает, что на большее он не способен.

— Что это значит: «выбивает двадцать два за сезон»? Звучит очень важно.

— Совсем не важно. Это значит — очень посредственный игрок нападения в бейсбольной команде.

— Но все-таки игрок нападения, — поддразнила она меня.

— Кажется, нам друг друга не переспорить, — сказал я. — Но ты храбрая.

— Нет. Но надеюсь когда-нибудь стать храброй.

— Мы оба храбрые, — сказал я. — Когда я выпью, так я совсем храбрый.

— Мы замечательные люди, — сказала Кэтрин. Она подошла к шкафу и достала коньяк и стакан. — Выпей, милый, — сказала она. — Это тебе за хорошее поведение.

— Да мне не хочется.

— Выпей, выпей.

— Ну, хорошо. — Я налил треть стакана коньяку и выпил.

— Однако, — сказала она. — Я знаю, что коньяк — напиток героев. Но не надо увлекаться.

— Где мы будем жить после войны?

— Вероятно, в богадельне, — сказала она. — Три года я была очень наивна и надеялась, что война кончится к рождеству. Но теперь я надеюсь, что она кончится, когда наш сын будет лейтенантом.

— А может, он будет генералом.

— Если это столетняя война, он и до генерала успеет дослужиться.

— Ты не хочешь выпить?

— Нет. Ты от коньяка всегда веселеешь, милый, а у меня голова кружится.

— Ты никогда не пила коньяк?

— Нет, милый. Я ужасно старомодная жена.

Я потянулся за бутылкой и налил себе еще коньяку.

— Надо пойти взглянуть на твоих соотечественников, — сказала Кэтрин. — Может, ты пока считаешь газеты?

— Тебе непременно нужно идти?

— Если не сейчас, то позже.

— Лучше сейчас.

— Я скоро вернусь.

— Я успею дочитать газеты, — сказал я.

Ночью стало холодно, и на следующий день шел дождь. Когда я возвращался из Ospedale Maggiore, дождь был очень сильный, и я насквозь промок. Балкон моей комнаты заливало потоками дождя, и ветер гнал их в стекло балконной двери. Я переоделся и выпил коньяку, но у коньяка был неприятный вкус. Ночью я почувствовал себя плохо, и наутро после завтрака меня вырвало.

— Картина ясная, — сказал госпитальный врач. — Взгляните на белки его глаз, мисс.

Мисс Гэйдж взглянула. Мне дали зеркало, чтобы и я мог взглянуть. Белки глаз были желтые, это была желтуха. Я проболел две недели. Из-за этого сорвался мой отпуск, который мы собирались провести вместе. Мы хотели поехать в Палланцу на Лаго-Маджоре. Там хорошо осенью, когда начинают желтеть листья. Есть где погулять, и в озере можно ловить форель. Там было бы лучше, чем в Стрезе, потому что в Палланце народу меньше. В Стрезу так удобно ездить из Милана, что там всегда полно знакомых. Близ Палланцы есть очень славные деревушки, и на гребной лодке можно добираться до рыбацких островов, а на самом большом острове есть ресторан. Но нам не пришлось поехать.

Как-то, когда я лежал больной желтухой, мисс Ван-Кампен вошла в комнату, распахнула дверцы гардероба и увидела пустые бутылки. Я только что послал швейцара вынести целую охапку бутылок, и, наверно, она видела, как он выходил с ними, и пришла посмотреть, нет ли еще. Больше всего было бутылок из-под вермута, бутылок из-под марсалы, бутылок из-под капри, пустых фляг из-под кьянти и несколько бутылок было из-под коньяка. Швейцар унес самые большие бутылки, те, в которых был вермут, и оплетенные соломой фляги из-под кьянти, а бутылки из-под коньяка он оставил напоследок. Те бутылки, которые нашла мисс Ван-Кампен, были из-под коньяка, и одна бутылка, в виде медведя, была из-под кюммеля. Бутылка-медведь привела мисс Ван-Кампен в особенную ярость. Она взяла ее в руки. Медведь сидел на задних лапах, подняв передние, в его стеклянной голове была пробка, а ко дну пристало несколько липких кристалликов. Я засмеялся.

— Тут был кюммель, — сказал я. — Самый лучший кюммель продают в таких бутылках-медведях. Его привозят из России.

— Это все бутылки из-под коньяка, если не ошибаюсь? — спросила мисс Ван-Кампен.

— Мне отсюда не видно, — сказал я. — Но по всей вероятности — да.

— Сколько времени это продолжается?

— Я сам покупал их и приносил сюда, — сказал я. — Меня часто навещали итальянские офицеры, и я держал коньяк, чтоб угощать их.

— Но сами вы не пили?

— Сам тоже пил.

— Коньяк! — сказала она. — Одиннадцать пустых бутылок из-под коньяка и эта медвежья жидкость.

— Кюммель.

— Сейчас я пришлю кого-нибудь, чтобы их убрали. Больше у вас нет пустых бутылок?

— Пока — нет.

— А я еще жалела вас, когда вы заболели желтухой. Жалость к вам — это зря потраченная жалость.

— Благодарю вас.

— Я готова понять, что вам не хочется возвращаться на фронт. Но вы могли бы изобрести что-нибудь более остроумное, чем вызвать у себя желтуху потреблением алкоголя.

— Чем?

— Потреблением алкоголя. Вы очень хорошо слышали, что я сказала. — Я молчал. — Боюсь, что, если вы не придумаете чего-нибудь еще, вам придется отправиться на фронт, как только пройдет ваша желтуха. Не думаю, чтобы после умышленно вызванной желтухи полагался отпуск для поправления здоровья.

— Вы не думаете?

— Не думаю.

— Вы когда-нибудь болели желтухой, мисс Ван-Кампен?

— Нет, но я не раз наблюдала эту болезнь.

— Вы заметили, какое удовольствие она доставляет больным?

— Вероятно, это все же лучше, чем фронт.

— Мисс Ван-Кампен, — сказал я, — вы когда-нибудь видели человека, который, чтобы избавиться от воинской повинности, лягнул бы самого себя в мошонку?

Мисс Ван-Кампен пропустила вопрос мимо ушей. Она должна была или пропустить его мимо ушей, или уйти из моей комнаты. Уходить ей не хотелось, потому что она

невзлюбила меня уже давно и теперь готовилась свести со мной счеты.

— Я видела много людей, которые спасались от фронта умышленным членовредительством.

— Вопрос не в том. Умышленное членовредительство я и сам видел. Я спросил, видели ли вы когда-нибудь человека, который, чтобы избавиться от воинской повинности, лягнул бы себя ногой в мошонку? Потому что это ощущение ближе всего к желтухе, и я думаю, что не многим женщинам оно знакомо. Вот я и спросил, была ли у вас когда-нибудь желтуха, мисс Ван-Кампен, потому что...

Мисс Ван-Кампен вышла из комнаты. Немного спустя вошла мисс Гэйдж.

— Что вы такое сказали Ван-Кампен? Она взбешена.

— Мы сравнивали различные ощущения. Я высказал предположение, что ей никогда не случалось рожать...

— Вы сумасшедший, — сказала Гэйдж. — Она готова содрать с вас кожу живьем.

— Она уже ее содрала, — сказал я. — Она провалила мой отпуск, а теперь, пожалуй, захочет подвести меня под полевой суд. С нее станется.

— Она всегда вас недолюбливала, — сказала Гэйдж. — А из-за чего вышел разговор?

— Она говорит, что я нарочно допился до желтухи, чтобы не возвращаться на фронт.

— Пфф, — сказала Гэйдж. — Да я присягну, что вы никогда капли в рот не брали. Все присягнут, что вы никогда капли в рот не брали.

— Она нашла бутылки.

— Сто раз я вам говорила: нужно убирать эти бутылки. Где они?

— В гардеробе.

— У вас есть чемодан?

— Нет. Суньте в этот рюкзак.

Мисс Гэйдж упаковала бутылки в рюкзак.

— Я их отдам швейцару, — сказала она, направляясь к двери.

— Одну минуту, — сказала мисс Ван-Кампен. — Эти бутылки я захвачу. — С ней был швейцар. — Возьмите это, пожалуйста, — сказала она. — Я хочу показать их доктору, когда буду докладывать ему.

Она пошла по коридору. Швейцар понес рюкзак. Он знал, что в нем.

Ничего не случилось, только мой отпуск пропал.

В тот вечер, когда я должен был ехать на фронт, я послал швейцара на вокзал занять для меня место в вагоне, как только поезд придет из Турина. Поезд уходил в полночь. Состав формировался в Турине и около половины одиннадцатого прибывал в Милан и стоял у перрона до самого отправления. Чтоб получить место, нужно было попасть на вокзал раньше, чем придет поезд. Швейцар взял с собой приятеля, пулеметчика в отпуску, работавшего в портняжной мастерской, и был уверен, что вдвоем им удастся занять для меня место. Я дал им денег на перронные билеты и велел захватить мой багаж. У меня был большой рюкзак и две походные сумки.

Около пяти часов я распрощался в госпитале и вышел. Швейцар уже снес мой багаж к себе в швейцарскую, и я сказал, что буду на вокзале незадолго до полуночи. Его жена назвала меня «signorino» и заплакала. Потом вытерла глаза, потрясла мою руку и заплакала снова. Я потрепал ее по плечу, и она заплакала еще раз. Это была низенькая, пухлая, седая женщина с добрым лицом. Она всегда штопала мне носки. Когда она плакала, у нее все лицо точно расплзалось. Я пошел в бар на углу и там стал дожидаться, глядя в окно. На улице было темно, и холодно, и туманно. Я уплатил за стакан кофе с граппой и смотрел, как люди идут мимо в полосе света от окна. Я увидел Кэтрин и постучал в окно. Она глянула, увидела меня и улыбнулась, и я вышел ей навстречу. На пей был темно-синий плащ и мягкая фетровая шляпа. Мы вместе пошли по тротуару мимо винных погребков, потом через рыночную площадь и дальше по улице и, пройдя под аркой, вышли на соборную площадь. Ее пересекали трамвайные рельсы, а за ними был собор. Он был белый и мокрый в тумане. Мы перешли рельсы. Слева от нас были магазины с освещенными витринами и вход в Galleria. Над площадью туман сгущался, и собор вблизи был очень большой, а камень стен мокрый.

— Хочешь, войдем?

— Нет,— сказала Кэтрин.

Мы пошли дальше. В тени одного из каменных контрфорсов стоял солдат с девушкой, и мы прошли мимо них. Они стояли, вплотную прижавшись к стене, и он укрыл ее своим плащом.

— Они похожи на нас,— сказал я.

— Никто не похож на нас,— сказала Кэтрин. Она думала не о радостном.

— Им даже пойти некуда.

— Может быть, так для них лучше.

— Не знаю. Все-таки нужно, чтоб у каждого было куда пойти.

— У них есть собор,— сказала Кэтрин.

Мы уже миновали его. Мы перешли на другую сторону и оглянулись на собор. Он был красивый в тумане. Мы стояли перед магазином кожаных изделий. В витрине были сапоги для верховой езды, рюкзак и пьексы. Все это было разложено отдельно: рюкзак посередине, сапоги с одной стороны, пьексы — с другой. Кожа была темная, гладкая и лоснилась, точно на потертом седле. Электрический свет бросал длинные блики на тускло лоснившуюся кожу.

— Когда-нибудь мы с тобой ходим на лыжах.

— Через два месяца начинается лыжный сезон в Мюррене,— сказала Кэтрин.

— Давай поедem туда.

— Давай,— сказала она. Мы прошли вдоль других витрин и свернули в переулок.

— Я здесь ни разу не была.

— Этой дорогой я всегда ходил в Ospedale Maggiore,— сказал я.

Переулок был узкий, и мы держались правой стороны. В густом тумане встречалось много прохожих. Во всех лавках, мимо которых мы проходили, были освещены окна. Мы загляделись на пирамиду сыра в одном окне. Перед оружейной лавкой я остановился.

— Зайдем на минутку. Мне нужно кое-что купить.

— А что?

— Пистолет.

Мы вошли, и я отстегнул свой пояс и вместе с пустой кобурой положил его на прилавок. За прилавком стояли две женщины. Они показали мне несколько пистолетов.

— Мне нужно, чтоб он пришелся по размеру,— сказал я, открывая кобуру. Кобура была серая, кожаная, я купил ее по случаю, чтобы носить в городе.

— А это хорошие пистолеты? — спросила Кэтрин.

— Все они примерно одинаковы. Можно испытать вот этот? — спросил я у женщины.

— Здесь у нас теперь негде стрелять,— сказала она.— Но он очень хороший. Вы не пожалесте.

Я спустил курок и оттянул затвор. Пружина была до-

волью тугая, но действовала исправно. Я прицелился и снова спустил курок.

— Он не новый,— сказала женщина.— Он принадлежал одному офицеру, первоклассному стрелку.

— А куплен был у вас?

— Да.

— Как он попал к вам опять?

— Через вестового этого офицера.

— Может быть, и мой у вас,— сказал я.— Сколько?

— Пятьдесят лир. Это очень дешево.

— Хорошо. Дайте мне еще две запасных обоймы и коробку патронов.

Она достала обоймы и патроны из-под прилавка.

— Может быть, вам нужна сабля? — спросила женщина.— У меня есть подержанные сабли, очень дешево.

— Я еду на фронт.

— А, ну тогда вам не нужна сабля,— сказала она.

Я заплатил за патроны и пистолет, зарядил обойму и вставил ее на место, вложил пистолет в пустую кобуру, набил патронами обе запасные обоймы и спрятал их в кожаные кармашки кобуры, потом надел пояс и застегнул его. Тяжесть пистолета оттягивала пояс. Все-таки, подумал я, оружие форменного образца лучше. Всегда можно достать патроны.

— Теперь мы в полном вооружении,— сказал я.— Это единственное, что мне нужно было сделать до отъезда. Кто-то взял мой старый, когда меня отправляли в госпиталь.

— Только бы он был хороший,— сказала Кэтрин.

— Может быть, вам еще что-нибудь угодно? — спросила женщина.

— Как будто нет.

— Пистолет со шнуром,— сказала она.

— Да, я заметил.

Женщине хотелось продать еще что-нибудь.

— Может, вам нужен свисток?

— Как будто нет.

Женщина сказала «до свидания», и мы вышли на улицу. Кэтрин посмотрела в окно. Женщина выглянула и поклонилась нам.

— Что это за зеркальце в деревянной оправе?

— Это чтобы приманивать птиц. С таким зеркальцем выходят в поле, жаворонки летят на блеск, тут их и убивают.

— Изобретательный народ итальянцы,— сказала Кэтрин.— У вас, в Америке, жаворонков не стреляют, милый, правда?

— Разве что случайно.

Мы пересекли улицу и пошли по другой стороне.

— Мне теперь лучше,— сказала Кэтрин.— Мне было очень скверно, когда мы вышли.

— Нам всегда хорошо, когда мы вместе.

— Мы всегда будем вместе.

— Да, если не считать, что сегодня в полночь я уезжаю.

— Не думай об этом, милый.

Мы шли по улице. В тумане огни были желтыми.

— Ты не устал? — спросила Кэтрин.

— А ты?

— Нет. Приятно бродить так.

— Но только не нужно очень долго.

— Хорошо.

Мы дошли до угла и свернули в переулок, где не было фонарей. Я остановился и поцеловал Кэтрин. Целуя ее, я чувствовал ее руку на своем плече. Она натянула на себя мой плащ так, что мы оба были укрыты им. Мы стояли на тротуаре у высокой стены.

— Пойдем куда-нибудь,— сказал я.

— Хорошо,— сказала Кэтрин. Мы шли по переулку, пока не дошли до более широкой улицы, выходящей на канал. На другой стороне были кирпичные дома. Впереди, в конце улицы, я увидел трамвай, который въезжал на мост.

— У моста мы найдем экипаж,— сказал я. Мы стояли на мосту в тумане, дожидаясь экипажа. Мимо прошло несколько трамваев, набитых людьми, которые торопились домой. Потом проехал экипаж, но в нем кто-то сидел. Стал накрапывать дождь.

— Пойдем пешком или сядем в трамвай? — сказала Кэтрин.

— Сейчас найдем экипаж,— сказал я.— Здесь их много.

— Вот как раз подъезжает,— сказала она.

Кучер остановил лошадь и опустил металлический значок у своего счетчика. Верх был поднят, и на плаще у кучера были капли дождя. Его лакированный цилиндр блестел от воды. Мы уселись вместе на заднем сиденье, от поднятого верха там было темно.

— Куда ты велел ему ехать?

— К вокзалу. Напротив вокзала есть отель, туда мы и найдем.

— А в отель разве можно так? Без багажа.

— Можно,— сказал я.

Мы долго ехали к вокзалу переулками под дождем.

— А обедать мы не будем? — спросила Кэтрин.— Я что-то уже проголодалась.

— Мы пообедаем у себя в номере.

— Мне не во что переодеться. У меня нет даже ночной сорочки.

— А мы купим,— сказал я и окликнул кучера: — Поезжайте по Виа-Манцони.

Он кивнул и на следующем углу свернул налево. На Виа-Манцони Кэтрин стала искать магазин.

— Вот здесь,— сказала она. Я остановил кучера, и Кэтрин слезла, перешла тротуар и скрылась внутри. Я сидел, откинувшись, в экипаже и ждал ее. Шел дождь, и я чувствовал запах мокрой улицы и дымящихся боков лошади под дождем. Кэтрин вышла со свертком, села, и мы поехали дальше.

— Я ужасная транжирка, милый,— сказала она,— но сорочка такая красивая.

У отеля я попросил Кэтрин подождать в экипаже, а сам вошел и переговорил с управляющим. Номеров было сколько угодно. Я вернулся к экипажу, заплатил кучеру, и мы с Кэтрин вместе вошли в отель. Мальчик с блестящими пуговицами понес сверток. Управляющий поклоном пригласил нас в лифт. Кругом было много красного плюша и бронзы. Управляющий поднялся вместе с нами.

— Monsieur и madame угодно обедать у себя в номере?

— Да. Пришлите, пожалуйста, карточку,— сказал я.

— Угодно что-нибудь по особому заказу? Дичь или суфле?

Лифт миновал три этажа, позвякивая у каждого, потом звякнул и остановился.

— Какая у вас есть дичь?

— Можно приготовить фазана или вальдшнепа.

— Вальдшнепа,— сказал я. Мы пошли по коридору. Ковер был потертый. Справа и слева было много дверей. Управляющий остановился, отпер одну из дверей и распахнул ее.

— Вот, прошу вас. Прелестная комната.

Мальчик с блестящими пуговицами положил сверток на стол посреди комнаты. Управляющий раздвинул оконные портьеры.

— Туманно сегодня,— сказал он. Комната была обставлена красной плюшевой мебелью. Было много зеркал, два кресла и широкая кровать с атласным одеялом. Вторая дверь вела в ванную.

— Я сейчас пришлю карточку,— сказал управляющий. Он поклонился и вышел.

Я подошел к окну и посмотрел на улицу, потом потянул за шнур, и толстые плюшевые портьеры сдвинулись. Кэтрин сидела на постели и смотрела на хрустальный подсвечник. Она сняла шляпу, и ее волосы блестели при свете. Она увидела себя в одном из зеркал и поднесла руки к волосам. Я увидел ее в трех других зеркалах. Она казалась невеселой. Она сбросила свой плащ на постель.

— Что с тобой, дорогая?

— Я никогда еще не чувствовала себя девочкой,— сказала она. Я подошел к окну и раздвинул портьеры и посмотрел на улицу. Я не думал, что так будет.

— Ты не девка.

— Я знаю, милый. Но неприятно чувствовать, будто это так.— Голос ее был сухой и тусклый.

— Это самый лучший отель, где мы могли устроиться,— сказал я.

Я смотрел в окно. На другой стороне площади светились огни вокзала. Мимо ехали экипажи, и мне были видны деревья в парке. Огни отеля отражались в мокрой мостовой. «О, черт,— думал я,— неужели сейчас время спорить?»

— Иди сюда,— сказала Кэтрин. Сухость исчезла из ее голоса.— Иди сюда. Я уже пай-девочка.

Я повернулся к постели. Кэтрин улыбалась.

Я подошел и сел на постель рядом с ней и поцеловал ее.

— Ты моя пай-девочка.

— Конечно, твоя,— сказала она.

После обеда нам стало легче, а потом сделалось совсем хорошо, и вскоре мы почувствовали, что эта комната наш дом. Раньше моя комната в госпитале была нашим домом, и точно так же этот номер отеля стал нашим домом.

Кэтрин села, накинув на плечи мой френч. Мы сильно проголодались, а обед был хороший, и мы выпили бутылку капри и бутылку сент-эстефа. Большую часть выпил я, но и Кэтрин выпила немного, и ей стало совсем хорошо.

Нам подали вальдшнепа с картофелем, суфле, пюре из каштанов, салат и сабайон на сладкое.

— Хорошая комната,— сказала Кэтрин.— Чудесная комната. Как жаль, что мы раньше не догадались здесь поселиться.

— Смешная комната. Но славная.

— Замечательная вещь разврат,— сказала Кэтрин.— Люди, которые им занимаются, по-видимому, делают это со вкусом. Этот красный плюш просто бесподобен. Именно то, что надо. А зеркала, разве не прелесть?

— Ты милая.

— Не знаю, каково проснуться в такой комнате наутро. Но вообще это прекрасная комната.

Я налил еще стакан сент-эстефа.

— Мне бы хотелось согрешить по-настоящему,— сказала Кэтрин.— Все, что мы делаем, так невинно и просто. Я не верю, что мы делаем что-то дурное.

— Ты изумительная.

— Только я голодна. Я ужасно голодна.

— Ты простая, ты замечательная.

— Я простая. Никто не понимал этого до тебя.

— Как-то, когда мы только что познакомились, я целый день думал о том, как мы с тобой поедем вместе в отель «Кавур» и как все будет.

— Это было нахальство с твоей стороны. Но ведь это не «Кавур», правда?

— Нет. Туда бы нас не пустили.

— Когда-нибудь пустят. Но вот видишь, милый, в этом разница между нами. Я никогда ни о чем не думала.

— Совсем никогда?

— Ну, немножко,— сказала она.

— Ах ты, милая!

Я налил еще стакан вина.

— Я совсем простая,— сказала Кэтрин.

— Сначала я думал иначе. Мне показалось, что ты сумасшедшая.

— Я и была немножко сумасшедшая. Но не как-нибудь по-особенному сумасшедшая. Я тебя не смутила тогда, милый?

— Изумительная вещь вино,— сказал я.— Забываешь все плохое.

— Чудесная вещь,— сказала Кэтрин.— Но у моего отца от него сделалась очень сильная подагра.

— У тебя есть отец?

— Да,— сказала Кэтрин.— У него подагра. Но тебе совсем не нужно будет с ним встречаться. А у тебя разве нет отца?

— Нет,— сказал я.— У меня отчим.

— А он мне понравится?

— Тебе не нужно будет с ним встречаться.

— Нам с тобой так хорошо,— сказала Кэтрин.— Меня больше ничего не интересует. Я такая счастливая жена.

Пришел официант и убрал посуду. Немного погодя мы притихли, и было слышно, как идет дождь. Внизу, на площади, прогудел автомобиль.

Но слышу мчавших все быстрее
Крылатых времени коней,—

сказал я.

— Я знаю эти стихи,— сказала Кэтрин.— Это Марвелл. Только ведь это о девушке, которая не хотела жить с мужчиной.

Голова у меня была очень ясная и свежая, и мне хотелось говорить о житейском.

— Где ты будешь рожать?

— Не знаю. В самом лучшем месте.

— Как ты все устроишь?

— Самым лучшим образом. Не беспокойся, милый. До окончания войны у нас может быть еще много детей.

— Нам скоро пора.

— Я знаю. Если хочешь, считай, что уже пора.

— Нет.

— Тогда не нервничай, милый. Ты был совсем хороший все время, а теперь ты начинаешь нервничать.

— Не буду. Ты мне будешь часто писать?

— Каждый день. Ваши письма просматривают?

— Там так плохо знают английский язык, что это не имеет значения.

— Я буду писать очень путано,— сказала Кэтрин.

— Но не слишком уж путано.

— Нет, только чуть-чуть путано.

— Пожалуй, нужно идти.

— Хорошо, милый.

— Мне не хочется уходить из нашего милого домика.

— И мне тоже.

— Но нужно идти.

— Хорошо. Мы ведь никогда еще долго не жили дома.

— Еще поживем,

— Я тебе приготовлю хорошенький домик к твоему возвращению.

— Может быть, я вернусь очень скоро.

— Вдруг тебя ранят чуть-чуть в ногу.

— Или в мочку уха.

— Нет, я хочу, чтоб твои уши остались, как они есть.

— А ноги нет?

— В ноги ты уже был ранен.

— Надо нам идти, дорогая.

— Хорошо. Иди ты первый.

Глава двадцать четвертая

Мы не стали вызывать лифт, а спустились по лестнице. Ковер на лестнице был потертый. Я уплатил за обед, когда его принесли, и официант, который принес его, сидел у дверей. Он вскочил и поклонился, и я прошел с ним в контору и уплатил за номер. Управляющий принял меня как друга и отказался получить вперед, но, расставшись со мной, он позаботился посадить у дверей официанта, чтоб я не сбежал, не заплатив. По-видимому, такие случаи у него бывали, даже с друзьями. Столько друзей заводил во время войны.

Я попросил официанта сходить за экипажем, и он взял у меня из рук сверток Кэтрин и, раскрыв зонт, вышел. Из окна мы видели, как он переходил улицу под дождем. Мы стояли в конторе и глядели в окно.

— Как ты себя чувствуешь, Кэт?

— Спать хочется.

— А мне тоскливо и есть хочется.

— У тебя есть с собой какая-нибудь еда?

— Да, в походной сумке.

Я увидел подъезжавший экипаж. Он остановился, лошадь стала, понунав голову под дождем, официант вылез, раскрыв зонт, и пошел к отелю. Мы встретили его в дверях и под зонтом прошли по мокрому тротуару к экипажу. В сточной канаве бежала вода.

— Ваш сверток на сиденье, — сказал официант. Он стоял с зонтом, пока мы усаживались, и я дал ему на чай.

— Спасибо. Счастливого пути, — сказал он.

Кучер подобрал вожжи, и лошадь тронулась. Официант повернулся со своим зонтом и направился к отелю. Мы поехали вдоль тротуара, затем повернули налево и выехали к вокзалу с правой стороны. Два карабинера стояли у

фонаря, куда почти не попадал дождь. Их шляпы блестели под фонарем. При свете вокзальных огней дождь был прозрачный и чистый. Из-под навеса вышел носильщик, пряча от дождя голову в воротник.

— Нет,— сказал я.— Спасибо. Не требуется.

Он снова укрылся под навесом. Я обернулся к Кэтрин. Ее лицо было в тени поднятого верха.

— Что ж, прощаемся?

— Я войду.

— Не надо.

— До свидания, Кэт.

— Скажи ему адрес госпиталя.

— Хорошо.

Я сказал кучеру, куда ехать. Он кивнул.

— До свидания,— сказал я.— Береги себя и маленькую Кэтрин.

— До свидания, милый.

— До свидания,— сказал я.

Я вышел под дождь, и кучер тронул. Кэтрин высунулась, и при свете фонаря я увидел ее лицо. Она улыбалась и махала рукой. Экипаж покатил по улице. Кэтрин указывала пальцем в сторону навеса. Я оглянулся; там был только навес и двое карабинеров. Я понял, что она хочет, чтобы я спрятался от дождя. Я встал под навес и смотрел, как экипаж сворачивает за угол. Потом я прошел через здание вокзала и вышел к поезду.

На перроне меня дожидался швейцар. Я вошел за ним в вагон, протолкался сквозь толпу в проходе и, отворив дверь, втиснулся в переполненное купе, где в уголке сидел пулеметчик. Мой рюкзак и походные сумки лежали над его головой в сетке для багажа. Много народу стояло в коридоре, и сидевшие в купе оглянулись на нас, когда мы вошли. В поезде не хватало мест, и все были настроены враждебно. Пулеметчик встал, чтоб уступить мне место. Кто-то хлопнул меня по плечу. Я оглянулся. Это был очень высокий и худой артиллерийский капитан с красным рубцом на щеке. Он видел все через стеклянную дверь и вошел вслед за мной.

— В чем дело? — спросил я. Я повернулся к нему лицом. Он был выше меня ростом, и его лицо казалось очень худым в тени козырька, и рубец был свежий и глянцеви-тый. Все кругом смотрели на меня.

— Так не делают,— сказал он.— Нельзя посылать солдата заранее занимать место.

— А вот я так сделал.

Он глотнул воздух, и я увидел, как его кадык поднялся и опустился. Пулеметчик стоял около пустого места. Через стеклянную перегородку коридора смотрели люди. Кругом все молчали.

— Вы не имете права. Я пришел сюда на два часа раньше вас.

— Чего вы хотите?

— Сидеть.

— Я тоже.

Я смотрел ему в лицо и чувствовал, что кругом все против меня. Я не осуждал их. Он был прав. Но я хотел сидеть. Кругом все по-прежнему молчали.

«А, черт!» — подумал я.

— Садитесь, *signor capitano*, — сказал я. Пулеметчик посторонился, и высокий капитан сел. Он посмотрел на меня. Во взгляде у него было беспокойство. Но место осталось за ним. — Достаньте мои вещи, — сказал я пулеметчику. Мы вышли в коридор. Поезд был переполнен, и я знал, что на место нечего рассчитывать. Я дал швейцару и пулеметчику по десять лир. Они вышли из вагона и прошли по всей платформе, заглядывая в окна, но мест не было.

— Может быть, кто-нибудь сойдет в Брешии, — сказал швейцар.

— В Брешии еще сядут, — сказал пулеметчик. Я простился с ними, и они пожали мне руку и ушли. Они оба были расстроены. Все мы, оставшиеся без мест, стояли в коридоре, когда поезд тронулся. Я смотрел в окно на стрелки и фонари, мимо которых мы ехали. Дождь все еще шел, и скоро окна стали мокрыми, и ничего нельзя было разглядеть. Позднее я лег спать на полу в коридоре, засунув сначала свой бумажник с деньгами и документами под рубашку и брюки, так что он прилежал между бедром и штаниной. Я спал всю ночь и просыпался только на остановках в Брешии и Вероне, где в вагон входили еще новые пассажиры, но тотчас же засыпал снова. Одну походную сумку я подложил себе под голову, а другую обхватил руками, и кто не хотел наступить на меня, вполне мог через меня перешагнуть. По всему коридору на полу спали люди. Другие стояли, держась за оконные поручни или прислонившись к дверям. Этот поезд всегда уходил переполненным.

Глава двадцать пятая

Была уже осень, и деревья все были голые и дороги покрыты грязью. Из Удине в Горицию я ехал на грузовике. По пути нам попадались другие грузовики, и я смотрел по сторонам. Тутовые деревья были голые и земля в полях бурая. Мокрые мертвые листья лежали на дороге между рядами голых деревьев, и рабочие заделывали выбоины на дороге щебнем, который они брали из куч, сложенных вдоль обочины дороги, под деревьями. Показался город, но горы над ним были отрезаны туманом. Мы переехали реку, и я увидел, что вода сильно поднялась. В горах шли дожди. Мы въехали в город, минуя фабрики, а потом дома и виллы, и я увидел, что еще больше домов разрушено за это время снарядами. На узкой улице мы встретили автомобиль английского Красного Креста. Шофер был в кепи, и у него было худое и сильно загорелое лицо. Я его не знал. Я слез с грузовика на большой площади перед мэрией; шофер подал мне мой рюкзак, я надел его, пристегнул обе сумки и пошел к нашей вилле. Это не было похоже на возвращение домой.

Я шел по мокрому гравию аллеи и смотрел на виллу, белевшую за деревьями. Окна все были закрыты, но дверь была распахнута. Я вошел и застал майора за столом в комнате с голыми стенами, на которых висели только карты и отпечатанные на машинке бумажки.

— Привет! — сказал он. — Ну, как здоровье? — Он постарел и как будто ссохся.

— В порядке, — сказал я. — Как у вас дела?

— Все уже кончилось, — сказал он. — Снимите свое снаряжение и садитесь.

Я положил рюкзак и обе сумки на пол, а кепи — на рюкзак. Потом взял стул, стоявший у стены, и сел к столу.

— Лето было скверное, — сказал майор. — Вы вполне оправились?

— Да.

— Вы получили свои награды?

— Да. Все в лучшем виде. Благодарю вас.

— Покажите-ка.

Я распахнул свой плащ, чтобы видны были две ленточки.

— А самые медали вы тоже получили?

— Нет. Только документы.

— Медали придут потом. На это нужно больше времени.

— Куда вы меня теперь направите?

— Машины все в разъезде. Шесть на севере, в Капоретто. Вы знаете Капоретто?

— Да, — сказал я. Мне припомнился маленький белый городок с колокольной в долине. Городок был чистенький, и на площади был красивый фонтан.

— Вот они там. Сейчас много больных. Бои кончились.

— А где остальные?

— Две в горах, а четыре все еще на Баинзицце. Оба других санитарных отряда в Карсо, с третьей армией.

— Куда вы меня направите?

— Вы можете взять те четыре машины, которые на Баинзицце, если хотите. Смените Джино, он уже давно там. Это все ведь случилось уже после вас, кажется?

— Да.

— Скверное было дело. Мы потеряли три машины.

— Я слышал.

— Да, вам писал Ринальди.

— Где Ринальди?

— Он здесь, в госпитале. Летом и осенью ему жарко пришлось.

— Могу себе представить.

— Да, скверно было, — сказал майор. — Вы не представляете, до чего скверно. Я часто думал, как вам повезло, что вы были ранены в начале.

— Я и сам так считаю.

— В этом году будет еще хуже, — сказал майор. — Возможно, они уже сейчас перейдут в наступление. Так говорят, но я не думаю. Слишком поздно. Видели реку?

— Да. Вода поднялась.

— Не думаю, чтоб наступление началось сейчас, когда в горах уже идут дожди. Скоро выпадет снег. А что ваши соотечественники? Увидим мы еще американцев, кроме вас?

— Готовится армия в десять миллионов.

— Хорошо бы хоть часть попала к нам. Но французы всех перехватят. Сюда не доедет ни один человек. Ну, ладно. Вы сегодня переночуйте здесь, а завтра утром отправляйтесь на маленькой машине и смените Джино. Я дам вам кого-нибудь, кто знает дорогу. Джино вам все расскажет. Там еще постреливают немного, но, в общем, все уже кончилось. Вам любопытно будет побывать на Баинзицце.

— Очень рад буду побывать там. Очень рад, что я опять с вами.

Он улыбнулся.

— Вы очень любезны. Я устал от этой войны. Если б я уехал, не думаю, чтобы мне захотелось вернуться.

— Настолько все скверно?

— Да. Настолько и даже хуже. Идите умойтесь и ра-
збейте своего друга Ринальди.

Я взял свой багаж и понес его по лестнице наверх. Ринальди в комнате не было, но вещи его были на месте, и я сел на кровать, снял обмотки и стащил с правой ноги башмак. Потом я прилег на кровати. Я устал, и правая нога болела. Мне показалось глупо лежать на постели в одном башмаке, поэтому я сел, расшнуровал второй башмак, сбросил его на пол и снова прилег на одеяло. В комнате было душно от закрытого окна, но я слишком устал, чтобы встать и раскрыть его. Я увидел, что все мои вещи сложены в одном углу комнаты. Уже начинало темнеть. Я лежал на кровати, и думал о Кэтрин, и ждал Ринальди. Я решил думать о Кэтрин только вечерами, перед сном. Но я устал, и мне нечего было делать, поэтому я лежал и думал о ней. Я думал о ней, когда Ринальди вошел в комнату. Он был все такой же. Разве только слегка похудел.

— Ну, бэби,— сказал он.

Я приподнялся на постели. Он подошел, сел рядом и обнял меня.

— Славный мой, хороший бэби.— Он хлопнул меня по спине, и я схватил его за плечи.

— Славный мой бэби,— сказал он.— Покажите-ка мне колено.

— Придется штаны снимать.

— Снимите штаны, бэби. Здесь все свои. Я хочу посмотреть, как вас там обработали.

Я встал, спустил брюки и снял с колена повязку. Ринальди сел на пол и стал слегка сгибать и разгибать мне ногу. Он провел рукой по шраму, соединил большие пальцы над коленной чашечкой и остальными легонько потряс колено.

— И дальше у вас не сгибается?

— Нет.

— Это просто преступление, что вас выписали. Они должны были добиться полного функционирования сустава.

— Было гораздо хуже. Нога была как палка.

Ринальди попробовал еще. Я следил за его руками. У него были ловкие руки хирурга. Я поглядел на его голову, на его волосы, блестящие и гладко расчесанные на пробор. Он согнул ногу слишком сильно.

— Уф! — сказал я.

— Вам надо было еще полечиться механотерапией, — сказал Ринальди.

— Раньше было хуже.

— Знаю, бэби. В таких вещах я смыслю больше вас. — Он поднялся и сел на кровать. — Сама операция сделана неплохо. — С моим коленом было покончено. — Теперь рассказывайте.

— Нечего рассказывать, — сказал я. — Жил тихо и мирно.

— Можно подумать, что вы семейный человек, — сказал он. — Что с вами?

— Ничего, — сказал я. — А вот что с вами?

— Эта война меня доконает, — сказал Ринальди. — Я совсем скис. — Он обхватил свое колено руками.

— Ого! — сказал я.

— В чем дело? Что, у меня не может быть человеческих чувств?

— Нет. Вы, видно, провели веселое лето. Расскажите,

— Все лето и всю осень я оперировал. Я работаю без отдыха. Я один работаю за всех. Самые трудные случаи оставляют мне. Честное слово, бэби, я становлюсь отличным хирургом.

— Это звучит уже лучше.

— Я никогда не думаю. Нет, честное слово, я не думаю, я просто оперирую.

— И правильно.

— Но сейчас, бэби, дело другое. Сейчас оперировать не приходится, и на душе у меня омерзительно. Это ужасная война, бэби. Можете мне поверить. Ну, а теперь развеселите меня немножко. Вы привезли пластинки?

— Да.

Они лежали в моем рюкзаке, в коробке, завернутые в бумагу. Я слишком устал, чтобы доставать их.

— А у вас разве хорошо на душе, бэби?

— Омерзительно.

— Эта война ужасна, — сказал Ринальди. — Ну, ладно. Вот мы с вами напьемся, так станет веселее. Развеем тоску по ветру. И все будет хорошо.

— У меня была желтуха, — сказал я. — Мне нельзя напиваться.

— Ах, бэби, в каком виде вы ко мне вернулись: рассудительный, с больной печенью. Нет, в самом деле, скверная штука война. И зачем только мы в нее ввязались?

— Давайте все-таки выпьем. Напиваться я не хочу, но выпить можно.

Ринальди подошел к умывальнику у другой стены и достал два стакана и бутылку коньяка.

— Это австрийский коньяк, — сказал он. — Семь звездочек. Все, что удалось захватить на Сан-Габриеле.

— Вы там были?

— Нет. Я нигде не был. Я все время был здесь и оперировал. Смотрите, бэби, это ваш старый стакан для полоскания зубов. Я его все время берег, чтобы он мне напоминал о вас.

— Или о том, что нужно чистить зубы.

— Нет. У меня свой есть. Я его берег, чтобы он мне напоминал, как вы по утрам старались отчиститься от «Вилла-Росса», и ругались, и глотали аспирин, и проклинали девок. Каждый раз, когда я смотрю на этот стакан, я вспоминаю, как вы старались вычистить свою совесть зубной щеткой. — Он подошел к постели. — Ну, поцелуйте меня и скажите, что вы уже перестали быть рассудительным.

— Не подумаю я вас целовать. Вы обезьяна.

— Ну, ну. Я знаю, вы хороший англосаксонский паймальчик. Я знаю. Вас совесть заела, я знаю. Я подожду, когда мой англосаксонский мальчик опять станет зубной щеткой счищать с себя публичный дом.

— Налейте коньяку в стакан.

Мы чокнулись и выпили. Ринальди посмеивался надо мной.

— Вот подпою вас, выну вашу печень, вставлю вам хорошую итальянскую печенку и сделаю вас опять человеком.

Я протянул стакан, чтобы он палил мне еще коньяку. Уже совсем стемнело. Со стаканом в руке я пошел к окну и раскрыл его. Дождя уже не было. Стало холоднее, и в ветвях сгустился туман.

— Не выливайте коньяк в окно, — сказал Ринальди. — Если вы не можете выпить, дайте мне.

— Подите вы знаете куда, — сказал я. Я рад был снова увидеть Ринальди. Целых два года он занимался тем, что дразнил меня, и я всегда любил его. Мы очень хорошо понимали друг друга.

— Вы женились? — спросил он, сидя на постели. Я стоял у окна, прислонясь к стене.

— Нет еще.

— Вы влюблены?

— Да.

— В ту англичанку?

— Да.

— Бедный бэби! Ну, а она вас тоже любит?

— Да.

— И доказала вам это на деле?

— Заткнитесь.

— Охотно. Вы увидите, что я человек исключительной деликатности. А что, она...

— Ринни! — сказал я. — Пожалуйста, заткнитесь. Если вы хотите, чтоб мы были друзьями, заткнитесь.

— Мне нечего хотеть, чтоб мы были друзьями, бэби. Мы и так друзья.

— Вот и заткнитесь.

— Слушаюсь.

Я подошел к кровати и сел рядом с Ринальди. Он держал стакан и смотрел в пол.

— Теперь понимаете, Ринни?

— Да, да, конечно. Всю свою жизнь я натываюсь на священные чувства. За вами я таких до сих пор не знал. Но, конечно, и у вас они должны быть. — Он смотрел в пол.

— А разве у вас нет?

— Нет.

— Никаких?

— Никаких.

— Вы позволили бы мне говорить что угодно о вашей матери, о вашей сестре?

— И даже о *вашей* сестре, — живо сказал Ринальди. Мы оба засмеялись.

— Каков сверхчеловек! — сказал я.

— Может быть, я ревную, — сказал Ринальди.

— Нет, не может быть.

— Не в этом смысле. Я хотел сказать другое. Есть у вас женатые друзья?

— Есть, — сказал я.

— А у меня нет, — сказал Ринальди. — Таких, которые были бы счастливы со своими женами, нет.

— Почему?

— Они меня не любят.

— Почему?

— Я змей. Я змей познания.

— Вы все перепутали. Это древо было познания.

— Нет, змей. — Он немного развеселился.

— Вас портят глубокомысленные рассуждения, — сказал я.

— Я люблю вас, бэби, — сказал он. — Вы меня одергиваете, когда я становлюсь великим итальянским мыслителем. Но я знаю многое, чего не могу объяснить. Я больше знаю, чем вы.

— Да. Это верно.

— Но вам будет легче прожить. Хоть и с угрызениями совести, а легче.

— Не думаю.

— Да, да. Это так. Мне уже и теперь только тогда хорошо, когда я работаю. — Он снова стал смотреть в пол.

— Это у вас пройдет.

— Нет. Есть еще только две вещи, которые я люблю: одна вредит моей работе, а другой хватает на полчаса или на пятнадцать минут. Иногда меньше.

— Иногда гораздо меньше.

— Может быть, я сделал успехи, бэби. Вы ведь не знаете. Но я знаю только эти две вещи и свою работу.

— Узнаете и другое.

— Нет. Мы никогда ничего не узнаем. Мы родимся со всем тем, что у нас есть, и больше ничему не научаемся. Мы никогда не узнаем ничего нового. Мы начинаем путь уже законченными. Счастье ваше, что вы не латинянин.

— Никаких латинян не существует. Это вот рассуждения латинянина. Вы гордитесь своими недостатками.

Ринальди поднял глаза и засмеялся.

— Ну, хватит, бэби. Я устал рассуждать.— У него был усталый вид, еще когда он вошел в комнату.— Скоро обед. Я рад, что вы вернулись. Вы мой лучший друг и мой брат по оружию.

— Когда братья по оружию обедают? — спросил я.

— Сейчас. Выпьем еще раз за вашу печеньку.

— Это что, по апостолу Павлу?

— Вы не точны. Там было вино и желудок. Вкусите вина ради пользы желудка.

— Чего хотите, — сказал я. — Ради чего угодно.

— За вашу милую, — сказал Ринальди. Он поднял свой стакан.

— Принимаю.

— Я больше не скажу о ней ни одной гадости.

— Не невольте себя.

Он выпил весь коньяк.

— У меня чистая душа, — сказал он. — Я такой же, как вы, бэби. Я себе тоже заведу английскую девушку. Собственно говоря, я первый познакомился с вашей девушкой, но она для меня слишком высокая. И высокую девушку в сестры, — продекламировал он.

— Вы сама чистота, — сказал я.

— Не правда ли? Потому-то меня и называют Чистейший Ринальди.

— Свиной Ринальди.

— Ну, ладно, бэби, идем обедать, пока я еще не утратил своей чистоты.

Я умылся, пригладил волосы, и мы снова сошли вниз. Ринальди был слегка пьян. В столовой еще не все было готово к обеду.

— Пойду принесу коньяк, — сказал Ринальди. Он поднялся наверх. Я сел за стол, и он вернулся с бутылкой и налил себе и мне по полстакана коньяку.

— Слишком много, — сказал я, и поднял стакан, и посмотрел в него на свет лампы, стоявшей посреди стола.

— На пустой желудок не много. Замечательная вещь. Совершенно выжигает внутренности. Хуже для вас не придумаешь.

— Ну что ж.

— Систематическое саморазрушение, — сказал Ринальди. — Портит желудок и вызывает дрожь в руках. Самая подходящая вещь для хирурга.

— Вы мне советуете?

— От всей души. Другого сам не употребляю. Проглотите это, бэби, и готовьтесь захворать.

Я выпил половину. В коридоре послышался голос вестового, выкликавший: «Суп! Суп готов!»

Вошел майор, кивнул нам и сел. За столом он казался очень маленьким.

— Больше никого? — спросил он. Вестовой поставил перед ним суповую миску, и он сразу налил полную тарелку.

— Никого, — сказал Ринальди. — Разве только священник придет. Знай он, что Федерико здесь, он бы пришел.

— Где он? — спросил я.

— В триста седьмом, — сказал майор. Он был занят своим супом. Он вытер рот, тщательно вытирая подкрученные кверху седые усы. — Придет, вероятно. Я был там и оставил записку, что вы приехали.

— Прежде шумнее было в столовой, — сказал я.

— Да, у нас теперь тихо, — сказал майор.

— Сейчас я буду шуметь, — сказал Ринальди.

— Выпейте вина, Энрико, — сказал майор. Он наполнил мой стакан. Принесли спагетти, и мы все занялись едой. Мы доедали спагетти, когда вошел священник. Он был все такой же, маленький и смуглый и весь подобранный. Я встал, и мы пожали друг другу руки. Он положил мне руку на плечо.

— Я пришел, как только узнал, — сказал он.

— Садитесь, — сказал майор. — Вы опоздали.

— Добрый вечер, священник, — сказал Ринальди.

— Добрый вечер, Ринальди, — сказал священник. Вестовой принес ему супу, но он сказал, что начнет со спагетти.

— Как ваше здоровье? — спросил он меня.

— Прекрасно, — сказал я. — Что у вас тут слышно?

— Выпейте вина, священник, — сказал Ринальди. — Вкусите вина ради пользы желудка. Это же из апостола Павла, вы знаете?

— Да, я знаю, — сказал священник вежливо. Ринальди наполнил его стакан.

— Уж этот апостол Павел! — сказал Ринальди. — Он-то и причина всему.

Священник взглянул на меня и улыбнулся. Я видел, что зубоскальство теперь не трогает его.

— Уж этот апостол Павел, — сказал Ринальди. — Сам был кобель и бабник, а как не стало силы, так объявил, что

это грешно. Сам уже не мог ничего, так взялся поучать тех, кто еще в силе. Разве не так, Федерико?

Майор улыбнулся. Мы в это время ели жаркое.

— Я никогда не критикую святых после захода солнца,— сказал я. Священник поднял глаза от тарелки и улыбнулся мне.

— Ну вот, теперь и он за священника,— сказал Ринальди.— Где все добрые старые зубоскалы? Где Кавальканти? Где Брунди? Где Чезаре? Что ж, так мне и дразнить этого несчастного священника одному, без всякой поддержки?

— Он хороший священник,— сказал майор.

— Он хороший священник,— сказал Ринальди.— Но все-таки священник. Я стараюсь, чтоб в столовой все было, как в прежние времена. Я хочу доставить удовольствие Федерико. Ну вас к черту, священник!

Я заметил, что майор смотрит на него и видит, что он пьян. Его худое лицо было совсем белое. Волосы казались очень черными над белым лбом.

— Ничего, Ринальди,— сказал священник.— Ничего.

— Ну вас к черту! — сказал Ринальди.— Вообще все к черту! — Он откинулся на спинку стула.

— Он много работал и переутомился,— сказал майор, обращаясь ко мне. Доев мясо, он корочкой подобрал с тарелки соус.

— Плевать я хотел на вас,— сказал Ринальди, обращаясь к столу.— И вообще все и всех к черту! — Он вызывающе огляделся вокруг, глаза его были тусклы, лицо бледно.

— Ну, ладно,— сказал я.— Все и всех к черту!

— Нет, нет,— сказал Ринальди.— Так нельзя. Так нельзя. Говорят вам: так нельзя. Мрак и пустота, и больше ничего нет. Больше ничего нет, слышите? Ни черта. Я знаю это, когда не работаю.

Священник покачал головой. Востовой убрал жаркое.

— Почему вы едите мясо? — обернулся Ринальди к священнику.— Разве вы не знаете, что сегодня пятница?

— Сегодня четверг,— сказал священник.

— Враки. Сегодня пятница. Вы едите тело Спасителя. Это божье мясо. Я знаю. Это дохлая австриячина. Вот что вы едите.

— Белое мясо — офицерское,— сказал я, вспоминая старую шутку.

Ринальди засмеялся. Он наполнил свой стакан.

— Не слушайте меня,— сказал он.— Я немного спятил.

— Вам бы нужно поехать в отпуск,— сказал священник.

Майор укоризненно покачал головой. Ринальди посмотрел на священника.

— По-вашему, мне нужно ехать в отпуск?

Майор укоризненно качал головой, глядя на священника. Ринальди тоже смотрел на священника.

— Как хотите,— сказал священник.— Если вам не хочется, то не надо.

— Ну вас к черту! — сказал Ринальди.— Они стараются от меня избавиться. Каждый вечер они стараются от меня избавиться. Я отбиваюсь, как могу. Что ж такого, если у меня *это*? *Это* у всех. *Это* у всего мира. Сначала,— он продолжал тоном лектора,— это только маленький прыщик. Потом мы замечаем сыпь на груди. Потом мы уже ничего не замечаем. Мы возлагаем все надежды на ртуть.

— Или сальварсан,— спокойно прервал его майор.

— Ртутный препарат,— сказал Ринальди. Он говорил теперь очень приподнятым тоном.— Я знаю кое-что получше. Добрый, славный священник,— сказал он,— у вас никогда не будет *этого*. А у бэби будет. Это авария на производстве. Это просто авария на производстве.

Вестовой подал десерт и кофе. На сладкое было что-то вроде хлебного пудинга с густой подливкой. Лампа коптила; черная копоть оседала на стекле.

— Дайте сюда свечи и уберите лампу,— сказал майор.

Вестовой принес две зажженные свечи, прилепленные к блюдам, и взял лампу, задув ее по дороге. Ринальди успокоился. Он как будто совсем пришел в себя. Мы все разговаривали, а после кофе вышли в вестибюль.

— Ну, мне нужно в город,— сказал Ринальди.— Покойной ночи, священник.

— Покойной ночи, Ринальди,— сказал священник.

— Еще увидимся, Фреди,— сказал Ринальди.

— Да,— сказал я.— Приходите пораньше.

Он состроил гримасу и вышел. Майор стоял рядом с нами.

— Он переутомлен и очень издерган,— сказал он.— К тому же он решил, что у него сифилис. Не думаю, но

возможно. Он лечится от сифилиса. Покойной ночи, Энрико. Вы на рассвете выедете?

— Да.

— Ну так до свидания,— сказал он.— Счастливого пути! Педупци разбудит вас и поедет вместе с вами.

— До свидания.

— До свидания. Говорят, австрийцы собираются наступать, но я не думаю. Не хочу думать. Во всяком случае, это будет не здесь. Джино вам все расскажет. Телефонная связь теперь налажена.

— Я буду часто звонить.

— Непременно. Покойной ночи. Не давайте Ринальди так много пить.

— Постараюсь.

— Покойной ночи, священник.

— Покойной ночи.

Он ушел в свой кабинет.

Глава двадцать шестая

Я подошел к двери и выглянул на улицу. Дождь перестал, но был сильный туман.

— Может быть, посидим у меня в комнате? — предложил я священнику.

— Только я очень скоро должен идти.

— Все равно, пойдемте.

Мы поднялись по лестнице и вошли в мою комнату. Я прилег на постель Ринальди. Священник сел на койку, которую вестовой приготовил для меня. В комнате было темно.

— Как же вы себя все-таки чувствуете? — спросил оп.

— Хорошо. Просто устал сегодня.

— Вот и я устал, хотя, казалось бы, не от чего.

— Как дела на войне?

— Мне кажется, война скоро кончится. Не знаю почему, но у меня такое чувство.

— Откуда оно у вас?

— Вы заметили, как изменился наш майор? Слово притих. Многие теперь так.

— Я и сам так,— сказал я.

— Лето было ужасное,— сказал священник. В нем появилась уверенность, которой я за ним не знал раньше.— Вы себе не представляете, что это было. Только тот, кто

побывал там, может себе это представить. Этим летом многие поняли, что такое война. Офицеры, которые, казалось, не способны понять, теперь поняли.

— Что же должно произойти? — Я поглаживал одеяло ладонью.

— Не знаю, но мне кажется, долго так продолжаться не может.

— Что же произойдет?

— Перестанут воевать.

— Кто?

— И те и другие.

— Будем надеяться, — сказал я.

— Вы в это не верите?

— Я не верю в то, что сразу перестанут воевать и те и другие.

— Да, конечно. Это было бы слишком хорошо. Но когда я вижу, что делается с людьми, мне кажется, так продолжаться не может.

— Кто выиграл летнюю кампанию?

— Никто.

— Австрийцы выиграли, — сказал я. — Они не отдали итальянцам Сан-Габриеле. Они выиграли. Они не перестанут воевать.

— Если у них такие же настроения, как у нас, могут и перестать. Они ведь тоже прошли через все это.

— Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестанет воевать.

— Вы меня обескураживаете.

— Я только говорю, что думаю.

— Значит, вы думаете, так оно и будет продолжаться? Ничего не произойдет?

— Не знаю. Но думаю, что австрийцы не перестанут воевать, раз они одержали победу. Христианами нас делает поражение.

— Но ведь австрийцы и так христиане — за исключением босняков.

— Я не о христианской религии говорю. Я говорю о христианском духе.

Он промолчал.

— Мы все притихли, потому что потерпели поражение. Кто знает, каким был бы Христос, если бы Петр спас его в Гефсиманском саду.

— Все таким же.

— Не уверен, — сказал я.

— Вы меня обескураживаете,— повторил он.— Я верю, что должно что-то произойти, и молюсь об этом. Я чувствую, как оно надвигается.

— Может, что-нибудь и произойдет,— сказал я.— Но только с нами. Если б у них были такие же настроения, как у нас, тогда другое дело. Но они побили нас. У них настроения другие.

— У многих из солдат всегда были такие настроения. Это вовсе не потому, что они теперь побиты.

— Они были побиты с самого начала. Они были побиты тогда, когда их оторвали от земли и надели на них солдатскую форму. Вот почему крестьянин мудр — потому что он с самого начала потерпел поражение. Дайте ему власть, и вы увидите, что он по-настоящему мудр.

Он ничего не ответил. Он думал.

— И у меня тоже тяжело на душе,— сказал я.— Потому-то я стараюсь не думать о таких вещах. Я о них не думаю, но стоит мне начать разговор, и это само собой приходит мне в голову.

— А я ведь надеялся на что-то.

— На поражение?

— Нет. На что-то большее.

— Ничего большего нет. Разве только победа. Но это, может быть, еще хуже.

— Долгое время я надеялся на победу.

— Я тоже.

— А теперь — сам не знаю.

— Что-нибудь должно быть, или победа, или поражение.

— В победу я больше не верю.

— И я не верю. Но я не верю и в поражение. Хотя, пожалуй, это было бы лучше.

— Во что же вы верите?

— В сон,— сказал я. Он встал.

— Простите, что я отнял у вас столько времени. Но я так люблю с вами беседовать.

— Мне тоже очень приятно беседовать с вами. Это я просто так сказал насчет сна, в шутку.

Я встал, и мы за руку попрощались в темноте.

— Я теперь ночую в триста седьмом,— сказал он.

— Завтра с утра я уезжаю на пост.

— Мы увидимся, когда вы вернетесь.

— Тогда погуляем и поговорим.— Я проводил его до двери.

— Не спускайтесь,— сказал он.— Как приятно, что вы снова здесь. Хотя для вас это не так приятно.— Он положил мне руку на плечо.

— Для меня это неплохо,— сказал я.— Покойной ночи.

— Покойной ночи. Ciao!

— Ciao! — сказал я. Мне до смерти хотелось спать.

Глава двадцать седьмая

Я проснулся, когда пришел Ринальди, но он не стал разговаривать, и я снова заснул. Утром, еще до рассвета, я оделся и уехал. Ринальди не проснулся, когда я выходил из комнаты.

Я никогда раньше не видел Баинзиццы, и было странно проезжать по тому берегу, где я получил свою рану, и потом подниматься по склону, весной еще занятому австрийцами. Там была проложена новая, крутая дорога, и по ней ехало много грузовиков. Выше склон становился отлогим, и я увидел леса и крутые холмы в тумане. Эти леса были взяты быстро, и их не успели уничтожить. Еще дальше, там, где холмы не защищали дорогу, она была замаскирована цинковками по сторонам и сверху. Дорога доходила до разоренной деревушки. Здесь начинались позиции. Кругом было много артиллерии. Дома были полуразрушены, но все было устроено очень хорошо, и повсюду висели дощечки с указателями. Мы разыскали Джино, и он угостил нас кофе, и потом я вышел вместе с ним, и мы кое-кого повидали и осмотрели посты. Джино сказал, что английские машины работают дальше, у Равне. Он очень восхищался англичанами. Еще время от времени стреляют, сказал он, но раненых немного. Теперь, когда начались дожди, будет много больных. Говорят, австрийцы собираются наступать, но он этому не верит. Говорят, мы тоже собираемся наступать, но никаких подкреплений не прибыло, так что и это маловероятно. С продовольствием плохо, и он будет очень рад подкормиться в Гориции. Что мне вчера дали на обед? Я ему рассказал, и он нашел, что это великолепно. Особенное впечатление на него произвело dolce¹. Я не описывал в подробностях, просто сказал, что было dolce, и, вероятно, он вообразил себе что-нибудь более изысканное, чем хлебный пудинг.

¹ Сладкое (ит.).

Знаю ли я, куда ему придется ехать? Я сказал, что не знаю, но что часть машин находится в Капоретто. Туда бы он охотно поехал. Это очень славный городок, и ему нравятся высокие горы, которые его окружают. Он был славный малый, и все его любили. Он сказал, что где действительно был ад,— это на Сан-Габриеле и во время атаки за Ломом, которая плохо кончилась. Он сказал, что в лесах по всему хребту Тернова, позади нас и выше нас, полно австрийской артиллерии и по ночам дорогу отчаянно обстреливают. У них есть батарея морских орудий, которые действуют ему на нервы. Их легко узнать по низкому полету снаряда. Слышишь залп, и почти тотчас же начинается свист. Обычно стреляют два орудия сразу, одно за другим, и при разрыве летят огромные осколки. Он показал мне такой осколок, иззубренный кусок металла с фут длиной. Металл был похож на баббит.

— Не думаю, чтоб они давали хорошие результаты,— сказал Джино.— Но мне от них страшно. У них такой звук, точно они летят прямо в тебя. Сначала удар, потом сейчас же свист и разрыв. Что за радость не быть раненым, если при этом умираешь от страха.

Он сказал, что напротив нас стоят теперь полки кроатов и мадьяр. Наши войска все еще в наступательном порядке. Если австрийцы перейдут в наступление, отступать некуда. В невысоких горах сейчас же за плато есть прекрасные места для оборонительных позиций, но ничего не предпринято, чтоб подготовить их. Кстати, какое впечатление на меня произвела Баинзицца?

Я думал, что здесь более плоско, более похоже на плато. Я не знал, что местность так изрезана.

— *Alto piano*¹,— сказал Джино,— но не *piano*².

Мы спустились в погреб дома, где он жил. Я сказал, что, по-моему, кряж, если он плоский у вершины и имеет некоторую глубину, легче и выгоднее удерживать, чем цепь мелких гор. Атака в горах не более трудное дело, чем на ровном месте, настаивал я.

— Смотри какие горы,— сказал он.— Возьмите Сан-Габриеле.

— Да,— сказал я.— Но туго пришлось на вершине, где плоско. До вершины добрались сравнительно легко.

— Не так уж легко,— сказал он.

¹ Плоскогорье (ит.).

² Равнина (ит.).

— Пожалуй,— сказал я.— Но все-таки это особый случай, потому что тут была скорее крепость, чем гора. Австрийцы укрепляли ее много лет.

Я хотел сказать, что тактически при военных операциях, связанных с передвижением, удерживать в качестве линии фронта горную цепь не имеет смысла, потому что горы слишком легко обойти. Здесь нужна максимальная маневренность, а в горах маневрировать трудно. И потом, при стрельбе сверху вниз всегда бывают перелеты. В случае отхода флангов лучшие силы останутся на самых высоких вершинах. Мне горная война не внушает доверия. Я много думал об этом, сказал я. Мы засядем на одной горе, они засядут на другой, а как начнется что-нибудь настоящее, и тем и другим придется слезать вниз.

— А что же делать, если граница проходит в горах? — спросил он.

Я сказал, что это у меня еще не продумано, и мы оба засмеялись. Но, сказал я, в прежнее время австрийцев всегда били в четырехугольнике веронских крепостей. Им давали спуститься на равнину и там их били.

— Да,— сказал Джино.— Но то были французы, а стратегические проблемы всегда легко разрешать, когда ведешь бой на чужой территории.

— Да,— согласился я.— У себя на родине невозможно подходить к этому чисто научно.

— Русские сделали это, чтобы заманить в ловушку Наполеона.

— Да, но ведь у русских сколько земли. Попробуйте в Италии отступать, чтобы заманить Наполеона, и вы миглом очутитесь в Бриндизи.

— Отвратительный город,— сказал Джино.— Вы когда-нибудь там бывали?

— Только проездом.

— Я патриот,— сказал Джино.— Но не могу я любить Бриндизи или Таранто.

— А Баинзиццу вы любите? — спросил я.

— Это священная земля,— сказал он.— Но я хотел бы, чтобы она родила больше картофеля. Вы знаете, когда мы попали сюда, мы нашли поля картофеля, засаженные австрийцами.

— Что, здесь действительно так плохо с продовольствием? — спросил я.

— Я лично ни разу не наелся досыта, но у меня основательный аппетит, а голодать все-таки не приходилось.

Офицерские обеды неважные. На передовых позициях кормят прилично, а вот на линии поддержки хуже. Что-то где-то не в порядке. Продовольствия должно быть достаточно.

— Спекулянты распродают его на сторону.

— Да, батальонам на передовых позициях дают все, что можно, а тем, кто поближе к тылу, приходится туго. Уже съели всю австрийскую картошку и все каштаны из окрестных рощ. Нужно бы кормить получше. У нас у всех основательный аппетит. Я уверен, что продовольствия достаточно. Очень скверно, когда солдатам не хватает продовольствия. Вы замечали, как это влияет на образ мыслей?

— Да,— сказал я.— Это не принесет победы, но может принести поражение.

— Не будем говорить о поражении. Довольно и так разговоров о поражении. Не может быть, чтобы все, что совершилось этим летом, совершилось понапрасну.

Я промолчал. Меня всегда приводят в смущение слова «священный», «славный», «жертва» и выражение «совершилось». Мы слышали их иногда, стоя под дождем, на таком расстоянии, что только отдельные выкрики долетали до нас, и читали их на плакатах, которые расклеивали, бывало, наплевывая поверх других плакатов; но ничего священного я не видел, и то, что считалось славным, не заслуживало славы, и жертвы очень напоминали чикагские боины, только мясо здесь просто зарывали в землю. Было много таких слов, которые уже противно было слушать, и в конце концов только названия мест сохранили достоинство. Некоторые номера тоже сохранили его, и некоторые даты, и только их и названия мест можно было еще произносить с каким-то значением. Абстрактные слова, такие, как «слава», «подвиг», «доблесть» или «святые», были непристойны рядом с конкретными названиями деревень, номерами дорог, названиями рек, номерами полков и датами. Джино был патриот, поэтому иногда то, что он говорил, разобщало нас, но он был добрый малый, и я понимал его патриотизм. Он с ним родился. Вместе с Педуцци он сел в машину, чтобы ехать в Горицию.

Весь день была буря. Ветер подгонял потоки, и всюду были лужи и грязь. Штукатурка на развалинах стен была серая и мокрая. Перед вечером дождь перестал, и с поста номер два я увидел мокрую голую осеннюю землю, тучи над вершинами холмов и мокрые соломенные циновки на дороге, с которых стекала вода. Солнце выглянуло один

раз, перед тем как зайти, и осветило голый лес за кряжем горы. В лесу на этом кряже было много австрийских орудий, но стреляли не все. Я смотрел, как клубы прапнельного дыма возникали вдруг в небе над разрушенной фермой, близ которой проходил фронт; пушистые клубы с желто-белой вспышкой в середине. Видна была вспышка, потом слышался треск, потом шар дыма вытягивался и редел на ветру. Много прапнельных пуль валялось среди развалин и на дороге у разрушенного дома, где находился пост, но пост в этот вечер не обстреливали. Мы нагрузили две машины и поехали по дороге, замаскированной мокрыми циновками, сквозь щели которых проникали последние солнечные лучи. Когда мы выехали на открытую дорогу, солнце уже село. Мы поехали по открытой дороге, и когда, миновав поворот, мы снова въехали под квадратные своды соломенного туннеля, опять пошел дождь.

Ночью ветер усилился, и в три часа утра под сплошной пеленой дождя начался обстрел, и кроаты пошли через горные луга и перелески прямо на наши позиции. Они дрались в темноте под дождем, и контратакой осмелевших от страха солдат из окопов второй линии были отброшены назад. Рвались снаряды, взлетали ракеты под дождем, не утихал пулеметный и ружейный огонь по всей линии фронта. Они больше не пытались подойти, и кругом стало тише, и между порывами ветра и дождя мы слышали гул канонады далеко на севере.

На пост прибывали раненые: одних несли на носилках, другие шли сами, третьих тащили на плечах товарищи, возвращавшиеся с поля. Они промокли до костей и не помнили себя от страха. Мы нагрузили две машины тяжело-ранеными, которые лежали в погребе дома, где был пост, и когда я захлопнул дверцу второй машины и повернул задвижку, на лицо мне упали снежные хлопья. Снег густо и тяжело валил вместе с дождем.

Когда рассвело, буря еще продолжалась, но снега уже не было. Он растаял на мокрой земле, и теперь снова шел дождь. На рассвете нас атаковали еще раз, но без успеха. Мы ждали атаки целый день, но все было тихо, пока не село солнце. Обстрел начался на юге, со стороны длинного, поросшего лесом горного кряжа, где была сосредоточена австрийская артиллерия. Мы тоже ждали обстрела, но его не было. Становилось темно. Наши орудия стояли в поле за деревней, и свист их снарядов звучал успокоительно.

Мы узнали, что атака на юге прошла без успеха. В ту ночь атака не возобновлялась, но мы узнали, что на севере фронт прорван. Ночью нам дали знать, чтобы мы готовились к отступлению. Мне сказал об этом капитан. Он получил сведения из штаба бригады. Немного спустя он вернулся от телефона и сказал, что все неправда. Штабу дан приказ во что бы то ни стало удержать позиции на Баиницце. Я спросил о прорыве, и он сказал, что в штабе говорят, будто австрийцы прорвали фронт двадцать седьмого армейского корпуса в направлении Капоретто. На севере весь вчерашний день шли ожесточенные бои.

— Если эти сукины дети их пропустят, нам крышка,— сказал он.

— Это немцы атакуют,— сказал один из врачей. Слово «немцы» внушало страх. Мы никак не хотели иметь дело с немцами.

— Там пятнадцать немецких дивизий,— сказал врач.— Они прорвались, и мы будем отрезаны.

— В штабе бригады говорят, что мы должны удержать эти позиции. Говорят, прорыв не серьезный, и мы будем теперь держать линию фронта от Монте-Маджоре через горы.

— Откуда у них эти сведения?

— Из штаба дивизии.

— О том, что нужно готовиться к отступлению, тоже сообщили из штаба дивизии.

— Наше начальство — штаб армии,— сказал я.— Но здесь мое начальство — вы. Если вы велите мне ехать, я поеду. Но выясните точно, каков приказ.

— Приказ таков, что мы должны оставаться здесь. Ваше дело перевозить раненых на распределительный пункт.

— Нам иногда приходится перевозить и с распределительного пункта в полевые госпитали,— сказал я.— А скажите,— я никогда не видел отступления: если начинается отступление, каким образом эвакуируют всех раненых?

— Всех не эвакуируют. Забирают, сколько возможно, а прочих оставляют.

— Что я повезу на своих машинах?

— Госпитальное оборудование.

— Понятно,— сказал я.

На следующую ночь началось отступление. Стало известно, что немцы и австрийцы прорвали фронт на севере и идут горными ущельями на Чивидале и Удине. Отступали под дождем, организованно, сумрачно и тихо. Ночью,

медленно двигаясь по запруженным дорогам, мы видели, как проходили под дождем войска, ехали орудия, повозки, запряженные лошадьми, мулы, грузовики, и все это уходило от фронта. Было не больше беспорядка, чем при продвижении вперед.

В ту ночь мы помогали разгружать полевые госпитали, которые были устроены в уцелевших деревнях на плато, и отвозили раненых к Плаве, а на завтра весь день сновали под дождем, эвакуируя госпитали и распределительный пункт Плавы. Дождь лил упорно, и под октябрьским дождем армия Баинзиццы спускалась с плато и переходила реку там, где весной этого года были одержаны первые великие победы. В середине следующего дня мы прибыли в Горицию. Дождь перестал, и в городе было почти пусто. Проезжая по улице, мы увидели грузовик, на который усаживали девиц из солдатского борделя. Девушек было семь, и все они были в шляпах и пальто и с маленькими чемоданчиками в руках. Две из них плакали. Третья улыбнулась нам, высунула язык и повертела им из стороны в сторону. У нее были толстые припухлые губы и черные глаза.

Я остановил машину, вышел и заговорил с хозяйкой. Девушки из офицерского дома уехали рано утром, сказала она. Куда они направляются? В Конельяно, сказала она. Грузовик тронулся. Девушка с толстыми губами снова показала нам язык. Хозяйка помахала рукой. Две девушки продолжали плакать. Другие с любопытством оглядывали город. Я снова сел в машину.

— Вот бы нам ехать вместе с ними, — сказал Бонелло. — Веселая была бы поездка.

— Поездка и так будет веселая, — сказал я.

— Поездка будет собачья.

— Я это и подразумевал, — сказал я. Мы выехали на аллею, которая вела к нашей вилле.

— Хотел бы я быть там, когда эти пышечки расположатся на месте и примутся за дело.

— Вы думаете, они так сразу и примутся?

— Еще бы! Кто же во второй армии не знает этой хозяйки?

Мы были уже перед виллой.

— Ее называют мать игуменья, — сказал Бонелло. — Девушки новые, но ее-то знает каждый. Их, должно быть, привезли только что перед отступлением.

— Теперь потрудятся.

— Вот и я говорю, что потрудятся. Хотел бы я позабавиться с ними на даровщинку. Все-таки дерут они там, в домах. Государство обжуливает нас.

— Отведите машину, пусть механик ее осмотрит,— сказал я.— Смените масло и проверьте дифференциал. Заправьтесь, а потом можете немного поспать.

— Слушаюсь.

Вилла была пуста. Ринальди уехал с госпиталем. Майор увез в штабной машине медицинский персонал. На окне оставлена была для меня записка с указанием погрузить на машины оборудование, сложенное в вестибюле, и следовать в Порденоне. Механики уже уехали. Я вернулся в гараж. Остальные две машины пришли, пока я ходил на виллу, и шоферы стояли во дворе. Опять стал накрапывать дождь.

— Я до того спать хочу, что три раза заснул по дороге от Плавы,— сказал Пиани.— Что будем делать, *tenente*?

— Сменим масло, смажем, заправимся, подьем к главному входу и погрузим добро, которое нам оставили.

— И сразу в путь?

— Нет, часа три поспим.

— Черт, поспать — это хорошо,— сказал Бонелло.— А то бы я за рулем заснул.

— Как ваша машина, Аймо? — спросил я.

— В порядке.

— Дайте мне кожан, я помогу вам.

— Не нужно, *tenente*,— сказал Аймо.— Тут дела немного. Вы идите укладывать свои вещи.

— Мои вещи все уложены,— сказал я.— Я пойду вытаску весь этот хлам, что они нам оставили. Подавайте машины, как только управитесь.

Они подали машины к главному входу виллы, и мы нагрузили их госпитальным имуществом, которое было сложено в вестибюле. Скоро все было готово, и автомобили выстроились под дождем вдоль обсаженной деревьями аллеи. Мы вошли в дом.

— Разведите огонь в кухне и обсушитесь,— сказал я.

— Наплевать, буду мокрый,— сказал Пиани.— Я спать хочу.

— Я лягу на кровати майора,— сказал Бонелло.— Лягу там, где старикашке сны снились.

— Мне все равно, где ни спать,— сказал Пиани.

— Вот тут есть две кровати.— Я отворил дверь.

— Я никогда не был в этой комнате,— сказал Бонелло.

— Это была комната старой жабы,— сказал Пиани.
— Ложитесь тут оба,— сказал я.— Я разбуджу вас.
— Если вы проспите, *tenente*, нас австрийцы разбудят,— сказал Бонелло.

— Не просплю,— сказал я.— Где Аймо?

— Пошел на кухню.

— Ложитесь спать,— сказал я.

— Я лягу,— сказал Пиани.— Я весь день спал сидя.
У меня прямо лоб на глаза наезжает.

— Снимай сапоги,— сказал Бонелло.— Это жабина кровать.

— Плевать мне на жабу!

Пиани улегся на кровати, вытянув ноги в грязных сапогах, подложив руку под голову. Я пошел на кухню. Аймо развел в плите огонь и поставил котелок с водой.

— Надо приготовить немножко спагетти,— сказал он.— Захочется есть, когда проснемся.

— А вы спать не хотите, Бартоломео?

— Не очень. Как вода вскипит, я пойду. Огонь сам погаснет.

— Вы лучше поспите,— сказал я.— Поесть можно сыру и консервов.

— Так будет лучше,— сказал он.— Тарелка горячего подкрепит этих двух анархистов. А вы ложитесь спать.

— В комнате майора есть постель.

— Вот вы там и ложитесь.

— Нет, я пойду в свою старую комнату. Хотите выпить, Бартоломео?

— Когда будем выезжать, *tenente*. Сейчас это мне ни к чему.

— Если через три часа вы проснетесь, а я еще буду спать, разбудите меня, хорошо?

— У меня часов нет.

— В комнате майора есть стенные часы.

— Ладно.

Я прошел через столовую и вестибюль и по мраморной лестнице поднялся в комнату, где жили мы с Ринальди. Шел дождь. Я подошел к окну и выглянул. В надвигающейся темноте я различил три машины, стоявшие одна за другой под деревьями. С деревьев стекала вода. Было холодно, и капли повисали на ветках. Я лег на постель Ринальди и не стал бороться со сном.

Прежде чем выехать, мы поели на кухне. Аймо приготовил спагетти с луком и накрошил в миску мясных кон-

сервов. Мы уселись за стол и выпили две бутылки вина из запасов, оставленных в погребе виллы. Было уже совсем темно, и дождь все еще шел. Пиани сидел за столом совсем сонный.

— Мне отступление больше нравится, чем наступление,— сказал Бонелло.— При отступлении мы пьем барбера.

— Это мы сейчас пьем. Завтра будем пить дождевую воду,— сказал Аймо.

— Завтра мы будем в Удине. Мы будем пить шампанское. Там все лежебоки живут. Проснись, Пиани! Мы будем пить шампанское завтра в Удине.

— Я не сплю,— сказал Пиани. Он положил себе на тарелку спагетти и мяса.— Томатного соуса не хватает, Барто.

— Нигде не нашел,— сказал Аймо.

— Мы будем пить шампанское в Удине,— сказал Бонелло. Он наполнил свой стакан прозрачным красным барбера.

— Не пришлось бы нам наглотаться дерьма еще до Удине,— сказал Пиани.

— Вы сыты, *tenente*? — спросил Аймо.

— Вполне. Передайте мне бутылку, Бартоломео.

— У меня еще есть по бутылке на брата, чтоб с собой взять,— сказал Аймо.

— Вы совсем не спали?

— Я не люблю долго спать. Я поспал немного.

— Завтра мы будем спать в королевской постели,— сказал Бонелло. Он был отлично настроен.

— Завтра, может статься, мы будем спать в дерьме,— сказал Пиани.

— Я буду спать с королевой,— сказал Бонелло. Он оглянулся, чтоб посмотреть, как я отнесся к его шутке.

— Ты будешь спать с дерьмом,— сказал Пиани сонным голосом.

— Это государственная измена, *tenente*,— сказал Бонелло.— Правда, это государственная измена?

— Замолчите,— сказал я.— Слишком вы разгулялись от капли вина.

Дождь лил все сильнее. Я поглядел на часы. Было половина десятого.

— Пора двигать,— сказал я и встал.

— Вы с кем поедете, *tenente*? — спросил Бонелло.

— С Аймо. Потом вы. Потом Пиани. Поедем по дороге на Кормонс.

— Боюсь, как бы я не заснул,— сказал Пиани.

— Хорошо. Я поеду с вами. Потом Бонелло. Потом Аймо.

— Это лучше всего,— сказал Пиани.— А то я совсем сплю.

— Я поведу машину, а вы немного поспите.

— Нет. Я могу вести, раз я знаю, что есть кому меня разбудить, если я засну.

— Я вас разбужу. Погасите свет, Барто.

— А пускай его горит,— сказал Бонелло.— Нам здесь больше не жить.

— У меня там сундучок в комнате,— сказал я.— Вы мне поможете его снести, Пиани?

— Мы сейчас возьмем,— сказал Пиани.— Пошли, Альдо.

Он вышел вместе с Бонелло. Я слышал, как они поднимались по лестнице.

— Хороший это город,— сказал Бартоломео Аймо. Он положил в свой вещевой мешок две бутылки вина и пол-круга сыру.— Другого такого города нам уже не найти. Куда мы отступаем, *tenente*?

— За Тальяменто, говорят. Госпиталь и штаб будут в Порденоне.

— Тут лучше, чем в Порденоне.

— Я в Порденоне не был,— сказал я.— Я только проезжал мимо.

— Городок не из важных,— сказал Аймо.

Глава двадцать восьмая

Когда мы выезжали из Гориции, город в темноте под дождем был пустой, только колонны войск и орудий проходили по главной улице. Еще было много грузовиков и повозок, все это ехало по другим улицам и соединялось на шоссе. Миповав дубильни, мы выехали на шоссе, где войска, грузовики, повозки, запряженные лошадьми, и орудия шли одной широкой, медленно движущейся колонной. Мы медленно, но неуклонно двигались под дождем, почти упираясь радиатором в задний борт нагруженного с верхом грузовика, покрытого мокрым брезентом. Вдруг грузовик остановился. Остановилась вся колонна. Потом она снова тронулась, мы проехали еще немного и снова остановились.

Я вылез и пошел вперед, пробираясь между грузовиками и повозками и под мокрыми мордами лошадей. Затор был где-то впереди. Я свернул с дороги, перебрался через канаву по дощатым мосткам и пошел по полю, начинавшемуся сразу же за канавой. Удаляясь от дороги, я все время видел между деревьями неподвижную под дождем колонну. Я прошел около мили. Колонна стояла на месте, хотя за неподвижным транспортом мне видно было, что войска идут. Я вернулся к машинам. Могло случиться, что затор образовался под самым Удине. Пиани спал за рулем. Я уселся рядом с ним и тоже заснул. Спустя несколько часов я услышал скрежет передачи на грузовике впереди нас. Я разбудил Пиани, и мы поехали, то подвигаясь вперед на несколько ярдов, то останавливаясь, то снова трогаясь. Дождь все еще шел.

Ночью колонна снова стала и не двигалась с места. Я вылез и пошел назад, проведать Бонелло и Аймо. В машине Бонелло с ним рядом сидели два сержанта инженерной части. Когда я подошел, они вытянулись и замерли.

— Их оставили чинить какой-то мост,— сказал Бонелло.— Они не могут найти свою часть, так я согласился их подвезти.

— Если господин лейтенант разрешит.

— Разрешаю,— сказал я.

— Наш лейтенант американец,— сказал Бонелло.— Он кого хочешь подвезет.

Один из сержантов улыбнулся. Другой спросил у Бонелло, из североамериканских я итальянцев или из южноамериканских.

— Он не итальянец. Он англичанин из Северной Америки.

Сержанты вежливо выслушали, но не поверили. Я оставил их и пошел к Аймо. Рядом с ним в машине сидели две девушки, и он курил, откинувшись в угол.

— Барто, Барто! — сказал я. Он засмеялся.

— Поговорите с ними, *tenente*, — сказал он.— Я их не понимаю. Эй! — Он положил руку на бедро одной из девушек и дружески сжал его. Девушка плотнее закуталась в шаль и оттолкнула его руку.— Эй! — сказал он.— Скажите *tenente*, как вас зовут и что вы тут делаете.

Девушка свирепо поглядела на меня. Вторая девушка сидела потупившись. Та, которая смотрела на меня, сказала что-то на диалекте, но я ни слова не понял. Она была смуглая, лет шестнадцати на вид.

— Sorella? ¹ — спросил я, указывая на вторую девушку.

Она кивнула головой и улыбнулась.

— Так,— сказал я и потрепал ее по колену. Я почувствовал, как она съежилась, когда я прикоснулся к ней. Сестра по-прежнему не поднимала глаз. Ей можно было дать годом меньше. Снова Аймо положил руку старшей на бедро, и она оттолкнула ее. Он засмеялся.

— Хороший человек.— Он указал на самого себя.— Хороший человек.— Он указал на меня.— Не надо бояться.

Девушка смотрела на него свирепо. Они были похожи на двух диких птиц.

— Зачем же она со мной поехала, если я ей не нравлюсь? — спросил Аймо.— Я их только поманил, а они сейчас же влезли в машину.— Он обернулся к девушке.— Не бойся,— сказал он.— Никто тебя не...— Он употребил грубое слово.— Тут негде...— Я видел, что она поняла слово, но больше ничего. В ее глазах, смотревших на него, был смертельный испуг. Она еще плотнее закуталась в свою шаль.— Машина полна,— сказал Аймо.— Никто тебя не... Тут негде...

Каждый раз, когда он произносил это слово, девушка съеживалась. Потом, вся съежившись и по-прежнему глядя на него, она заплакала. Я увидел, как у нее затряслись губы и слезы покатались по ее круглым щекам. Сестра, не поднимая глаз, взяла ее за руку, и так они сидели рядом. Старшая, такая свирепая раньше, теперь громко всхлипывала.

— Испугалась, видно,— сказал Аймо.— Я вовсе не хотел пугать ее.

Он вытащил свой мешок и отрезал два куска сыру.

— Вот тебе,— сказал он.— Не плачь.

Старшая девушка покачала головой и продолжала плакать, но младшая взяла сыр и стала есть. Немного погодя младшая дала сестре второй кусок сыру, и они обе ели молча. Старшая все еще изредка всхлипывала.

— Ничего, скоро успокоится,— сказал Аймо.

Ему пришла в голову мысль.

— Девушка? — спросил он ту, которая сидела с ним рядом. Она усердно закивала головой.— Тоже девушка?— Он указал на сестру. Обе закивали, и старшая сказала что-то на диалекте.

¹ Сестра? (ит.)

— Ну, ну, ладно,— сказал Бартоломео.— Ладно.

Обе как будто приободрились.

Я оставил их в машине с Аймо, который сидел откинувшись в угол, а сам вернулся к Пиани. Колонна транспорта стояла неподвижно, но мимо нее все время шли войска. Дождь все еще лил, и я подумал, что остановки в движении колонны иногда происходят из-за того, что у машин намокает проводка. Скорее, впрочем, от того, что лошади или люди засыпают на ходу. Но ведь случаются заторы и в городах, когда никто не засыпает на ходу. Все дело в том, что тут и автотранспорт и гужевой вместе. От такой комбинации толку мало. От крестьянских повозок вообще мало толку. Славные эти девушки у Барто. Невинным девушкам не место в отступающей армии. Две невинные девушки. Еще и религиозные, наверно. Не будь войны, мы бы, наверно, все сейчас лежали в постели. В постель свою ложусь опять. Кэтрин сейчас в постели, у нее две простыни, одна под ней, другая сверху. На каком боку она спит? Может быть, она не спит. Может быть, она лежит сейчас и думает обо мне. Вей, западный ветер, вей. Вот он и повеял, и не дождиком, а сильным дождем туча пролилась. Всю ночь льет дождь. Ты знал, что всю ночь будет лить дождь, которым туча пролилась. Смотри, как он льет. Когда бы милая моя со мной в постели здесь была. Когда бы милая моя Кэтрин. Когда бы милая моя с попутной тучей принеслась. Принеси ко мне мою Кэтрин, ветер. Что ж, вот и мы попались. Все на свете попались, и дождику не потушить огня.

— Спокойной ночи, Кэтрин,— сказал я громко.— Спи крепко. Если тебе очень неудобно, дорогая, ляг на другой бок,— сказал я.— Я принесу тебе холодной воды. Скоро наступит утро, и тебе будет легче. Меня огорчает, что тебе из-за него так неудобно. Постарайся уснуть, моя хорошая.

Я все время спала, сказала она. Ты разговаривал во сне. Ты нездоров?

Ты правда здесь?

Ну конечно, я здесь. И никуда не уйду. Это все для нас с тобой не имеет значения.

Ты такая красивая и хорошая. Ты от меня не уйдешь почью?

Ну конечно, я не уйду. Я всегда здесь. Я с тобой, когда бы ты меня ни позвал.

— Ах ты,.....! — сказал Пиани.— Поехали!

— Я задремал,— сказал я. Я посмотрел на часы. Было три часа утра. Я перегнулся через сиденье, чтобы достать бутылку барбера.

— Вы разговаривали во сне,— сказал Пиани.

— Мне снился сон по-английски,— сказал я.

Дождь немного утих, и мы двигались вперед. Перед рассветом мы опять остановились, и когда совсем рассвело, оказалось, что мы стоим на небольшой возвышенности, и я увидел весь путь отступления, простиравшийся далеко вперед, шоссе, забитое неподвижным транспортом, сквозь который просеивалась только пехота. Мы тронулись снова, но при дневном свете видно было, с какой скоростью мы подвигаемся, и я понял, что если мы хотим когда-нибудь добраться до Удине, нам придется свернуть с шоссе и ехать напрямиком.

За ночь к колонне пристало много крестьян с проселочных дорог, и теперь в колонне ехали повозки, нагруженные домашним скарбом; зеркала торчали между матрацами, к задкам были привязаны куры и утки. Швейная машина стояла под дождем на повозке, ехавшей впереди нас. Каждый спасал, что у него было ценного. Кое-где женщины сидели на повозках, закутавшись, чтобы укрыться от дождя, другие шли рядом, стараясь держаться как можно ближе. В колонне были теперь и собаки, они бежали, прячась под днищами повозок. Шоссе было покрыто грязью, в канавах доверху стояла вода, и земля в полях за деревьями, окаймлявшими шоссе, казалась слишком мокрой и слишком вязкой, чтобы можно было отважиться ехать напрямиком. Я вышел из машины и прошел немного вперед, отыскивая удобное место, чтобы осмотреться и выбрать поворот на проселок. Проселочных дорог было много, но я опасался попасть на такую, которая никуда не приведет. Я все их видел не раз, когда мы проезжали в машине по шоссе, но ни одной не запомнил, потому что машина шла быстро и все они были похожи одна на другую. Я только знал, что от правильного выбора дороги будет зависеть, доберемся ли мы до места. Неизвестно было, где теперь австрийцы и как обстоят дела, но я был уверен, что, если дождь перестанет и над колонной появятся самолеты, все пропало. Пусть хоть несколько машин останется без водителей или несколько лошадей падет,— и движение на дороге окончательно застынет.

Дождь теперь лил не так сильно, и я подумал, что скоро может проясниться. Я прошел еще немного вперед, и,

дойдя до узкой дороги с живой изгородью по сторонам, меж двух полей уходившей на север, решил, что по ней мы и поедем, и поспешил назад, к машинам. Я сказал Пиани, где свернуть, и пошел предупредить Аймо и Бонелло.

— Если она нас никуда не выведет, мы можем вернуться и снова примкнуть к колонне, — сказал я.

— А что же мне с этими делать? — спросил Бонелло. Его сержанты по-прежнему сидели рядом с ним. Они были небриты, но выглядели по-военному даже в этот ранний утренний час.

— Пригодятся, если нужно будет подталкивать машину, — сказал я. Я подошел к Аймо и сказал, что мы попытаемся проехать напрямиком.

— А мне что делать с моим девичьим выводком? — спросил Аймо. Обе девушки спали.

— От них мало пользы, — сказал я. — Лучше вам взять кого-нибудь на подмогу, чтобы толкать машину.

— Они могут пересесть в кузов, — сказал Аймо. — В кузове есть место.

— Ну пожалуйста, если вам так хочется, — сказал я. — Но возьмите кого-нибудь с широкими плечами на подмогу.

— Берсальера, — улыбнулся Аймо. — Самые широкие плечи у берсальеров. Им измеряют плечи. Как вы себя чувствуете, *tenente*?

— Прекрасно. А вы?

— Прекрасно. Только очень есть хочется.

— Куда-нибудь мы доберемся этой дорогой, тогда остановимся и поедем.

— Как ваша нога, *tenente*?

— Прекрасно, — сказал я.

Стоя на подножке и глядя вперед, я видел, как машина Пиани отделилась от колонны и свернула на узкий проселок, мелькая в просветах голых ветвей изгороди. Бонелло повернул вслед за ним, а потом и Аймо сделал то же, и мы поехали за двумя передними машинами узкой проселочной дорогой с изгородью по сторонам. Дорога вела к ферме. Мы застали машины Пиани и Бонелло уже во дворе фермы. Дом был низкий и длинный, с увитым виноградом навесом над дверью. Во дворе был колодец, и Пиани уже доставал воду, чтобы наполнить свой радиатор. От долгой езды с небольшой скоростью вода вся выкипела. Ферма была брошена. Я оглянулся на дорогу. Ферма стояла на пригорке, и оттуда видно было далеко кругом, и мы увидели дорогу, изгородь, поля и ряд деревьев вдоль шоссе, по которому

пло отступление. Сержанты шарили в доме. Девушки проснулись и разглядывали дом, колодец, два больших санитарных автомобиля перед домом и трех шоферов у колодца. Один из сержантов вышел из дома со стенными часами в руках.

— Отнесите на место, — сказал я. Он посмотрел на меня, вошел в дом и вернулся без часов.

— Где ваш товарищ? — спросил я.

— Пошел в отхожее место. — Он взобрался на сиденье машины. Он боялся, что мы не возьмем его с собой.

— Как быть с завтраком, *tenente*? — спросил Бонелло. — Может, поедем чего-нибудь? Это не займет много времени.

— Как вы думаете, дорога, которая идет в ту сторону, приведет нас куда-нибудь?

— Понятно, приведет.

— Хорошо. Давайте поедем.

Пиани и Бонелло вошли в дом.

— Идем, — сказал Аймо девушкам. Он протянул руку, чтоб помочь им вылезть. Старшая из сестер покачала головой. Они не станут входить в пустой брошенный дом. Они смотрели нам вслед.

— Упрямые, — сказал Аймо.

Мы вместе вошли в дом. В нем было темно и просторно и чувствовалась покинутость. Бонелло и Пиани были на кухне.

— Есть тут особенно нечего, — сказал Пиани. — Все подобрали дочиста.

Бонелло резал большой белый сыр на кухонном столе.

— Откуда сыр?

— Из погреба. Пиани нашел еще вино и яблоки.

— Что ж, вот и завтрак.

Пиани вытащил деревянную затычку из большой, оплетенной соломой бутылки. Он наклонил ее и наполнил медный ковшик.

— Пахнет недурно, — сказал он. — Поищи какой-нибудь посуды, Барто.

Вошли оба сержанта.

— Берите сыру, сержанты, — сказал Бонелло.

— Пора бы ехать, — сказал один из сержантов, прожевывая сыр и запивая его вином.

— Поедем. Не беспокойтесь, — сказал Бонелло.

— Брюхо армии — ее ноги, — сказал я.

— Что? — спросил сержант.

— Поесть нужно.

— Да. Но время дорого.

— Наверно, сучьи дети, уже наелись,— сказал Пиани. Сержанты посмотрели на него. Они нас всех ненавидели.

— Вы знаете дорогу? — спросил меня один из них.

— Нет,— сказал я. Они посмотрели друг на друга.

— Лучше всего, если мы тронемся сейчас же,— сказал первый.

— Мы сейчас и тронемся,— сказал я.

Я выпил еще чашку красного вина. Оно казалось очень вкусным после сыра и яблоч.

— Захватите сыр,— сказал я и вышел. Бонелло вышел вслед за мной с большой бутылкой вина.

— Это слишком громоздко,— сказал я. Он посмотрел на вино с сожалением.

— Пожалуй, что так,— сказал он.— Дайте-ка мне фляги.

Он наполнил фляги, и немного вина пролилось на каменный пол. Потом он поднял бутылку и поставил ее у самой двери.

— Австрийцам не нужно будет выламывать дверь, чтобы найти вино,— сказал он.

— Надо двигать,— сказал я.— Мы с Пиани отправляемся вперед.

Оба сержанта уже сидели рядом с Бонелло. Девушки ели яблоки и сыр. Аймо курил. Мы поехали по узкой дороге. Я оглянулся на две другие машины и на фермерский дом. Это был хороший, низкий, прочный дом, и колодец был обнесен красивыми железными перилами. Впереди была дорога, узкая и грязная, и по сторонам ее шла высокая изгородь. Сзади, один за другим, следовали наши автомобили.

Глава двадцать девятая

В полдень мы увязли на топкой дороге, по нашим расчетам километрах в десяти от Удине. Дождь перестал еще утром, и уже три раза мы слышали приближение самолетов, видели, как они пролетали в небе над нами, следили, как они забирали далеко влево, и слышали грохот бомбежки на главном шоссе. Мы путались в сети проселочных дорог и не раз попадали на такие, которые кончались тупиком, но неизменно, возвращаясь назад и находя другие дороги, приближались к Удине. Но вот машина Аймо, давая задний ход, чтоб выбраться из тупика, застряла в рых-

лой земле у обочины, и колеса, буксуя, зарывались все глубже и глубже до тех пор, пока машина не уперлась в землю дифференциалом. Теперь нужно было подкопаться под колеса спереди, подложить прутья, чтобы могли работать цепи, и толкать сзади до тех пор, пока машина не выберется на дорогу. Мы все стояли на дороге вокруг машины. Оба сержанта подошли к машине и осмотрели колеса. Потом они повернулись и пошли по дороге, не говоря ни слова. Я пошел за ними.

— Эй, вы! — сказал я. — Наломайте-ка прутьев.

— Нам нужно идти, — сказал один.

— Ну, живо, — сказал я. — Наломайте прутьев.

— Нам нужно идти, — сказал один. Другой не говорил ничего. Они торопились уйти. Они не смотрели на меня.

— Я вам приказываю вернуться к машине и наломать прутьев, — сказал я. Первый сержант обернулся.

— Нам нужно идти. Через час вы будете отрезаны. Вы не имеете права приказывать нам. Вы нам не начальство.

— Я вам приказываю наломать прутьев, — сказал я. Они повернулись и пошли по дороге.

— Стой! — сказал я. Они продолжали идти по топкой дороге с изгородью по сторонам. — Стой, говорю! — крикнул я. Они прибавили шагу. Я расстегнул кобуру, вынул пистолет, прицелился в того, который больше разговаривал, и спустил курок. Я промахнулся, и они оба бросились бежать. Я выстрелил еще три раза, и один упал. Другой пролез сквозь изгородь и скрылся из виду. Я выстрелил в него сквозь изгородь, когда он побежал по полю. Пистолет дал осечку, и я вставил новую обойму. Я увидел, что второй сержант уже так далеко, что стрелять в него бессмысленно. Он был на другом конце поля и бежал, низко пригнув голову. Я стал заряжать пустую обойму. Подошел Бонелло.

— Дайте я его прикончу, — сказал он. Я передал ему пистолет, и он пошел туда, где поперек дороги лежал ничком сержант инженерной части. Бонелло наклонился, представил дуло к его голове и нажал спуск. Выстрела не было.

— Надо оттянуть затвор, — сказал я. Он оттянул затвор и выстрелил дважды. Он взял сержанта за ноги и оттащил его на край дороги, так что он лежал теперь у самой изгороди. Он вернулся и отдал мне пистолет.

— Сволочь! — сказал он. Он смотрел на сержанта. — Вы видели, как я его застрелил, *tenente*?

— Нужно скорей наломать прутьев, — сказал я. — А что, в другого я так и не попал?

— Вероятно, нет,— сказал Аймо.— Так далеко из столета не попасть.

— Скотина! — сказал Пиани. Мы ломали прутья и ветки. Из машины все выгрузили. Бонелло копал перед колесами. Когда все было готово, Аймо завел мотор и включил передачу. Колеса стали буксовать, разбрасывая грязь и прутья. Бонелло и я толкали изо всех сил, пока у нас не затрещали суставы. Машина не двигалась с места.

— Раскачайте ее, Барто,— сказал я.

Он дал задний ход, потом снова передний. Колеса только глубже зарывались. Потом машина опять уперлась дифференциалом, и колеса свободно вертелись в вырытых ими ямах. Я выпрямился.

— Попробуем веревкой,— сказал я.

— Я думаю, ничего не выйдет, *tenente*. Здесь не встать на одной линии.

— Нужно попробовать,— сказал я.— Иначе ее не вытащить.

Машины Пиани и Бонелло могли встать на одной линии только по длине узкой дороги. Мы привязали одну машину к другой и стали тянуть. Колеса только вертелись на месте в колес.

— Ничего не получается,— закричал я.— Бросьте.

Пиани и Бонелло вышли из своих машин и вернулись к нам. Аймо вылез. Девушки сидели на камне, ярдах в двадцати от нас.

— Что вы скажете, *tenente*? — спросил Бонелло.

— Попробуем еще раз с прутьями,— сказал я.

Я смотрел на дорогу. Вина была моя. Я завел их сюда. Солнце почти совсем вышло из-за туч, и тело сержанта лежало у изгороди.

— Подстелим его френч и плащ,— сказал я. Бонелло пошел за ними. Я ломал прутья, а Пиани и Аймо копали впереди и между колес. Я надрезал плащ, потом разорвал его надвое и разложил в грязи под колесами, потом навалил прутьев. Мы приготовились, и Аймо взобрался на сиденье и включил мотор. Колеса буксовали, мы толкали изо всех сил. Но все было напрасно.

— Ну его к ...! — сказал я.— Есть тут у вас что-нибудь нужное, Барто?

Аймо влез в машину к Бонелло, захватив с собой сыр, две бутылки вина и плащ. Бонелло, сидя за рулем, осматривал карманы френча сержанта.

— Выбросьте-ка этот френч,— сказал я.— А что будет с выводком Барто?

— Пусть садятся в кузов,— сказал Пиани.— Вряд ли мы далеко уедем.

Я отворил заднюю дверцу машины.

— Ну,— сказал я.— Садитесь.

Обе девушки влезли внутрь и уселись в уголке. Они как будто и не слыхали выстрелов. Я оглянулся назад. Сержант лежал на дороге в грязной фуфайке с длинными рукавами. Я сел рядом с Пиани, и мы тронулись. Мы хотели проехать через поле. Когда машины свернули на поле, я слез и пошел вперед. Если б нам удалось проехать через поле, мы бы выехали на дорогу. Нам не удалось проехать. Земля была слишком рыхлая и топкая. Когда машины застряли окончательно и безнадежно, наполовину уйдя колесами в грязь, мы бросили их среди поля и пошли к Удине пешком.

Когда мы вышли на дорогу, которая вела назад, к главному шоссе, я указал на нее девушкам.

— Идите туда,— сказал я.— Там люди.

Они смотрели на меня. Я вынул бумажник и дал каждой по десять лир.

— Идите туда,— сказал я, указывая пальцем.— Там друзья! Родные!

Они не поняли, но крепко зажали в руке деньги и пошли по дороге. Они оглядывались, словно боясь, что я отниму у них деньги. Я смотрел, как они шли по дороге, плотно закутавшись в шали, боязливо оглядываясь на нас. Все три шофера смеялись.

— Сколько вы дадите мне, если я пойду в ту сторону, tenente? — спросил Бонелло.

— Если уж они попадутся, так пусть лучше в толпе, чем одни,— сказал я.

— Дайте мне две сотни лир, и я пойду назад, прямо в Австрию,— сказал Бонелло.

— Там их у тебя отберут,— сказал Пиани.

— Может быть, война кончится,— сказал Аймо. Мы шли по дороге так быстро, как только могли. Солнце пробивалось сквозь тучи. Вдоль дороги росли тутовые деревья. Из-за деревьев мне видны были наши машины, точно два больших мебельных фургона, торчавшие среди поля. Пиани тоже оглянулся.

— Придется построить дорогу, чтоб вытащить их оттуда,— сказал он.

— Эх, черт, были бы у нас велосипеды! — сказал Бонелло.

— В Америке ездят на велосипедах? — спросил Аймо.

— Прежде ездили.

— Хорошая вещь, — сказал Аймо. — Прекрасная вещь велосипед.

— Эх, черт, были бы у нас велосипеды! — сказал Бонелло. — Я плохой ходок.

— Что это, стреляют? — спросил я. Мне показалось, что я слышу выстрелы где-то вдалеке.

— Не знаю, — сказал Аймо. Он прислушался.

— Кажется, да, — сказал я.

— Раньше всего мы увидим кавалерию, — сказал Пиани.

— По-моему, у них нет кавалерии.

— Тем лучше, черт возьми, — сказал Бонелло. — Я вовсе не желаю, чтобы какая-нибудь кавалерийская сволочь проткнула меня пикой.

— Ловко вы того сержанта прихлопнули, tenente, — сказал Пиани. Мы шли очень быстро.

— Я его застрелил, — сказал Бонелло. — Я за эту войну еще никого не застрелил, и я всю жизнь мечтал застрелить сержанта.

— Застрелил курицу на насесте, — сказал Пиани. — Но очень-то быстро он летел, когда ты в него стрелял.

— Все равно. Я теперь всегда буду помнить об этом. Я убил эту сволочь, сержанта.

— А что ты скажешь на исповеди? — спросил Аймо.

— Скажу так: благословите меня, отец мой, я убил сержанта.

Все трое засмеялись.

— Он анархист, — сказал Пиани. — Он не ходит в церковь.

— Пиани тоже анархист, — сказал Бонелло.

— Вы действительно анархисты? — спросил я.

— Нет, tenente. Мы социалисты. Мы все из Имолы.

— Вы там никогда не бывали?

— Нет.

— Эх, черт! Славное это местечко, tenente. Приезжайте туда к нам после войны, там есть что посмотреть.

— И там все социалисты?

— Все до единого.

— Это хороший город?

— Еще бы. Вы такого и не видели.

— Как вы стали социалистами?

— Мы все социалисты. Там все до единого — социалисты. Мы всегда были социалистами.

— Приезжайте, *tenente*. Мы из вас тоже социалиста сделаем.

Впереди дорога сворачивала влево и взбиралась на невысокий холм мимо фруктового сада, обнесенного каменной стеной. Когда дорога пошла в гору, они перестали разговаривать. Мы шли все четверо в ряд, стараясь не замедлять шага.

Глава тридцатая

Позднее мы вышли на дорогу,* которая вела к реке. Длинная вереница брошенных грузовиков и повозок тянулась по дороге до самого моста. Никого не было видно. Вода в реке стояла высоко, и мост был взорван посередине; каменный свод провалился в реку, и бурая вода текла над ним. Мы пошли по берегу, выискивая место для переправы. Я знал, что немного дальше есть железнодорожный мост, и я думал, что, может быть, нам удастся переправиться там. Тропинка была мокрая и грязная. Людей не было видно, только брошенное имущество и машины. На самом берегу не было никого и ничего, кроме мокрого кустарника и грязной земли. Мы шли вдоль берега и наконец увидели железнодорожный мост.

— Какой красивый мост! — сказал Аймо. Это был длинный железный мост через реку, которая обычно высыхала до дна.

— Давайте скорее переходить на ту сторону, пока его не взорвали, — сказал я.

— Нечему взрывать, — сказал Пиани. — Все ушли.

— Он, вероятно, минирован, — сказал Бонелло. — Идите вы первый, *tenente*.

— Каков анархист, а? — сказал Аймо. — Пусть он сам идет первый.

— Я пойду, — сказал я. — Вряд ли он так минирован, чтобы взорваться от шагов одного человека.

— Видишь, — сказал Пиани. — Вот что значит умный человек. Не то что ты, анархист.

— Был бы я умный, так не был бы здесь, — сказал Бонелло.

— А ведь неплохо сказано, *tenente*, — сказал Аймо.

— Неплохо,— сказал я. Мы были уже у самого моста. Небо опять заволокло тучами, и накрапывал дождь. Мост казался очень длинным и прочным. Мы вскарабкались на железнодорожную насыпь.

— Давайте по одному,— сказал я и вступил на мост. Я оглядывал шпалы и рельсы, ища проволочных силков или признаков мины, но ничего не мог заметить. Внизу, в просветах между шпалами, видна была река, грязная и быстрая. Впереди, за мокрыми полями, можно было разглядеть под дождем Удине. Перейдя мост, я огляделся. Чуть выше по течению на реке был еще мост. Пока я стоял и смотрел, по этому мосту проехала желтая, забрызганная грязью легковая машина. Парапет был высокий, и кузов машины, как только она въехала на мост, скрылся из виду. Но я видел головы шофера, человека, который сидел рядом с ним, и еще двоих на заднем сиденье. Все четверо были в немецких касках. Машина достигла берега и скрылась из виду за деревьями и транспортом, брошенным на дороге. Я оглянулся на Аймо, который в это время переходил, и сделал ему и остальным знак двигаться быстрее. Я спустился вниз и присел под железнодорожной насыпью, Аймо спустился вслед за мной.

— Вы видели машину? — спросил я.

— Нет. Мы смотрели на вас.

— Немецкая штабная машина проехала по верхнему мосту.

— Штабная машина?

— Да.

— Пресвятая дева!

Подошли остальные, и мы все присели в грязи под насыпью, глядя поверх нее на ряды деревьев, канаву и дорогу.

— Вы думаете, мы отрезаны, *tenente*?

— Не знаю. Я знаю только, что немецкая штабная машина поехала по этой дороге.

— Вы вполне здоровы, *tenente*? У вас не кружится голова?

— Не острите, Бопелло.

— А не выпить ли нам? — спросил Пиани.— Если уж мы отрезаны, так хотя бы выпьем.— Он отцепил свою фляжку от пояса и отвинтил пробку.

— Смотрите! Смотрите! — сказал Аймо, указывая на дорогу. Над каменным парапетом моста двигались немецкие каски. Они были наклонены вперед и подвигались

плавню, с почти сверхъестественной быстротой. Когда они достигли берега, мы увидели тех, на ком они были надеты. Это была велосипедная рота. Я хорошо разглядел двух передовых. У них были здоровые, обветренные лица. Их каски низко спускались на лоб и закрывали часть щек. Карабины были пристегнуты к раме велосипеда. Ручные гранаты ручкой вниз висели у них на поясе. Их каски и серые мундиры были мокры, и они ехали неторопливо, глядя вперед и по сторонам. Впереди ехало двое, потом четверо в ряд, потом двое, потом сразу десять или двенадцать, потом снова десять, потом один, отдельно. Они не разговаривали, но мы бы их и не услышали из-за шума реки. Они скрылись из виду на дороге.

— Пресвятая дева! — сказал Аймо.

— Это немцы, — сказал Пиани. — Это не австрийцы.

— Почему здесь некому остановить их? — сказал я. — Почему этот мост не взорван? Почему вдоль насыпи нет пулеметов?

— Это вы нам скажите, *tenente*, — сказал Бонелло.

Я был вне себя от злости.

— С ума все посходили. Там, внизу, взрывают маленький мостик. Здесь, на самом шоссе, мост оставляют. Куда все девались? Что ж, так их и не попытаются остановить?

— Это вы нам скажите, *tenente*, — повторил Бонелло.

Я замолчал. Меня это не касалось; мое дело было добраться до Порденоне с тремя санитарными машинами. Мне это не удалось. Теперь мое дело просто добраться до Порденоне. Но я, видно, не доберусь даже до Удине. Ну и черт с ним! Главное, это сохранить спокойствие и не угодить под пулю или в плен.

— Вы, кажется, открывали фляжку? — спросил я Пиани. Он протянул мне ее. Я отпил порядочный глоток. — Можно идти, — сказал я. — Спешить, впрочем, некуда. Хотите поесть?

— Тут не место останавливаться, — сказал Бонелло.

— Хорошо. Идем.

— Будем держаться здесь, под прикрытием?

— Лучше идти по верху. Они могут пройти и этим мостом. Гораздо хуже будет, если они очутятся у нас над головой, прежде чем мы их увидим.

Мы пошли по железнодорожному полотну. По обе стороны от нас тянулась мокрая равнина. Впереди за равниной был холм, и за ним Удине. Крыши расступались вокруг крепости на холме. Видна была колокольня и башенные

часы. В полях было много тутовых деревьев. В одном месте впереди путь был разобран. Шпалы тоже были вырыты и сброшены под насыпь.

— Вниз, вниз! — сказал Аймо.

Мы бросились вниз, под насыпь. Новый отряд велосипедистов проезжал по дороге. Я выглянул из-за края насыпи и увидел, что они проехали мимо.

— Они нас видели и не остановились, — сказал Аймо.

— Перебьют нас здесь, *tenente*, — сказал Аймо.

— Мы им не нужны, — сказал я. — Они гонятся за кем-то другим. Для нас опаснее, если они наткнутся на нас неожиданно.

— Я бы охотнее шел здесь, под прикрытием, — сказал Бонелло.

— Идите. Мы пойдем по полотну.

— Вы думаете, нам удастся пройти? — спросил Аймо.

— Конечно. Их еще не так много. Мы пройдем, когда стемнеет.

— Что эта штабная машина тут делала?

— Черт ее знает, — сказал я. Мы шли по полотну. Бонелло устал шагать по грязи и присоединился к нам. Линия отклонилась теперь к югу, в сторону от шоссе, и мы не видели, что делается на дороге. Мостик через канал оказался взорванным, но мы перебрались по остаткам свай. Впереди слышны были выстрелы.

За каналом мы опять вышли на липпу. Она вела к городу напрямик, среди полей. Впереди виднелась другая линия. На севере проходило шоссе, на котором мы видели велосипедистов; к югу отвешлялась неширокая дорога, густо обсаженная деревьями. Я решил, что нам лучше всего повернуть к югу и, обогнув таким образом город, идти проселком на Кампоформио и Тальяментское шоссе. Мы могли оставить главный путь отступления в стороне, выбирая боковые дороги. Мне помнилось, что через равнину ведет много проселочных дорог. Я стал спускаться с насыпи.

— Идем, — сказал я. Я решил выбраться на проселок и с южной стороны обогнуть город. Мы все спускались с насыпи. Навстречу нам с проселочной дороги грянул выстрел. Пуля врезалась в грязь насыпи.

— Назад! — крикнул я. Я побежал по откосу вверх, скользя в грязи. Шоферы были теперь впереди меня. Я взобрался на насыпь так быстро, как только мог. Из густого кустарника еще два раза выстрелили, и Аймо, переходивший через рельсы, зашатался, споткнулся и упал ничком.

Мы стащили его на другую сторону и перевернули на спину.— Нужно, чтобы голова была выше ног,— сказал я. Пиани передвинул его. Он лежал в грязи на откосе, ногами вниз, и дыхание вырывалось у него вместе с кровью. Мы трое на корточках сидели вокруг него под дождем. Пуля попала ему в затылок, прошла кверху и вышла под правым глазом. Он умер, пока я пытался затампонировать оба отверстия. Пиани опустил его голову на землю, стер ему лицо куском марли из полевого пакета, потом оставил его.

— Сволочи! — сказал он.

— Это не немцы,— сказал я.— Немцев здесь не может быть.

— Итальянцы,— сказал Пиани таким тоном, точно это было ругательство.— *Italiani*.

Бонелло ничего не говорил. Он сидел возле Аймо, не глядя на него. Пиани подобрал кепи Аймо, откатившееся под насыпь, и прикрыл ему лицо. Он достал свою фляжку.

— Хочешь выпить? — Пиани протянул фляжку Бонелло.

— Нет,— сказал Бонелло. Он повернулся ко мне.— Это с каждым из нас могло случиться на полотне.

— Нет,— сказал я.— Это потому, что мы хотели пройти полем.

Бонелло покачал головой.

— Аймо убит,— сказал он.— Кто следующий, *tenente*? Куда мы теперь пойдем?

— Это итальянцы стреляли,— сказал я.— Это не немцы.

— Будь здесь немцы, они бы, наверно, нас всех перестреляли,— сказал Бонелло.

— Итальянцы для нас опаснее немцев,— сказал я.— Арьергард всего боится. Немцы хоть знают, чего хотят.

— Это вы правильно рассудили, *tenente*,— сказал Бонелло.

— Куда мы теперь пойдем? — спросил Пиани.

— Лучше всего переждать где-нибудь до темноты. Если нам удастся пробраться на юг, все будет хорошо.

— Им придется перебить нас всех в доказательство, что они не зря убили одного,— сказал Бонелло.— Я не хочу рисковать.

— Мы переждем где-нибудь поближе к Удине и потом в темноте пройдем.

— Тогда пошли,— сказал Бонелло.

Мы спустились по северному откосу насыпи. Я оглянулся. Аймо лежал в грязи под углом к полотну. Он был совсем маленький, руки у него были вытянуты по швам, ноги в обмотках и грязных башмаках сдвинуты вместе, лицо накрыто кепи. Он выглядел очень мертвым. Шел дождь. Я относился к Аймо так хорошо, как мало к кому в жизни. У меня в кармане были его бумаги, и я знал, что должен буду написать его семье. Впереди за полянами виднелась ферма. Вокруг нее росли деревья, и к дому пристроены были службы. Вдоль второго этажа шла галерейка на сваях.

— Нам лучше держаться на расстоянии друг от друга,— сказал я.— Я пойду вперед.

Я двинулся по направлению к ферме. Через поле вела тропинка.

Проходя через поле, я был готов к тому, что в нас станут стрелять из-за деревьев вокруг дома или из самого дома. Я шел прямо к дому, ясно видя его перед собой. Галерея второго этажа соединялась с сеновалом, и между сваями торчало сено. Двор был вымощен камнем, и с ветвей деревьев стекали капли дождя. Посредине стояла большая пустая одноколка, высоко вздернув оглобли под дождем. Я прошел через двор и постоял под галереей. Дверь была открыта, и я вошел. Бонелло и Пиани вошли вслед за мной. Внутри было темно. Я прошел на кухню. В большом открытом очаге была зола. Над очагом висели горшки, но они были пусты. Я пошарил кругом, но ничего съестного не нашел.

— Здесь на сеновале можно переждать,— сказал я.— Пиани, может быть, вам удастся раздобыть чего-нибудь поесть, так несите туда.

— Пойду поищу,— сказал Пиани.

— И я пойду,— сказал Бонелло.

— Хорошо,— сказал я.— А я взгляну на сеновал.

Я отыскал каменную лестницу, которая вела наверх из хлева. От хлева шел сухой запах, особенно приятный под дождем. Скота не было, вероятно, его угнали, когда покидали ферму. Сеновал до половины был заполнен сеном. В крыше было два окна; одно заколочено досками, другое — узкое слуховое окошко на северной стороне. В углу был желоб, по которому сено сбрасывали вниз, в кормушку. Был люк, приходившийся над двором, куда во время уборки подъезжали возы с сеном, и над люком скрещивались балки. Я слышал стук дождя по крыше и чувствовал

запах сена и, когда я спустился, опрятный запах сухого навоза в хлеву. Можно было оторвать одну доску и из окна на южной стороне смотреть во двор. Другое окно выходило на север, в поле. Если бы лестница оказалась отрезанной, можно было через любое окно выбраться на крышу и оттуда спуститься вниз или же съехать вниз по желобу. Сеновал был большой и, слышав кого-нибудь, можно было спрятаться в сене. По-видимому, место было надежное. Я был уверен, что мы пробрались бы на юг, если бы в нас не стреляли. Не может быть, чтобы здесь были немцы. Они идут с севера и по дороге из Чивидале. Они не могли прорваться с юга. Итальянцы еще опаснее. Они напуганы и стреляют в первого встречного. Прошлой ночью в колонне мы слышали разговоры о том, что в отступающей армии на севере немало немцев в итальянских мундирах. Я этому не верил. Такие разговоры всегда слышишь во время войны. И всегда это проделывает неприятель. Вы никогда не услышите о том, что кто-то надел немецкий мундир, чтобы создавать сумятицу в германской армии. Может быть, это и бывает, но об этом не говорят. Я не верил, что немцы пускаются на такие штуки. Я считал, что им это не нужно. Незачем им создавать у нас сумятицу в отступающей армии. Ее создают численность войск и недостатки дорог. Тут и без немцев концов не найдешь. И все-таки нас могут расстрелять, как переодетых немцев. Застрелили же Аймо. Сено приятно пахнет, и оттого, что лежишь на сеновале, исчезают все годы, которые прошли. Мы лежали на сеновале, и разговаривали, и стреляли из духового ружья по воробьям, когда они садились на край треугольного отверстия под самым потолком сеновала. Сеновала уже нет, и был такой год, когда пихты все повырубили, и там, где был лес, теперь только пни и сухой валежник. Назад не вернешься. Если не идти вперед, что будет? Не попадешь снова в Милан. А если попадешь — тогда что? На севере, в стороне Удине, слышались выстрелы. Слышны были пулеметные очереди. Орудийной стрельбы не было. Это кое-что значило. Вероятно, стянули часть войск к дороге. Я посмотрел вниз и в полумраке двора увидел Пиани. Он держал под мышкой длинную колбасу, какую-то банку и две бутылки вина.

— Полезайте наверх, — сказал я. — Вон там лестница.

Потом я сообразил, что нужно помочь ему, и спустился. От лежания на сене у меня кружилась голова. Я был как в полусне,

— Где Бонелло? — спросил я.

— Сейчас скажу, — сказал Пиани. Мы поднялись по лестнице. Усевшись на сене, мы разложили припасы. Пиани достал ножик со штопором и стал откупоривать одну бутылку.

— Запечатано воском, — сказал он. — Должно быть, недурно. — Он улыбнулся.

— Где Бонелло? — спросил я.

Пиани посмотрел на меня.

— Он ушел, *tenente*, — сказал он. — Он решил сдаться в плен.

Я молчал.

— Он боялся, что его убьют.

Я держал бутылку с вином и молчал.

— Видите ли, *tenente*, мы вообще не сторонники войны.

— Почему вы не ушли вместе с ним? — спросил я.

— Я не хотел вас оставить.

— Куда он пошел?

— Не знаю, *tenente*. Просто ушел, и все.

— Хорошо, — сказал я. — Нарезьте колбасу.

Пиани посмотрел на меня в полумраке.

— Я уже нарезал ее, пока мы разговаривали, — сказал он. Мы сидели на сене и ели колбасу и пили вино. Это вино, должно быть, берегли к свадьбе. Оно было так старо, что потеряло цвет.

— Смотрите в это окно, Луиджи, — сказал я. — Я буду смотреть в то.

Мы пили каждый из отдельной бутылки, и я взял свою бутылку с собой, и забрался повыше, и лег плашмя на сено, и стал смотреть в узкое окошко на мокрую равнину. Не знаю, что я ожидал увидеть, но я не увидел ничего, кроме полей и голых тутовых деревьев и дождя. Я пил вино, и оно не бодрило меня. Его выдерживали слишком долго, и оно испортилось и потеряло свой цвет и вкус. Я смотрел, как темнеет за окном; тьма надвигалась очень быстро. Ночь будет черная, оттого что дождь. Когда совсем стемнело, уже не стоило смотреть в окно, и я вернулся к Пиани. Он лежал и спал, и я не стал будить его и молча посидел рядом. Он был большой, и сон у него был крепкий. Немного погодя я разбудил его, и мы тронулись в путь.

Это была очень странная ночь. Не знаю, чего я ожидал, — смерти, может быть, и стрельбы, и бега в темноте, но ничего не случилось. Мы выжидали, лежа плашмя за канавой у шоссе, пока проходил немецкий батальон,

шли дальше, на север. Два раза мы под дождем очень близко подходили к немцам, но они не видели нас. Мы обогнули город с севера, не встретив ни одного итальянца, потом, в ясную погоду, вышли на главный путь отступления и всю ночь шли по направлению к Тальяменто. Я не представлял себе раньше гигантских масштабов отступления. Вся страна двигалась вместе с армией. Мы шли всю ночь, обгоняя транспорт. Нога у меня болела, и я устал, но мы шли очень быстро. Таким глупым казалось решение Бонелло сдаться в плен. Никакой опасности не было. Мы прошли сквозь две армии без всяких происшествий. Если бы не гибель Аймо, казалось бы, что опасности никогда и не было. Никто нас не тронул, когда мы совершенно открыто шли по железнодорожному полотну. Гибель пришла неожиданно и бессмысленно. Я думал о том, где теперь Бонелло.

— Как вы себя чувствуете, *tenente*? — спросил Пиани. Мы шли по краю дороги, запруженной транспортом и войсками.

— Прекрасно.

— Я устал шагать.

— Что ж, нам теперь только и делать, что шагать. Трещать не о чем.

— Бонелло свалил дурака.

— Конечно, он свалил дурака.

— Как вы с ним думаете быть, *tenente*?

— Не знаю.

— Вы не можете отметить его как взятого в плен?

— Не знаю.

— Если война будет продолжаться, его родных могут притянуть к ответу.

— Война не будет продолжаться, — сказал какой-то солдат. — Мы идем домой. Война кончена.

— Все идут домой.

— Мы все идем домой.

— Прибавьте шаг, *tenente*, — сказал Пиани. Он хотел поскорей пройти мимо.

— *Tenente*? Кто тут *tenente*? *Abasso gli ufficiali!* Долой офицеров!

Пиани взял меня под руку.

— Я лучше буду звать вас по имени, — сказал он. — А то не случилось бы беды. Были случаи расправы с офицерами.

Мы ускорили шаг и миновали эту группу.

— Я постараюсь сделать так, чтобы его родных не притянули к ответу,— сказал я, продолжая разговор.

— Если война кончилась, тогда все равно,— сказал Пиани.— Но я не верю, что она кончилась. Слишком было бы хорошо, если бы она кончилась.

— Это мы скоро узнаем,— сказал я.

— Я не верю, что она кончилась. Тут все думают, что она кончилась, но я не верю.

— Viva la Pace! ¹ — выкрикнул какой-то солдат.— Мы идем домой.

— Славно было бы, если б мы все пошли домой,— сказал Пиани.— Хотелось бы вам пойти домой?

— Да.

— Не будет этого. Я не верю, что война кончилась.

— Andiamo a casa! ² — закричал солдат.

— Они бросают винтовки,— сказал Пиани.— Снимают их и кидают на ходу. А потом кричат.

— Напрасно они бросают винтовки.

— Они думают, если они побросают винтовки, их не заставят больше воевать.

В темноте под дождем, прокладывая себе путь вдоль края дороги, я видел, что многие солдаты сохранили свои винтовки. Они торчали за плечами.

— Какой бригады? — окликнул офицер.

— Brigata di Pace! — закричал кто-то.— Бригады мира. Офицер промолчал.

— Что он говорит? Что говорит офицер?

— Долой офицера! Viva la Pace!

— Прибавьте шагу,— сказал Пиани.

Мы увидели два английских санитарных автомобиля, покинутых среди других машин на дороге.

— Из Гориции,— сказал Пиани.— Я знаю эти машины.

— Они опередили нас.

— Они раньше выехали.

— Странно. Где же шоферы?

— Где-нибудь впереди.

— Немцы остановились под Удине,— сказал я.— Мы все перейдем реку.

— Да,— сказал Пиани.— Вот почему я и думаю, что война будет продолжаться.

¹ Да здравствует мир! (ит.).

² По домам! (ит.).

— Немцы могли продвинуться дальше,— сказал я.— Странно, почему они не продвигаются дальше.

— Не понимаю. Я ничего не понимаю в этой войне.

— Вероятно, им пришлось дожидаться обоза.

— Не понимаю,— сказал Пиани. Один, он стал гораздо деликатней. В компании других шоферов он был очень невосдержан на язык.

— Вы женаты, Луиджи?

— Вы ведь знаете, что я женат.

— Не потому ли вы не захотели сдать в плен?

— Отчасти и потому. А вы женаты, *tenente*?

— Нет.

— Бонелло тоже нет.

— Нельзя все объяснять только тем, что человек женат или не женат. Но женатому, конечно, хочется вернуться к жене,— сказал я. Мне нравилось разговаривать о женах.

— Да.

— Как ваши ноги?

— Болят.

Перед самым рассветом мы добрались до берега Тальяменто и свернули вдоль вздувшейся реки к мосту, по которому шла переправа.

— Должны бы закрепиться на этой реке,— сказал Пиани. В темноте казалось, что река вздулась очень высоко. Вода бурлила, и русло как будто расширилось. Деревянный мост был почти в три четверти мили длиной, и река, которая обычно узкими протоками бежала в глубине по широкому каменистому дну, поднялась теперь почти до самого деревянного настила. Мы прошли по берегу и потом смешались с толпой, переходившей мост. Медленно шагая под дождем, в нескольких футах от вздувшейся реки, стиснутый плотно в толпе, едва не натыкаясь на зарядный ящик впереди, я смотрел в сторону и следил за рекой. Теперь, когда пришлось равнять свой шаг по чужим, я почувствовал сильную усталость. Оживления не было при переходе через мост. Я подумал, что было бы, если бы днем сюда сбросил бомбу самолет.

— Пиани! — сказал я.

— Я здесь, *tenente*.— В толчее он немного ушел от меня вперед. Никто не разговаривал. Каждый старался перейти как можно скорей, думал только об этом. Мы уже почти перешли. В конце моста, по обе стороны, стояли с фонарями офицеры и карабинеры. Их силуэты чернели

на фоне неба. Когда мы подошли ближе, я увидел, как один офицер указал на какого-то человека в колонне. Карабинер пошел за ним и вернулся, держа его за плечо. Он повел его в сторону от дороги. Мы почти поравнялись с офицерами. Они всматривались в каждого проходившего в колонне, иногда переговариваясь друг с другом, выступая вперед, чтобы осветить фонарем чье-нибудь лицо. Еще одного взяли как раз перед тем, как мы поравнялись с ними. Это был подполковник. Я видел звездочки на его рукаве, когда его осветили фонарем. У него были седые волосы, он был низенький и толстый. Карабинеры потащили его в сторону от моста. Когда мы поравнялись с офицерами, я увидел, что они смотрят на меня. Потом один указал на меня и что-то сказал карабинеру. Я увидел, что карабинер направляется в мою сторону, проталкиваясь ко мне сквозь крайние ряды колонны, потом я почувствовал, что он ухватил меня за ворот.

— В чем дело? — спросил я и ударил его по лицу. Я увидел его лицо под шляпой, подкрученные кверху усы и кровь, стекавшую по щеке. Еще один нырнул в толпу, пробираясь к нам.

— В чем дело? — спросил я. Он не отвечал. Он выбрал момент, готовясь схватить меня. Я сунул руку за спину, чтоб достать пистолет. — Ты что, не знаешь, что не смеешь трогать офицера?

Второй схватил меня сзади и дернул мою руку так, что чуть не вывихнул ее. Я обернулся к нему, и тут первый обхватил меня за шею. Я бил его ногами и левым коленом угодил ему в пах.

— В случае сопротивления стреляйте, — услышал я чей-то голос.

— Что это значит? — попытался я крикнуть, но мой голос прозвучал глухо. Они уже оттащили меня на край дороги.

— В случае сопротивления стреляйте, — сказал офицер. — Уведите его.

— Кто вы такие?

— После узнаете.

— Кто вы такие?

— Полевая жандармерия, — сказал другой офицер.

— Почему же вы не просили меня подойти, вместо того чтоб напускать на меня эти самолеты?

Они не ответили. Они не обязаны были отвечать. Они были — полевая жандармерия.

— Отведите его туда, где все остальные,— сказал первый офицер.— Слышите, он говорит по-итальянски с акцентом.

— С таким же, как и ты, сволочь,— сказал я.

— Отведите его туда, где остальные,— сказал первый офицер.

Меня повели мимо офицеров в сторону от дороги на открытое место у берега реки, где стояла кучка людей. Когда мы шли, по той стороне раздались выстрелы. Я видел ружейные вспышки и слышал залп. Мы подошли. Четверо офицеров стояли рядом, и перед ними, между двумя карабинами, какой-то человек. Немного дальше группа людей под охраной карабинеров ожидала допроса. Еще четыре карабинера стояли возле допрашивавших офицеров, опершись на свои карабины. Эти карабинеры были в широкополых шляпах. Двое, которые меня привели, подтолкнули меня к группе, ожидавшей допроса. Я посмотрел на человека, которого допрашивали. Это был маленький толстый седой подполковник, взятый в колонне. Офицеры вели допрос со всей деловитостью, холодностью и самообладанием итальянцев, которые стреляют, не опасаясь ответных выстрелов.

— Какой бригады?

Он сказал.

— Какого полка?

Он сказал.

— Почему вы не со своим полком?

Он сказал.

— Вам известно, что офицер всегда должен находиться при своей части?

Ему было известно.

Больше вопросов не было. Заговорил другой офицер.

— Из-за вас и подобных вам варвары вторглись в священные пределы отечества.

— Позвольте,— сказал подполковник.

— Предательство, подобное вашему, отняло у нас плоды победы.

— Вам когда-нибудь случалось отступать? — спросил подполковник.

— Итальянцы не должны отступать.

Мы стояли под дождем и слушали все это. Мы стояли против офицеров, а арестованный впереди нас и немного в стороне.

— Если вы намерены расстрелять меня,— сказал подполковник,— прошу вас, расстреляйте сразу, без дальнейшего допроса. Этот допрос нелеп.— Он перекрестился. Офицеры заговорили между собой. Один написал что-то на листке блокнота.

— Бросил свою часть, подлежит расстрелу,— сказал он.

Два карабинера повели подполковника к берегу. Он шел под дождем, старик с непокрытой головой, между двумя карабинерами. Я не смотрел, как его расстреливали, но я слышал залп. Они уже допрашивали следующего. Это тоже был офицер, отбившийся от своей части. Ему не разрешили дать объяснения. Он плакал, когда читали приговор, написанный на листке из блокнота, и они уже допрашивали следующего, когда его расстреливали. Они все время спешили запясться допросом следующего, пока только что допрошенного расстреливали у реки. Таким образом, было совершенно ясно, что они тут уже ничего не могут поделать. Я не знал, ждать ли мне допроса или попытаться бежать немедленно. Совершенно ясно было, что я немец в итальянском мундире. Я представлял себе, как работает их мысль, если у них была мысль и если она работала. Это все были молодые люди, и они спасали родину. Вторая армия заново формировалась у Тальяменто. Они расстреливали офицеров в чине майора и выше, которые отбились от своих частей. Заодно они также расправлялись с немецкими агитаторами в итальянских мундирах. Они были в стальных касках. Несколько карабинеров были в таких же. Другие карабинеры были в широкополых шляпах. Самолеты — так их у нас называли. Мы стояли под дождем, и нас по одному выводили на допрос и на расстрел. Ни один из допрошенных до сих пор не избежал расстрела. Они вели допрос с неподражаемым бесстрастием и законоблудительским рвением людей, распоряжающихся чужой жизнью, в то время как их собственной ничто не угрожает. Они допрашивали сейчас полковника линейного полка. Только что привели еще трех офицеров.

— Где ваш полк?

Я взглянул на карабинеров. Они смотрели на новых арестованных. Остальные смотрели на полковника. Я нырнул, проскочил между двумя конвойными и бросился бежать к реке, пригнув голову. У самого берега я споткнулся и с сильным плеском сорвался в воду. Вода была очень

холодная, и я оставался под пей, сколько мог выдержать. Я чувствовал, как меня уносит течением, и я оставался под водой до тех пор, пока мне не показалось, что я уже не смогу всплыть. Я всплыл на поверхность, перевел дыхание и в ту же минуту снова ушел под воду. В полной форме и в башмаках нетрудно было оставаться под водой. Когда я всплыл во второй раз, я увидел впереди себя бревно, и догнал его, и ухватился за него одной рукой. Я спрятал за ним голову и даже не пытался выглянуть. Я не хотел видеть берег. Я слышал выстрелы, когда бежал и когда всплыл первый раз. Звук их доносился до меня, когда я плыл под самой поверхностью воды. Сейчас выстрелов не было. Бревно колыхалось на воде, и я держался за него одной рукой. Я посмотрел на берег. Казалось, он очень быстро уходил назад. По реке плыло много лесу. Вода была очень холодная. Мы миновали островок, поросший кустарником. Я ухватился за бревно обеими руками, и оно понесло меня по течению. Берега теперь не было видно.

Глава тридцать первая

Никогда не знаешь, сколько времени плывешь по реке, если течение быстрое. Кажется, что долго, а на самом деле, может быть, очень мало. Вода была холодная и стояла очень высоко, и по ней проплывало много разных вещей, смытых с берега во время разлива. По счастью, мне попало тяжелое бревно, которое могло служить опорой, и я вытянулся в ледяной воде, положив подбородок на край бревна и стараясь как можно легче держаться обеими руками. Я боялся судорог, и мне хотелось, чтобы нас отнесло к берегу. Мы плыли вниз по реке, описывая длинную кривую. Уже настолько рассвело, что можно было разглядеть прибрежные кусты. Впереди был поросший кустарником остров, и течение отклонялось к берегу. У меня была мысль снять башмаки и одежду и достигнуть берега вплавь, но я решил, что не нужно. Я все время не сомневался, что как-нибудь попаду на берег, и мне трудно придется, если я останусь босиком. Необходимо было как-нибудь добраться до Местре.

Берег приблизился, потом откатнулся назад, потом приблизился снова. Мы теперь плыли медленнее. Берег был уже совсем близко. Можно было разглядеть каждую веточку ивняка. Бревно медленно повернулось, так что бе-

рег оказался позади меня, и я понял, что мы попали в водоворот. Мы медленно кружились на месте. Когда берег снова стал виден, уже совсем близко, я попробовал, держась одной рукой, другой загребать к берегу, помогая ногами, но мне не удалось подвести бревно ближе. Я боялся, что нас отнесет на середину, и, держась одной рукой, я подтянул ноги так, что они уперлись в бревно, и с силой оттолкнулся к берегу. Я видел кусты, но, несмотря на инерцию и на усилия, которые я делал, меня течением относило в сторону. Мне стало очень страшно, что я утону из-за башмаков, но я работал изо всех сил и боролся с водой, и когда я поднял глаза, берег шел на меня, и, преодолевая грозную тяжесть ног, я продолжал работать и плыть, пока не достиг его. Я уцепился за ветвь ивы и повис, не в силах подтянуться кверху, но я знал теперь, что не утону. На бревне мне ни разу не приходило в голову, что я могу утонуть. Меня всего подвело и мутило от напряжения, и я держался за ветки и ждал. Когда мутить перестало, я немного продвинулся вперед и опять отдохнул, обхватив руками куст, крепко вцепившись в ветки. Потом я вылез из воды, пробрался сквозь ивняк и очутился на берегу. Уже почти рассвело, и никого не было видно. Я лежал плашмя на земле и слушал шум реки и дождя.

Немного погодя я встал и пошел вдоль берега. Я знал, что до Латизаны нет ни одного моста. Я считал, что нахожусь, вероятно, против Сан-Вито. Я стал раздумывать о том, что мне делать. Впереди был канал, подходивший к реке. Я пошел туда. Никого вокруг не было видно, и я сел под кустами на самом берегу канала, и снял башмаки, и вылил из них воду. Я снял френч, вынул из бокового кармана бумажник с насквозь промокшими документами и деньгами и потом выжал френч. Я снял брюки и выжал их тоже, потом рубашку и нижнее белье. Я долго шлепал и растирал себя ладонями, потом снова оделся. Кепи я потерял.

Прежде чем надеть френч, я спорол с рукавов суконные звездочки и положил их в боковой карман вместе с деньгами. Деньги намокли, но были целы. Я пересчитал их. Всего было три с лишним тысячи лир. Вся одежда была мокрая и липкая, и я размахивал руками, чтобы усилить кровообращение. На мне было шерстяное белье, и я решил, что не простужусь, если буду все время в движении. Пистолет у меня отняли на дороге, и я спрятал кобуру под френч. Я был без плаща, и мне было холодно

под дождем. Я пошел по берегу канала. Уже совсем рассвело, и кругом было мокро, плоско и уныло. Поля были голые и мокрые; далеко за полями торчала в небе колокольня. Я вышел на дорогу. Впереди на дороге я увидел отряд пехоты, который шел мне навстречу. Я, прихрамывая, тащился по краю дороги, и солдаты прошли мимо и не обратили на меня внимания. Это была пулеметная часть, направлявшаяся к реке. Я пошел дальше.

В этот день я пересек венецианскую равнину. Это ровная низменная местность, и под дождем она казалась еще более плоской. Со стороны моря там лагуны и очень мало дорог. Все дороги идут по устьям рек к морю, и чтобы пересечь равнину, нужно идти тропинками вдоль каналов. Я пробирался по равнине с севера на юг и пересек две железнодорожные линии и много дорог, и наконец одна тропинка привела меня к линии, которая проходила по краю лагуны. Это была Триест-Венецианская магистраль, с высокой прочной насыпью, широким полотном и двухколейным путем. Немного дальше был полустанок, и я увидел часовых на посту. В другой стороне был мост через речку, впадавшую в лагуну. У моста тоже был часовой. Когда я шел полем на север, я видел, как по этому пути прошел поезд. На плоской равнине он был виден издали, и я решил, что, может быть, мне удастся здесь вскочить в поезд, идущий из Портогруаро. Я посмотрел на часовых и лег на откосе у самого полотна, так что мне был виден весь путь в обе стороны. Часовой у моста сделал несколько шагов вдоль пути по направлению ко мне, потом повернулся и пошел назад, к мосту.

Голодный, я лежал и ждал поезда. Тот, который я видел издали, был такой длинный, что паровоз тянул его очень медленно, и я был уверен, что мог бы вскочить на ходу. Когда я уже почти потерял надежду, я увидел приближающийся поезд. Паровоз шел прямо на меня, постепенно увеличиваясь. Я оглянулся на часового. Он ходил у ближнего конца моста, но по ту сторону пути. Таким образом, поезд, подойдя, должен был закрыть меня от него. Я следил за приближением паровоза. Он шел, тяжело пыхтя. Я видел, что вагонов очень много. Я знал, что в поезде есть охрана, и хотел разглядеть, где она, но не мог, потому что боялся, как бы меня не заметили. Паровоз уже почти поравнялся с тем местом, где я лежал. Когда он прошел мимо, тяжело пыхтя и отдуваясь даже на ровном месте, и машинист уже не мог меня видеть, я встал и шаг-

пул ближе к проходящим вагонам. Если охрана смотрит из окна, я внушу меньше подозрений, стоя на виду у самых рельсов. Несколько закрытых товарных вагонов прошло мимо. Потом я увидел приближавшийся низкий открытый вагон, из тех, которые здесь называют гондолами, сверху затянутый брезентом. Я почти пропустил его мимо, потом подпрыгнул и ухватился за боковые поручни и подтянулся на руках. Потом сполз на буфера между гондолой и площадкой следующего, закрытого товарного вагона. Я был почти уверен, что меня никто не видел. Я присел, держась за поручни, ногами упираясь в сценку. Мы уже почти поравнялись с мостом. Я вспомнил про часового. Когда мы проезжали, он взглянул на меня. Он был совсем еще мальчик, и слишком большая каска сползала ему на глаза. Я высокомерно посмотрел на него, и он отвернулся. Он подумал, что я из поездной бригады.

Мы проехали мимо. Я видел, как он, все еще беспокоенно, следил за проходившими вагонами, и я нагнулся посмотреть, как прикреплен брезент. По краям были кольца, и он был привязан веревкой. Я вынул нож, перерезал веревку и просунул руку внутрь. Твердые выпуклости торчали под брезентом, намокшим от дождя. Я поднял голову и поглядел вперед. На площадке переднего вагона был солдат из охраны, но он смотрел в другую сторону. Я отпустил поручни и нырнул под брезент. Я ударился лбом обо что-то так, что у меня потемнело в глазах, и я почувствовал на лице кровь, но залез глубже и лег плашмя. Потом я повернулся назад и снова прикрепил брезент.

Я лежал под брезентом вместе с орудиями. От них опрятно пахло смазкой и керосином. Я лежал и слушал шум дождя по брезенту и перестук колес на ходу. Снаружи проникал слабый свет, и я лежал и смотрел на орудия. Они были в брезентовых чехлах. Я подумал, что, вероятно, они отпавлены из третьей армии. На лбу у меня вспухла шишка, и я остановил кровь, лежа неподвижно, чтобы дать ей свернуться, и потом сцарапал присохшую кровь, не тронув только у самой раны. Это было не больно. У меня не было носового платка, но я ощупью смыл остатки присохшей крови дождевой водой, которая стекала с брезента, и дочиства вытер рукавом. Я не должен был внушать подозрения своим видом. Я знал, что мне нужно будет выбраться до прибытия в Местре, потому что кто-нибудь придет взглянуть на орудия. Орудий было слишком мало, чтоб их терять или забывать. Меня мучил лютый голод.

Я лежал на досках платформы под брезентом, рядом с орудиями, мокрый, озябший и очень голодный. В конце концов я перевернулся и лег на живот, положив голову на руки. Колено у меня онемело, но, в общем, я не мог на него пожаловаться. Валентини прекрасно сделал свое дело. Я проделал половину отступления пешком и проплыл кусок Тальяменто с его коленом. Это и в самом деле было его колено. Другое колено было мое. Доктора проделывают всякие штуки с вашим телом, и после этого оно уже не ваше. Голова была моя, и все, что в животе, тоже. Там было очень голодно. Я чувствовал, как все там выворачивается наизнанку. Голова была моя, но не могла ни работать, ни думать; только вспоминать, и не слишком много вспоминать.

Я мог вспоминать Кэтрин, но я знал, что сойду с ума, если буду думать о ней, не зная, придется ли мне ее увидеть, и я старался не думать о ней, только совсем немножко о ней, только под медленный перестук колес о ней, и свет сквозь брезент под медленный перестук колес о ней, и свет сквозь брезент еле брезжит, и я лежу с Кэтрин на досках платформы. Жестко лежать на досках платформы, в мокрой одежде, и мыслей нет, только чувства, и слишком долгой была разлука, и доски вздрагивают раз от раза, и тоска внутри, и только мокрая одежда липнет к телу, и жесткие доски вместо жены.

Нельзя любить доски товарной платформы, или орудия в брезентовых чехлах с запахом смазки и металла, или брезент, пропускающий дождь, хотя под брезентом с орудиями очень приятно и славно; но вся твоя любовь — к кому-то, кого здесь даже и вообразить себе нельзя; слишком холодным и ясным взглядом смотришь теперь перед собой, скорей даже не холодным, а ясным и пустым. Лежишь на животе и смотришь перед собой пустым взглядом, после того, что видел, как одна армия отходила назад, а другая надвигалась. Ты дал погибнуть своим машинам и людям, точно служащий универсального магазина, который во время пожара дал погибнуть товарам своего отдела. Однако имущество не было застраховано. Теперь ты с этим разделался. У тебя больше нет никаких обязательств. Если после пожара в магазине расстреливают служащих за то, что они говорят с акцентом, который у них всегда был, никто, конечно, не вправе ожидать, что служащие

возвратятся, как только торговля откроется снова. Они ищут другой работы — если можно рассчитывать на другую работу и если их не поймают полиция.

Гнев смыла река вместе с чувством долга. Впрочем, это чувство прошло еще тогда, когда рука карабинера ухватила меня за ворот. Мне хотелось снять с себя мундир, хотя я не придавал особого значения внешней стороне дела. Я сорвал звездочки, но это было просто ради удобства. Это не было вопросом чести. Я ни к кому не питал злобы. Просто я с этим покончил. Я желал им всяческой удачи. Среди них были и добрые, и храбрые, и выдержанные, и разумные, и они заслуживали удачи. Но меня это больше не касалось, и я хотел, чтобы этот проклятый поезд прибыл уже в Местре, и тогда я поем и перестану думать. Я должен перестать.

Пиани скажет, что меня расстреляли. Они обыскивают карманы расстрелянных и забирают их документы. Моих документов они не получают. Может быть, меня сочтут утопившим. Интересно, что сообщат в Штаты. Умер от ран и иных причин. Черт, до чего я голоден. Интересно, что случилось с нашим священником. И с Ринальди. Наверно, он в Порденоне. Если они не отступили еще дальше. Да, теперь я его уже никогда не увижу. Теперь я никого из них никогда не увижу. Та жизнь кончилась. Едва ли у него сифилис. Во всяком случае, это, говорят, не такая уж серьезная болезнь, если захватить вовремя. Но он беспокоится. Я бы тоже беспокоился. Всякий бы беспокоился.

Я создан не для того, чтобы думать. Я создан для того, чтобы есть. Да, черт возьми. Есть, и пить, и спать с Кэтрин. Может быть, сегодня. Нет, это невозможно. Но тогда завтра, и хороший ужин, и простыни, и никогда больше не уезжать, разве только вместе. Придется, наверно, уехать очень скоро. Она поедет. Я знал, что она поедет. Когда мы поедем? Вот об этом можно было подумать. Становилось темно. Я лежал и думал, куда мы поедем. Много было разных мест.

Глава тридцать третья

Я соскочил с поезда в Милане, как только он замедлил ход, подъезжая к станции рано утром, еще до рассвета. Я пересек полотно, и прошел между какими-то строениями, и спустился на улицу. Одна закусочная была открыта, и я вошел выпить кофе. Там пахло ранним утром, сметеной пылью, ложечками в стаканах с кофе и мокрыми следами стаканов с вином. У стойки стоял хозяин. За столиком сидели два солдата. Я подошел к стойке и выпил стакан кофе и съел кусок хлеба. Кофе был серый от молока, и я хлебной корочкой снял пенку. Хозяин посмотрел на меня.

— Хотите стакан граппы?

— Нет, спасибо.

— За мой счет,— сказал он и налил небольшой стаканчик и подвинул его ко мне.— Что нового на фронте?

— Не знаю.

— Они пьяны,— сказал он, указывая на солдат за столиком. Этому можно было поверить. Было видно, что они пьяны.

— Рассказывайте,— сказал он.— Что нового на фронте?

— Ничего я не знаю о фронте.

— Я видел, как вы спускались. Вы спрыгнули с поезда.

— Идет отступление.

— Я читаю газеты. А нового что? Конец скоро?

— Не думаю.

Он подлил в стакан граппы из пузатой бутылки.

— Если у вас не все в порядке,— сказал он,— я могу спрятать вас.

— У меня все в порядке.

— Если у вас не все в порядке, поживите здесь.

— Где здесь?

— В моем доме. Многие живут здесь. У кого не все в порядке, те часто живут здесь.

— А таких много?

— Смотря о чем речь. Вы из Южной Америки?

— Нет.

— По-испански говорите?

— Немного.

Он вытер стойку.

— Перейти границу теперь трудно, но все-таки возможно.

— Я не собираюсь переходить.

— Вы можете жить здесь, сколько вам захочется. Вы увидите, что я за человек.

— Сейчас мне надо идти, но я запомню адрес и вернусь.

Он покачал головой.

— Вы не вернетесь, раз вы так говорите. Я думал, у вас правда не все в порядке.

— У меня все в порядке. Но всегда приятно иметь адрес друга.

Я положил на стойку десять лир в уплату за кофе.

— Выпейте со мной граппы,— сказал я.

— Это не обязательно.

— Выпейте.

Он налил два стакана.

— Помните,— сказал он.— Приходите сюда. Не доверяйтесь никому другому. Здесь вам будет хорошо.

— Я в этом уверен.

— Вы уверены?

— Да.

Он внимательно посмотрел на меня.

— Тогда позвольте сказать вам одну вещь. Не разгуживайте в этом мундире.

— Почему?

— На рукавах ясно видны места, откуда спороты звездочки. Сукно другого цвета.

Я промолчал.

— Если у вас нет бумаг, я могу достать вам бумаги.

— Какие бумаги?

— Отпускное свидетельство.

— Мне не нужны бумаги. У меня есть бумаги.

— Хорошо,— сказал он.— Но если вам нужны бумаги, я могу достать вам все, что угодно.

— Сколько стоят такие бумаги?

— Смотря что именно. Цена умеренная.

— Сейчас мне ничего не нужно.

Он пожал плечами.

— У меня все как следует,— сказал я.

Когда я выходил, он сказал:

— Не забывайте, что я ваш друг.

— Не забуду.

— Еще увидимся.

— Непременно,— сказал я.

Выйдя, я обогнул вокзал, где могла быть военная полиция, и нанял экипаж у ограды маленького парка. Я дал кучеру адрес госпиталя. Приехав в госпиталь, я вошел в каморку швейцара. Его жена расцеловала меня. Он пожал мне руку.

— Вы вернулись! Вы невредимы!

— Да.

— Вы завтракали?

— Да.

— Как ваше здоровье, *tenente*? Как здоровье? — спрашивала жена.

— Прекрасно.

— Может быть, позавтракаете с нами?

— Нет, спасибо. Скажите, мисс Баркли сейчас в госпитале?

— Мисс Баркли?

— Сестра-англичанка.

— Его милая,— сказала жена. Она потрепала меня по плечу и улыбнулась.

— Нет,— сказал швейцар.— Она уехала.

У меня упало сердце.

— Вы уверены? Я говорю о молодой англичанке, высокая блондинка.

— Я уверен. Она поехала в Стрезу.

— Когда она уехала?

— Два дня тому назад, вместе с другой сестрой-англичанкой.

— Так,— сказал я.— Я хочу попросить вас кое о чем. Никому не говорите, что вы меня видели. Это крайне важно.

— Я не скажу никому,— сказал швейцар.

Я протянул ему бумажку в десять лир. Он оттолкнул ее.

— Я обещал вам, что не скажу никому,— сказал он.— Мне денег не надо.

— Чем мы можем помочь вам, signor tenente? — спросила его жена.

— Только этим,— сказал я.

— Мы будем немцы,— сказал швейцар.— Вы мне дайте знать, если что-нибудь понадобится.

— Хорошо,— сказал я.— До свидания. Еще увидимся. Они стояли в дверях, глядя мне вслед.

Я сел в экипаж и дал кучеру адрес Симмонса, того моего знакомого, который учился петь.

Симмонс жил на другом конце города, близ Порта-Маджента. Он лежал в постели и был еще совсем сонный, когда я пришел к нему.

— Ужасно рано вы встаете, Генри,— сказал он.

— Я приехал ранним поездом.

— Что это за история с отступлением? Вы были на фронте? Хотите сигарету? Вот там, в ящике на столе.

Комната была большая, с кроватью у стены, роялем в противоположном углу, комодом и столом. Я сел на стул возле кровати. Симмонс сидел, подложив подушки под спину, и курил.

— Плохие у меня дела, Сим,— сказал я.

— У меня тоже,— сказал он.— У меня всегда плохие дела. Курить не хотите?

— Нет,— сказал я.— Что нужно для того, чтобы уехать в Швейцарию?

— Вам? Вас итальянцы не выпустят за границу.

— Да. Это я знаю. Ну, а швейцарцы? Как поступят швейцарцы?

— Они вас интернируют.

— Я знаю. Но какая механика этого дела?

— Никакой. Это очень просто. Вы можете ездить куда угодно. Нужно, кажется, только являться на проверку или что-то в этом роде. А что? Вас преследует полиция?

— Пока еще не ясно.

— Если не хотите говорить, не надо. Хотя любопытно было бы послушать. Здесь не бывает никаких происшествий. Я с треском провалился в Пьяченце.

— Да что вы!

— Да, да, очень скверно прошло. И ведь хорошо пел. Я собираюсь попробовать еще раз — здесь, в «Лирико».

- Очень жаль, что мне не удастся послушать.
- Вы страшно любезны. У вас что, серьезные неприятности?
- Не знаю.
- Если не хотите говорить, не надо. А почему вы здесь, а не на этом треклятом фронте?
- Я решил, что с меня довольно.
- Молодец. Я всегда знал, что вы не лишены здравого смысла. Я могу вам чем-нибудь помочь?
- Вы так заняты.
- Ничуть не бывало, дорогой Генри. Ничуть не бывало. Я буду рад чем-нибудь заняться.
- Вы примерно моего роста. Не сходите ли вы купить для меня штатский костюм? У меня есть костюмы, но они все в Риме.
- Да, ведь вы там жили раньше. Что за гнусное место! Как вы могли там жить?
- Я хотел стать архитектором.
- Самое неподходящее для этого место. Не покупайте ничего. Я вам дам все, что нужно. Я вас так разоделу, что вы будете неотразимы. Идите вон туда, в гардеробную. Там есть стенной шкаф. Берите все, что вам понравится. И ничего вам не нужно покупать, дорогой мой.
- Я бы все-таки охотнее купил, Сим.
- Дорогой мой, мне гораздо легче отдать вам все, что я имею, чем идти за покупками. У вас есть паспорт? Без паспорта вы далеко не уедете.
- Да. Мой старый паспорт при мне.
- Тогда одевайтесь, дорогой мой, и вперед, в добрую старую Гельвецию.
- Это все не так просто. Мне еще нужно в Стрезу.
- Чего же лучше, дорогой мой! А там в лодочку — и прямым сообщением на другую сторону. Если б не мое пение, я поехал бы с вами. И поеду.
- Вы там можете перейти на тирольский фальцет.
- И перейду, дорогой мой. Хотя ведь я умею петь. В этом-то и странность.
- Головой ручаюсь, что вы умеете петь.
- Он откинулся назад и закурил еще сигарету.
- Головой лучше не ручайтесь. Хотя все-таки я умею петь. Это очень забавно, но я умею петь. Я люблю петь. Послушайте. — Он зарычал из «Африканки»; шея его напряжилась, жилы вздулись. — Я умею петь, — сказал он. — А там как им угодно.

Я посмотрел в окно.

— Я пойду отпущу экипаж.

— Возвращайтесь скорее, дорогой мой и сядем завтракать.

Он встал с постели, выпрямился, глубоко вдохнул воздух и начал делать гимнастические упражнения. Я сошел вниз и расплатился с кучером.

Глава тридцать четвертая

В штатском я чувствовал себя как на маскараде. Я очень долго носил военную форму, и мне теперь не хватало ощущения подтянутости в одежде. Брюки словно болтались. Я взял в Милане билет до Стрезы. Я купил себе новую шляпу. Шляпу Сима я не мог надеть, но костюм был очень хороший. От него пахло табаком, и когда я сидел в купе и смотрел в окно, у меня было такое чувство, что моя новая шляпа очень новая, а костюм очень старый. Настроение у меня было тоскливое, как мокрый ломбардский ландшафт за окном. В купе сидели какие-то летчики, которые оценили меня не слишком высоко. Они избегали смотреть на меня и подчеркивали свое презрение к штатскому моего возраста. Я не чувствовал себя оскорбленным. В прежние время я бы оскорбил их и затеял драку. Они сошли в Галларате, и я был рад, что остался один. У меня была газета, но я не читал ее, потому что не хотел читать о войне. Я решил забыть про войну. Я заключил сепаратный мир. Я чувствовал себя отчаянно одиноким и был рад, когда поезд прибыл в Стрезу.

На вокзале я ожидал увидеть комиссионеров из отелей, но ни одного не было. Сезон уже давно окончился, и поезд никто не встречал. Я вышел из вагона со своим чемоданом, — это был чемодан Сима, очень легкий, потому что в нем не было ничего, кроме двух сорочек, — и постоял на перроне под дождем, пока поезд не тронулся. Я спросил у одного из вокзальных служащих, не знает ли он, какие отели еще открыты. «Гранд-отель» был открыт, и «Дез'иль-Ворроме», и несколько маленьких отелей, которые не закрывались круглый год. Я пошел под дождем к «Дез'иль-Ворроме», с чемоданом в руке. Я увидел проезжавший по улице экипаж и сделал знак кучеру. Лучше было приохать в экипаже. Мы подкатили к подъезду большого оте-

ля, и портье вышел навстречу с зонтиком и был очень вежлив.

Я выбрал хороший номер. Он был большой и светлый, с видом на озеро. Над озером низко нависли тучи, но я знал, что при солнечном свете оно очень красиво. Я сказал, что ожидаю свою жену. В номере стояла большая двуспальная кровать, *letto matrimoniale*¹, с атласным одеялом. Это был очень шикарный отель. Я прошел по длинному коридору и потом по широкой лестнице спустился в бар. Бармен был мой старый знакомый, и я сидел на высоком табурете и ел соленый миндаль и хрустящий картофель. Мартини был холодный и чистый на вкус.

— Что вы здесь делаете, *in borghese*?² — спросил бармен, смешивая мне второй мартини.

— Я в отпуску. Получил отпуск для поправления здоровья.

— Здесь сейчас пусто. Не знаю, почему не закрывают отель.

— Как ваша рыбная ловля?

— Я поймал несколько великолепных форелей. В это время года часто попадаются великолепные форели.

— Вы получили табак, который я вам послал?

— Да. А вы не получили моей открытки?

Я засмеялся. Мне не удалось достать ему этот табак. Речь шла об американском трубочном табаке, но мои родные перестали посылать его, или его где-нибудь задерживали. Во всяком случае, я его больше не получал.

— Я вам достану где-нибудь, — сказал я. — Скажите, вы не встречали в городе двух молодых англичанок? Они приехали позавчера.

— У нас в отеле таких нет.

— Они сестры из военного госпиталя.

— Двух сестер милосердия я видел. Погодите минуту, я узнаю, где они остановились.

— Одна из них — моя жена. Я приехал сюда, чтобы встретиться с ней.

— А другая — моя жена.

— Я не шучу.

— Простите за глупую шутку, — сказал он. — Я не понял.

¹ Супружеское ложе (ит.).

² В штатском (ит.).

Он вышел и довольно долго не возвращался. Я ел маслины, соленый миндаль и хрустящий картофель и в зеркале позади стойки видел себя в штатском. Наконец бармен вернулся.

— Они в маленьком отеле возле вокзала, — сказал он.

— А что, сэндвичи у вас есть?

— Я сейчас позвоню. Тут, видите ли, ничего нет, потому что нет народу.

— У вас совсем пусто?

— Ну, кое-кто есть, конечно.

Принесли сэндвичи, и я съел три штуки и выпил еще martini. Никогда я не пил ничего холоднее и чище. Вкус martini вернул мне самочувствие цивилизованного человека. Я слишком долго питался красным вином, хлебом, сыром, скверным кофе и граппой. Я сидел на высоком табурете в приятном окружении красного дерева, бронзы и зеркал и ни о чем не думал. Бармен задал мне какой-то вопрос.

— Не надо говорить о войне, — сказал я.

Война была где-то очень далеко. Может быть, никакой войны и не было. Здесь не было войны. Я вдруг понял, что для меня она кончилась. Но у меня не было чувства, что она действительно кончилась. У меня было такое чувство, как у школьника, который сбежал с уроков и думает о том, что сейчас происходит в школе.

Кэтрин и Эллен Фергюсон обедали, когда я пришел к ним в отель. Еще из коридора я увидел их за столом. Кэтрин сидела почти спиной ко мне, и я видел узел ее волос и часть щеки и ее чудесную шею и плечи. Фергюсон что-то рассказывала. Она замолчала, когда я вошел.

— Господи! — сказала она.

— Здравствуйте! — сказал я.

— Как, это вы? — сказала Кэтрин. Ее лицо просветлело. Казалось, она слишком счастлива, чтобы поверить. Я поцеловал ее. Кэтрин покраснела, и я сел за их стол.

— Вот так история! — сказала Фергюсон. — Что вы тут делаете? Вы обедали?

— Нет.

Вошла девушка, подававшая к столу, и я попросил ее принести для меня прибор. Кэтрин все время смотрела на меня счастливыми глазами.

— По какому это вы случаю в муфти? ¹ — спросила Фергюсон.

— Я попал в Кабинет.

— Вы попали в какую-нибудь скверную историю.

— Развеселитесь, Ферджи. Развеселитесь немножко.

— Не очень-то весело глядеть на вас. Я знаю, в какую историю вы впутали эту девушку. Вы для меня вовсе не веселое зрелище.

Кэтрин улыбнулась мне и тронула меня ногой под столом.

— Никто меня ни в какую историю не впутывал, Ферджи. Я сама впуталась.

— Я его терпеть не могу, — сказала Фергюсон. — Он только погубил вас своими коварными итальянскими штучками. Американцы еще хуже итальянцев.

— Зато шотландцы — нравственный народ, — сказала Кэтрин.

— Я вовсе не об этом говорю. Я говорю о его итальянском коварстве.

— Разве я коварный, Ферджи?

— Да. Вы хуже чем коварный. Вы настоящая змея. Змея в итальянском мундире и плаще.

— Я уже снял итальянский мундир.

— Это только лишнее доказательство вашего коварства. Все лето вы играли в любовь и сделали девушке ребенка, а теперь, вероятно, намерены улигнуть.

Я улыбнулся Кэтрин, и она улыбнулась мне.

— Мы оба намерены улигнуть, — сказала она.

— Вы друг друга стоите, — сказала Ферджи. — Мне стыдно за вас, Кэтрин Баркли. У вас нет ни стыда, ни чести, и вы так же коварны, как он.

— Не надо, Ферджи, — сказала Кэтрин и потрепала ее по руке. — Не ругайте меня. Вы же знаете, что мы любим друг друга.

— Уберите руку, — сказала Фергюсон. Ее лицо было красно. — Если б вы не потеряли стыд, было бы другое дело. Но вы беременны бог знает на каком месяце и думаете, что это все шутки, и вся расплываетесь в улыбках оттого, что ваш соблазнитель вернулся. У вас нет ни стыда, ни совести.

¹ Муфта — домашнее платье, которое носят должностные лица вне службы (*оф.-инд.*).

Она заплакала. Кэтрин подошла и обняла ее одной рукой. Когда она встала, утешая Фергюсон, я не заметил никакой перемены в ее фигуре.

— Мне все равно,— всхлипывала Фергюсон.— Только это все ужасно.

— Ну, ну, Ферджи,— утешала ее Кэтрин.— Я буду стыдиться. Не плачьте, Ферджи. Не плачьте, добрая моя Ферджи.

— Я не плачу,— всхлипывала Фергюсон.— Я не плачу. Только вот как вспомню, что с вами случилось.— Она посмотрела на меня.— Я вас ненавижу,— сказала она.— Она не может помешать мне ненавидеть вас. Вы гнусный коварный американский итальянец.— Ее нос и глаза покраснели от слез.

Кэтрин улыбнулась мне.

— Не смейте улыбаться ему, когда вы меня обнимаете.

— Вы неблагоприятны, Ферджи.

— Я сама знаю,— всхлипывала Ферджи.— Не обращайтесь на меня внимания. Я так взволнована. Я неблагоприятна. Я сама знаю. Я хочу, чтобы вы оба были счастливы.

— Мы и так счастливы,— сказала Кэтрин.— Вы моя хорошая Ферджи.

Фергюсон снова заплакала.

— Я не хочу, чтобы вы были счастливы так, как сейчас. Почему вы не женитесь? Да он не женат ли, чего доброго?

— Нет,— сказал я. Кэтрин смеялась.

— Ничего нет смешного,— сказала Фергюсон.— Так очень часто бывает.

— Мы поженимся, Ферджи,— сказала Кэтрин,— чтоб доставить вам удовольствие.

— Не для моего удовольствия. Вы сами должны были подумать об этом.

— Мы были очень заняты.

— Да. Я знаю. Заняты тем, что делали детей.

Я думал, что она опять начнет плакать, но она вместо того вдруг разобиделась.

— Теперь вы, конечно, уйдете с ним?

— Да,— сказала Кэтрин.— Если он захочет.

— А как же я?

— Вы боитесь остаться здесь одна?

— Да, боюсь.

— Тогда я останусь с вами.

— Нет, уходите с ним. Уходите с ним сейчас же. Не желаю я вас больше видеть.

— Вот только пообедаем.
— Нет, уходите сейчас же.
— Ферджи, будьте благоразумны.
— Сейчас же убирайтесь отсюда, вам говорят. Уходите оба.

— Ну, пойдем,— сказал я. Мне надоела Ферджи.

— Конечно, вы рады уйти. Даже обедать я теперь должна в одиночестве. Я так давно мечтала попасть на итальянские озера, и вот что вышло. О! О! — Она всхлинула, потом посмотрела на Кэтрин и поперхнулась.

— Мы останемся до конца обеда,— сказала Кэтрин.— И я не оставляю вас одну, если вы хотите, чтоб я была с вами. Я не оставляю вас одну, Ферджи.

— Нет. Нет. Я хочу, чтоб вы ушли. Я хочу, чтоб вы ушли.— Она вытерла глаза.— Я ужасно неблагоразумна. Пожалуйста, не обращайтесь на меня внимания.

Девушку, которая подавала к столу, очень взволновали все эти слезы. Теперь, принеся следующее блюдо, она явно испытала облегчение, видя, что все уладилось.

Ночь в отеле, в нашей комнате, где за дверью длинный пустой коридор и наши башмаки у двери, и толстый ковер на полу комнаты, и дождь за окном, а в комнате светло, и радостно, и уютно, а потом темнота, и радость тонких простынь и удобной постели, и чувство, что ты вернулся домой, что ты не один, и ночью, когда проснешься, другой по-прежнему здесь и не исчез никуда,— все остальное больше не существовало. Утомившись, мы засыпали, и когда просыпались, то просыпались оба, и одиночества не возникало. Порой мужчине хочется побыть одному и женщине тоже хочется побыть одной, и каждому обидно чувствовать это в другом, если они любят друг друга. Но у нас этого никогда не случалось. Мы умели чувствовать, что мы одни, когда были вместе, одни среди всех остальных. Так со мной было в первый раз. Я знал многих женщин, но всегда оставался одиноким, бывая с ними, а это — худшее одиночество. Но тут мы никогда не ощущали одиночества и никогда не ощущали страха, когда были вместе. Я знаю, что ночью не то же, что днем, что все по-другому, что днем нельзя объяснить ночное, потому что оно тогда не существует, и если человек уже почувствовал себя одиноким, то ночью одиночество особенно страшно. Но с Кэтрин ночь почти ничем не отличалась от дня, разве

что ночью было еще лучше. Когда люди столько мужества приносят в этот мир, мир должен убить их, чтобы сломить, и поэтому он их и убивает. Мир ломает каждого, и многие потом только крепче на изломе. Но тех, кто не хочет сломиться, он убивает. Он убивает самых добрых, и самых нежных, и самых храбрых без разбора. А если ты ни то, ни другое, ни третье, можешь быть уверен, что и тебя убьют, только без особой спешки.

Я помню пробуждение утром. Кэтрин еще спала, и солнечный свет проникал в окно. Дождя уже не было, и я встал с постели и подошел к окну. Внизу тянулись сады, голые теперь, но прекрасные в своей правильности, дорожки, усыпанные гравием, деревья, каменный парапет у озера и озеро в солнечном свете, а за ним горы. Я стоял и смотрел в окно, и когда я обернулся, то увидел, что Кэтрин проснулась и глядит на меня.

— Ты уже встал, милый? — сказала она. — Какой чудесный день!

— Как ты себя чувствуешь?

— Чудесно. Как хорошо было ночью.

— Хочешь есть?

Она хотела есть. Я тоже хотел, и мы поели в кровати, при ноябрьском солнце, светившем в окно, поставив поднос с тарелками к себе на колени.

— А ты не хочешь прочесть газету? Ты всегда читал газету в госпитале.

— Нет, — сказал я. — Теперь я не хочу.

— Так скверно было, что ты не хочешь даже читать об этом?

— Я не хочу читать об этом.

— Как жаль, что я не была с тобой, я бы тоже все это знала.

— Я расскажу тебе, если когда-нибудь это уляжется у меня в голове.

— А тебя не арестуют, если встретят не в военной форме?

— Меня, вероятно, расстреляют.

— Тогда мы не должны здесь оставаться. Мы уедем за границу.

— Я уже об этом подумывал.

— Мы уедем. Милый, ты не должен рисковать зря. Скажи мне, как ты попал из Местре в Милан?

— Я приехал посздом. Я тогда еще был в военной форме.

— А это не было опасно?

— Не очеь. У меня был старый литер. В Местре я исправил на нем число.

— Милый, тебя тут каждую минуту могут арестовать. Я не хочу. Как можно делать такие глупости. Что будет с нами, если тебя заберут?

— Не будем думать об этом. Я устал думать об этом.

— Что ты сделаешь, если придут тебя арестовать?

— Буду стрелять.

— Вот видишь, какой ты глупый. Я тебя не выпущу из отеля, пока мы не уедем отсюда.

— Куда нам ехать?

— Пожалуйста, не будь таким, милый. Поедем туда, куда ты захочешь. Но только придумай такое место, чтоб можно было ехать сейчас же.

— В том конце озера — Швейцария, можно поехать туда.

— Вот и чудесно.

Снова собрались тучи, и озеро потемнело.

— Если б не нужно было всегда жить преступником, — сказал я.

— Милый, не будь таким. Давно ли ты живешь преступником? И мы не будем жить преступниками. У нас будет чудесная жизнь.

— Я чувствую себя преступником. Я дезертировал из армии.

— Милый, ну пожалуйста, будь благоразумен. Ты все не дезертировал из армии. Это ведь только итальянская армия.

Я засмеялся.

— Ты умица. Полежим еще немного. Когда я в постели, все замечательно.

Немного погодя Кэтрин сказала:

— Ты уже не чувствуешь себя преступником, правда?

— Нет, — сказал я. — Когда я с тобой — нет.

— Ты очень глупый мальчишка, — сказала она. — Но я не дам тебе распускаться. Подумай, милый, как хорошо, что меня не тошнит по утрам.

— Великолепно.

— Ты даже не ценишь, какая у тебя чудесная жена. Но мне все равно. Я тебя увезу куда-нибудь, где тебя не могут арестовать, и мы будем чудесно жить.

— Едем сейчас же.

— Непременно, милый. Когда хочешь и куда хочешь.

— Давай не будем ни о чем думать.

— Давай.

Глава тридцать пятая

Кэтрин пошла берегом к маленькому отелю провести Фергюсон, а я сидел в баре и читал газеты. В баре были удобные кожаные кресла, и я сидел в одном из них и читал, пока не пришел бармен. Армия не остановилась на Тальяменто. Она отступила дальше, к Пьяве. Я помнил Пьяве. Железная дорога пересекала ее близ Сан-Допа, по пути к фронту. Река в этом месте была глубокая и медленная и совсем узкая. Ниже по течению были болотные топи и каналы. Было несколько красивых вишн. Однажды до войны, направляясь в Кортина-д'Амнеццо, я несколько часов ехал горной дорогой над Пьяве. Сверху она была похожа на богатый форелью ручей с узкими отмелями и заводами под тенью скал. У Кадоре дорога сворачивала в сторону. Я думал о том, что армии не легко будет спуститься оттуда. Вошел бармен.

— Граф Греффи спрашивал о вас, — сказал он.

— Кто?

— Граф Греффи. Помните, тот старик, который был здесь, когда вы приезжали прошлый раз.

— Он здесь?

— Да, он здесь с племянницей. Я сказал ему, что вы приехали. Он хочет сыграть с вами на бильярде.

— Где он?

— Пошел погулять.

— Как он?

— Все молодеет. Вчера перед обедом он выпил три коктейля с шампанским.

— Как его успехи на бильярде?

— Хороши. Он меня бьет. Когда я ему сказал, что вы здесь, он очень обрадовался. Ему не с кем играть.

Графу Греффи было девяносто четыре года. Он был современником Меттерниха, этот старик с седой головой и седыми усами и превосходными манерами. Он побывал и на австрийской и на итальянской дипломатической служ-

бе, и день его рождения был событием в светской жизни Милана. Он собирался дожить до ста лет и играл на бильярде с уверенной свободой, неожиданной в этом сухоньком девяносточетырехлстнем теле. Я встретился с ним, приехав как-то в Стрезу после конца сезона, и мы пили шампанское во время игры на бильярде. Я нашел, что это великолепный обычай, и он дал мне пятнадцать очков форы и обыграл меня.

— Почему вы не сказали мне, что он здесь?

— Я забыл.

— Кто здесь есть еще?

— Других вы не знаете. Во всем отеле только шесть человек.

— Чем вы сейчас заняты?

— Ничем.

— Поедем ловить рыбу.

— На часок, пожалуй, можно.

— Поедем. Берите дорожку.

Бармен надел пальто, и мы отправились. Мы спустились к берегу и взяли лодку, и я греб, а бармен сидел на корме и держал дорожку, какой ловят озерную форель, со спиннером и тяжелым грузилом на конце. Мы ехали вдоль берега, бармен держал лесу в руках и время от времени дергал ее. С озера Стреза выглядела очень пустынной. Видны были длинные ряды голых деревьев, большие отели и заколоченные виллы. Я повернул к Изола-Белла и повел лодку вдоль самого берега, где сразу глубоко и видно, как стена скал отвесно уходит в прозрачную воду, а потом отъехал и свернул к рыбацему острову. Солнце зашло за тучи, и вода была темная и гладкая и очень холодная. У нас ни разу не клюнуло, хотя несколько раз мы видели на воде круги от подплывающей рыбы.

Я выгреб к рыбацему острову, где стояли вытасщенные на берег лодки и люди чинили сети.

— Пойдем выпьем чего-нибудь?

— Пойдем.

Я подогнал лодку к каменному причалу, и бармен втянул лесу, свернул ее на дне лодки и зацепил спиннер за край борта. Я вылез и привязал лодку. Мы вошли в маленькое кафе, сели за деревянный столик и заказали вермуту.

— Устали грести?

— Нет.

— Обратно грести буду я,— сказал он.

— Я люблю грести.
— Может быть, если вы возьмете удочку, счастье переменится.

— Хорошо.

— Скажите, как дела на войне?

— Отвратительно.

— Я не должен идти. Я слишком стар, как граф Греффи.

— Может быть, вам еще придется пойти.

— В будущем году мой разряд призывают. Но я не пойду.

— Что же вы будете делать?

— Уеду за границу. Я не хочу идти на войну. Я уже был на войне раз, в Абиссинии. Хватит. Зачем вы пошли?

— Не знаю. По глупости.

— Еще вермуту?

— Давайте.

На обратном пути греб бармен. Мы проехали озером за Стрезу и потом назад, все время в виду берега. Держа тугую лесу и чувствуя слабое биение вращающегося спиннера, я глядел на темную ноябрьскую воду озера и пустынный берег. Бармен греб длинными взмахами, и когда лодку выносило вперед, леса дрожала. Один раз у меня клюнуло: леса вдруг натянулась и дернулась назад, я стал тащить и почувствовал живую тяжесть форели, и потом леса задрожала снова. Форель сорвалась.

— Тяжелая была?

— Да, довольно тяжелая.

— Раз я тут ездил один и держал лесу в зубах, так одна дернула, чуть всю челюсть у меня не вырвала.

— Лучше всего привязывать к ноге, — сказал я. — Тогда и лесу чувствуешь, и зубы останутся целы.

Я опустил руку в воду. Она была очень холодная. Мы были теперь почти напротив отеля.

— Мне пора, — сказал бармен, — я должен поспеть к одиннадцати часам. L'heure du cocktail ¹.

— Хорошо.

Я втащил лесу и навернул ее на палочку с зарубками на обоих концах. Бармен поставил лодку в маленькую нишу каменной стены и прикрепил ее цепью с замком.

— Когда захотите покататься, — сказал он, — я дам вам ключ.

¹ Час коктейлей (фр.).

— Спасибо.

Мы поднялись к отелю и вошли в бар. Мне не хотелось больше пить так рано, и я поднялся в нашу комнату. Горничная только что кончила убирать, и Кэтрин еще не вернулась. Я лег на постель и старался не думать.

Когда Кэтрин вернулась, все опять стало хорошо. Фергюсон внизу, сказала она. Она будет завтракать с нами.

— Я знала, что ты ничего не будешь иметь против,— сказала Кэтрин.

— Ничего,— сказал я.

— Что с тобой, милый?

— Не знаю.

— Я знаю. Тебе нечего делать. У тебя есть только я, а я ушла.

— Ты права.

— Прости меня, милый. Я знаю, это, наверно, ужасное чувство, когда вдруг совсем ничего не остается.

— У меня всегда жизнь была такой наполненной,— сказал я.— Теперь, если только тебя нет со мной, все пусто.

— Но я ведь буду с тобой. Я уходила только на два часа. Ты не можешь придумать себе какое-нибудь занятие?

— Я ездил с барменом ловить рыбу.

— Хорошо было?

— Да.

— Не думай обо мне, когда меня нет.

— Так я всегда старался на фронте. Но там мне было что делать.

— Отелло в отставке,— поддразнила она.

— Отелло был негр,— сказал я.— А кроме того, я не ревнив. Я просто так люблю тебя, что для меня больше ничего не существует.

— А теперь будь паинькой и будь любезен с Фергюсон.

— Я всегда любезен с Фергюсон, пока она не начинает меня клясть.

— Будь любезен с ней. Подумай, ведь у нас есть так много, а у нее ничего нет.

— Не думаю, чтобы ей хотелось того, что есть у нас.

— Ничего ты не знаешь, милый, а еще умница.

— Я буду любезен с ней.

— Я в этом не сомневаюсь. Ты у меня хороший.

— Но она потом не останется?

— Нет. Я ее сплавлю.

— И мы вернемся сюда?

— Конечно. А как же иначе?

Мы спустились вниз, позавтракать с Фергюсон. На несильное впечатление произвел отель и великолепие ресторана. Мы хорошо позавтракали и выпили две бутылки капри. В ресторан вошел граф Греффи и поклонился нам. С ним была его племянница, которая немного напоминала мою бабушку. Я рассказал о нем Кэтрин и Фергюсон, и на Фергюсон мой рассказ произвел сильное впечатление. Отель был очень большой, и пышный, и пустой, но еда была вкусная, вино очень приятное, и в конце концов от вина всем стало очень хорошо. Кэтрин чувствовала себя как нельзя лучше. Она была счастлива. Фергюсон совсем развеселилась. Мне самому было очень хорошо. После завтрака Фергюсон вернулась в свой отель. Она хочет немного полежать после завтрака, сказала она.

К концу дня кто-то постучался к нам в дверь.

— Кто там?

— Граф Греффи спрашивает, не сыграете ли вы с ним на бильярде.

Я посмотрел на часы; я их снял, и они лежали под подушкой.

— Это нужно, милый? — шепнула Кэтрин.

— Пожалуй, придется пойти. — Часы показывали четверть пятого. Я сказал громко: — Передайте графу Греффи, что я буду в бильярдной в пять часов.

Без четверти пять я поцеловал на прощанье Кэтрин и пошел в ванную одеваться. Когда я завязывал галстук и смотрелся в зеркало, мне странно было видеть себя в штатском. Я подумал, что нужно будет купить еще сорочек и носков.

— Ты надолго уходишь? — спросила Кэтрин. Она была очень красива в постели. — Дай мне, пожалуйста, щетку.

Я смотрел, как она расчесывала волосы, наклонив голову так, чтобы вся масса волос свесилась на одну сторону. За окном уже было темно, и свет лампы над изголовьем постели ложился на ее волосы, и шею, и плечи. Я подошел и поцеловал ее, отведя ее руку со щеткой, и ее голова откинулась на подушку. Я поцеловал ее шею и плечи. У меня кружилась голова, так сильно я ее любил.

— Я не хочу уходить.

— И я не хочу, чтоб ты уходил.

— Ну, так я не пойду.

— Нет. Иди. Это ведь ненадолго, а потом ты вернешься.

— Мы пообедаем здесь, наверху.

— Иди и скорее возвращайся.

Я застал графа Греффи в бильярдной. Он упражнялся в различных ударах и казался очень хрупким в свете лампы, спускавшейся над бильярдом. На ломберном столике темного поодаль, в тени, стояло серебряное ведро со льдом, откуда торчали горлышки и пробки двух бутылок шампанского. Граф Греффи выпрямился, когда я вошел в бильярдную, и пошел мне навстречу. Он протянул мне руку.

— Я очень рад видеть вас здесь. Вы так добры, что согласились прийти поиграть со мной.

— С вашей стороны очень любезно было меня пригласить.

— Как ваше здоровье? Я слышал, вы были ранены на Изонцо. Надеюсь, вы теперь вполне оправились.

— Я совершенно здоров. Как ваше здоровье?

— О, я всегда здоров. Но я старею. Начинаю замечать признаки старости.

— Этому трудно поверить.

— Да. Вот вам пример. Мне теперь легче говорить по-итальянски, чем на другом языке. Я заставляю себя, но когда я устаю, мне все-таки легче говорить по-итальянски. Так что, по-видимому, я старею.

— Будем говорить по-итальянски. Я тоже немного устал.

— О, но ведь если вы устали, вам должно быть легче говорить по-английски.

— По-американски.

— Да. По-американски. Пожалуйста, говорите по-американски. Это такой очаровательный язык.

— Я почти не встречаюсь теперь с американцами.

— Вы, вероятно, очень скучаете без их общества. Всегда скучно без соотечественников, а в особенности без соотечественниц. Я это знаю по опыту. Что ж, сыграем, или вы слишком устали?

— Я не устал. Я сказал это так, в шутку. Какую вы мне дадите фору?

— Вы много играли это время?

— Совсем не играл.

— Вы играете очень хорошо. Десять очков?

— Вы мне льстите.

— Пятнадцать?

— Это было бы прекрасно, но вы меня все равно обыграете.

— Будем играть на деньги? Вы всегда предпочитали играть на деньги.

— Давайте.

— Отлично. Я даю вам восемнадцать очков, и мы играем по франку очко.

Он очень красиво разыграл партию, и, несмотря на фору, я только на четыре очка обогнал его к середине игры. Граф Греффи нажал кнопку звонка, вызывая бармена.

— Будьте добры откупорить одну бутылку,— сказал оп. Затем мне: — По стакану для настроения.

Вино было холодное, как лед, и очень сухое и хорошее.

— Будем говорить по-итальянски. Вы не возражаете? Это теперь моя слабость.

Мы продолжали играть, потягивая вино между ударами, беседуя по-итальянски, но вообще разговаривали мало, сосредоточась на игре. Граф Греффи выбил сотое очко, а я, несмотря на фору, имел только девяносто четыре. Он улыбнулся и потрепал меня по плечу.

— Теперь мы разопьем вторую бутылку, и вы расскажете мне о войне.— Он ждал, когда я сяду.

— О чем-нибудь другом,— сказал я.

— Вы не хотите говорить об этом? Хорошо. Что вы читали за последнее время?

— Ничего,— сказал я.— Боюсь, что я очень отупел.

— Нет. Но читать вам нужно.

— Что написано за время войны?

— Есть «Le feu»¹ одного француза, Барбюса. Есть «Мистер Бритлинг видит все насквозь».

— Это неправда.

— Что неправда?

— Он не видит все насквозь. Эти книги были у нас в госпитале.

— Значит, вы кое-что читали?

— Да, но хорошего ничего.

— Мне кажется, что в «Мистере Бритлинге» очень хорошо показана душа английской буржуазии.

— Я не знаю, что такое душа.

— Бедняжка. Никто не знает, что такое душа. Вы — *сroyant*?²

— Только ночью.

Граф Греффи улыбнулся и повертел стакан в пальцах.

¹ Огонь (*фр.*).

² Верующий (*фр.*).

— Я предполагал, что с возрастом стану набожнее, но почему-то этого не случилось,— сказал он.— Очень сожалею.

— Вы хотели бы жить после смерти? — сказал я и сейчас же спохватился, что глупо было упоминать о смерти. Но его не смутило это слово.

— Смотря как жить. Эта жизнь очень приятна. Я хотел бы жить вечно.— Он улыбнулся.— Мне это почти удалось.

Мы сидели в глубоких кожаных креслах, разделенные столиком с бокалами и шампанским в серебряном ведерке.

— Если вы доживете до моего возраста, многое вам будет казаться странным.

— Вы не похожи на старика.

— Тело стареет. Иногда мне кажется, что у меня палец может отломиться, как кончик мелка. А дух не стареет, и мудрости не прибавляется.

— Вы мудры.

— Нет, это великое заблуждение — о мудрости стариков. Старики не мудры. Они только осторожны.

— Быть может, это и есть мудрость.

— Это очень непривлекательная мудрость. Что вы цените выше всего?

— Любимую женщину.

— Вот и я также. Это не мудрость. Жизнь вы цените?

— Да.

— Я тоже. Потому что это все, что у меня есть. И еще дни рождения,— засмеялся он.— Видимо, вы более мудры, чем я. Вы не празднуете день своего рождения.

Мы оба потягивали вино.

— Что вы в самом деле думаете о войне? — спросил я.

— Я думаю, что она нелепа.

— Кто выиграет ее?

— Итальянцы.

— Почему?

— Они более молодая нация.

— Разве молодые нации всегда выигрывают войну?

— Они способны на это в известном периоде.

— А потом что?

— Они становятся старыми нациями.

— А вы еще говорите, что не мудры.

— Дорогой мой мальчик, это не мудрость. Это цинизм.

— Мне это кажется величайшей мудростью.

— Это не совсем так. Я мог бы вам привести примеры в подтверждение противоположного. Но это неплохо сказано. Мы выпили все шампанское?

— Почти.

— Может быть, выпьем еще? Потом я пойду переодеваться.

— Пожалуй, не стоит больше.

— Вам в самом деле не хочется?

— Да.

Он встал.

— Желаю вам много удачи, и много счастья, и много, много здоровья.

— Благодарю вас. А я желаю вам жить вечно.

— Благодарю вас. Я так и делаю. А если вы когда-нибудь станете набожным, помолитесь за меня, когда я умру. Я уже нескольких друзей просил об этом. Я надеялся сам стать набожным, но этого не случилось.

Мне казалось, что он улыбнулся с грустью, но я не был уверен. Он был очень стар, и на его лице было очень много морщин, и в улыбке участвовало столько черточек, что оттенки терялись в них.

— Я, может быть, стану очень набожным,— сказал я.— Во всяком случае, я буду молиться за вас.

— Я всегда ожидал, что стану набожным. В моей семье все умирали очень набожными. Но почему-то этого не случилось.

— Еще слишком рано.

— Может быть, уже слишком поздно. Может быть, я пережил свое религиозное чувство.

— У меня оно появляется только ночью.

— Но ведь вы еще и любите. Не забывайте, что это тоже религиозное чувство.

— Вы думаете?

— Конечно.— Он сделал шаг к бильярду.— Вы очень добры, что сыграли со мной.

— Это было большим удовольствием для меня.

— Пойдемте наверх вместе.

Глава тридцать шестая

Ночью была гроза, и, проснувшись, я услышал, как дождь хлещет по оконным стеклам. В открытое окно заливалась вода. Кто-то стучался в дверь. Я подошел к двери

очень тихо, чтобы не разбудить Кэтрин, и отворил. Это был бармен. Он был в пальто и держал в руках мокрую шляпу.

— Мне нужно поговорить с вами, *tenente*.

— В чем дело?

— Дело очень серьезное.

Я огляделся. В комнате было темно. Я увидел лужу на полу под окном.

— Войдите, — сказал я. Я за руку провел его в ванную комнату, запер дверь и зажег свет. Я присел на край ванны.

— В чем дело, Эмилио? У вас какая-нибудь беда?

— Нет. Не у меня, а у вас, *tenente*.

— Вот как?

— Утром придут вас арестовать.

— Вот как?

— Я пришел сказать вам. Я был в городе и в кафе услышал разговор.

— Понимаю.

Он стоял передо мной, в мокром пальто, с мокрой шляпой в руках, и молчал.

— За что меня хотят арестовать?

— Что-то связанное с войной.

— Вы знаете — что?

— Нет. Но я знаю, что вас прежде видели здесь офицером, а теперь вы приехали в штатском. После этого отступления они каждого готовы арестовать.

Я минуту раздумывал.

— В котором часу они собирались прийти?

— Утром. Точного часа не знаю.

— Что вы советуете делать?

Он положил шляпу в раковину умывальника. Она была очень мокрая, и вода все время стекала на пол.

— Если за вами ничего нет, то вам нечего опасаться. Но попасть под арест всегда неприятно — особенно теперь.

— Я не хочу попасть под арест.

— Тогда уезжайте в Швейцарию.

— Как?

— На моей лодке.

— На озере буря, — сказал я.

— Буря миновала. Волны еще есть, но вы справитесь.

— Когда нам ехать?

— Сейчас. Они могут прийти рано утром.

— А наши вещи?

— Уложите их. Пусть ваша леди одевается. Я позабочусь о вещах.

— Где вы будете?

— Я подожду здесь. Не пужно, чтоб меня видели в коридоре.

Я отворил дверь, прикрыл ее за собой и вошел в спальню. Кэтрин не спала.

— Что там такое, милый?

— Ничего, Кэт,— сказал я.— Хочешь сейчас одеться и ехать на лодке в Швейцарию?

— А ты хочешь?

— Нет,— сказал я.— Я хочу лечь опять в постель.

— Что случилось?

— Бармен говорит, что утром меня придут арестовать.

— А бармен в своем уме?

— Да.

— Тогда, пожалуйста, милый, одевайся поскорее, и сейчас же едем. Она села на край постели. Она была еще сонная.— Это бармен там, в ванной?

— Да.

— Так я не буду умываться. Пожалуйста, милый, отвернись, и я в одну минуту оденусь.

Я увидел ее белую спину, когда она снимала ночную сорочку, и потом я отвернулся, потому что она так просила. Она уже начала полнеть от беременности и не хотела, чтоб я ее видел. Я оделся, слушая шум дождя за окном. Мне почти нечего было укладывать.

— У меня еще много места в чемодане, Кэт, если тебе нужно.

— Я уже почти все уложила,— сказала она.— Милый, я ужасно глупая, но скажи мне, зачем бармен сидит в ванной?

— Тсс, он ждет, чтоб снести наши вещи вниз.

— Какой славный!

— Он мой старый друг,— сказал я.— Один раз я чуть не прислал ему трубочного табаку.

Я посмотрел в открытое окно, за которым темнела ночь. Озера не было видно, только мрак и дождь, но ветер улегся.

— Я готова, милый,— сказала Кэтрин.

— Хорошо.— Я подошел к двери ванной.— Вот чемоданы, Эмилио,— сказал я. Бармен взял оба чемодана.

— Вы очень добры, что хотите помочь нам,— сказала Кэтрин.

— Пустяки, леди,— сказал бармен.— Я очень рад помочь вам, только не хотел бы нажить себе этим неприят-

пости. Слушайте,— сказал он мне,— я спущусь с вещами по черной лестнице и пройду прямо к лодке. Вы идите спокойно, как будто собрались на прогулку.

— Чудесная ночь для прогулки,— сказала Кэтрин.

— Ночь скверная, что и говорить.

— Как хорошо, что у меня есть зонтик,— сказала Кэтрин.

Мы прошли по коридору и по широкой, устланной толстым ковром лестнице. Внизу, у дверей, сидел за своей канторкой портье.

Он очень удивился, увидя нас.

— Вы хотите выйти, сэр? — спросил он.

— Да,— сказал я.— Мы хотим посмотреть озеро в бурю.

— У вас нет зонта, сэр?

— Нет,— сказал я.— У меня непромокаемое пальто.

Он с сомнением оглядел меня.

— Я вам дам зонт, сэр,— сказал он. Он вышел и возвратился с большим зонтом.— Немножко великоват, сэр,— сказал он. Я дал ему десять лир.— О, вы слишком добры, сэр. Очень вам благодарен,— сказал он.

Он раскрыл перед нами двери и мы вышли под дождь. Он улыбнулся Кэтрин, и она улыбнулась ему.

— Не оставайтесь долго снаружи в бурю,— сказал он.— Вы промокнете, сэр и леди.— Он был всего лишь младший портье, и его английский язык еще грешил буквализмами.

— Мы скоро вернемся,— сказал я.

Мы пошли под огромным зонтом по дорожке, и дальше мокрым темным садом к шоссе, и через шоссе к обсаженной кустарником береговой аллее. Ветер дул теперь с берега. Это был сырой, холодный ноябрьский ветер, и я знал, что в горах идет снег. Мы прошли по набережной вдоль прикованных в нишах лодок к тому месту, где стояла лодка бармена. Вода была темнее камня. Бармен вышел из-за деревьев.

— Чемоданы в лодке,— сказал он.

— Я хочу заплатить вам за лодку,— сказал я.

— Сколько у вас есть денег?

— Не очень много.

— Вы мне потом пришлете деньги. Так будет лучше.

— Сколько?

— Сколько захотите.

— Скажите мне, сколько?

— Если вы доберетесь благополучно, пришлите мне пятьсот франков. Это вас не стеснит, если вы доберетесь.

— Хорошо.

— Вот здесь сандвичи.— Он протянул мне сверток.— Все, что нашлось в баре. А здесь бутылка коньяку и бутылка вина.

Я положил все в свой чемодан.

— Позвольте мне заплатить за это.

— Хорошо, дайте мне пятьдесят лир.

Я дал ему.

— Коньяк хороший,— сказал он.— Можете смело давать его вашей леди. Пусть она садится в лодку.

Он придержал лодку, которая то поднималась, то опускалась у каменной стены, и я помог Кэтрин спуститься. Она села на корме и завернулась в плащ.

— Вы знаете, куда ехать?

— Все время к северу.

— А как ехать?

— На Луипо.

— На Луино, Коннеро, Каннобио, Транцано. В Швейцарии вы будете, только когда доедете до Бриссаго. Вам нужно миновать Монте-Тамара.

— Какой теперь час? — спросила Кэтрин.

— Еще только одиннадцать,— сказал я.

— Если вы будете грести не переставая, к семи часам утра вы должны быть на месте.

— Это так далеко?

— Тридцать пять километров.

— Как бы не сбиться. В такой дождь нужен компас.

— Нет. Держите на Изола-Белла. Потом, когда обогнете Изола-Мадре, идите по ветру. Ветер приведет вас в Палланцу. Вы увидите огни. Потом идите вдоль берега.

— Ветер может перемениться.

— Нет,— сказал он.— Этот ветер будет дуть три дня. Он дует прямо с Маттароне. Вон там жестянка, чтоб вычерпывать воду.

— Позвольте мне хоть что-нибудь заплатить вам за лодку сейчас.

— Нет, я хочу рискнуть. Если вы доберетесь, то заплатите мне все сполна.

— Пусть так.

— Думаю, что вы не утонете.

— Вот и хорошо.

— Держите прямо по ветру.

- Ладно. — Я прыгнул в лодку.
- Вы оставили деньги за номер?
- Да. В конверте на столе.
- Отлично. Всего хорошего.
- Всего хорошего. Большое вам спасибо.
- Не за что будет, если вы утонете.
- Что он говорит? — спросила Кэтрин.
- Он желает нам всего хорошего.
- Всего хорошего, — сказала Кэтрин. — Большое, большое вам спасибо.
- Вы готовы?
- Да.

Он наклонился и оттолкнул нас. Я погрузил весла в воду, потом помахал ему рукой. В ответ он сделал предостерегающий знак. Я увидел огни отеля и стал грести, стараясь держать прямо, пока они не скрылись из виду. Кругом бушевало настоящее море, но мы шли по ветру.

Глава тридцать седьмая

Я грел в темноте, держась так, чтоб ветер все время дул мне в лицо. Дождь перестал и только изредка порывами налетал снова. Я видел Кэтрин на корме, но не видел воду, когда погружал в нее лопасти весел. Весла были длинные и не имели ремешков, удерживающих весло в уключине. Я погружал весла в воду, проводил их вперед, вынимал, заносил, снова погружал, стараясь грести как можно легче. Я не разворачивал их плашмя при запосе, потому что ветер был попутный. Я знал, что натру себе волдыри, и хотел, чтоб это случилось как можно позднее. Лодка была легкая и хорошо слушалась весел. Я вел ее вперед по темной воде. Ничего не было видно, но я надеялся, что мы скоро доберемся до Палланцы.

Мы так и не увидели Палланцы. Ветер дул с юга, и в темноте мы проехали мыс, за которым лежит Палланца, и не увидели ее огней. Когда наконец показались какие-то огни, гораздо дальше и почти на самом берегу, это была уже Интра. Но долгое время мы вообще не видели никаких огней, не видели и берега и только упорно подвигались в темноте вперед, скользя на волнах. Иногда волна поднимала лодку, и в темноте я махал веслами по воздуху. Озеро было еще беспокойное, но я продолжал грести, пока

нас вдруг чуть не прибило к скалистому выступу берега, торчавшему над водой; волны ударялись о него, высоко взлетали и падали вниз. Я сильно налег на правое весло, в то же время табаня левым, и мы отошли от берега; скала скрылась из виду, и мы снова плыли по озеру.

— Мы уже на другой стороне,— сказал я Кэтрин.

— А ведь мы должны были увидеть Палланцу?

— Она осталась за мысом.

— Ну, как ты, милый?

— Ничего!

— Я могу тебя немного сменить.

— Зачем? Не нужно.

— Бедная Фергюсон! — сказала Кэтрин. — Придет утром в отель, а нас уже нет.

— Это меня меньше беспокоит,— сказал я. — А вот как бы нам добраться до швейцарского побережья, пока темно, чтобы нас не увидела таможенная стража.

— А далеко еще?

— Километров тридцать.

Я греб всю ночь. Мои ладони были до того стерты, что я с трудом сжимал в руках весла. Несколько раз мы едва не разбились о берег. Я держался довольно близко к берегу, боясь сбиться с пути и потерять время. Иногда мы подходили так близко, что видели дорогу, идущую вдоль берега, и ряды деревьев вдоль дороги, и горы позади. Дождь перестал, и когда ветер разогнал тучи, вышла луна, и, оглянувшись, я увидел длинный темный мыс Кастаньола, и озеро с белыми барашками, и далекие снежные вершины под луной. Потом небо опять заволочло тучами, и озеро и горные вершины исчезли, но было уже гораздо светлее, чем раньше, и виден был берег. Он был виден даже слипком ясно, и я отвел лодку подальше, чтобы ее не могла заметить с Палланцанской дороги таможенная стража, если она там была. Когда опять показалась луна, мы увидели белые виллы на берегу, по склонам гор, и белую дорогу в просветах между деревьями. Я греб не переставая.

Озеро стало шире, и на другом берегу у подножья горы мы увидели огни; это должно было быть Луино. Я увидел клинообразную расщелину между горами на другом берегу и решил, что, вероятно, это и есть Луино. Если так, то мы шли хорошим темпом. Я втащил весла в лодку и лег

па спину. Я очень, очень устал грести. Руки, плечи, спина у меня болели, и ладони были стерты.

— А что, если раскрыть зонтик? — сказала Кэтрин, — Бстер будет дуть в него и гнать лодку.

— Ты сумеешь править?

— Наверно.

— Возьми это весло под мышку, прижми его вплотную к борту и так правь, а я буду держать зонтик.

Я перешел на корму и показал ей, как держать весло. Я сел лицом к носу лодки, взял большой зонт, который дал мне портье, и раскрыл его. Он хлопнул, раскрываясь. Я держал его с двух сторон за края, сидя верхом на ручке, которую зацепил за скамью. Ветер дул прямо в него, и, вцепившись изо всех сил в края, я почувствовал, как лодку понесло вперед. Зонт вырывался у меня из рук. Лодка шла очень быстро.

— Мы прямо летим, — сказала Кэтрин. Я не видел ничего, кроме спиц зонта. Зонт тянул и вырывался, и я чувствовал, как мы вместе с ним несемся вперед. Я уперся ногами и еще крепче вцепился в края, потом вдруг что-то затрепало; одна спица щелкнула меня по лбу, я хотел схватить верхушку, которая прогибалась на ветру, но тут все с треском вывернулось наизнанку, и там, где только что был полный, надутый ветром парус, я сидел теперь верхом на ручке вывернутого изодранного зонта. Я отцепил ручку от скамейки, положил зонт на дно и пошел к Кэтрин за веслом. Она хохотала. Она взяла меня за руку и продолжала хохотать.

— Чего ты? — Я взял у нее весло.

— Ты такой смешной был с этой штукой.

— Не удивительно.

— Не сердись, милый. Это было ужасно смешно. Ты казался футов двадцати в ширину и так горячо сжимал края зонтика... — Она захохнулась от смеха.

— Сейчас возьмусь за весла.

— Отдохни и выпей коньяку. Такая замечательная почь, и мы столько уже проехали.

— Нужно поставить лодку поперек волны.

— Я достану бутылку. А потом ты немного отдохни.

Я поднял весла, и мы закачались на волнах. Кэтрин открыла чемодан. Она передала мне бутылку с коньяком. Я вытащил пробку перочинным ножом и отпил порядочный глоток. Коньяк был крепкий, и тепло разлилось по всему моему телу, и я согрелся и повеселел.

— Хороший коньяк,— сказал я. Луна опять зашла за тучу, но берег был виден. Впереди была стрелка, далеко выдававшаяся в озеро.

— Тебе не холодно, Кэт?

— Мне очень хорошо. Только ноги немножко затекли.

— Вычерпай воду со дна, тогда сможешь протянуть их.

Я снова стал грести, прислушиваясь к скрипу уключин и скрежету черпака о дно лодки под кормовой скамьей.

— Дай мне, пожалуйста, черпак,— сказал я.— Мне хочется пить.

— Он очень грязный.

— Ничего. Я его ополосну.

Я услышал, как Кэтрин ополаскивает черпак за бортом лодки. Потом она протянула его мне до краев полным воды. Меня мучила жажда после коньяка, а вода была холодная, как лед, такая холодная, что зубы заломило. Я посмотрел на берег. Мы приближались к стрелке. В бухте впереди видны были огни.

— Спасибо,— сказал я и передал ей черпак.

— Сделайте одолжение,— сказала Кэтрин.— Не угодно ли еще?

— Ты бы съела что-нибудь.

— Нет. Я пока еще не голодна. Надо приберечь еду на то время, когда я проголодаюсь.

— Ладно.

То, что издали казалось стрелкой, был длинный скалистый мыс. Я отъехал на середину озера, чтобы обогнуть его. Озеро здесь было гораздо уже. Луна опять вышла, и если *guardia di Finanza*¹ паблюдала с берега, она могла видеть, как наша лодка чернеет на воде.

— Как ты там, Кэт?

— Очень хорошо. Где мы?

— Я думаю, нам осталось не больше восьми миль.

— Бедныйкий ты мой! Ведь это сколько еще грести.

Ты еще жив?

— Вполне. Я ничего. Только вот ладони натер.

Мы ехали все время к северу. Горная цепь на правом берегу прервалась, отлогий спуск вел к низкому берегу, где, по моим расчетам, должно было находиться Каннобио. Я держался на большом расстоянии от берега, потому что в этих местах опасность встретить *guardia* была особенно велика. На другом берегу впереди была высокая куполо-

¹ Таможенная стража (ит.).

образная гора. Я устал. Грести оставалось немного, но когда уже выбьешься из сил, то и такое расстояние велико. Я знал, что нужно миновать эту гору и сделать еще по меньшей мере пять миль по озеру, прежде чем мы попадем наконец в швейцарские воды. Луна уже заходила, но перед тем, как она зашла, небо опять заволокло тучами, и стало очень темно. Я держался подальше от берега и время от времени отдыхал, подняв весла так, чтобы ветер ударял в лопасти.

— Дай я погрёбу немножко, — сказала Кэтрин.

— Тебе, пожалуй, нельзя.

— Глупости. Это мне даже полезно. Не будут так затекать ноги.

— Тебе, наверно, нельзя, Кэт.

— Глупости. Умеренные занятия греблей весьма полезны для молодых дам в период беременности.

— Ну, ладно, садись и гребь умеренно. Я перейду на твое место, а потом ты иди на мое. Держись за борта, когда будешь переходить.

Я сидел на корме в пальто, подняв воротник, и смотрел, как Кэтрин гребет. Она гребла хорошо, но весла были слишком длинные и неудобные для нее. Я открыл чемодан и съел два сандвича и выпил коньяку. От этого все стало гораздо лучше, и я выпил еще.

— Скажи мне, когда устанешь, — сказал я. Потом, спустя немного: — Смотри не ткни себя веслом в живот.

— Если б это случилось, — сказала Кэтрин между взмахами, — жизнь стала бы много проще.

Я выпил еще коньяку.

— Ну как?

— Хорошо.

— Скажи мне, когда надоест.

— Хорошо.

Я выпил еще коньяку, потом взялся за борта и пошел к середине лодки.

— Не надо. Мне так очень хорошо.

— Нет, иди на корму. Я отлично отдохнул.

Некоторое время после коньяка я греб уверенно и легко. Потом у меня начали зарываться весла, и вскоре я опять перешел на короткие взмахи, чувствуя тонкий смутный привкус желчи во рту, оттого что я слишком сильно греб после коньяка.

— Дай мне, пожалуйста, глоток воды, — сказал я.

— Хоть целое ведро.

Перед рассветом начало моросить. Ветер улегся, а может быть, нас теперь защищали горы, обступившие изгиб озера. Когда я понял, что приближается рассвет, я усеялся поудобнее и налег на весла. Я не знал, где мы, и хотел скорей попасть в швейцарскую часть озера. Когда стало оветать, мы были совсем близко от берега. Видны были деревья и каменистый спуск к воде.

— Что это? — сказала Кэтрин. Я поднял весла и прислушался. На озере стучал лодочный мотор. Мы подъехали к самому берегу и остановились. Стук приблизился; потом недалеко от нашей кормы мы увидели под дождем моторную лодку. На корме сидели четыре guardia di Finanza в надвинутых шляпах альпийских стрелков, с поднятыми воротниками и с карабинами за спиной; все четверо казались сонными в этот ранний час. Мне видны были желтые знаки у них на воротниках и что-то желтое на шляпах. Стуча мотором, лодка проехала дальше и скрылась из виду под дождем.

Я отъехал к середине озера. Очевидно, граница была совсем близко, и я вовсе не хотел, чтоб нас окликнул с дороги часовой. Я выровнялся там, откуда берег был только виден, и еще три четверти часа греб под дождем. Один раз мы опять услышали моторную лодку, и я переждал, пока стук затих у другого берега.

— Кажется, мы уже в Швейцарии, Кэт, — сказал я.

— Правда?

— Точно нельзя сказать, пока мы не увидим швейцарскую армию.

— Или швейцарский флот.

— Ты не шути швейцарским флотом. Та моторная лодка, которую мы только что слышали, и была, наверно, швейцарский флот.

— Ну, если мы в Швейцарии, так, по крайней мере, поавтракаем на славу. В Швейцарии такие чудесные булочки, и масло, и варенье.

Было уже совсем светло, и шел мелкий дождь. Ветер все еще дул с юга, и видны были белые гребни барашков, уходившие от нас по озеру. Я уже не сомневался, что мы в Швейцарии. За деревьями в стороне от берега виднелись домики, а немного дальше на берегу было селение с каменными домами, несколькими виллами на холмах и пер-

ковью. Я смотрел, нет ли стражи на дороге, которая тянулась вдоль берега, но никого не было видно. Потом дорога подошла совсем близко к озеру, и я увидел солдата, выходявшего из кафе у дороги. На нем была серо-зеленая форма и каска, похожая на немецкую. У него было здоровое, краснощекое лицо и маленькие усики щеточкой. Он посмотрел на нас.

— Помаши ему рукой,— сказал я Кэтрин. Она помахала, и солдат нерешительно улыбнулся и тоже помахал в ответ. Я стал грести медленнее. Мы проезжали мимо самого селения.

— Вероятно, мы уже давно в Швейцарии,— сказал я.

— Нужно знать наверняка, милый. Недостает еще, чтобы нас на границе вернули обратно.

— Граница далеко позади. Это, вероятно, таможенный пункт. Я почти убежден, что это Бриссаго.

— А нет ли здесь итальянцев? На таможенных пунктах всегда много народу из соседней страны.

— Не в военное время. Не думаю, чтоб сейчас итальянцам разрешали переходить границу.

Городок был очень хорошенький. У пристани стояло много рыбацких лодок, и на рогатках развешаны были сети. Шел мелкий ноябрьский дождь, но здесь даже в дождь было весело и чисто.

— Тогда давай причалим и пойдем завтракать.

— Давай.

Я приналег на левое весло и подошел к берегу, потом, у самой пристани, выровнялся и причалил боком. Я втащил весла, ухватился за железное кольцо, поставил ногу на мокрый камень и вступил в Швейцарию. Я привязал лодку и протянул руку Кэтрин.

— Выходи, Кэт. Замечательное чувство.

— А чемоданы?

— Оставим в лодке.

Кэтрин вышла, и мы вместе вступили в Швейцарию.

— Какая прекрасная страна,— сказала она.

— Правда, замечательная?

— Пойдем скорей завтракать.

— Нет, правда замечательная страна? По ней как-то приятно ступать.

— У меня так затекли ноги, что я ничего не чувствую. Но, наверно, приятно. Милый, ты понимаешь, что мы уже здесь, что мы выбрались из этой проклятой Италии.

— Да. Честное слово, да. Я еще никогда так хорошо ничего не понимал.

— Посмотри на эти дома. А какая чудная площадь! Вон там можно и позавтракать.

— А какой чудный дождь! В Италии никогда не бывает такого дождя. Это веселый дождь.

— И мы с тобой уже здесь, милый. Нет, ты понимаешь, что мы с тобой уже здесь?

Мы вошли в кафе и сели за чистенький деревянный столик. Мы были как пьяные. Вышла чудесная чистенькая женщина в переднике и спросила, что нам подать.

— Булочки, и варенье, и кофе,— сказала Кэтрин.

— Извините, булочек теперь нет — время военное,

— Тогда хлеба.

— Может быть, сделать гренки?

— Сделайте.

— И еще яичницу.

— Из скольких яиц угодно господину?

— Из трех.

— Лучше из четырех, милый.

— Из четырех яиц.

Женщина ушла. Я поцеловал Кэтрин и очень крепко сжал ей руку. Мы смотрели друг на друга и по сторонам.

— Милый, ну скажи, разве не чудесно?

— Замечательно,— сказал я.

— Это ничего, что нет булочек,— сказала Кэтрин.— Я думала о них всю ночь. Но это ничего. Это совсем даже ничего.

— Вероятно, нас очень скоро арестуют.

— Не думай об этом, милый. Мы раньше позавтракаем. Быть арестованными после завтрака не так уж страшно. И потом, что они могут нам сделать? Я британская подданная, а ты американский, и у нас все в полном порядке.

— У тебя есть паспорт?

— Конечно. Ах, не будем говорить об этом. Давай радоваться.

— Я и так радуюсь изо всех сил,— сказал я. Толстая серая кошка, распушив хвост султаном, прошла по комнате к нашему столу и, изогнувшись вокруг моей ноги, стала об нее тереться с довольным урчанием. Я наклонился и погладил кошку. Кэтрин радостно улыбнулась мне.— А вот и кофе,— сказала она.

Нас арестовали после завтрака. Мы погуляли немного по городку и потом спустились к пристани за своими чемоданами. У лодки стоял на страже солдат.

— Это ваша лодка?

— Да.

— Откуда вы приехали?

— С той стороны озера.

— Вам придется пойти со мной.

— А чемоданы?

— Можете взять.

Я взял чемоданы, и Кэтрин пошла рядом со мной, а солдат позади нас, к старому дому, где была таможня. В таможне очень худой и воинственный с виду лейтенант стал нас допрашивать.

— Ваша национальность?

— Американец и англичанка.

— Предъявите ваши паспорта.

Я дал свой, и Кэтрин достала свой из сумочки. Он долго рассматривал их.

— Почему вы приехали в Швейцарию так, на лодке?

— Я спортсмен,— сказал я.— Гребля — мой любимый спорт. Я гребу всегда, как только представится случай.

— Зачем вы приехали сюда?

— Заниматься зимним спортом. Мы туристы, и нас интересует зимний спорт.

— Здесь не место для зимнего спорта.

— Мы знаем. Мы хотим ехать дальше, туда, где можно заниматься зимним спортом.

— Что вы делали в Италии?

— Я изучал архитектуру. Моя кузина изучала искусство.

— Почему вы уехали оттуда?

— Мы хотим заниматься зимним спортом. В военное время трудно изучать архитектуру.

— Посидите, пожалуйста, здесь,— сказал лейтенант. Он взял наши паспорта и вышел во внутреннюю дверь.

— Милый, ты неподражаем,— сказала Кэтрин,— на том и стой. Ты хочешь заниматься зимним спортом.

— Ты что-нибудь понимаешь в искусстве?

— Рубенс,— сказала Кэтрин.

— Много мяса,— сказал я.

— Тициан,— сказала Кэтрин.

— Тициановские волосы,— сказал я.— Ну, а Мантенья?

— Ты трудных не спрашивай,— сказала Кэтрин.— Но я все-таки знаю: очень страшный.

— Очень,— сказал я.— Масса дырок от гвоздей.

— Видишь, какая чудная у тебя будет жена,— сказала Кэтрин.— Я смогу беседовать об искусстве с твоими заказчиками.

— Вот он идет,— сказал я.

Худой лейтенант появился из глубины таможенного здания с нашими паспортами в руке.

— Мне придется отправить вас в Локарно,— сказал он.— Вы можете нанять экипаж, с вами вместе сядет солдат.

— Что ж, пожалуйста,— сказал я.— А как быть с лодкой?

— Лодка конфискована. Что у вас в этих чемоданах?

Он осмотрел содержимое обоих чемоданов и вынул бутылку с коньяком.

— Может быть, составите мне компанию? — спросил я.

— Нет, благодарю вас.— Он выпрямился.— Сколько у вас денег?

— Две с половиной тысячи лир.

— А у вашей кузины?

У Кэтрин было тысяча с лишним. Лейтенант остался доволен. Его обращение с нами стало менее высокомерным.

— Если вас интересует зимний спорт,— сказал он,— самое лучшее для этого место — Венген. У моего отца в Венгене очень хороший отель. Открыт круглый год.

— Очень приятно,— сказал я.— Нельзя ли получить у вас адрес?

— Я вам напишу на карточке.— Он очень вежливо подал мне карточку.— Солдат вас проводит до Локарно. Ваши паспорта будут у него. Очень сожалел, но это необходимо. Я не сомневаюсь, что в Локарно вы получите визу или разрешение от полиции.

Он передал оба паспорта солдату, и, взяв чемоданы, мы направились к селению, чтобы там нанять экипаж.

— Эй! — окликнул лейтенант солдата. Он сказал ему что-то на диалекте. Солдат перекинул винтовку через плечо и подхватил наши чемоданы.

— Прекрасная страна,— сказал я Кэтрин.

— Практичная, во всяком случае.

— Очень вам благодарен,— сказал я лейтенанту. Он помахал нам рукой.

— К вашим услугам,— сказал он. Мы пошли за своим стражем наверх.

Мы поехали в Локарно в экипаже, с солдатом на переднем сиденье возле кучера. В Локарно все сошло неплохо. Нас допросили, но очень вежливо, потому что у нас были паспорта и деньги. Едва ли они поверили хоть одному моему слову, и я думал о том, как все это глупо, но это было все равно как в суде. Никаких разумных доводов не требовалось, требовалась только формальная отговорка, за которую можно было бы держаться без всяких объяснений. Мы имели паспорта и хотели тратить деньги. Поэтому нам дали временные визы. Эти визы в любой момент могли аннулировать. Мы должны были являться в полицию всюду, куда ни приедем.

Можем ли мы ехать, куда хотим? Да. А куда мы хотим ехать?

— Куда ты хочешь ехать, Кэт?

— В Мontre.

— Очень хороший город,— сказал чиповник.— Я думаю, что вам понравится этот город.

— Локарно тоже очень хороший город,— сказал другой чиповник.— Я уверен, что вам очень понравится Локарно. Это очень красивый город.

— Нам нравится там, где можно заниматься зимним спортом.

— В Мontre не занимаются зимним спортом.

— Прошу прощения,— сказал первый чиновник.— Я сам из Мontre. На Мontre-Оберланд-Бернской железной дороге, безусловно, есть условия для зимнего спорта. С вашей стороны нечестно было бы отрицать это.

— Я и не отрицаю. Я просто говорю, что в Мontre не занимаются зимним спортом.

— Я оспариваю это,— сказал первый чиновник.— Я оспариваю это утверждение.

— Я настаиваю на этом утверждении.

— Я оспариваю это утверждение. Я сам катался на luge¹ по улицам Мontre. Я совершал это неоднократно. Luge, безусловно, один из видов зимнего спорта.

Второй чиновник обернулся ко мне.

— Вы имели в виду luge, говоря о зимнем спорте, сэр? Уверяю вас, в Локарно вам будет чрезвычайно удобно. Вы

¹ Небольшие швейцарские санки (фр.).

пайдете здесь здоровый климат, вы найдете здесь красивые окрестности. Вам здесь очень понравится.

— Господин сам выразил желание ехать в Монтре.

— А что такое luge? — спросил я.

— Вы видите, он даже никогда не слышал о luge.

Это очень понравилось второму чиновнику. Он торжествовал.

— Luge, — сказал первый чиновник, — это то же, что тобогган.

— Должен возразить, — покачал головой второй чиновник. — Здесь я опять должен возразить. Тобогган очень отличается от luge. Тобогган делается в Канаде из плоских планок. Luge — это обыкновенные салазки на полозьях. Точность прежде всего.

— А нельзя ли нам кататься на тобоггане? — спросил я.

— Конечно, можно и на тобоггане, — сказал первый чиновник. — Вполне можно кататься на тобоггане. В Монтре продаются отличные канадские тобогганы. Братья Окс торгуют тобогганами. Они сами импортируют тобогганы.

Второй чиновник отвернулся.

— Для катания на тобоггане, — сказал он, — требуется специальная piste¹. Нельзя кататься на тобоггане по улицам Монтре. Где вы остановились?

— Мы еще сами не знаем, — сказал я. — Мы только что приехали из Бриссаго. Экипаж ждет на улице.

— Вы не пожалейте о том, что едете в Монтре, — сказал первый чиновник. — Вы найдете там прекрасный мягкий климат. Вам не пужно будет далеко ходить, если вы захотите заниматься зимним спортом.

— Если вас действительно интересует зимний спорт, — сказал второй чиновник, — поезжайте в Энгадин или Мюррен. Я вынужден протестовать против данного нам совета ехать в Монтре для зимнего спорта.

— В Лез-Аван над Монтре превосходные условия для любого зимнего спорта. — Патриот Монтре яростно взглянул на своего коллегу.

— Господа, — сказал я. — К сожалению, мы должны ехать. Моя кузина очень устала. Мы рискуем отправиться в Монтре.

— Приветствую ваше решение. — Первый чиновник пожал мне руку.

¹ Дорожка (фр.).

— Полагаю, что вы будете сожалеть об отъезде из Локкарно,— сказал второй чиновник.— Во всяком случае, в Монтре вам придется явиться в полицию.

— Никаких недоразумений с полицией у вас не будет,— уверил меня первый чиновник.— Со стороны населения вы встретите исключительное радушие и дружелюбие.

— Большое спасибо вам обоим,— сказал я.— Ваши советы для нас очень ценны.

— До свидания,— сказала Кэтрин.

— Большое спасибо вам обоим.

Они проводили нас поклонами до дверей, патриот Локкарно с некоторой холодностью. Мы спустились по лестнице и сели в экипаж.

— О, господи, милый! — сказала Кэтрин.— Неужели нельзя было выбраться оттуда раньше?

И дал кучеру адрес отеля, рекомендованного нам одним из чиновников. Кучер подобрал вожжи.

— Ты забыл про армию,— сказала Кэтрин. Солдат стоял у экипажа. Я дал ему десять лир.

— У меня еще нет швейцарских денег,— сказал я. Он поблагодарил, взял под козырек и ушел. Экипаж тронулся, и мы поехали в отель.

— Что это тебе вздумалось сказать про Монтре? — спросил я Кэтрин.— Ты действительно хочешь туда ехать?

— Это было первое, что мне пришло в голову,— сказала она.— Там неплохо. Мы можем поселиться где-нибудь наверху, в горах.

— Тебе хочется спать?

— Я уже засыпаю.

— Мы хорошо выспимся. Бедная ты моя Кэт! Досталось тебе этой ночью.

— Мне было очень весело,— сказала Кэтрин.— Особенно когда ты сидел с зонтиком.

— Ты понимаешь, что мы в Швейцарии?

— Нет, мне все кажется: вот я проснусь, и это все неправда.

— И мне тоже.

— Но ведь это правда, милый? Это ведь не на Миланский вокзал я еду провожать тебя?

— Надеюсь, что нет.

— Не говори так. Я боюсь. Вдруг это в самом деле так.

— Я точно пьяный и ничего не соображаю,— сказал я.

— Покажи свои руки.

Я протянул ей обе руки. Они были стерты до живого мяса.

— Только в боку раны нет,— сказал я.

— Не богохульствуй.

Я очень устал, и у меня кружилась голова. Все мое оживление пропало. Экипаж катился по улице.

— Бедные руки! — сказала Кэтрин.

— Не тронь их,— сказал я.— Что за черт, я не пойму, где мы. Куда мы едем, кучер?

Кучер остановил лошаадь.

— В отель «Метрополь». Разве вы не туда хотели?

— Да, да,— сказал я.— Все в порядке, Кэт.

— Все в порядке, милый. Не волнуйся. Мы хорошо выспимся, и завтра ты уже не будешь точно пьяный.

— Я совсем пьяный,— сказал я.— Весь этот день похож на оперетту. Может быть, я голоден.

— Ты просто устал, милый. Это все пройдет.

Экипаж остановился у отеля. Мальчик вышел взять наши чемоданы.

— Уже проходит,— сказал я. Мы были на мостовой и шли к отелю.

— Я знала, что пройдет. Ты просто устал. Тебе нужно выспаться.

— Во всяком случае, мы в Швейцарии.

Да, мы действительно в Швейцарии.

Вслед за мальчиком с чемоданами мы вошли в отель.

Глава тридцать восьмая

В ту осень снег выпал очень поздно. Мы жили в деревянном домике среди сосен на склоне горы, и по ночам бывали заморозки, так что вода в двух кувшинах на умывальнике покрывалась к утру тонкой корочкой льда. Madame Гуттинген рано утром входила в комнату, чтобы закрыть окна, и разводила огонь в высокой изразцовой печке. Сосновые дрова трещали и разгорались, и огонь в печке начинал гудеть, и madame Гуттинген во второй раз входила в комнату, неся толстые поленья для печки и кувшин с горячей водой. Когда комната нагревалась, она припосила завтрак. Завтракая в постели, мы видели озеро и горы по ту сторону озера, на французском берегу. На вершинах гор лежал снег, и озеро было серое со стальной синевой.

Снаружи, перед самым домом, проходила дорога. От мороза колеи и борозды были твердые, как камень, и дорога упорно лезла вверх через рощу и потом, опоясав гору, выбиралась туда, где были луга, и сараи, и хижинны в лугах на опушке леса, над самой долиной. Долина была глубокая, и на дне ее протекала речка, впадавшая в озеро, и когда ветер дул из долины, слышно было, как речка шумит по камням.

Иногда мы сворачивали с дороги и шли тропинкой через сосновую рощу. В роще земля под ногами была мягкая: она не отвердела от мороза, как на дороге. Но нам не мешало то, что земля на дороге твердая, потому что подошвы и каблуки у нас были подбиты гвоздями, и гвозди вонзались в мерзлую землю, и в подбитых гвоздями башмаках идти по дороге было приятно и как-то бодрило. Но идти рощей было тоже очень хорошо.

От дома, в котором мы жили, начинался крутой спуск к небольшой равнине у озера, и в солнечные дни мы сидели на веранде, и нам было видно, как вьется дорога по горному склону, и виден был склон другой горы и расположенные террасами виноградники, где все лозы уже высохли по-зимнему, и поля, разделенные каменными оградами, и пониже виноградников городские дома на узкой равнине у берега озера. На озере был островок с двумя деревьями, и деревья были похожи на двойной парус рыбацкой лодки. Горы по ту сторону озера были крутые и остроконечные, и у южного края озера длинной впадиной между двумя горными кряжами лежала долина Роны, а в дальнем конце, там, где долину срезали горы, был Дан-дю-Миди. Это была высокая снежная гора, и она господствовала над долиной, но она была так далеко, что не отбрасывала тени.

Когда было солнечно, мы завтракали на веранде, но остальное время мы ели наверху, в маленькой комнатке с дощатыми стенами и большой печкой в углу. Мы купили в городе журналов и книг и выучились многим карточным играм для двоих. Маленькая комната с печкой была нашей гостиной и столовой. Там было два удобных кресла и столик для журналов и книг, а в карты мы играли на обеденном столе, после того как уберут посуду. Monsieur и madame Гуттинген жили внизу, и вечерами мы иногда слышали, как они разговаривают, и они тоже были очень счастливы вдвоем. Он когда-то был обер-кельнером, а она работала горничной в том же отеле, и они скопили деньги на покупку этого дома. У них был сын, который готовился стать обер-кельнером. Он служил в отеле в Цюрихе. Внизу было помещение, где торговали вином и пивом, и по вечерам мы иногда слышали, как на дороге останавливались повозки и мужчины поднимались по ступенькам в дом пропустить стаканчик.

В коридоре перед нашей комнатой стоял ящик с дровами, и оттуда я брал поленья, чтоб подбрасывать в печку. Но мы не засиживались поздно. Мы ложились спать в нашей большой спальне, не зажигая огня, и, раздевшись, я открывал окна, и смотрел в ночь, и на холодные звезды, и на сосны под окнами, и потом как можно быстрее ложился в постель. Хорошо в постели, когда воздух такой холодный и чистый, а за окном ночь. Мы спали крепко, и если ночью я просыпался, то знал отчего, и тогда я отодвигал пуховик, очень осторожно, чтобы не разбудить Кэт-

рин, и опять засыпал, с новым чувством легкости от тонкого одеяла. Война казалась далекой, как футбольный матч в чужом колледже. Но из газет я знал, что бои в горах все еще идут, потому что до сих пор не выпал снег.

Иногда мы спускались по склону горы в Монтре. От самого дома вела вниз тропинка, но она была очень крутая, и обычно мы предпочитали спускаться по дороге и шли широкой, отверделой от мороза дорогой между полями, а потом между каменными оградами виноградников и еще ниже между домиками лежащих у дороги деревень. Деревень было три: Шернэ, Фонтаниван и еще одна, забыл какая. Потом все той же дорогой мы проходили мимо старого, крепко сбитого каменного *château* на выступе горы, среди расположенных террасами виноградников, где каждая лоза была подвязана к тычку, и все лозы были сухие и бурые, и земля ожидала снега, а внизу, в глубине, лежало озеро, гладкое и серое, как сталь. От *château* дорога шла вниз довольно отлого, а потом сворачивала направо, и дальше был вымощенный булыжником очень крутой спуск прямо к Монтре.

У нас не было никого знакомых в Монтре. Мы шли по берегу озера и видели лебедей, и бесчисленных чаек, и буревестников, которые взлетали, как только подойдешь поближе, и жалобно кричали, глядя вниз, на воду. Поодаль от берега плыли стаи гагар, маленьких и темных, оставляя за собой след на воде. Придя в город, мы пошли по главной улице и рассматривали витрины магазинов. Там было много больших отелей, теперь закрытых, но магазины почти все были открыты, и нам везде были очень рады. Была очень хорошая парикмахерская, и Кэтрин зашла туда причесаться. Хозяйка парикмахерской встретила ее очень приветливо, это была наша единственная знакомая в Монтре. Пока Кэтрин причесывалась, я сидел в пивном погребе и пил темное мюнхенское пиво и читал газеты. Я читал «Корьере делла сера» и английские и американские газеты из Парижа. Все объявления были замаскированы типографской краской, вероятно, чтобы нельзя было использовать их для сношений с неприятелем. Это было невеселое чтение. Дела везде обстояли невесело. Я сидел в уголке с большой кружкой темного пива и вскрытым бумажным пакетом *pretzels*¹ и ел *pretzels*, потому что мне нравился их солоноватый привкус и то, каким вкусным от

¹ Род печенья (нем.).

них становилось пиво, и читал о разгроме. Я думал, что Кэтрин зайдет за мной, но она не заходила, и я положил газеты на место, заплатил за пиво и пошел искать ее. День был холодный, и сумрачный, и зимний, и камень стен казался холодным. Кэтрин все еще была в парикмахерской. Хозяйка завивала ей волосы. Я сидел в кабинетике и смотрел. Это меня волновало, и Кэтрин улыбалась и разговаривала со мной, и голос у меня был немного хриплый от волнения. Щипцы приятно позвякивали, и я видел волосы Кэтрин в трех зеркалах, и в кабинетике было тепло и приятно. Потом хозяйка уложила Кэтрин волосы, и Кэтрин посмотрела в зеркало и немножко изменила прическу, вынимая и вкалывая шпильки; потом встала.

— Мне прямо совестно, что я так долго.

— Monsieur было очень интересно. Разве нет, monsieur? — улыбнулась хозяйка.

— Да,— сказал я.

Мы вышли и пошли по улице. Было холодно и сумрачно, и дул ветер.

— Ты даже не знаешь, как я тебя люблю,— сказал я.

— Ведь правда, нам теперь очень хорошо? — сказала Кэтрин.— Знаешь что? Давай зайдем куда-нибудь и вместо чая выпьем пива. Для маленькой Кэтрин пиво очень полезно. Оно не даст ей слишком сильно расти.

— Маленькая Кэтрин,— сказал я.— Вот лентяйка!

— Она умница,— сказала Кэтрин.— Она себя очень хорошо ведет. Доктор говорит, что мне полезно пиво и что оно ей не даст слишком сильно расти.

— Ты правда не давай ей расти, и если она будет мальчик, он сможет стать жокеем.

— Пожалуй, если уж родится ребенок, надо будет нам в самом деле пожениться,— сказала Кэтрин. Мы сидели в пивной за столиком в углу. На улице уже темнело. Было рано, но день был сумрачный, и вечер рано наступил.

— Давай поженимся теперь,— сказал я.

— Нет,— сказала Кэтрин.— Теперь неудобно. Уже слишком заметно. Не пойду я такая в мэрию.

— Жаль, что мы раньше не поженились.

— Пожалуй, так было бы лучше. Но когда же мы могли, милый?

— Не знаю.

— А я знаю только одно. Не пойду я в мэрию такой почтенной матроной.

— Какая же ты матрона?

— Самая настоящая, милый. Парикмахерша спрашивала, первый ли это у нас. Я ей сказала, что у нас уже есть два мальчика и две девочки.

— Когда же мы поженимся?

— Как только я опять похудею. Я хочу, чтобы у нас была великолепная свадьба и чтоб все думали: какая красивая пара.

— Но тебя это не огорчает?

— А отчего же мне огорчаться, милый? У меня только единственный раз было скверно на душе, это в Милане, когда я почувствовала себя девкой, и то через пять минут все прошло, и потом, тут больше всего была виновата компаната. Разве я плохая жена?

— Ты чудная жена.

— Вот и не думай о формальностях, милый. Как только я опять похудею, мы поженимся.

— Хорошо.

— Как ты думаешь, выпить мне еще пива? Доктор сказал, что у меня таз узковат, так что лучше не давать маленькой Кэтрин очень расти.

— Что он еще сказал? — Я встревожился.

— Ничего. У меня замечательное кровяное давление, милый. Он в восторге от моего кровяного давления.

— А что еще он сказал насчет узкого таза?

— Ничего. Совсем ничего. Он сказал, что мне нельзя ходить на лыжах.

— Правильно.

— Он сказал, что теперь уже поздно начинать, если я до сих пор не ходила. Он сказал, что ходить бы на лыжах можно, только падать нельзя.

— Он шутник, твой доктор.

— Нет, в самом деле, он очень славный. Мы его позovem, когда придет время родиться маленькому.

— Ты его не спрашивала, пожениться ли нам?

— Нет. Я ему сказала, что мы женаты четыре года. Видишь ли, милый, если я выйду за тебя, я стану американкой, а по американским законам, когда б мы ни поженились, — ребенок считается законным.

— Где ты это вычитала?

— В нью-йоркском «Уорлд алманак» в библиотеке.

— Ты просто прелесть.

— Я очень рада, что буду американкой. И мы поедем в Америку, правда, милый? Я хочу посмотреть Ниагарский водопад.

— Ты прелесть.

— Я еще что-то хотела посмотреть, только я забыла что.

— Бойни?

— Нет. Я забыла.

— Небоскреб Вулворта?

— Нет.

— Большой Каньон?

— Нет. Но и это тоже.

— Что же тогда?

— Золотые ворота! Вот что я хотела посмотреть. Где это Золотые ворота?

— В Сан-Франциско.

— Ну, так поедем туда. И вообще я хочу посмотреть Сан-Франциско.

— Отлично. Туда мы и поедем.

— А теперь давай поедем на вершину горы. Хорошо?

— В пять с минутами есть поезд.

— Вот на нем и поедем.

— Ладно. Я только выпью еще пива.

Когда мы вышли, и пошли по улице, и стали подниматься по лестнице к станции, было очень холодно. Холодный ветер дул из Ронской долины. В витринах магазинов горели огни, и мы поднялись по крутой каменной лестнице на верхнюю улицу и потом по другой лестнице к станции. Там уже стоял электрический поезд, весь освещенный. На большом циферблате было обозначено время отхода. Стрелки показывали десять минут шестого. Я посмотрел на станционные часы. Было пять минут шестого. Когда мы сели в вагон, я видел, как вагонновожатый и кондуктор вышли из буфета. Мы уселись и открыли окно. Вагон отапливался электричеством, и в нем было душно, но в окно входил свежий холодный воздух.

— Ты устала, Кэт? — спросил я.

— Нет. Я себя великолепно чувствую.

— Нам не долго ехать.

— Я с удовольствием проедусь, — сказала она. — Не тревожься обо мне, милый. Я себя чувствую прекрасно.

Снег выпал только за три дня до рождества. Как-то утром мы проснулись, и шел снег. В печке гудел огонь, а мы лежали в постели и смотрели, как сыплет снег. Мада-

ме Гуттинген убрала посуду после завтрака и подбросила в печку дров. Это была настоящая снежная буря. Madame Гуттинген сказала, что она началась около полуночи. Я подошел к окну и посмотрел, но ничего не мог разглядеть дальше дороги. Дуло и мело со всех сторон. Я снова лег в постель, и мы лежали и разговаривали.

— Хорошо бы походить на лыжах,— сказала Кэтрин.— Такая досада, что мне нельзя на лыжах.

— Мы достанем санки и съедем по дороге вниз. Это для тебя не опаснее, чем в автомобиле.

— А трести не будет?

— Можно попробовать.

— Хорошо бы, не трясло.

— Немного погода можно будет выйти погулять по снегу.

— Перед обедом,— сказала Кэтрин,— для аппетита.

— Я и так всегда голоден.

— И я тоже.

Мы вышли в метель. Повсюду намело сугробы, так что нельзя было уйти далеко. Я пошел вперед, протапывая дорожку, но пока мы добрались до станции, нам пришлось довольно долго идти. Мело так, что невозможно было раскрыть глаза, и мы вошли в маленький кабачок у станции и, метелкой стряхнув друг с друга снег, сели на скамью и спросили вермуту.

— Сегодня сильная буря,— сказала кельнерша.

— Да.

— Снег поздно выпал в этом году.

— Да.

— Что, если я съем плитку шоколада? — спросила Кэтрин.— Или уже скоро завтрак? Я всегда голодна.

— Можешь съесть одну,— сказал я.

— Я возьму с орехами,— сказала Кэтрин.

— С орехами очень вкусный,— сказала девушка.— Я больше всего люблю с орехами.

— Я выпью еще вермуту,— сказал я.

Когда мы вышли, чтоб идти домой, нашу дорожку уже занесло снегом. Только едва заметные углубления остались там, где раньше были следы. Мело прямо в лицо, так что нельзя было раскрыть глаза. Мы почистились и пошли завтракать. Завтрак подавал monsieur Гуттинген.

— Завтра можно будет пойти на лыжах,— сказал он.— Вы ходите на лыжах, мистер Генри?

— Нет. Но я хочу научиться.

— Вы научитесь очень легко. Мой сын приезжает на рождество, он вас научит.

— Чудесно. Когда он должен приехать?

— Завтра вечером.

Когда после обеда мы сидели у печки в маленькой комнате и смотрели в окно, как валит снег, Кэтрин сказала:

— Что, если тебе уехать куда-нибудь одному, милый, побыть среди мужчин, походить на лыжах?

— Зачем мне это?

— Неужели тебе никогда не хочется повидать других людей?

— А тебе хочется повидать других людей?

— Нет.

— И мне нет.

— Я знаю. Но ты другое дело. Я жду ребенка, и поэтому мне приятно ничего не делать. Я знаю, что я стала ужасно глупая и слишком много болтаю, и мне кажется, лучше тебе уехать, а то я тебе надоем.

— Ты хочешь, чтоб я уехал?

— Нет, я хочу, чтоб ты был со мной.

— Ну, так я и не поеду никуда.

— Иди сюда,— сказала она.— Я хочу пощупать шишку у тебя на голове. Большая все-таки шишка.— Она провела по ней пальцами.— Милый, почему бы тебе не отпустить бороду?

— Тебе хочется?

— Просто так, для забавы. Мне хочется посмотреть, какой ты с бородой.

— Ладно. Отпущу бороду. Сейчас же, сию минуту начну отпускать. Это идея. Теперь у меня будет занятие.

— Ты огорчен, что у тебя нет никакого занятия?

— Нет. Я очень доволен. Мне очень хорошо. А тебе?

— Мне чудесно. Но я все боюсь, может быть, теперь, когда я такая, тебе скучно со мной?

— Ох, Кэт! Ты даже не представляешь себе, как сильно я тебя люблю.

— Даже теперь?

— И теперь и всегда. И я вполне счастлив. Разве нам не хорошо тут?

— Очень хорошо, но мне все кажется, что ты какой-то беспокойный.

— Нет. Я иногда вспоминаю фронт и разных людей, но это не тревожит меня. Я ни о чем долго не думаю.

— Кого ты вспоминаешь?

— Ринальди, и священника, и еще всяких людей. Но долго я о них не думаю. Я не хочу думать о войне, Я закончил с ней.

— О чем ты сейчас думаешь?

— Ни о чем.

— Нет, ты думал о чем-то. Скажи.

— Я думал, правда ли, что у Ринальди сифилис.

— И все?

— Да.

— А у него сифилис?

— Не знаю.

— Я рада, что у тебя нет. У тебя ничего такого не было?

— У меня был триппер.

— Я не хочу об этом слышать. Тебе очень больно было, милый?

— Очень.

— Я б хотела, чтоб у меня тоже был.

— Не выдумывай.

— Нет, правда. Я б хотела, чтобы у меня все было, как у тебя. Я б хотела знать всех женщин, которых ты знал, чтоб потом высмеивать их перед тобой.

— Вот это красиво.

— А что у тебя был триппер, красиво?

— Нет. Смотри, как снег идет.

— Я лучше буду смотреть на тебя. Милый, что если б ты отпустил волосы?

— То есть как?

— Ну, немножко подлиннее.

— Они и так длинные.

— Нет, отпусти их немного длиннее, а я остригусь, и мы будем совсем одинаковые, только один светлый, а другой темный.

— Я не хочу, чтоб ты остриглась.

— А это может быть забавно. Мне надоели волосы. Ночью в постели они ужасно мешают.

— Мне нравится так.

— А с короткими бы тебе не понравилось?

— Может быть. Мне нравится, как сейчас.

— Может быть, с короткими лучше. И мы были бы оба одинаковые. Милый, я так тебя люблю, что хочу быть тобой.

— Это так и есть. Мы с тобой одно.

— Я знаю. По ночам.

— Ночью все замечательно.

— Я хочу, чтоб совсем нельзя было разобрать, где ты, а где я. Я не хочу, чтоб ты уезжал. Я это нарочно сказала. Если тебе хочется, уезжай. Но только возвращайся скорее. Милый, ведь я же вообще не живу, когда я не с тобой.

— Я никогда не уеду,— сказал я.— Я ни на что не го-жусь, когда тебя нет. У меня нет никакой жизни.

— Я хочу, чтобы у тебя была жизнь. Я хочу, чтобы у тебя была очень хорошая жизнь. Но это будет наша общая жизнь, правда?

— Ну как, перестать мне отпускать бороду или пусть растет?

— Пусть растет. Отпускай. Это так интересно. Может быть, она вырастет к Новому году.

— Хочешь, сыграем в шахматы?

— Лучше в другую игру.

— Нет. Давай в шахматы.

— А потом в другую?

— Да.

— Ну, хорошо.

Я достал шахматную доску и расставил фигуры. За окном по-прежнему валил снег.

Как-то раз я среди ночи проснулся и почувствовал, что Кэтрин тоже не спит. Луна светила в окно, и на постель падали тени от оконного переплета.

— Ты не спишь, дорогой?

— Нет. А ты не можешь заснуть?

— Я только что проснулась и думаю о том, какая я была сумасшедшая, когда мы встретились. Помнишь?

— Ты была чуть-чуть сумасшедшая.

— Теперь со мной никогда такого не бывает. Теперь у меня все замечательно. Ты так чудно говоришь это слово. Скажи «замечательно».

— Замечательно.

— Ты милый. И я теперь уже не сумасшедшая. Я только очень, очень, очень счастлива.

— Ну спи,— сказал я.

— Ладно. Давай заснем оба сразу.

— Ладно.

Но мы не заснули сразу. Я еще довольно долго лежал, думая о разных вещах и глядя на спящую Кэтрин и на лунные блики у нее на лице. Потом я тоже заснул.

К середине января я уже отрастил бороду, и установились наконец по-зимнему холодные, яркие дни и холодные, суровые ночи. Снова можно было ходить по дорогам. Снег стал твердый и гладкий, укатанный полозьями саней и бревнами, которые волокли с горы вниз. Снег лежал повсюду кругом, почти до самого Монтре. Горы по ту сторону озера были совсем белые, и долина Роны скрылась под снегом. Мы совершали длинные прогулки по другому склону горы до Бэн-де-л'Альяз. Кэтрин надевала подбитые гвоздями башмаки и плащ и брала с собой палку с острым наконечником. Под плащом ее полнота не была заметна, и мы шли не слишком быстро, и останавливались, и садились отдыхать на бревнах у дороги, когда она уставала.

В Бэн-де-л'Альяз был кабачок под деревьями, куда заходили выпить лесорубы, и мы сидели там, греясь у печки, и пили горячее красное вино с пряностями и лимоном. Его называют *Glühwein*, и это прекрасная вещь, когда нужно согреться или выпить за чье-нибудь здоровье. В кабачке было темно и дымно, и потом, когда мы выходили, холодный воздух обжигал легкие и кончик носа при дыхании немел. Мы оглядывались на кабачок, где во всех окнах горел свет, и у входа лошади лесорубов били копытами, чтоб согреться, и мотали головой. Волоски на их мордах были покрыты инеем, и пар от их дыхания застывал в воздухе. На обратном пути дорога была гладкая и скользкая, и лед был оранжевый от лошадиной мочи до самого поворота, где тропа, по которой волокли бревна, уходила в сторону. Дальше дорога была покрыта плотно укатанным снегом и вела через лес, и два раза, возвращаясь вечером домой, мы видели лисицу.

Это был славный край, и когда мы выходили гулять, нам всегда было очень весело.

— У тебя замечательная борода,— сказала Кэтрин.— Совсем как у лесорубов. Ты видел того, в золотых сережках?

— Это охотник на горных козлов,— сказал я.— Они носят серьги, потому что это будто бы обостряет слух.

— Неужели? Вряд ли это так. По-моему, они носят их, чтоб всякий знал, что они охотники на горных козлов. А здесь водятся горные козлы?

— Да, за Дан-де-Жаман.

— Как забавно, что мы видели лисицу.

— А лисица, когда спит, обертывает свой хвост вокруг тела, и ей тепло.

— Вот, должно быть, приятно.

— Мне всегда хотелось иметь такой хвост. Что, если б у нас были хвосты, как у лисиц?

— А как же тогда одеваться?

— Можно заказывать специальные костюмы или уехать в такую страну, где это не имеет значения.

— Мы и сейчас в такой стране, где ничто не имеет значения. Разве не замечательно, что мы живем тут и никого не видим? Ты ведь не хочешь никого видеть, правда, милый?

— Да.

— Давай посидим минутку. Я немножко устала.

Мы сидели на бревне совсем рядом. Впереди дорога уходила в лес.

— Она не будет мешать нам, малышка? Как ты думаешь?

— Нет. Мы ей не позволим.

— Как у нас с деньгами?

— Денег куча. Я уже получил по последнему чеку.

— А твои родственники не станут искать тебя? Ведь они теперь знают, что ты в Швейцарии.

— Возможно. Я им напишу как-нибудь.

— Разве ты еще не написал?

— Нет. Только послал чек на подпись.

— Слава богу, что я тебе не родственница.

— Я дам им телеграмму.

— Разве ты их совсем не любишь?

— Раньше любил, но мы столько ссорились, что ничего не осталось.

— Мне кажется, что они бы мне понравились. Наверно, они бы мне очень понравились.

— Давай не будем о них говорить, а то я начну о них тревожиться.— Немного погодя я сказал: — Пойдем, если ты отдохнула.

— Я отдохнула.

Мы пошли по дороге дальше. Было уже темно, и снег скрипел под ногами. Ночь была сухая, и холодная, и очень испная.

— Мне очень нравится твоя борода,— сказала Кэтрин.— Просто прелесть. На вид жесткая и колючая, а на самом деле мягкая и такая приятная,

— По-твоему, так лучше, чем без бороды?

— Пожалуй, лучше. Знаешь, милый, я не стану стричься до рождения маленькой Кэтрин. Я теперь слишком толстая и похожа на матрону. Но когда она родится и я опять похудею, непременно остригусь, и тогда у тебя будет совсем другая, новая девушка. Мы пойдем с тобой вместе, и я остригусь, или я пойду одна и сделаю тебе сюрприз.

Я молчал.

— Ты ведь не запретишь мне, правда?

— Нет. Может быть, мне даже понравится.

— Ну, какой же ты милый! А вдруг, когда я похудею, я стану очень хорошенькая и так тебе понравлюсь, что ты опять в меня влюбишься.

— О, черт! — сказал я. — Я и так в тебя достаточно влюблен. Чего ты еще хочешь? Чтоб я совсем потерял голову?

— Да. Я хочу, чтоб ты потерял голову.

— Ну и пусть, — сказал я. — Я сам этого хочу.

Глава сороковая

Нам чудесно жилось. Мы прожили январь и февраль, и зима была чудесная, и мы были очень счастливы. Были недолго оттепели, когда дул теплый ветер, и снег делался рыхлым, и в воздухе чувствовалась весна, но каждый раз становилось опять ясно и холодно, и возвращалась зима. В марте зима первый раз отступила по-настоящему. Ночью пошел дождь. Дождь шел все утро, и снег превратился в грязь, и на горном склоне стало тоскливо. Над озером и над долиной нависли тучи. Высоко в горах шел дождь. Кэтрин надела глубокие калоши, а я резиновые сапоги monsieur Гуттингена, и мы под зонтиком, по грязи и воде, размывавшей лед на дороге, пошли в кабачок у станции выпить вермуту перед завтраком. Было слышно, как за окном идет дождь.

— Как ты думаешь, не перебраться ли нам в город?

— А ты как думаешь? — спросила Кэтрин.

— Если зима кончилась и пойдут дожди, здесь станет пехорошо. Сколько еще до маленькой Кэтрин?

— Около месяца. Может быть, немножко больше.

— Можно спуститься вниз и поселиться в Монтре.

— А почему не в Лозанне? Ведь больница там.

— Можно и в Лозанне. Я просто думал, не слишком ли это большой город.

— Мы и в большом городе можем быть одни, а в Лозанне, наверно, славно.

— Когда же мы переедем?

— Мне все равно. Когда хочешь, милый. Можно и совсем не уезжать, если ты не захочешь.

— Посмотрим, как погода.

Дождь шел три дня. На склоне горы ниже станции совсем не осталось снега. Дорога была сплошным потоком жидкой грязи. Была такая сырость и слякоть, что нельзя было выйти из дому. Утром на третий день дождя мы решили переехать в город.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, monsieur Генри,— сказал Гуттинген.— Никакого предупреждения не нужно. Я и не думал, что вы останетесь здесь, раз уж погода испортилась.

— Нам нужно быть поближе к больнице из-за madame,— сказал я.

— Ну конечно,— сказал он.— Может быть, еще приедете как-нибудь вместе с маленьким.

— Если только найдется место.

— Весной тут у нас очень славно, приезжайте, вам понравится. Можно будет устроить маленького с пняей в большой комнате, которая теперь заперта, а вы с madame займете свою прежнюю, с видом на озеро.

— Я вам напишу заранее,— сказал я. Мы уложились и уехали с первым поездом после обеда. Monsieur и madame Гуттинген проводили нас на станцию, и он довез наши вещи на санках по грязи. Они оба стояли у станции под дождем и махали нам на прощанье.

— Они очень славные,— сказала Кэтрин.

— Они были очень добры к нам.

В Мontre мы сели на лозаннский поезд. Из окна вагона нельзя было видеть горы в той стороне, где мы жили, потому что мешали облака. Поезд остановился в Ве́ве, потом пошел дальше, и с одной стороны пути было озеро, а с другой — мокрые бурые поля, и голый лес, и мокрые домики. Мы приехали в Лозанну и остановились в небольшом отеле. Когда мы проезжали по улицам и потом свернули к отелю, все еще шел дождь. Портье с медными ключами на цепочке, продетой в петлицу, лифт, ковры на полу, белые умывальники со сверкающими приборами, металлическая кровать и большая комфортабельная спаль-

ня — все это после Гуттингенов показалось нам необычайной роскошью. Окна номера выходили в мокрый сад, обнесенный стеной с железной решеткой сверху. На другой стороне круто спускавшейся улицы был другой отель, с такой же стеной и решеткой. Я смотрел, как капли дождя падают в бассейн в саду.

Кэтрин зажгла все лампы и стала раскладывать вещи. Я заказал виски с содовой, лег на кровать и взял газету, которую купил на вокзале. Был март 1918 года, и немцы наступали во Франции. Я пил виски с содовой и читал, пока Кэтрин раскладывала вещи и возилась в комнате.

— Знаешь, милый, о чем мне придется подумать,— сказала она.

— О чем?

— О детских вещах. Обычно все уже запасаются детскими вещами к этому времени.

— Это ведь можно купить.

— Я знаю. Завтра же пойду покупать. Вот только узнаю, что нужно.

— Тебе следовало бы знать. Ведь ты же была сестрой.

— Да, но, знаешь ли, солдаты так редко обзаводились детьми в госпитале.

— А я?

Она запустила в меня подушкой и расплескала мое виски с содовой.

— Я сейчас закажу тебе другое,— сказала она.— Извини, пожалуйста.

— Там уже немного оставалось. Иди сюда, ко мне.

— Нет. Я хочу сделать так, чтобы эта комната стала на что-нибудь похожа.

— На что?

— На наш с тобой дом.

— Вывесь флаги Антанты.

— Заткнись, пожалуйста.

— А ну повтори еще раз.

— Заткнись.

— Ты так осторожно это говоришь,— сказал я,— как будто боишься обидеть кого-то.

— Ничего подобного.

— Ну, тогда иди сюда, ко мне.

— Ладно.— Она подошла и села на кровати.— Я знаю, что тебе теперь со мной неинтересно, милый. Я похожа на пивную бочку.

- Неправда. Ты красивая, и ты очень хорошая.
- Я просто уродина, на которой ты по неосторожности женился.
- Неправда. Ты становишься все красивее.
- Но я опять похудею, милый.
- Ты и теперь худая.
- Ты, должно быть, выпил.
- Только стакан виски с содовой.
- Сейчас принесут еще виски,— сказала она.— Может быть, сказать, чтоб нам и обед сюда подали?
- Очень бы хорошо.
- Тогда мы совсем не будем выходить сегодня, ладно? Просидим вечер дома.
- И поиграем,— сказал я.
- Я выпью вина,— сказала Кэтрин.— Ничего мне от этого не будет. Может быть, тут есть наше белое капри.
- Наверно, есть,— сказал я.— В таком отеле всегда бывают итальянские вина.
- Кельнер постучал в дверь. Он принес виски в стакане со льдом и на том же подносе маленькую бутылку содовой.
- Спасибо,— сказал я.— Поставьте здесь. Будьте добры, принесите сюда обед на две персоны и две бутылки сухого белого капри во льду.
- Прикажете на первое — суп?
- Ты хочешь суп, Кэт?
- Да, пожалуйста.
- Один суп.
- Слушаю, сэр.
- Он вышел и затворил двери. Я вернулся к газетам и к войне в газетах и медленно лил содовую в стакан со льдом и виски. Надо было сказать, чтобы не клали лед в виски. Принесли бы лед отдельно. Тогда можно определить, сколько в стакане виски, и оно не окажется вдруг слишком слабым от содовой. Надо будет купить бутылку виски и сказать, чтобы принесли только лед и содовую. Это лучше всего. Хорошее виски — приятная вещь. Одно из самых приятных явлений жизни.
- О чем ты думаешь, милый?
- О виски.
- А о чем именно?
- О том, какая славная вещь виски.
- Кэтрин сделала гримасу.
- Ладно,— сказала она.

Мы прожили в этом отеле три недели. Там было недурно: ресторан обычно пустовал, и мы очень часто обедали у себя в номере. Мы гуляли по городу, и ездили трамваем в Уши, и гуляли над озером. Погода стояла совсем теплая, и было похоже на весну. Мы жалели, что уехали из своего шале в горах, но весенняя погода продолжалась всего несколько дней, и потом опять наступила холодная сырость переходного времени.

Кэтрин закупала все необходимое для ребенка. Я ходил в гимнастический зал боксировать для моциона. Обычно я ходил туда утром, пока Кэтрин еще лежала в постели. В мнимовесенние дни очень приятно было после бокса и душа пройтись по улице, вдыхая весенний воздух, зайти в кафе посидеть, и посмотреть на людей, и прочесть газету, и выпить вермуту; а потом вернуться в отель и позавтракать с Кэтрин. Преподаватель бокса в гимнастическом зале носил усы, у него были очень точные и короткие движения, и он страшно пугался, когда станешь нападать на него. Но в гимнастическом зале было очень приятно. Там было много воздуха и света, и я трудился на совесть, прыгал через веревку, и тренировался в различных приемах бокса, и делал упражнения для мышц живота, лежа на полу в полосе солнечного света, падавшей из раскрытого окна, и порой пугал преподавателя, боксируя с ним. Сначала я не мог тренироваться перед длинным узким зеркалом, потому что так странно было видеть боксера с бородой. Но под конец меня это просто сместило. Я хотел сбрить бороду, как только начал заниматься боксом, но Кэтрин не позволила мне.

Иногда мы с Кэтрин ездили в экипаже по окрестностям. В хорошую погоду ездить было приятно, и мы нашли два славных местечка, куда можно было заехать пообедать. Кэтрин уже не могла много ходить, и я с удовольствием ездил с ней вместе по деревенским дорогам.

Если день был хороший, мы чудесно проводили время, и ни разу мы не провели время плохо. Мы знали, что ребенок уже совсем близко, и от этого у нас обоих было такое чувство, как будто что-то подгоняет нас и нельзя терять ни одного часа, который мы можем быть вместе.

Как-то я проснулся около трех часов утра и услышал, что Кэтрин ворочается на постели.

— Тебе нездоровится, Кэт?

— У меня как будто схватки, милый.

— Регулярно?

— Нет, не совсем.

— Если пойдут регулярно, нужно ехать в больницу.

Мне очень хотелось спать, и я заснул. Вскоре я проснулся снова.

— Ты, может, позвонишь доктору, — сказала Кэтрин. — Может, это уже начинается.

Я подошел к телефону и позвонил доктору.

— Как часто повторяются схватки? — спросил он.

— Как часто, Кэт?

— Примерно каждые пятнадцать минут.

— Тогда поезжайте в больницу, — сказал доктор. — Я сейчас оденусь и тоже приеду туда.

Я повесил трубку и потом позвонил в привокзальный гараж, чтобы вызвать такси. Долгое время никто не подходил к телефону. Наконец я добился какого-то человека, который обещал сейчас же выслать машину. Кэтрин одевалась. В ее чемодане было уже сложено все необходимое для больницы и детские вещи. Мы вышли в коридор, и я позвонил лифтеру. Ответа не было. Я сошел вниз. Внизу никого не было, кроме ночного швейцара. Я сам поднялся в лифте наверх, внес в кабину чемодан Кэтрин, она вошла, и мы спустились вниз. Ночной швейцар открыл нам дверь, и мы сели на каменные тумбы у ступенек парадного крыльца и стали ждать такси. Ночь была ясная, и на небе были звезды. Кэтрин была очень возбуждена.

— Я так рада, что уже началось, — сказала она. — Теперь скоро все будет позади.

— Ты молодец.

— Я не боюсь. Только бы вот такси скорее приехало.

Мы услышали шум машины на улице и увидели свет от фар. Такси подъехало к крыльцу, и я помог Кэтрин сойти, а шофер поставил чемодан на переднее сиденье.

— В больницу, — сказал я.

Мы выехали на мостовую и стали подниматься в гору.

Когда мы подъехали к больнице, я взял чемодан, и мы пошли. Внизу за конторкой сидела жепщина, которая за-

писала в книгу имя и фамилию Кэтрин, возраст, адрес, сведения о родственниках и о религии. Кэтрин сказала, что у нее нет никакой религии, и женщина поставила против этого слова в книге черточку. Кэтрин сказала, что ее фамилия Генри.

— Я отведу вас в палату,— сказала женщина.

Мы поднялись на лифте. Женщина остановила лифт, и мы вышли и пошли за ней по коридору. Кэтрин крепко держалась за мою руку.

— Вот это ваша палата,— сказала женщина.— Пожалуйста, раздевайтесь и ложитесь в постель. Вот вам ночная сорочка.

— У меня есть ночная сорочка,— сказала Кэтрин.

— Вам удобнее будет в этой,— сказала женщина.

Я вышел и сел на стул в коридоре.

— Теперь можете войти,— сказала сестра, стоя в дверях.

Кэтрин лежала на узкой кровати, в простой ночной сорочке с квадратным вырезом, сделанной, казалось, из простого холста. Она улыбнулась мне.

— Теперь уже у меня хорошие схватки,— сказала она.

Сестра держала ее руку и следила за схватками по часам.

— Вот сейчас была сильная,— сказала Кэтрин. Я видел это по ее лицу.

— Где доктор? — спросил я у сестры.

— Спит внизу. Он придет, когда нужно будет. Я должна кое-что сделать madame,— сказала сестра.— Будьте добры, выйдите опять.

Я вышел в коридор. Коридор был пустой, с двумя окнами и рядом затворенных дверей по всей длине. В нем пахло больницей. Я сидел на стуле, и смотрел в пол, и молился за Кэтрин.

— Можете войти,— сказала сестра. Я вошел.

— Это ты, милый? — сказала Кэтрин.

— Ну, как?

— Теперь уже совсем часто.

Ее лицо исказилось. Потом она улыбнулась.

— Вот это была настоящая. Пожалуйста, сестра, подложите мне опять руку под спину.

— А вам так легче? — спросила сестра.

— Ты теперь уходи, милый,— сказала Кэтрин.— Иди поешь чего-нибудь. Сестра говорит, это может тянуться очень долго.

— Первые роды обычно бывают затяжные,— сказала сестра.

— Пожалуйста, иди поешь чего-нибудь,— сказала Кэтрин.— Я себя хорошо чувствую, правда.

— Я еще немного побуду,— сказал я.

Схватки повторялись совершенно регулярно, потом пошли реже. Кэтрин была очень возбуждена. Когда ей было особенно больно, она говорила, что схватка хорошая. Когда схватки стали слабее, она была разочарована и смущена.

— Ты уходи, милый,— сказала она.— При тебе мне как-то несвободно.— Ее лицо исказилось.— Вот. Эта уже была лучше. Я так хочу быть хорошей женой и родить без всяких фокусов. Пожалуйста, иди позавтракай, милый, а потом приходи опять. Я не буду скучать без тебя. Сестра такая славная.

— У вас вполне хватит времени позавтракать,— сказала сестра.

— Хорошо, я пойду. До свидания, дорогая.

— До свидания,— сказала Кэтрин.— Позавтракай как следует, за меня тоже.

— Где тут можно позавтракать? — спросил я сестру.

— На нашей улице, у самой площади, есть кафе,— сказала она.— Там должно быть открыто.

Уже светало. Я дошел пустой улицей до кафе. В окнах горел свет. Я вошел и остановился у оцинкованной стойки, и старик буфетчик подал мне стакан белого вина и бриошь. Бриошь была вчерашняя. Я макал ее в вино и потом еще выпил чашку кофе.

— Что вы тут делаете в такой ранний час? — спросил старик.

— У меня жена рожает в больнице.

— Вот как! Ну, желаю счастья.

— Дайте мне еще стакан вина.

Он налил, слишком сильно наклонив бутылку, так что немного пролилось на стойку. Я выпил, расплатился и вышел. На улице у всех домов стояли ведра с отбросами в ожидании мусорщика. Одно ведро обнюхивала собака.

— Чего тебе там нужно? — спросил я и наклонился посмотреть, нет ли в ведре чего-нибудь для нее; сверху была только кофейная гуща, сор и несколько увядших цветков.

— Ничего нет, пес,— сказал я. Собака перешла на другую сторону. Придя в больницу, я поднялся по лест-

пице в тот этаж, где была Кэтрин, и по коридору дошел до ее дверей. Я постучался. Никто не отвечал. Я открыл дверь; палата была пуста, только чемодан Кэтрин стоял на стуле и на крючке висел ее халатик. Я вышел в коридор и стал искать кого-нибудь. Я увидел другую сестру.

— Где madame Генри?

— Только что какую-то даму взяли в родильную.

— Где это?

— Пойдемте, я вам покажу.

Она повела меня в конец коридора. Дверь родильной была приотворена. Я увидел Кэтрин на столе, покрытую простыней. У стола стояла сестра, а с другой стороны, возле каких-то цилиндров — доктор. Доктор держал в руке резиновую маску, прикрепленную к трубке.

— Я дам вам халат, и вы сможете войти, — сказала сестра. — Идите, пожалуйста, сюда.

Она надела на меня белый халат и заколола его сзади у ворота английской булавкой.

— Теперь можете войти, — сказала она. Я вошел в комнату.

— Это ты, милый? — сказала Кэтрин напряженным голосом. — Что-то дело не движается.

— Вы monsieur Генри? — спросил доктор.

— Да. Как тут у вас, доктор?

— Все идет очень хорошо, — сказал доктор. — Мы перешли сюда, чтобы можно было давать газ во время схваток.

— Дайте, — сказала Кэтрин.

Доктор накрыл ее лицо резиновой маской и повернул какой-то диск, и я увидел, как Кэтрин глубоко и быстро задышала. Потом она оттолкнула маску. Доктор выключил аппарат.

— Не очень сильная. Вот недавно была одна очень сильная. Доктор сделал так, что меня как будто не было. Правда, доктор? — У нее был странный голос. Он повысился на слове «доктор». Доктор улыбнулся.

— Дайте, — сказала Кэтрин. Она крепко прижала резину к лицу и быстро дышала. Я услышал, как она слегка застонала. Потом она сдвинула маску и улыбнулась.

— Эта была сильнее, — сказала она. — Эта была очень сильная. Ты не беспокойся, милый. Уходи. Позавтракай еще раз.

— Я побуду здесь, — сказал я.

Мы поехали в больницу около трех часов утра. В полдень Кэтрин все еще была в родильной. Схватки опять стали слабее. Вид у нее был очень усталый и измученный, но она все еще бодрилась.

— Никуда я не поеду, милый,— сказала она.— Так обидно. Я думала, у меня все пройдет очень легко. А теперь — вот, опять...— Она протянула руку за маской и положила ее себе на лицо. Доктор повернул диск и следил за ней. Схватка скоро кончилась.

— Эта так себе,— сказала Кэтрин.— Она улыбалась.— Мне ужасно нравится этот газ. Чудесная вещь!

— Мы возьмем немного домой,— сказал я.

— *Сейчас еще будет*,— сказала Кэтрин торопливо. Доктор повернул диск и посмотрел на часы.

— Какой теперь промежуток между схватками? — спросил я.

— Около минуты.

— Вы не голодны?

— Я сейчас пойду завтракать,— сказал он.

— Вам непременно нужно поесть, доктор,— сказала Кэтрин.— До чего мне обидно, что я так долго вожусь. Может быть, мой муж сумеет давать мне газ пока?

— Если хотите,— сказал доктор.— Будете поворачивать до цифры два.

— Понимаю,— сказал я. На диске была стрелка, и он вращался с помощью рычажка.

— *Дайте*,— сказала Кэтрин. Она крепко прижала маску к лицу. Я повернул диск до цифры два, а когда Кэтрин отняла маску, повернул его назад. Я был очень рад, что доктор дал мне занятие.

— Это ты давал газ, милый? — спросила Кэтрин. Она погладила мою руку.

— Я.

— Какой ты хороший!

Она была немного пьяна от газа.

— Я поем в соседней комнате,— сказал доктор.— Чуть что — вы можете меня позвать.

Я смотрел, как он ест; потом, немного погодя, я увидел, что он прилег и курит папиросу. Время шло. Кэтрин все больше уставала.

— Как ты думаешь, я все-таки сумею родить? — спросила она.

— Конечно, сумеешь.

— Я стараюсь, как только могу. Я толкаю, но оно опять уходит. *Сейчас будет. Дай скорей.*

В два часа я вышел и пошел поест. В кафе было несколько человек, и на столиках стоял кофе и рюмки с киршвассером. Я сел за столик.

— Что у вас есть? — спросил я кельнера,

— Второй завтрак уже кончился.

— Разве нет порционных блюд?

— Можно приготовить choucroute¹.

— Дайте choucroute и пива.

— Кружку или полкружки?

— Полкружки светлого.

Кельнер принес порцию Sauerkraut² с ломтиком ветчины сверху и сосиской, зарытой в горячую, пропитанную вином капусту. Я ел капусту и пил пиво. Я был очень голоден. Я смотрел на публику за столиками кафе. За одним столиком играли в карты. Двое мужчин за соседним столиком разговаривали и курили. Кафе было полно дыма. За цинковой стойкой, где я завтракал утром, было теперь трое: старик, полная женщина в черном платье, которая сидела у кассы и следила за всем, что подается на столики, и мальчик в фартуке. Я думал о том, сколько у этой женщины детей и как она их рожала.

Покончив с choucroute, я пошел назад, в больницу. На улице было теперь совсем чисто. Ведер с отбросами не было. День был облачный, но солнце старалось пробиться. Я поднялся в лифте, вышел и пошел по коридору в комнату Кэтрин, где я оставил свой белый халат. Я надел его и заколол сзади у ворота. Я посмотрел в зеркало и подумал, что я похож на бородатого шарлатана. Я пошел по коридору в родильную. Дверь была закрыта, и я постучал. Никто не ответил; тогда я повернул ручку и вошел. Доктор сидел возле Кэтрин. Сестра что-то делала на другом конце комнаты.

— Вот ваш муж, — сказал доктор.

— Ах, милый, доктор такой чудный! — сказала Кэтрин очень странным голосом. — Он мне рассказывал такой чудный анекдот, а когда было уж очень больно, он сделал так, что меня как будто совсем не стало. Он чудный. Вы чудный, доктор.

— Ты пьяна, — сказал я.

¹ Кислая капуста (фр.).

² Кислая капуста (нем.).

— Я знаю,— сказала Кэтрин.— Только не нужно говорить об этом.— Потом: — *Дайте скорее. Дайте скорее.*

Она вцепилась в маску и дышала часто и прерывисто, так что в респираторе щелкало. Потом она глубоко вздохнула, и доктор протянул левую руку и снял с нее маску.

— Эта была очень сильная,— сказала Кэтрин. У нее был очень странный голос.— Теперь я уже не умру, милый. Я уже прошла через самое опасное, когда я могла умереть. Ты рад?

— Вот и не возвращайся туда опять.

— Не буду. Впрочем, я не боюсь этого. Я не умру, милый.

— Вы такой глупости не сделаете,— сказал доктор.— Вы не умрете и не оставите вашего мужа одного.

— Нет, нет. Я не умру. Я не хочу умирать. Это глупо — умереть. Вот опять. *Дайте скорее.*

Немного погодя доктор сказал:

— Выйдите на несколько минут, мистер Генри, я исследую вашу жену.

— Он хочет посмотреть, как двигается дело,— сказала Кэтрин.— Ты потом приходи назад. Можно, доктор?

— Да,— сказал доктор.— Я за ним пошлю, когда можно будет.

Я вышел из родильной и пошел по коридору в палату, куда должны были привезти Кэтрин после того, как родится ребенок. Я сел на стул и огляделся по сторонам. В кармане у меня лежала газета, которую я купил, когда ходил завтракать, и я стал читать ее. За окном уже темно, и я зажег свет, чтобы можно было читать. Немного погодя я перестал читать и погасил свет и смотрел, как темнеет за окном. Странно, почему доктор не посылает за мной. Может быть, это лучше, что я ушел оттуда. Он, видимо, хотел, чтобы я ушел. Я посмотрел на часы. Если еще десять минут никто не придет, я все равно вернусь туда.

Бедная, бедная моя Кэт. Вот какой ценой приходится платить за то, что спишь вместе. Вот когда захлопывается ловушка. Вот что получают за то, что любят друг друга. Хорошо еще, что существует газ. Что же это было раньше, без анестезии? Как начнется, точно в мельничное колесо попадаешь. Кэтрин очень легко перенесла всю беременность. Это было совсем не так плохо. Ее даже почти не тошнило. До самого последнего времени у нее не было особенно неприятных ощущений. Но под конец она все-таки попалась. От расплаты не уйдешь. Черта с два!

И будь мы хоть пятьдесят раз женаты, было бы то же самое. А вдруг она умрет? Она не умрет. Теперь от родов не умирают. Все мужья так думают. Да, но вдруг она умрет? Она не умрет. Ей только трудно. Первые роды обычно бывают затяжные. Ей просто трудно. Потом мы будем говорить: как трудно было, а Кэтрин будет говорить: не так уж и трудно. А вдруг она умрет? Она не может умереть. Да, но вдруг она умрет? Не может этого быть, говорят тебе. Не будь дураком. Просто ей трудно. Просто это так природой устроено, мучиться. Это ведь первые роды, а они почти всегда бывают затяжные. Да, но вдруг она умрет? Не может она умереть. Почему она должна умереть? Какие могут быть причины, чтобы она умерла? Просто должен родиться ребенок, побочный продукт миланских ночей. Из-за него все огорчения, а потом он рождается, и о нем заботишься и, может быть, начинаешь любить его. У нее ничего нет опасного. А вдруг она умрет? Она не может умереть. А вдруг она умрет? Тогда что, а? Вдруг она умрет?

Доктор вошел в комнату.

— Ну, как, доктор?

— Никак.

— Что вы хотите сказать?

— То, что говорю. Я только что исследовал ее...— Он подробно рассказал о результатах исследования.— Потом я еще подождал. Но дело не подвигается.

— Что вы советуете?

— Есть два пути: или щипцы, но при этом могут быть разрывы и вообще это довольно опасно для роженицы, не говоря уже о ребенке, или кесарево сечение.

— А кесарево сечение очень опасно?

Вдруг она умрет?

— Не более, чем нормальные роды.

— Вы можете сделать это сами?

— Да. Мне понадобится около часу, чтобы все приготовить и вызвать необходимый персонал. Может быть, даже меньше.

— Что, по-вашему, лучше?

— Я бы рекомендовал кесарево сечение. Если б это была моя жена, я делал бы кесарево сечение.

— Какие могут быть последствия?

— Никаких. Только шрам.

— А инфекция?

— При наложении щипцов опасность инфекции больше.

— А что, если ничего не делать и просто ждать?

— Рано или поздно придется что-нибудь сделать. Madame Генри уже и так потеряла много сил. Чем скорее мы приступим к операции, тем лучше.

— Приступайте как можно скорее, — сказал я.

— Сейчас пойду распоряжусь.

Я пошел в родильную. Кэтрин лежала на столе, большая под простыней, очень бледная и усталая. Сестра была возле нее.

— Ты дал согласие? — спросила она.

— Да.

— Ну, вот и хорошо. Теперь через час все пройдет. У меня уже нет больше сил, милый. Я больше не могу. *Дай, дай скорее.* Не помогает. *Боже мой, не помогает.*

— Дыши глубже.

— Я дышу. Боже мой, уже не помогает. Не помогает.

— Дайте другой цилиндр, — сказал я сестре.

— Это новый цилиндр.

— Я такая глупая, милый, — сказала Кэтрин. — Но только правда, больше не помогает. — Она вдруг заплакала. — Я так хотела родить маленького и никому не причинять неприятностей, и теперь у меня уже нет сил, и я больше не могу, и газ уже не помогает. Милый, уже совсем не помогает. Пусть я умру, только чтоб это кончилось. О милый, милый, сделай так, чтобы все кончилось. Вот опять. О-о, о-о, о-о! — Она, всхлиывая, дышала под маской. — Не помогает. Не помогает. Не помогает. Прости меня, милый. Не надо плакать. Прости меня. Я больше не могу. Бедный ты мой! Я тебя так люблю, я еще постараюсь. Вот сейчас я постараюсь. Разве нельзя дать еще что-нибудь? Если бы только мне дали еще что-нибудь!

— Я сделаю так, что газ подействует. Я поверну до отказа.

— Вот сейчас дай.

Я повернул диск до отказа, и когда она задышала тяжело и глубоко, ее пальцы, державшие маску, разжались. Я выключил аппарат и снял с нее маску. Она вернулась очень издалека.

— Как хорошо, милый. Какой ты добрый.

— Потерпи, ведь ты у меня храбрая. А то я не могу все время так делать. Это может убить тебя.

— Я уже не храбрая, милый. Я совсем сломлена. Меня сломили. Я теперь знаю.

— Со всеми так бывает.

— Но ведь это ужасно. Мучают до тех пор, пока не сломят.

— Еще час, и все кончится.

— Как хорошо! Милый, я ведь не умру, правда?

— Нет. Я тебе обещаю, что ты не умрешь.

— А то я не хочу умереть и оставить тебя одного, но только я так устала, и я чувствую, что умру.

— Глупости. Все так чувствуют.

— Иногда я просто знаю, что так будет.

— Так не будет. Так не может быть.

— А если?

— Я тебе не позволю.

— Дай мне скорее. *Дай, дай мне.*

Потом опять:

— Я не умру. Я сама себе не позволю.

— Конечно, ты не умрешь.

— Ты будешь со мной?

— Да, только я не буду смотреть.

— Хорошо. Но ты не уходи.

— Нет, нет. Я никуда не уйду.

— Ты такой добрый. Вот опять дай. Дай еще. *Не помогает!*

Я повернул диск до цифры три, потом до цифры четыре. Я хотел, чтобы доктор скорее вернулся. Я боялся цифр, которые идут после двух.

Наконец пришел другой доктор и две сестры, и они пороложили Кэтрин на носилки с колесами, и мы двинулись по коридору. Носилки быстро проехали по коридору и въехали в лифт, где всем пришлось тесниться к стенкам, чтобы дать им место; потом вверх, потом дверь настежь, и из лифта на площадку, и по коридору на резиновых шинах в операционную. Я не узнал доктора в маске и в шапочке. Там был еще один доктор и еще сестры.

— Пусть мне дадут что-нибудь, — сказала Кэтрин. — Пусть мне дадут что-нибудь. Доктор, пожалуйста, дайте мне столько, чтобы подействовало.

Один из докторов накрыл ей лицо маской, и я заглянул в дверь и увидел яркий маленький амфитеатр операционной.

— Вы можете войти вон в ту дверь и там посидеть, — сказала мне сестра.

За барьером стояли скамьи, откуда виден был белый стол и лампы. Я посмотрел на Катрин. Ее лицо было накрыто маской, и она лежала теперь неподвижно. Носилки повезли вперед. Я повернулся и пошел по коридору. Ко входу на галерею торопливо шли две сестры.

— Кесарево сечение, — сказала одна. — Сейчас будут делать кесарево сечение.

Другая засмеялась.

— Мы как раз вовремя. Вот повезло! — Они вошли в дверь, которая вела на галерею.

Подошла еще одна сестра. Она тоже торопилась.

— Входите, что же вы. Входите, — сказала она.

— Я подожду здесь.

Она торопливо вошла. Я стал ходить взад и вперед по коридору. Я боялся войти. Я посмотрел в окно. Было темно, но в свете от окна я увидел, что идет дождь. Я вошел в какую-то комнату в конце коридора и посмотрел на ярлыки бутылок в стеклянном шкафу. Потом я вышел, и стоял в пустом коридоре, и смотрел на дверь операционной.

Вышел второй доктор и за ним сестра. Доктор держал обеими руками что-то похожее на свежеободранного кролика и, торопливо пройдя по коридору, вошел в другую дверь. Я подошел к двери, в которую он вошел, и увидел, что они что-то делают с новорожденным ребенком. Доктор поднял его, чтоб показать мне. Он поднял его за ноги и плечнул.

— У него все в порядке?

— Прекрасный мальчишка. Кило пять будет.

Я не испытывал к нему никаких чувств. Он как будто не имел ко мне отношения. У меня не было отцовского чувства.

— Разве вы не гордитесь своим сыном? — спросила сестра. Они обмывали его и заворачивали во что-то. Я видел маленькое темное личико и темную ручку, но не замечал никаких движений и не слышал крика. Доктор снова стал что-то с ним делать. У него был озабоченный вид.

— Нет, — сказал я. — Он едва не убил свою мать.

— Он не виноват в этом, бедный малыш. Разве вы не хотели мальчишка?

— Нет, — сказал я. Доктор все возился над ним. Он поднял его за ноги и плепал. Я не стал смотреть на это. Я вышел в коридор. Я теперь мог войти и посмотреть.

Я вошел через дверь, которая вела на галерею, и спустился на несколько ступеней. Сестры, сидевшие у барьера, сделали мне знак спуститься к ним. Я покачал головой. Мне достаточно было видно с моего места.

Я думал, что Кэтрин умерла. Она казалась мертвой. Ее лицо, та часть его, которую я мог видеть, было серое. Там, внизу, под лампой, доктор зашивал широкую, длинную, с толстыми краями, раздвинутую пинцетами рану. Другой доктор в маске давал наркоз. Две сестры в масках подавали инструменты. Это было похоже на картину, изображающую инквизицию. Я знал, что я мог быть там и видеть все, но я был рад, что не видел. Вероятно, я бы не смог смотреть, как делали разрез, но теперь я смотрел, как края раны смыкались в широкий торчащий рубец под быстрыми, искусными на вид стежками, похожими на работу сапожника, и я был рад. Когда края раны сомкнулись до конца, я вышел в коридор и снова стал ходить взад и вперед. Немного погодя вышел доктор.

— Ну, как она?

— Ничего. Вы смотрели?

У него был усталый вид.

— Я видел, как вы зашивали. Мне показалось, что разрез очень длинный.

— Вы думаете?

— Да. Шрам потом сгладится?

— Ну конечно.

Немного погодя выкатили носилки и очень быстро повезли их коридором к лифту. Я пошел рядом. Кэтрин стояла. Внизу, в палате, ее уложили в постель. Я сел на стул в ногах постели. Сестра уже была в палате. Я поднялся и стал у постели. В палате было темно. Кэтрин протянула руку.

— Ты здесь, милый? — сказала она. Голос у нее был очень слабый и усталый.

— Здесь, родная.

— Какой ребенок?

— Ш-ш, не разговаривайте, — сказала сестра.

— Мальчик. Он длинный, и толстый, и темный.

— У него все в порядке?

— Да, — сказал я. — Прекрасный мальчик.

Я видел, что сестра как-то странно посмотрела на меня,

— Я страшно устала, — сказала Кэтрин. — И у меня все так болит. А как ты, милый?

— Очень хорошо. Не разговаривай.

— Ты такой хороший. О милый, как у меня все болит! А на кого он похож?

— Он похож на ободранного кролика со сморщенным стариковским лицом.

— Вы лучше уйдите, — сказала сестра. — Madame Генри нельзя разговаривать.

— Я побуду в коридоре, — сказал я.

— Иди поешь чего-нибудь.

— Нет. Я побуду в коридоре.

Я поцеловал Кэтрин. Лицо у нее было совсем серое, измученное и усталое.

— Можно вас на минутку, — сказал я сестре. Она вышла вместе со мной в коридор. Я немного отошел от двери.

— Что с ребенком? — спросил я.

— Разве вы не знаете?

— Нет.

— Он был неживой.

— Он был мертвый?

— У него не смогли вызвать дыхание. Пуговина обвилась вокруг шеи.

— Значит, он мертвый?

— Да. Так жалко. Такой чудный крупный ребенок. Я думала, вы знаете.

— Нет, — сказал я. — Вы идите туда, к madame.

Я сел на стул перед столиком, на котором сбоку лежали наколотые на проволоку отчеты сестер, и посмотрел в окно. Я ничего не видел, кроме темноты и дождя, перебивавшего светлую полосу от окна. Так вот в чем дело! Ребенок был мертвый. Вот почему у доктора был такой усталый вид. Но зачем они все это проделывали над ним там, в комнате? Вероятно, надеялись, что у него появится дыхание и он оживет. Я не был религиозен, но я знал, что его нужно окрестить. А если он совсем ни разу не выдохнул? Ведь это так. Он совсем не жил. Только в Кэтрин. Я часто чувствовал, как он там ворочается. А в последние дни нет. Может быть, он еще тогда задохся. Бедный малыш! Жаль, что я сам не задохся так, как он. Нет, но жаль. Хотя тогда ведь не пришлось бы пройти через это. Теперь Кэтрин умрет. Вот чем все кончается. Смертью. Не знаешь даже, к чему все это. Не успеешь узнать. Тебя просто швыряют в жизнь и говорят тебе правила, и в первый же раз, когда тебя застанут врасплох, тебя убьют. Или убьют ни за что, как Аймо. Или

заразят сифилисом, как Ринальди. Но рано или поздно тебя убьют. В этом можешь быть уверен. Сиди и жди, и тебя убьют.

Однажды на привале в лесу я подложил в костер корягу, которая кишела муравьями. Когда она загорелась, муравьи вымолзли наружу и сначала двинулись к середине, где был огопь, потом повернули и побежали к концу коряги. Когда па конце их набралось слишком много, они стали падать в огонь. Некоторым удалось выбраться, и, обгорелые, сплюснутые, они поползли прочь, сами не зная куда. Но большинство ползло к огню, и потом опять назад, и толпилось на холодном конце, и потом падало в огонь. Помню, я тогда подумал, что это похоже на светопредставление и что вот блестящий случай для меня изобразить мессию, вытащить корягу из огня и отбросить ее туда, где муравьи смогут выбраться на землю. Но вместо этого я лишь выплеснул на корягу воду из оловянной кружки, которую мне нужно было опорожнить, чтобы налить туда виски и потом уже разбавить водой. Вероятно, вода, вылитая на горящую корягу, только ошпарила муравьев.

Я сидел в коридоре и ждал вестей о состоянии Кэтрин. Сестра все не выходила, и немного погодя я встал, подошел к двери, тихонько приоткрыл ее и заглянул в палату. Сначала я ничего не мог разглядеть, так как в коридоре горел яркий свет, а в палате было темно. Потом я увидел сестру на стуле у кровати, голову Кэтрин на подушках и всю ее, такую плоскую под простыней. Сестра приложила палец к губам, потом встала и подошла к двери.

— Ну, как она? — спросил я.

— Ничего, все в порядке, — ответила сестра. — Вы бы пошли поужинать; а потом можете прийти опять, если хотите.

Я пошел по коридору, спустился по лестнице, вышел из подъезда больницы и под дождем по темной улице направился в кафе. Оно было ярко освещено, и за всеми столиками сидели люди. Я не мог найти места, и кельнер подошел ко мне, и взял мое мокрое пальто и шляпу, и указал мне на незанятый стул у столика, за которым какой-то пожилой человек пил пиво и читал вечернюю газету. Я сел и спросил у кельнера, какое сегодня *plat du jour*¹.

¹ Дежурное блюдо (*фр.*).

— Тушеная телятина, но она уже кончилась.
— Что можно получить на ужин?
— Яичницу с ветчиной, омлет с сыром или choucroute.
— Я ел choucroute сегодня утром,— сказал я.
— Верно,— сказал он.— Верно. Сегодня утром вы ели choucroute.

Это был человек средних лет, с лысиной, на которую тщательно начесаны были волосы. У него было доброе лицо.

— Что вы желаете? Яичницу с ветчиной или омлет с сыром?

— Яичницу с ветчиной,— сказал я,— и пиво.

— Demi-blonde?

— Да,— сказал я.

— Видите, я помню,— сказал он.— Утром вы тоже заказывали demi-blonde.

Я съел яичницу с ветчиной и выпил пиво. Яичницу с ветчиной подали в круглом судочке — внизу была ветчина, а сверху яичница. Она была очень горячая, и первый кусок мне пришлось запить пивом, чтобы остудить рот. Я был голоден и заказал еще. Я выпил несколько стаканов пива. Я ни о чем не думал, только читал газету, которую держал мой сосед. Там говорилось о прорыве на английском участке фронта. Когда сосед заметил, что я читаю его газету, он перевернул ее. Я хотел было спросить газету у кельнера, но я не мог сосредоточиться. В кафе было жарко и душно. Многие из сидевших за столиками знали друг друга. За несколькими столиками играли в карты. Кельнеры сновали между стойками и столами, разнося напитки. Двое мужчин вошли и не могли найти себе места. Они остановились против моего столика. Я заказал еще пива. Я еще не мог уйти. Возвращаться в больницу было рано. Я старался ни о чем не думать и быть совершенно спокойным. Вошедшие постояли немного, но пикто не вставал, и они ушли. Я выпил еще пива. Передо мной на столе была уже целая стопка блюдец. Человек, сидевший напротив меня, снял очки, спрятал их в футляр, сложил газету и сунул ее в карман и теперь смотрел по сторонам, держа в руке рюмку с ликером. Вдруг я почувствовал, что должен идти. Я позвал кельнера, заплатил по счету, надел пальто, взял шляпу и вышел на улицу. Под дождем я вернулся в больницу.

Наверху в коридоре мне встретилась сестра.

— Я только что звонила вам в отель,— сказала она.

Что-то оборвалось у меня внутри.

— Что случилось?

— У madame Генри было кровотечение.

— Можно мне войти?

— Нет, сейчас нельзя. Там доктор.

— Это опасно?

— Это очень опасно.

Сестра вошла в палату и закрыла за собой дверь. Я сидел у дверей в коридоре. У меня внутри все было пусто. Я не думал. Я не мог думать. Я знал, что она умрет, и молился, чтоб она не умерла. Не дай ей умереть. Господи, господи, не дай ей умереть. Я все исполню, что ты велишь, только не дай ей умереть. Нет, нет, нет, милый господи, не дай ей умереть. Милый господи, не дай ей умереть. Нет, нет, нет, не дай ей умереть. Господи, сделай так, чтобы она не умерла. Я все исполню, только не дай ей умереть. Ты взял ребенка, но не дай ей умереть. Это ничего, что ты взял его, только не дай ей умереть. Господи, милый господи, не дай ей умереть.

Сестра приоткрыла дверь и сделала мне знак войти. Я последовал за ней в палату. Кэтрин не оглянулась, когда я вошел. Я подошел к постели. Доктор стоял у постели с другой стороны. Кэтрин взглянула на меня и улыбнулась. Я склонился над постелью и заплакал.

— Бедный ты мой,— сказала Кэтрин совсем тихо. Лицо у нее было серое.

— Все хорошо, Кэт,— сказал я.— Скоро все будет совсем хорошо.

— Скоро я умру,— сказала она. Потом помолчала немного и сказала:— Я не хочу.

Я взял ее за руку.

— Не тронь меня,— сказала она. Я выпустил ее руку. Она улыбнулась.— Бедный мой! Трогай сколько хочешь.

— Все будет хорошо, Кэт. Я знаю, что все будет хорошо.

— Я думала написать тебе письмо на случай чего-нибудь, но так и не написала.

— Хочешь, чтоб я позвал священника или еще кого-нибудь?

— Только тебя,— сказала она. Потом, спустя несколько минут: — Я не боюсь. Я только не хочу.

— Вам нельзя столько разговаривать,— сказал доктор.

— Хорошо, не буду,— сказала Кэтрин.

— Хочешь чего-нибудь, Кэт? Что-нибудь тебе дать?
Кэтрин улыбнулась.

— Нет.— Потом, спустя несколько минут: — Ты не будешь с другой девушкой так, как со мной? Не будешь говорить наших слов? Скажи.

— Никогда.

— Но я хочу, чтоб у тебя были девушки.

— Они мне не пужны.

— Вы слишком много разговариваете,— сказал доктор.— Monsieur Генри придется выйти. Позже он может опять прийти. Вы не умрете. Не говорите глупостей.

— Хорошо,— сказала Кэтрин.— Я буду приходить к тебе по почам,— сказала она. Ей было очень трудно говорить.

— Пожалуйста, выйдите из палаты,— сказал доктор.— Ей нельзя разговаривать.

Кэтрин подмигнула мне; лицо у нее стало совсем серое.

— Ничего, я побуду в коридоре,— сказал я.

— Ты не огорчайся, милый,— сказала Кэтрин.— Я ни капельки не боюсь. Это только скверная шутка.

— Ты моя дорогая, храбрая девочка.

Я ждал в коридоре за дверью. Я ждал долго. Сестра вышла из палаты и подошла ко мне.

— Madame Генри очень плохо,— сказала она.— Я боюсь за нее.

— Она умерла?

— Нет, но она без сознания.

По-видимому, одно кровотечение следовало за другим. Невозможно было остановить кровь. Я вошел в палату и оставался возле Кэтрин, пока она не умерла. Она больше не приходила в себя, и скоро все кончилось.

В коридоре я обратился к доктору:

— Что-нибудь нужно еще сегодня сделать?

— Нет. Ничего делать не надо. Может быть, проводить вас в отель?

— Нет, благодарю вас. Я еще побуду здесь.

— Я знаю, что тут ничего не скажешь. Не могу выразить.

— Да,— сказал я,— тут ничего не скажешь.

— Спокойной ночи,— сказал он.— Может быть, мне вас все-таки проводить?

— Нет, спасибо.

— Больше ничего нельзя было сделать,— сказал он.—
Операция показала...

— Я не хочу говорить об этом,— сказал я.

— Мне бы хотелось проводить вас в отель.

— Нет, благодарю вас.

Он пошел по коридору. Я вернулся к двери палаты.

— Сейчас нельзя,— сказала одна из сестер.

— Можпо,— сказал я.

— Нет, еще нельзя.

— Уходите отсюда,— сказал я.— И та тоже.

Но когда я заставил их уйти и закрыл дверь и выключил свет, я понял, что это ни к чему. Это было словно прощание со статуей. Немного погодя я вышел и спустился по лестнице и пошел к себе в отель под дождем.

Имѣй и не имѣй

РОМАН

Перевод Е. Калашниковой

TO HAVE AND HAVE NOT

1937

Глава первая

Представляете вы себе Гавану рано утром, когда под стенами домов еще спят бродяги и даже фургонов со льдом еще не видно у баров? Так вот, мы шли с пристани в «Жемчужину Сан-Франциско» выпить кофе, и на площади не спал только один нищий, он пил воду из фонтана. Но когда мы вошли в кафе и сели, там нас уже ожидали те трое.

Мы сели, и одип из них подошел к нам.

— Ну? — сказал он.

— Не могу, — ответил я ему. — Рад бы помочь вам. Но я уже вчера сказал, что не могу.

— Назовите свою цену.

— Не в этом дело. Я не могу. Вот и все.

Двое других тоже подошли и смотрели на нас с огорчением. Они были славные молодые люди, и я был бы рад оказать им эту услугу.

— По тысяче с головы, — сказал тот, который хорошо говорил по-английски.

— Мне самому неприятно, — ответил я ему. — Но я вам по совести говорю: не могу.

— Потом, когда все здесь изменится, это вам сослужит службу.

— Знаю. Рад бы душой. Но не могу.

— Почему?

— Лодка меня кормит. Если я потеряю ее, я останусь без куска хлеба.

— За деньги можно купить другую лодку.

— Но не в тюрьме.

Они, должно быть, рсшили, что меня только нужно уговорить, потому что первый продолжал:

— Вы получите три тысячи долларов, и впоследствии это может сослужить вам службу. То, что тут сейчас, знаете, долго не продержится.

— Слушайте,— сказал я.— Мне совершенно все равно, кто у вас будет президентом. Но у меня правило: не перевозить в Штаты ничего такого, что может болтать.

— Вы хотите сказать, что мы будем болтать? — сказал один из тех, которые до сих пор молчали. Он сердился.

— Я сказал: ничего такого, что *может* болтать,

— Вы считаете нас *lenguas largas*?

— Нет.

— Вы знаете, что такое *lengua larga*?

— Да. Тот, у кого длинный язык.

— Вы знаете, как мы поступаем с такими?

— Не петушиться,— сказал я.— Вы ко мне обратились. Я вам ничего не предлагал.

— Замолчи, Панчо,— сказал сердитому тот, что говорил первым.

— Он сказал, что мы будем болтать,— сказал Панчо.

— Слушайте,— сказал я.— Я вам говорил, что не берусь перевозить ничего такого, что *может* болтать. Ящики с вином не могут болтать. Четвертные бутылки не могут болтать. Есть еще многое, что не может болтать. Люди могут болтать.

— А китайцы не могут болтать? — сказал Панчо со злостью.

— Они могут болтать, но я их не понимаю,— ответил я ему.

— Значит, вы не хотите?

— Я вам уже вчера сказал. Я не могу.

— Но вы не станете болтать? — сказал Панчо.

Он меня не понимал и оттого злился. Да, пожалуй, и оттого, что дело не выходило. Я ему даже не ответил.

— Вы-то сами не из *lenguas largas*? — спросил он все еще злобно.

— Кажется, нет.

— Это что такое? Угроза?

— Слушайте,— ответил я ему.— Охота вам петушиться в такую рань. Я уверен, что вы немало глоток перерезали. Но я еще даже кофе не пил.

— Так вы уверены, что я режу людям глотки.

— Нет,— сказал я.— И вообще мне на это наплевать. Разве нельзя говорить о деле и не беситься?

— Да, я взбешен,— ответил он.— Я вас убить готов.

— Тыфу, черт,— сказал я ему.— Да придержи ты язык.

— Ну, будет, Панчо,— сказал первый. Потом мне: — Очень жаль. Я бы хотел, чтоб вы перевезли нас.

— Мне тоже очень жаль. Но я не могу.

Все трое направились к двери, и я смотрел им вслед. Они были красивые молодые люди, хорошо одетые: все без шляп, поглядеть на них, так было похоже, будто у них денег хоть отбавляй. Послушать их, так, во всяком случае, было на то похоже; они и по-английски говорили, как говорят кубинцы из богатых.

Двое из них были, видно, братья, а третий, Панчо, чуть повыше ростом, но из той же породы. Знаете, статная фигура, хороший костюм, блестящие волосы. Я подумал, что не такой уж он, верпо, злой, как кажется. Он, верно, просто нервничает.

Как только они вышли из кафе и повернули направо, я увидел, что через площадь мчится к ним закрытая машина. Первым делом зазвенело оконное стекло, и пуля врезалась в пирамиду бутылок в правом углу витрины. Я услышал выстрелы, и — боп-боп-боп — вся пирамида разлетелась вдребезги.

Я прыгнул за стойку и видел все, выглядывая слева из-за края. Машина остановилась, и возле нее присели на корточках два человека. У одного был автомат Томпсона, а у другого магазинный дробовик с отпиленным стволом. Тот, что с автоматом, был негр. Другой был в белом шоферском пыльнике.

Один из кубинцев лежал на тротуаре ничком, как раз под разбитой витриной. Два других спрятались за фургон компании «Тропическое пиво», только что подъехавший со льдом к соседнему бару. Одна лошадь упала и билась в упряжи, другая неистово мотала головой.

Один из кубинцев выстрелил из-за фургона, и пуля отскочила, ударившись о тротуар. Негр с «томпсоном» прыгнул почти к самой земле и выпустил заряд под фургон, — и верно: за фургоном один упал, головой на тротуар. Он судорожно дергался, закрыв голову руками, и шофер выстрелил в него из дробовика, пока негр вставлял новую обойму. Заряд был основательный. По всему тротуару виднелись следы дробин, точно серебряные брызги.

Второй кубинец за ноги оттащил раненого под прикрытие фургона, и я увидел, как негр снова прыгнул к мостовой, чтобы выпустить еще заряд. Но тут вдруг мой

друг Панчо стал огибать фургон с другой стороны, прячась за той лошадей, которая устояла на ногах. Он вышел из-за лошади, белый, как грязная простыня, и выстрелил в шофера из своего «люгера», держа его обеими руками для большей устойчивости. Он, не останавливаясь, дважды выстрелил поверх головы негра и один раз ниже.

Он попал в шину, потому что я видел, как взвилась струя пыли, когда воздух стал выходить из камеры, и негр, подпустив его на десять шагов, выстрелил ему в живот из своего «томми», истратив, должно быть, последний заряд, потому что я видел, как он отбросил автомат, а друг Панчо с размаху сел на мостовую и потом повалился ничком. Он пытался встать, все еще не выпуская из рук свой «люгер», но не мог поднять головы, и тогда негр взял дробовик, который лежал у колеса машины, рядом с шофером, и снес ему половину черепа. Ай да негр.

Я живо глотнул из первой откупоренной бутылки, попавшей мне на глаза, даже не разобрал, что в ней было. Вся эта история очень мне не понравилась. Я юркнул прямо из-за стойки в кухню и черным ходом выбрался на улицу. Я миновал площадь в обход, ни разу даже не оглянувшись на толпу, которая сбежалась к кафе, прошел через ворота и вышел на пристань прямо к лодке.

Тип, который зафрахтовал ее, был уже там и ждал. Я рассказал ему, что произошло.

— А где Эдди? — спросил Джонсон, этот самый тип, который нас зафрахтовал.

— Как началась стрельба, я его больше не видел.

— Может быть, он ранен?

— Какого черта! Я же вам говорил, выстрелы попали только в витрину. Это когда автомобиль их нагонял. Когда застрелили первого прямо под окном кафе. Они схали вот под таким углом...

— Откуда вы это все так хорошо знаете? — спросил он.

— Я смотрел, — ответил я ему.

Тут, подняв голову, я увидел, что по пристани идет Эдди, еще более длинный и расхлябанный, чем всегда. Он ступал так, словно у него все суставы были развинчены.

— Вот он.

У Эдди вид был неважный. Он и всегда-то не слишком хорош по утрам, но сейчас у него вид был совсем неважный.

— Ты где был? — спросил я его.

— Лежал на полу.

— Вы видели? — спросил его Джонсон.

— Не говорите об этом, мистер Джонсон, — сказал ему Эдди. — Мне тошно даже вспоминать об этом.

— Выпить вам надо, — ответил Джонсон. Потом он сказал мне: — Ну как, выйдем сегодня?

— Зависит от вас.

— Какая будет погода?

— Такая же, как вчера. Может быть, даже лучше.

— Так давайте выйдем.

— Ладно, как только принесут наживку.

Мы уже три недели возили этого молодчика на рыбную ловлю, и я пока не видел от него ни цента, кроме сотни долларов, которые он мне дал еще до переезда на Кубу, чтобы уплатить консулу, получить разрешение на выход из порта, запасти бензину и кой-какой еды. Мы уговорились по тридцать пять долларов в день, рыболовная снасть моя. Он ночевал в отеле и каждое утро приходил на пристань. Устроил мне это дело Эдди, так что пришлось и его взять с собой. Я платил ему четыре доллара в день.

— Мне надо запасти бензину, — сказал я Джонсону.

— Ну что ж.

— На это нужны деньги.

— Сколько?

— Галлон стоит двадцать восемь центов. Надо галлонов сорок, не меньше. Это будет одиннадцать двадцать.

Он вынул пятнадцать долларов.

— Может, остальные засчитаем за пиво и лед? — спросил я.

— Превосходно, — сказал он. — Пусть это идет в счет моего долга.

Я подумал, что три недели — срок не маленький, но если ему вообще можно верить, то не все ли равно, в конце концов. Конечно, лучше бы рассчитывать каждую неделю. Но мне случилось и месяц возить в долг и потом все получать сполна. Это была моя ошибка, но сначала я всегда соглашался ждать, на радостях, что случился клиент. Только последние дни я начал беспокоиться, но не стал ничего говорить, боясь, как бы он не рассердился. Если ему вообще можно верить, так чем дольше он будет сидеть, тем лучше.

— Бутылку пива? — спросил он, вскрывая ящик.

— Нет, спасибо.

Тут как раз показался на пристани негр, который

наживлял нам удочки, и я сказал Эдди, чтоб он приготовился отчаливать.

Негр с наживкой вошел в лодку, и мы отчалили и пошли к выходу из гавани, а негр стал насаживать макрелей на крючки: он вставлял им крючок в рот, пропускал его под жабрами, вспарывая бок, и, проткнув туловище насквозь, выводил крючок наружу, потом завязывал рот, прижав его к проволочному поводку, и накрепко привязывал крючок, так чтоб он не выскальзывал, и наживка двигалась плавно, не вертась.

Это был самый настоящий черный негр, подтянутый и мрачный, с голубым амулетом на шее под рубашкой и в старой соломенной шляпе. На лодке он больше всего любил спать и читать газеты. Но он был проворный и хорошо умел наживлять удочки.

— Разве вы сами не умеете наживлять, капитан? — спросил меня Джонсон.

— Умею, сэр.

— Зачем же вы берете негра?

— Когда пойдет крупная рыба, тогда увидите, — ответил я ему.

— А что?

— Негр делает это проворнее, чем я.

— А Эдди не может это делать?

— Нет, сэр.

— По-моему, это лишний расход. — Он платил негру доллар в день, и негр каждый вечер ходил танцевать румбу. Я видел, что его уже клонит ко сну.

— Без негра не обойтись, — сказал я.

Тем временем мы уже миновали смаки, стоявшие на якоре против Кабаньяс, и рыбачьи ялики, бросившие якорь, чтобы ловить рыбу с каменистого дна у форта Морро, и я повел лодку туда, где чернел Мексиканский залив. Эдди достал два больших поплавка, а негр наживил три удочки.

Гольфстрим подходил к самому мелководью, и когда мы приблизились, вода казалась почти фиолетовой в частых водоворотах. Дул легкий восточный ветер, и мы вспугнули много летучих рыб, знаете, таких больших, с черными крыльями: они когда взлетают — точь-в-точь самолет на картинке, изображающей трансатлантический перелет Линдберга.

Эти большие летучие рыбы — самый верный признак. Всюду, насколько хватало глаз, виднелись кучки тех желтоватых водорослей, которые показывают, что главное

течение проходит на большой глубине; а впереди над стаей мелких тунцов кружились птицы. Видно было, как тунцы выпрыгивают из воды: маленькие, не больше двух-трех фунтов весу.

— Теперь можете закидывать,— сказал я Джонсону.

Он надел на себя пояс и закинул самую большую удочку с катушкой Гарди на шестьсот ярдов лесы в тридцать шесть нитей. Я оглянулся и увидел, что наживка спокойно плывет сзади, чуть покачиваясь на волнах, а оба поплавка подпрыгивают и ныряют. Мы шли с нужной скоростью, и я направил лодку к главной струе Гольфстрима.

— Укрепите удилище в гнезде у борта,— сказал я.— Тогда не так тяжело будет держать. Освободите тормоз, чтобы можно было отпустить лесу, когда клюнет. Если рыба клюнет при завинченном тормозе, она вас стащит за борт.

Каждый день мне приходилось повторять ему это, но я не сердился. Из пятидесяти любителей, которых приходится возить, умеет ловить рыбу ну разве что один. Да и этот один чаще всего валяет дурака и непременно выбирает такую лесу, которая слишком слаба для настоящей рыбы.

— Ну как денек? — спросил Джонсон.

— Лучше не придумаешь,— ответил я ему. И верно, день выдался хороший.

Я передал штурвал негру и велел ему держать вдоль края Гольфстрима, на восток, а сам пошел к Джонсону, который сидел и смотрел, как его наживка покачивается на волнах.

— Может, мне закинуть вторую удочку? — спросил я его.

— Да нет, не стоит,— сказал он.— Я сам хочу и подсекать, и тянуть, и втаскивать свой улов.

— Хорошо,— сказал я.— Может, Эдди только закинет удочку, а как клюнет, он передаст ее вам, чтобы вы могли сами тянуть?

— Нет,— сказал он.— Пусть будет только одна удочка.

— Ладно.

Негр все еще разворачивался, и я посмотрел и увидел стаю летучих рыб, которая поднялась в воздух немного впереди лодки. Негр, видно, тоже ее заметил. Оглядываясь назад, я видел Гавану, красиво освещенную солнцем, и пароход, который выходил из порта со стороны Морро.

— Я думаю, сегодня вам что-нибудь удастся заполучить, мистер Джонсон,— сказал я ему.

— Пора бы,— сказал он.— Сколько времени мы уже плаваем?

— Сегодня три недели.

— Немалый срок для рыбной ловли.

— Такая уж это рыба,— ответил я ему.— Пока не пойдет, так ни одной нет. Но зато как пойдет, так ее прямо прорва. А пойти она должна. Если сегодня не пойдет, значит, никогда не пойдет. Луна теперь в самый раз. Течение хорошее, и поднимается хороший ветер.

— Мы видели несколько мелких в первый наш выход.

— Да,— сказал я.— Я так вам и говорил. Мелкая рыба разбредается и исчезает, а потом идет крупная.

— У вас, у лодочников, всегда одна и та же песня. Или слишком рано, или слишком поздно, или ветер неподходящий, или луна не годится. А деньги все равно берете.

— Как сказать,— ответил я ему.— Беда в том, что обычно так оно и бывает: или слишком рано, или слишком поздно, и ветер тоже чаще всего неподходящий. А когда выдается такой день, что все как нужно, так сидишь на берегу без клиентов.

— Но сегодня, по-вашему, хороший день?

— Как сказать,— ответил я ему.— Я сегодня уже много чего насмотрелся. Но я уверен, что вы паловите прорву рыбы.

— Будем надеяться,— сказал он.

Мы приготовились к лову. Эдди пошел на бак и улегся там.

Я стоял и следил, не мелькнет ли в воде хвост. Негр то и дело клевал носом, так что приходилось следить и за ним тоже. Бьюсь об заклад, он не терял времени ночью.

— Вам не трудно передать мне бутылку пива, капитан? — спросил Джонсон.

— Нет, сэр,— сказал я и запустил руку в лед, чтобы достать ему похолоднее.

— А вы не хотите? — спросил он.

— Нет, сэр,— сказал я.— Я подожду вечера.

Я откупорил бутылку и уже протянул ему, как вдруг вижу, здоровенная бурая рыбина, с мечом чуть не в метр длиной, высунула голову из воды и бросилась на нашу макрель. Она казалась толщиной с бревно.

— Отпустите лесу! — заорал я.

— Она не клюнула,— сказал Джонсон.

— Тогда завинтите тормоз.

Она всплыла из самой глубины и промахнулась. Я знал, что она нырнет и возвратится.

— Теперь смотрите — как только она схватит наживку, сейчас же освобождайте лесу.

Тут я увидел, что она подплывает сзади, под водой. Видны были ее плавники, растопыренные, как красные крылья, и красные полосы по бурому туловищу. Она плыла, точно подводная лодка, и ее спинной плавник высунулся на поверхность, и видно было, как он рассекает воду. Потом она подплыла к самой наживке и тогда высунула меч и словно помахала им над поверхностью воды.

— Дайте ей схватить, — сказал я. Джонсон снял руку с катушки, и катушка завизжала, и огромная рыба повернулась и ушла под воду, и было видно, как ее туловище блеснуло серебром, когда она изменила направление и быстро поплыла к берегу.

— Подвинтите чуть-чуть тормоз, — сказал я. — Но не слишком.

Он стал завинчивать тормоз.

— Только не слишком, — сказал я. Я увидел, как леса отклонилась в сторону. — Завинтите тормоз и тяните, — сказал я. — Нужно тянуть. Она непременно выпрыгнет.

Джонсон завинтил тормоз и снова взялся за удилище.

— Дергайте, — сказал я ему. — Загоняйте крючок глубже. Дерните раз пять.

Он дернул довольно сильно еще раза два, и потом удочка согнулась вдвое, и катушка закрипела, и вот она выпрыгнула, — гоп! — длинная и прямая, сверкнув серебром на солнце, и снова нырнула с таким всплеском, словно лодка сорвалась со скалы.

— Отпустите тормоз, — сказал я ему.

— Она ушла, — сказал Джонсон.

— Какого черта, — ответил я ему. — Живо отпустите тормоз.

Я увидел, как прогибается леса, и когда рыба выпрыгнула опять, она была уже за кормой и плыла в открытом море. Потом она показалась еще раз и взбила вокруг себя пену, и я увидел, что крючок зацепил ее за угол рта. Полосы на ней были ясно видны. Это была великолепная меч-рыба, вся серебряная, в красных полосах и толщиной с бревно.

— Ушла, — сказал Джонсон. Леса свободно повисла.

— Сматывайте, сматывайте, — сказал я. — Крючок вошел крепко. Давай полный ход! — заорал я на негра.

Потом она выпрыгнула еще раз и другой, прямая, как столб, всем туловищем кидаясь прямо на нас и при падении высоко разбрызгивая воду. Леса туго натянулась, и я увидел, что она плывет опять к берегу, и видно было, как она поворачивает.

— Вот теперь начнется гонка,— сказал я.— Если она станет рваться, я надам ходу. Держите тормоз совсем свободно. Лесы на катушке еще много.

Наша рыбина поплыла на северо-запад, как полагается всякой крупной рыбе, и, ух ты, до чего же она рвалась! Она стала прыгать большими скачками и всякий раз ныряла, рассекая воду с таким всплеском, точно быстроходная лодка при большой волне. Мы шли за ней. Я стоял у штурвала и не переставал орать на Джонсона, чтобы он свободно держал тормоз и сматывал побыстрее. Вдруг я увидел, что его удочка подскочила и леса повисла. Кто не понимает, не заметил бы этого, потому что леса своей тяжестью все-таки тянула удочку. Но я-то понимаю.

— Ушла,— сказал я ему. Рыба все еще прыгала и продолжала прыгать, пока не скрылась из виду. Это была в самом деле великолепная рыба.

— Но я чувствую, как она тянет,— сказал Джонсон.

— Это тяжесть леса.

— Сильно тянет. Может быть, она издохла?

— Посмотрите,— сказал я.— Вон она прыгает.— В полумиле от нас было видно, как она фонтаном разбрасывала вокруг себя воду.

Я тронул тормоз его катушки. Он был завинчен до отказа. Леса не сматывалась. Она должна была лопнуть.

— Разве я вам не говорил, чтобы вы держали тормоз свободно?

— Но она все тянула.

— Ну и что же?

— Ну и я завинтил тормоз.

— Слушайте,— сказал я.— Если не отпускать лесу, когда рыба так рвется, леса непременно лопнет. Нет такой леса, которая могла бы выдержать. Раз рыба требует, нужно отпускать. Тормоз нужно держать совсем свободно. Иначе такую рыбу не удержать даже гарпунной веревкой. А наше дело не отставать от нее, пока не кончится гонка, чтобы она не смотала всю лесу. А когда кончится гонка и она уйдет на дно, тогда можно завинтить тормоз и выбирать лесу.

— Значит, если б леса не лопнула, я бы поймал ее?

— Могли бы поймать.

— Она же не может прыгать так без конца.

— Она еще не то может. Только когда кончится гонка, начинается самая борьба.

— Ну давайте поймаем другую, — сказал он.

— Раньше надо выбрать лесу, — ответил я ему.

Мы успели зацепить и упустить рыбу, а Эдди все спал. Теперь только Эдди пришел на корму.

— Что случилось? — спросил он.

Эдди был когда-то хорошим матросом, пока не спился, но теперь он никуда не годится. Он стоял передо мной, длинный, вислогубый, со впалыми щеками, с беловатыми сгустками в углах глаз, с выгоревшими на солнце волосами. Я знал, что ему до смерти хочется опохмелиться.

— Возьми выпей пива, — сказал я ему. Он вытащил из ящика бутылку и выпил.

— Что ж, мистер Джонсон, — сказал он. — Я, пожалуй, еще вздремну. Очень вам благодарен за пиво, сэр. — Ай да Эдди. Рыба его нимало не интересовала.

А около полудня мы подцепили еще одну, но она ушла. Видно было, как крючок взлетел футов на тридцать, когда она выбросила его.

— Опять я что-нибудь не так сделал? — спросил Джонсон.

— Нет, — сказал я. — Просто она выбросила крючок.

— Мистер Джонсон, — сказал Эдди, который тем временем проснулся, чтобы выпить еще бутылку пива, — мистер Джонсон, вам просто не везет. Может, вам везет в любви. Погуляем с вами вечером, мистер Джонсон? — Затем он снова пошел на бак и улегся.

Часов около четырех, на обратном пути, когда мы шли совсем близко к берегу и против течения, — оно бурлило, как в мельничном лотке, а солнце светило нам в спину, — у Джонсона клюнула такая большая черная меч-рыба, какой я никогда не видал. Мы поймали четырех маленьких тунцов, и негр насадил одного из них на крючок Джонсона. Это была неплохая наживка, только очень громко плескалась за кормой.

Джонсон снял с себя пояс и положил удилище на колени — у него устали руки, оттого что он все время держал его на весу. Устав следить за лесой, которую оттягивала крупная наживка, он завинтил тормоз, когда я отвернулся. Я понятия не имел, что он его завинтил. Мне не нравилось, как он держит удилище, но неохота было все время

ворчать на него. К тому же, когда тормоз открыт, леса сматывается, так что это не опасно. Но по-настоящему так рыбу не ловят.

Я стоял у штурвала и вел лодку вдоль главной струи к тому месту напротив старого цементного завода, где она опускается на большую глубину и образует невдалеке от берега что-то вроде воронки, и там всегда полно мелкой рыбы для наживки. Вдруг я увидел впереди фонтан брызг, как от бомбы, и меч, и глаз, и раскрытую пасть, и огромную красно-черную голову черной меч-рыбы. Ее спинной плавник весь торчал над водой, высотой чуть не с оснащенное судно, и хвост тоже весь высунулся из воды, когда она бросилась на нашего тунца. Меч у нее был толщину с бейсбольную битку и скошен кверху, и, когда она схватила наживку, поверхность океана широко раздалась перед ней. Она была вся черная с красным, и каждый глаз у нее был с суповую чашку. Огромная была рыбина. Бьюсь об заклад, она потянула бы тысячу фунтов.

Я заорал на Джонсона, чтоб он отпустил лесу; но прежде, чем я успел вымолвить слово, я увидел, как Джонсон взлетел на воздух, точно вздернутый подъемным краном, и еще секунду он держался за свое удилище, но удилище согнулось, как лук, а потом, распрямившись, ударило его толстым концом в живот, и вся снасть полетела за борт.

Тормоз был завинчен до отказа, и когда рыба дернула, Джонсона сорвало с сиденья, и он не мог удержать удочку. Удилище лежало у него на правом колене и толстым концом было подсунуто под левое. Если б он не спял пояса, его бы стащило в воду.

Я выключил мотор и пошел на корму. Он сидел и держался за живот, куда угодил конец удилища.

— Пожалуй, на сегодня хватит, — сказал я.

— Что это было? — спросил он меня.

— Черная меч-рыба, — сказал я.

— Как это случилось?

— Вы лучше подсчитайте, — сказал я. — Катوشка стоила мне двести пятьдесят долларов. Теперь такая стоит еще дороже. Удочка стоила сорок пять. Там было без малого шестьсот ярдов лесы в тридцать шесть нитей.

Тут Эдди хлопнул его по спине.

— Мистер Джонсон, — сказал он, — вам просто не везет. Первый раз в жизни вижу такое.

— Заткнись ты, пьянчуга, — сказал я ему.

— Нет, правда, мистер Джонсон,— сказал Эдди.— В жизни не видел ничего подобного.

— Что бы со мной было, если б меня потащила такая рыба,— сказал Джонсон.

— Вы же хотели все сделать сами,— ответил я. Я был вол как черт.

— Очень они большие,— сказал Джонсон.— Это уже не удовольствие, а мученье.

— Да,— сказал я.— Такая рыба могла бы убить вас.

— Но ведь ловят же их.

— Ловит тот, кто умеет. Но вы не думайте, всякому приходится мучиться.

— Я видел фотографию девушки, которая поймала такую.

— Как же,— сказал я.— Только не живьем. Рыба проглотила наживку, и у нее вырвался желудок, тогда она всплыла на поверхность и издохла. А я говорю про ловлю волоком, когда крючок только зацепляет за губу.

— Ну,— сказал Джонсон,— уж очень они большие. Раз это не весело, зачем это делать?

— Вот именно, мистер Джонсон,— сказал Эдди.— Раз это не весело, зачем это делать? Слушайте, мистер Джонсон, вы попали не в бровь, а прямо в глаз. Раз это не весело — зачем это делать?

Мне все еще мерещилась эта рыба и было здорово досадно из-за снасти, и я их не слушал. Я велел негру повернуть на Морро. Я ничего не говорил им, и они мирно сидели, Эдди на одном стуле, с бутылкой пива в руках, а Джонсон на другом.

— Капитан,— сказал он немного спустя,— не приготовите ли вы мне хайболл? ¹

Я приготовил, не говоря ни слова, а потом налил себе чистого. Я думал о том, как вот этот самый Джонсон третью неделю ездит на рыбную ловлю, подцепил наконец рыбу, за которую настоящий рыбак отдал бы год жизни, упустил ее, упустил мою снасть, разыграл дурака, а теперь сидит как ни в чем не бывало и распивает коктейли с пьянчугой матросом.

Когда мы причалили и негр остановился в ожидании, я спросил:

— Ну, как завтра?

¹ Х а й б о л л — название коктейля.

— Едва ли, — сказал Джонсон. — С меня, пожалуй, такой ловли хватит.

— Хотите сейчас расплатиться с негром?

— Сколько я ему должен?

— Доллар. Можете прибавить на чай, если хотите.

И Джонсон дал негру доллар и две кубинских монетки по двадцать центов.

— Это за что? — спросил меня негр, показывая монеты.

— На чай, — сказал я ему. — Ты больше не нужен. Это он тебе подарил.

— Завтра не приходите?

— Нет.

Негр берет клубок бечевки, которой он привязывал наживку, берет свои темные очки, надевает свою соломенную шляпу и уходит, не прощаясь. Этот негр всегда был невысокого мнения обо всех нас.

— Когда вы думаете рассчитаться, мистер Джонсон? — спросил я его.

— Завтра утром я пойду в банк, — сказал Джонсон. — Мы можем рассчитаться после обеда.

— Вы знаете, сколько всего дней?

— Пятнадцать.

— Нет. С сегодняшним шестнадцать, и по одному дню на переезд, туда и обратно, значит, восемнадцать. Потом еще сегодня удочка, и катушка, и леса.

— Снасть — это уже ваш риск.

— Нет, сэр. Ведь вы ее упустили.

— Я каждый день плачу за прокат. Это ваш риск.

— Нет, сэр, — сказал я. — Если б это рыба сломала удочку и не по вашей вине, тогда другое дело. Но вы сами по своей неловкости упустили всю снасть.

— Рыба вырвала у меня удочку.

— Потому что вы не держали ее в гнезде и завили тормоз.

— Вы не имеете права взыскивать за это деньги.

— Если вы наняли автомобиль и разбили его о скалу, по-вашему, вы не должны платить за него?

— Если я сам в нем ехал — нет, — сказал Джонсон.

— Вот это ловко, мистер Джонсон, — сказал Эдди. — Понимаешь, капитан, а? Если б он в нем ехал, он бы убится насмерть. Вот ему и не пришлось бы платить. Ловко придумано.

Я не обратил на пьянчугу никакого внимания.

— Вы мне должны двести девяносто пять долларов за удочку, катушку и лесу,— сказал я Джонсону.

— Нет, это неправильно,— сказал он.— Но если уж вы так считаете, давайте поделим убыток пополам.

— Мне не купить новой снасти меньше чем за триста шестьдесят. Лесу я вам в счет не ставлю. Такая рыба, как эта, могла смотать всю лесу, и вашей вины бы тут не было. Случись здесь кто-нибудь, кроме этого пьянчуги, вам бы подтвердили, что я с вас лишнего не спрашиваю. Конечно, может показаться, будто это деньги немалые, но ведь когда я покупал снасть, это тоже были немалые деньги. На такую рыбу нечего и выходить, если не с самой лучшей снастью, какая только есть в продаже.

— Мистер Джонсон, он говорит, что я пьянчуга. Может, оно и так. Но я должен сказать — он прав. Он прав и рассуждает справедливо,— сказал ему Эдди.

— Не будем спорить,— сказал наконец Джонсон.— Я заплачу, хоть я и не согласен с вами. Значит, восемнадцать дней по тридцать пять долларов и еще двести девяносто пять.

— Сотню вы мне дали,— сказал я ему.— Я дам вам список всех своих покупок и вычту, что там еще осталось из еды. Из того, что вы покупали на дорогу туда и обратно.

— Это справедливо,— сказал Джонсон.

— Слушайте, мистер Джонсон,— сказал Эдди.— Если б вы знали, как тут всегда дерут с иностранцев, вы бы сами сказали, что это больше чем справедливо. Знаете, что я вам скажу? Это просто удивительно. Капитан поступает с вами так, как будто вы его родная мамаша.

— Завтра я схожу в банк и после обеда приду сюда. А с послезавтрашним пароходом я уеду.

— Вы можете вернуться с нами на лодке и сэкономить плату за проезд.

— Нет,— сказал он.— Пароходом я сэкономлю время.

— Ладно,— сказал я.— Может, выпьем?

— Отлично,— сказал Джонсон.— Значит, никто не в обиде?

— Никто, сэр,— ответил я. И вот мы уселись втроем на корме и вместе выпили по хайболлу.

На следующий день я все утро провозился с лодкой, менял масло, приводил в порядок то, другое. В полдень я отправился в город и закусил в китайском ресторанчике, где за сорок центов можно прилично позавтракать, а потом купил кое-какие подарки жене и нашим трем девоч-

кал. Духи там, веера, три высоких испанских гребня. Покончив с этим, я завернул к Доновану, и выпил пива, и поболтал с хозяином, и потом пошел обратно на пристань Сан-Франциско, и по дороге еще два-три раза завернул выпить пива. В баре «Кунард» я угостил пивом Фрэнки и вернулся на лодку в самом лучшем расположении духа. Когда я вернулся на лодку, у меня оставалось ровно сорок центов. Фрэнки тоже пришел со мной, и пока мы сидели и дожидались Джонсона, мы с Фрэнки распили еще по бутылке холодного из ящика со льдом.

Эдди не показывался всю ночь и весь день, но я знал, что рано или поздно он явится, — как только ему перестанут давать в долг. Доновап сказал мне, что накануне вечером они с Джонсоном заходили к нему ненадолго и Эдди угощал в долг. Мы ждали, и я начал удивляться, почему это Джонсон не показывается. Я просил на пристани передать ему, если он придет раньше меня, чтобы он шел к лодке и там дожидался, но оказалось, что он не приходил. Я решил, что он вчера загулял и, должно быть, встал сегодня не раньше двенадцати. Банки открыты до половины четвертого. Мы видели, как ушел рейсовый самолет, и к половине шестого все мое хорошее настроение испарилось, и мне стало здорово не по себе.

В шесть часов я послал Фрэнки в отель узнать, там ли Джонсон. Я все еще думал, может, он загулял или, может, так раскис после вчерашнего, что не в силах встать и выйти из отеля. Я все ждал и ждал, пока уже совсем не стемнело. Но мне было здорово не по себе, потому что он мне остался должен восемьсот двадцать пять долларов.

Фрэнки не было около получаса. Наконец я его увидел, он шел очень быстро и тряс головой.

— Улетел на самолете, — сказал он.

Так. Нечего сказать. Консульство было уже закрыто. У меня оставалось сорок центов, и все равно самолет теперь уже был в Майами. Я не мог даже дать телеграмму. Ай да мистер Джонсон, нечего сказать. Что ж, я сам виноват. Нужно быть умнее.

— Ладно, — сказал я Фрэнки. — Во всяком случае, можно выпить бутылку холодного. Это мистер Джонсон покупал. — В ящике оставалось еще три бутылки «Тропического».

Фрэнки был сгорчен не меньше меня. Уж не знаю почему, но так казалось. Он все хлопал меня по спине и тряс головой.

Значит, так. Я нищий. Я потерял пятьсот тридцать долларов фрахта, а спасти мне такой не купить и за триста пятьдесят. Вот порадуются бездельники, которые вечно слоняются вокруг пристани, подумал я. Кое-кто из кончей¹ будет просто в восторге. А еще позавчера я не захотел взять три тысячи долларов только за то, чтобы переправить трех иностранцев на острова. Куда угодно, лишь бы подальше от Кубы.

Так, но что же все-таки теперь делать? Взять груз я не могу, потому что спиртного тоже без денег не купишь, и потом, сейчас на этом не заработаешь. Город наводнен спиртным, и покупать его некому. Что ж, значит, возвращаться домой нищим и голодать целое лето? Ведь у меня семья. Разрешение на выход из порта я оплатил, когда мы приехали. Обычно заранее вносишь деньги агенту, и он тебя регистрирует и выдает разрешение. Черт подери, у меня не хватит денег даже на бензин. Положение, нечего сказать. Ай да мистер Джонсон.

— Я что-нибудь должен повезти отсюда, Фрэнки,— сказал я.— Я должен заработать.

— Подумаем,— сказал Фрэнки. Он вечно слопается на берегу и промышляет чем придется, и он почти глухой и напивается каждый вечер. Но лучше и добрей его трудно найти человека. Я его знаю с тех пор, как стал ездить в эти края. Он не раз помогал мне грузить товар. Потом, когда я бросил заниматься спиртным и стал сдавать лодку любителям и затеял эту ловлю меч-рыбы в заливе, я часто встречал его около пристани или в кафе. Он кажется дурачком и мало разговаривает, все больше улыбается, по это потому, что он глухой.

— Повезешь все равно что?

— Понятно,— сказал я.— Мне теперь разбирать не приходится.

— Все равно что?

— Понятно.

— Подумаем,— сказал Фрэнки.— Где будешь?

— Я буду в «Жемчужине»,— сказал я.— Надо поесть.

В «Жемчужине» за двадцать пять центов можно plentifulно пообедать. Любое блюдо, кроме супа, стоит десять центов, а суп стоит пять. Фрэнки проводил меня до кафе,

¹ Копчами (от слова *concha* — ракушка) называют на Багамских и Флоридских островах беднейшую часть белого населения, занимающуюся главным образом сбором ракушек.

и я вошел, а он пошел дальше. Прежде чем уйти, он потряс мою руку и еще раз хлопнул меня по плечу.

— Не унывай,— сказал он.— Вот я — Фрэнки: много политика. Много дела. Много выпивка. Мало деньги. Зато большой друг. Не унывай.

— Будь здоров, Фрэнки,— сказал я.— Ты тоже не унывай, приятель.

Глава вторая

Я вошел в «Жемчужину» и сел за столик. На место стекла, разбитого выстрелом, уже вставили новое, и витрину привели в порядок. Несколько gallegos¹ пили у стойки, другие закусывали. За одним столом шла игра в домино. Я взял бобовый суп и тушеную говядину с картофелем за пятнадцать центов. Вместе с бутылкой пива это составило четверть доллара. Я заговорил было с официантом про стрельбу, но он ничего не хотел отвечать. Они все здорово были напуганы.

Я кончил свой обед, и сидел откинувшись, и курил сигарету, и ломал голову над тем, как быть. Тут я увидел, что в дверь входит Фрэнки и за ним кто-то еще. Желтый товар, подумал я про себя. Так значит, желтый товар.

— Это мистер Синг,— сказал Фрэнки и улыбнулся. Он быстро сумел найти мне клиента и гордился этим.

— Очень приятно,— сказал мистер Синг.

В жизни не видал такого вылощенного джентльмена, как этот мистер Синг. Он, правда, был китаец, но говорил точно англичанин, и на нем был белый костюм, шелковая рубашка с черным галстуком и панама из того сорта, что по сто двадцать пять долларов за штуку.

— Не выпьете ли чашку кофе? — спросил он меня.

— За компанию можно.

— Благодарю вас,— сказал мистер Синг.— Мы здесь совсем одни?

— Если не считать всю публику в кафе,— ответил я ему.

— Очень хорошо,— сказал мистер Синг.— У вас есть лодка?

— Тридцать восемь футов,— сказал я.— Керматовский мотор сто лошадиных сил.

¹ Первоначальное значение — уроженец испанской провинции Галисия; применяется как насмешливое прозвище.

— Вот как? — сказал мистер Синг. — Я себе представлял судно несколько больше.

— Она свободно берет двести шестьдесят пять ящиков груза.

— Я бы мог зафрахтовать ее? '

— На каких условиях?

— Вам ехать не нужно. У меня есть и капитан и команда.

— Нет, — сказал я. — Куда лодка, туда и я с ней.

— Ясно, — сказал мистер Синг. — Может быть, вы нас оставите вдвоем? — сказал он Фрэнки. Фрэнки изобразил на своем лице внимание и улыбнулся ему.

— Он глухой, — сказал я. — Он плохо понимает по-английски.

— Ясно, — сказал мистер Синг. — Вы говорите по-испански. Скажите ему, чтоб он присоединился к нам попозже.

Я сделал Фрэнки знак большим пальцем. Он встал и отошел к стойке.

— А вы не говорите по-испански? — спросил я.

— Ну что вы, — сказал мистер Синг. — Скажите, каковы обстоятельства, которые привели... которые побудили вас заинтересоваться?

— Мне нужны деньги.

— Ясно, — сказал мистер Синг. — За лодкой числятся какие-нибудь долги? На нее могут наложить арест?

— Нет.

— Превосходно, — сказал мистер Синг. — Сколько моих несчастных соотечественников можно разместить на вашей лодке?

— Вы хотите сказать — переправить?

— Совершенно верно.

— Как далеко?

— День пути.

— Не знаю, — сказал я. — Человек двенадцать, если без багажа.

— Без всякого багажа.

— Куда их требуется доставить?

— Это на ваше усмотрение, — сказал мистер Синг.

— Что именно, — где их высадить?

— Вы возьмете их с тем, чтобы везти на Тортугас, куда за ними должна прийти шхуна.

— Слушайте, — сказал я, — на Тортугас, на Логгерхед-Ки есть маяк и при нем радиостанция.

— Правильно,— сказал мистер Синг,— было бы, разумеется, глупо высаживать их там.

— Так как же?

— Я сказал: вы возьмете их с тем, чтобы везти туда. Так с ними условлено.

— Да,— сказал я.

— Высадите вы их там, где вы найдете нужным.

— Но шхуна придет за ними на Тортугас?

— Конечно нет,— сказал мистер Синг.— Что за глупости.

— Сколько вы даете с головы?

— Пятьдесят долларов.

— Не пойдет.

— Ну, а если семьдесят пять?

— Сколько вы сами получаете с головы?

— О, это совершенно не относится к делу. Видите ли, мою роль в этом деле можно рассматривать с разных сторон, или, как говорится, под разными углами. Она этим не ограничивается.

— Да,— сказал я.— А то, что я должен сделать, по-вашему, не стоит денег? Так, что ли?

— Я вполне вас понимаю,— сказал мистер Синг.— Что ж, скажем — по сто долларов.

— Слушайте,— сказал я.— Вы знаете, сколько лет тюрьмы я получу, если меня поймают?

— Десять,— сказал мистер Синг.— Не меньше десяти. Но почему непременно тюрьма, дорогой капитан? Для вас здесь есть только один рискованный момент — погрузка пассажиров. Все остальное зависит от вашей осмотрительности.

— А если они вернутся и потребуют вас к ответу?

— Нет ничего проще. Я обвиню вас в том, что вы меня обманули. Затем я частично возмещу им расходы и отправлю их спова. Им, конечно, известно, что это путешествие связано с трудностями.

— А со мной как?

— Думаю, что мне придется кое-что сообщить в консульство.

— Ясно.

— Тысяча двести долларов, капитан, в наше время не такая сумма, чтоб ею пренебрегать.

— Когда я получу деньги?

— Двести — как только вы дадите согласие, и тысячу при погрузке.

— А что, если я возьму эти двести и сбегу?
— Я, конечно, ничего не смогу поделать,— улыбнулся он.— Но я знаю, капитан, что вы так не поступите.
— Эти двести у вас при себе?
— Конечно.
— Положите их под тарелку.
Он положил.
— Ладно,— сказал я.— Утром я выправлю разрешение и, как только стемнеет, выйду в море. Теперь, где мы погрузимся?

— Что вы скажете о Бакураанао?
— Можно. У вас все налажено?
— Конечно.
— Ну, значит так,— сказал я.— Вы зажигаете на мысу два огня, один над другим. Как только я их увижу, и иду к берегу. Вы подъезжаете на лодке и с лодки грузитесь. Но чтобы вы сами тоже были и чтобы привезли депьги. Пока я не получу денег, я ни одного человека не возьму на борт.

— Нет,— сказал он,— половину при начале погрузки и половину, когда закончите.

— Ладно,— сказал я.— Это справедливо.

— Значит, обо всем сговорились?

— Как будто так,— сказал я.— Никакого багажа и никакого оружия. Ни револьверов, ни ножей, ни бритв; ничего. В этом я должен быть уверен.

— Капитан,— сказал мистер Синг,— вы мне не доверяете? Разве вы не видите, что наши интересы совпадают?

— Обещаете проверить?

— Прошу вас, не ставьте меня в неловкое положение. Разве вы не понимаете, что у нас общие интересы?

— Ладно,— сказал я ему.— В котором часу вы там будете?

— В двенадцатом.

— Ладно,— сказал я.— Ну, как будто все.

— Какие купюры вам удобнее?

— Давайте сотнями.

Он встал, и я смотрел, как он шел к выходу. Фрэнки улыбнулся ему, когда он выходил. Мистер Синг не взглянул на него. Выловленный был китаец, что и говорить. Ай да мистер Синг.

Фрэнки подошел к столику.

— Ну как? — спросил он.

— Откуда ты знаешь мистера Синга?

— Он переправляет китайцы,— сказал Фрэнки.— Большой дело.

— Давно ты его знаешь?

— Он тут два лет,— сказал Фрэнки.— Раньше другой переправлял китайцы. Кто-нибудь его убил.

— Кто-нибудь и мистера Синга тоже убьет.

— Попятно,— сказал Фрэнки.— Так надо. Очень большой дело.

— Да уж, дело,— сказал я.

— Большой дело,— сказал Фрэнки.— Переправлена китайцы никогда назад. Другой китайцы пишет письма, пишет все хорошо.

— Замечательно,— сказал я.

— Такой китайцы не умеет писать. Умеет писать китайцы богатый. Такой ничего не кушает. Живет на один рис. Сто тысяч китайцы здесь. Только три китайски женщин.

— Почему?

— Правительство не пускал.

— Весело,— сказал я.

— Ты с ним делал дело?

— Может быть.

— Хороший дело,— сказал Фрэнки.— Лучше политика. Много деньги. Очень большой дело.

— Бутылку пива хочешь? — сказал я ему.

— Ты больше не унывай?

— Нет, нет,— сказал я.— Очень большой дело. Спасибо тебе.

— Ладно,— сказал Фрэнки и потрепал меня по плечу.— Вот и хорошо. Я только хочу, чтобы ты был довольный. Китайцы — хороший дело, а?

— Замечательное.

— Вот и хорошо,— сказал Фрэнки. Я видел, что он готов заплакать от радости, что все так хорошо устроилось, и я потрепал его по плечу. Ай да Фрэнки.

Утром я первым долгом изловил агента и попросил его выправить мне разрешение. Он потребовал список команды, и я сказал ему, что команды нет.

— Вы хотите возвращаться один, капитан?

— Именно так.

— А что с вашим помощником?

— Он запил.

— Одному очень опасно.

— Всего ведь девяносто миль,— сказал я.— От такого пьянчуги пользы тоже немного.

Я перегнал лодку на другую сторону порта, на пристань «Стандард-ойл», и набрал бензину в оба бака. Туда входит около двухсот галлонов. Очень мне не хотелось покупать столько по двадцать восемь центов галлон, но кто его знает, где придется очутиться.

С того часа, как я встретился с китайцем и взял у него деньги, вся эта история не давала мне покою. Ночью я почти не спал. Когда я вернулся на пристань Сан-Франциско, там меня ждал Эдди.

— Здорово, Гарри,— крикнул он мне и помахал рукой. Я бросил ему кормовую чалку, и он закрепил ее, потом взобрал на борт. Он был все тот же, длинный, мутноглазый, еще больше пьяный, чем обычно. Я не сказал ему ни слова.

— Выходит, этот тип, Джонсон, уехал и оставил нас ни с чем? — спросил он меня.— Ты что-нибудь знаешь о нем?

— Убирайся вон,— сказал я ему.— Смотреть на тебя противно.

— Братишка, да разве я не огорчен так же, как и ты?

— Убирайся с лодки,— ответил я ему.

Он только удобнее устроился на сиденье и вытянул ноги.

— Говорят, мы едем сегодня,— сказал он.— Что же, тут в самом деле больше нечего делать.

— Ты не едешь.

— В чем дело, Гарри? Не стоит тебе ссориться со мной.

— Вот как? Убирайся с лодки.

— Ну-ну, полегче.

Я ударил его по лицу, он встал и полез обратно, на пристань.

— Я бы с тобой так не поступил, Гарри,— сказал он.

— Еще бы ты посмел,— ответил я ему.— Я тебя с собой не беру. Вот и все.

— Хорошо, но зачем же было бить меня?

— Чтоб ты это уразумел.

— А что же мне теперь делать? Остаться и голодать?

— Какого черта голодать,— сказал я.— Можешь наняться на рейсовый пароход. Отработаешь обратный путь.

— Ты со мной не по-честному поступаешь,— сказал он.

— Хотел бы я знать, с кем ты поступаешь по-честному, пьянчуга,— ответил я ему.— Ты родную мать готов обжулить.

Это, кстати сказать, было верно. Но мне стало неприятно, что я его ударил. Всегда неприятно, когда побьешь пьяного. Но на такое дело я все равно не мог взять его с собой; даже если бы и хотел.

Он побрел к воротам, длинный, как день без завтрака. Потом он повернулся и пошел обратно.

— Нельзя ли перехватить у тебя доллар-другой, Гарри?

Я дал ему пятидолларовую бумажку из денег китайца.

— Я всегда знал, что ты мне друг, Гарри. Почему ты не хочешь взять меня?

— Ты приносишь несчастье.

— Ты просто взбесился,— сказал он.— Ну, ничего, приятель. Ты еще рад будешь со мной повстречаться.

Теперь, с деньгами в кармане, он пошел гораздо быстрее, но, право, мне противно было даже смотреть, как он ступает. Он ступал так, точно все суставы у него были вывернуты задом наперед.

Я пошел в «Жемчужину» и встретился там с агентом, и он передал мне бумаги, а я угостил его пивом. Потом я сел завтракать, и тут явился Фрэнки.

— Это мне дали для тебя,— сказал он и передал мне что-то скатанное в трубочку, завернутое в бумагу и перевязанное красным шнурком. Когда я снял бумагу, там оказалась какая-то фотография, и я развернул ее, думая, что, может, это кто-нибудь на пристани сфотографировал мою лодку.

Славно. Это был крупный поясной снимок мертвого негра, у которого горло было перерезано от уха до уха и потом аккуратно зашито, а на груди лежал плакатик с надписью по-испански: «Вот как мы поступаем с *«lenguas largas»*».

— Кто тебе дал это? — спросил я Фрэнки.

Он указал на маленького испанца, который работает на пристани. Парнишка стоял у стойки с закусками.

— Скажи ему, пусть подойдет.

Парнишка подошел. Он сказал, что двое молодых людей дали ему это сегодня, часов в одиннадцать. Они спросили, знает ли он меня, и он сказал, что да. Потом он отдал это Фрэнки, чтобы тот передал мне. Они дали ему за это доллар. Они были хорошо одеты, сказал он.

— Политика,— сказал Фрэнки.

— Да, да,— сказал я.

— Они думают, ты говорил полиция про свой встреча с этот молодой люди здесь утром.

— Да, да.

— Плохой политика,— сказал Фрэнки.— Хорошо, ты уезжаешь.

— Они тебе что-нибудь еще поручили? — спросил я маленького испанца.

— Нет, только передать вот это.

— Плохой политика,— сказал Фрэнки.— Очень плохой политика.

Я сложил в одну пачку все бумаги, которые мне передал агент, уплатил по счету и, выйдя из кафе, прошел через площадь и потом в ворота и был очень доволен, когда миновал товарный склад и выбрался на пристань. Эти мальчишки вагнали-таки на меня страху. У них хватило бы глупости вообразить, что я сболтнул кому-нибудь про ту историю. Все они такие же, как Папчо. От страха они распаляются, а когда распалятся, им хочется убить кого-нибудь.

Я поднялся на борт и стал разогревать мотор. Фрэнки стоял на пристани и смотрел. Он улыбался все той же чудной улыбкой глухого. Я подошел к нему поближе.

— Слушай,— сказал я.— Как бы тебе из-за этого не попасть в беду.

Он не слышал. Мне пришлось прокричать ему это.

— Мой хороший политика,— сказал Фрэнки. Он отвязал причальный трос.

Глава третья

Я помахал Фрэнки, бросившему мне копцы, отвел лодку от пристани и направил ее в пролив. Английский грузовой пароход выходил в море, я поравнялся с ним и обогнал его. Он вез большой груз сахара, и вся обшивка у него была ржавая. Какой-то лимонник в старом синем свитере смотрел на меня с кормы, когда я проезжал мимо. Я вышел из гавани и миновал Морро и взял курс на Ки-Уэст, по прямой на север. Я бросил штурвал, пошел на бак и свернул трос, а потом вернулся и выровнял лодку по курсу, так что Гавана сперва вытянулась за кормой, а потом понемногу скрылась из виду, когда между нами встали горы.

Вот уже скрылся из виду Морро, потом отель «Националь» и наконец остался только купол Капитолия. Течение было небольшое по сравнению с тем днем, когда мы последний раз выходили на рыбную ловлю, и дул совсем слабый бриз. Я увидел два смака, возвращавшихся в Гавану, и они шли с запада, так что я понял, что течение слабое.

Я выключил мотор. Не к чему было зря расходовать бензин. Пусть лодку пока сносит течением. Когда стемнеет, я легко сориентируюсь по маяку Морро или, если ее отнесет очень далеко, по огням Кохимама и тогда возьму нужное направление и пойду на Бакураанао. Я рассчитал, что при таком течении ее к наступлению темноты отнесет как раз на двенадцать миль, к самому Бакураанао, и я увижу огни Баракоа.

Значит, я заглушил мотор и полез наверх, чтобы осмотреться. Только и было видно, что два смака на западе, идущих в порт, и позади белый купол Капитолия, высоко поднимающийся над краем океана. На поверхности воды кое-где виднелись желтые водоросли, и в воздухе кружили птицы, но их было немного. Я посидел на крыше рубки, наблюдая, но не увидел никакой рыбы, кроме тех мелких коричневых рыбешек, что всегда сплывают вокруг водорослей. Не верь тому, братишка, кто станет уверять тебя, что от Гаваны до Ки-Уэст рукой подать. А у меня весь путь был впереди.

Немного погодя я спустился вниз, и там был Эдди.

— Что случилось? Что случилось с мотором?

— Сломался.

— Что ж ты люк не закрываешь?

— А, черт, — сказал я.

Знаете, что он устроил? Он вернулся на пристань, через носовой люк забрался в каюту и лег спать. С собой он захватил две бутылки. Он зашел в первый попавшийся *bodega*¹, купил эти две бутылки и вернулся на лодку. Когда я запустил мотор, он проснулся и сейчас же опять заснул. Когда я остановил лодку в заливе, ее стало слегка покачивать на волнах, и от этого он проснулся.

— Я знал, что ты меня возьмешь, Гарри, — сказал он.

— К черту в зубы я бы тебя охотно взял, — сказал я. — Ты даже не внесен в судовой журнал. Кажется, ты у меня сейчас прыгнешь за борт.

¹ Винный погреб (*исп.*).

— Ты старый шутник, Гарри,— сказал он.— Мы, кон-
чи, в беде должны держаться друг за дружку.

— Это с твоим-то языком? — сказал я.— Да кто же
доверит твоему языку, когда тыхватишь лишнее.

— Я надежный человек, Гарри. Можешь испытать ме-
ня, тогда увидишь, какой я надежный человек.

— Давай сюда обе бутылки,— ответил я ему. Я думал
о другом.

Он вытащил их, и я отпил из той, которая была от-
купорена, и поставил обе на пол возле штурвала. Он
стоял тут же, и я смотрел на него. Мне было жаль его
и жаль, что придется сделать то, без чего, я знал, не
обойтись. Черт, я ведь помнил его, когда он был еще
человеком.

— Что случилось с мотором, Гарри?

— Мотор в порядке.

— А что все-таки случилось? Что ты на меня так смот-
ришь?

— Братишка,— сказал я, и мне было жаль его.— Пло-
хо твое дело.

— Что ты хочешь сказать?

— Я сам еще не все обдумал.

Мы немного посидели, но разговаривать с ним мне
больше не хотелось. Раз я уже знал то, что знал, мне было
тяжело с ним разговаривать. Потом я спустился вниз и
достал духовое ружье и винчестер тридцатого калибра,
которые я всегда держал внизу, в каюте, и, не вынимал
из чехлов, подвесил их под потолком рубки, где обычно
мы вешаем удочки, над самым штурвалом, чтобы можно
было достать их рукой. Я их держу в длинных чехлах из
овчины шерстью внутрь, причем шерсть обильно пропи-
тана маслом. На судне только так и можно уберечь ору-
жие от ржавчины.

Я проверил насос, поршень духового ружья, несколько
раз нажав курок, и зарядил ружье. Одну пулю я загнал в
ствол винчестера и потом наполнил магазин. Я достал из-
под матраца «смит-и-вессон» тридцать восьмого калибра
особого образца, который у меня остался от того времени,
когда я служил в полицейском отряде в Майами, смазал
его, зарядил и прицепил к поясу.

— Что случилось? — спросил Эдди.— Да скажи ты,
что случилось?

— Ничего,— сказал я ему.

— На кой черт весь этот арсенал?

— Я всегда беру оружие с собой,— сказал я.— Стрелять птиц, если они станут клевать наживку, или стрелять акул, или на всякий случай, когда крейсируешь между островами.

— Что случилось, черт тебя дерит? — сказал Эдди.— Что случилось?

— Ничего,— ответил я ему. Когда лодку качало, «смит-и-вессон» хлопал меня по бедру, и я смотрел на Эдди. Я подумал: нет смысла торопиться с этим. Он мне еще понадобится.

— У нас есть одно маленькое дело,— сказал я.— В Бакурао. Я тебе скажу, что делать, когда придет время.

Я не хотел говорить ему заранее, потому что знал, что он забеспокоится и перетрусит и тогда от него никакой пользы.

— Лучше меня тебе никого не найти, Гарри,— сказал он.— Я самый подходящий для тебя человек. Можешь на меня положиться.

Я посмотрел на него, какой он длинный, мутноглазый, трясучий,— и ничего не сказал.

— Слушай, Гарри. Дай один только глоток,— попросил он.— Я боюсь, как бы меня не начало трясти.

Я дал ему, и мы сидели и ждали, когда стемнеет. Закат был красивый, и дул славный легкий бриз, и когда солнце уже почти село, я запустил мотор и медленно повернул к берегу.

Глава четвертая

Мы остановились в темноте примерно за милю от берега. С заходом солнца течение стало сильнее, и я заметил, что оно изменило направление. Виден был маяк Морро немного дальше к западу и вечернее зарево над Гаваной, а огни напротив нас были Ринкон и Баракоа. Я вел лодку против течения, пока не миновал Бакурао и не подошел совсем близко к Кохимару. Потом я поставил ее по течению. Было уже совсем темно, но мне нетрудно было определить, где мы. Все огни у меня были погашены.

— Что мы будем делать, Гарри? — спросил меня Эдди. Его опять разбирал страх.

— А ты как думаешь?

— Я не знаю,— сказал он.— Ты меня пугаешь.— Казалось, его вот-вот опять начнет трясти, и когда он подо-

шел ко мне, я почувствовал его дыхание, вонючее, как у стервятника.

— Какой час?

— Сейчас пойду посмотрю,— сказал он. Он вернулся и сказал, что половина десятого.

— Ты голоден? — спросил я его.

— Нет,— сказал он.— Ты же знаешь, что я так не могу есть, Гарри.

— Ладно,— сказал я ему.— Глотни разок.

Когда он глотнул, я спросил, как ему теперь. Он сказал, что теперь ему хорошо.

— Я тебе немного погодя еще дам,— сказал я.— Я же знаю, что ты перетрусишь, если тебе не дать выпить, а выпивки у нас мало. Так что не стоит налегать.

— Ты мне лучше скажи, в чем дело,— сказал Эдди.

— Слушай,— заговорил я в темноте.— Мы идем к Бакурао, чтобы взять там двенадцать китайцев. Когда я тебе скажу, ты станешь у штурвала и будешь делать то, что я тебе скажу. Мы примем эту дюжину китайцев на борт и запрем их в каюту. Теперь иди, закрой снаружи носовой люк.

Он пошел, и я видел его длинную фигуру в темноте. Он вернулся и сказал:

— Гарри, можно мне теперь один глоток?

— Нет,— сказал я.— Я хочу, чтоб ты был только на взводе. Я не хочу, чтоб тебя развезло.

— Я надежный человек, Гарри. Вот увидишь.

— Ты пьянчуга,— сказал я.— Слушай. Один китаец привезет всю дюжину на лодке. Как только он приедет, он даст мне денег. Когда они все сядут, он даст мне еще денег. Как только ты увидишь, что он даст мне деньги второй раз, сейчас же запускай мотор и выходи в море. Не обращай внимания, если что произойдет. Что бы ни произошло, давай полный вперед. Понял?

— Да.

— Если кто-нибудь из китайцев вздумает вырваться из каюты или высунуть голову из люка, когда мы будем уже в пути, бери духовое ружье и загоняй их назад, как только покажутся. Умеешь обращаться с духовым ружьем?

— Нет. Но ты мне можешь показать.

— Ты все равно не запомнишь. Умеешь обращаться с винчестером?

— Просто нажать спуск и стрелять?

— Правильно,— сказал я.— Только смотри, не пробей корпус.

— Дал бы ты мне глоток,— сказал Эдди.

— Ладно. Немножко дам.

Я дал ему выпить. Я знал, что теперь он не опьянеет: все растворится в его страхе. Но каждый глоток будет действовать некоторое время. Выпив положенное, Эдди сказал, точно радуясь этому:

— Значит, теперь мы будем возить китайцев. Что ж, я, ей-богу, всегда говорил, как дойду до ручки, так стану возить китайцев.

— Но ты, видно, еще никогда не доходил до ручки,— сказал я ему. Смешной он был все-таки.

До половины одиннадцатого я еще три раза давал ему выпить, для храбрости. Смешно было наблюдать за ним, и это не давало мне задумываться. Я не рассчитывал, что придется так долго ждать. Я предполагал сняться, как только стемнеет, отойти пастолько, чтобы не попасть в полосу света, и в виду берега идти на Кохимар.

Около одиннадцати я увидел два огня на мысу. Я немного выждал и потом стал медленно двигаться по направлению к берегу. Бакурао — бухта, где прежде была большая пристань для погрузки песка. Там есть небольшая речка, которая вливается в бухту, когда дожди размывают песчаный бар. Зимой северный ветер наносит песок и запирает речке выход. Прежде туда подходили шхуны и грузили *guabos*¹ с реки, и там был городок. Но его разрушило ураганом, и теперь там стоит один только дом, который *gallegos* построили из обломков снесенных ураганом хижин и который служит им чем-то вроде клуба, они туда по воскресеньям приезжают из Гаваны гулять и купаться. Есть там еще один дом, где живет уполномоченный, но этот дом стоит довольно далеко от берега.

В каждом таком селении на побережье есть уполномоченный правительства, но я был уверен, что китаец с ним договорился и даже возьмет его лодку. Когда мы подошли ближе, я почувствовал запах водорослей и тот сладковатый запах кустарника, которым всегда тянет у берега.

— Ступай на бак,— сказал я Эдди.

— Здесь не на что наткнуться,— сказал он.— Риф с другой стороны, у входа в бухту.— Он, видите ли, когда-то был хорошим матросом.

¹ Тропический плод (*исп.*).

— Следи за ходом,— сказал я и направил лодку туда, где они наверняка могли нас увидеть. Прибоя не было, так что они должны были услышать стук мотора. Я не хотел дожидаться, не зная, видели они нас или нет, поэтому я разом зажег оба бортовых огня, зеленый и красный, и тотчас же погасил их. Потом я развернулся и отошел немного назад и остановился у самого входа в бухту, переведя мотор на холостой ход. Здесь, недалеко от берега, только слегка покачивало.

— Иди сюда,— сказал я Эдди и дал ему выпить как следует.

— Курок надо раньше взводить? — шепотом спросил он. Он теперь сидел у штурвала, и я протянул руку и расстегнул оба чехла и наполовину вытащил приклады.

— Правильно.

— Ух, ты! — сказал он.

Просто удивительно, как на него действовала выпивка и до чего быстро.

Мы стояли на одном месте, и сквозь заросли кустарника я видел свет в доме уполномоченного. Оба огня на мысу скрылись из виду, потом один появился с другой стороны мыса. Вероятно, они задули второй.

Потом, немного погодя, я увидел в бухте направлявшуюся к нам лодку и человека, который греб кормовым веслом. Я понял это, видя, как он раскачивается из стороны в сторону. Я понял, что весло у него большое. Я очень обрадовался. Раз гребут кормовым, значит, там только один гребец.

Они поравнялись с нами.

— Добрый вечер, капитан,— сказал мистер Синг.

— Заходите с кормы и становитесь борт к борту,— сказал я ему.

Он что-то сказал парнишке с веслом, но тот не мог кормовым веслом дать задний ход, поэтому я ухватился за планшир и провел их лодку за своей кормой. В лодке было восемь человек. Шесть китайцев, мистер Синг и парнишка с веслом. Когда я нагнулся, чтобы подтянуть их лодку, я ждал, что меня что-нибудь ударит по голове, но ничего не ударило. Я выпрямился и дал мистеру Сингу ухватиться за корму.

— Ну-ка, покажите, как это выглядит,— сказал я.

Он передал мне пачку, и я понес ее туда, где у штурвала стоял Эдди, и зажег нактоузный огонь. Я тщательно

проверил пачку. Все как будто было в порядке, и я погасил огонь. Эдди весь дрожал.

— Возьми налей себе,— сказал я. Я видел, как он достал бутылку и опрокинул ее.

Я вернулся на корму.

— Ладно,— сказал я.— Пусть шестеро переходят сюда.

Мистеру Сингу и кубинцу с веслом приходилось следить за тем, чтобы их лодку не ударило о наш корпус, потому что даже при таком небольшом волнении это легко могло случиться. Я услышал, как мистер Синг сказал что-то по-китайски, и все китайцы, которые были в лодке, полезли к нам на корму.

— По одному,— сказал я.

Он опять что-то сказал, и шесть китайцев один за другим вошли на корму. Они были всех ростов и размеров.

— Проводи их в каюту,— сказал я Эдди.

— Вот сюда, джентльмены,— сказал Эдди. Черт побери, я сразу увидел, что глоток на этот раз был основательный.

— Запри каюту,— сказал я, когда они все вошли.

— Есть, сэр,— сказал Эдди.

— Я сейчас привезу остальных,— сказал мистер Синг.

Я оттолкнул их, и мальчик в лодке заработал своим веслом.

— Слушай,— сказал я Эдди.— Оставь в покое бутылку. Ты уже достаточно храбрый.

— Есть, капитан,— сказал Эдди.

— Что с тобой такое?

— Нравится мне это занятие,— сказал Эдди.— Так ты говоришь, нужно вот так оттянуть курок?

— Пьянчуга ты несчастный,— сказал я.— Дай-ка, я тоже выпью.

— Больше нет,— сказал Эдди.— Виноват, капитан.

— Слушай. Теперь твое дело следить, и как только он мне передаст деньги — сейчас же запускай мотор.

— Есть, капитан,— сказал Эдди.

Я наклонился, взял другую бутылку, достал штопор и вытащил пробку. Я отпил порядочный глоток и вернулся на корму, крепко заткнув бутылку пробкой и спрятав ее позади двух больших оплетенных бутылей, доверху налитых водой.

— Мистер Синг едет,— сказал я Эдди.

— Так точно, сэр,— сказал Эдди.

Лодка с мальчишкой-гребцом снова подошла к нам.

Они зашли с кормы, и я ждал, пока они ухватятся. Мистер Синг ухватился за укрепленный на корме скат, по которому мы втаскивали в лодку крупную рыбу.

— Пусть поднимаются,— сказал я.— По одному.

Еще шесть китайцев, на этот раз подобранных поровнее, взойшли на корму.

— Проведи их туда же, к остальным,— сказал я Эдди.

— Есть, сэр.

— Запри каюту.

— Есть, сэр.

Я увидел, что он уже снова стоит у штурвала.

— Ну что ж, мистер Синг,— сказал я.— Давайте, поглядим на остальное.

Он сунул руку в карман и протянул мне деньги. Я схватил его руку вместе с деньгами, и когда он ступил на корму, я другой рукой схватил его за горло. Я почувствовал, как лодка дрогнула и пошла, вспенивая воду, и хоть я был здорово занят мистером Сингом, но я видел кубинца с веслом в руках, стоявшего на корме своей лодки, когда мы отходили от нее под корчи и судороги мистера Синга. Он корчился и судорожно бился, точно дельфин, вздетый на острогу, и один раз даже изловчился и укусил меня в плечо. Но я поставил его на колени и изо всех сил сдавил ему горло обеими руками.

Я подержал его так, пока он не затих, и потом уложил на корму. Он лежал на спине, неподвижный, в хорошем костюме, свесив ноги в кокпит; так я его и оставил.

Я подобрал деньги с кормы, пошел в рубку, зажег нактоузный огонь и пересчитал их. Потом я стал у штурвала и сказал Эдди, чтоб он искал под кормой куски железа, которые служили нам вместо якоря, когда мы ловили рыбу на отмелях или в таких местах, где каменистое дно и якорь может сломаться.

— Я не найду,— сказал он. Он боялся очутиться так близко к мистеру Сингу.

— Становись к штурвалу,— сказал я.— Держи в море.

Внизу, под палубой, слышалась какая-то возня, по тех я не боялся.

Я нашел то, что искал,— куски железа со старой угольной пристани в Тортугас, и взял обрывок каната и, выбрав два больших куска, крепко привязал их к щиколоткам мистера Синга. Затем, когда мы отошли мили на две от берега, я спустил его за борт. Он плавно съехал за борт

по скату. Я даже не ощупал его карманы. Не хотелось мне с ним путаться.

Корма была немного закапана кровью, вытекшей у него изо рта и из носа, и я зачерпнул ведром воды, едва не вылетев при этом за борт, так быстро мы шли, и начисто отмыл все шваброй, которую достал из-под кормы.

— Убавь ходу,— сказал я Эдди.

— А что, если он всплывет? — сказал Эдди.

— Там, где я его сбросил, глубина четыре тысячи футов,— сказал я.— На эту глубину он должен опуститься. Это длинный путь, братишка. Он не всплывет, пока его не разопрет газом, а до тех пор он будет двигаться вместе с течением и служить приманкой для рыб,— сказал я.— Нечего тебе беспокоиться о мистере Синге.

— Что он тебе сделал? — спросил меня Эдди.

— Ничего,— сказал я.— Он был самый покладистый человек из всех, с кем мне приходилось иметь дело. Я сразу почувствовал, что здесь что-то неладно.

— Зачем ты убил его?

— Чтобы не убивать остальных двенадцать,— ответил я ему.

— Гарри,— сказал он,— ты мне дай глоток, а то со мной вот-вот случится, я уже чувствую. Я как увидел, как у него голова болтается, меня сразу затошнило.

Я ему дал.

— А как с китайцами? — спросил Эдди.

— Надо их посадить как можно скорее,— ответил я ему,— пока вся каюта ими не провоняла.

— Куда ты их денешь?

— Мы их свезем на Долгую отмель,— ответил я ему.

— Поворачивать к берегу?

— Поворачивай,— сказал я.— Только медленно.

Мы медленно шли над подводным рифом, пока перед нами не забелела в темноте отмель. Этот риф лежит довольно глубоко, а дальше дно песчаное и с уклоном тянется до самого берега.

— Ступай на бак и говори мне глубину.

Он стал мерить глубину шестом, каждый раз делая мне знак двигаться дальше. Наконец он вернулся и сделал мне знак остановиться. Я дал задний ход.

— Около пяти футов.

— Бросаем якорь,— сказал я.— Если что-нибудь случится такое, что мы не успеем спясть, можно будет перерубить канат.

Эдди стал травить, и когда наконец якорь уперся в дно, он укрепил канат. Лодка покачивалась кормой к берегу.

— Дно, знаешь, песчаное,— сказал он.

— Сколько у нас под кормой?

— Не больше пяти футов.

— Бери винчестер,— сказал я.— И смотри в оба.

— Дай глоток,— сказал он. Он здорово раскис.

Я дал ему выпить и снял духовое ружье. Я отпер дверь каюты, распахнул ее и сказал:

— Выходите.

Никакого движения.

Потом один китаец высунул голову, увидел Эдди с ружьем в руках и нырнул обратно.

— Выходите. Никто вас не тронет,— сказал я.

Ничего. Только в каюте забормотали по-китайски.

— Эй вы там, выходи! — сказал Эдди. Ах ты черт, я сразу понял, что он добрался до бутылки.

— Поставь бутылку на место,— сказал я ему,— не то я вышвырну тебя за борт.

— Выходите,— сказал я им,— не то стрелять буду.

Один осторожно выглянул из-за двери, и, должно быть, он увидел берег, потому что у него застучали зубы.

— Выходите,— сказал я,— стрелять буду.

Стали выходить.

Ну, скажу я вам, не знаю, какой надо быть сволочью, чтобы загубить дюжину несчастных китайцев, и готов биться об заклад, это дело не только хлопотливое, но и не легкое.

Они вышли, и они были очень напуганы, и у них не было оружия, но их было двенадцать человек.

Я отошел назад, к корме, держа в руках духовое ружье.

— Лезьте в воду,— сказал я.— Тут выше головы не будет.

Никто не шевельнулся.

— Лезьте.

Никто не шевельнулся.

— Эй вы, крысоеды желтомордые,— сказал Эдди.— Лезь в воду.

— Молчи, пьяная рожа! — сказал я ему.

— Не умеи плавай,— сказал один китаец.

— Не надо плавать,— сказал я.— Неглубоко.

— Но-но, живо, лезь в воду,— сказал Эдди.

— Иди сюда, на корму,— сказал я.— Возьми в одну руку ружье, а в другую шест и покажи им, какая тут глупина.

Он показал им, приподняв мокрый шест.

— Не надо плавай? — спросил меня тот же китаец.

— Нет.

— Правда?

— Правда.

— Что это?

— Куба.

— Твоя жулик,— сказал он, и, перекинув ноги через борт, сначала повис на руках, потом спрыгнул в воду. Голова его ушла под воду, но он высунул ее снова, и вода доходила ему до подбородка.— Твоя жулик,— сказал он.— Твоя негодна жулик.

Он был взбешен и забыл всякий страх. Он сказал что-то по-китайски, и все остальные стали спрыгивать с кормы в воду.

— Все в порядке,— сказал я Эдди.— Поднимай якорь.

Когда мы выходили в море, показалась луна, и мы увидели китайцев, которые шли к берегу по шею в воде, и белеющую отмель, и кустарник за ней.

Мы миновали риф, и я еще раз посмотрел назад, на отмель и горы, которые уже вырисовывались над ней; потом я развернулся и взял курс на Ки-Уэст.

— Ну, теперь можешь лечь спать,— сказал я Эдди.— Нет, постой, спустись вниз и открой все иллюминаторы, чтобы хорошенько проветрить каюту, и принеси мне йоду.

— Что случилось? — спросил он, когда принес склянку.

— Я порезал палец.

— Хочешь, я буду править?

— Ложись спать,— сказал я.— Я тебя разбужу.

Он растянулся на койке, вделанной в стенку тут же, над бензиновым баком, и через несколько минут уже спал.

Глава пятая

Я придерживал штурвал коленом, и растегнул рубашку, и посмотрел на место, куда меня укусил мистер Синг. Укус был глубокий, и я залил его йодом, и потом я сидел у штурвала и думал о том, может ли от укуса китайца сделаться заражение, и прислушивался к быстрому и плав-

ному ходу и к плеску воды за кормой, и в конце концов решил, да нет, что за черт, не может от этого укуса сделаться заражение. Такой мистер Синг, должно быть, тер свои зубы щеткой по три раза в день. Ай да мистер Синг. Правду сказать, не очень деловой был человек. А может быть, и деловой. Может быть, он просто доверял мне. Честное слово, я так и не понял, что он за птица.

Теперь, значит, все было очень просто, если не считать Эдди. Пьянчуга непременно будет болтать, как только хватит лишнего. Я сидел у штурвала, и смотрел на Эдди, и думал: черт, ведь в нем и в живом проку не больше, чем в мертвом, а с меня были бы взятки гладки. Когда я увидел его на лодке, я решил, что мне придется с ним покончить, но потом, когда все так хорошо сошло, у меня не хватило духу. А теперь, когда я смотрел на него, как он лежит там, на койке, искушение было велико. Но я подумал, что не стоит портить все дело таким поступком, о котором после пришлось бы жалеть. Потом я стал думать о том, что он не значится в судовом журнале и что мне придется заплатить за него штраф, и я не знал, как быть с ним.

Ну, времени, чтоб обдумать это, у меня было сколько угодно, и я держал прямо вперед и потягивал из бутылки, которую принес Эдди. В ней было немного, и когда я допил ее, я откупорил последнюю, которая еще оставалась у меня, и, честное слово, было очень приятно сидеть у штурвала, и ночь была очень хороша для переправы. В конце концов рейс все-таки вышел удачный, хоть много раз казалось, что он обернется скверно.

Когда рассвело, Эдди проснулся. Он сказал, что чувствует себя отвратительно.

— Стань на минутку к штурвалу, — сказал я ему. — Я хочу посмотреть, что делается кругом.

Я пошел на корму и плеснул на нее водой. Но она была совершенно чистая. Я поскреб шваброй за бортом. Я разрядил ружья и спрятал их вниз. Но револьвер я оставил на поясе. Внизу все было в порядке, чисто, свежо и никакого запаха. Только на одну койку попало из правого иллюминатора немного воды; так что я закрыл иллюминаторы. Ни один пограничник на свете не учуял бы теперь, что здесь были китайцы.

Я увидел полученные от агента бумаги в сетке, висевшей под вставленным в рамку портовым свидетельством, куда я их сунул, когда вернулся на лодку, и я вынул их,

чтобы просмотреть. Просмотрев бумаги, я пошел на палубу.

— Слушай,— сказал я.— Каким образом ты попал в судовой журнал?

— Я встретил агента, когда он шел в консульство, и сказал ему, что я тоже еду.

— Пьяниц бог бережет,— сказал я ему, и я снял «смит-и-вессон» с пояса и спрятал его внизу.

Я сварил внизу кофе и потом поднялся наверх и взял у него штурвал.

— Внизу есть кофе,— сказал я ему.

— От кофе мне легче не станет, братишка.— И, знаете, пришлось пожалеть его. Он и в самом деле выглядел неважно.

Около девяти часов прямо перед собой мы увидели маяк Сэнд-Ки. Еще задолго до того нам стали попадаться танкеры, идущие в залив.

— Часа через два приедем,— сказал я ему.— Я тебе заплачу по четыре доллара в день, как если бы Джонсон не надул нас.

— Сколько ты заработал этой ночью? — спросил он меня.

— Всего только шестьсот,— ответил я ему.

Не знаю, поверил он мне или нет.

— А я тут не имею доли?

— Вот это твоя доля,— сказал я ему.— Столько, сколько я сказал, а если ты когда-нибудь вздумаешь чесать язык насчет прошлой ночи, я об этом узнаю и разделаюсь с тобой.

— Ты знаешь, что я не болтун, Гарри.

— Ты пьянчуга. Но как бы ты ни был пьян, попробуй только болтать — не обрадуешься.

— Я надежный человек,— сказал он.— Зачем ты со мной так говоришь?

— Попадется что-нибудь крепкое, так твоей надежности ненадолго хватит,— ответил я ему. Но я больше не беспокоился из-за него, потому что кто ж ему поверит? Мистер Синг жаловаться не пойдет. Китайцы тоже не станут. Мальчику, который был с ними на лодке, это, знаете, тоже ни к чему. Он побоится путаться в это дело. Эдди проболтается рано или поздно, но кто поверит пьянчуге?

И потом, кто может что-нибудь доказать? Понятное дело, было б куда больше разговоров, если б после всего увидели имя Эдди в судовом журнале. Здорово повезло

мне все-таки. Я бы мог сказать, что он упал в воду, но разговоров было бы много. Да и Эдди тоже здорово повезло. Вообще здорово повезло.

Тут мы подошли к краю Гольфстрима, и вода из синей сделалась зеленоватой и прозрачной, и впереди уже видны были сваи на западных и восточных Сухих Скалах, и радиомачты Ки-Уэст, и отель «Ла-Конча», торчавший среди низеньких домов, и облако дыма там, где сжигают мусор. Маяк Сэнд-Ки был теперь совсем близко, и видно было лодочную пристань и маленький док у подножия маяка, и я знал, что нам осталось не больше сорока минут пути, и было приятно возвращаться домой и знать, что на лето я остаюсь не с пустым карманом.

— Так как насчет того, чтобы выпить, Эдди? — сказал я ему.

— Ох, Гарри,— сказал он.— Я всегда знал, что ты мне друг.

Вечером я сидел в столовой, курил сигару, пил виски, разбавленное водой, и слушал по радио Грэйси Аллен. Девочки ушли в театр, и сидеть так было приятно, и клонило ко сну. Кто-то постучал в наружную дверь. Мария, моя жена, встала со своего места и пошла отворить. Она вернулась и сказала:

— Там этот пьянчуга, Эдди Маршал. Он говорит, ему нужно повидать тебя.

— Скажи ему, пусть убирается вон, пока я сам его не вышвырнул,— сказал я ей.

Она вернулась и села, и в окно, у которого я сидел, положив ноги на подоконник, мне видно было, как Эдди прошел по улице под дуговым фонарем вместе с другим пьянчугой, которого он подобрал где-то; оба качались на ходу, и тени их под дуговым фонарем качались еще сильнее.

— Несчастные пьянчуги,— сказала Мария.— Мне таких всегда жалко.

— Этот — счастливый пьянчуга.

— Счастливых пьянчуг не бывает,— сказала Мария.— Ты сам это знаешь, Гарри.

— Да,— сказал я.— Пожалуй, что не бывает.

Часть вторая

ГАРРИ МОРГАН

(Осень)

Глава шестая

Они пересекли пролив ночью, и дул сильный норд-ост. Когда рассвело, он увидел нефтеналивное судно, идущее из залива, и в лучах холодного утреннего солнца оно было таким высоким и белым, что ему показалось, будто это многоэтажный дом, поднимающийся прямо из моря, и он сказал негру:

— Что за черт, где мы?

Негр приподнялся, чтобы взглянуть.

— Ничего такого нет по эту сторону Майами.

— Ты отлично знаешь, что мы вовсе не шли на Майами,— ответил он негру.

— Я и говорю, таких домов нет на Флоридских островах.

— Мы все время держали на Сэнд-Ки.

— Так он уже должен быть виден. Или хотя бы Американская отмель.

Потом, немного спустя, он разглядел, что это не дом, а танкер, и не прошло и часу, как он увидел Сэнд-Ки, легкий, узкий, прямой и темный, поднимающийся из моря там, где ему и следует быть.

— Когда правишь, нужно, чтобы была уверенность,— сказал он негру.

— У меня была уверенность,— сказал негр.— Но после того, что вышло из этого рейса, у меня никакой уверенности нет.

— Как твоя нога?

— Все время болит.

— Это ничего,— сказал тот, что правил.— Будешь перевязывать ее и держать в чистоте, так она заживет сама собой.

Он теперь правил на запад, чтобы переждать день в зарослях мангров на Вуман-Ки, где их никто не увидит и куда навстречу им должна прийти лодка.

— Все у тебя пройдет.

— Не знаю,— сказал негр.— Болит очень сильно.

— Когда мы доберемся до места, я сделаю все, что нужно,— сказал он ему.— Ты не опасно ранен. Нечего тебе расстраиваться.

— Я ранен,— сказал негр.— Я никогда еще не был ранен. Как я ни ранен, все равно это опасно.

— Ты просто испугался.

— Нет, сэр. Я ранен. И мне очень больно. Меня всю ночь трясло.

Негр продолжал ворчать и наконец, не утерпев, снял повязку, чтобы посмотреть на рану.

— Оставь в покое,— сказал ему тот, что правил. Негр лежал в кокпите на полу, а вокруг были повсюду навалены похожие на окорока мешки с ящиками вина. Он рассчитил себе среди них место, чтобы лечь. При каждом его движении в мешках звенело разбитое стекло и разносился запах спиртного. Вокруг все было залито вином. Тот, что правил, теперь держал прямо на Вуман-Ки. Теперь он все ясно видел.

— Болит,— сказал негр.— Болит все сильнее и сильнее.

— Мне тебя очень жаль, Уэсли,— сказал тот, что правил.— Но я не могу отойти от штурвала.

— Для вас что человек, что собака, все равно,— сказал негр. Он начинал злиться. Но тому все еще было жаль его.

— Я сделаю так, что тебе станет легче, Уэсли,— сказал он.— Полежи пока спокойно.

— Вам все равно, что бы с человеком ни случилось,— сказал негр.— В вас ничего человеческого нет.

— Я сделаю все, что нужно,— сказал тот, что правил.— Ты только лежи спокойно.

— Ничего вы мне не сделаете,— сказал негр. Тот, что правил,— его звали Гарри Морган,— ничего не ответил потому, что ему нравился этот негр, а тут только и можно было, что ударить его, а ударить его он не мог. Негр продолжал болтать.

— Почему мы не остановились, когда те начали стрелять?

Гарри не отвечал.

— Разве человеческая жизнь не дороже груза спиртного?

Гарри сосредоточенно смотрел на штурвал.

— Нам нужно было сразу остановиться, и пусть бы они забрали груз.

— Нет,— сказал Гарри.— Они бы забрали и груз и лодку, а мы бы сели в тюрьму.

— Я тюрьмы не боюсь,— сказал негр.— А вот ранили меня зачем?

Теперь он уже раздражал Гарри, и Гарри устал слушать его болтовню.

— Черт подери, кто из нас тяжелее ранен? — спросил он.— Ты или я?

— Вы ранены тяжелее,— сказал негр.— Но я еще никогда не был ранен. Я не собирался быть раненым. Я не нанимался быть раненым. Я не хочу быть раненым.

— Успокойся, Уэсли,— ответил ему Гарри.— Тебе только хуже станет, если ты будешь столько болтать. Негр не то слегка помешался от боли, не то на него просто стих нашел; во всяком случае, он не переставал болтать.

Они уже приближались к острову. Они шли в кольце отмелей, и вода так сверкала на солнце, что слепила глаза.

— Зачем теперь возить спиртное? — говорил он.— Сухой закон отменен. Кому нужна вся эта контрабанда? Почему не возят вино пароходом?

Гарри, сидя у штурвала, не отрываясь смотрел вперед.

— Почему люди не могут жить прилично и честно и зарабатывать приличным и честным трудом?

Гарри видел блестящую рябь у берега, хотя самый берег ему мешало видеть солнце, и он вовремя направил лодку в пролив. Он круто повернул штурвал одной рукой, и берег раздался в обе стороны, и он медленно подвел лодку к зарослям манглий. Он дал задний ход и выключил оба мотора.

— Бросить якорь я могу,— сказал он.— Но я не смогу поднять якорь.

— Я даже шевельнуться не могу,— сказал негр.

— Да, черт подери, ты совсем плох,— ответил ему Гарри.

Нелегким делом было для него вытащить, поднять и бросить в воду небольшой якорь, но он справился с этим и довольно долго травил канат, и наконец лодка закачалась среди манглий, так что ветки лезли прямо в кокпит. Тогда он снова спустился в кокпит. Черт знает что здесь творится, подумал он.

Всю ночь, после того как он перевязал рану негру, а негр забинтовал ему руку, он сидел у штурвала, следя за компасом, а когда рассвело, он увидел, что негр лежит на полу среди мешков, но тогда он следил за волной и за компасом и искал впереди маяк Сэнд-Ки и не приглядывался к тому, как обстоит дело. А дело обстояло плохо.

Негр лежал посреди груды мешков, вытянув вверх ногу. В корпусе было восемь пробоин от пуль, расщепивших доски. Стекло щитка было разбито. Он не знал, много ли товара погибло, и там, куда не натекла кровь негра, натекла его собственная кровь. Но что было для него хуже всего в эту минуту, это запах спиртного. Все кругом было пропитано им. Лодка теперь спокойно стояла среди манглий, но Гарри не мог отделаться от ощущения качки, всю ночь трепавшей их в заливе.

— Я пойду сварю кофе,— сказал он негру.— Потом я сделаю все, что нужно.

— Не хочу я кофе.

— А я хочу,— ответил ему Гарри. Но в каюте у него закружилась голова, так что он должен был выйти на палубу.

— Придется нам обойтись без кофе,— сказал он.

— Я хочу воды.

— Сейчас.

Он налил негру кружку воды из оплетенной бутылки.

— Зачем вам понадобилось мчаться вперед, когда они начали стрелять?

— Зачем им понадобилось стрелять? — ответил Гарри.

— Я хочу доктора,— сказал негр.

— Доктор не поможет тебе больше, чем я.

— Доктор меня вылечит.

— Будет тебе доктор — вечером, когда придет лодка.

— Не хочу я дожидаться никакой лодки.

— Ладно,— сказал Гарри.— Сейчас мы спустим все эти мешки на дно.

Он начал выбрасывать мешки, и с одной рукой это было очень нелегко. Мешок с грузом вина весит не больше

сорока фунтов, но не успел он выбросить и нескольких мешков, как у него опять закружилась голова. Он сел на пол и потом лег.

— Вы убьете себя,— сказал негр.

Гарри лежал неподвижно, положив голову на один из мешков. Ветви манглий лезли в лодку, и то место, где он лежал, было в тени. Он слышал свист ветра над манглиями и, глядя в высокое холодное небо, видел несущиеся с севера редкие облака.

Лодка не придет в такой ветер, подумал он. Никто не подумает, что мы вышли в море в такую бурю.

— Вы думаете, лодка придет? — спросил негр.

— Конечно,— сказал Гарри.— А как же.

— Буря очень сильная.

— Нас ждут.

— Не в такую погоду. Зачем вы меня обманываете? — Негр говорил, почти вплотную прижав губы к мешку.

— Успокойся, Уэсли,— ответил ему Гарри.

— Он хочет, чтобы я успокоился,— продолжал негр.— Успокойся! С чего бы это мне успокоиться? Вот издохну, как собака, тогда успокоюсь! Вы меня сюда затащили. Теперь вытаскивайте меня отсюда.

— Успокойся,— сказал Гарри кротко.

— Лодка не придет,— сказал негр.— Я знаю, что она не придет. Мне холодно, слышите? Не могу я больше терпеть и боль и холод, слышите?

Гарри сел, чувствуя слабость и пустоту внутри. Глаза негра следили за тем, как он приподнялся на одно колено, взял в левую руку кисть безжизненно висевшей правой руки и зажал ее между коленями и потом, ухватившись за доску, прибитую к планширу, подтягивался, пока не встал на ноги, глядя вниз, на негра, и по-прежнему зажимая правую руку между коленями. Он думал о том, что до сих пор никогда по-настоящему не испытывал боли.

— Если она у меня распрямлена, вытянута, мне не так больно,— сказал он.

— Давайте я ее вам подвяжу,— сказал негр.

— Я не могу согнуть локтя,— сказал Гарри.— Она одеревенела в таком положении.

— Что мы будем делать?

— Спускать груз на дно,— ответил ему Гарри.— Ты бы попробовал перекинуть через борт те мешки, до которых сможешь дотянуться, Уэсли.

Негр попытался дотянуться до ближайшего мешка, потом застонал и откинулся назад.

— Очень больно, Уэсли?

— О, господи,— сказал негр.

— Может быть, если ты попробуешь двигаться, тебе будет не так больно?

— Я ранен,— сказал негр.— Я не желаю двигаться. Он хочет, чтобы я спускал груз на дно, когда я ранен.

— Успокойся.

— Еще раз скажете это, и я сойду с ума.

— Успокойся,— повторил Гарри.

Негр протяжно взвыл п, пошарив руками по палубе, достал из-под комингса точильный камень.

— Я вас убью,— сказал он.— Я из вас сердце вырежу.

— Но не точильным же камнем,— сказал Гарри.— Не горячись, Уэсли.

Негр заплакал, уткнувшись в мешок лицом. Гарри продолжал медленно поднимать мешки с вином и переваливать их за борт.

Глава седьмая

Когда он спускал груз на дно, он услышал стук мотора и, оглянувшись, увидел лодку, которая приближалась к ним, огибая выступ берега. Это была белая моторная лодка с выкрашенным в желтоватый цвет навесом и стеклянным щитком.

— Лодка идет,— сказал он.— Вставай, Уэсли.

— Не могу.

— Я согласен забыть все, что было до сих пор,— сказал Гарри.— Но дальше уж я буду помнить.

— Пожалуйста,— сказал негр.— Я тоже все помню.

Работая теперь очень быстро, так что пот струился по лицу, не оглядываясь на медленно приближающуюся лодку, Гарри здоровой рукой поднимал мешки со спиртным и переваливал их за борт.

— Перевернись.— Он потянулся за мешком, который был под головой у негра, и перебросил его за борт. Негр сел.

— Вот они,— сказал он. Белая лодка уже была на траверзе лодки с контрабандой.

— Это капитан Уилли,— сказал негр.— Везет любителей.

На корме белой лодки расположились двое мужчин в фланелевых костюмах и белых шляпах, с удочками в руках, а у руля сидел старик в фетровой шляпе и в плаще и вел лодку прямо к зарослям манглий, где стояла лодка с контрабандой.

— Как дела, Гарри? — окликнул старик, проезжая мимо.

Гарри помахал в ответ здоровой рукой. Белая лодка прошла мимо, рыболовы на корме оглянулись и потом заговорили со стариком. Гарри не мог расслышать их слов.

— Он завернет у выхода в море и возвратится сюда, — сказал Гарри негру. Он пошел в каюту и припес одеяло. — Дай я тебя укурою.

— Поздно вы догадались меня укрыть. Они, наверное, видели тут эти лужи. Что мы теперь будем делать?

— Уилли не подкачает, — сказал Гарри. — Он скажет жому нужно в городе, что мы уже здесь. Эти рыболовы ничего нам не сделают. Что им до нас?

Его бил озноб, и он сел на штурвальную скамью и крепко зажал правую руку между ногами. У него дрожали колени, и от этого концы раздробленной кости предплечья терлись друг о друга. Он раздвинул колени, высвободил руку, и она повисла вдоль туловища. Так он сидел, не шевеля повисшей рукой, когда белая лодка снова прошла мимо них. Двое рыболовов на корме разговаривали. Они отложили удочки, и один из них глядел на него в бинокль. Они были слишком далеко от него, чтобы он мог расслышать их слова. Ему не стало бы легче, если б он слышал их.

Хозяин моторной лодки «Южная Флорида», возившей двух рыболовов взад и вперед по проливу Вуман-Ки, потому что ветер был слишком сильный для того, чтобы выйти в открытое море, капитан Уилли Адамс думал: «Так, значит, Гарри этой ночью вернулся с Кубы. Этот малый — настоящий мужчина. Должно быть, попал в самую бурю. Правда, судно у него хорошее. Как это он умудрился разбить щиток? Ни за что на свете не пустился бы в путь в такую ночь. Ни за что на свете не стал бы возить спиртное с Кубы. Его теперь возят из Мариэля. Там, говорят, на этот счет вполне свободно...»

— Что такое вы сказали, сэр?

— Что это за лодка? — спросил один из рыболовов.

— Эта лодка?

- Да, эта лодка.
- А, это из Ки-Уэст лодка.
- Я вас спрашиваю, чья это лодка?
- Право, не знаю, сэр.
- Что, ее владелец — рыбак?
- Да, пожалуй что и рыбак.
- Что вы хотите сказать?
- Он промышляет всем понемножку.
- Вы не знаете, как его зовут?
- Нет, сэр.
- Вы его называли Гарри.
- Я? И не думал.
- Я слышал, как вы его называли Гарри.

Капитан Уилли Адамс внимательно посмотрел на человека, который с ним разговаривал. Он увидел широко-скулое, очень румяное лицо, презрительно сжатые тонкие губы и глубоко сидящие серые глаза, которые смотрели на него из-под белой полотняной шляпы.

— Должно быть, это я его нечаянно так назвал,— сказал капитан Уилли.

— По-видимому, этот человек ранен, доктор,— сказал второй рыболов, передавая своему спутнику бинокль.

— Я это и без бинокля вижу,— сказал тот, которого называли доктором.— Кто этот человек?

— Право, не знаю,— сказал капитан Уилли.

— Ну так сейчас узнаете,— сказал человек с презрительно сжатыми губами.— Запишите номер его лодки.

— Уже записано, доктор.

— Подъедем ближе и посмотрим, в чем там дело,— сказал доктор.

— Вы доктор? — спросил капитан Уилли.

— Доктор, но не врач,— ответил ему сероглазый.

— Если вы не врач, незачем нам подъезжать ближе.

— Почему?

— Если б мы были ему нужны, он бы подал нам знак. Если мы ему не нужны, зачем нам соваться не в свое дело? У нас тут принято, что каждый делает свое дело.

— Очень хорошо. Вот вы и делайте свое. Подвезите нас к этой лодке.

Капитан Уилли продолжал вести лодку вперед под мерное покашливание двухцилиндрового палмера.

— Вы меня слышите?

— Да, сэр.

— Почему же вы не исполняете мое приказание?

— А кто вы такой, чтоб тут распоряжаться? — спросил капитан Уилли.

— Это к делу не относится. Делайте так, как я вам сказал.

— Кто вы такой, я вас спрашиваю?

— Очень хорошо. К вашему сведению, я один из трех самых влиятельных людей в Соединенных Штатах.

— Какого же черта вы тогда сидите в Ки-Уэст?

Второй рыболов наклонился вперед.

— Это — Фредерик Гаррисон, — сказал он внушительно.

— Никогда не слыхал про такого, — сказал капитан Уилли.

— Ну так теперь услышите, — сказал Фредерик Гаррисон. — И не только вы, но и весь этот вонючий гнилой городишко, хоть бы мне пришлось скрыть его до основания.

— Симпатичный вы малый, — сказал капитан Уилли. — Как это вам удалось стать такой важной птицей?

— Он один из самых видных деятелей нашего правительства, — сказал второй рыболов.

— Браки, — сказал капитан Уилли. — Если это так, чего ж он сидит в Ки-Уэст?

— Он приехал сюда отдохнуть, — объяснил секретарь. — Он будет генерал-губернатором...

— Довольно, Уиллис, — сказал Фредерик Гаррисон. — Теперь вы подвезете нас к этой лодке, — сказал он, улыбаясь. У него имелась особая улыбка для таких случаев.

— Нет, сэр.

— Слушайте, вы, полоумный рыбак. Я вас в порошок сотру.

— Верю, — сказал капитан Уилли.

— Вы еще не знаете, кто я такой.

— А мне плевать, кто бы вы ни были, — сказал капитан Уилли.

— Этот человек — бутлегер, правда?

— Соображайте сами.

— За него, вероятно, назначена награда.

— Не думаю.

— Он преступник.

— У него семья, и ему нужно самому кормиться и ее кормить. Вас-то кто кормит? Не те ли самые, что работают на правительство здесь, в Ки-Уэст, за шесть с половиной долларов в неделю?

— Он ранен. Значит, он имел столкновение.

— Если только не выстрелил в себя сам для забавы.

— Свои остроты можете держать при себе. Вы сейчас подъедете к этой лодке, и мы возьмем этого человека и эту лодку с собой, чтобы передать их полиции.

— Где?

— В Ки-Уэст.

— Вы что, полицейский чиновник?

— Я ведь вам сказал, кто он, — сказал секретарь.

— Ладно, — сказал капитан Уилли. Он резко потянул на себя руль и повернул лодку, так близко пройдя у берега, что из-под винта взлетело, крутясь, облако мергеля. Потом лодка пыхтя двинулась к зарослям манглий, где стояла лодка с контрабандой.

— Есть у вас какое-нибудь оружие? — спросил Фредерик Гаррисон капитана Уилли.

— Нет, сэр.

Оба рыбакова в фланелевых костюмах стояли теперь на корме и рассматривали лодку с контрабандой.

— Это веселее, чем рыбная ловля, как вы находите, доктор? — сказал секретарь.

— Рыбная ловля — бессмысленное занятие, — сказал Фредерик Гаррисон. — Если и поймашь меч-рыбу, что с ней делать? В пищу она не годится. А вот это действительно интересно. Я очень рад, что могу непосредственно наблюдать нечто подобное. С такой тяжелой раной этому человеку не удастся ускользнуть. Море слишком бурное. Мы знаем его номер.

— Вы действительно захватите его без посторонней помощи, — восхищенно сказал секретарь.

— И без оружия, прибавьте, — сказал Фредерик Гаррисон.

— Без возни с тайной полицией, — сказал секретарь.

— Эдгар Гувер раздувает свою популярность, — сказал Фредерик Гаррисон. — Я нахожу, что мы дали ему чересчур много воли. Подходите вплотную, — сказал он капитану Уилли. Капитан Уилли выключил мотор, и лодку подхватило течением.

— Эй, — окликнул капитан Уилли вторую лодку. — Прячьте головы!

— Это еще что? — сердито сказал Гаррисон.

— Заткнитесь, — сказал капитан Уилли. — Эй! — крикнул он второй лодке. — Слушай. Иди прямо в город и будь спокоен. О лодке не думай. Лодку заберут. Спускай груз

на дно и иди прямо в город. Тут у меня на лодке какой-то шпик из Вашингтона. Говорит, он важнее самого президента. Он хочет тебя спаять. Он думает, что ты бутлегер. Он записал номер твоей лодки. Я тебя в глаза не видал и не знаю, кто ты такой. Я не смогу установить твою личность, если...

Лодку относилло все дальше. Капитан Уилли продолжал кричать.

— Я не знаю, что это за место, где мы тебя встретили. Я не найду дороги сюда.

— Есть! — донеслось со второй лодки.

— Этот умник у меня половит рыбку, пока не стемнеет, — кричал капитан Уилли.

— Есть!

— Он любит ловить рыбку, — надсаживаясь, орал капитан Уилли. — Да только, сукин сын, говорит, что она не годится в пищу.

— Спасибо, братишка, — донесся голос Гарри.

— Этот человек ваш брат? — спросил Фредерик Гаррисон, весь красный, но по-прежнему снедаемый неумемной любознательностью.

— Нет, сэр, — сказал капитан Уилли. — Моряки все называют друг друга братишками.

— Мы сейчас же едем в Ки-Уэст, — сказал Фредерик Гаррисон; но он сказал это без особой уверенности.

— Нет, сэр, — сказал капитан Уилли. — Вы, господа, наняли мою лодку на день. Мое дело постараться, чтоб ваши деньги не пропали даром. Вы меня обозвали полумным, но я постараюсь, чтобы вы и в самом деле катались полный день.

— Везите нас в Ки-Уэст, — сказал Гаррисон.

— Слушаю, сэр, — сказал капитан Уилли. — Немного погода. Но знаете, что я вам скажу, меч-рыба для еды не хуже мерлана. Когда мы продавали ее на рынок в Гавану, нам платили по десяти центов за фунт, все равно как за мерлана.

— Да замолчите вы, — сказал Фредерик Гаррисон.

— Я думал, может, вам как правительственному чиновнику это будет интересно. Разве это не вы ведаете ценами на продукты или как там? Разве нет? Чтобы они стоили подороже или как там? Чтобы хлеб был подороже, а рыба подешевле?

— Да замолчите вы, — сказал Гаррисон.

Гарри на своей лодке перебросил за борт последний мешок.

— Дай сюда большой нож,— сказал он негру.

— Он упал в воду.

Гарри нажал стартеры и запустил оба мотора. Второй мотор он поставил, когда снова занялся контрабандой, после того как кризис вывел из моды рыболовный спорт. Он достал топор и левой рукой перерубил якорный канат. Якорь затонет, и когда станут поднимать груз, зацепят и его, подумал он. Я пойду прямо в Гаррисон-Байт, и если они захотят забрать лодку, пусть забирают. Мне нужен врач. Я не хочу лишиться и руки и лодки. Груз стоит не меньше, чем лодка. Не так уж много пролилось. Да капля прольется, и то запах здорово слышен.

Он повернул левый рычаг, и лодка, покачиваясь в начавшемся приливе, вышла из зарослей. Моторы работали бесперебойно. Лодка капитана Уилли была уже мили за две, на пути к Бока-Гранде. Пожалуй, прилив такой, что можно уже пройти в озеро, подумал Гарри.

Он повернул правый рычаг, открыл регулирующий клапан, и моторы заревели. Он почувствовал, как нос лодки приподнялся, и зеленые манглии быстро заскользили мимо, когда винт стал засасывать воду из-под корней. Может быть, все-таки не заберут лодку, подумал он. Может быть, все-таки мне вылечат руку. Кто мог знать, что они там вдруг поднимут стрельбу, после того как мы полгода свободно ездили туда и обратно. Вот вам кубинцы. Кто-то кому-то не заплатил, а в вас стреляют. Вот такие они, кубинцы.

— Эй, Уэсли,— сказал он, оглядываясь на негра, который лежал на том же месте, укрытый одеялом.— Как ты себя чувствуешь?

— Господи,— сказал Уэсли.— Хуже быть не может.

— Будет еще хуже, когда доктор станет зондировать рану,— ответил ему Гарри.

— Вы не человек,— сказал негр.— В вас ничего человеческого нет.

Старик Уилли не подкачает, думал Гарри. Никогда не подкачает старик Уилли. Это правильно, что мы поехали, вместо того чтобы ждать. Глупо было ждать. Меня так мутило и так кружилась голова, что я совсем сбился с толку.

Впереди уже видны были белые стены отеля «Ла-Кон-

ча», радиомачты и городские дома. Виден был паром у дока Трумбо, который ему придется обойти, чтобы попасть в Гаррисон-Байт. Старый Уилли не подкачает, думал он. Задаст им перцу. Что это за птицы у него на лодке? Черт возьми, мне и сейчас здорово скверно. У меня здорово голова кружится. Это хорошо, что мы поехали. Это хорошо, что мы не ждали.

— Мистер Гарри,— сказал негр.— Вы уж простите, что я не мог помочь вам спустить товар на дно.

— Ладно, чего там,— сказал Гарри.— Что спрашивать с негра, когда он ранен. Ты все-таки славный негр, Уэсли.

Сквозь рев моторов и громкий хлюпающий плеск воды за кормой он слышал странный звонкий гул в своем сердце. Так бывало всегда, когда он возвращался из рейса домой. Может быть, все-таки выечат руку, думал он. Мне бы она еще очень пригодилась, эта рука.

Глава девятая

РАССКАЗЫВАЕТ ЭЛБЕРТ

Мы все сидели у Фредди в баре, и тут входит этот длинный худой адвокат и спрашивает:

— Где Хуан?

— Еще не вернулся,— сказал кто-то.

— Я знаю, что он вернулся, и мне нужно повидать его.

— Ну конечно, вы сами выдали его и подвели под суд, а теперь вы его будете защищать,— сказал Гарри.— Нечего вам ходить сюда, спрашивать, где он. Он, наверно, у вас в кармане.

— А ну вас,— сказал адвокат.— У меня для него работа есть.

— Ну так ищите его в другом месте,— сказал Гарри.— Здесь его нет.

— Говорят вам, у меня для него работа есть,— сказал адвокат.

— Ни для кого у вас нет работы. Зараза вы, и больше ничего.

Тут как раз входит тот косматый седой старик, что торгует резиновыми изделиями; он спрашивает четверть пинты, и Фредди наливает ему, и он затыкает бутылку пробкой и впопыхах бежит с ней обратно, на улицу.

— Что случилось с вашей рукой? — спросил адвокат Гарри.

У Гарри рукав подколот к самому плечу.

— Она мне не нравилась, вот я ее и отрезал,— ответил ему Гарри.

— Вы ее отрезали или кто-нибудь другой?

— Мы с доктором вдвоем ее отрезали,— сказал Гарри. Он много выпил, и у него уже начинало шуметь в голове.—

Я сидел смирно, а он резал. Если б людям отрезали руки, когда они забираются в чужие карманы, у вас бы давно не было ни рук, ни ног.

— А что случилось с ней, что ее понадобилось отрезать? — спросил его адвокат.

— Не ваше дело, — ответил ему Гарри.

— Да нет, я просто спрашиваю. Что случилось и где вы были?

— Больше вам не к кому приставать? — спросил его Гарри. — Вы знаете, где я был, и вы знаете, что случилось. Попридержите язык и не приставайте ко мне.

— Я хочу с вами поговорить, — сказал ему адвокат.

— Ну, говорите.

— Нет, не при всех.

— Я не хочу говорить с вами. От вас ничего хорошего не дождешься. Зараза вы.

— У меня кое-что есть для вас. Кое-что хорошее.

— Ну ладно. Один раз послушаю, — ответил ему Гарри. — А о чем речь? О Хуане?

— Нет. Не о Хуане.

Они обогнули стойку и вошли в помещение за баром, которое было разгорожено на кабинеты, и пробыли там довольно долго. Пока они были там, пришла дочка Толстухи Люси с той девушкой из их заведения, с которой она всегда вместе ходит, и они сели у стойки и спросили кока-колы.

— Говорят, вышло запрещение девушкам гулять по улицам после шести часов вечера и в барах показываться тоже, — сказал Фредди дочке Толстухи Люси.

— Да, говорят.

— Собачья жизнь стала в этом городе, — сказал Фредди.

— Еще бы не собачья. Выйдешь купить себе сандвич или стакан кока-колы — арест и штраф пятнадцать долларов.

— Теперь только к таким и привязываются, — сказала дочка Толстухи Люси. — Кто любит повеселиться. У кого не совсем постная физиономия.

— Если порядки в этом городе не изменятся — дело кончится плохо.

Тут как раз вышли Гарри с адвокатом, и адвокат сказал:

— Значит, вы туда придете?

— А почему вам не привести их сюда?

— Нет. Они сюда не пойдут. Приходите туда.

— Ладно,— сказал Гарри и повернулся к стойке, а адвокат пошел к выходу.

— Что будешь пить, Эл? — спросил Гарри меня.

— Бакарди.

— Два бакарди, Фредди.— Потом он повернулся ко мне и говорит: — Ты что теперь делаешь, Эл?

— Я на общественных работах.

— Что делаешь?

— Рою канавы. Снимаю изношенные трамвайные рельсы.

— Сколько ты там получаешь?

— Семь с половиной,

— В неделю?

— А ты думал?

— На какие же шиши ты тут выпиваешь?

— Я не пил, пока ты не угостил меня,— ответил я.

Он немного подвинулся ко мне.

— Пойдешь со мной в рейс?

— Смотря в какой.

— Об этом поговорим.

— Ладно.

— Идем, прокатимся на машине,— сказал оп.— Будь здоров, Фредди.— Он часто дышал, как всегда, когда выпьет, и мы вместе с ним пошли мимо того места, где я работал весь день и где мостовая была разрыта, и дошли до луга, где стояла его машина.— Садись,— сказал он.

— Куда мы едем? — спросил я его.

— Сам не знаю,— сказал он.— Дорогой надумаю.

Мы поехали по Уайтхед-стрит, и он не говорил ни слова, а на перекрестке свернул налево, и мы поехали через центр города к Уайт-стрит и по ней к берегу. Все время Гарри не говорил ни слова, и мы свернули на набережную и по ней ехали до бульвара. Выехав на бульвар, он затормозил и остановился у самого тротуара.

— Тут какие-то иностранцы хотят зафрахтовать мою лодку на один рейс,— сказал он.

— Твоя лодка арестована таможей.

— Они этого не знают.

— Что за рейс?

— Им нужно переправить одного человека, у которого есть дело на Кубе, но ни пароходом, ни самолетом ему ехать нельзя. Так мне сказал Краснобай.

— А это можно?

— Понятно. После переворота это сплошь да рядом делается. Тут нет ничего особенного. Тьма народу переправляется так.

— Как же быть с лодкой?

— Лодку придется выкрасть. Они держат моторы незаправленными, так что я не могу сразу запустить их.

— Как ты выведешь ее из гавани?

— Выведу.

— А как мы вернемся?

— Это еще придется обдумать. Если не хочешь ехать, скажи прямо.

— Я с охотой поеду, если на этом можно заработать.

— Слушай,— сказал он.— Ты получаешь семь с половиной долларов в неделю. У тебя трое малышей, которых нечем кормить, когда они приходят из школы. У тебя семья, и у всех у вас животы подводит от голода, а я даю тебе случай немного заработать.

— Ты не сказал, сколько заработать. Если уж рисковать, так хоть было б из-за чего.

— Теперь, сколько ни рискуй, много не заработаешь, Эл,— сказал он.— Взять хоть бы меня. Я, бывало, весь сезон возил любителей на рыбную ловлю и получал по тридцать пять долларов в день. И вот в меня стреляют, и я остаюсь без руки и без лодки из-за паршивого груза спиртного, который весь не стоит моей лодки. Но одно могу тебе сказать; я не допущу, чтоб у моих детей подводило животы от голода, и я не стану рыть канавы для правительства за гроши, которых не хватит, чтобы их прокормить. Да я и не могу теперь рыть землю. Я не знаю, кто выдумывает законы, но я знаю, что нет такого закона, чтоб человек голодал...

— Я бастовал против такой оплаты,— ответил я ему.

— И вернулся на работу,— сказал он.— Они заявили, что вы бастуете против благотворительности. Ты, кажется, всю жизнь работал, не так ли? Ты никогда ни у кого не просил милостыни.

— Теперь нет работы,— сказал я.— Нигде теперь нет такой работы, чтоб можно было жить не впроголодь.

— А почему?

— Не знаю.

— Вот и я не знаю. Но только моя семья будет сыта до тех пор, пока другие сыты. Они хотят выморить вас, копчей, отсюда, чтобы можно было сжечь ваши лачуги и построить отелей и сделать из Ки-Уэст туристский город.

Так я слышал. Я слышал, что они скупают земельные участки, а потом, когда голод погонит бедняков голодать в другое место, тогда они явятся и устроят здесь красивый уголок для туристов.

— Ты говоришь как красный,— сказал я.

— И никакой я не красный,— сказал он.— Просто меня зло берет. Меня уже давно зло берет.

— Оттого, что ты остался без руки, тебе не легче.

— Черт с ней, с рукой. Без руки так без руки. Бывают вещи похуже, чем остаться без руки. У человека ведь две руки, да кроме рук есть еще что-то. И если он потерял одну руку, а все остальное у него цело, он еще все-таки человек. Ладно, к черту это,— говорит он.— Я не желаю об этом разговаривать.— Потом минуту спустя он говорит: — Остальное у меня все цело.— Потом он включил мотор и сказал: — Поехали, надо повидать этих людей.

Мы поехали вдоль бульвара, где с моря дул ветер и навстречу изредка шли другие машины, и от мостовой пахло тиной в тех местах, где волны в сильный шторм перехлестывали через волнорез. Гарри правил левой рукой. Он мне всегда нравился, и я не раз ходил с ним на его лодке в прежние времена, но он стал совсем другой с тех пор, как лишился руки, да еще таможенные власти захватили его лодку, потому что этот тип из Вашингтона, который тогда отдыхал здесь, показал, что видел, как с нее выгружали спиртное. На лодке Гарри никогда не унывал, а без лодки сразу приуныл. Должно быть, он обрадовался поводу выкрасть ее. Он знал, что это будет ненадолго, но за это время, может быть, удастся выколлотить немного денег. Мне деньги нужны были до зарезу, но я не хотел попадаться. Я сказал ему:

— Только как бы нам не попасться, Гарри.

— Хуже не попадешься, чем ты попался,— сказал он.— Что может быть хуже, чем умирать с голоду?

— Вовсе я не умираю с голоду,— сказал я.— Какого черта ты заладил одно и то же.

— Ты, может, и нет, а вот дети твои наверно.

— Ну, будет,— сказал я.— Работать с тобой я согласен, но разговоры эти ты брось.

— Ладно,— сказал он.— Но смотри, подходит ли тебе это дело. А то в городе охотники найдутся.

— Подходит,— сказал я.— Я же тебе сказал, что подходит.

— Тогда встряхнись.

— Сам ты встряхнись,— сказал я.— Это ты тут рассуждал совсем как красный.

— Ну, ну, встряхнись,— сказал он.— Все вы, кончи,— кисляи.

— С каких это пор ты перестал быть концем?

— С тех пор как первый раз наелся досыта.

Свинство это было так говорить, но он и мальчишкой ни к кому не знал жалости. Правда, и к себе он тоже никогда жалости не знал.

— Ладно,— сказал я ему.

— Ты, главное, поспокойнее,— сказал он. Впереди уже показались огни бара Ричарда.

— Здесь мы их увидим,— сказал Гарри.— Только застегни свой рот на все пуговицы.

— Иди ты к черту.

— Ну, ну, поспокойнее,— сказал Гарри, сворачивая в переулочек и подъезжая к бару с черного хода. Он был задира, и язык у него был скверный, но он мне всегда нравился, честное слово.

Мы остановили машину у черного хода и вошли в кухню, где жена хозяина стряпала у плиты.

— Привет, Фреда,— сказал ей Гарри.— Краснобай здесь?

— Только сейчас пришел. Привет, Элберт.

— Привет, миссис Ричард,— сказал я. Я знал ее, еще когда она жила в «джунглях»¹, но у нас в городе немало работающих замужних женщин вышло из таких, а уж эта — одна из самых работающих, можете мне поверить.

— Дома все здоровы? — спросила она меня.

— Все в порядке.

Мы прошли через кухню в комнату за баром. Там за столом сидел Краснобай, адвокат, и с ним четверо кубинцев.

— Садитесь,— сказал один по-английски. Это был здоровенный детина, грузный, широколицый, с хриплым голосом, и он уже здорово накачался, это сразу видно было.— Как вас зовут?

— А вас как? — спросил Гарри.

¹ «Джунглями», или «городками Гувера», называются поселки безработных, выстроенные из досок, ящиков и т. п. Женщины в этих поселках, гонимые нуждой, часто вынуждены заниматься проституцией.

— Ладно,— сказал этот кубинец.— Пусть будет по-вашему. Где лодка?

— Стоит в гавани для морских яхт,— сказал Гарри.

— А это кто? — спросил кубинец, глядя на меня.

— Мой помощник,— сказал Гарри. Кубинец оглядел меня, а двое других кубинцев оглядели нас обоих.— У него голодный вид,— сказал он и засмеялся. Другие не смеялись.— Выпить хотите?

— Можно,— сказал Гарри.

— Чего? Бакарди?

— Что вы сами пьете,— ответил ему Гарри.

— Ваш помощник пьет?

— От рюмки не откажусь,— сказал я.

— Тебе никто еще не предлагал,— сказал рослый кубинец.— Я только спросил, пьешь ли ты.

— Да будет тебе, Роберто,— сказал другой кубинец, молодой, почти совсем еще мальчик.— Неужели ты не можешь обойтись без придинок?

— Какие тут придирки. Я только спросил, пьет ли он.

— Налей ему, и все,— сказал второй кубинец.— Давайте говорить о деле.

— Сколько вы хотите за лодку, приятель? — спросил кубинец с хриплым голосом, тот, которого звали Роберто.

— Смотря по тому, что вам нужно,— сказал Гарри.

— Нам нужно, чтобы вы перевезли нас четверых на Кубу.

— А куда на Кубу?

— В Кабаньяс. За Кабаньяс. На побережье, немного дальше Мариэля. Вы знаете, где это?

— Еще бы,— сказал Гарри.— Только перевезти вас туда?

— Больше ничего. Перевезти нас туда и высадить на берег.

— Триста долларов.

— Это много. А если мы зафрахтуем вашу лодку по-дневно и гарантируем вам двухнедельную оплату?

— Сорок долларов в день и полторы тысячи залогу на случай, если что-нибудь приключится с лодкой. Разрешение брать нужно?

— Нет.

— Бензин и масло ваши,— сказал им Гарри.

— Мы вам дадим двести долларов за то, чтобы перевезти нас и высадить на берег.

— Не пойдет.

— Сколько вы хотите?

— Я вам сказал.

— Это слишком много.

— Совсем немного,— ответил ему Гарри.— Я не знаю, кто вы такие. Не знаю, что вы затеяли, и не знаю, может быть, в вас будут стрелять по дороге. Я должен два раза пересечь пролив в зимнее время. И как бы то ни было, я рискую своей лодкой. Я перевезу вас за двести долларов, но тысячу вы должны внести в залог, на случай, если с лодкой что-нибудь случится.

— Это справедливо,— сказал им Краснобай.— Это более чем справедливо.

Кубинцы заговорили между собой по-испански. Я не понимал их, но я знал, что Гарри понимает.

— Ладно,— сказал рослый, которого звали Роберто.— Когда вы можете выехать?

— Завтра вечером в любой час.

— Возможно, нам придется задержаться до послезавтра,— сказал один из них.

— Ваше дело,— сказал Гарри.— Только предупредите меня вовремя.

— Лодка ваша в исправности?

— Можете не сомневаться,— сказал Гарри.

— Славное суденышко,— сказал младший кубинец.

— Где вы ее видели?

— Вот мистер Симмонс, ваш адвокат, мне ее показывал.

— Ага,— сказал Гарри.

— Выпейте,— сказал другой кубинец.— Вы бывали на Кубе?

— Был несколько раз.

— По-испански говорите?

— Так и не научился,— сказал Гарри.

Я видел, как Краснобай, адвокат, взглянул на него, но он сам такой продурной плут, что ему всегда приятно, если другие говорят неправду. Ведь вот, когда он пришел поговорить с Гарри об этом деле, он тоже не заговорил прямо. Нет, он должен был выдумать, будто ему нужен Хуан Родригес, несчастный оборванец gallego, вор из воров, которого он сам подвел под суд, чтобы потом защищать его.

— Мистер Симмонс отлично говорит по-испански,— сказал кубинец.

— Он человек образованный.

— Править лодкой вы хорошо умеете?

— Туда и обратно доберусь.

— Вы рыбак?

— Да, сэр,— сказал Гарри.

— Как же вы ловите рыбу одной рукой? — спросил широколицый.

— Очень просто: вдвое быстрее,— ответил ему Гарри.— Я вам еще зачем-нибудь нужен?

— Нет.

Они заговорили между собой по-испански.

— Тогда я пойду,— сказал Гарри.

— Я вам дам знать насчет лодки,— сказал Краснобай Гарри.

— Сначала пусть внесут залог,— сказал Гарри.

— Это мы завтра сделаем.

— Ну, спокойной ночи,— сказал им Гарри.

— Спокойной ночи,— сказал младший, самый вежливый. Широколицый ничего не сказал. Остальные двое, с медной, как у индейцев, кожей, за все время ничего не сказали, кроме нескольких слов по-испански широколицему.

— Мы еще увидимся сегодня,— сказал Краснобай.

— Где?

— У Фредди.

Мы снова вышли через кухню, и Фреда сказала:

— Как Мария, Гарри?

— Теперь хорошо,— сказал ей Гарри.— Теперь она уже совсем успокоилась.— И он вышел на улицу. Мы сели в машину, и он снова выехал на бульвар и все время не говорил ни слова. Он, видно, думал о чем-то.

— Завезти тебя домой?

— Завези.

— Ты теперь живешь на шоссе?

— Да. Ну, как насчет рейса?

— Не знаю,— сказал он.— Не знаю еще, пойдем ли мы в этот рейс. Завтра увидимся.

Он высаживает меня у дверей дома, в котором я живу, и я вхожу и не успеваю еще открыть дверь, как моя старуха накидывается на меня за то, что я шлялся и пьянствовал и опоздал к ужину. Я спрашиваю ее, как же я мог пьянствовать без денег, а она говорит, наверно, я беру в долг. Я спрашиваю, как она думает, кто мне поверит в долг, если я на общественных работах, а она говорит,

чтобы я не дышал на нее водкой и садился за стол. Я и сажусь. Детей нет дома, они ушли смотреть бейсбол, и я сижу за столом, и она подает мне ужин и не хочет разговаривать со мной.

Глава десятая

ГАРРИ

Не хотел бы я ввязываться в такое дело, но у меня нет выбора. В наше время выбирать не приходится. Отказаться можно; только неизвестно, что еще подвернется завтра. Я сам не набивался на это, но раз надо, значит, надо. Пожалуй, мне не нужно брать с собой Элберта. Он глупый, но честный, и он хороший матрос. Он не из трусливых, но я не знаю, стоит ли мне брать его. Да ведь не возьмешь на такое дело пьянчугу или негра. Мне нужен человек, на которого я бы мог положиться. Если дело выгорит, он у меня не останется внакладе. Но я не могу рассказать ему, иначе он на это не пойдет, а мне нужно, чтобы со мной был кто-нибудь. Лучше было бы одному, одному всегда лучше, но тут мне, пожалуй, не справиться одному. Было бы гораздо лучше одному. Для Элберта и самого лучше, если он ничего не будет знать об этом. Вся беда в Краснобае. Этот Краснобай будет знать обо всем. Но ведь они должны были подумать об этом. Они должны были принять это в расчет. Неужели Краснобай так глуп, что не догадывается, что именно они хотят сделать. Вряд ли. Конечно, может быть, они вовсе не это собираются делать. Может быть, они не станут делать ничего такого. Но ничего удивительного, если они хотят сделать именно это, и я ведь слышал это слово. Если они хотят сделать это, они должны сделать это перед самым закрытием, иначе самолет береговой охраны успеет прилететь из Майами. Теперь в шесть уже темнеет. Самолету нужно не меньше часа. Когда стемнеет, им нечего бояться. Так, но если мне взяться перевезти их, нужно обдумать насчет лодки. Вывести ее не так трудно, но если я ее выведу сегодня и там хватятся, ее могут найти. Шум-то наверняка подымется. И все-таки вывести ее нужно сегодня. Можно вывести ее, когда начнется отлив, и потом спрятать. Я успею посмотреть, чего там не хватает, если там чего-нибудь не хватает, если они сняли что-нибудь. Но мне еще придется набрать бензину и воды. Мне придется здорово повозить-

ся эту ночь. Потом, когда уже она будет спрятана, Элберт должен будет привезти их на моторке. Хотя бы на моторке Уолтона. Я могу нанять ее. Или Краснобай наймет ее. Это лучше. Краснобай поможет мне сегодня вывести лодку. Именно Краснобай и никто другой. Потому что слепому ясно, что насчет Краснобая они решили. Они наверно решили насчет Краснобая. А что, если они решили и насчет нас с Элбертом? Похож кто-нибудь из них на моряка? Похож кто-нибудь из них хоть немного на моряка? Ну-ка, подумаем. Пожалуй. Вот тот, что помолже, пожалуй. Самый симпатичный из всех. Это мне нужно выяснить, потому что если они рассчитывают обойтись без меня или Элберта с самого начала, это не годится. Рано или поздно они решат насчет нас. Но в пути времени будет достаточно. Я тоже все время думаю. Я должен все хорошенько обдумать. Чтоб не вышло ошибки. Никаких ошибок. Ни одной. Что ж, теперь, по крайней мере, у меня есть о чем подумать. Есть что делать и есть о чем думать, а не только сидеть и гадать, чем это кончится. Сидеть и гадать, чем только вся эта чертова музыка может кончиться. Раз уж дело начато. Раз уж ты ввязался в игру. Раз уж тебе представился случай. Вместо того чтоб смотреть, как все катится к черту в зубы. Без водки и, значит, без куска хлеба. Ох, этот Краснобай. Он и не знает, в какое дело он впутался. Ему и в голову не приходит, как все это обернется. Только бы не пришлось его дожидаться у Фредди. У меня сегодня еще дел куча. Надо пойти поесть чего-нибудь.

Глава одиннадцатая

Было около половины десятого, когда Краснобай пришел к Фредди. Сразу можно было сказать, что он здорово хватил у Ричарда, потому что, когда он выпьет, он становится нахальным, а тут вид у него был здорово нахальный.

— Ну, дружище, — говорит он Гарри.

— Я вам не дружище, — ответил ему Гарри.

— Я желаю поговорить с вами, дружище.

— Где? В вашей приемной за баром? — спросил его Гарри.

— Да, за баром. Кто-нибудь там есть, Фредди?

— Кто там будет при таких законах. Скажите-ка, это запрещение после шести часов — надолго?

— А вы бы меня наняли, чтобы похлопотать на этот счет,— говорит Краснобай.

— Пусть вас черт нанимает,— отвечает ему Фредди. И Гарри с адвокатом уходят за бар, туда, где кабишеты и где стоят ящики с пустыми бутылками.

На потолке горела одна электрическая лампочка, и Гарри заглянул во все кабинеты, где было темно, и убедился, что там никого нет.

— Ну? — сказал он.

— Они хотят послезавтра вечером,— сказал ему Краснобай.

— Что они задумали?

— Вы понимаете по-испански,— сказал Краснобай.

— Но вы им этого не сказали?

— Нет. Вы же знаете, что я вам друг.

— Вы и отца родного не задумались бы продать.

— Бросьте это. Посмотрите, какое дело я вам даю в руки.

— С каких это пор вы такими делами занимаетесь?

— Мне нужны деньги. Я должен выбраться отсюда. Я тут совсем запутался. Вы же это знаете, Гарри.

— Кто этого не знает.

— Вы слышали, как они там добывают деньги на революционные надобности — киднэпинг и тому подобное?

— Слышал.

— Ну так и тут в том же роде. Они считают, что это ради идеи.

— Так-то так. Но ведь это здесь. В родном городе. Ведь знаешь всех служащих.

— Никто не пострадает.

— С этими молодцами ни за что не поручишься.

— Я думал, вы настоящий мужчина.

— Я-то настоящий мужчина. Насчет этого можете не беспокоиться. Но я рассчитываю еще пожить здесь.

— А я нет,— сказал Краснобай.

Господи, подумал Гарри. Он сам сказал это.

— Я хочу выбраться отсюда,— сказал Краснобай.— Когда вы думаете вывести лодку?

— Сегодня.

— Кто вам будет помогать?

— Вы.

— Где вы ее думаете поставить?

— Там, где всегда ставлю.

Вывести лодку оказалось совсем не трудно. Все было очень просто, как и рассчитывал Гарри. Ночной сторож делал обход каждый час, а остальное время он сидел у внешних ворот старого Военного порта. Они на ялике пробрались к причалу, перерезали канат, и когда начался отлив, лодка, буксируемая яликом, легко вышла в море. Дорогой, когда она скользила по каналу, Гарри проверил моторы, и оказалось, что они в порядке, только головки разъединены. Он проверил запас бензина, и оказалось, что еще есть около полутораста галлонов. Бензин не выкачивали из баков, и все, что осталось от последнего переезда, было цело. Перед выходом он тогда наполнил оба бака, а выгорело совсем немного, потому что море было бурное и идти пришлось очень медленно.

— Дома у меня в баке есть бензин,— сказал он Краснобаю.— Я могу перелить его в бутылки и привезти на машине, а Элберт может привезти еще, если понадобится. Лодка будет стоять на реке как раз там, где проходит шоссе. Они могут подъехать на машине.

— Они хотят, чтоб вы ждали их у самого Портер-Дока.

— Как же я могу поставить там лодку, прямо на виду?

— Не можете. Но я думаю, что они не согласятся на машине.

— Ну, хорошо, тогда я ее пока поставлю на реке, заправлю и сделаю все, что требуется, а потом перегоню. Вы можете привезти их на моторке. А пока мне нужно ее туда поставить. У меня еще дел куча. Вы идите на ялике к берегу, берите машину и приезжайте за мной к мосту. Я буду на шоссе часа через два. Оставляю ее и приду на шоссе.

— Я приеду за вами,— ответил ему Краснобай, и Гарри, приглушив мотор так, что лодка бесшумно двигалась по воде, развернулся на буксире и повел ялик туда, где виднелись огни сторожевой шхуны. Он выключил мотор и придержал ялик, пока Краснобай пересаживался.

— Значит, часа через два,— сказал он.

— Хорошо,— сказал Краснобай.

Сидя у штурвала, медленно подвигаясь в темноте вперед, стараясь не попасть в полосу света от причальных огней, Гарри думал о том, что Краснобаю приходится все-таки потрудиться за свои деньги. Интересно, сколько он думает получить. Интересно, как он вообще спутался с этими молодцами. Плут он большой, но в свое время из не-

го мог выйти толк. И он неплохой адвокат. Но меня прямо в дрожь бросило, когда он сам это сказал. Он просто сам накликал это на себя. Чудно, как это человек может накликать что-нибудь. Когда я услышал, как он сам накликает на себя, мне даже страшно стало.

Глава двенадцатая

Придя домой, он не стал зажигать свет, он снял внизу башмаки и в носках поднялся по каменной лестнице. Он разделся и, оставшись в одной рубашке, лег в постель, прежде чем проснулась его жена. Она окликнула в темноте: «Гарри», — и он сказал: «Спи, спи, старуха».

— Гарри, в чем дело?

— Собираюсь в рейс.

— С кем?

— Ни с кем. Может быть, с Элбертом.

— На какой лодке?

— Я взял свою лодку.

— Когда?

— Только что.

— Ты попадешь в тюрьму, Гарри.

— Никто не знает, что я взял ее.

— Где она?

— Спрятана.

Лежа неподвижно в постели, он почувствовал на своем лице ее ищущие губы и потом прикосновение ее руки, и он повернулся и крепко прижался к ней.

— Ты хочешь?

— Да. Сейчас.

— Я спала. Помнишь, как мы делали это во сне?

— Слушай, тебе не мешает культипка? Тебе не противно?

— Ты глупый. Мне даже нравится. Все, что твое, мне нравится. Положи ее сюда. Нет, сюда. Вот так. Правда, мне нравится.

— Точно ласт у морской черепахи.

— Ты вовсе не черепаха. А верно, что они это делают целых три дня?

— Верно. Слушай, ты потише. Мы разбудим девочек.

— Они не знают, какой ты у меня. Они никогда не узнают, какой ты у меня. Ох, Гарри, если б тебе не надо было уезжать. Если б тебе никогда не надо было уезжать.

Скажи, ты со многими женщинами спал — кто лучше всех?

— Ты.

— Неправда. Ты всегда говоришь мне неправду.

— Правда. Ты лучше всех.

— Я уже старая,

— Ты никогда не будешь старая.

— И я болела.

— Если женщина хорошая, это не имеет значения.

— Положи культипку сюда. Вот так. Так. Так,

— Мы слишком шумим.

— Мы говорим шепотом.

— Я должен уйти до рассвета.

— Ты спи. Я разбужу тебя. Когда ты вернешься, мы повеселимся. Поедем в Майами и остановимся в гостинице, как когда-то. Совсем как когда-то. В таком месте, где нас никто никогда не видел. Знаешь что? Давай поедем в Новый Орлеан?

— Может быть, — сказал Гарри. — Ладно, Мария, мне теперь надо спать.

— Поедем в Новый Орлеан?

— Отчего не поехать. Только сейчас мне надо спать.

— Ну, спи. Ты мой сладкий. Спи, спи. Я разбужу тебя. Не беспокойся.

Он уснул, вытянув на подушке обрубок ампутированной руки, а она еще долго лежала и смотрела на него. Свет уличного фонаря падал в окно, и его лицо было освещено. Я счастливая, думала она. Глупые девочки. Они не знают, что у них будет. Я знаю, что у меня есть и что у меня было. Я счастливая женщина. Он говорит, как у морской черепахи. Я рада, что это случилось с рукой, а не с ногой. Я бы не хотела, чтоб он потерял ногу. Почему это нужно было, чтоб он потерял руку? Чудно все-таки, но мне это не мешает. С ним мне ничего не мешает. Я счастливая женщина. Таких мужчин больше нет. Кто не пробовал, тот не знает. У меня их было много. Я счастливая, что мне достался такой. Может ли быть, что черепахи чувствуют то же, что и мы? Может ли быть, что они все время это чувствуют? Или, может быть, самке это больно? Черт знает, о чем только я думаю. Как он спит, совсем как маленький. Лучше мне не спать, чтобы вовремя разбудить его. Господи, я бы это могла всю ночь, если б мужчины были иначе устроены. Я бы хотела так: всю ночь, и совсем не спать. Совсем, совсем, совсем не спать. Совсем-совсем. Толь-

ко подумать, а? В моем возрасте. Я еще не стара. Он сказал, что я все еще хорошая. Сорок пять, это еще не старость. Я на два года старше его. Как он спит, точно маленький мальчик.

За два часа до рассвета они уже возились в гараже у бака с бензином, наливали и закупоривали бутылки и устанавливали их в багажнике машины. Гарри прицепил к правой руке крючок и очень ловко двигал и поднимал оплетенные ивовыми прутьями бутылки,

— Ты позавтракать не хочешь?

— Когда вернусь.

— Даже кофе не хочешь?

— А есть?

— Есть. Я поставила на плиту, когда мы выходили.

— Ну, принеси сюда.

Она принесла кофе, и он выпил его в темноте, присев на колесо машины. Она взяла чашку и поставила ее на стеллаж.

— Я поеду с тобой, помогу тебе перетаскивать бутылки,— сказала она.

— Ладно,— ответил он, и она села с ним рядом, крупная женщина с длинными ногами, крупными руками, крупными бедрами, все еще красивая, в шляпе, низко наклоненной на крашеные золотистые волосы. В предрассветной темноте и прохладе они ехали по шоссе сквозь туман, тяжело нависший над равниной.

— Чем ты встревожен, Гарри?

— Не знаю. Так просто тревожно. Ты что, решила отпустить волосы?

— Да, думаю, может, отпустить. Девочки все ко мне пристают.

— Ну их к черту. Оставь так, как сейчас.

— Ты правда так хочешь?

— Да,— сказал он.— Мне так нравится.

— Тебе не кажется, что я уже старая и некрасивая?

— Ты красивее их всех.

— Хорошо, я подстригусь опять. Я могу сделать цвет еще светлее, если тебе нравится.

— Что вообще за дело девочкам до того, что ты делаешь? — сказал Гарри.— Нечего им надоедать тебе.

— Ты же знаешь, какие они. Ты же знаешь, девочки всегда такие. Слушай, если у тебя рейс будет удачный, мы поедem в Новый Орлеан, хорошо?

— В Майами.

— Ну, хотя бы в Майами. А их оставим здесь.
— Раньше я должен сделать этот рейс.
— Ты чем-то встревожен, скажи?
— Нет.
— Ты знаешь, я целых четыре часа не могла заснуть, все думала о тебе.
— Ты славная старуха.
— Мне стоит только подумать о тебе, и я сейчас же хочу тебя.
— Ну, теперь давай переливать бензин в баки,— сказал ей Гарри.

Глава тринадцатая

В десять часов утра, в баре Фредди, Гарри стоял у стойки вместе с тремя или четырьмя другими, и только что оттуда вышли двое таможенных чиновников. Они спрашивали его о лодке, и он сказал, что ничего о ней не знает.

— Где вы были вчера вечером? — спросил один из них.

— Здесь и дома.

— До которого часу вы были здесь?

— Пока бар не закрылся.

— Кто-нибудь видел вас здесь?

— Все видели,— сказал Фредди.

— А в чем дело? — спросил их Гарри.— По-вашему, я украл свою собственную лодку. А что бы я стал с ней делать?

— Я только спросил, где вы были,— сказал таможенник.— Не злитесь.

— Я не злюсь,— сказал Гарри.— Я тогда злился, когда у меня забрали лодку без всяких доказательств, что она везла контрабанду.

— У нас было показание, данное под присягой,— сказал таможенный чиновник.— Не я давал это показание. Вы знаете, кто его давал.

— Ну, ладно,— сказал Гарри.— Только не говорите, что я злюсь оттого, что вы меня спросили об этом. Для меня бы лучше, если б она оставалась там, где вы ее привизали. Тогда у меня была бы надежда получить ее обратно. А какие могут быть надежды, если ее украли?

— Никаких, прямо сказать,— ответил ему таможенник.

— Ладно, вы знайте свои бумажонки,— сказал Гарри.

— Только не скандалить,— сказал таможенник,— а не то я вам доставлю случай поскандалить в другом месте.

— Это я пятнадцать лет слышу,— сказал Гарри.

— Пятнадцать лет вы не скандалили.

— Да, и в тюрьме тоже не сидел.

— Так вот и не скандальте, а не то придется посидеть.

— Ладно, успокойтесь,— сказал Гарри. Тут входит придурковатый кубинец, что ездит шофером на такси, и с ним какой-то тип, только что с самолета, и вот Дылда Роджер и говорит кубинцу:

— Хэйсус, у тебя, говорят, ребенок родился?

— Да, сэр,— говорит Хэйсус очень гордо.

— Когда ж это вы поженились? — спросил его Роджер.

— Прóшла месяц. Месяц, который до эта. Вы приходил на свадьба?

— Нет,— сказал Роджер.— Я не приходил на свадьба.

— Вы много потерял,— сказал Хэйсус.— Вы потерял весела свадьба. Почему так, вы не приходил?

— Ты меня не звал.

— Да, да,— сказал Хэйсус.— Я забыл. Я вас не звал. Вы получил, что хотел? — спросил он приезжего.

— Да. Как будто. Это самый дорогой бакарди, какой у вас есть?

— Да, сэр,— ответил ему Фредди.— Это настоящий carta del oro¹.

— Слушай, Хэйсус, а с чего ты взял, что это твой ребенок? — спрашивает его Роджер.— Это не твой ребенок.

— Как это так не мой ребенок? Как это так? Черт дери, вы не смел так говорить! Как это так не мой ребенок? Вы покупал корову и вы не получал теленок? Это мой ребенок. Черт дери, да. Мой ребенок. Мой собственность. Да, сэр!

Он уходит вместе с приезжим и с бутылкой бакарди, и смеются в конце концов над самим Роджером. Этот Хэйсус — штучка все-таки. Да и тот другой кубинец, Суитуотер, тоже.

Тут входит Краснобай, адвокат, и он говорит Гарри:

— Только что таможенники поехали за вашей лодкой.

Гарри посмотрел на него, и глаза у него были такие, точно он собирался кого-то убить. Краснобай продолжал все так же, без всякого выражения в голосе:

¹ Золотой ярлык (исп.).

— Кто-то с высокого грузовика увидел ее среди манг-лий и позвонил по телефону на таможную. Я только что встретил Германа Фредерикса. Он и сказал мне.

Гарри ничего не ответил, но глаза его стали опять как у всех людей. Потом он сказал Краснобаю:

— Всегда вы все знаете.

— Я думал, вам это будет интересно,— сказал Краснобай тем же ровным голосом.

— Меня это не касается,— сказал Гарри.— Стерегли бы получше.

Оба они стояли у стойки, и ни тот, ни другой не сказал больше ни слова, пока Дылда Роджер и все остальные не убрались оттуда. Тогда они пошли в помещение за баром.

— Зараза вы, и больше ничего,— сказал Гарри.— За что ни возьметесь, все идет к черту.

— Я виноват, что лодку было видно с грузовика? Вы сами выбирали место. Вы сами ее прятали.

— Заткнитесь,— сказал Гарри.— Почему это раньше там такие высокие грузовики не ездили? Это был для меня последний случай честно заработать деньги. Последний случай пойти в рейс, где пахло деньгами.

— Я вам вовремя дал знать.

— Вы просто старый ворон.

— Ну, будет,— сказал Краснобай.— Они хотят ехать сегодня вечером.

— И пусть себе хотят.

— Они что-то начинают беспокоиться.

— В котором часу они хотят ехать?

— В пять часов.

— Я достану лодку. Отвезу их хоть к черту в зубы.

— Это неплохая мысль.

— Вот накаркаете еще. Не суйтесь в мои дела и не каркайте.

— Слушайте, вы, бешеный,— сказал Краснобай,— я вам хочу помочь, стараюсь для вас...

— А сами только портите. Заткнитесь. С такой заразой, как вы, лучше не связываться.

— Да будет вам, наконец.

— Ну, ладно,— сказал Гарри.— Мне нужно подумать. До сих пор я все обдумывал одну вещь, а теперь я уже ее обдумал, и мне нужно обдумать кое-что другое.

— Почему вы не хотите, чтобы я помог вам?

— Вы приходите сюда в двенадцать часов и принесите залог за лодку.

Когда они вышли в общую комнату, там был Элберт, и он сразу подошел к Гарри.

— Очень жалею, Элберт, но я не могу тебя взять,— сказал Гарри. Это он уже успел обдумать.

— Я бы недорого спросил,— сказал Элберт.

— Очень жалею,— сказал Гарри,— но мне уже не нужно.

— Никто другой с тобой за такую плату не поедет,— сказал Элберт.

— Я поеду один.

— Разве можно в такой рейс пускаться одному? — сказал Элберт.

— Заткнись,— сказал Гарри.— Что ты понимаешь в моих делах. Или тебя этому на общественных работах учат?

— Иди ты к черту,— сказал Элберт.

— Может, и пойду,— сказал Гарри. Всякий, взглянув на него, увидел бы, что он напряженно думает о чем-то и не хочет, чтобы ему мешали.

— Я бы все-таки хотел поехать,— сказал Элберт.

— Я не могу тебя взять,— сказал Гарри.— Знаешь что, оставь меня в покое.

Элберт ушел, а Гарри все стоял у стойки и так смотрел на автоматы для монет в пять, десять и двадцать пять центов и на репродукцию «Последнего бивуака» Кэстера на стене, точно никогда не видел их раньше.

— А ловко Хэйсус отбрил Дылду Роджера насчет ребенка, верно? — сказал ему Фредди, опуская грязные стаканы в лохань с мыльной водой.

— Дай-ка мне пачку «Честерфилдских»,— сказал ему Гарри. Он прижал пачку обрубком и, вскрыв ее с одного конца, вынул сигарету и вставил в рот, потом уронил пачку в карман и прикурил у Фредди.

— Твоя лодка в порядке? — спросил он.

— Я на ней недавно ходил,— сказал Фредди.— Она в полном порядке.

— Хочешь, у тебя ее зафрахтуют?

— Для чего?

— Для рейса на Кубу.

— Только под залог полной стоимости.

— А сколько она стоит?

— Тысячу двести долларов.

— Я ее фрахтую,— сказал Гарри.— Мне поверишь без залога?

- Нет,— ответил ему Фредди.
- Отвечаю своим домом.
- Мне твой дом не нужен. Мне нужно тысячу двести монет.
- Идет,— сказал Гарри.
- Раньше деньги принеси,— сказал ему Фредди.
- Когда придет Краснобай, пусть он меня подождет,— сказал Гарри и вышел.

Глава четырнадцатая

Дома Мария и девочки сидели за завтраком.

- Здравствуй, папа,— сказала старшая девочка.— Папа пришел.
- Что у вас на завтрак? — спросил Гарри.
- Есть жареное мясо,— сказала Мария.
- Говорят, твою лодку украли, папа?
- Уже нашли,— сказал Гарри.
- Мария посмотрела на него.
- Кто нашел? — спросила она.
- Таможенники.
- Ох, Гарри! — сказала она жалостно.
- Ведь это же хорошо, что ее нашли, папа? — спросила вторая девочка.
- За едой не разговаривают,— ответил ей Гарри.— Ну, где же мой завтрак? Чего ты дожидаться?
- Сейчас несу.
- Мне некогда,— сказал Гарри.— Девочки, вы кончайте и уходите отсюда. Мне надо поговорить с матерью.
- Дай нам денег, папа, мы пойдем в кино.
- Или бы лучше купаться. Это бесплатно.
- Ну, папа, купаться уже холодно, и нам хочется в кино.
- Ладно,— сказал Гарри.— Ладно.
- Когда девочки вышли из комнаты, он сказал Марии:
 - Ты мне нарежь.
 - Сейчас, мой хороший.
- Она разрежала ему мясо на кусочки, как маленькому.
- Спасибо,— сказал Гарри.— Ни к черту я теперь не гожусь. От девчонок наших прок невелик, верно?
- Верно, мой хороший.
- Чудно, что у нас не было ни одного мальчика.
- Это потому, что ты такой. От таких мужчин всегда бывают только девочки.

— Какой я теперь, к черту, мужчина,— сказал Гарри.— Слушай, я иду в рейс — прямо к черту в зубы.

— Расскажи, что с лодкой.

— Ее увидели с грузовика. С высокого грузовика.

— Дело дрянь.

— Просто сказать, дерьмо.

— Ну, ну, Гарри, пожалуйста, без таких слов.

— Ты иногда в постели не такие слова говоришь.

— Это другое дело. У себя за столом я не хочу слушать «дерьмо».

— Все дерьмо.

— Ты совсем расстроен, мой хороший,— сказала Мария.

— Нет,— сказал Гарри.— Я просто думаю.

— Ну думай, думай. Я в тебя верю.

— Я тоже в себя верю. Больше мне верить не во что.

— Ты мне не хочешь рассказать, в чем дело?

— Нет. Но не тревожься, что бы ты ни услышала.

— Я не буду тревожиться.

— Слушай, Мария. Подымись наверх и принеси мой «томпсон», а в деревянном ящике найди патроны и проверь, все ли магазины заряжены.

— Не бери автомат.

— Надо.

— Коробки с патронами тоже нужны?

— Нет. Я сам не могу заряжать. У меня есть четыре магазина.

— Скажи, мой хороший, это будет такой рейс?

— Это будет скверный рейс.

— О, господи! — сказала она.— О, господи, как бы я хотела, чтобы тебе не нужно было этого делать.

— Иди достань автомат и принеси сюда. Свари мне кофе.

— Сейчас,— сказала Мария. Она перегнулась через стол и поцеловала его в губы.

— Не трогай меня,— сказал Гарри.— Мне нужно подумать.

Он сидел за столом и смотрел на пианино, буфет и радиоприемник, гравюру «Сентябрьское утро» и гравюры с купидонами, поднимающими лук над головой, блестящий дубовый стол и блестящие дубовые стулья и занавеси на окнах и думал: придется ли еще спокойно жить у себя дома? Почему мне теперь хуже, чем было, когда я начинал?

Если я не разыграю как следует эту партию — пропало и это все. Нет, черта с два. У меня и шестидесяти долларов не осталось, если не считать дома, но я все поставлю на карту. Чертовы девчонки! Ничего лучшего мы со старухой не сумели сделать. Может быть, все мальчишки кончились в ней еще до того, как мы поженились?

— Вот,— сказала Мария, держа автомат за холщовый ремень.— Все четыре полны.

— Мне пора,— сказал Гарри. Он поднял разобранный на части автомат Томпсона, бесформенной грудой оттягивавший замасленный холщовый чехол.— Положи в машину, под переднее сиденье.

— До свидания,— сказала Мария.

— До свидания, старушка.

— Я не буду тревожиться. Но смотри береги себя.

— Будь умницей.

— Ох, Гарри,— сказала она и крепко прижала его к себе.

— Ну, пусти. Некогда мне.

Он потрепал ее по плечу своей культишкой.

— Ты, морская черепаха,— сказала она.— Ох, Гарри! Будь осторожен.

— Мне пора. До свидания, старуха.

— До свидания, Гарри.

Она смотрела, как он вышел из дому, высокий, широкоплечий, прямой, с узкими бедрами, все еще по-звериному гибкий в движении, думала она, быстрый и легкий и еще не старый, он так свободно и плавно двигается, думала она, и когда он садился в машину, она увидела его светлые, выжженные солнцем волосы, его лицо с широкими монгольскими скулами и узкие глаза, перешибленную переносицу, большой рот и круглый подбородок, и, садясь в машину, он улыбнулся ей, и она заплакала. Проклятое лицо, думала она. Как только увижу это проклятое лицо, мне хочется плакать.

Глава пятнадцатая

Трое туристов сидели у стойки в баре Фредди, и Фредди наливал им. Один был очень высокий, худой, широкоплечий мужчина, в шортах и в очках с толстыми стеклами, загорелый, с коротко подстриженными рыжеватыми усиками. У его спутницы были светлые вьющиеся волосы,

остриженные по-мужски, землистый цвет кожи и сложение женщины-борца. Она тоже была в шортах.

— Все — мура,— говорила она третьему туристу, у которого было одутловатое багровое лицо, усы цвета ржавчины, белая полотняная кепка с зеленым целлулоидным козырьком и странная манера произносить слова, оттопыривая губы, как будто он ел что-то слишком горячее.

— Очаровательно,— сказал человек с зеленым козырьком.— Я еще никогда не слышал этого выражения в разговоре. Я полагал, что это коллоквиальный оборот, из числа тех, которые не употребляются в... э-э... литературной речи.

— Мура и есть,— сказала дама, похожая на борца, в неожиданном приступе кокетства награждая его возможностью полюбоваться ее прыщеватым профилем.

— Прелестно,— сказал человек с зеленым козырьком.— Вы так мило это произносите. Интересно, откуда пошло это выражение?

— Не обижайтесь на нее. Это моя жена,— сказал высокий турист.— Вы с ней знакомы?

— А все равно все — мура,— сказала жена. — Как вы себя тут чувствуете?

— Ничего,— сказал человек с зеленым козырьком.— А вы как?

— Она себя чувствует замечательно,— сказал высокий.— Вот увидите сами.

Тут как раз вошел Гарри, и жена высокого туриста сказала:

— До чего бесподобен! Как раз то, что я хотела. Купи мне это, папочка!

— Можно мне с тобой поговорить? — сказал Гарри, обращаясь к Фредди.

— Ну конечно. Сейчас же и о чем угодно,— сказала жена высокого туриста.

— Заткнись ты, шлюха,— сказал Гарри.— Выйдем туда, Фредди.

В задней комнате за столом сидел Краснобай.

— Привет, дружище,— сказал он Гарри.

— Заткнитесь,— сказал Гарри.

— Слушай,— сказал Фредди.— Ты это, пожалуйста, брось. Когда приходят по делу, так не ругаются. Даму шлюхой не называют в приличном заведении.

— Шлюха и есть,— сказал Гарри.— Слышал, что она мне сказала?

— Что бы там ни было, а в лицо так не говорят.

— Ну, ладно. Вы принесли деньги?

— Конечно, — сказал Краснобай. — Почему бы мне не принести деньги? Разве я не сказал, что принесу деньги?

— Покажите-ка.

Краснобай передал ему деньги. Гарри сосчитал десять бумажек по сотне долларов и четыре по двадцать.

— Должно быть тысяча двести.

— Это за вычетом моей комиссии, — сказал Краснобай.

— Дайте сюда остальное!

— Нет.

— Дайте!

— Не дурите.

— Берегись, гнида!

— Уймись, буян, — сказал Краснобай. — Не вздумайто отнимать их силой, потому что их у меня тут нет.

— Ясно, — сказал Гарри. — Я должен был подумать об этом. Слушай, Фредди. Мы с тобой не первый день знакомы. Я знаю, что твоя лодка стоит тысячу двести долларов. Тут не хватает ста двадцати. Возьми и рискни остальными и платой за фрахт.

— Триста двадцать долларов, значит, — сказал Фредди. Это было нешуточное дело для него — рискнуть такой суммой, и он даже вспотел, думая об этом.

— У меня есть машина и радиоприемник, которые стоят этих денег, можешь их считать залогом.

— Я могу составить залоговый акт, — сказал Краснобай.

— Не надо мне никаких актов, — сказал Фредди. Он снова вспотел, и в его голосе слышалось колебание. Потом он сказал: — Ладно, я рискну. Но, ради бога, будь осторожен с лодкой, обещаешь, Гарри?

— Как со своей.

— Свою ты упустил, — сказал Фредди, вспотев еще сильнее, так как это воспоминание удвоило его муки.

— Я буду очень осторожен.

— Я положу деньги в свой сейф в банке, — сказал Фредди.

Гарри посмотрел на Краснобая.

— Место надежное, — сказал он и усмехнулся.

— Хозяин! — позвал кто-то из бара.

— Это тебя, — сказал Гарри.

— Хозяин! — послышался тот же голос.

Фредди вышел в бар.

— Этот человек оскорбил меня,— услышал Гарри визгливый голос, но он уже разговаривал с Краснобаем.

— Я буду стоять у пристани, в конце улицы. Это с полквартала, не дальше.

— Ладно.

— Вот и все.

— Ладно, дружище!

— Я вам не дружище!

— Ну, как хотите.

— Я там буду с четырех часов.

— Еще что?

— Они должны захватить лодку силой, понятно? Я ничего не знаю. Я просто проверяю мотор. У меня даже ничего не готово для рейса. Я нанял у Фредди лодку, чтобы везти любителей па рыбную ловлю. Они должны под угрозой револьвера заставить меня запустить мотор и сами должны перерубить канаты.

— А как же Фредди? У него-то вы не для рыбной ловли ее просили?

— Фредди я скажу.

— Не советую.

— Скажу.

— Не советую.

— Слушайте, я еще во время войны делал дела с Фредди. Дважды мы с ним были компаньонами, и никогда у нас не выходило неприятностей. Вы знаете, сколько я ему возил товару. Из всей городской сволочи он единственный, кому я могу довериться.

— Я бы никому не стал доверяться.

— Вы-то нет. Каждый ведь по себе судит.

— Не обо мне разговор.

— Ну, ладно. Идите теперь к своим приятелям. А что вы будете говорить?

— Они кубинцы. Я встретил их в гостинице. Одному из них нужно помочь получить по акцептованному чеку. Что тут невероятного?

— И вы ничего не заметили?

— Ничего. Я уговорился встретиться с ними в банке.

— На чем они приедут?

— На такси.

— А шофер что будет думать,— что они музыканты, что ли?

— Мы найдем такого, который вообще не думает. В этом городе сколько угодно таких. Взять хоть Хэйсуса.

— Хэйсус себе на уме. Он только разговаривает как дурачок.

— Я скажу им, чтоб выбрали поглупее.

— Достаньте такого, у которого нет детей.

— У них у всех есть дети. Видели вы когда-нибудь бездетного шофера такси?

— Продажная вы шкура!

— Зато я никогда еще никого не убивал,— ответил ему Краснобай.

— И никогда не убьете. Давайте выйдем отсюда. С вами когда сидишь, точно вшей набираешься.

— Опи у вас, верно, и так есть.

— А разве они от разговоров заводятся?

— Если не заклеить рта.

— Вот вы и заклейте свой. А я пойду выпью,— сказал Гарри.

В первой комнате бара туристы сидели на своих высоких табуретах. Когда Гарри подошел к стойке, женщина повернулась к нему спиной в знак своего отвращения.

— Что будешь пить? — спросил Фредди.

— Что пьет дамочка? — спросил Гарри.

— Cuba libre.

— Тогда мне дай чистого виски.

Высокий рыжеусый турист в очках с толстыми стеклами наклонил к Гарри свое широкое, с прямым носом лицо и сказал:

— Послушайте, с какой стати вы нагрубили моей жене?

Гарри оглядел его сверху донизу и сказал Фредди:

— Что это у тебя тут делается?

— А все-таки? — спросил высокий.

— Успокойтесь,— сказал ему Гарри.

— Со мной это вам даром не пройдет.

— Слушайте,— сказал Гарри.— Вы приехали сюда, чтоб поправиться и набраться сил, так? Вот и успокойтесь.— И он вышел из бара.

— Вероятно, я должен был его ударить,— сказал высокий турист.— Как ты думаешь, дорогая?

— Жаль, что я не мужчина,— сказала его жена.

— Вы бы далеко пошли при таком сложении,— сказал в свою кружку человек с зеленым козырьком.

— Что вы сказали? — спросил высокий.

— Я сказал, что вы можете узнать его фамилию и адрес и написать ему письмо с изложением всего, что вы о нем думаете.

— Послушайте, как ваша фамилия? Вы, кажется, смелее надо мной.

— Можете звать меня профессор Мак-Уолси.

— Моя фамилия Лафтон, — сказал высокий. — Я писатель.

— Очень рад познакомиться, — сказал профессор Мак-Уолси. — И часто вы пишете?

Высокий человек посмотрел по сторонам.

— Уйдем отсюда, дорогая, — сказал он. — Здесь все или пахалы, или сумасшедшие.

— Это необыкновенный уголок, — сказал профессор Мак-Уолси. — Но поистине обвoroжителbный. Его называют американским Гибралтаром, и он на триста семьдесят пять миль южнее Каира. Правда, этот бар единственное, что я здесь успел повидать. Бар, впрочем, хороший.

— Я вижу, вы в самом деле профессор, — сказала жена. — Знаете, вы мне нравитесь.

— Вы мне тоже нравитесь, милочка, — сказал профессор Мак-Уолси. — Но мне пора уходить.

Он встал и пошел искать свой велосипед.

— Здесь все сумасшедшие, — сказал высокий. — Выпьем еще, дорогая.

— Мне понравился профессор, — сказала жена. — Он очень обходительный.

— А тот, что приходил...

— Ах, он просто красавец, — сказала жена. — Похож на татарина. Жаль, что он такой нахал. У него лицо просто как у какого-то Чингисхана. Ух, до чего хорош.

— У него нет одной руки, — сказал ее муж.

— Я не заметила, — сказала жена. — Выпьем еще. Интересно, кого мы тут еще увидим?

— Может быть, Тамерлана, — сказал ее муж.

— Ух, какой ты ученый, — сказала жена. — Но с меня довольно этого Чингисхана. Почему профессору понравилось, что я говорю «мура»?

— Не знаю, дорогая, — сказал Лафтон, писатель. — Мне это никогда не нравилось.

— Я ему, видно, понравилась такой, как я есть, — сказала жена. — До чего мил!

— Ты его, вероятно, увидишь еще.

— Вы его всегда увидите, когда бы ни пришли сюда,— сказал Фредди.— Он тут живет. Он уже две недели тут.

— А кто тот человек, который так грубо разговаривает?

— Тот? А это наш, здешний.

— Чем он занимается?

— Да всем понемножку,— ответил ей Фредди.— Он рыбак.

— Почему у него нет руки?

— Не знаю. Повредил где-то.

— Какой красивый! — сказала жена.

Фредди засмеялся.

— Много чего мне о нем приходилось слышать, но такого не слыхал никогда.

— По-вашему, у него не красивое лицо?

— Будет вам, леди,— ответил ей Фредди.— У него лицо похоже на свиной окорок, да еще нос переломлен.

— Фу, какие мужчины глупые! — сказала жена.— Он мне по ночам снится.

— Дурные сны вам снятся,— сказал Фредди.

Все это время лицо писателя сохраняло какое-то бессмысленное выражение, которое сходило только в те минуты, когда он восхищенно глядел на свою жену. Нужно в самом деле быть писателем или чиновником Управления общественных работ, чтобы иметь такую жену, подумал Фредди. Господи, ну и страшилище!

Тут в бар вошел Элберт.

— Где Гарри?

— Пошел на пристань.

— Спасибо,— сказал Элберт.

Он ушел, а жена и писатель по-прежнему сидели у стойки, и Фредди стоял у стойки, беспокоясь о своей лодке и думая о том, как у него болят ноги, оттого что придется стоять целый день. Он сделал поверх цементного пола деревянную решетку, но это не очень помогло. Ноги все время ныли. Зато торговля у него идет хорошо, лучше всех в городе, и накладных расходов меньше. Ну и чучело все-таки эта баба! И мужчина тоже хорош, если не нашел себе лучшей. С такой даже с закрытыми глазами не рискнешь, подумал Фредди. А заказывают все время коктейли. Дорогие коктейли. И то хорошо.

— Да, сэр,— сказал он.— Сию минуту.

Вошел загорелый, светловолосый, хорошо сложенный мужчина в полосатой матросской фуфайке и шортах защитного цвета и с ним очень хорошенькая смуглая молодая женщина в белом шерстяном свитере и темно-синих брюках.

— Кого я вижу! — сказал Лафтон, вставая.— Это же Ричард Гордон с прелестной миссис Эллен.

— Привет, Лафтон,— сказал Ричард Гордон.— Не видели вы тут пьяного профессора?

— Он только что вышел отсюда,— сказал Фредди.

— Хочешь вермуту, детка? — спросил Ричард Гордон свою жену.

— Если ты будешь, я тоже выпью,— сказала она. Потом поздоровалась с обоими Лафтонами.— Мне, пожалуйста, пополам, Фредди, французский с итальянским.

Она сидела на высоком табурете, поставив ноги на перекладину, и смотрела в окно. Фредди смотрел на нее с восхищением. Он считал, что она самая хорошенькая из всех женщин, проводивших эту зиму в Ки-Уэст. Лучше даже, чем прославленная красавица — миссис Брэдли. Миссис Брэдли уже начинала полнеть. У этой молодой женщины было миловидное лицо ирландки, темные локоны почти до самых плеч и гладкая, чистая кожа. Фредди посмотрел на ее смуглую руку, державшую стакан.

— Как работа? — спросил Лафтон у Ричарда Гордона.

— Идет неплохо,— сказал Гордон.— А у вас как?

— Джеймс не хочет работать,— сказала миссис Лафтон,— он только пьет.

— Скажите, кто такой этот профессор Мак-Уолси? — спросил Лафтон.

— Какой-то профессор экономики, кажется, а сейчас в годичном отпуску или что-то в этом роде. Это приятель Эллен.

— Он мне нравится,— сказала Эллен Гордон.

— Он мне тоже нравится,— сказала миссис Лафтон.

— Он мне первой понравился,— радостно сказала Эллен Гордон.

— О, можете взять его себе,— сказала миссис Лафтон.— Такие примерные девочки, как вы, всегда получают, что хотят.

— Оттого мы такие примерные,— сказала Эллен Гордон.

— Я выпью еще вермуту,— сказал Ричард Гордон.— А вы? — спросил он Лафтонов.

— Можно,— сказал Лафтон.— Скажите, вы идете завтра на вечер, который устраивает Брэдли?

— Конечно, он идет,— сказала Эллен Гордон.

— Она мне нравится, знаете,— сказал Ричард Гордон.— Она интересуется меня и как женщина, и как социальное явление.

— Ух! — сказала миссис Лафтон.— Вы выражаетесь почти так же учено, как профессор.

— Не стоит кичиться своим невежеством, дорогая,— сказал Лафтон.

— А с социальными явлениями спят? — спросила Эллен Гордон, глядя в открытую дверь.

— Не говори глупостей,— сказал Ричард Гордон.

— Я хочу узнать, входит ли это в задачи писателя? — спросила Эллен.

— Писатель должен знать обо всем,— сказал Ричард Гордон.— Он не может ограничивать свой жизненный опыт в угоду буржуазной морали.

— Вот как,— сказала Эллен Гордон.— А что должна делать жена писателя?

— Массу всяких вещей,— сказала миссис Лафтон.— Ах, вы бы видели, только что сюда приходил человек и оскорбил меня и Джеймса. Какой страшный!

— Я должен был его ударить,— сказал Лафтон.

— Очень страшный,— сказала миссис Лафтон.

— Я иду домой,— сказала Эллен Гордон.— Ты идешь, Дик?

— Я, пожалуй, еще побуду в городе,— сказал Ричард Гордон.

— Да? — сказала Эллен Гордон, глядясь в зеркало по верх головы Фредди.

— Да,— сказал Ричард Гордон.

Фредди, глядя на нее, подумал, что она сейчас заплачет. Ему не хотелось, чтоб это случилось в баре.

— Хочешь еще чего-нибудь выпить? — спросил ее Ричард Гордон.

— Нет.— Она покачала головой.

— Скажите, что такое с вами? — спросила миссис Лафтон.— Разве вам здесь не весело?

— Мне страшно весело,— сказала Эллен Гордон.— Но все-таки я, пожалуй, пойду домой.

— Я вернусь рано,— сказал Ричард Гордон.

— Можешь не торопиться,— ответила она. Она вышла. Она так и не заплакала. И Джона Мак-Уолси она так и не нашла.

Глава шестнадцатая

Гарри Морган оставил машину у пристани, против того места, где стояла лодка Фредди, убедился, что вокруг никого нет, приподнял переднее сиденье, вытащил плоский холщовый, заскорузлый от масла чехол и бросил его на дно лодки.

Он вошел сам, и поднял средний люк, и спрятал чехол с автоматом внизу, между моторами. Он открыл клапаны и запустил оба мотора. Правый мотор спустя несколько минут заработал бесперебойно, но левый заскакивал на втором и четвертом цилиндрах, и он обнаружил трещины в запальных свечах и поискал запасных свечей, но не мог найти.

Надо налить бензин и достать новые свечи, подумал он.

Сидя внизу, у моторов, он расстегнул чехол и собрал автомат. Он нашел два куска широкого ремня и четыре винта и, сделав в коже прорезы, устроил нечто вроде двойной лямки, в которой и укрепил автомат под самой палубой, слева от люка, как раз над левым мотором. Автомат висел в ней, слегка покачиваясь, и он выбрал один из четырех магазинов, лежавших в боковых отделениях чехла, и вставил его на место. Опустившись на колени между моторами, он протянул руку и попытался схватить автомат. Достаточно было двух движений. Сначала отцепить кусок ремня, который проходил под прикладом. Потом вытянуть пулемет из второй петли. Он попробовал, и это было нетрудно, даже одной рукой. Он передвинул рычажок с полуавтоматического хода на автоматический и удостоверился, что предохранитель закрыт. Затем он снова укрепил автомат в лямке. Он не мог придумать, куда положить запасные магазины, поэтому он засунул чехол под бензиновый бак, откуда его было легко достать, и магазины уложил концами к себе. При первом же удобном случае, когда мы уже будем в пути, я могу взять два и положить в карман, подумал он.

Он встал. День был хороший, не слишком холодный, и дул легкий северный бриз. День в самом деле был слав-

ный. Уже начался отлив, и у самого берега сидели на сваях два пеликана. Темно-зеленая рыбацья лодка пропыхтела мимо, в сторону рыбного рынка; негр-рыбак сидел на корме у руля. Гарри посмотрел на воду, спокойную под береговым ветром, серо-голубую в лучах солнца, и на песчаный островок, образовавшийся, когда в этом месте углубляли дно. Над островом летали белые чайки.

Тихая будет ночь, подумал Гарри. Славная ночь для переправы.

Он немного вспотел от возни внизу, у моторов, и, выпрямившись, вытер тряпкой лицо.

На пристани стоял Элберт.

— Слушай, Гарри,— сказал он.— Может, ты все-таки возьмешь меня с собой?

— А что еще случилось?

— Нас на общественных работах переводят на трехдневную неделю. Я только сегодня узнал об этом. Мне нужно искать что-нибудь другое.

— Ладно,— сказал Гарри. За это время он опять передумал.— Ладно.

— Вот и хорошо,— сказал Элберт.— А то я боялся показаться на глаза своей старухе. Она мне устроила утром такую трепку, как будто это я сократил общественные работы.

— Да что она, в самом деле, твоя старуха,— весело сказал Гарри.— Ты бы ее отодрал разок.

— Попробуй отдери,— сказал Элберт.— Хотел бы я услышать, что она скажет на это. У нее такой язык, что лучше не связываться.

— Слушай, Эл,— сказал ему Гарри.— Бери мою машину, поезжай в порт на железоскобяной склад и купи шесть запальных свечей, таких, как эта. Потом купи на двадцать центов льду и полдюжины краснобородок. Купи две банки кофе, четыре банки мясных консервов, две буханки хлеба и две банки сгущенного молока. Заезжай к Синклеру и скажи, чтоб сюда доставили полтора галлона бензину. Возвращайся как можно скорее и перемени в левом моторе вторую и четвертую свечу, считая от маховика. Скажи, что за бензин я заплачу потом сам. Пусть подождут или ищут меня у Фредди. Запомнишь все, что я тебе сказал? Мы завтра выходим с любителями на тарпона.

— Уже слишком холодно для тарпона,— сказал Элберт.

— Мои любители говорят, что нет,— сказал ему Гарри.

— Может быть, лучше взять дюжину краснобородок? — спросил Элберт. — На всякий случай, вдруг на них шуки накинутся. Тут у берегов теперь видимо-невидимо морских шук.

— Ну, бери дюжину. Только чтобы через час ты был на месте и бензин налит.

— Зачем тебе столько бензину?

— Придется, может быть, день и ночь пробыть в море, и у нас не будет времени заправляться.

— А куда делись те кубинцы, которых ты хотел перевезти?

— Ничего с тех пор о них не слышал.

— Хорошее было дело!

— Это тоже не плохое. Ну, собирайся.

— Сколько я буду получать?

— Пять монет в день,— сказал Гарри. — Не хочешь — не надо.

— Ладно,— сказал Элберт. — Какие, ты говорил, свечи?

— Вторая и четвертая, считая от маховика,— ответил ему Гарри. Элберт кивнул головой.

— Постараюсь запомнить,— сказал он. Он сел в машину, развернулся и покатил по улице.

Со своего места на лодке Гарри хорошо видел каменистое здание и главный подъезд Первого американского кредитного банка. Банк стоял в начале улицы, не дальше квартала от пристани. Бокового подъезда Гарри не мог видеть. Он посмотрел на часы. Было начало третьего. Он захлопнул средний люк и вылез на пристань. Ну, была не была, подумал он. Я сделал все, что мог. Пойду потолкую с Фредди, а потом вернусь и буду ждать. Выйдя с пристани, он повернул налево и пошел переулком, чтобы не проходить мимо банка.

Глава семнадцатая

Сидя у Фредди, он хотел рассказать ему обо всем, но не смог. В баре никого не было, и он сидел на табурете и хотел рассказать, но это было невозможно. Когда он уже совсем собрался рассказывать, он почувствовал, что Фредди на это не пойдет. Когда-то, может быть, и пошел бы,

по теперь нет. А может, и тогда не пошел бы. Только когда он подумал о том, чтобы рассказать Фредди, он понял, какое это скверное дело. Можно просто остаться здесь, подумал он, и тогда ничего не будет. Можно просто остаться здесь и выпить еще несколько стаканов и опьянеть, и тогда я не впутаясь в это. Вот только что «томпсон» мой там. Но никто, кроме моей старухи, не знает, что он мой. Я купил его на Кубе, в один из рейсов, когда я еще возил контрабанду. Никто не знает, что я купил его. Можно сейчас остаться здесь и разделаться с этим. Но как же тогда жить? Откуда взять средства, чтобы прокормить Марию и девочек? У меня нет лодки, нет денег, у меня нет образования. Что может делать безрукий калека? Можно остаться здесь и выпить еще, ну, пять стаканов, и тогда все сорвется, я пропущу время. А можно ничего не делать, и будь что будет.

— Дай чего-нибудь выпить, — сказал он Фредди.

Сейчас можно продать дом или внаем сдать, пока я не найду какую-нибудь работу. Какую работу? Никакой работы. Можно пойти в банк и донести, а что я получу за это? Спасибо. Ну конечно. Спасибо. Кубинские гады чиновники стреляли в меня без всякой надобности, и это стоило мне руки, а американские отняли у меня лодку. Что ж, теперь еще и от дома отказаться и получить спасибо? Нет, спасибо. К чертовой матери, подумал он. У меня нет выбора.

Ему хотелось рассказать Фредди, чтобы хоть кто-нибудь знал, что он собирается сделать. Но он не мог ему рассказать, потому что он знал, что Фредди не пойдет на это. Он теперь наживает большие деньги. Днем у него почти никого нет, зато потом бар набит до двух часов ночи. Его нужда за горло не берет. Гарри знал, что он не пойдет на это. Я должен сделать это один, думал он, да еще с этим злосчастным Элбертом. Господи, до чего голодный был у него вид, когда он стоял там, на пристани. Есть кончи, которые умрут с голоду, прежде чем решатся украсть. Сколько теперь в городе таких, с пустым брюхом. Но никто из них пальцем не шевельнет. Будут умирать с голоду понемножку, день за днем. Они с рождения только этим и занимаются; не все, по многие.

— Слушай, Фредди, — сказал он. — Мне нужно две бутылки.

— Чего?

- Бакарди.
- Ладно.
- Только откупорь их. Ты ведь знаешь, я зафрахтовал твою лодку, чтобы перевезти компанию кубинцев.
- Да, ты говорил.
- Я не знаю, когда они поедут. Может быть, сегодня вечером. Мне еще не дали знать.
- Лодка может выйти когда угодно. Сегодня почь будет тихая, ехать хорошо.
- Они как будто хотели сегодня выехать на рыбную ловлю.
- На борту есть снасть, если ее еще не утащили пеликаны.
- Нет, она там.
- Ну что ж, счастливого пути,— сказал Фредди.
- Спасибо. Вот что, дай мне еще бутылку.
- Чего?
- Виски.
- Ты, кажется, пьешь бакарди?
- Это я буду пить, если замерзну ночью в море.
- Будешь идти все время при попутном ветре,— сказал Фредди.— Я бы сам охотно пошел в рейс в такую ночь.
- Да, ночь должна быть хорошая. Так дашь мне еще бутылку?
- Тут вошли высокий турист и его жена.
- Да ведь это же мой красавец,— сказала она и усе-
лась на табурет рядом с Гарри.
- Он оглянулся на нее и встал.
- Я еще зайду, Фредди,— сказал он.— Пойду на пристань, может, мои рыболовы хотят выехать.
- Не уходите,— сказала жена.— Пожалуйста, не уходите.
- Не валяй дурака,— сказал ей Гарри и вышел из бара.
- Ричард Гордон шел по улице, направляясь к большой зимней вилле Брэдли. Он рассчитывал, что миссис Брэдли сейчас одна. Наверно, она сейчас одна. Миссис Брэдли коллекционировала писателей, точно так же, как она коллекционировала их книги, но Ричард Гордон еще не знал этого. Его жена в это время шла берегом домой. Она так и не встретила Джона Мак-Уолси. Может быть, она увидит его из окна, когда он пройдет мимо ее дома.

Элберт был уже на лодке, и баки были наполнены бензином.

— Я запущу мотор и проверю те два цилиндра, — сказал Гарри. — Ты уложил провизию?

— Да.

— Так приготовь наживку.

— Ты хочешь крупную наживку?

— Крупную. Для тарпона.

Элберт на корме готовил наживку, а Гарри у штурвала разогревал мотор, как вдруг на берегу что-то бахнуло, как будто лопнула автомобильная шина. Он оглянулся и увидел, как из банка выбежал человек. В руке у него был револьвер. Он бежал по улице, пока не скрылся из виду. Выбежали еще двое с револьверами и кожаными портфелями и побежали в том же направлении. Гарри оглянулся на Элберта, занятого наживкой. Четвертый, тот рослый широколицый кубинец, который говорил с ним в баре, показался в дверях банка с томпсоновским автоматом в руках, и когда он начал пятиться от двери, в банке протяжно и надрывно завывла сирена, и Гарри увидел, как дуло автомата задергалось, скок-скок, и слышал боп-боп-боп-боп, дробное и глухое среди воя sireны. Человек повернулся и побежал, выстрелив еще раз в дверь банка, и когда Элберт, вскочив, закричал: «Господи, банк грабят! господи, что нам делать!» — Гарри услышал в переулке шум машины и увидел «фордик»-такси, во всю мочь несущийся к пристани.

Трое кубинцев сидели сзади и один рядом с шофером.

— Где лодка? — заорал один по-испански.

— Вот она, болван, — сказал другой.

— Это не та лодка.

— Капитан тот самый.

— Живей. Живей, черт тебя побери!

— Вылезай, — сказал один кубинец шоферу. — Руки вверх.

Когда шофер вышел из машины, он засунул ему за пояс нож и, рванув к себе, разрезал на нем пояс и брюки почти до колен. Он дернул брюки вниз.

— Не двигаться, — сказал он.

Те двое, у которых были портфели, швырнули их на дно лодки, и все четверо, толкая друг друга, бросились в лодку.

— Пошел,— сказал один. Рослый с автоматом ткнул Гарри дулом в спину.

— Живо, капитан,— сказал он.— Поехали.

— Только поспокойнее,— сказал Гарри.— Отверните эту штуку куда-нибудь в сторону.

— Отчаливай,— сказал рослый. И Элберту: — Ну-ка.

— Стой, Гарри! — закричал Элберт.— Не запускай моторы. Это бандиты, они ограбили банк.

Рослый кубинец повернулся, взмахнул своим «томпсоном» и направил его на Элберта.

— Ой, не надо! Не надо! — сказал Элберт.— Не надо!

Дуло было так близко от его груди, что все три пули вошли почти рядом. Элберт медленно опустился на колени, с выпученными глазами, с раскрытым ртом. Казалось, он еще раз хочет сказать: «Не надо!»

— Обойдешься без помощника,— сказал рослый кубинец.— Сволочь однорукая! — Потом по-испански: — Возьмите нож и перережьте канаты.— И по-английски: — Живо. Поехали.— Потом по-испански: — Приставьте ему к спине револьвер! — И по-английски: — Живо. Поехали, не то я тебе голову размозжу!

— Сейчас поедem,— сказал Гарри.

Один из меднокожих кубинцев приставил ему пистолет к боку, с той стороны, где не было руки. Дуло почти касалось крючка на культике.

Когда он отваливал от пристани, поворачивая штурвал здоровой рукой, он оглянулся назад, чтобы не задеть свай, и на корме увидел Элберта, на коленях, в темной луже, со свесившейся теперь набок головой. На пристани стояло такси, и рядом с ним толстый шофер, в одних подштаниках, брюки сползли у него до самых щиколоток, руки все еще были подняты над головой, рот раскрыт почти так же широко, как у Элберта. Все еще никого не было видно на улице.

Свай пристани остались позади, и он уже вел лодку мимо маяка к выходу в открытое море.

— Живо, живо,— сказал рослый кубинец.— Давай полный ход.

— Уберите револьвер! — сказал Гарри. Он думал: можно посадить ее на мель у Кроуфиш-Бара, но этот чертов кубинец сейчас же прихлопнет меня.

— Ходу, ходу,— сказал рослый кубинец. Потом по-испански: — Все ложись. Капитана держать на мушке.— Сам он лег на корме, стащив Элберта в кокпит. Остальные

трое плашмя растянулись на дне кокпита. Гарри сидел на штурвальной скамье. Глядя вперед, он вел лодку мимо входа в гавань для морских яхт и мимо зеленой мигалки, в объезд мола, потом мимо форта, мимо красной мигалки; тут он оглянулся назад. Рослый кубинец вынул из кармана зеленую коробку с патронами и заряжал магазин. Автомат лежал рядом с ним, и он заряжал, не глядя, ощупью, глядя назад, за корму. Остальные тоже смотрели назад, кроме того, который сторожил Гарри. Это был один из меднокожих, и он револьвером сделал ему знак смотреть вперед. Погоня за ними еще не было. Моторы работали бесперебойно, и благодаря отливу идти было легко. Проходя мимо, он заметил, как грузно наклонился в сторону моря буй, вокруг которого бурлило течение.

Есть две быстроходные лодки, которые могут нагнать нас, думал Гарри. Одна — моторная лодка Рэя — возит почту из Матекумбе. Где сейчас вторая? Несколько дней тому назад я видел ее на судовой палубе Эда Тэйлора, вспомнил он. Это та самая, которую я хотел нанять через Краснобая. Нет, есть еще две, поправил он себя. Одну Государственное дорожное управление держит на островах. Другая стоит в Гаррисон-Байт. На сколько мы отошли? Он оглянулся и увидел, что форт уже далеко позади, краснокирпичное здание старого почтамта уже показалось из-за построек Военного порта, и желтое здание отеля стало теперь самой высокой точкой короткого городского горизонта. Виднелась бухта у форта и вышка маяка над шеренгой домов, тянувшейся к большому зимнему отелю. Миля четыре, не меньше, подумал он. А, вот и погоня, подумал он. Две белые рыбацкие лодки огибали волнорез, направляясь им вдогонку. Эти и десяти миль в час не сделают, подумал он.

Кубинцы переговаривались по-испански.

— Какая у вас скорость, капитан? — спросил рослый, глядя с кормы назад.

— Около двенадцати, — сказал Гарри.

— Сколько могут делать те лодки?

— Не больше десяти.

Теперь все кубинцы смотрели назад, даже и тот, который должен был держать его, Гарри, на мушке. «Но что я могу сделать? — подумал он. — Ничего пока не сделаешь!»

Две белые лодки не становились больше.

— Посмотри-ка сюда, Роберто,— сказал тот, что был повежливее.

— Куда?

— Посмотри.

Далеко позади, так что едва можно было разглядеть, взлетело над водой небольшое облако.

— Они стреляют в нас,— сказал тот, что был повежливее.— Как глупо!

— С ума сошли,— сказал широколицый.— На расстоянии трех миль!

Четырех, подумал Гарри. Все четыре будет!

Гарри видел, как крошечные облака взлетали над гладкой поверхностью воды, но не слышал звука выстрелов.

Куда им, этим кончам, подумал он. Смех один.

— Есть здесь какое-нибудь правительственное судно, капитан? — спросил широколицый, повернув голову к Гарри.

— Катер береговой охраны.

— Сколько он может делать в час?

— Не больше двенадцати.

— Значит, нам нечего опасаться?

Гарри не отвечал.

— Чего же нам еще опасаться?

Гарри ничего не говорил. Он оставил слева вытягивавшийся все выше и шире остроконечный конус Сэнд-Ки, а отдели Сэнд-Ки приходились теперь почти под прямым углом к его правому борту. Еще четверть часа — и они минуют полосу мелей.

— Что с тобой такое? Говорить разучился?

— Что вы спрашивали?

— Может еще кто-нибудь догнать нас?

— Самолет береговой охраны,— сказал Гарри.

— Мы перерезали телефонные провода, как только приехали в город,— сказал тот, что был повежливее.

— А радио вы тоже перерезали? — спросил Гарри.

— Вы думаете, самолет может долететь сюда?

— Пока не стемнеет, можно его ожидать,— сказал Гарри.

— Ну, а если по-честному, капитан? — спросил Роберто, широколицый. Гарри не отвечал.

— Ну же, если по-честному?

— Зачем вы дали этой сволочи убить моего помощника? — сказал Гарри вежливому, который стоял рядом с ним и следил за курсом по компасу.

— Молчать,— сказал Роберто.— Тебя тоже убью.

— Сколько вы взяли денег? — спросил Гарри вежливо.

— Мы не знаем. Мы еще не считали. Все равно, ведь эти деньги не наши.

— Вот это верно,— сказал Гарри. Он уже миновал маяк и взял курс по компасу 225° — как всегда, когда шел на Гавану.

— Я хочу сказать, что мы сделали это не для себя. Для нашей организации.

— А моего помощника убили — тоже для вашей организации?

— Мне очень жаль,— сказал юноша.— Не могу передать вам, до чего это мне тяжело.

— А вы и не старайтесь,— сказал Гарри.

— Видите ли,— сказал юноша спокойным тоном,— этот Роберто — дурной человек. Хороший революционер, но дурной человек. Он столько убивал во времена Мачадо, что привык к этому. Ему теперь даже нравится убивать. Правда, ведь он убивает ради дела. Ради нашего дела.— Он оглянулся на Роберто, который сидел теперь на корме, на одном из привинченных стульев, держа на коленях свой «томпсон», и смотрел на белые лодки позади, сейчас показавшиеся Гарри гораздо меньше.

— Есть что-нибудь выпить? — крикнул Роберто с кормы.

— Ничего нет,— сказал Гарри.

— Наплевать, буду пить свое,— сказал Роберто. Один из кубинцев лег на скамью, вделанную над бензиновым баком. Видно было, что его уже укачало. Другого тоже мутило, но он еще держался.

Оглянувшись назад, Гарри увидел свинцового цвета судно, которое только что прошло форт и теперь нагоняло обе белые лодки.

Катер береговой охраны, подумал он. Также ни к чему.

— Вы думаете, можно ждать самолета? — спросил юноша.

— Через полчаса будет темно,— сказал Гарри. Он сел на штурвальную скамью.— Что вы думаете делать со мной? Убить меня?

— Я бы не хотел,— сказал юноша.— Я не люблю убивать.

— Ты что там делаешь? — спросил Роберто, который держал теперь в руке бутылку виски.— Заводишь друж-

бу с капитаном? Тебе чего захотелось? Обедать за капитанским столом?

— Возьмите-ка штурвал,— сказал Гарри юноше.— Видите курс? Двести двадцать пять.— Он слез со скамьи и пошел на корму.

— Дайте мне выпить,— сказал он Роберто.— Вон он, катер береговой охраны, но ему не догнать нас.

Он решил откинуть, как ненужную роскошь, гнев, ненависть и обиду и принялся разрабатывать план.

— Ну конечно,— сказал Роберто.— Где ему догнать нас. Полюбуйтесь на этих малюток, которых мутит от качки. Что вы сказали? Вы хотите выпить? Других предсмертных желаний не имеется, капитан?

— Вы шутник,— сказал Гарри. Он долго тянул из бутылки.

— Полегче,— запротестовал Роберто.— Больше у меня нет.

— У меня есть,— ответил ему Гарри.— Я пошутил.

— А ты со мной не шути,— сказал Роберто, подозрительно глядя на него.

— Больше не собираюсь.

— Что у тебя есть?

— Бакарди.

— Давай сюда.

— Но, но, поспокойнее,— сказал Гарри.— Зачем так торопиться?

Он перешагнул через тело Элберта, направляясь в носовую часть. Проходя мимо штурвала, он взглянул на компас. Юноша отклонился от курса почти на двадцать пять градусов, и стрелка компаса колебалась. Он не моряк, подумал Гарри. Значит, у меня есть еще время. Посмотрим на след.

След убежал двумя пенистыми кривыми назад, туда, где, прямо за кормой теперь, виднелся коричневый островерхий силуэт маяка, тонко вычерченный над горизонтом. Лодок уже почти нельзя было различить. Темное пятно расплывалось в том месте, где должны были находиться городские радиомачты. Моторы работали бесперебойно. Гарри наклонился и достал одну из бутылок бакарди. Он вернулся с ней на корму. Там он сначала выпил сам, потом протянул бутылку Роберто. Стоя на корме, он посмотрел вниз, на Элберта, и ему стало не по себе. Дождался, горемыка несчастный, подумал он.

— В чем дело? Ты его боишься? — спросил широколицый кубинец.

— Что, если нам его сбросить за борт? — сказал Гарри. — Какой смысл возить его с собой.

— Идет, — сказал Роберто. — Голова у тебя работает.

— Берите его под мышки, — сказал Гарри. — Я возьму за ноги.

Роберто положил свой «томпсон» на широкую корму и, наклонившись вперед, приподнял труп за плечи.

— Нет ничего тяжелее мертвеца, — сказал он. — Ты когда-нибудь пробовал поднимать такого вот мертвого дядю, капитан?

— Нет, — сказал Гарри. — А вы пробовали поднимать мертвую тетю?

Роберто втащил труп на корму.

— Ты малый с перцем, — сказал он. — Как насчет того, чтобы выпить?

— Не откажусь, — сказал Гарри.

— Честное слово, я жалею, что убил его, — сказал Роберто. — Когда я тебя убью, буду жалеть еще больше.

— Бросьте эти разговоры, — сказал Гарри. — Зачем это вам такие разговоры нужны?

— Давай, — сказал Роберто. — Раз, два, три.

Когда, наклонившись вперед, они волокли тело по корме к борту, Гарри ногой столкнул за борт автомат. Он шлепнулся в воду вместе с Элбертом, но в то время как Элберт, прежде чем погрузиться, дважды перевернулся в белой пене, бурлившей за кормой, автомат сразу пошел ко дну.

— Так-то лучше, — сказал Роберто. — Все в полном порядке теперь. — Потом, увидев, что автомата нет: — Где он? Куда ты его дел?

— Что?

— *La ametralladora!* — От волнения он перешел на испанский.

— А что это?

— Ты знаешь, что это.

— Я его не видел.

— Ты сбросил его с кормы. Сейчас я тебя убью, сейчас.

— Успокойтесь, — сказал Гарри. — За что, черт возьми, вы хотите меня убить?

— Дай мне револьвер, — сказал Роберто по-испански одному из лежавших кубинцев. — Дай револьвер, живо!

Гарри стоял на корме, чувствуя, что никогда еще он не был таким большим и широким, чувствуя, как пот

выступает у него под мышками, чувствуя, как он течет у него по спине.

— Довольно тебе убивать,— услышал он голос одного из кубинцев, лежавших на дне.— Ты уже убил помощника. Теперь ты хочешь убить капитана. Кто доведет нас до Кубы?

— Оставь его в покое,— сказал второй.— Убьешь его, когда мы приедем.

— Он сбросил автомат за борт,— сказал Роберто.

— Деньги у нас. Зачем тебе теперь автомат? На Кубе пулеметов сколько хочешь.

— Увидишь, мы пожалеем, если не убьем его сейчас, увидишь. Дай револьвер.

— А, да ну тебя. Ты пьян. Ты всегда как напьешься, так ищешь, кого бы убить.

— Вы лучше выпейте еще,— сказал Гарри, глядя поверх серой зыби Гольфстрима туда, где круглое красное солнце уже касалось воды.— Вот смотрите. Когда оно совсем спрячется, вода станет ярко-зеленая.

— К черту,— сказал широколицый кубинец.— Думаешь, тебе это так пройдет?

— Я вам другой автомат куплю,— сказал Гарри.— На Кубе такой стоит всего сорок пять долларов. Успокойтесь. Вам теперь нечего бояться. Теперь никакой самолет не полетит за нами.

— Я тебя все равно убью,— сказал Роберто, оглядывая его.— Ты это сделал нарочно. Ты для того и заставил меня поднимать тело.

— Вам нельзя убить меня,— сказал Гарри.— Кто вас доведет до Кубы?

— Надо было тебя давно уже убить.

— Успокойтесь,— сказал Гарри.— Я пойду взгляну на моторы.

Он поднял люк, спустился вниз, подвинтил масленки и тронул рукой приклад «томпсона». Еще рано, подумал он. Да, еще рано. Черт, это удачно вышло. Элберту ведь все равно, раз он умер. Не придется его старухе тратить на похороны. Сволочная морда! Сволочная разбойничья морда! Черт, как бы я хотел прихлопнуть его сейчас. Но лучше подождать.

Он встал, вылез наверх и опустил люк.

— Ну как дела? — спросил он Роберто. Он положил руку на его жирное плечо. Широколицый кубинец посмотрел на него и ничего не сказал.

— Видели, как вода позеленела? — спросил Гарри.

— Ну тебя к черту, — сказал Роберто. Он был пьян, но он был подозрителен и, как животное, чуял что-то неладное.

— Пустите меня к штурвалу, — сказал Гарри юноше. — Как вас зовут?

— Зовите меня Эмилио, — сказал юноша.

— Идите вниз, там найдете кой-чего поесть, — сказал Гарри. — Там есть хлеб и консервы. Можете сварить кофе, если хотите.

— Я не хочу кофе.

— Я сам потом сварю, — сказал Гарри. Он сидел у штурвала при свете нактоузного огня, без труда держа взятый курс в спокойном безбурном море, глядя, как ночь спускается над водой. Бортовых огней он не зажигал.

Славная сегодня ночь для переправы, думал он, славная ночь. Как только станет совсем темно, я должен взять восточнее. Если я этого не сделаю, через час мы увидим вечернее зарево над Гаваной. Самое большее, через два. Как только этот сукин сын увидит зарево, ему опять захочется убить меня. Это мне повезло, что удалось избавиться от автомата. Еще как повезло! Интересно, что там Мария приготовила на ужин. Ох, и тревожится она, должно быть. Так, должно быть, тревожится, что ей не до еды. Интересно, сколько денег награбили эти молодцы? Чудно, что они даже не пересчитали. Хорошо способ добывать деньги на революцию. Ну и народ все-таки эти кубинцы. А Роберто просто мерзавец. Я его прикончу сегодня. Что бы там ни было дальше, а его я прикончу. Хоть бедняге Элберту этим не поможешь. Не очень приятно мне было спускать его на дно. Не знаю, как я додумался до этого.

Он зажег папиросу и курил в темноте.

Все идет хорошо, думал он. Все идет лучше, чем я ожидал. А парнишка в самом деле славный. Хорошо, если б те двое лежали на одной стороне. Хорошо, если б как-нибудь можно было согнать всех в одно место. Что ж, нужно постараться сделать все как можно умнее. Чем спокойнее они пока будут, тем лучше. Чем глаже все сойдет, тем лучше.

— Хотите сандвич? — спросил юноша.

— Спасибо, — сказал Гарри. — Вы лучше дайте своему товарищу.

— Он пьет. Он есть не станет, — сказал юноша.

— А другие как?

— Их укачало,— сказал юноша.

— Сегодня хорошая ночь для переправы,— сказал Гарри. Он видел, что юноша не смотрит на компас, и продолжал отклоняться к востоку.

— Все было бы хорошо,— сказал мальчик,— если б не ваш помощник.

— Он был хороший парень,— сказал Гарри.— А что, в банке кто-нибудь пострадал?

— Адвокат. Как его фамилия — Симмонс.

— Убит?

— Кажется.

Так, подумал Гарри. Мистер Краснобай. А чего, черт дери, он мог ждать? Как он мог думать, что до него не дойдет? Вот что получается, когда берутся не за свое дело. Вот что получается, когда хотят перехитрить всех. Мистер Краснобай. Прощайте, мистер Краснобай.

— Как это вышло, что его убили?

— Наверно, вы и сами догадываетесь,— сказал юноша.— Тут совсем не то, что с вашим помощником. Мне очень тяжело думать об этом. Он ведь ничего дурного не замышлял. Просто на данном этапе революции иначе нельзя было.

— Человек он, кажется, был неплохой,— сказал Гарри и тут же подумал: послушать только, что произносит мой язык. Черт возьми, язык может произнести все что угодно. Но важно мне заручиться расположением этого паренька, на случай если...

— А какую такую революцию вы сейчас готовите? — спросил он вслух.

— Мы — единственная настоящая революционная партия,— сказал юноша.— Мы хотим покончить со всеми прежними политическими руководителями, с американским империализмом, который нас душит, с тиранией военщины. Мы хотим начать все сызнова и дать каждому человеку свой шанс в жизни. Мы хотим, чтобы *guajirios*, то есть крестьяне, перестали быть рабами и чтобы крупные сахарные плантации были поделены между теми, кто работает на них. Но мы — не коммунисты.

Гарри поднял на него глаза от компаса.

— И как вы этого хотите добиться? — спросил он.

— А вот мы сейчас добываем деньги, нужные для борьбы,— сказал юноша.— Ради этого приходится пользоваться такими методами, которыми мы потом никогда пользоваться не будем. И прибегать к помощи таких лю-

дей, к которым мы потом не станем обращаться. Но цель оправдывает средства. В царской России тоже приходилось так поступать.

Он радикал, подумал Гарри. Вот он кто: радикал.

— Что ж, программа у вас хорошая,— сказал он вслух.— Если все это для того, чтобы помочь рабочему человеку. Я сам сколько раз участвовал в забастовках в прежние времена, когда еще у нас на Ки-Уэст были сигарные фабрики. Я бы вам с радостью помог, если бы раньше знал, кто вы такие.

— Нам многие хотели бы помочь,— сказал юноша.— Но при том, как сейчас обстоит дело с движением, мы не можем доверять людям. Нынешний этап вызван необходимостью, но я об этом очень жалею. Я ненавижу террор. И мне очень не по душе вот такие методы добывания денег. Да только выбирать не приходится. Вы не представляете, как тяжело сейчас на Кубе.

— Я знаю, что там тяжело.

— Нет, нет, вы не можете знать, насколько там тяжело. Там царит кровавая тирания, и нет такой глухой деревушки, которая не испытывала бы гнет этой тирании. Три человека не смеют сойтись вместе на улице. У Кубы нет внешних врагов, и ей не нужна армия, но тем не менее она содержит двадцатипятидесятую армию, и вся эта военщина, начиная от капралов и выше, сосет кровь из страны. Даже каждый рядовой и тот думает только о том, как бы набить карман. А кроме того, есть еще военный резерв, в котором состоят все жулики, бандиты и осведомители, оставшиеся от режима Мачадо, и чем погнушается армия, то подбирают они. Пока мы не избавимся от армии, ничего хорошего не может быть. Прежде нами правили дубинки. А теперь нами правят винтовки, револьверы, пулеметы и штыки.

— Да, плохо ваше дело,— сказал Гарри, слегка поворачивая штурвал, чтобы лодка отклонялась к востоку.

— Так плохо, что вы и вообразить себе не можете,— сказал юноша.— Я люблю мою бедную родину, и я на все, на все готов, чтобы освободить ее от тирании, которая там процветает. То, что я делаю сейчас, мне глубоко противно. Но даже если б оно мне было в тысячу раз противнее, я бы все равно делал это.

Выпить бы сейчас, думал Гарри. Какое мне дело до его революции. Плевать я хотел на его революцию. Чтобы помочь рабочему человеку, он грабит банк и убивает того,

кто ему в этом помог, а потом еще и злополучного горемыку Элберта, который никому ничего не сделал дурного. Ведь это же рабочего человека он убил. Такая мысль ему и в голову не приходит. Да к тому же семейного. Кубой правят кубинцы. Они там все друг друга предать и продать готовы. Вот и получают по заслугам. К черту все эти их революции. Я знаю одно: мне нужно прокормить свою семью, и я не могу ее прокормить. А он мне тут про революцию рассказывает. К черту его революцию.

— Да, плохо дело,— сказал он юноше.— Послушайте, вы не смените меня ненадолго у штурвала? Я пойду выпью.

— Пожалуйста,— сказал юноша.— Как держать?

— Двести двадцать пять,— сказал Гарри.

Было уже совсем темно, и здесь, посреди Гольфстрима, они попали в полосу мертвой зыби. Он прошел мимо обоих кубинцев, которые лежали на скамьях, и направился к корме, где на привинченном стуле сидел Роберто. Вода бурлила за кормой в темноте. Роберто сидел, положив ноги на второй стул.

— Дайте мне глотнуть,— сказал ему Гарри.

— Убирайся к черту! — хрипло ответил широколицый.— Это мое.

— Ладно,— сказал Гарри и пошел за второй бутылкой. Внизу, в темноте, придерживая бутылку обрубком правой руки, он вынул пробку, вытащенную и снова вставленную Фредди, и отхлебнул из горлышка.

Сейчас самое подходящее время, сказал он себе. Больше ждать нет смысла. Та мордастая сволочь пьяна. Двое остальных лежат влужку. Почему бы не сейчас?

Он отпил еще, и бакарди согрел и ободрил его, но он по-прежнему чувствовал холод и пустоту под ложечкой. Все у него внутри было холодное.

— Хотите выпить? — спросил он юношу у штурвала.

— Нет, спасибо,— сказал юноша.— Я не пью.— В свете нактоузного огня Гарри видел, как он улыбнулся.

— Я глотну разок,— сказал Гарри. Он отпил порядочно, но бакарди не разогнал пронизывающего холода, который поднялся теперь выше и заполнил всю грудь. Он поставил бутылку на пол.

— Держите тот же курс,— сказал он юноше.— Я хочу взглянуть на моторы.

Он поднял люк и спустился вниз. Потом подпер крышку люка длинным крючком, вделанным в настил пола. Он

нагнулся к моторам, здоровой рукой ощупал газопровод, цилиндры и положил руку на сальники. Он на полтора оборота завернул обе масленки. Хватит тянуть, сказал он себе. Хватит тянуть, слышишь? Куда делась вся твоя прыть? Была, да вышла, подумал он.

Он выглянул из люка. Он мог бы достать рукой обе скамьи над бензиновыми баками, на которых лежали кубинцы. Юноша сидел к нему спиной, на высоком табурете, четко выделяясь в свете нактоузного огня. Оглянувшись, он на темном фоне воды увидел фигуру Роберто, развалившегося на корме.

Двадцать один патрон в магазине, это самое большее — четыре очереди по пять, подумал он. Зевать не приходится. Ладно. Давай. Хватит тянуть, размазня несчастная! О, черт, чего бы я не отдал за хороший глоток. Поздно, теперь уже никаких глотков. Он протянул левую руку, отцепил первую ременную петлю, схватился за спусковой крючок, отодвинул предохранитель и вытянул автомат. Присев на корточки возле моторов, он тщательно прицелился в затылочную ямку юноши, ясно различимую в свете нактоузного огня.

Пламя ярко вспыхнуло в темноте, и пули защелкали по откинутой крышке люка и по мотору. Пока тело юноши тяжело сползало с табурета, он обернулся и выстрелил в темную фигуру на левой скамье, почти приставив в упор вздрагивающее огнедышащее дуло, так что запахло паленым сукном. Потом повернулся кругом, чтобы всадить заряд во второго, который уже приподнялся на локте и пытался выхватить револьвер. Он присел как можно ниже и оглянулся на корму. Широколицего кубинца там больше не было. Оба стула стояли пустые, выделяясь на фоне неба. Юноша не шевелился. Тут дело было верное. Один из кубинцев бился на своей скамье. Другой, — он видел это краем глаза, — лежал ничком, наполовину свесясь за борт.

Гарри попытался отыскать в темноте широколицего. Лодка теперь кружилась на месте, и в кокпите стало немного светлее. Он затаил дыхание и стал осматриваться. Вот он, наверное, эта тень в углу у самого пола. Он вгляделся внимательнее, и тень шевельнулась. Это был он.

Он полз к нему. Нет, к тому кубинцу, который лежал, свесясь за борт. Он хотел взять его револьвер. Пригибаясь почти к самому полу, Гарри следил за его движениями, пока не увидел его совершенно отчетливо. Тогда

он выстрелил. Вспышка осветила колени и руки ползущего, и когда боп-боп-боп-боп смолкло, Гарри услышал, как он судорожно бьется на полу.

— А, сукин сын,— сказал Гарри.— Сволочь мордастая!

Ощущение холода внутри исчезло, и в сердце был знакомый звонкий гул, и он пригнулся совсем низко и сунул руку под четырехугольный бензиновый бак, чтобы достать новый магазин. Магазин он достал, но рука была вся мокрая и быстро высыхала.

Пробил бак, сказал он себе. Нужно выключить моторы. Не угадаешь, в каком месте бак течет.

Он выбросил пустой магазин, вставил новый и вылез паверх.

Когда он выпрямился с автоматом в руке, чтобы осмотреться, прежде чем захлопнуть обрубком крышку люка, кубинец на левой койке, трижды раненный в плечо, причем две пули прошли навылет и попали в бак, вдруг сел, тщательно прицелился и выстрелил ему в живот.

Гарри качнулся назад и тяжело сел. Ему показалось, что его ударили в живот дубинкой. Спина его уперлась в одно из железных гнезд, куда вставлялись ножки стула, и когда кубинец выстрелил в него еще раз, расщепив перекладину стула над самой его головой, он пошарил возле себя, нашел автомат, осторожно поднял его, своим крючком придерживая приклад, и всадил половину магазина в кубинца, который сидел, наклонившись вперед, и спокойно расстреливал его. Тот бесформенной массой рухнул навзничь, а Гарри продолжал шарить по полу, и, найдя широколицего, который лежал на спине, он крючком зацепил его голову и повернул ее к себе, потом приставил к ней дуло автомата и спустил курок. Звук от выстрела был такой, какой бывает, когда палкой ударишь по зрелой тыкве. Гарри положил автомат и лег на пол.

— Я сволочь,— сказал он, губами почти касаясь досок пола.— Я сволочь, и теперь мне пришел конец. «Нужно выключить моторы, не то все сгорим,— подумал он.— Еще не все пропало. Еще нельзя сказать, что все пропало. О, черт! Чтобы одна случайность испортила все дело! Чтобы из-за одной случайности сорвалось! А, будь оно проклято! Будь ты проклят, кубинская сволочь! Кто б мог подумать, что я не прикончил его?»

Он встал на четвереньки и, толкнув крышку люка так, что она с шумом захлопнулась над моторами, пополз через нее вперед, к штурвальному сиденью. Он уцепился

за него и подтянулся, удивляясь тому, что может так свободно двигаться; потом, стоя на ногах, вдруг почувствовал слабость и дурноту, наклонился вперед, обрубком опираясь на компас, и повернул оба рычага. Моторы смолкли, и было слышно, как плещется о борт вода. Больше ничего не было слышно. Лодка повернулась поперек течения и закачалась на волнах, поднявшихся с северным ветром.

Он повис на штурвале, потом опустился на сиденье и прислонился к спинке. Он чувствовал, как все силы вытекают из него в долгом приступе тошноты. Он расстегнул рубашку здоровой рукой и ощупал рану, сперва ладонью, потом пальцами. Крови было очень мало. Вся пошла внутрь, подумал он. Лучше не двигаться, тогда она, может быть, остановится.

Луна взошла, и он теперь мог рассмотреть, что делает ся вокруг.

Разгром, подумал он, настоящий разгром, черт подери!

Лучше лечь самому, пока я не упал, подумал он и осторожно сполз на пол.

Он лег на бок, и в это время лодка, качаясь, повернулась так, что луна осветила ее всю.

Полным-полно, подумал он. Вот ведь как, полным-полно. Потом он стал думать о том, что она теперь будет делать. Что Мария будет делать. Может быть, ей выплатят награду. Будь он проклят, этот кубинец. Пожалуй, как-нибудь она проживет. Она женщина с головой. Пожалуй, мы бы все как-нибудь прожили. Пожалуй, это с самого начала была нелепая затея. Я откусил больше, чем мог прожевать. Не надо было мне лезть в это дело. Но ведь я обдумал все до конца. Никто не узнает, как это случилось. Если б я мог что-нибудь сделать для Марии. Куча денег здесь, на лодке. Я даже не знаю сколько. С такими деньгами всякий мог бы жить, ни о чем не думая. Наверно, береговая охрана растащит их. Половину, во всяком случае. Если б можно было дать знать моей старухе о том, что случилось. Что же она станет делать? Не знаю. Верно, нужно было мне искать работы где-нибудь на заправочной станции, что ли. Нужно было мне бросить думать о лодке. Теперь с лодкой честно денег не заработаешь. Хоть бы ее не качало, чертову колоду! Хоть бы перестало ее качать! А то у меня внутри все ходит вверх и вниз. Я, и мистер Краснобай, и Элберт. Все, кто только был причастен к этому. И вся эта сволочь тоже! Должно быть, это дело такое. Такое уж это несчастное дело! Пожалуй,

для такого, как я, самое подходящее было бы держать заправочную станцию. Черта бы я сумел держать заправочную станцию. Вот Мария — та что-нибудь такое сумеет. Она уже теперь стара, чтоб трепать хвостом. Если б только эту чертову колоду не качало.

Ладно, нужно только быть поспокойнее. Как можно спокойнее. Говорят, если не пить воды и лежать неподвижно. Главное, говорят, если не пить воды.

Он посмотрел на то, что было видно в свете луны.

Что ж, убирать ведь мне это не придется, подумал он. Поспокойнее. Вот все, что от меня требуется. Поспокойнее. Как можно спокойнее. Все-таки еще не все пропало. Если лежать неподвижно и не пить воды.

Он лег на спину и старался ровно дышать. Лодку качало на волнах Гольфстрима, и Гарри Морган плашмя лежал на полу. Сначала он пробовал упираться здоровой рукой, чтобы меньше чувствовать качку. Потом он затих и перестал сопротивляться.

Глава девятнадцатая

На другое утро, в Ки-Уэст, Ричард Гордон возвращался домой из бара Фредди, куда он ездил на велосипеде расспросить про ограбление банка. По дороге он встретил толстую, громоздкую голубоглазую женщину с крашеными золотистыми волосами, выбивавшимися из-под старой мужской фетровой шляпы; она торопливо переходила улицу, и глаза у нее были красны от слез. Посмотреть только на эту коровицу, подумал он. Интересно, о чем может думать такая женщина. Интересно, какая она может быть в постели. Что должен чувствовать муж к жене, которая так безобразно расплылась? С кем, интересно, он путается тут, в городе? Просто страх смотреть на такую женщину. Настоящий броненосец. Ужас!

Он был уже около дома. Он оставил велосипед у подъезда и вошел в холл, закрыв за собой источенную термитами парадную дверь.

— Ну, что ты узнал, Дик? — окликнула его из кухни жена.

— Не разговаривай со мной, — сказал он. — Я сажусь работать. У меня все готово в голове.

— Вот и прекрасно, — сказала она. — Я тебе не буду мешать.

Он уселся за большой стол в первой комнате. Он писал роман о забастовке на текстильной фабрике. В сегодняшней главе он собирался вывести толстую женщину с заплаканными глазами, которую встретил по дороге домой. Муж, возвращаясь по вечерам домой, ненавидит ее, ненавидит за то, что она так расплылась и обрюзгла, ему противны ее крашенные волосы, слишком большие груди, отсутствие интереса к его профсоюзной работе. Глядя на нее, он думает о молодой еврейке с крепкими грудями и полными губами, которая выступала сегодня на митинге. Это будет здорово. Это будет просто потрясающе, и притом это будет правдиво. В минутной вспышке откровения он увидел всю внутреннюю жизнь женщины подобного типа.

Ее раннее равнодушие к мужним ласкам. Жажда материнства и обеспеченного существования. Отсутствие интереса к стремлениям мужа. Жалкие попытки симулировать наслаждение половым актом, который давно уже вызывает в ней только отвращение. Это будет замечательная глава.

Женщина, которую он встретил, была Мария, жена Гарри Моргана, возвращавшаяся домой от шерифа.

Глава двадцатая

Лодка Фредди Уоллэйса, «Королева Кончей», тридцати четырех футов в длину, с номерным знаком «Тампа-V»¹, была покрашена в белый цвет; носовая палуба была покрашена зеленой краской, известной под названием «веселой», и стенки кокпита тоже были покрашены «веселой» краской. Того же зеленого цвета был и навес над штурвалом. Название лодки и порта, к которому она была приписана — Ки-Уэст, Флорида, — значилось черными буквами на корме. Ни мачты, ни утлегарей у лодки не было. Передний из стеклянных щитков был разбит. Свежевыкрашенная обшивка корпуса была пробита в нескольких местах, и дерево вокруг отверстий расщеплено. Пробоины виднелись на обеих сторонах корпуса в средней части, примерно на фут ниже планшира. Еще несколько таких пробоин приходилось почти у самой ватерлинии с правой стороны, напротив задней подпорки, поддерживавшей навес. Из самой нижней пробоины вытекла какая-то темная жидкость и липкими ручьями застыла на свежей краске.

¹ Тампа — город и порт в западной Флориде.

Лодка двигалась вместе с течением, бортом к ветру, милях в десяти от маршрутной границы для отправляющихся на север танкеров, и ее бело-зеленая окраска весело выделялась на темной синеве Гольфстрима. Пучки пожелтевших от солнца водорослей, плававшие на поверхности воды, медленно скользили мимо, уносимые течением на северо-восток, тогда как лодку легкий северный ветер отклонял немного от прямого пути, все время унося ее дальше, в Гольфстрим. На ней не заметно было никаких признаков жизни, хотя из-за планшира виднелось слегка раздувшееся тело мужчины, лежащее на скамье над левым бензиновым баком, а с длинной скамьи, идущей вдоль правого борта, другой человек, казалось, перегнулся, чтобы достать рукой воду. Его голова и плечи были на солнце, а в том месте, где его пальцы почти касались воды, собралась стайка мелких рыб, не больше двух дюймов длиной, с овальным золотистым в красноватую полоску туловищем; рыбки эти покинули куст водорослей, чтобы спрятаться в тени скользящей по течению лодки, и каждый раз, когда что-то капало с лодки в воду, они бросались к упавшей капле и сновали и сустились вокруг нее, пока не уничтожали ее бесследно. Две серые прилипалы, дюймов по восемнадцать длиной, кружились тут же в тени лодки, то открывая, то закрывая щелевидные присоски на своих плоских головах; но они, видимо, не улавливали равномерности падения капель, которыми питались мелкие рыбки, и в нужный момент зачастую оказывались по другую сторону лодки. Мелкие карминно-красные сгустки и волокна, которые тянулись по воде от нижних пробоев в корпусе, они давно уже проглотили, при каждом глотке встряхивая свои уродливые головы и продолговатые, суживающиеся к хвосту тела. Они не хотели теперь уходить оттуда, где им удалось так сытно и неожиданно поесть.

В кокпите было еще три человека. Один, мертвый, лежал на спине возле штурвального сиденья, с которого он, по-видимому, соскользнул. Другой, тоже мертвый, сторбившись, привалился к правой задней подпорке тента. Третий, еще живой, но с помутившимся сознанием, лежал на боку, положив голову на руку.

Двойное днище лодки было полно бензину, и когда ее качало, слышно было, как он там плескался. Раненый, Гарри Морган, думал, что этот звук идет у него из живота, и ему теперь казалось, что живот у него большой, как

озеро, и это озеро плещется у обоих берегов сразу. Это происходило оттого, что он теперь лежал, подняв колени и запрокинув голову. Вода в озере, которым был его живот, была очень холодная; такая холодная, что, когда он ступил в нее, у него онемели ноги, и теперь ему было невыносимо холодно, и во всем был привкус бензина, как будто он сосал шланг для перекачки бензина из одного бака в другой. Он знал, что никаких баков тут нет, хотя он чувствовал холод резинового шланга, который как будто вошел через его рот и теперь свернулся, большой, холодный и тяжелый, у него внутри. При каждом его вдохе кольца шланга в животе стягивались еще туже и холоднее, и сквозь плеск озера он ощущал его, точно большую, медленно ворочающуюся змею. Он боялся ее, но хотя она была в нем, казалось, что она где-то бесконечно далеко, и беспокоило его только одно: холод.

Холод пронизывал его насквозь, режущий холод, который не хотел его отпускать, и он теперь лежал спокойно и прислушивался к ощущению холода. Одно время ему казалось, что, если он сумеет сложиться пополам, ему станет тепло, как под одеялом, и ему даже показалось, что он сумел сложиться так, и он уже почувствовал тепло. Но на самом деле это было кровотечение, которое он вызвал, подняв колени; и когда ощущение тепла прошло, он понял, что сложиться пополам невозможно и что с холодом ничего поделать нельзя и не стоит сопротивляться. Он лежал, изо всех сил стараясь не умереть как можно дольше после того, как уже остановятся мысли. Лодка поворачивалась на волнах, и он теперь был в тени, и ему становилось все холоднее.

Лодку несло течением с десяти часов вечера, а теперь было уже далеко за полдень. На всей поверхности Гольфстрима не было видно ничего, кроме морских водорослей, нескольких пухлых розовых медуз, плававших на поверхности воды, и далекого дымка танкерного судна, шедшего с грузом из Тампико на север.

Глава двадцать первая

— Ну? — сказал Ричард Гордон своей жене.

— У тебя губная помада на сорочке, — сказала жена. — И около уха.

— Что ты скажешь на это?

- Что я скажу на это?
- Что ты скажешь на то, что я тебя застал лежащей на диване с этим неумытым пьяницей?
- Это неправда.
- А как я вас застал?
- Ты нас застал сидящими на диване.
- В темноте.
- Где ты был?
- У Брэдли.
- Да,— сказала она.— Я знаю. Не подходи ко мне. От тебя пахнет этой женщиной.
- А от тебя чем пахнет?
- Ничем. Я сидела и разговаривала с хорошим знакомым.
- Ты его целовала?
- Нет.
- Он тебя целовал?
- Да, мне это было приятно.
- Ты сука.
- Если ты будешь меня так называть, я уйду от тебя.
- Ты сука.
- Пусть,— сказала она.— Все равно все кончено. Если б ты не был таким самонадеянным и если б я тебя так не жалела, ты бы попял, что все уже давно кончено.
- Ты сука.
- Нет,— сказала она.— Я не сука. Я старалась быть хорошей женой, но ведь ты самонадеян и себялюбив, как петух. Только и знаешь кукарекать: «Посмотри, что я сделал. Посмотри, какое я дал тебе счастье. Ты должна бегать вокруг меня и кудахтать». Так вот, ты мне вовсе не дал счастья, и с меня довольно. Я свое откудахтала.
- Тебе нечего кудахтать. Ты не произвела на свет ничего такого, пад чем можно было бы кудахтать.
- Чья это вина? Разве я не хотела ребенка? Но мы никак не могли себе этого позволить. Зато мы могли себе позволить ездить на Кап-д'Антиб купаться и в Швейцарию ходить на лыжах. Мы могли себе позволить приехать сюда, в Ки-Уэст. С меня довольно. Ты мне опротивел. Эта толстая Брэдли сегодня была последней каплей.
- Ах, пожалуйста, не припутывай ее сюда!
- Человек приходит домой весь в губной помаде. Неужели ты не мог хоть умыться? Вон, на лбу тоже.
- Ты целовала это пьяное ничтожество.

— Нет, этого не было. Но было бы, если б я знала, чем ты в это время занимаешься.

— Почему ты позволяла ему целовать себя?

— Я была взбешена. Мы ждали, ждали, ждали. Ты даже не подошел ко мне. Ты ушел с этой женщиной и пропал на полдня. Джон проводил меня домой.

— Ах вот как, Джон?

— Да, Джон. Джон. ДЖОН.

— А фамилия его как? Томас?

— Его фамилия Мак-Уолси.

— А как это пишется — вместе или отдельно?

— Не знаю, — сказала она и засмеялась. Но потом она перестала смеяться. — Не воображай, что, раз я смеюсь, значит, все обошлось, — сказала она, на глазах у нее выступили слезы, губы дрожали. — Ничего не обошлось. Это не обычная ссора. Все кончено. У меня к тебе нет ненависти. Тут проще. Ты мне противен. Ты мне глубоко противен, и с меня довольно.

— Хорошо, — сказал он.

— Нет. Совсем не хорошо. Все кончено. Разве ты не понимаешь?

— Кажется, понимаю.

— Пусть тебе не кажется.

— Не устраивай мелодраму, Эллен!

— Это я устраиваю мелодраму? Ничего подобного. Просто я ухожу от тебя.

— Нет, ты не уйдешь.

— Я сказала. Больше повторять не буду.

— Что ты собираешься делать?

— Не знаю. Может быть, выйду за Джона Мак-Уолси.

— Не выйдешь.

— Выйду, если захочу.

— Он на тебе не женится.

— Не беспокойся, женится. Он только сегодня просил меня быть его женой.

Ричард Гордон ничего не сказал. Пустота образовалась у него на том месте, где раньше было сердце, и все, что он слышал или говорил, казалось нечаянно подслушанным.

— О чем он тебя просил? — сказал он голосом, который шел откуда-то издалека.

— Быть его женой.

— Зачем?

— Затем, что он меня любит. Затем, что он хочет, чтобы я жила с ним. Он зарабатывает достаточно, чтобы прокормить меня.

— Ты обвенчана со мной.

— Не по-настоящему. Не в церкви. Ты не хотел венчаться в церкви, и ты знаешь, что это разбило сердце моей бедной мамы. Я так была влюблена в тебя, что я разбила бы твое угодное сердце. Господи, какая же я была дура. Я и свое сердце разбила. Оно разбито, и у меня больше нет сердца. Все, во что я верила, все, чем я дорожила, я бросила ради тебя, потому что ты был такой необыкновенный и так сильно любил меня, что только любовь имела значение. Любовь была важнее всего на свете, верно? Любовь — это было то, что было только у нас и не могло быть ни у кого другого. И ты был гений, а я была вся твоя жизнь. Я была твой друг, твой маленький черный цветок. Чувствуй. Любовь — это просто гнусная ложь. Любовь — это пилюли эргоапиола, потому что ты боялся иметь ребенка. Любовь — это хинин, и хинин, и хинин до звона в ушах. Любовь — это гнусность абортот, на которые ты меня посылал. Любовь — это мои искромсанные внутренности. Это катетеры попеременно со спринцеваниями. Я знаю, что такое любовь. Любовь висит в ванной за дверью. Она пахнет лизолом. К черту любовь. Любовь — это когда ты, дав мне счастье, засыпаешь с открытым ртом, а я лежу всю ночь без сна и боюсь даже молиться, потому что я знаю, что больше не имею на это права. Любовь — это гнусные фокусы, которым ты меня обучал и которые ты, наверно, вычитал из книг. Хватит. Я теперь покончила с тобой и покончила с любовью. С твоей мерзкой любовью. Эх ты, писатель!

— А ты просто дрянь.

— Не ругайся. Я для тебя тоже знаю подходящее название.

— Ну, хорошо.

— Нет, совсем не хорошо. Плохо, и очень плохо. Если бы еще ты был хорошим писателем, я, может быть, стерпела бы остальное. Но я насмотрелась на то, как ты злишься, завидуешь, меняешь свои политические убеждения в угоду моде, в глаза льстишь, а за глаза сплетничаешь. Я столько насмотрелась, что с меня довольно. И, наконец, еще сегодня эта богатая развратная сука Брэдли. Нет, с меня довольно. Я пробовала и заботиться о тебе, и ухаживать за тобой, и стряпать для тебя, и молчать, когда тебе

хочется, и смеяться, когда тебе хочется, и не сопротивляться твоим вспышкам, и делать вид, что я очень счастлива, и терпеть твои бешеные выходки, и сцены ревности, и всякие подлые каверзы, но теперь я с этим покончила.

— Значит, теперь ты хочешь начать сначала с пьяницей профессором?

— Он настоящий человек. Он добрый и сердечный, и с ним так покойно, и мы из одного круга, и у нас есть общие духовные интересы, каких у тебя никогда не будет. Он похож на моего отца.

— Он пьяница.

— Он пьет. Но мой отец тоже пил. И мой отец носил перстяные носки и по вечерам вытягивал ноги в шерстяных носках на соседний стул и читал газету. А когда мы болели крупом, он ухаживал за нами. Он был котельщиком, и руки у него были все в трещинах, и он любил драться, когда выпивал, но умел драться и тогда, когда был трезв. Он ходил в церковь, потому что этого хотелось матери, и справлял пасху ради нее и ради господ бога, но больше ради нее, и он был членом профсоюза, а если он и изменял ей когда-нибудь, она об этом ничего не знала.

— Пари держу, что он ей изменял направо и налево.

— Может быть, но если это и было, он об этом рассказывал священнику, а не ей, и если это было, то только потому, что он не мог совладать с собой, и потом жалел и раскаивался. Он это делал не из любопытства, и не из петушиного самолюбия, и не для того, чтобы рассказывать потом жене, какой он замечательный мужчина. Если это и было, то только потому, что мать на целое лето уезжала с ребяташками, а он гулял с товарищами и напивался пьян. Он был настоящий человек.

— Тебе бы стать писателем и написать о нем роман.

— Я была бы лучшим писателем, чем ты. И Джон Мак-Уолси тоже настоящий человек. А ты нет. И не можешь быть. Дело тут не в политических убеждениях и не в религии.

— У меня нет никакой религии.

— У меня тоже нет. А когда-то была и теперь опять будет. И ты уже не придешь, чтобы отпить ее у меня, как ты все у меня отнял.

— Нет.

— Нет. Ты теперь можешь спать с какой-нибудь богатой дрянью вроде Helène Брэдли. Как она, довольна тобой? Говорит она, что ты необыкновенный?

Глядя на ее печальное, сердитое лицо, похорошевшее от слез, ее губы, набухшие, как почки после дождя, ее темные локоны, в беспорядке падающие на лицо, Ричард Гордон понял, что ему не удержать ее.

— И ты меня больше не любишь?

— Я даже слова этого не могу слышать.

— Хорошо,— сказал он и вдруг с силой ударил ее по лицу.

Она заплакала, теперь уже не от гнева, а от боли, уронив голову на стол.

— Этого не нужно было,— сказала она.

— Нет, нужно было,— сказал он.— Ты все на свете запасешь, но ты не знаешь, как мне это нужно было.

Сегодня вечером, когда отворилась дверь, она его не видела. Она видела только белый потолок с лепными купидонами, голубками и завитушками, которые вдруг рельефно выступили в свете от отворившейся двери.

Ричард Гордон повернул голову и увидел его, массивного и бородатого, в дверном проеме.

— Не отвлекайся,— сказала тогда *Helène Брэдли*.— Прошу тебя, не отвлекайся.— Ее блестящие волосы рассыпались по подушке.

Но Ричард Гордон повернул голову и замер, глядя на дверь.

— Не думай о нем. Ни о чем не думай, слышишь! Нельзя сейчас думать ни о чем,— говорила женщина с испуганной настойчивостью.

Бородатый человек бесшумно затворил дверь. Он улыбался.

— Ну что же ты, милый? — спросила *Helène Брэдли* в наступившей опять темноте.

— Я должен уйти.

— Ты не можешь уйти сейчас, как ты не понимаешь!

— Этот человек...

— Да это же только Томми,— сказала *Helène*.— Он все это давно знает. Не думай о нем. Ну же, милый. Я жду.

— Я не могу.

— Ты должен,— сказала *Helène*. Он чувствовал, как она дрожит всем телом.— Господи, неужели ты ничего не понимаешь? Надо же считаться с женщиной.

— Мне нужно идти,— сказал Ричард Гордон.

В темноте он почувствовал удар по лицу, от которого

в глазах у него блеснули вспышки. Потом еще удар. На этот раз по губам.

— *Так вот что вы такое,— сказала она.— А я-то воображала, что имею дело с женщиной. Убирайтесь вон.*

Вот что сегодня произошло. Вот чем кончился вечер у Брэдли.

Теперь его жена сидела, опустив голову на руки, и оба они не говорили ни слова. Ричард Гордон слышал тиканье часов, и внутри у него было так же пусто, как тихо было в комнате. Немного спустя его жена сказала, не глядя на него:

— Мне очень жаль, что так случилось. Но все кончено, разве ты не видишь?

— Да, если это так, как ты говоришь.

— Это не всегда так было, но уже давно это так.

— Я жалею, что ударил тебя.

— Ах, это не важно. Не в этом ведь дело. Это была просто форма прощания.

— Перестань.

— Мне нужно собираться,— сказала она очень устало.— Боюсь, мне придется взять большой чемодан.

— Утром соберешься,— сказал он.— Все можно сделать утром.

— Лучше я это сделаю сейчас, Дик, так будет легче. Но я очень устала. Я ужасно устала от всего этого, и у меня разболелась голова.

— Ну, как хочешь.

— Господи,— сказала она.— Как бы я хотела, чтоб этого не случилось. Но оно случилось. Я постараюсь тебе все тут устроить. Нужно будет взять кого-нибудь для услуг. Если б еще я не наговорила столько всего или если б ты меня не ударил, может, и можно было еще все уладить.

— Нет, все было кончено еще до этого.

— Мне так тебя жаль, Дик.

— Не смей жалеть меня, или я опять тебя ударю.

— Пожалуй, мне будет легче, если ты меня ударишь,— сказала она.— Мне очень жаль тебя. Очень.

— Иди к черту.

— Мне жаль, что я сказала, будто ты плохой любовник. Я в этом ничего не понимаю. Ты, наверно, замечательный.

— Думаешь, ты — совершенство? — ответил он.

Она опять заплакала.

— Это хуже пощечины,— сказала она.
— А что ты про меня сказала?
— Не знаю. Не помню. Я была так зла, и ты мне сделал так больно.
— Так ведь все уже кончено, зачем же сердиться?
— А я не хочу, чтобы все было кончено. Но теперь ничего уже не поделаешь.
— Тебе остается твой пьяница профессор.
— Перестань,— сказала она.— Давай кончим разговор и замолчим.
— Давай.
— Хорошо?
— Да.
— Я буду спать здесь.
— Нет. Можешь лечь на постели. Можешь. Я сейчас ухажу ненадолго.
— Не уходи.
— Мне нужно,— сказал он.
— До свиданья,— сказала она, и он увидел ее лицо, которое он всегда так любил и которое никогда не портили слезы, ее черные локоны, ее крепкие маленькие груди под свитером, касающиеся края стола; стол скрывал от него остальное, все, что он так любил и, казалось ему, умел радовать, но, как видно, это ничего не спасло, и когда он выходил, она смотрела через стол ему вслед, опустив подбородок на сложенные руки, и плакала.

Глава двадцать вторая

Он не взял велосипеда и пошел пешком. Луна уже взошла, и деревья темнели на фоне неба, и он шел мимо деревянных домов с узкими двориками и запертыми ставнями, сквозь которые пробивался свет; немощеными переулками с двойным рядом домов; кварталами кончей, где все было чинно, надежно упрятано от посторонних взоров — добродетель, неудачи, недоедание, овсяная каша и вареная рыба, предрассудки, порядочность, кровосмешительство, утешения религии; мимо ярко освещенных, с распахнутыми дверьми, кубинских «болито», деревянных лагун, в которых только и было романтического, что их имена: Чича, Красный домик; мимо церкви из каменных блоков, с треугольными острями шпилей, безобразно торчавшими в лунном небе; мимо живописной в лунном свете

громады монастыря с черным куполом и обширным садом; мимо заправочной станции и ярко освещенной закуской возле пустыря, где когда-то была миниатюрная площадка для гольфа; по залитой светом главной улице с тремя аптеками, магазином музыкальных инструментов, пятью еврейскими лавками, тремя бильярдными, двумя парикмахерскими, пятью пивными, тремя павильонами с мороженым, пятью скверными и одним хорошим рестораном, двумя газетными киосками, четырьмя лавками подержанных вещей (в одной из них также изготавливались ключи), фотографией, одним большим домом с конторами внизу и четырьмя зубоучастными кабинетами в верхних этажах, магазином стандартных цен, отелем на углу и стоянкой такси перед ним; и, обогнув отель, улицей, ведущей к «Джунглям», мимо большого некрашеного деревянного дома, из окон которого доносились звуки пианолы и в дверях стояли девушки, а рядом на тротуаре сидел матрос; и потом задворками, мимо кирпичного здания суда с освещенным циферблатом часов, показывавших половину одиннадцатого, мимо тюрьмы, выбеленные стены которой блестя в лунном свете, к подъезду «Поры сирени» в глубине переулочка, загроможденного автомобилями.

«Пора сирени» была ярко освещена и полна народу, и когда Ричард Гордон вошел, он увидел, что игорный зал переполнен; рулетка вертелась, и маленький шарик звонко пощелкивал о металлические перегородки, рулетка вертелась медленно, шарик жужжал, потом, щелкнув, подпрыгивал и останавливался, и тогда ничего не было слышно, кроме скрипа рулетки и стука фишек. В баре сам хозяин стоял у стойки вместе с двумя барменами и сказал ему:

— Привет, мистер Гордон. Что будете пить?

— Не знаю,— сказал Ричард Гордон.

— Вы плохо выглядите. Что такое? Вы нездоровы?

— Нет.

— Я знаю, что вам приготовить. Такое, что прямо — ух. Пили когда-нибудь испанский абсент — ожен?

— Давайте,— сказал Гордон.

— Выпьете — сразу станет хорошо. Захочется всех кругом поколотить,— сказал хозяин.— Ожен экстра для мистера Гордона.

Не отходя от стойки, Ричард Гордон выпил три экстра, но лучше ему не стало; мутный, сладковатый, отдающий лагрицей напиток никак на него не подействовал.

— Дайте мне что-нибудь другое,— сказал он бармену.

— Что такое? Вам не нравится ојен экстра? — спросил хозяин. — Вам не стало хорошо?

— Нет.

— После ојен экстра надо пить с разбором.

— Дайте мне чистого виски.

Виски согрело его язык и нёбо, но ничего не изменило в его настроении, и вдруг, глядя на себя в зеркало позади стойки, он понял, что теперь ему никогда не будет легче от вина. То, что произошло, — произошло, и всегда теперь будет с ним, и если он напьется до потери сознания, проспавшись, он все равно почувствует это опять.

Высокий, очень худой молодой человек с редкой порослью светлых волос на подбородке, стоявший у стойки рядом с ним, спросил:

— Скажите, вы не мистер Гордон?

— Да.

— Я Гарольд Спелмэн. Мы, кажется, познакомились на одном вечере в Бруклине.

— Возможно, — сказал Ричард Гордон. — Очень может быть.

— Мне очень понравилась ваша последняя книга, — сказал Спелмэн. — Мне все ваши книги нравятся.

— Очень рад слышать, — сказал Ричард Гордон. — Выпьете чего-нибудь?

— Вместе с вами, — сказал Спелмэн. — Вы пробовали этот ојен?

— Мне он не помог.

— А что с вами?

— Настроение скверное.

— Попробуйте еще.

— Нет. Я возьму чистого виски.

— Знаете, для меня целое событие, что я вас увидел, — сказал Спелмэн. — Вы, наверное, не помните нашу встречу на том вечере?

— Нет. Но, может быть, это был удачный вечер. Удачные вечера обычно не запоминаются, верно ведь?

— Пожалуй, вы правы, — сказал Спелмэн. — Это было у Маргарет Ван-Брунт. Вспоминаете? — спросил он с надеждой в голосе.

— Стараюсь.

— Это я тогда поджег дом, — сказал Спелмэн.

— Не может быть, — сказал Гордон.

— Да, — радостно сказал Спелмэн. — Именно я. Это был самый замечательный вечер из всех, какие я помню.

— Что вы теперь делаете? — спросил Гордон.

— Ничего особенного, — сказал Спелмэн. — Так, живу поэмножку. Я уже привык к этому. А вы пишете новую книгу?

— Да. Половину уже написал.

— Превосходно, — сказал Спелмэн. — А о чем?

— Забастовка на текстильной фабрике.

— Великолепно, — сказал Спелмэн. — Ужасно, знаете, люблю социальные темы.

— Что?

— Просто обожаю, — сказал Спелмэн. — Для меня нет ничего лучше. Вы, бесспорно, на голову выше всей писательской братии. Скажите, есть у вас там прекрасная еврейка-агитатор?

— А что? — спросил Ричард Гордон подозрительно.

— Это роль для Сильвии Сидней. Я в нее влюблен. Хотите посмотреть ее фотографию?

— Я видел, — сказал Ричард Гордон.

— Давайте выпьем еще, — радостно сказал Спелмэн. — Подумать только, как это мы с вами встретились. Вы знаете, я ведь счастливчик. Настоящий счастливчик.

— А что? — спросил Ричард Гордон.

— Я сумасшедший, — сказал Спелмэн. — Это просто замечательно. Все равно что быть влюбленным, только все всегда кончается хорошо.

Ричард Гордон слегка отодвинулся.

— Это вы напрасно, — сказал Спелмэн. — Я не буйный. То есть я очень редко бываю буйный. Давайте выпьем еще.

— Давно это с вами?

— По-моему, всю жизнь, — сказал Спелмэн. — Уверяю вас, это единственная возможность быть счастливым в наше время. Какое мне дело до того, как стоят акции «Дуглас Эйркрафт»? Или Телеграфно-телефонной компании? Меня все это не касается. Я читаю какую-нибудь из ваших книг, или пью, или смотрю на фотографию Сильвии, и я счастлив. Я — как птица. Я даже лучше птицы. Я... — Он помедлил, подыскивая слова, потом сразу заторопился. — Я хорошенький маленький аист, — выпалил он и покраснел. Он пристально глядел на Ричарда Гордона, шевеля губами, и тут рослый молодой блондин отделился от группы, сидевшей в другом конце бара, подошел к нему и положил ему руку на плечо.

— Пойдем, Гарольд, — сказал он. — Нам пора домой.

Спелмэн свирепо посмотрел на Ричарда Гордона.

— Он смеется над аистом,— сказал он.— Он сторонится аиста. Аиста, который кружит в свободном полете...

— Пойдем, Гарольд,— сказал высокий молодой человек. Спелмэн протянул руку Ричарду Гордону.

— Я не обижаюсь,— сказал он.— Вы хороший писатель. Продолжайте и дальше писать так. Помните, я всегда счастлив. Не давайте сбить себя с толку. До скорого свидания.

Рослый молодой человек обнял его за плечи, и оба они, протиснувшись через толпу, пошли к выходу. Спелмэн оглянулся и подмигнул Ричарду Гордону.

— Славный малый,— сказал хозяин. Он постучал себя по лбу.— Очень образованный. Заучился, должно быть. Любит бить посуду. Но он это не со зла. Платит за все, что разобьет.

— Он часто бывает здесь?

— Каждый вечер. Как он вам сказал, кто он? Лебедь?

— Аист.

— Вчера он был лошадь. С крыльями. Как та лошадь, что на бутылках «Белой лодаши», только с крыльями. А все-таки малый славный. Денег много. У него в голове неладно. Родные и держат его здесь под присмотром. Он мне все хвалил ваши книги, мистер Гордон. Чего вам палить? За счет заведения.

— Виски,— сказал Ричард Гордон. Он увидел, что к нему подходит шериф. Шериф был необыкновенно высокий, похожий на мертвеца и очень любезный человек. Ричард Гордон уже видел его сегодня, на вечере у Брэдли, и разговаривал с ним об ограблении банка.

— Мистер Гордон,— сказал шериф,— если вы ничем не заняты, поедемте потом со мной. Береговая охрана ведет из пролива лодку Гарри Моргана. Его заметил тапкер недалеко от Матакумбе. Захватили всю банду.

— Что вы говорите? — сказал Ричард Гордон.— Всех захватили?

— В телеграмме говорится, что все они убиты, только один жив еще.

— Неизвестно, кто?

— Нет, об этом ничего не сказано. Что там произошло, один бог знает.

— Деньги при них?

— Никто не знает. Но, должно быть, все там, на лодке, раз они не добрались до Кубы.

— Когда они будут здесь?
— О, часа через два-три, не раньше.
— Куда приведут лодку?
— Вероятно, в Военный порт. На причал береговой охраны.

— Где мы с вами встретимся?
— Я заеду за вами сюда.
— Лучше к Фредди. Я здесь столько не высижу.
— У Фредди сегодня не особенно приятно. Там полно ветеранов войны с общественных работ на островах. Они всегда страшно бунтят.

— Пойду взгляну, что там делается,— сказал Ричард Гордон.— У меня сегодня настроение неважное.

— Что ж, только держитесь в стороне,— сказал шериф.— Хотите, я вас туда подвезу?

— Спасибо.

Они протолкались через толпу, и Ричард Гордон сел в машину рядом с шерифом.

— Как вы думаете, что произошло на лодке Морганна? — спросил он.

— Один бог знает,— ответил шериф.— Во всяком случае, что-то страшное.

— Точнее ничего не известно?

— Ровно ничего,— сказал шериф.— Ну, вот, пожалуйста, полюбуйтесь.

Они поравнялись с ярко освещенной витриной Фредди и сразу увидели, что бар битком набит. Люди, одетые в дунгари¹, одни с непокрытой головой, другие в кепках, старых военных фуражках или картонных шлемах, в три ряда толпились у стойки, патефон с усилителем играл «Остров Капри». В ту минуту, как шериф затормозил, из открытой двери с грохотом вылетел человек, а за ним другой. Они упали и, сцепившись, катались по тротуару, и тот, который был сверху, держал нижнего обоими руками за волосы и с глухим отвратительным стуком ударял его головой об асфальт. В баре никто даже не обернулся.

Шериф вышел из машины и схватил за плечи того, который был сверху.

— Брось сейчас же,— сказал он.— Вставай.

Тот выпрямился и посмотрел на шерифа.

— Какого черта вы лезете не в свое дело?

¹ Дунгари — матросская одежда из грубой бумажной ткани.

Второй,— волосы у него были в крови, кровь лилась из уха и размазывалась по веснушчатой щеке,— тоже накиннулся на шерифа.

— Что вы пристали к моему приятелю? — сказал оп хрипло.— Чего вам надо? Думаете, я не могу вытерпеть?

— Ты все можешь вытерпеть, Джой,— сказал тот, который колотил его. Затем шерифу: — Слушайте, не найдется у вас доллара взаймы?

— Нет,— сказал шериф.

— Ну так убирайтесь к черту.— Он повернулся к Ричарду Гордону.— А вы что скажете, приятель?

— Могу угостить вас,— сказал Гордон.

— Пошли,— сказал ветеран и подхватил Гордона под руку.

— Я скоро заеду,— сказал шериф.

— Хорошо. Я буду ждать вас.

Когда они стали протискиваться к стойке, первый ветеран, рыжий, веснушчатый человек с окровавленным ухом и щекой, схватил Гордона за локоть.

— А, старый друг.

— Он молодчина,— сказал второй ветеран.— Он все может вытерпеть.

— Я все могу вытерпеть,— сказал окровавленный.— Этим-то я им и утер нос.

— А сдачи дать не можешь,— сказал еще кто-то.— И перестань толкаться.

— Пустите нас,— сказал окровавленный.— Пустите меня и моего старого друга.— Он шепнул Ричарду Гордону на ухо: — Я и не хочу давать сдачи. Я ведь могу вытерпеть, понимаете?

— Слушайте,— сказал второй ветеран, когда они наконец добрались до залитой пивом стойки.— Вы бы на него посмотрели сегодня днем, у комиссара Пятого лагеря. Я его повалил и колотил по голове бутылкой. Прямо дробь отбивал, как на барабане. Ручаюсь, я стукнул его раз пятнадцать.

— Больше,— сказал окровавленный.

— А ему хоть бы что.

— Я все могу вытерпеть,— сказал первый. Он шепнул Ричарду Гордону на ухо: — Это мой секрет.

Ричард Гордон передал им два стакана пива, которые нацедил и подвинул к нему толстый негр-бармен в белой куртке.

— Что за секрет? — спросил он.

— У меня, — сказал окровавленный. — Мой секрет.

— У него есть секрет, — сказал второй ветеран. — Он не врет.

— Хотите, скажу? — сказал окровавленный на ухо Ричарду Гордону.

Гордон кивнул.

— Мне не больно.

Второй кивнул:

— Скажи ему всю правду.

Рыжий приложил свои окровавленные губы почти к самому уху Гордона.

— Иногда мне даже приятно, — сказал он. — Что вы на это скажете?

Рядом с Гордоном стоял высокий, худой человек, со шрамом на щеке от глаз до подбородка. Он посмотрел на рыжего и усмехнулся.

— Сначала это был спорт, — сказал он. — Потом перешло в удовольствие. Если б меня могло от чего-нибудь стошнить, меня бы от тебя стошнило, Рыжий.

— Очень тебя легко тошнит, — сказал первый ветеран. — Ты в какой части служил?

— Тебе до этого дела нет, забулдыга несчастный, — сказал высокий человек.

— Стакан пива? — предложил Ричард Гордон высокому.

— Спасибо, — сказал тот. — У меня есть.

— Про нас не забывайте, — сказал один из тех двоих, что вошли вместе с Гордоном.

— Еще три пива, — сказал Ричард Гордон, и негр нацедил пива и подтолкнул к нему стаканы. У стойки было так тесно, что рук не разведешь, и Гордон оказался притиснутым к высокому ветерану.

— Вы что, с парохода? — спросил высокий.

— Нет, я здесь живу. А вы — с островов?

— Мы сегодня приехали с Тортугас, — сказал высокий. — Мы там подняли такой шум, что нас побоялись держать там.

— Он красный, — сказал первый ветеран.

— Ты бы тоже был красным, если б имел голову на плечах, — сказал высокий. — Они загнали нас туда, чтобы от нас избавиться, но мы подняли слишком большой шум. — Он улыбнулся Ричарду Гордону.

— А ну дай ему,— заорал кто-то, и Ричард Гордон увидел, как совсем близко от него поднялся кулак и ударил кого-то по лицу. Двое людей схватили того, которого ударили, и оттащили его от стойки. Когда они выбрались на свободное место, один снова изо всех сил ударил его по лицу, а другой ударил его в живот. Он упал на цементный пол и закрыл голову руками, и первый пнул его в спину. Все это время он не издал ни звука. Первый рывком поднял его на ноги и подтолкнул к стене.

— Вразумить надо сукиного сына,— сказал он, и, когда тот, весь побелев, прижался к стене, второй стал в позицию, слегка согнув колени, размахнулся правым кулаком чуть не до самого пола и хватил человека у стены по щеке. Тот упал на колени, потом медленно свалился на бок, на полу вокруг его головы образовалась лужица крови. Они оставили его там и вернулись к стойке.

— Вот это удар,— сказал первый.

— Этот сукин сын, как приедет в город, всю свою получку положит на книжку, а потом приходит сюда поживиться на чужой счет,— сказал второй.— Это уже второй раз я его вразумляю.

— На этот раз ты его крепко вразумил.

— Когда я его ударил, челюсть у него подалась, точно мешок с орехами,— с довольным видом сказал второй. Избитый лежал у стены, и никто не обращал на него внимания.

— А если б ты меня так хватил, мне хоть бы что,— сказал рыжий ветеран.

— Закройся, трепло,— сказал вразумитель.— У тебя сифон.

— Вот и врешь.

— Мне на таких, как ты, и смотреть противно,— сказал вразумитель.— Стану я себе зря руки отбивать.

— Вот именно, что зря отобьешь,— сказал Рыжий.— Послушайте, приятель,— сказал он Ричарду Гордону,— может, повторим?

— Славный народ, а? — сказал высокий.— Война очищает и облагораживает человека. Вопрос вот в чем: только такие, как мы, годятся в солдаты, или же это служба нас сделала такими?

— Я не знаю,— сказал Ричард Гордон.

— Готов поручиться, что вы здесь не найдете и трех запасных,— сказал высокий.— Это все отборный народ. Самые сливки подонков: те самые, с которыми Веллингтон

победил при Ватерлоо. Что ж, мистер Гувер выгнал нас из Анакостии¹, а мистер Рузвельт сплавил сюда, чтоб избавиться от нас. В лагере все устроено для того, чтоб вызвать эпидемию, но бедняги, как назло, не хотят умирать. Некоторых отвезли на Тортугас, но там теперь местность стала здоровее. И потом, мы не захотели там оставаться. Так что пришлось нас привезти обратно, сюда. Что они теперь выдумают? Надо же им как-нибудь от нас избавиться. Разве вы этого не понимаете?

— Почему?

— Потому что мы — отпетые, — сказал высокий. — Нам нечего терять. Мы дошли до точки. Мы хуже той голытьбы, с которой имел дело Спартак. И с нами многого не сделаешь, потому что нас столько били, что теперь единственное наше утешение — алкоголь и единственная гордость — умение все вытерпеть. Но не все мы такие. Кое-кто из нас сумеет и сдачи дать.

— Много в лагере коммунистов?

— Человек сорок, не больше, — сказал высокий. — На две тысячи. Чтоб быть коммунистом, нужны дисциплина и воздержание; пьянчуга не может быть коммунистом.

— Не слушайте вы его, — сказал рыжий ветеран. — Он просто красный, ну его к черту.

У другого конца стойки один ветеран заспорил с Фредди из-за счета.

— Вот столько ты выпил, — сказал Фредди.

Ричард Гордон посмотрел на ветерана. Он был сильно пьян, глаза у него налились кровью, и он явно лез на скандал.

— Врешь, — сказал он Фредди.

— Восемьдесят пять центов, — сказал ему Фредди.

— Смотрите, что сейчас будет, — сказал Рыжий.

Фредди положил обе руки на стойку. Он не сводил с ветерана глаз.

— Врешь, — сказал ветеран и схватился за пивной стакан. Как только его пальцы сомкнулись вокруг стакана, правая рука Фредди описала над стойкой полукруг и обрушила на голову ветерана тяжелую солонку, обмотанную посудным полотенцем.

— Чисто сделано? — сказал рыжий ветеран. — Красиво сделано?

¹ Анакостия — предместье Вашингтона.

— Вы бы посмотрели, как он орудует спиленным кием,— сказал второй.

Два ветерана, стоявшие там, где свалился зашибленный солонкой, сердито оглянулись на Фредди.

— Это еще что?

— Успокойтесь,— сказал Фредди.— Ну-ка, по одной за счет заведения. Эй, Уоллэйс,— сказал он,— прислоника этого к стенке.

— Чисто сделано? — спросил рыжий ветеран Ричарда Гордона.— Не придерешься?

Широкоплечий детина выволок зашибленного солонкой из толпы. Он поставил его на ноги, и тот взглянул на него невидящими глазами.

— Выкатывайся,— сказал он ему.— Пойди, проветрись.— У стены сидел, держась обеими руками за голову, тот, которого вразумили раньше. Широкоплечий молодой человек подошел к нему.

— Ты тоже выкатывайся,— сказал он ему.— С тобой тут вечно истории.

— У меня челюсть сломана,— хрипло сказал тот. Из рта у него шла кровь и стекала по подбородку.

— Скажи еще спасибо, что ты жив после такого удара,— сказал плечистый молодой человек.— Ну, выкатывайся.

— У меня челюсть сломана,— тупо повторил тот.— Они сломали мне челюсть.

— Выкатывайся, тебе говорят! — сказал молодой человек.— С тобой вечно истории.

Он помог человеку со сломанной челюстью встать на ноги, и тот нетвердыми шагами вышел на улицу.

— Помню, раз выдался вечер, так тут у стенки лежало штук двенадцать,— сказал рыжий ветеран.— А как-то поутру я видел, как этот толстопузый оттирал тут пол шваброй. Видел я, как ты шваброй оттирал пол? — спросил он толстого негра-бармена.

— Да, сэр,— сказал бармен.— Много раз. Да, сэр. Но вы никогда не видели, чтобы я бил кого-нибудь.

— Говорил я вам? — сказал рыжий ветеран.— Шваброй.

— Похоже, что и сегодня вечер будет не хуже,— сказал второй ветеран.— Послушайте, приятель (Ричарду Гордону), может, повторим еще раз?

Ричард Гордон чувствовал, что пьянеет. Его лицо в зеркале позади стойки уже начало казаться ему чужим.

— Как вас зовут? — спросил он высокого коммуниста.

- Джекс,— сказал высокий.— Нельсон Джекс.
- Где вы жили до того, как попали сюда?
- О, везде,— сказал тот.— В Мексике, на Кубе, в Южной Америке, везде.
- Завидую вам,— сказал Ричард Гордон.
- Почему вы мне завидуете? Почему вы не работаете?
- Я написал три книги,— сказал Ричард Гордон.— Сейчас пишу четвертую, о Гастонской стачке.
- Это хорошо,— сказал высокий.— Отлично. Как, вы сказали, ваша фамилия?
- Ричард Гордон.
- А! — сказал высокий.
- Что это значит, «а!»?
- Ничего,— сказал высокий.
- Вы читали мои книги? — спросил Ричард Гордон.
- Да.
- Они вам не понравились?
- Нет,— сказал высокий.
- Почему?
- Не хочется говорить.
- Скажите.
- По-моему, все они — дерьмо,— сказал высокий и отвернулся.
- Сегодня, кажется, мой вечер,— сказал Ричард Гордон,— мой бенефис. Вы что будете пить? — спросил он рыжего ветерана.— У меня еще осталось два доллара.
- Пиво,— сказал Рыжий.— Слушайте, я ваш друг. По-моему, ваши книги — отличные книги. К черту этого паршивого красного.
- Нет ли у вас с собой какой-нибудь книжки? — спросил второй ветеран.— Я бы охотно почитал вашу книжку. Вы никогда не печатались в «Западных рассказах» или «Героях войны»? Я этих «Героев войны» готов читать хоть каждый день.
- Что это за птица, этот высокий? — спросил Ричард Гордон.
- Я же говорю, он просто паршивый красный,— сказал второй ветеран.— Лагерь кишит такими. Мы бы их выставили, но я же говорю, у нас там народ чаще всего не помнит.
- Чего не помнит? — спросил Ричард Гордон.
- Ничего не помнит,— сказал второй.
- Вы меня видите? — спросил Рыжий.
- Да,— сказал Ричард Гордон.

— Вы бы поверили, что у меня самая славная женка на свете?

— Отчего же.

— Да, представьте себе,— сказал Рыжий.— И до чего же эта девчонка в меня влюблена. Она у меня прямо как рабыня. «Налей-ка мне еще чашку кофе»,— говорю я. «Сейчас, папочка»,— говорит. И чашка уже на столе. И так во всем. Она от меня без ума. Всякая моя прихоть для нее закон.

— А ты скажи, где она? — спросил второй ветеран.

— Вот то-то и есть,— сказал Рыжий.— То-то и есть, приятель. Где она?

— Он не знает, где она,— сказал второй ветеран.

— Мало того,— сказал Рыжий.— Я не знаю, где я ее последний раз видел.

— Он даже не знает, в какой она стране.

— Но послушайте, приятель,— сказал Рыжий.— Где бы она ни была, эта девчонка мне верна.

— Это святая истина,— сказал второй ветеран.— Можешь голову прозакладывать, что это так.

— Иногда,— сказал Рыжий,— я думаю, что, может быть, она — Джинджер Роджерс и снимается теперь в кино.

— Что ж, может быть,— сказал второй.

— Потом опять мне кажется, что она сидит смиренно дома и дожидается меня.

— Поддерживает огонь в домашнем очаге,— сказал второй.

— Вот-вот,— сказал Рыжий.— Она самая славная маленькая женка на свете.

— Слушайте,— сказал второй ветеран.— Моя старуха тоже ничего.

— Правильно.

— Она умерла,— сказал второй ветеран.— Не будем о ней говорить.

— А вы женаты, приятель? — спросил Рыжий Ричарда Гордона.

— Как же,— ответил тот.

У другого конца стойки, человека через четыре от него, виднелось красное лицо, голубые глаза и рыжеватые, мокрые от пива усы профессора Мак-Уолси. Профессор Мак-Уолси смотрел прямо перед собой, и Ричард Гордон видел, как он допил свой стакан и, выпятив нижнюю губу, обсосал пену с усов. Он заметил, какие ярко-голубые у него глаза,

Глядя на него, Ричард Гордон почувствовал неприятное стеснение в груди. И в первый раз он понял, что чувствует мужчина, когда он смотрит на другого мужчину, к которому уходит его жена.

— Что с вами, приятель? — спросил рыжий ветеран.

— Ничего.

— Вам нехорошо. Я вижу, вам совсем плохо.

— Нет, — сказал Ричард Гордон.

— Можно подумать, что вы увидели привидение.

— Видите вон того, с усами? — спросил Ричард Гордон.

— Этого?

— Да.

— Ну и что же? — спросил второй ветеран.

— Ничего, — сказал Ричард Гордон. — Черт с ним. Ничего.

— Он вам мешает? Можно его вразумить. Мы вдвоем уложим его, а вы его каблуками.

— Нет, — сказал Ричард Гордон. — Это не поможет.

— Мы его спаваем, когда он выйдет на улицу, — сказал рыжий ветеран. — Не нравится мне его физиономия. По-моему, он сильно смахивает на штрейкбрехера.

— Я его ненавижу, — сказал Ричард Гордон. — Он отнял у меня жизнь.

— А вот мы ему пропишем, — сказал второй ветеран. — Шпик усатый! Слушай, Рыжий, захвати-ка парочку бутылок. Мы его изобьем до полусмерти. И когда только он это успел? Скажите-ка, приятель, может, повторим еще?

— У нас есть еще доллар семьдесят центов, — сказал Гордон.

— Тогда не взять ли нам лучше бутылку? — сказал рыжий ветеран. — А то я только-только разошелся.

— Нет, — сказал второй. — Пиво из бочки тебе полезнее. Уж держись пива из бочки. Пойдем, вздуем этого гуся и вернемся выпить еще пива.

— Нет. Не трогайте его.

— Нет, приятель. Это мы не можем. Вы сказали, этот усатый отнял у вас жену.

— Жизнь. Жизнь, а не жену.

— Тьфу, виноват. Вы уж меня простите, приятель.

— Это он ограбил банк, — сказал второй ветеран. — Пари держу, что за него объявлена награда. Ей-богу, я его фотографию видел сегодня на почтамте.

— А что ты делал на почтамте? — спросил второй по-дозрительно,

- Что, я не могу письмо получить?
- Разве в лагерь письма не доходят?
- Уж не думаешь ли ты, что я был в сберегательной кассе?
- Что ты делал на почтамте?
- Просто зашел по дороге.
- На, получай,— сказал его приятель и так размахнулся, как только можно было в толпе.
- Ну, сцепились друзья-приятели,— сказал кто-то. Их стали подталкивать к двери, и они, лягаясь и бодаясь, колотя и тузя друг друга, вывалились на улицу.
- Пусть дерутся на тротуаре,— сказал широкоплечий молодой человек.— Эти сучьи дети по три-четыре раза в вечер затевают драку.
- Пара забулдыг,— сказал другой ветеран.— Рыжий умел драться когда-то, но теперь у него сифон.
- У них у обоих сифон.
- Рыжий схватил это от одного парня на ринге во время борьбы,— сказал низенький, коренастый ветеран.— У этого парня был сифон, и у него вся спина и плечи были в сыпи. При каждой схватке он терся плечом об нос Рыжего.
- Все враки. Зачем Рыжему было лезть туда лицом?
- А он всегда так держал голову, когда боролся. Вниз, вот так. Тот парень и терся об него.
- Все враки. Расскажи своей бабушке. Никогда такого не было, чтобы на ринге подцепить сифон.
- Это ты так думаешь. А я тебе скажу, что Рыжий был такой чистюлька, каких свет не создавал. Я его знаю, мы с ним в одном отряде были. И он был очень хороший борец. Кроме шуток, хороший. И у него была славная жена. Кроме шуток, славная. А сифон он схватил от этого Бенни Сампсона, это так же верно, как то, что я стою здесь.
- Так сядь,— сказал другой ветеран.— А где Барбос подцепил его?
- Барбос — в Шанхае.
- А ты где?
- Нигде.
- А Пузырь где?
- От девки в Бресте, на пути домой.
- Все вы любите говорить об этом. Сифон. А какая разница, есть у человека сифон или нет?
- Теперь для нас никакой,— сказал один ветеран.— С ним не хуже, чем без него.

— Для Барбоса даже лучше. Он не понимает, что с ним делается.

Ричард Гордон стоял теперь у стойки рядом с профессором Мак-Уолси. Когда Рыжий и Барбос затеяли драку, его оттеснили сюда, и он не пытался сопротивляться.

— Привет,— сказал ему профессор Мак-Уолси.— Стакан пива?

— Только не с вами,— сказал Ричард Гордон.

— Пожалуй, вы правы,— сказал профессор Мак-Уолси.— Видели вы где-нибудь такое?

— Нет,— сказал Ричард Гордон.

— Это очень любопытно,— сказал профессор Мак-Уолси.— Они удивительные люди. Я каждый вечер сюда прихожу.

— И ни разу не попали в историю?

— Нет. А почему?

— Бывают пьяные драки.

— Со мной никогда никаких историй не было.

— Несколько минут тому назад двое моих приятелей собирались избить вас.

— Вот как?

— Очень жалею, что я им помешал.

— Думаю, это бы ничего не изменило,— сказал профессор Мак-Уолси, как всегда очень странно выговаривая слова.— Если вам неприятно мое присутствие, я могу уйти.

— Нет,— сказал Ричард Гордон.— Я даже испытываю некоторое удовольствие от вашего соседства.

— Вот как,— сказал профессор Мак-Уолси.

— Вы были когда-нибудь женаты? — спросил Ричард Гордон.

— Да.

— Ну и чем кончилось?

— Моя жена умерла во время эпидемии инфлюэнцы в тысяча девятьсот восемнадцатом году.

— Зачем вы хотите опять жениться?

— Я думаю, на этот раз будет удачнее. Я думаю, может быть, я теперь сумею быть лучшим мужем.

— И для этого вы выбрали мою жену?

— Да,— сказал профессор Мак-Уолси.

— Скотина! — сказал Ричард Гордон и ударил его по лицу.

Кто-то схватил его за руку. Он вырвал руку, и кто-то с силой хватил его по голове около самого уха. Он увидел, что профессор Мак-Уолси все еще стоит у стойки, весь крас-

ный, моргая глазами. Профессор Мак-Уолси потянулся за другим стаканом, потому что его пиво расплескал Гордон, и Ричард Гордон занес руку, чтобы ударить его еще раз. В эту минуту что-то опять взорвалось над самым его ухом, и все огни в баре ярко вспыхнули, закружились и потом погасли.

Потом он увидел, что стоит на пороге бара. В голове у него был звон, и переполненная комната не стояла на месте, а слегка кружилась, и его тошнило. Толпа смотрела на него. Широкоплечий молодой человек стоял с ним рядом.

— Слушайте,— говорил он,— нечего вам тут скандалить. Довольно, что эти пьяницы дерутся тут целый вечер.

— Кто меня ударил? — спросил Ричард Гордон.

— Я вас ударил,— сказал дюжий молодой человек.— Этот господин — наш постоянный посетитель. Нечего вам бесноваться по-пустому. Нечего затевать тут драки.

Нетвердо стоя на ногах, Ричард Гордон увидел, что профессор Мак-Уолси отделился от толпы у стойки и идет к нему.

— Мне очень жаль,— сказал он.— Я вовсе не хотел, чтоб вас били. Я вполне понимаю ваши чувства...

— Скотина! — сказал Ричард Гордон и шагнул к нему. Это было последнее, что он мог вспомнить, потому что дюжий молодой человек стал в позицию, слегка опустив плечи, и двинул его снова, и на этот раз он повалился ничком на цементный пол. Дюжий молодой человек повернулся к профессору Мак-Уолси.

— Теперь все в порядке, док,— сказал он гостеприимным тоном.— Больше он к вам не будет приставать. А чего он, собственно, хотел?

— Я должен отвезти его домой,— сказал профессор Мак-Уолси.— Он оправится?

— Еще бы.

— Помогите мне втащить его в такси,— сказал профессор Мак-Уолси. Они подхватили Ричарда Гордона с двух сторон и с помощью шофера уложили его на сиденье допотопного «фордика».

— Вы уверены, что он оправится? — спросил профессор Мак-Уолси.

— Когда захотите привести его в чувство, дерните его как следует за уши. И спрысните водой. Как бы только он не начал драться, когда придет в себя. Смотрите, чтобы он не схватил вас, док.

— Нет,— сказал профессор Мак-Уолси.

Голова Ричарда Гордона, естественно запрокинутая, лежала на сиденье, и при **каждом** дыхании из горла у него вырывался хриплый, прерывистый шум. Профессор Мак-Уолси подложил ему руку под голову и поддерживал ее, чтобы она не колотилась о стенку машины.

— Куда ехать? — спросил шофер.

— На другой конец города,— сказал профессор Мак-Уолси.— Мимо парка. Потом по той улице, где торгуют краснобородками.

— Роки-Роуд? — спросил шофер.

— Да,— сказал профессор Мак-Уолси.

У первого кафе, которое попало им по дороге, профессор Мак-Уолси велел шоферу остановиться. Он хотел **зайти** купить сигарет. Он осторожно опустил голову Ричарда Гордона на сиденье и пошел в кафе. Когда он **вернулся** и хотел снова сесть в машину, Ричарда Гордона там не оказалось.

— Где он? — спросил он шофера.

— Вон идет по улице,— сказал шофер.

— Догоните его.

Когда такси поравнялось с Ричардом Гордоном, который, шатаясь, шел по тротуару, профессор Мак-Уолси вылез и подошел к нему.

— Садитесь, Гордон,— сказал он. — Мы едем домой. Ричард Гордон посмотрел на него.

— Мы? — сказал он, покачнувшись.

— Я хочу, чтобы вы сели в такси и поехали домой.

— Убирайтесь к черту.

— Вы все-таки сядьте,— сказал профессор Мак-Уолси.— Я хочу, чтоб вы благополучно добрались до дому.

— Где ваша банда? — спросил Ричард Гордон.

— Какая банда?

— Ваша банда, которая избивала меня.

— Это вышибала. Я не знал, что он хочет вас ударить.

— Врете,— сказал Ричард Гордон. Он нацелился кулаком в красное лицо человека, стоявшего перед ним, но промахнулся. Он потерял равновесие и упал на колени, потом медленно встал. Он ободрал колени о камень тротуара, но не заметил этого.

— Становитесь, будем драться,— сказал он запинаясь.

— Я никогда не дерусь,— сказал профессор Мак-Уолси.— Садитесь в такси, я с вами не поеду.

— Идите к черту,— сказал Ричард и пошел по улице.

— Пусть идет,— сказал шофер.— Ничего с ним не случится. Он уже вполне оправился.

— Вы думаете?

— Конечно,— сказал шофер.— Он уже как ни в чем не бывало.

— Я все-таки беспокоен за него,— сказал профессор Мак-Уолси.

— Без драки вы его не заставите сесть,— сказал шофер.— Пускай идет. Он в полном порядке. Это что, ваш брат?

— В некотором роде,— сказал профессор Мак-Уолси.

Он смотрел, как Ричард Гордон, пошатываясь, шел по улице и наконец скрылся в тени больших деревьев, ветви которых спускались так низко, что вросли в землю, точно корни. В мыслях профессора Мак-Уолси при этом было мало приятно. Это смертный грех, подумал он, тяжкий и незамолимый грех, и величайшая жестокость, и если даже формально все это в конце концов может быть узаконено религией, я сам не могу себе этого простить. С другой стороны, хирург не может прерывать операцию из страха причинить пациенту боль. Но почему все эти операции в жизни делаются без наркоза? Если бы я был лучше, чем я есть, я позволил бы ему избить меня. Ему бы стало легче от этого. Бедный, глупый человек. Бедный, бездомный человек. Мне не падо было отпускать его, но я знаю, что это для него слишком тяжело. Я полон стыда и отвращения к самому себе, и я жалею о том, что сделал. Все это еще может обернуться очень скверно. Но не нужно думать об этом. Я сейчас опять прибегну к наркозу, который спасал меня семнадцать лет, но теперь уже скоро мне не понадобится. Хотя возможно, что это уже стало пороком и я только придумываю для него оправдания. Но, во всяком случае, я к этому пороку хорошо приспособлен. Если б только я мог как-нибудь помочь этому бедному человеку, которого я обидел.

— Отвезите меня назад, к Фредди,— сказал он.

Глава двадцать третья

Катер береговой охраны, ведший на буксире «Королеву Кончей», шел узким проходом между рифом и островами. Во время прилива поднялся легкий северный ветер, и ка-

тер качало на волнах, но белая лодка легко и послушно шла за буксиром.

— Если ветер не покрепчает, все будет в порядке, — сказал командир катера береговой охраны. — Лодка очень легка на ходу. Хорошие лодки строил покойный Робби. Вы что-нибудь поняли из того, что он говорит?

— Он просто заговаривается, — сказал помощник. — Он в бреду.

— Умрет, вероятно, — сказал командир. — Такая рана в живот. Как вы думаете, этих четырех кубинцев он убил?

— Кто знает? Я его спрашивал, но он не понял, о чем я говорю.

— Может, еще раз попытаться его расспросить? Пойдем взглянем, как он там.

Оставив рулевого у штурвала, они вошли в командирскую каюту за штурвальной рубкой. Там на железной койке лежал Гарри Морган. Глаза у него были закрыты, но он открыл их, как только командир тронул его за плечо.

— Как вы себя чувствуете, Гарри? — спросил его командир. Гарри посмотрел на него и ничего не сказал.

— Что-нибудь вам нужно, скажите? — спросил его командир.

Гарри Морган смотрел на него.

— Он вас не слышит, — сказал помощник.

— Гарри, — сказал командир. — Может, вам дать чего-нибудь?

Он смочил полотенце водой из графина, укрепленного в гнезде у койки, и приложил его к растрескавшимся губам Гарри Моргана. Они были сухие и черные. Глядя на него, Гарри Морган заговорил.

— Человек, — сказал он.

— Понимаю, — сказал командир. — Говорите, говорите.

— Человек, — сказал Гарри Морган очень медленно, — не имеет не может никак нельзя некуда. — Он остановился. Его лицо по-прежнему ничего не выражало.

— Говорите, Гарри, — сказал командир. — Расскажите нам, кто это сделал. Как это все случилось?

— Человек, — сказал Гарри, пытаясь что-то объяснить, глядя прямо на него своими узкими глазами.

— Четыре человека, — сказал командир, желая помочь ему. Он снова смочил ему губы, выжимая полотенце, так что несколько капель попало в рот.

— Человек, — поправил Гарри, потом остановился.

— Ну, хорошо. Человек,— сказал командир.

— Человек,— сказал Гарри снова, очень медленно, без всякого выражения, с трудом шевеля пересохшими губами.— Как все идет теперь как все стало теперь что бы ни было нет.

Командир посмотрел на помощника и покачал головой.

— Кто это сделал, Гарри? — спросил помощник.

Гарри посмотрел на него.

— Не надо себя морочить,— сказал он. Командир и помощник оба наклонились над ним. Вот сейчас он скажет.— Все равно что на машине переваливать через горы. По дороге там, на Кубе. По всякой дороге. Везде. Так и тут. Как все идет теперь. Как все стало теперь. Ненадолго да конечно. Может быть. Если повезет. Человек.— Он остановился. Командир опять покачал головой, глядя на помощника; Гарри Морган посмотрел на него без всякого выражения. Командир снова смочил Гарри губы. На полотенце остался кровавый след.

— Человек,— сказал Гарри Морган, глядя на них обоих.— Человек один не может. Нельзя теперь, чтобы человек один.— Он остановился.— Все равно человек один не может ни черта.

Он закрыл глаза. Потребовалось немало времени, чтобы он выговорил это, и потребовалась вся его жизнь, чтобы он понял это.

Он лежал неподвижно, глаза его снова открылись.

— Пойдем,— сказал командир помощнику.— Вам правда ничего не нужно, Гарри?

Гарри Морган посмотрел на него, но не ответил. Он ведь сказал им, но они не услышали.

— Мы еще зайдем,— сказал командир.— Лежите спокойно.

Гарри Морган смотрел им вслед, когда они выходили из каюты.

В штурвальной рубке, глядя, как небо темнеет и от маяка Сомбреро ложится на воду светлая дорожка, помощник сказал:

— Страх берет, когда он вот так начинает бредить.

— Жалко парня,— сказал командир.— Ну, теперь мы уже скоро будем на месте. В первом часу мы его доставим. Если только не придется убавить ход из-за лодки.

— Вы думаете, он выживет?

— Нет,— сказал командир.— Хотя — кто знает.

Большая толпа собралась на темной улице за железными воротами, преграждавшими доступ в бухту, где прежде была база подводного флота, а теперь гавань для морских яхт. Сторож-кубинец получил распоряжение никого не пропускать, и толпа напирала на ограду, чтобы сквозь железный переплет заглянуть в темное пространство, освещенное огнями яхт, стоявших у причалов. Толпа была спокойна — насколько может быть спокойна толпа в Ки-Уэст. Яхтсмены, работая плечами и локтями, протолкались к воротам и хотели пройти.

— Эй! Входить не разрешается,— сказал сторож.

— Что еще за новости? Мы с яхты.

— Никому не разрешается,— сказал сторож.— Отойдите от ворот.

— Не валяйте дурака,— сказал один из молодых людей и, оттолкнув его, пошел к пристани.

Толпа осталась за воротами, и маленький сторож смущенно и беспокойно прятал от нее свою фуражку, длинные усы и погранный авторитет, жалея о том, что у него нет ключа, чтобы запереть ворота; а яхтсмены, бодро шагая к пристани, увидели впереди и потом миновали группу людей, ожидавших у причала береговой охраны. Они не обратили на нее внимания и, минуя причалы, где стояли другие яхты, вышли на причал номер пять, дошли до трапа и при свете прожектора поднялись с грубо сколоченных досок причала на тиковую палубу «Новой Экзумы».

В кают-компании они уселись в глубокие кожаные кресла, у длинного стола с газетами и журналами, и один из них позвонил стюарду.

— Шотландского виски с содовой,— сказал он.— А тебе, Генри?

— Тоже,— сказал Генри Карпентер.

— Зачем поставили этого остолопа у ворот?

— Понятия не имею,— сказал Генри Карпентер.

Стюард в белой куртке принес два стакана.

— Поставьте пластинки, которые я вынул после обеда,— сказал Уоллэйс Джонстон, владелец яхты.

— Простите, сэр, я, кажется, их убрал,— сказал стюард.

— А, черт бы вас побрал,— сказал Уоллэйс Джонстон.— Ну, тогда поставьте Баха из нового альбома.

— Слушаю, сэр, — сказал стюард. Он подошел к шкафчику с пластинками, вынул один альбом и направился с ним к патефону. Раздались звуки «Сарабанды».

— Ты сегодня видел Томми Брэдли? — спросил Генри Карпентер. — Я его видел вечером на аэродроме.

— Я его терпеть не могу, — сказал Уоллэйс. — Как и эту потаскуху, его жену.

— Мне Hélène нравится, — сказал Генри Карпентер. — Она умеет наслаждаться жизнью.

— Ты это испытал на себе?

— Конечно. И остался очень доволен.

— Ни за какие деньги я бы не стал с ней связываться, — сказал Уоллэйс Джонстон. — И зачем она вообще здесь живет?

— У них здесь прекрасная вилла.

— Очень славная эта гавань, уютная, чистенькая, — сказал Уоллэйс Джонстон. — А правда, что Томми Брэдли — импотент?

— Не думаю. Про кого это не говорят. Он просто лишен предрассудков.

— Хорошо сказано. Она, во всяком случае, их лишена.

— Она удивительно приятная женщина, — сказал Генри Карпентер. — Она бы тебе понравилась, Уолли.

— Едва ли. Она — воплощение всего, что мне особенно противно в женщине, а Томми Брэдли — квинтэссенция всего, что мне особенно противно в мужчине.

— Ты сегодня очень решительно настроен.

— А ты никогда не бываешь решительно настроен, потому что в тебе нет ничего определенного, — сказал Уоллэйс Джонстон. — У тебя нет своего мнения. Ты даже не знаешь, что ты сам такое.

— Не будем говорить обо мне, — сказал Генри Карпентер. Он закурил сигарету.

— Почему, собственно?

— Хотя бы потому, что я разъезжаю с тобой на твоей дурацкой яхте и достаточно часто делаю то, что ты хочешь, и тем избавляю тебя от необходимости платить за молчание матросам и поварям и многим другим, которые знают, что они такое, и знают, что ты такое.

— Что это на тебя нашло? — сказал Уоллэйс Джонстон. — Никогда я никому не платил за молчание, и ты это знаешь.

— Да, верно. Ты для этого слишком скуп. Ты предпочитаешь заводить таких друзей, как я,

— У меня больше нет таких друзей, как ты.

— Пожалуйста, без любезностей,— сказал Генри.— Я сегодня к этому не расположен. Слушай тут Баха, ругай стюарда и пей шотландское с содовой, а я пойду спать.

— Какая муха тебя укусила? — спросил Джонстон, вставая.— Что это ты вдруг стал говорить гадости? Не такое уж ты сокровище, знаешь ли.

— Знаю,— сказал Генри.— Завтра я буду в самом веселом настроении. Но сегодня нехороший вечер. Разве ты никогда не замечал, что вечера бывают разные? Может быть, когда человек богат, они все одинаковые?

— Ты разговариваешь, как школьница.

— Спокойной ночи,— сказал Генри Карпентер.— Я не школьница и не школьник. Я иду спать. К утру я повеселею, и все будет хорошо.

— Ты много проиграл? Оттого ты такой мрачный?

— Я проиграл триста.

— Вот видишь! Я сразу сказал, что все дело в этом.

— Ты всегда все знаешь.

— Но послушай. Ты же проиграл триста?

— Я больше проиграл.

— Сколько еще?

— Много,— сказал Генри Карпентер.— Мне вообще за последнее время не везет. Только сегодня я почему-то вадумался об этом. Обычно я об этом не думаю. Ну, теперь я иду спать, а то я тебе уже надоел.

→ Ты мне не надоел. Зачем ты хамишь?

— Потому что я хам и потому что ты надоел мне. Спокойной ночи. Завтра все будет хорошо.

— Ты ужасный хам.

— Приходится мириться,— сказал Генри Карпентер.— Я, например, всю жизнь только это и делаю.

— Спокойной ночи,— сказал Уоллэйс Джонстон с надеждой в голосе.

Генри Карпентер не ответил. Он слушал Баха.

— Неужели ты в самом деле пойдешь спать,— сказал Уоллэйс Джонстон.— Нельзя же так поддаваться настроению.

— Не будем об этом.

— Почему, собственно? С тобой уже это бывало, и все обходилось.

— Не будем об этом.

— Выпей еще — и повеселеешь.

— Я не хочу больше пить, и я от этого не повеселею.

— Ну, тогда иди спать.

— Иду, — сказал Генри Карпентер.

Вот как обстояло дело в этот вечер на яхте «Новая Экзума», состав команды двенадцать человек, капитан Нильс Ларсен, пассажиры: владелец, Уоллэйс Джонстон, тридцать восемь лет, магистр искусств Гарвардского университета, композитор, источник доходов — шелкопрядильные фабрики, холост, *interdit de séjour* в Париже¹, хорошо известен от Алжира до Бискры, и один гость, Генри Карпентер, тридцати шести лет, магистр искусств Гарвардского университета, источник доходов — наследство после матери, в настоящее время двести в месяц из опекунского совета, прежде — четыреста пятьдесят, пока банк, ведающий фондами опекунского совета, не обменял одно надежное обеспечение на другое надежное обеспечение, затем на ряд других, не столь надежных обеспечений, и в конце концов на солидную недвижимость, которая оказалась и вовсе ненадежной. Еще задолго до этого сокращения доходов о Генри Карпентере говорили, что, если его без парашюта сбросить с высоты пяти тысяч пятисот футов, он благополучно приземлится за столом какого-нибудь богача. Правда, за свое содержание он платил полноценной валютой приятного общества, но хотя такие настроения и реплики, как в этот вечер, прорывались у него очень редко, и то лишь в последнее время, друзья его уже давно стали чувствовать, что он сдает. Они почувствовали это безошибочным инстинктом богачей, которые всегда вовремя угадывают, когда с одним из членов компании неладно, и тотчас же проникаются здоровым стремлением вышвырнуть его вон, если уж нельзя его уничтожить; и только это заставило его принять гостеприимство Уоллэйса Джонстона. По сути дела, Уоллэйс Джонстон, с его несколько своеобразными вкусами, был последним прибежищем Генри Карпентера, и своими честными попытками положить конец этой дружбе он, сам того не зная, избрал лучший способ самозащиты: появившаяся у него за последнее время резкость выражений и искренняя неуверенность в завтрашнем дне придавали ему особый интерес и привлекательность в глазах Джонстона, тогда как, постоянно уступая, он бы ему, вероятно, давно надоел — принимая во внимание его возраст. Так Генри Карпентер

¹ Пребывание в Париже воспрещено (фр.).

отодвигал свое неизбежное самоубийство если не на месяцы, то, во всяком случае, на недели.

Месячный доход, при котором ему не стоило жить, был на сто семьдесят долларов больше того, на что должен был содержать свою семью рыбак Элберт Трэси, пока его не убили три дня тому назад.

На других яхтах, стоявших у дощатых причалов, были другие люди и другие заботы. На одной из самых больших яхт, красивом черном трехмачтовом судне, шестидесятилетний хлебный маклер ворочался на постели, встревоженный полученным из конторы отчетом о ходе обследования, назначенного Бюро внутренних доходов. В другое время он бы давно уже приглушил свою тревогу хайболлом из шотландского виски и пришел бы в то состояние, когда все нипочем, как старым береговым пиратам, с которыми, кстати сказать, у него было много общего в характере и принципах поведения. Но доктор запретил ему пить в течение месяца, или, вернее, трех месяцев, иначе говоря, ему было сказано, что он не проживет и года, если не откажется от употребления алкоголя хотя бы на три месяца, так что месяц он решил воздержаться; теперь его тревожил еще и полученный из Бюро накануне выезда запрос о том, куда именно он направляется и не намерен ли покинуть воды Соединенных Штатов.

Он лежал, одетый в пижаму, на широкой постели, под головой у него были две подушки, настольная лампа горела, но он не мог сосредоточиться на книге — описании путешествия на Галапагосы. В былые годы он ни одной женщины никогда не приводил сюда. Он оставался у нее в каюте, а потом приходил сюда и ложился на эту постель. Это была его личная каюта, такая же священная для него, как и его контора. Женщинам здесь, у него, нечего было делать. Если ему нужна была женщина, он шел к ней, и когда все было кончено, то все было кончено, и теперь, когда все было кончено навсегда, его сознание постоянно сохраняло ту холодную ясность, которая в былые годы появлялась потом. И он лежал без спасительной путаницы в мыслях, лишенный искусственно созданной отваги, которая столько лет успокаивала его мозг и согревала сердце, и думал о том, что будет делать комиссия, что они нашли и что сумеют подтасовать, что сочтут правильным и что объявят противозаконным; и он не боялся их, а только ненавидел их и ту власть, которую они теперь не задумаются применить так дерзко, что вся его собст-

венная небольшая, крепкая, задорная и несокрушимая дерзость — единственное, что у него было вечного и настоящего ценного, — даст трещину и, если только он поддастся страху, разлетится вдребезги.

Он мыслил не абстрактными понятиями, а сделками, балансами, векселями и чеками. Он мыслил акциями, кипами, тысячами бушелей, названиями держательских компаний, трестов и монополий, и, перебирая все в памяти, он видел, что найти можно немало, достаточно для того, чтобы на много лет лишить его покоя. Если они не пойдут на компромисс, будет скверно. В былые годы он не стал бы тревожиться, но способность к борьбе иссякла в нем вместе с другой способностью, и он был теперь совсем один среди всего этого и лежал на большой, широкой постели и не мог ни читать, ни спать.

Жена развелась с ним десять лет тому назад после двадцати лет соблюдения внешних приличий, и он никогда не чувствовал ее отсутствия, точно так же как прежде никогда не чувствовал к ней любви. Он начал свою карьеру на ее деньги, и она родила ему двух отпрысков мужского пола, которые, как и мать их, не отличались умом. Он обходился с ней хорошо, пока нажитое им состояние не превысило вдвое ее первоначальный капитал, а тогда он мог позволить себе перестать замечать ее. После того как его состояние достигло этой цифры, ему уже никогда больше не докучали ее головные боли, ее жалобы и ее планы. Он просто игнорировал их.

У него были блестящие данные для карьеры спекулянта, потому что он обладал необычайной сексуальной силой, дававшей ему уверенность хорошего игрока, здравым смыслом, безукоризненным математическим умом, постоянным, но сдержанным скептицизмом, который был чувствителен к надвигающимся катастрофам, как точный барометр-анероид к атмосферному давлению, и, наконец, безошибочным чувством времени, не позволявшим ему действовать слишком рано или слишком поздно. Все это, вместе с отсутствием нравственных правил, неспособностью к раскаянию или жалости и умением внушать людям симпатию, не платя за нее ни взаимностью, ни доверием, но в то же время искренне и горячо уверяя их в своей дружбе — дружбе человека, настолько заинтересованного в преуспевании друзей, что они у него автоматически превращались в сообщников, — все это сделало его тем, чем он был теперь. А был он теперь стариком в шел-

ковой полосатой пижаме, прикрывавшей впалую старческую грудь, вздутый животик, дряблые ножки и то, ныне бесполезное, чем он так когда-то гордился; и он лежал на кровати и не мог заснуть, потому что наконец, впервые в жизни, узнал раскаяние.

Раскаивался он в том, что так ловко схитрил пять лет тому назад. Он мог тогда уплатить налог без всяких фокусов, и если б он это сделал, не о чем сейчас было бы беспокоиться. Он лежал и думал об этом и в конце концов заснул; но так как раскаяние нашло уже трещину и все время просачивалось в нее, он не знал, что спит, потому что его мозг продолжал ту же работу, что и наяву. Таким образом, он не имел отдыха, и в его возрасте немного нужно было таких ночей, чтобы доконать его.

Он часто говорил раньше, что тревоги — участь простачков, и умел гнать от себя тревоги до тех пор, пока не познакомился с бессонницей. Он и теперь спасался от тревог во сне, но стоило ему проснуться — они наступали со всех сторон, и оттого, что он был стар и немощен, им нетрудно было одолеть его.

Ему незачем было тревожиться о том, до чего он довел других людей, о том, что с ними случилось из-за него и как они кончили; кто из них расстался с особняком в аристократическом квартале и держит теперь дешевый пансион на окраине; у кого дочери, едва начавшие выезжать в свет, работают теперь ассистентками зубного врача, если только есть работа; кто в шестьдесят три года пошел в ночные сторожа, в результате очередного ажиотажа на бирже; кто застрелился в одно прекрасное утро перед завтраком, и кем из детей был обнаружен труп, и что творилось после этого в доме; кто теперь каждое утро ездит надземкой на службу, если только есть служба; кто пытался продавать сначала акции, потом автомобили, потом хозяйственные принадлежности и приборы (торговцев не пускаем, уходите отсюда, и дверь с силой захлопнута перед носом) и наконец, в некоторое отличие от отца, бросившегося с сорок второго этажа — камнем, как ястреб, только без шороха крыльев, — ступил на третий рельс перед проходом оро-ор-элджинского поезда, не вынув из карманов пальто не находящие сбыта отжималки для фруктового сока, они же сбивалки для яичных белков. *Разрешите только продемонстрировать вам, сударыня. Вы прикрепляете вот здесь, завинчиваете вот этот маленький вин-*

тик. Теперь смотрите. Нет, мне не нужно. Да вы только попробуйте. Не нужно. Уходите.

Тогда он вышел на улицу, и ряд голых деревьев, лысых дворики и стандартных домов, где никто ничего не хотел покупать, привел его прямо к рельсам Оро-Элджинской.

Одни выбирали для длительного падения из окна конторы или жилого дома; другие наглухо запирали двери гаража и запускали мотор; третьи прибегали к отечественной традиции колъта или «смит-и-вессона» — этих остроумных механизмов, позволяющих покончить с бессонницей, забыть о раскаянии, излечиться от рака, избежать банкротства и сразу разделаться с самыми безвыходными положениями одним нажимом указательного пальца; этих великолепных изделий американской промышленности, таких портативных, таких надежных, так хорошо приспособленных для того, чтобы положить конец американскому радужному сну, когда он переходит в кошмар, и имеющих только одно неудобство — для родственников, которым приходится потом все приводить в порядок.

Люди, которых он разорил, прибегали ко всем этим разнообразным выходам, но его это не тревожило. Кто-нибудь должен же проигрывать, а тревожатся только простачки.

Стоит только задуматься о том, насколько лучше было бы, не схитри он так ловко пять лет тому назад, и в его возрасте этого достаточно, чтобы через несколько минут желание изменить то, что уже не может быть изменено, открыло лазейку тревоге. Только простачки тревожатся. Но тревогу можно приглушить, если выпить шотландского с содовой. К черту доктора и его советы. И вот он звонит стюарду, и тот, заспанный, приносит стакан, и когда все выпито, спекулянт уже не простачок больше; ни перед кем, кроме смерти.

А на соседней яхте спит симпатичное, добропорядочное и скучное семейство. У отца совесть чиста, и он спит крепким сном, повернувшись на бок, шхуна борется с ураганом в рамке над его изголовьем, настольная лампа горит, книга упала и лежит на полу у постели. Мать спит спокойно и видит во сне свой садик. Ей под пятьдесят, но это красивая, здоровая, хорошо сохранившаяся женщина, и она еще привлекательна, когда спит. Дочке снится жених, который завтра должен прилететь самолетом, и она ворочается во сне и чему-то улыбается и, не просыпаясь, подтягивает колени чуть не к самому подбородку, и, свернувшись, как котенок, вся в светлых кудряшках, с глад-

кой и нежной кожей, она похожа во сне на свою мать в юности.

Это счастливое семейство, и все члены его любят друг друга. Отец — человек с сильно развитым чувством гражданского достоинства и со многими заслугами, в свое время противник сухого закона, не ханжа, великодушен, разумен, добр и почти никогда не выходит из себя. Команда яхты получает хорошее жалованье, хорошее помещение и сытную пищу. Все они высоко ценят хозяина и любят его жену и дочку. Жених — член общества «Череп и кости»¹, подающий надежды, пользующийся всеобщим уважением, который пока еще больше думает о других, чем о себе, и был бы слишком хорош для всякой девушки, кроме прелестной Фрэнсис. Вероятно, он и для Фрэнсис чуть-чуть слишком хорош, но пройдут годы, прежде чем она это узнает, а если все сложится удачно, может и совсем не узнать. Мужчины, которые всегда на высоте в «Черепе», редко оказываются на высоте в постели; но для прелестных девушек вроде Фрэнсис замысел значит не меньше, чем выполнение.

Как бы то ни было, все они спят спокойно, но откуда же взялись те деньги, которые они расходуют с такой пользой и удовольствием, чувствуя себя при этом вполне счастливыми? Эти деньги взялись от продажи миллионной бутылки одного широко распространенного продукта, который обходится фабриканту в три цента кварта, а продается по доллару за большую бутылку, пятьдесят центов за среднюю и двадцать пять за маленькую. Но выгоднее покупать большую, и если вы зарабатываете десять долларов в неделю, вы платите совершенно ту же цену, как если бы вы были миллионером, а качество продукта в самом деле высокое. Он дает тот именно эффект, который обещан, и еще многие другие. Благодарные клиенты со всех концов света пишут письма об открытых ими новых случаях применения, а старые клиенты так же верны ему, как Гарольд Томкинс, жених, «Черепу и костям» или Стэнли Болдуин — своей школе в Хэрроу. Там, где деньги наживаются таким путем, самоубийств не бывает, и каждый спит спокойным сном на яхте «Альзира», капитан Ион Якобсон, команда четырнадцать человек, пассажиры: владелец с семьей.

¹ «Череп и кости» — студенческая организация, куда доступ открыт только отпрыскам аристократических семейств.

У четвертого причала стоит двухмачтовая яхта тридцати четырех футов в длину, на борту которой находятся двое из тех трехсот двадцати четырех эстонцев, которые плавают по всем морям мира на судах от двадцати восьми до тридцати шести футов в длину и отовсюду шлют корреспонденции в эстонские газеты. Эти корреспонденции весьма популярны в Эстонии, и авторы их получают от доллара до доллара тридцати центов за столбец. Они занимают место в американских газетах, отводимое бейсбольной и футбольной хронике, и печатаются под общим заголовком «Саги наших бесстрашных путешественников». Ни одна гавань для морских яхт в южных водах не обходится без парочки загорелых, просоленных белобрых эстонцев, мирно ожидающих гонорара за последнюю корреспонденцию. Как только гонорар будет получен, они распустят паруса и отправятся в другую гавань, где напишут другую сагу. Они тоже вполне счастливы. Почти так же счастливы, как пассажиры «Альзиры». Великое дело быть бесстрашным путешественником.

На «Иридии» спит сам хозяин, по профессии зять богатого тестя, и его любовница Дороти, жена высокооплачиваемого голливудского режиссера Джона Холлиса, который еще надеется, что его мозг переживет печень, и готовится под конец объявить себя коммунистом во спасение своей души, так как прочие органы уже настолько прогнили, что спасти их невозможно. Зять, могучего сложения, плакатно-красивый, лежит на спине и храпит, по Дороти Холлис, жене кинорежиссера, не спится, и она, накинув халат, выходит на палубу и всматривается в темные воды гавани, пересеченной прямой линией волнолома. На палубе прохладно, и ветер развеивает ее волосы, и она отводит их с загорелого лба и, плотнее запахнув халат, потому что от холода у нее отвердели соски, замечает огни катера, подходящего к волнолому со стороны моря. Она видит, как они быстро и неуклонно подвигаются вперед, и у самого входа в гавань на катере зажигается прожектор, и сноп света, ослепив ее по пути, скользит к причалу береговой охраны, где выхватывает из темноты группу ожидающих и черный лак санитарного автомобиля, принадлежащего похоронному бюро, так что ему случается также служить катафалком.

Придется в конце концов принять люминал, подумала Дороти. Должна же я поспать. Бедный Эдди пьян как стелька. Он меня любит, и он очень славный, но он всегда

так напивается, что сразу же засыпает. Он такой милый. Конечно, если б я вышла за него замуж, он бы спутался с кем-нибудь еще. А все-таки он милый. Бедный мальчик, он совсем пьян. Хотя бы его не мутило утром. Пойду уложу волосы и постараюсь все-таки немножко поспать. А то стану совсем страшилищем. Я хочу быть красивой для него. Он милый. Как жаль, что я не взяла горничной. Нельзя было. Даже Бэйтс и то нельзя было. Как-то бедный Джон себя чувствует? Он тоже очень милый. Надеюсь, ему лучше. Эта несчастная печень. Без меня там некому о нем позаботиться. Надо хоть немного поспать, не то буду выглядеть завтра совершенным страшилищем. Эдди милый. И Джон тоже, и его печень. Ах, эта несчастная печень. Эдди милый. Как жаль, что он так сильно напился. Он такой большой, и веселый, и сильный, и вообще. Может быть, завтра он так не напьется.

Она спустилась вниз, добралась до своей каюты и, сидя у зеркала, принялась щеткою расчесывать волосы. Ежевечерняя сотня взмахов. Она улыбалась себе в зеркале, когда густая щетка погружалась в ее красивые волосы. Эдди милый. Да, милый. Как жаль, что он так напился. У мужчин всегда что-нибудь неладно. Взять хотя бы печень Джона. Как же это печень взять? Слава богу, это невозможно. А если б можно было — вот ужас, наверно. Хотя в мужчине нет ничего по-настоящему безобразного. Смешно, что этого не понимают. Хотя вот печень или почки. Почки в мадере. Сколько их, почек? У нас почти всего по два, только желудок один и сердце. Да, и еще мозг. Ну вот. Уже сто взмахов. Я люблю расчесывать волосы. Это, кажется, единственное, что делаешь потому, что так нужно, а вместе с тем это приятно. Когда бываешь одна, конечно. Ах, Эдди очень милый. Может быть, пойти к нему? Нет, он слишком пьян. Бедный мальчик. Приму люминал.

Она посмотрела на себя в зеркало. У нее было удивительно красивое лицо и миниатюрная, изящная фигура. Еще ничего, подумала она. Кое-что получше, кое-что похуже, но в целом пока ничего. Но все-таки надо же поспать. Я люблю спать. Если б можно было хоть раз уснуть крепким, настоящим, здоровым сном, как мы спали, когда были маленькими. Вот потому-то и скверно, что становишься взрослой, и выходишь замуж, и рождаешь детей, и потом слишком много ешь и делаешь много такого, что не нужно делать. Может быть, если бы хорошо спать, все это не было бы вредно. Только вот пить слишком много не

годится. Бедный Джон со своей печенью, а теперь еще Эдди. Эдди все-таки прелесть, что бы там ни было. Он молодец. Придется мне принять люминал.

Она состроила себе гримасу в зеркале.

— Придется тебе принять люминал,— сказала она шепотом. Она проглотила таблетку и запила ее водой из стакана, который вместе с графином-термосом стоял на шкафчике у кровати.

Это очень плохо для нервов, подумала она. Но надо же человеку спать. Интересно, что бы Эдди делал, если б мы были мужем и женой. Наверно, нашел бы себе какую-нибудь помоложе. Наверно, они так уж устроены и ничего тут не могут поделывать, все равно как и мы. Мне просто нужно, чтобы этого было побольше, и тогда мне хорошо, а с кем это, все с тем же или с кем-нибудь другим, в конце концов не важно. Главное, чтоб это было, и всегда будешь любить того, кто тебе это дает. Даже если это один и тот же. Но у них иначе. Им всегда нужна новая, или потому, что она моложе, или потому, что она недоступна, или потому, что она похожа на кого-то. Если ты брюнетка, им хочется блондинку. Если ты блондинка, им непременно нужно рыжую. Если ты рыжая, им хочется еще чего-нибудь. Еврейку, например, а когда уже больше, кажется, ничего не придумашь, так им захочется китаянку, или лесбийку, или бог весть кого еще. Не знаю сама. Может быть, они просто устают. Что ж тут делать, раз у них природа такая, ведь я тоже не виновата, если у Джона печень или если он столько пил, что теперь уже ни на что не годен. Он был молодцом. Он был просто прелесть. Был. В самом деле был. И Эдди тоже прелесть. Но сейчас он пьян. Я, наверно, в конце концов сделаюсь сукой. Может быть, я уже сука. Наверно, этого сама не замечаешь, пока тебе подруги не скажут. У мистера Уинчелла об этом не прочтешь. А интересный был бы для него сюжет! Сучья жизнь. Миссис Джон Холлис после длительного пребывания на побережье всобачилась в родной город. Занятнее, чем новорожденные младенцы. Хотя не более оригинально. Но женщины в самом деле несчастные. Чем лучше обращаешься с мужчиной, тем скорее надоедаешь ему. Хорошему мужчине нужен десяток жен, но это тоже утомительно, когда сама пытаешься быть десятком жен сразу, а потом все равно находится какая-нибудь без затей, и как только ты ему надоешь, она тут как тут. Все мы в конце кон-

цов становимся суками, но кто в этом виноват? Сукам веселее живется, но хорошей сукой может быть только круглая дура. Вроде Нелёне Брэдли. Дура, и притом большая эгоистка. Вероятно, и я теперь такая. Говорят, этого никогда сама не знаешь, всегда кажется, что ты не такая. Наверно, есть такие мужчины, которым никогда не надоедает женщина и никогда не надоедает это. Должны быть. Но где они? Все те, кого мы знаем, испорчены воспитанием. Не стоит сейчас задумываться об этом. Не стоит вспоминать. Все эти танцы и автомобильные прогулки. Хоть бы скорее подействовал люминал. Противный Эдди. Все-таки бессовестно так напиваться. Просто бессовестно. Если у них природа такая, с этим ничего не поделаешь, но причем тут пьянство? Наверно, я самая настоящая сука, но если я буду лежать тут всю ночь и не засну, я сойду с ума, а если я слишком наглотаюсь этой гадости, я завтра весь день буду скверно себя чувствовать, и потом иногда это не помогает, и все равно я завтра весь день буду злиться, и нервничать, и чувствовать себя отвратительно.

Наконец она заснула, не забыв в последнюю минуту повернуться на бок, чтобы не спать, уткнувшись в подушку. Как бы ей ни хотелось спать, она не забывала, что это страшно портит лицо, спать вот так, уткнувшись в подушку.

В порту стояли еще две яхты, но и там все уже спали, когда катер береговой охраны привел в темную гавань «Королеву Кончей», лодку Фредди Уоллэйса, и пришвартовался у причала береговой охраны.

Глава двадцать пятая

Гарри Морган ничего не слышал и не видел, когда с причала подали носилки и при свете прожектора два человека поставили их на палубу серого катера у дверей командирской каюты, а два других подняли его с командирской койки, осторожно вынесли и уложили на носилки. С тех пор как стемнело, он был без сознания, и тяжесть его тела сильно оттянула холст, когда все четверо подняли носилки, чтобы нести на причал.

— Ну, поднимай.

— Придержи его ноги. Как бы он не соскользнул.

— Поднимай.

Носилки вынесли на причал.

— Ну, как он, доктор? — спросил шериф, когда носилки вдвигали в санитарную машину.

— Пока жив, — сказал доктор. — Больше ничего сказать нельзя.

— С тех пор как мы его подобрали, он то бредит, то без сознания, — сказал боцманмат, командовавший катером береговой охраны. Это был плотный, приземистый человек в очках, которые блестели в лучах прожектора. Он был небрит. — Все трупы там, в моторной лодке. Мы ничего не трогали. Только двоих перенесли на другое место, потому что они могли упасть за борт. Все в точности так, как было. И деньги и оружие. Все.

— Пойдем, — сказал шериф. — Нельзя ли навести ту-да прожектор?

— Сейчас я это устрою, — сказал начальник пристани. Он пошел за прожектором и шнуром.

— Пойдем, — сказал шериф. Они взобрались на корму моторной лодки, светя себе карманным фонарем. — Я хочу, чтоб вы мне показали в точности, как все было, когда вы нашли их. Где деньги?

— Вот в этих сумках.

— Сколько тут?

— Не знаю. Я открыл одну сумку и увидел, что в ней деньги, и сейчас же закрыл. Я не хотел их трогать.

— Правильно, — сказал шериф. — Правильно сделали.

— Тут все как было, только вон те два трупа мы переложили на пол, чтоб они не вывалились за борт, а этого здорового быка Гарри перенесли на катер и уложили на мою койку. Я не ожидал, что мы доведем его живым. Он очень плох.

— Он все время без сознания?

— Сначала он бредил, — сказал командир. — Просто заговаривался. Мы слушали, слушали, но понять ничего нельзя было. Потом он совсем потерял сознание. Ну вот вам вся картина. Все так и было, только там, где теперь лежит вон тот, похожий на негра, тогда лежал Гарри. А этот лежал на скамье, над правым баком, свесившись за борт, а второй черномазый, который рядом с ним, лежал на другой скамье, у левого борта, ничком и весь скорчившись. Осторожно. Не зажигайте спичек. Здесь полно бензину.

— Должен быть еще один убитый, — сказал шериф.

— Больше не было. Деньги здесь, в сумках. Оружие все там, где лежало.

— Нужно, чтобы кто-нибудь из банка присутствовал, когда мы будем вскрывать сумки,— сказал шериф.

— Верно,— сказал командир.— Так и сделаем.

— Можно отнести их ко мне в кабинет и там запечатать.

— Так и сделаем,— сказал командир.

При свете прожектора белая с зеленым лодка блестела, как только что выкрашенная. Так казалось оттого, что палуба и тент были покрыты росой. Вокруг пробойн белая краска растрескалась. Вода за кормой была светло-зеленая при электрическом свете, и у самых свай сновала мелкая рыба.

Раздувшиеся лица убитых тоже блестели при свете и в тех местах, где засохла кровь, были словно покрыты темным лаком. Вокруг трупов валялись пустые патроны. Автомат Томпсона лежал на корме, там, где его положил Гарри. Два кожаных портфеля, в которых кубинцы принесли на лодку деньги, были прислонены к одному из баков.

— Когда мы взяли лодку на буксир, я было хотел перенести деньги на катер,— сказал командир.— Потом я решил, что лучше оставить все, как есть, тем более что погода хорошая.

— И правильно сделали,— сказал шериф.— Но куда же девался пятый, рыбак Элберт Трэси?

— Не знаю. Здесь все так, как было, мы только переложили этих двух,— сказал шкипер.— Они все изрешечены пулями, кроме вон того, что лежит у штурвала. Этот был убит сразу. Пуля попала в затылок и прошла навылет. Вон, на лбу видно.

— Это тот, что был совсем еще мальчик с виду,— сказал шериф.

— Теперь и не поймешь, каков он был с виду,— сказал командир.

— А вот — тот длинный, с автоматом, который убил адвоката Роберта Симмонса,— сказал шериф.— Что здесь, по-вашему, произошло? Как это случилось, что они все убиты?

— Наверно, передрались между собой,— сказал командир.— Поспорили, наверно, из-за дележа денег.

— Надо их пока чем-нибудь прикрыть,— сказал шериф.— Сумки я возьму с собой.

В это время, прежде чем они успели сойти с лодки, на причале показалась женщина, она бежала мимо катера береговой охраны, и за ней бежала вся толпа. Женщина

была костлявая, немолодая, без шляпы, ее прическа развалилась, и жидкие косицы съехали на шею, хотя концы их еще держались на одной шпильке. Когда она увидела трупы в лодке, она пронзительно закричала. Она стояла на самом краю и кричала, запрокинув голову, а две другие держали ее под руки. Толпа, прибежавшая вслед за ней, сгрудилась вокруг нее, теснилась поближе, во все глаза глядя на лодку.

— А, черт,— сказал шериф.— Какой дурак оставил ворота открытыми? Дайте сюда что-нибудь, чем закрыть трупы,— одеяла, простыни, что угодно, и потом нужно очистить причал от публики.

Женщина перестала кричать и заглянула в лодку, потом запрокинула голову и закричала опять.

— Куда они его деля? — сказала одна из тех, что стояли рядом.— Куда они девали Элберта?

Женщина, которая кричала, умолкла и снова заглянула в лодку.

— Его тут нет,— сказала она.— Эй, Роджер Джонсон,— крикнула она шерифу.— Где Элберт? Где Элберт?

— Его не было в лодке, миссис Трэси,— сказал шериф.

Женщина запрокинула голову и закричала опять, все жилы вздулись на ее худой шее, кулаки были сжаты, голова тряслась.

Сзади в толпе толкались и напирали на передних, пытаясь протиснуться к краю причала.

— Пустите. Дайте и другим посмотреть!..

— Их сейчас накроют.— И по-испански:— Дайте пройти. Дайте взглянуть. *Hay cuatro muertos. Todos son muertos*¹. Дайте посмотреть.

Женщина теперь кричала:

— Элберт! Элберт! Боже мой, боже мой, где Элберт?

Сзади в толпе два молодых кубинца, которые только что прибежали и не могли пробраться вперед, отошли на несколько шагов, потом разбежались и вместе врезались в толпу. От толчка те, кто был сзади, навалились на стоявших впереди, миссис Трэси и ее две соседки покачнулись, на мгновенье повисли над водой, в отчаянной попытке сохранить равновесие, и, в то время как соседки неистовым усилием удержались на ногах, миссис Трэси, крича, рухнула в зеленую воду, и ее крик потерялся в раздавшемся всплеске.

¹ Тут четыре покойника. Все они мертвые (*исп.*).

Двое матросов бросились в освещенную прожектором светло-зеленую воду, где с шумом и плеском барахталась миссис Трэси. Шериф, наклонившись с кормы, протянул ей багор, и наконец соединенными усилиями матросов, подталкивавших снизу, и шерифа, тянувшего сверху, удалось втащить ее на корму. Никто в толпе не шевельнулся, чтобы прийти к ней на помощь, и, стоя на корме, вся мокрая, она обернулась к ним и закричала, потрясая кулаками:

— Шволочи! Шукины дети! — Потом, взглянув вниз, она завопила: — Элберт! Где Элберт?

— Его нет на лодке, миссис Трэси, — сказал шериф, взяв одеяло, чтобы закутать ее. — Успокойтесь, миссис Трэси. Возьмите себя в руки.

— Мои жубы, — сказала миссис Трэси трагически. — Я потеряла жубы.

— Мы их выловим утром, — сказал ей командир катера береговой охраны. — Они не пропадут.

Матросы вылезли на корму лодки, вода с них стекала ручьями.

— Идем, — сказал один из них. — Мне холодно.

— Ну как вы, ничего, миссис Трэси? — спросил шериф, закутывая ее в одеяло.

— Ничего? — сказала миссис Трэси. — Ничего? — Потом сжала оба кулака и запрокинула голову, чтобы закричать громче. Горе миссис Трэси было сверх ее сил.

Толпа слушала ее в почтительном молчании. Крики миссис Трэси как нельзя лучше подходили к зловещему виду четырех мертвых тел, на которые шериф и его помощники набрасывали в эту минуту одеяла, скрывая от глаз зрелище, какого город не видел уже несколько лет, с тех самых пор, как Исленью линчевали на Каунти-Роуд и потом повесили на телеграфном столбе при свете фар автомобилей, съехавшихся со всей округи.

Толпа была разочарована, когда группы накрыли, но все-таки из целого города только те, кто был здесь, видели все. Они видели, как миссис Трэси упала в воду, и еще раньше, когда они стояли за воротами, они видели, как увезли в Морской госпиталь Гарри Моргана. Когда шериф приказал очистить пристань, они ушли, спокойные и довольные. Они сознавали, какая удача выпала на их долю.

Между тем в приемной Морского госпиталя Мария, жена Гарри Моргана, и ее три дочери сидели на скамье и ждали. Все три девочки плакали, а Мария кусала носовой платок. Она с утра не могла заплакать.

— Папа ранен в живот,— сказала одна из девочек сестре.

— Ужас,— сказала сестра.

— Тише,— сказала старшая сестра.— Я молюсь за него. Не мешайте мне.

Мария не говорила ничего и только кусала носовой платок и нижнюю губу.

Немного спустя вышел доктор. Она посмотрела на него, и он покачал головой.

— Можно мне туда? — спросила она.

— Нет еще,— сказал он. Она подошла к нему.

— Конечно? — спросила она.

— Боюсь, что так, миссис Морган.

— Можно мне взглянуть на него?

— Нет еще. Он сейчас в операционной.

— А, черт,— сказала Мария.— А, черт. Я отвезу девочек домой. Потом я вернусь.

В горле у нее что-то вдруг вздулось и встало поперек, так что она не могла глотнуть.

— Идем, девочки,— сказала она. Все три девочки пошли за ней к старой, потрепанной машине, и она села за руль и включила мотор.

— Как папа? — спросила одна из девочек.

Мария не ответила.

— Мама, как папа?

— Не разговаривайте со мной,— сказала Мария.— Только не разговаривайте со мной.

— Но...

— Молчи, дочка,— сказала Мария.— Молчи и молись за него.

Девочки опять заплакали.

— Ну вас,— сказала Мария.— Перестаньте плакать. Я сказала: молитесь за него.

— Мы молимся,— сказала одна из девочек.— Я все время молюсь, с самой больницы.

Когда они свернули на Роки-Роуд, фары осветили впереди фигуру человека, который нетвердым шагом брел по тротуару.

Пьянчуга какой-то, подумала Мария. Какой-то несчастный пьянчуга.

Они поравнялись с ним и увидели, что лицо у него окровавлено, и когда машина скрылась за поворотом, он все еще брел нетвердым шагом в темноте. Это был Ричард Гордон, возвращавшийся домой.

У дверей дома Мария остановила машину.

— Ложитесь спать, девочки,— сказала она.— Идите наверх и ложитесь спать.

— Мама, но как же папа? — спросила одна из девочек.

— Не спрашивайте меня,— сказала Мария.— Ради всего святого, не разговаривайте вы со мной.

Она развернулась и поехала назад, к госпиталю.

Возвратясь в госпиталь, Мария Морган одним духом взбежала на крыльцо. На пороге она столкнулась с доктором, только что отворившим дверь. Он устал и торопился домой.

— Все кончено, миссис Морган,— сказал он.

— Он умер?

— Умер на столе.

— Можно мне взглянуть на него?

— Да,— сказал доктор.— Он умер очень спокойно, миссис Морган. Он не чувствовал боли.

— Господи,— сказала Мария. Слезы потекли у нее по щекам.— О-о,— простонала она.— О-о, о-о, о-о!

Доктор положил ей руку на плечо.

— Не трогайте меня,— сказала Мария. Потом: — Я хочу взглянуть на него.

— Пойдемте,— сказал доктор. Он прошел вместе с ней по коридору и вошел в белую комнату, где Гарри Морган лежал на высоком столе, под простыней, прикрывавшей все его большое тело. Свет в комнате был очень яркий и не давал теней. Мария остановилась в дверях, испуганная этим светом.

— Он совсем не мучился, миссис Морган,— сказал доктор. Мария как будто не слышала его.

— А, черт,— сказала она и опять заплакала.— Что за проклятое лицо!

Глава двадцать шестая

Не знаю, думала Мария Морган, сидя в столовой у стола. Может быть, терпеть понемногу, день за днем, ночь за ночью, и тогда ничего. Хуже всего эти проклятые ночи. Если бы еще я любила наших девочек, тогда бы ничего. Но я их не люблю, наших девочек. И все-таки нужно о них подумать. Нужно найти какую-нибудь работу. Я совсем

как мертвая, но, может быть, это пройдет. Не все ли равно? Все-таки нужно взяться за работу. Сегодня ровно неделя. Боюсь, если я нарочно буду все время думать о нем, я забуду, какой он. Это было самое страшное, когда я вдруг забыла, какое у него лицо. Нужно взяться за работу, как мне ни тяжело. Если б он оставил деньги или если б выдали награду, было бы легче, но мне бы легче не было. Первым делом нужно продать дом. Сволочи, убили его. Сволочи проклятые! Только это я и чувствую! Ненависть и еще будто у меня пусто внутри. Так пусто, как в пустом доме. Придется все-таки искать работу. Нехорошо, что я не пошла на похороны. Но я не могла. Нужно искать работу. Кто умер, тот уже не вернется.

Такой он был зазорный, сильный, быстрый, похожий на какого-то диковинного зверя. Я никогда не могла спокойно смотреть, как он двигается. Я была всегда так счастлива, что он мой. В первый раз ему счастье изменило на Кубе. Потом все пошло хуже и хуже, и вот кубинец убил его.

Кубинцы приносят несчастье кончам. Кубинцы всем приносят несчастье. И потом, слишком там много черномазых. Я помню, как он меня один раз взял с собой в Гапану, еще когда он хорошо зарабатывал, и мы гуляли в парке, и один черномазый сказал мне словечко, и Гарри так дал ему по уху, что соломенная шляпа слетела у него с головы, а Гарри подхватил ее и отшвырнул за полквартала, и ее переехало такси. Помню, я так хохотала, что у меня живот заболел. Как раз тогда я в первый раз выкрасила волосы в салоне красоты на Прадо. Парикмахер полдня провозился с этим, они были такие черные, что сначала он не брался, и я боялась, что стапу похожа на чучело, но все просила, нельзя ли сделать их чуть светлее, и парикмахер держал гребень и деревянную палочку с ватой на конце и обмакивал вату в чашку с жидкостью, и от нее как будто дым шел; и он гребнем и другим концом палочки отделял по одной прядке и смазывал этой жидкостью, а потом ждал, пока высохнет, а я сидела, и у меня даже под ложечкой сосало от страха, что я наделала, и я только все просила, нельзя ли сделать их чуть-чуть светлее.

И наконец он сказал: «Вот, мадам, светлее уже сделать нельзя». И потом он вымыл их шампунем и уложил, а я боялась даже взглянуть от страха, что буду похожа на чучело, и он причесал их, сделал пробор сбоку и зачесал за уши, а сзади сделал тугие маленькие локончики, и я еще

не могла увидеть, как вышло, потому что они были мокрые, но я уже видела, что они стали другие, и я как будто не я. И он завязал их сеткой и посадил меня под сушилку, и я все время боялась взглянуть. А потом, когда они высохли, он снял сетку, и вынул шпильки, и расчесал, и они были совсем как золото.

И я вышла на улицу и посмотрела на себя в зеркало, и они так блестели на солнце и были такие мягкие и шелковистые, когда я их потрогала, что мне просто не верилось, что это я, и было даже трудно дышать от волнения.

Я пошла по Прадо в кафе, где меня ждал Гарри, и я так волновалась, что внутри у меня все стянуло, — вот-вот упаду, и когда он увидел меня в дверях, он встал и не мог отвести от меня глаз, и у него был такой смешной, сдавленный голос, когда он сказал:

— Черт подери, Мария, ты прямо красавица!..

А я сказала:

— Я тебе нравлюсь блондинкой?

— Не спрашивай ничего, — сказал он. — Идем домой, в отель.

А я сказала:

— Что ж. Идем, если так. — Мне тогда было двадцать шесть.

И такой он был со мной всегда, и я всегда была с ним такая. Он говорил, что у него никогда не было такой женщины, как я, а я знаю, что лучше его нет мужчины на свете. Я слишком хорошо знаю это, а теперь он умер.

Теперь мне нужно взяться за какую-нибудь работу. Знаю, что нужно. Но когда всю жизнь проживешь с таким мужем, а потом вдруг какая-то кубинская сволочь убьет его, не так-то легко сразу взяться за дело; потому что внутри у тебя все умерло. Я не знаю, что делать. Когда он уходил в рейс, было иначе. Тогда он всегда возвращался домой, а теперь я всю жизнь буду одна. И я уже старая, и толстая, и некрасивая, и никто мне не скажет, что это не так, потому что его уже нет. Придется мне нанимать себе кого-нибудь за деньги, только едва ли я захочу. Так-то оно теперь. Так-то оно теперь и будет.

А он так меня любил, и так заботился обо всех нас, и всегда умел заработать деньги, и мне никогда не нужно было заботиться о деньгах, а только о нем, а теперь это все кончено.

Тому, кто убит, гораздо легче. Если б это меня убили, мне было бы все равно. Доктор сказал, что Гарри просто

устал под конец. Он даже не проснулся. Я рада, что он умер легко — ведь как же он должен был мучиться там, на лодке. Думал он обо мне или о чем-нибудь еще? Наверно, когда так, уже ни о чем не думаешь. Наверно, очень уж ему было больно. Но под конец он просто слишком устал. Как бы я хотела, чтобы это я умерла. Но что толку хотеть. Хотеть никогда не помогает.

Не могла я пойти на похороны. Люди этого не понимают. Они не знают, каково это. Потому что хороших мужей мало, вот они и не знают. Они ничего про это не знают. Я знаю. Я слишком хорошо знаю. А если я еще двадцать лет проживу, что мне тогда делать? Никто мне этого не скажет, и теперь только и остается, что терпеть понемногу, день за днем, и сейчас же взяться за какую-нибудь работу. Так и нужно сделать. Но, господи боже мой, как же быть ночью, вот что я хотела бы знать.

Как прожить ночь, если не можешь уснуть? Наверно, в конце концов узнаешь и это, узнаешь ведь, как бывает, когда теряешь мужа. Наверно, узнаешь в конце концов. В этой проклятой жизни все узнаешь. Кажется, я уже начинаю узнавать. Просто внутри все умирает, и тогда все очень легко. Живешь, не живя, как очень многие люди почти всю жизнь. Наверно, так оно и бывает. Наверно, так оно и должно быть. Что ж, у меня хорошее начало. У меня хорошее начало, если это так, если это нужно. Я думаю, так оно и есть. Я думаю, этим кончится. Ну, что ж. У меня хорошее начало. Я ушла дальше всех.

Был ясный прохладный субтропический зимний день, и ветви пальм шевелились под легким северным ветром. Туристы на велосипедах проезжали мимо дома. Они смеялись. Во дворе напротив кричал павлин.

Из окна видно было море, оно казалось твердым, новым и голубым в свете зимнего дня.

Большая белая яхта входила в гавань, а на горизонте в семи милях от берега виден был танкер, маленький и четкий на фоне голубого моря, огибавший риф с запада, чтобы не расходовать лишнего топлива в ходе против течения.

За рекой, в тени деревьев

РОМАН

Перевод Е. ГОЛЫШЕВОЙ и Б. ИЗАКОВА

**ACROSS THE RIVER
AND INTO THE TREES**

1950

Глава первая

Они выехали за два часа до рассвета, и сначала им не приходилось взламывать лед на канале, потому что впереди шли другие лодки. На каждой лодке стоял гребец с длинным кормовым веслом, в темноте их не было видно, и только слышался плеск воды. Охотник сидел на складном стуле, укрепленном на крышке ящика, где лежали еда и патроны, а ружья — два или даже больше — были прислонены к груде деревянных чучел. В каждой лодке был мешок с парой подсадных уток или уткой и селезнем; в каждой лодке сидела собака, собаки дрожали и метались, слыша над головой шум крыльев пролетающих во тьме птиц.

Четыре лодки пошли вверх, на север, по главному каналу, к большой лагуне. Пятая свернула в боковой канал. А вот теперь и шестая лодка повернула к югу, в неглубокую лагуну, затянутую льдом.

Лед был сплошной; воду схватило в эту безветренную ночь, когда вдруг ударил мороз; упругий покров только гнулся под ударами кормового весла. Потом он лопался с треском, как окопное стекло, но лодка почти не двигалась.

— Дайте-ка весло,— сказал охотник в шестой лодке. Он встал и, сохраняя равновесие, расставил ноги. Ему было слышно, как в темноте пролетают утки, а в лодке шарается с места на место собака. С севера доносился треск льда, который ломали другие лодки.

— Осторожно,— предупредил лодочник с кормы.— Не переверните лодку.

— Я не новичок,— сказал охотник.

Он взял у лодочника длинное весло и проткнул лед. Почувствовав твердое дно, он уперся грудью в широкую ло-

пасть весла и, держа его обеими руками, оттолкнул лодку так, что весло очутилось уже возле кормы, а лодка двинулась вперед, ломая ледяную корку. Когда лодка врезалась в лед, а потом садилась на него днищем, лед раскалывался, как зеркальное стекло, и гребец на корме вел ее дальше по чистой воде.

Немного погодя охотник — он мерно, напряженно работал веслом и вспотел в теплой одежде — спросил лодочника:

— А где же наша бочка?

— Там, левее. В заливе, рядом.

— Может, мне пора сворачивать?

— Воля ваша.

— Что значит «воля ваша»? Вы ведь знаете, какая здесь глубина. Хватит тут воды, чтобы прошла лодка?

— Кто его знает! Вода спала.

— Пока мы будем канителиться, совсем рассветет.

Лодочник молчал.

«Ах ты черт собачий,— подумал охотник.— Ничего, доедем. Мы уже проплыли две трети пути, а если тебе неохота разбивать лед, чтобы я мог пострелять уток, это просто подло с твоей стороны!»

— А ну-ка поднатужься, хлюст ты этакий! — сказал он по-английски.

— Что? — спросил по-итальянски лодочник.

— Я говорю, что надо двигаться. Скоро рассветет.

Но уже светало, когда они наконец доплыли до большой дубовой бочки, врытой в дно лагуны. Бочку окружала покатая земляная насыпь, которую засадили камышом и осокой; охотник потихоньку ступил на нее и почувствовал, как мерзлые стебли ломаются у него под ногой. Лодочник вытащил из лодки складной стул с ящиком для патронов и передал охотнику; тот наклонился и поставил его на дно бочки.

На охотнике были высокие болотные сапоги и старая походная куртка с нашивкой на левом плече — никто не понимал, что это за нашивка, — и светлыми пятнышками на погонах, где раньше были звездочки; он спустился в бочку, и лодочник подал ему оба ружья.

Прислонив ружья к стенке бочки, он повесил между ними, на вбитых специально для этого крючьях, второй патронташ, а затем поудобнее расставил ружья по обе стороны патронташа.

— Вода есть? — спросил он у лодочника.

.. — Нет, — ответил тот.

— А воду из лагуны пить можно?

— Нет. От нее болеют.

Охотник устал, разбивая лед, ему хотелось пить, он чувствовал, что начинает злиться, но сдержался.

— Хотите, я помогу разбивать лед и ставить чучела?

— Не надо, — ответил лодочник и с остервенением толкнул лодку на тонкий лед, который под ее тяжестью треснул и раскололся. Лодочник стал колотить по льду веслом, а потом швырять деревянные чучела во все стороны.

«Что это он яритесь? — думал охотник. — Ведь он здоров, как бык. Я выбивался из сил по дороге сюда, а он едва-едва нажимал на весло. Какая муха его укусила? Это же его работа!»

Он приладил складной стул так, чтобы можно было свободно поворачиваться вправо и влево, распечатал коробку с патронами и набил ими карманы, потом распечатал еще одну коробку, но оставил ее наготове в патронташе. Перед ним в утреннем свете поблескивала стеклянная поверхность лагуны, а на ней виднелись черная лодка и крупное, могучее тело лодочника, разбивающего веслом лед и швыряющего за борт чучела, словно он хотел избавиться от чего-то непотребного.

Рассвело, и охотник увидел низкие очертания ближней косы по ту сторону лагуны. Он знал, что за этой косой стоят еще две бочки, дальше опять идут болота, а за ними — открытое море. Он зарядил оба ружья и прикинул в уме расстояние до лодки, которая расставляла чучела.

Позади он услышал приближающийся шелест крыльев, присел, выглядывая из-за края бочки, взял правой рукой справа от себя ружье, потом встал, чтобы выстрелить по двум уткам, которые косо падали на чучела, притормаживая крыльями, по двум черным уткам на фоне серого, тусклого неба.

Втянув голову в плечи, он широко занес ружье, вскинул ствол, целясь туда, куда летела утка, а потом, не глядя, попал он или нет, плавно поднял ружье, целясь выше и левее того места, куда летела другая утка, и, нажав курок, увидел, как, сложив на лету крылья, она упала среди чучел и осколков льда. Поглядев направо, он заметил и первую утку — черное пятно там же, на льду. Он знал, что правильно выстрелил и в первую утку, взяв много правее лодки, да и во вторую тоже, высоко подняв ствол и отведя его влево, давая утке уйти повыше и левее, чтобы лодка не

попала под огонь. Это был отличный дублет — аккуратный и точный, с должной заботой о безопасности лодки, и, перезаряжая ружье, он был очень доволен собой.

— Эй, послушайте, — крикнул ему лодочник. — А ну-ка не стреляйте по лодке!

«Ах, будь я трижды проклят! — сказал себе охотник. — Отныне и во веки веков!»

— Бросайте свои чучела! — крикнул он лодочнику. — И побыстрее! Я не буду стрелять, пока вы не кончите, разве что прямо вверх.

Лодочник ответил что-то невнятное.

«Чепуха! — сказал себе охотник. — Он ведь это дело знает. И знает, что по дороге сюда я работал не меньше его. В жизни не стрелял аккуратнее и точнее. Чего же он взъелся? Я ведь предлагал ему вместе ставить чучела. Да ну его ко всем чертям!»

Справа лодочник все еще злобно колотил по льду и расшвыривал чучела уток, и каждое его движение было полно ненависти.

«Нет, я не дам тебе испакостить мне утро, — подумал охотник. — Если солнце не растопит лед, много тут не настреляешь. Несколько штук — и все, так что я не дам тебе изгадить мне охоту! Кто его знает, сколько раз еще мне придется стрелять уток, — я не позволю, чтобы мне испортили эту охоту!»

Он смотрел, как за длинной болотной косой светлеет небо, а потом, повернувшись в бочке, поглядел на замерзшую лагуну, на болота и на снежные горы вдали. Он сидел так низко, что предгорий не было видно, вершины отвесно поднимались над плоской равниной. Глядя на горы, он чувствовал, как в лицо ему тянет ветерком, и понял, что с восходом солнца ветер задует, потревожит птиц и они непременно прилетят сюда с моря.

Лодочник кончил расставлять чучела. Они плавали на воде двумя стайками: перед бочкой, чуть-чуть левее ее, в той стороне, откуда встанет солнце, и справа от охотника. Вот он выбросил за борт и подсадную утку вместе с привязью и грузилом, и живой манок стал окунать голову в лагуну — высовывал, снова погружал и расплескивал у себя по спине воду.

— А не расколоть ли еще немножко льда по краям? — крикнул охотник лодочнику. — Слишком мало чистой воды — они не сядут.

Лодочник ничего не ответил, но стал колотить веслом по рваной кромке льда. Ломать лед было ни к чему, и лодочник это знал. Но охотник этого не знал и думал:

«Непонятно, что с ним происходит. Я не дам ему испакостить мне охоту. Не желаю, чтобы ей что-нибудь помешало, и ему не дам! Каждый выстрел теперь, может быть, мой последний выстрел, и я не позволю какому-то сукину сыпу портить мне охоту! Спокойно, мальчик, только не злись», — говорил он себе.

Глава вторая

Но он уже не мальчик. Ему пятьдесят, и он полковник пехотных войск армии Соединенных Штатов. И для того, чтобы пройти медицинский осмотр за день до поездки в Венецию на охоту, он проглотил столько нитроглицерина, сколько было нужно для того, чтобы... он и сам толком не знал, для чего; для того, чтобы пройти этот осмотр, уверял он себя.

Врач выслушивал его с явным недоверием. Но, дважды измерив давление, все же занес цифры в карточку.

— Понимаешь, какое дело, Дик, — сказал он. — Тебе это не рекомендуется; больше того, при повышенном внутриглазном и внутричерепном давлении это противопоказано!

— Не понимаю, — сказал охотник, который только собирался стать охотником и пока что был полковником пехотных войск армии Соединенных Штатов, а раньше занимал генеральскую должность.

— Я ведь не первый день вас знаю, полковник. А может, мне только кажется, что я вас знаю давно?

— Нет, тебе это не кажется, — сказал полковник.

— Что-то мы оба будто романс запели, — сказал врач. — Только смотри, не стукнись обо что-нибудь твердое и следи, чтобы в тебя не попала искра, раз ты так набит нитроглицерином! Хорошо бы на тебя навесить предохранительный знак, как на цистерну с горючим.

— А кардиограмма у меня в порядке? — спросил полковник.

— Кардиограмма у вас, полковник, замечательная! Не хуже, чем у двадцатипятилетнего. Да такой кардиограмме позавидуешь и в девятнадцать лет!

— Тогда чего же тебе надо? — спросил полковник.

Когда наглотаешься нитроглицерина, иногда немного подташнивает; ему хотелось, чтобы осмотр поскорее кончился. Ему хотелось поскорее лечь и принять соду. «Эх, я мог бы написать руководство по тактике обороны для взвода с высоким давлением,— подумал он.— Жаль, что нельзя ему этого сказать. А почему бы, в сущности, не сознаться и не попросить у суда снисхождения? Не сможешь,— сказал он себе.— Так до конца и будешь твердить, что невиновен».

— Сколько раз ты был ранен в голову? — спросил врач.

— Ты же знаешь,— ответил полковник.— В формуляре сказано.

— А сколько раз тебе попадало по голове?

— О, господи! — Потом он спросил: — Ты спрашиваешь официально или как мой личный врач?

— Как твой личный врач. А ты подумал, что я хочу подложить тебе свинью?

— Нет, Вес, не думал. Прости меня, пожалуйста. Что ты спросил?

— Сколько у тебя было контузий?

— Серьезных?

— Когда ты терял сознание или ничего не мог вспомнить.

— Штук десять,— сказал полковник.— Считая и падение с лошади. А легких три.

— Ах ты старый хрен,— сказал врач.— Вы уж меня извините, господин полковник!

— Ну как, можно идти? — спросил полковник.

— Да, господин полковник,— сказал врач.— У вас все в порядке.

— Спасибо. Хочешь, поедем со мной, постреляем уток на болотах в устье Тальяменто? Чудная охота. Там имение славных итальянских парнишек: я с ними познакомился в Кортине.

— А болота — это где водятся кулики?

— Нет, в тех местах охотятся на настоящих уток. Парнишки очень славные. И охота чудная. Настоящие утки. Гоголи, шилохвостики, чирки. Даже гуси попадают. Не хуже, чем у нас дома, когда мы были ребятами.

— Ну, я-то был ребенком в тридцатом году.

— Вот это подлость! Не ожидал от тебя.

— Да я совсем не то хотел сказать. Я просто не помню, чтобы у нас хорошо было охотиться на уток. К тому же я рос в городе.

— Тем хуже! Всем вам, городским мальчишкам, грош цена!

— Вы это серьезно, полковник?

— Конечно, нет. Какого черта ты спрашиваешь?

— Со здоровьем у вас все в порядке, полковник,— повторил врач.— Жалко, что я не могу с тобой поехать. Но я и стрелять не умею.

— Ну и черт с ним,— сказал полковник.— Какая разница? У нас в армии никто не умеет стрелять. Мне очень хотелось, чтобы ты со мной поехал.

— Я вам дам еще одно лекарство, вдобавок к тому, что вы принимаете.

— А разве есть такое лекарство?

— По правде говоря, нет. Хотя они там что-то придумывают.

— Ну и пусть придумывают,— сказал полковник.

— Весьма похвальная жизненная позиция, господин полковник.

— Иди к черту. Так ты не хочешь со мной ехать?

— С меня хватит уток в ресторане «Лоншан» на Медисон-авеню,— сказал врач.— Летом там кондиционированный воздух, а зимой тепло. Не надо вставать чуть свет и напяливать на себя теплые кальсоны.

— Ладно, городской пижон. Что ты понимаешь в жизни?

— И никогда не хотел понимать,— сказал врач.— А со здоровьем у вас все в порядке, господин полковник.

— Спасибо,— сказал полковник и вышел.

Глава третья

Это было позавчера. А вчера он выехал из Триеста в Венецию по старой дороге, которая шла от Монфальконе до Латизаны и потом прямо по равнине. Шофер у него был хороший, и он спокойно привалился к спинке переднего сиденья, поглядывая на места, которые знал еще мальчишкой.

«Сейчас они выглядят совсем иначе,— думал он.— Наверно, потому, что расстояния кажутся другими. Когда стареешь, все как будто становится меньше. Да и дороги теперь получше, и пыли такой нету. Когда-то я проезжал здесь на грузовике. Но чаще мы ходили пешком. Все, о чем я тогда мечтал,— это найти хоть полоску тени для привала

и колодец на крестьянском дворе. И, конечно,— канаву. Ну до чего же меня в те времена привлекали канавы!»

Они свернули и по временному мосту переехали через Тальяменто. Берега зеленели, а на той стороне, где было поглубже, какие-то люди удили рыбу. Взорванный мост восстанавливали, гулко стучали клепальные молотки, а в восьмистах ярдах от моста стояли разрушенный дом и службы; по развалинам усадьбы, когда-то построенной Лонгеной, было видно, где сбросили свой груз средние бомбардировщики.

— Нет, вы подумайте,— сказал шофер.— У них что ни мост, что ни станция — кругом на целые полмили одни развалины.

— Отсюда мораль,— сказал полковник,— не строй себе дом или церковь и не занимай Джотто писать фрески, если твоя церковь стоит в полумиле от моста.

— Я так и знал, господин полковник, что тут должна быть своя мораль,— сказал шофер.

Они миновали разрушенную виллу и выехали на прямую дорогу; в кюветах, обсаженных ивами, еще стояла темная вода, а на полях росли шелковицы. Впереди ехал велосипедист и читал газету, держа ее обеими руками.

— Если летают тяжелые бомбардировщики — другая мораль: отступи на целую милю,— сказал шофер.— Правильно, господин полковник?

— А если управляемые снаряды, то не на одну, а на двести пятьдесят миль. Ну-ка, погудите велосипедисту!

Шофер погудел, и тот съехал на обочину, так и не взглянув на них и не притронувшись к рулю. Когда они проезжали мимо, полковник высунулся, чтобы поглядеть, какую он читает газету, но заголовка не было видно.

— По-моему, теперь вообще не стоит строить себе красивых домов или церквей и заниматься этого, как его — как вы его назвали? — писать фрески.

— Джотто. Но это мог быть и Пьетро делла Франческа и Мантенья. И даже Микеланджело.

— Вы, видно, здорово знаете всех этих художников?

Теперь они ехали по прямому отрезку дороги и, стараясь наверстать время, гнали так, что один крестьянский дом словно наплывал на следующий; они почти сливались друг с другом, и видно было лишь то, что находилось далеко впереди и двигалось навстречу. За боковым стеклом тянулся безликий плоский пейзаж зимней равнины. «Я, пожалуй, не так уж люблю быструю езду,— думал

полковник. — Хорош был бы Брейгель, заставь его наблюдать натуру из мчащегося автомобиля!»

— Художников? — переспросил он. — Да нет, Бернхем, не так уж много я про них знаю.

— Моя фамилия Джексон, господин полковник, Бернхема послали отдыхать в Кортину. Хорошее место, господин полковник.

— У меня, видно, память сдавать стала, — сказал полковник. — Простите, Джексон. Да, место там хорошее. Кормят недурно. Уход приличный. И никто к тебе не пристаёт.

— Это верно, господин полковник, — согласился Джексон. — Но я вас спросил о художниках из-за всех ихних мадонн. Я подумал, что и мне надо бы посмотреть картины, и пошел во Флоренции в самое большое заведение, какое у них есть.

— Уффици? Питти?

— Понятия не имею, как оно называется. Но самое большое, какое там есть. Смотрел я, смотрел, пока меня от этих мадонн не замутило. Верно тот, кто в картинах мало разбирается, только и видит что одних мадонн, и очень ему от этого муторно. Знаете, что мне кажется? Вы, небось, заметили, как все они тут помешаны на этих своих *bambini*¹, и чем меньше у них еды, тем больше *bambini*, а им все мало! Вот я и думаю, что их художники тоже были большими любителями *bambini*, как все итальянцы. Не знаю, те ли именно, кого вы назвали, и поэтому о них разговор особый, да вы меня и поправите, если я что скажу не так. Но мне лично сдается, что все эти мадонны — а я их, ей-богу, навидался досыта, — или, вернее сказать, все эти художники, которые только и знали, что рисовать мадонн... у всех у них только и было на уме что *bambini*... не знаю, поймете вы меня или нет...

— Не надо забывать, что им приходилось писать на одних только религиозные сюжеты.

— Это конечно, господин полковник. Значит, вы считаете, что взгляд мой правильный?

— Пожалуй. Только дело тут все же обстоит сложнее.

— Понятно, господин полковник. Взгляд мой на это дело еще не вполне окончательный.

— А у вас есть еще какие-нибудь взгляды насчет искусства, Джексон?

¹ Дети (ит.).

— Нет, господин полковник. Пока что я додумался только насчет bambini. Но чего бы мне хотелось — это чтобы они покрасивей нарисовали ту горную местность вокруг Кортины.

— Там родина Тициана, — сказал полковник. — Так, по крайней мере, считают. Я спускался в долину и видел дом, где, как говорят, он появился на свет.

— Шикарное место, господин полковник?

— Не очень.

— Ну что ж, если он рисовал картины с тех гор, — там такие скалы, ну прямо в цвет заката, сосны, кругом снег и остроконечные шпильки...

— Sampanile, — сказал полковник. — Такие, как там, впереди, в Чеджии. Колокольни.

— Ну что ж, если он в самом деле красиво срисовывал картины с той местности, я бы не прочь у него даже парочку купить.

— Он замечательно писал женщин, — сказал полковник.

— Вот если бы я держал кабак, или трактир, или постоялый двор, тогда мне пригодилась бы и женщина, — сказал шофер. — Но не дай бог я привезу домой картину с женщиной — моя старуха мне покажет! Костей не соберешь.

— Вы могли бы подарить картину местному музею.

— Господи, да что там у нас в музее? Наконечники стрел, боевые уборы из перьев, ножи для снятия скальпов, разные скальпы, рыбы окаменелости, трубка мира, фотографии Пожирателя Печенки Джонстона и шкура какого-то проходимца — его сперва повесили, а потом какой-то доктор содрал с него шкуру. Картина с женщиной там уж совсем нехвата.

— Видите sampanile по ту сторону равнины? — спросил полковник. — Я вам покажу место, где мы воевали, когда я был мальчишкой.

— Вы разве и тут воевали, господин полковник?

— Да.

— А у кого в ту войну был Трист?

— У фрицев. Точнее говоря, у австрийков.

— Но мы его все же у них забрали?

— Только потом, когда кончилась война.

— А у кого были Флоренция и Рим?

— У нас.

— Ну что ж, тогда вам плакать было не о чем.

— «Господин полковник», — мягко добавил тот.

— Простите, господин полковник, — пробормотал шофер. — Я был в Тридцать шестой дивизии, господин полковник.

— Я видел у вас нашивку,

— Я как раз вспомнил Рапидо, господин полковник, а вовсе не хотел быть нахальным или грубить начальству.

— Верю, — сказал полковник. — Вы просто вспомнили Рапидо. Но, имейте в виду, Джексон, у всякого, кто долго воевал, было свое Рапидо, и даже не одно.

— Ну, больше одного я бы не вынес, господин полковник.

Машина въехала в веселый городок Сан-Дона-ди-Пьяве. Его заново отстроили, но он от этого не стал уродливее любого городка Центрального Запада США. «Он выглядит таким процветающим, — думал полковник, — а Фоссальта чуть выше по реке — такой нищей и унылой. Неужели Фоссальта так и не оправилась после первой войны? Но я ведь не видел ее до того, как ее разбомбили, — подумал он. — Город здорово обстреливали перед большим наступлением пятнадцатого июня тысяча девятьсот восемнадцатого года. А потом и мы по нему били, перед тем как взять обратно». Он вспоминал, как началась атака — от Монастье, через Форначе. В этот зимний день он вспоминал о том, что случилось в то лето.

Несколько недель назад он проезжал через Фоссальту и спустился к реке на то место, где его когда-то ранило. Место нетрудно было найти — это была излучина; там, где когда-то стояли тяжелые пулеметы, воронка густо заросла травой. Козы или овцы выщипали траву, и впадина стала похожа на выемку для игры в гольф. Река текла медленно, она была мутно-синяя и заросла по берегам камышом; пользуясь тем, что кругом ни души, полковник присел на корточки и, глядя за реку с того берега, где раньше нельзя было днем и головы поднять, облегчился на том самом месте, где, по его расчетам, он был тяжело ранен тридцать лет назад.

— Не бог весть какое достижение, — сказал он реке и берегу, напоенным осенней тишиной и сыростью после обильных дождей. — Но зато лично мое.

Он встал и огляделся. Вокруг никого не было; машину он оставил на дороге перед крайним и самым унылым из новых домов Фоссальты.

— А теперь я дострою памятник, — сказал он, хотя слышать его могли одни мертвецы, и вынул из кармана

старый золингенский складной нож, какие носят немецкие браконьеры. Нож щелкнул; повертев им, он выкопал в сырой земле аккуратную ямку. Обтерев нож о правый сапог, он сунул в ямку коричневую бумажку в десять тысяч лир, притоптал ямку и прикрыл дерном.

— Двадцать лет по пятьсот лир в год за *Medaglia d'Argento al Valore Militare*¹. За Крест Виктории, если не ошибаюсь, платят десять гиней. Медаль «За отличную службу» не дает ни гроша. Серебряная Звезда тоже. Ладно, сдачу я оставляю себе.

«Вот, теперь все в порядке, — думал он. — Дерьмо, деньги и кровь; погляди только, как растет здесь трава; а в земле ведь железо, и нога Джино, и обе ноги Рандольфо, и моя правая коленная чашечка! Прекрасный памятник! В нем есть все — залог плодородия, деньги, кровь и железо. Чем не держава? А где плодородная земля, деньги, кровь и железо — там родина. Но нам нужен еще и уголь. Надо достать немножко угля».

Потом он посмотрел за реку, на вновь отстроенный белый дом, который тогда был грудой развалин, и плюнул в реку. Он стоял далеко от воды и доплюнул с трудом.

— Я никак не мог сплунуть в ту ночь и долго еще после этого, — сказал он. — Но теперь я неплохо плююсь для человека, который не жует резинку.

Он медленно пошел назад, к машине. Шофер спал.

— А ну-ка, проснитесь, — сказал он. — Разворачивайтесь, поедем по той дороге на Тревизо. В этих местах карта нам не нужна. Я скажу, где свернуть.

Глава четвертая

Теперь, по пути в Венецию, он держал себя в руках и старался не думать о том, как сильно его туда тянет, а большой «бьюик» миновал тем временем последние строения Сан-Дона и въехал на мост через Пьяве.

Они пересекли реку и очутились на итальянской стороне; он снова увидел старую дорогу с высокими откосами. Как и всюду вдоль реки, она была здесь ровная и однообразная. Но глаз его различал старые окопы. По обе стороны прямой, гладкой дороги, по которой они катили на полной скорости, текли обсаженные ивами каналы; когда-то

¹ Серебряная медаль за военную доблесть (ит.).

в них плавали трупы. Наступление окончилось страшной бойней, солнце припекало, и, чтобы расчистить позиции у реки и дорогу, кто-то приказал сбросить трупы в каналы. К несчастью, шлюзы в низовьях все еще находились в руках австрийцев и были на запоре.

Вода стояла почти без движения, и мертвые — их и наши — запрудили каналы надолго, плавая лицом кверху или лицом книзу, пучась, раздуваясь и достигая чудовищных размеров. В конце концов, когда все поуспокоилось, рабочие команды стали по ночам вылавливать трупы и хоронить их у самой дороги. Полковник посмотрел, не видно ли на обочинах особенно пышной растительности, но ничего не заметил. А в каналах плавали утки и гуси, и вдоль всей дороги люди удили рыбу.

«Да ведь их же всех вырыли, — подумал полковник, — и похоронили на том большом ossario ¹ под Нервесой».

— Мы воевали тут, когда я был мальчишкой, — сказал полковник шоферу.

— Чертовски ровная местность, воевать здесь худо, — ответил шофер. — А реку держали вы?

— Да, — сказал полковник. — Мы держали ее, теряли и брали снова.

— Куда ни посмотришь, негде укрыться.

— В том-то и беда, — сказал полковник. — Приходилось цепляться за малейший бугорок, который не сразу и увидишь. За любую канаву, дом, откос на берегу канала, живую изгородь. Совсем как в Нормандии, только здесь еще ровнее. Наверно, так воевали в Голландии.

— Да уж этой реке далеко до Рапидо.

— Тогда это была совсем неплохая речка, — сказал полковник. — Пока не построили все эти гидростанции, в верховьях воды было много. А когда она мелела, среди гальки вдруг открывались омуты, глубокие и коварные. Было там одно место — Граве-де-Пападополи, — вот где было особенно паршиво.

Он знал, что о чужой войне слушать очень скучно, и замолчал. «Каждый смотрит на войну со своей колокольни, — подумал он. — Никто не интересуется войной отвлеченно, кроме разве настоящих солдат, а их немного. Вот готовишь солдат, а лучших из них убивают. И потом, каждый так занят своими делами, что ничего не видит и не слышит. Думает только о том, что сам пережил, и, пока ты говоришь,

¹ Кладбище (ит.).

прикидывает, как бы похитрее ответить и добиться повышения или каких-нибудь выгод. Зачем же надоедать этому парню, который, несмотря на свою нашивку фронтовика, медаль за ранение и другие побрякушки, вовсе не солдат; на него против воли напялили военную форму, а теперь он, видно, решил остаться в армии по каким-то своим соображениям».

— Чем вы занимались до войны, Джексон? — спросил полковник.

— Мы с братом держали гараж в Ролинсе, штат Вайоминг.

— Собираетесь туда вернуться?

— Брата убили на Тихом, а парень, на которого мы оставили гараж, оказался бездельником, — сказал шофер. — Мы потеряли все, что туда вложили.

— Обидно, — сказал полковник.

— Еще бы, черт его дери, не обидно, — сказал водитель и добавил: — ...господин полковник.

Полковник поглядел вперед, на дорогу.

Он знал, что скоро будет перекресток, которого он ждал и никак не мог дожждаться.

— Глядите в оба и на первом развилке сверните влево, на проселок, — сказал он шоферу.

— А вы уверены, что наша машина пройдет по этой низине?

— Посмотрим, — сказал полковник. — Какого черта, ведь дождей не было уже три недели.

— Что-то я не больно доверяю здешним проселкам. Кругом болота.

— Если мы застрянем, волю нас вытащат.

— Да я ведь беспокоюсь только о машине.

— А вы побеспокойтесь лучше о том, что я сказал, и сверните влево на первый же проселок, если он будет выглядеть мало-мальски сносно.

— Вот, видно, и он, там, где изгородь, — сказал шофер.

— За нами дорога пустая. Остановитесь у самого развилка, а я выйду погляжу.

Он вылез из машины, перешел на другую сторону широкого асфальтированного шоссе и посмотрел на узкую грунтовую дорогу, на быстрое течение идущего вдоль нее канала и густую живую изгородь на том берегу. За изгородью виднелся приземистый красный крестьянский дом с большим амбаром. Дорога была сухая. Даже телеги не выбили на ней колеи. Он вернулся к машине.

— Бульвар, а не дорога,— сказал он.— Можете не беспокоиться.

— Слушаюсь, господин полковник. Машина-то ведь ваша.

— Верно,— сказал полковник.— Я еще до сих пор за нее не расплатился. Скажите, Джексон, вы всегда так переживаете, когда сворачиваете с шоссе на проселок?

— Нет, господин полковник. Но ведь одно дело «виллис», а другое — машина с такой низкой посадкой, как эта. Вы же знаете, господин полковник, она может сесть на диффер. Можно и раму повредить.

— У меня в багажнике лопата и цепи. Вот когда выедем из Венеции, там действительно будет о чем беспокоиться.

— А мы поведем и дальше на этой машине?

— Не знаю. Посмотрим.

— Подумайте о крыльях, господин полковник.

— На худой конец подрежем крылья, как это делают индейцы в Оклахоме. Крылья у нее чересчур большие. Все у нее больше, чем надо, кроме мотора. Мотор у нее, Джексон, настоящий.

— Еще бы, господин полковник. Вести такую мощную машину по хорошему шоссе — одно удовольствие. Вот я и не хочу, чтобы с ней что-нибудь случилось.

— Это вы молодец, Джексон. Ну, а теперь бросьте переживать.

— Я не переживаю, господин полковник.

— Вот и отлично,— сказал полковник.

Сам он забыл обо всем, потому что как раз в эту минуту увидел парус, который мелькал впереди, за купой коричневых деревьев. Это был красный парус, косо и круто уходящий вниз; он медленно плыл за деревьями.

«Почему всегда сжимается сердце, когда видишь, как вдоль берега движется парус? — подумал полковник.— Почему у меня сжимается сердце, когда я вижу больших, неторопливых светлых быков? Дело, верно, в их поступи, во всем их виде, величине и окраске.

Но меня трогают и красивый крупный мул, и цепочка холеных вьючных мулов. И койот, всякий раз, когда я его вижу, и волк, который движется иначе, чем все другие звери, серый и такой уверенный в себе, гордо несущий свою тяжелую голову с недобрыми глазами».

— Вы когда-нибудь видели волков в окрестностях Ролинса, Джексон?

— Нет, господин полковник. С волками покончили, когда меня еще не было на свете; их всех потравили. Зато койотов у нас сколько угодно.

— Вам нравятся койоты?

— Я люблю слушать их по ночам.

— Я тоже. Больше всего на свете. Да еще — смотреть на парусные лодки, плывущие между берегов.

— Вон как раз идет такая лодка, господин полковник.

— По каналу Силе, — сообщил полковник. — Этот парусник плывет в Венецию. Ветер дует с гор, и лодка идет довольно быстро. Если ветер не стихнет, ночью подморозит и уток будет видимо-невидимо. Сверните-ка налево и поезжайте вдоль канала. Дорога тут хорошая.

— В наших местах редко охотятся на уток. А вот в Небраске на реке Платт уток сколько угодно.

— Хотите поохотиться там, куда мы едем?

— Пожалуй, не стоит. Стрелок я неважный, лучше поваляюсь подольше. У меня ведь спальный мешок с собой. Утро-то будет воскресное.

— Это верно, — сказал полковник. — Можете валяться хоть до полудня.

— Я захватил порошок от клопов. Сосну как следует.

— Порошок, пожалуй, не понадобится, — сказал полковник. — А вы консервов из пайка захватили? Еда ведь будет только итальянская.

— Как же, запаса. И самим хватит, и других угостить сможем.

— Вот и отлично, — сказал полковник.

Теперь он смотрел вперед: дорога, бежавшая вдоль канала, снова должна была выйти на шоссе. Он знал, что в такой ясный день, как сегодня, с развилка все будет видно. На болотах, бурых, как болота зимой в устье Миссисипи, вокруг Пайлоттаупа, резкие порывы северного ветра пригибали к земле тростник; а вдали была видна квадратная башня церкви в Торчелло и высокая сапраниле в Бурано. Море было синевато-серым, как слапец, и он насчитал двенадцать парусников, плывущих по ветру в Венецию.

«Придется подождать. Когда переедем мост через Дезе под Ногерой, — сказал он себе, — все будет видно как на ладони. Подумать только, — целую зиму мы защищали этот город тут, на канале, и ни разу его не видали. Но однажды я был в тылу, у самой Ногеры, десть стоял холодный и ясный, как сегодня, и я впервые его увидел на той стороне залива. Но так туда и не попал. А все же это мой город —

я воевал за него еще мальчишкой, а теперь, когда мне полвека от роду, они знают, что я за него воевал, и я для них желанный гость.

Ты думаешь, что ты поэтому для них желанный гость? — спросил он себя.

Может быть. А может быть, потому, что ты штабное начальство из армии победителей. Хотя вряд ли. Надеюсь, что нет. Это ведь тебе не Франция, — подумал оп.

Там ты дерешься за какой-нибудь город, который тебе дорог, и дрожишь, как бы чего в нем не попортить, а потом, если только у тебя есть голова на плечах, ты и носа туда больше не покажешь: непременно напорешься на какого-нибудь вояку, который тебе не простил, что ты брал этот город. *Vive la France et les pommes de terre frites. Liberté, Vénalité et Stupidité*¹. Уж эта мне великая *clarté*² французской военной мысли! Не было у них ни одного военного мыслителя со времен дю Пика. Да и тот был несчастным полковником, вроде меня. Манжен, Мажино и Гамелен. Выбирайте по своему вкусу, господа! Три школы военной мысли. Первая: дам-ка я им в морду. Вторая: спрячусь за эту штуковину, хоть она у меня и левого фланга не прикрывает. Третья: суну голову в песок, как страус, и понадеюсь на военную мощь Франции, а потом пущусь наутек.

Пуститься наутек — это еще деликатно сказано. Впрочем, — подумал он, — справедливости ради не стоит слишком упрощать. Вспомни хороших ребят из Сопротивления, вспомни Фоша — он ведь и воевал, и сколачивал армию; вспомни, как прекрасно держались люди. Вспомни добрых друзей и вспомни погибших. Вспомни многое, еще разок вспомни самых лучших друзей и самых лучших ребят, которых ты знал. Не злись и не валяй дурака. И нечего тебе капать на солдатское ремесло. Хватит, — сказал он себе. — Ты ведь поехал развлекаться».

— Джексон, — сказал он, — вам здесь нравится?

— Да, господин полковник.

— Отлично. Сейчас мы подъедем к одному месту, которое я хочу вам показать. Вы на него только разок поглядите, и все. Вся операция пройдет для вас совершенно безболезненно.

¹ Да здравствует Франция и жареная картошка. Свобода, Продажность и Глупость! (фр.)

² Ясность (фр.).

«Чего это он на меня взъелся? — подумал шофер. — Вот воображает! Конечно, был важной шишкой! Но хороший генерал генералом бы и остался. Видно, его на войне так исколошматили, что даже мозги вышибли».

— Вот посмотрите, Джексон, — сказал полковник. — Поставьте машину на обочину и давайте поглядим отсюда.

Полковник и шофер перешли через дорогу и посмотрели на другую сторону лагуны, — воду ее хлестал резкий, холодный ветер с гор, и контуры строений казались четкими, как на чертеже.

— Прямо перед нами Торчелло, — показал полковник. — Там жили люди, согнанные с материка вестготами. Они-то и построили вот ту церковь с квадратной башней. Когда-то тут жило тридцать тысяч человек; они построили церковь, чтобы почитать своего бога и воздавать ему хвалу. Потом, после того как ее построили, устье реки Силе занесло илом, а может, сильное наводнение погнало воду по новому руслу; всю эту землю, по которой мы сейчас ехали, затопило, расплодилось москиты, и люди стали болеть малярией. Они мерли, как мухи. Тогда собрались старейшины и решили переселиться в здоровую местность, которую можно оборонять с моря и куда вестготы, ломбардцы и прочие разбойники не смогут добраться, потому что у этих разбойников нет морских судов. А ребята из Торчелло все были отличными моряками. Вот они и разобрали свои дома, камни погрузили на барки, вроде той, какую мы сейчас видели, и выстроили Венецию.

Он замолчал.

— Вам не скучно это слушать, Джексон?

— Нет, господин полковник. Я и понятия не имел, кто пришел сюда первый, вроде как наши пионеры.

— Люди из Торчелло. Это были лихие ребята, и строили они хорошо, с большим вкусом. Они вышли из деревушки Каорле, там, выше по побережью, а во время нашествия вестготов к ним сбежалось все население окрестных городов и сел. И один парень, который возил оружие в Александрию, нашел там тело святого Марка и вывез его, спрятав под свиными тушами, чтобы мусульманские таможенники не нашли. Он тоже был из Торчелло. Этот парень привез тело в Венецию, и теперь святой Марк — их покровитель, и они построили ему собор. Но к тому времени они уже торговали с далекими восточными странами, и архитектура у них стала, на мой взгляд, слишком византийской.

Никогда они не строили лучше, чем в самом начале, в Торчелло. Вот оно, Торчелло.

— А площадь Святого Марка — это там, где много голубей и где стоит такой громадный собор, вроде шикарного кинотеатра?

— Вот именно, Джексон. Это вы точно подметили. Все ведь зависит от того, как на что посмотреть. А теперь поглядите туда, за Торчелло, видите ту красивую *сампаниле*, на Бурано? У нее почти такой же наклон, как у падающей башни в Пизе. Бурано — густонаселенный островок, женщины там плетут прекрасные кружева, а мужчины делают *bambini*; днем они работают на стекольных заводах вот на том островке, по соседству с другой *сампаниле*, это — Мурано. Днем они делают прекрасное стекло для богачей всего мира, а потом возвращаются домой на маленьком *варо-ретто*¹ и делают *bambini*. Однако не все проводят каждую ночь в постели с женой. По ночам они еще охотятся на уток по кромке болот в этой лагуне; они охотятся на плоскодонках, с длинными ружьями. В лунную ночь выстрелы слышны до самого утра.

Он умолк.

— А там, за Мурано, — Венеция. Это мой город. Я бы мог еще много вам тут показать, да, пожалуй, пора ехать. Но вы все же взгляните еще раз хорошенько. Отсюда все видно, и можно понять, как родился этот город. Только никто с этого места на него не смотрит.

— Вид очень красивый. Спасибо, господин полковник.

— Ладно, — сказал полковник. — Поехали.

Глава пятая

Но сам он продолжал смотреть, и город казался ему таким же прекрасным и волновал ничуть не меньше, чем тогда, когда ему было восемнадцать и он увидел его впервые, ничего в нем не понял и только почувствовал, как это красиво. Зима в тот год стояла холодная и горы за равниной совсем побелели. Австрийцам надо было во что бы то ни стало прорваться в том месте, где река Силе и старое русло Пьяве создавали естественную преграду.

Если удерживаешь старое русло Пьяве, в тылу остается Силе, за которую можно отступить, когда прорвут первую

¹ Пароходик (ит.).

линию обороны. За Силе не было уже ничего, кроме голой, как плешь, равнины и густой сети дорог; они вели в долины Венето и Ломбардии, и австрийцы всю зиму атаковали снова, снова и снова, чтобы выбраться на эту отличную дорогу, по которой машина катила теперь прямо в Венецию. В ту зиму у полковника — тогда он был лейтенантом и служил в иностранной армии, что потом всегда казалось чуть-чуть подозрительным в его собственной армии и порядком испортило его карьеру, — болело горло. Болело оно потому, что приходилось без конца торчать в воде. Обсужиться не удавалось при всем желании, и лучше было поскорее промокнуть до нитки да так и оставаться мокрым.

Австрийские атаки были плохо организованы, но шли одна за другой с необыкновенным упорством; сперва обрушивался артиллерийский огонь, который должен был подавить сопротивление, потом он прекращался, и можно было оглядеть свои позиции и сосчитать людей. Позаботиться о раненых было некогда: начиналась атака — и тогда убивали австрийцев, которые наступали по болоту, поднимая над водой винтовки и бредя еле-еле, как только и можно брести по пояс в воде.

«Не знаю, что бы мы делали, если бы они не прекращали обстрела перед атакой, — часто думал полковник, бывший в то время лейтенантом. — Но перед самой атакой они всегда прекращали огонь и перепосили его вглубь.

Если бы мы потеряли старое русло Пьяве и отошли к Силе, а противник перенес бы огонь на вторую и третью линии обороны, то и ту и другую невозможно было бы удержать, и тогда австрийцам следовало бы подтянуть всю артиллерию поближе и бить, не переставая, во время самой атаки, пока не прорвутся. Но слава богу, — думал полковник, — командует всегда какой-нибудь высокопоставленный оболтус, вот они и действовали непродуманно».

Всю ту зиму он тяжело болел ангиной и убивал людей, которые шли на него с гранатами, пристегнутыми к ремням портупей, тяжелыми ранцами из телячьей кожи, в касках, похожих на котелок. Это был враг.

Но он никогда не питал к ним вражды, да и вообще каких бы то ни было чувств. Он командовал, обвязав горло старым носком, смоченным в скипидаре, и они отбивали атаки ружейным огнем и огнем пулеметов, которые оставались целы после очередного артиллерийского обстрела. Он учил своих людей стрелять — редкое в европейских войсках искусство, учил их глядеть в лицо наступающему

врагу, и поскольку всегда выпадают минуты затишья, когда можно спокойно поучиться, они стали отличными стрелками.

Но после артиллерийского обстрела всякий раз приходилось считать — и считать быстро, — сколько у тебя стрелков. Его самого трижды ранило в ту зиму, но раны все были удачные — легкие ранения, не задевшие костей, и это внушило ему твердую веру в свое бессмертие, — ведь его давно должны были убить во время одного из ураганных обстрелов перед какой-нибудь атакой. В конце концов, и ему попало как следует, на всю жизнь. Ни одна из его ран не оставила такого следа, как это первое тяжелое ранение. «Наверно, — думал он, — я тогда потерял веру в бессмертие. Что ж, в своем роде это немалая потеря».

Этот край был ему дорог, дороже, чем он мог или хотел кому-нибудь признаться, и теперь он был счастлив, что еще полчаса — и они будут в Венеции. Полковник принял две таблетки нитроглицерина; он был мастер плевать, только тогда, в восемнадцатом году, у него не хватало слюны, чтобы проглотить таблетку, ничем не запивая.

— Как дела, Джексон? — спросил он.

— Отлично, господин полковник.

— Сверните у развилка на Местре влево — мы увидим лодки на канале, да и движение там потише.

— Слушаюсь, господин полковник. Вы мне покажете этот развилок?

— Конечно, — сказал полковник.

Они быстро приближались к Местре, и он снова испытал то чувство, какое у него было, когда он впервые подъезжал к Нью-Йорку, а тот весь сверкал — белый и красивый. Тогда там еще не все было затянуто дымом. «Мы подъезжаем к моему городу, — думал он. — Господи, какой это город!»

Свернув влево, они поехали вдоль канала, где стояли у причалов рыбацьи лодки, и полковник наслаждался, глядя на коричневые сети, и плетеные садки, и строгую, красивую форму лодок. «Нет, живописными их не назовешь. Живописность — это дерьмо. Они просто дьявольски красивые».

Машина миновала длинную вереницу лодок; эти медленные воды канала текли из Бренты, и он вспомнил берег Бренты, где стоят знаменитые виллы с лужайками и садами, с платанами и кипарисами. «Вот если бы меня там похоронили, — думал он. — Я ведь так хорошо знаю те места.

Но вряд ли это можно устроить. А впрочем, кто его знает. Найдутся же люди, которые дадут похоронить меня на своей земле. Спрошу у Альберто. Да нет, он еще решит, что я вытикс».

Он уже давно подумывал о разных красивых местах, где бы ему хотелось быть похороненным, о тех краях, частью которых он хотел бы стать. «Смердишь и разлагаешься не так уж долго, зато станешь чем-то вроде навоза, даже кости и те пойдут в дело. Я бы хотел, чтобы меня похоронили где-нибудь подальше, на самом краю усадьбы, но чтобы оттуда был виден милый старый дом и высокие тенистые деревья. Вряд ли это доставит им так уж много хлопот. Я бы смешался с той землей, где по вечерам играют дети, а по утрам, может быть, еще учат лошадей брать препятствия и их копыта глухо стучат по дерну, а в пруду прыгает форель, охотясь за мошками».

Теперь, от Местре, они ехали по мощеной дороге мимо уродливого завода Бреда, который с тем же успехом мог быть заводом Хэммонда в штате Индиана.

— А что они здесь делают, господин полковник? — спросил Джексон.

— В Милане эта фирма строит паровозы, — ответил полковник. — Тут они производят разные изделия из металла, всего понемножку.

Отсюда вид на Венецию был неказистый, полковник не любил эту дорогу; зато путь был намного короче и можно было поглядеть на каналы и бакены.

— Этот город сам себя кормит, — сказал он Джексону. — Когда-то Венеция была владычицей морей, народ здесь отчаянный, не боится ни бога, ни черта, такого больше нигде не встретишь. Люди здесь вежливые, но Венеция, если приглядишься, бедовое местечко — похуже Шайенна.

— Никогда бы не сказал, что Шайенн — бедовое местечко.

— Во всяком случае, более бедовое, чем Каспер.

— Вы думаете, господин полковник, что Каспер бедовый?

— Это нефтяной город. Славный город.

— Да, но бедовым я бы его не назвал. И прежде ничего бедового в нем не было.

— Ладно, Джексон. Может, мы с вами видим там разных людей. А может, называем одно и то же разными именами. Так или иначе, Венеция, где все на редкость вежли-

вые и обходительные, — такое же бедовое местечко, как Кук-Сити в штате Монтана, когда старожилы в свой праздник напиваются до зеленого змия.

— Вот Мемфис — это, на мой взгляд, город бедовый.

— Далеко ему до Чикаго, Джексон. В Мемфисе беда одним только неграм. А в Чикаго — всем и каждому, он бедовый и с севера, и с юга, и с запада, а с востока там озеро. Да и люди там не очень-то вежливые. А вот тут, в Италии, если хотите узнать, что такое по-настоящему бедовое место, поезжайте в Болонью. И кормят там замечательно.

— Никогда там не был.

— Ну, вот и гараж, где мы поставим машину, — сказал полковник. — Ключ можете сдать в контору. Здесь не крадут. Я пока зайду в бар. И чемоданы здесь есть кому поднести.

— А ничего, что мы оставим в багажнике ваше ружье и снаряжение?

— Ничего. Здесь не крадут. Я ведь уже сказал.

— Я беспокоюсь о вашем имуществе, господин полковник. И хотел принять меры.

— Вы такой умник, что меня иногда просто тошнит, — сказал полковник. — Продуйте уши и слушайте, что вам говорят.

— Я слышал, господин полковник, — сказал Джексон.

Полковник пристально на него посмотрел привычным уничтожающим взглядом.

«Вот сукин сын, — думал Джексон, — а ведь прикидывается таким милягой».

— Выньте наши чемоданы, поставьте машину вон там, проверьте горючее, воду и покрышки, — сказал полковник и направился по залитой бензином и маслом цементной дорожке прямо в бар.

Глава шестая

В баре, за первым столиком у входа, сидел разбогатевший во время войны миланец, толстый, но жесткий, как камень, — такими бывают только миланцы, — и его роскошная, в высшей степени соблазнительная любовница. Они пили *negroni* — двойную порцию сладкого вермута с сельтерской, и полковник подумал: сколько же миланцу пришлось утаить налогов, чтобы заплатить за такую холеную даму в длинном норковом мантио и за спортивную машину,

которую шофер только что погнал по эстакаде в гараж? Парочка воззрилась на него, как и положено невоспитанным людям этой породы, и полковник небрежно отдал им честь.

— Простите, что я в военной форме,— сказал он по-итальянски.— Но, увы, это мундир, а не маскарадный костюм!

Не дожидаясь ответа, он повернулся к ним спиной и подошел к стойке. Оттуда можно было следить за своими вещами, как это делали *pescesani*¹.

«Он, наверно, *commendatore*²,— подумал полковник.— А она — красивая бессердечная дрянь. Но чертовски красивая. А мог бы я, если бы у меня когда-нибудь были деньги, купить себе такую, как эта, и одеть ее в норку? Да пропади она пропадом! Хватит мне и того, что у меня есть».

Бармен пожал ему руку. Он был анархист, но не осуждал полковника за то, что тот — полковник. Наоборот, его это даже грело, ему это льстило, словно теперь и у анархистов был свой полковник; за те несколько месяцев, что они были знакомы, у бармена возникло чувство, будто он сам выдумал этого полковника или по меньшей мере произвел его в чин; он гордился этим, словно построил какую-нибудь *samparile* или старинную церковь в Торчелло.

Бармен слышал разговор, вернее, замечание, которое полковник отпустил у столика, и был очень доволен.

Он уже послал подъемник за джином и кампари.

— Сейчас,— сказал он,— мне пришлют ваш джин. Как дела у вас в Триесте?

— Да примерно так, как вы их себе представляете.

— А я не очень-то хорошо их себе представляю.

— И не гапргайтесь,— сказал полковник.— Не то наживете геморрой.

— Не возражаю, если меня за это сделают полковником.

— Вот я и не возражал.

— Смотрите, чтобы вас не скрутило, как от слабого!

— Только, ради бога, ничего не рассказывайте почтенному Паччарди,— сказал полковник.

Это была любимая шутка у них с барменом: досточтимый Паччарди занимал пост министра обороны итальян-

¹ Крупные дельцы (ит.).

² Здесь: воротила (ит.).

ской республики. Ему было столько же лет, сколько полковнику, он храбро сражался в первую мировую войну, воевал в Испании, где был командиром батальона, и полковник познакомился с ним, будучи там военным наблюдателем. Серьезность, с какой министр обороны относился к своим обязанностям в этой неспособной к обороне стране, смешила и полковника и бармена. Оба они были людьми практичными, и мысль о досточтимом Паччарди — защитнике Итальянской республики — их очень забавляла.

— Там у нас довольно весело, — сказал полковник. — Так что ничего, жить можно.

— Надо бы малость механизировать досточтимого Паччарди. Дайте ему атомную бомбу.

— Я везу в багажнике целых три. Последняя ручная модель с запасными частями. Его надо как следует вооружить. Снабдить хотя бы бактериями.

— Да, почтенного Паччарди мы не подведем! — сказал бармен. — Лучше один час прожить львом, чем всю жизнь ягненком.

— Лучше умереть стоя, чем жить на коленях, — добавил полковник. — Впрочем, бывает и так, что мигом хлопнешься на брюхо, если хочешь выжить.

— Полковник, прекратите эти разговорчики.

— Мы задушим их голыми руками, — продолжал полковник. — Наутро под ружье встанет миллионная армия защитников родины!

— А кто им даст ружья? — спросил бармен.

— Все необходимые меры будут приняты. Это только первый этап грандиозного плана обороны!

Вошел шофер. Полковник отметил, что, пока они перебрасывались шутками, он перестал следить за дверью, а всякая потеря бдительности его злила.

— Какого дьявола вы там возились, Джексон? Хотите выпить?

— Нет, спасибо, господин полковник.

«Ах ты чертова ханжа! — подумал полковник. — Похватит мне его шпынять», — сказал он себе.

— Сейчас пойдем, — объяснил он шоферу. — Я тут учусь у моего приятеля говорить по-итальянски.

Он оглянулся на милапских спекулянтов, но их уже не было.

«Ты потерял быстроту реакции, — подумал он. — Смотри, еще попадешься кому-нибудь в лапы. Может, даже почтенному Паччарди».

— Сколько с меня? — сухо спросил он бармена.

Итальянец назвал сумму, поглядывая на него своими умными глазами; теперь они больше не смеялись, хотя от них по-прежнему разбегались веселые морщинки. «Надеюсь, что у него все в порядке, — думал бармен. — Дай бог, или кто там еще есть, чтобы с ним не стряслось никакой беды!»

— До свиданья, полковник, — сказал он.

— Ciao, — ответил полковник. — Джексон, мы сейчас пойдем по длинной эстакаде прямо на север, туда, где пришвартованы маленькие моторки. Их тут покрывают лаком. А вот и носильщик с нашими чемоданами. Придется дать ему отнести вещи, у них тут такое правило.

— Слушаюсь, господин полковник, — сказал Джексон. Оба, не оглядываясь, вышли из бара.

На imbarcadere¹ полковник заплатил человеку, который поднес их чемоданы, и стал высматривать знакомого лодочника.

Он не узнал человека в первой моторке, но тот сказал:

— День добрый, полковник. Сейчас моя очередь.

— Сколько до «Гритти»?

— Вы же знаете не хуже моего, полковник! Мы не торгуемся. Такса у нас постоянная.

— Какая же это такса?

— Три тысячи пятьсот лир.

— Мы можем поехать на пароходике за шестьдесят.

— Вот и езжайте, — сказал пожилой лодочник с красным, но добродушным лицом. — До самого «Гритти» он вас не довезет, вы сойдете на imbarcadere за «Гарри» и можете позвонить оттуда, чтобы прислали за вашими чемоданами.

«Что я куплю на дерьмовые три с половиной тысячи? А он славный старик...»

— Хотите, я пошлю с вами вон того человека? — Лодочник показал на дряхлого старика, которого на пристани гоняли по всяким поручениям; он всегда был готов оказать непрошеную помощь — посадить или ссадить под локоток пассажира, который в этом совсем не нуждался, — а потом с поклонами стоял, протягивая старую фетровую шляпу. — Он сведет вас на пароходик. Следующий отходит через двадцать минут.

— Черт с ним, — сказал полковник. — Отвезите нас сами до «Гритти».

¹ Пристань (ит.).

— Con piacere ¹.

Полковник и Джексон спустились в лодку, похожую на гоночный катер. Она сияла лаком, была любовно надраена и оснащена крошечным двигателем «фиат» — он явно отслужил свой век на машине какого-нибудь провинциального доктора, был куплен на свалке автомобильного старья (что-то, а эти кладбища механических ископаемых теперь найдешь возле любого населенного пункта!), переделан и переоборудован для новой жизни на каналах Венеции.

— Мотор хорошо работает? — спросил полковник. Он слышал, как мотор чихает, словно подбитый танк или самоходное орудие, только звук был гораздо слабее, потому что силенок у него было меньше.

— Да так себе, — признался лодочник, помахав свободной рукой.

— Вам бы надо достать маленькую модель «универсал». Самый надежный и самый легкий морской двигатель, какой я знаю.

— Мало ли что мне надо достать! — сказал лодочник.

— Может, год выдастся хороший.

— Дай-то бог. Из Милана на Лидо приезжает много рессесан¹ играть в рулетку. Но разве кто захочет сесть в эту лодку во второй раз? А лодка хорошая. Прочная, удобная. Конечно, нет у нее такой красоты, как у гондолы. Но ей нужен мотор.

— Постараюсь достать вам мотор с «виллиса». Из тех, что были списаны, — вы сможете его перебрать?

— Чего зря болтать? — сказал лодочник. — Разве это возможно? Я и думать об этом не хочу.

— Почему же? — сказал полковник. — Я знаю, что говорю.

— И не шутите?

— Нисколько. Правда, голову паотрез не дам. Но постараюсь. У вас много детей?

— Шестеро. Два мальчика и четыре девочки.

— Видно, вы не очень-то верили в фашистскую власть. Всего шестеро!

— А я и не верил.

— Вы мне голову не морочьте, — сказал полковник. — Ничего удивительного, если вы в нее верили. Думаете, теперь, когда мы победили, я вас стану этим попрекать?

¹ С удовольствием (ит.).

«Ну вот мы и проехали самую унылую часть канала, — она тянется от Пьяццале-Рома до Ка'Фоскари; впрочем, и тут нет ничего унылого», — подумал полковник.

Нельзя же, чтобы повсюду были одни дворцы и церкви. А вот здесь уж никак не уныло! Он поглядел направо — по правому борту, поправил он себя. Ведь мы на судне! Они плыли мимо длинного, низкого приветливого здания; рядом с ним стояла трагтория.

«Эх, хорошо бы здесь поселиться! Пенсии мне вполне хватит. Конечно, не в «Гритти-палас». Снять бы комнату в доме вроде этого и смотреть на приливы, отливы и проплывающие мимо лодки. По утрам читать, до обеда гулять по городу, каждый день ходить в Academia смотреть на Тинторетто и в Scuola San-Rocco, есть в хороших дешевых ресторанчиках за рынком, а вечером хозяйка, может, и сама сготовит что-нибудь на ужин.

Обедать лучше не дома, чтобы и после обеда можно было пройтись. В этом городе хорошо гулять. Наверно, лучше, чем где бы то ни было. Когда бы я тут ни бродил, мне всегда бывает приятно. Я бы мог как следует его изучить, и тогда мне будет еще интереснее.

Какая она путаная, эта Венеция, — искать тут какое-нибудь место куда занятнее, чем решать кроссворды. Да, мы мало чем можем похвастаться, но вот ее мы, слава богу, ни разу не бомбили. А им делает честь, что и они отпесились к ней с уважением.

Господи, как я ее люблю, — думал он, — я рад, что помогал ее защищать, когда был еще совсем сопляком, и плохо знал язык, и даже толком ее не видел до того ясного зимнего дня, когда пошел в тыл, чтобы перевязать пустяковую рану, и вдруг увидел, как она встает из моря.

Черт возьми, — думал он, — а мы ведь неплохо дрались той зимой возле перекрестка.

Жаль, что нельзя перевоевать ту войну сначала, — думал он. — С моим опытом и с тем, что у нас сейчас есть. Но и у них теперь всего не меньше, а трудности — те же, если нет превосходства в воздухе».

Раздумывая об этом, он смотрел, как крутой нос сверкающей лаком, изящно отделанной медью лодки — медные части ее сияли — резал бурю и ловко обходил препятствия.

Они прошли под белым мостом и под еще не достроенным деревянным мостом. Красный мост они оставили справа и миновали первый высокий белый мост. За ним пока-

зался черный ажурный мост из чугуна на канале, ведущем к Рио-Нуово, и они миновали два столба, скованные цепью, но не касавшиеся друг друга,— совсем как мы с ней, подумал полковник. Он смотрел, как вырывает столбы прибой и как глубоко врезались в дерево цепи с той поры, когда он первый раз их увидел. «Совсем как мы,— думал он.— Это памятник нам. Сколько же памятников стоит нам в каналах этого города!»

Они шли медленно, пока не добрались до громадного фонаря по правую руку от входа в Большой канал; там мотор стал издавать металлические хрипы, от которых скорость чуть-чуть увеличилась.

Дальше они поплыли под зданием Academia, между сваями, и чуть было не столкнулись с черным дизелем, тяжело груженным пиленным лесом. Бруски эти шли на отопление сырых домов Морского Града.

— Это береза, правда? — спросил полковник у лодчика.

— Береза и какос-то другое дерево, подешевле, не припомню, как оно называется.

— Береза для камина все равно что антрацит для плиты. А где они рубят эту березу?

— Я в горах не жил. Но, по-моему, ее привозят из-за Бассано, с дальнего склона Граппы. Я как-то ездил на Граппу поглядеть, где похоронен мой брат. Из Бассано мы поехали с экскурсией на большое ossaгiо. А возвращались через Фельтре. И когда мы спускались в долину, я видел, что другой склон покрыт лесом. Ехали мы по военной дороге, и откуда-то везли много дров.

— В каком году убили вашего брата на Граппе?

— В восемнадцатом. Он был патриот, и уж очень зажгли его речи д'Аннунцио. Пошел добровольцем, хотя его год еще не призвали. Мы и привыкнуть толком к нему не успели, больно быстро он от нас ушел.

— А сколько вас было братьев?

— Шестеро. Двоих убили за Изонцей, одного — на Баиизицце и одного у Карста. Потом на Граппе мы потеряли того брата, о котором я говорю, и я остался один.

— Я достану вам этот проклятый «виллис» со всеми потрохами,— сказал полковник.— А пока что не будем думать о мертвых, давайте лучше посмотрим, где живут мои друзья.

Они плыли по Большому каналу, и здесь было хорошо видно, где живут его друзья.

— Вот дом графини Дандоло,— показал полковник.

Он, правда, не сказал вслух, а только подумал: ей ведь уже за восемьдесят, а она все еще живая, как девчонка, и совсем не боится смерти. Волосы красит в ярко-рыжий цвет, и ей это очень к лицу. С ней всегда весело, она прелестная женщина.

И палаццо у нее удобный; стоит в глубине, перед ним сад с собственным причалом, куда в разные времена приставало множество гондол и высаживались самые разные люди: веселые, добродушные, грустные и потерявшие веру в жизнь. Но главным образом веселые — ведь они ехали в гости к графине Дандоло.

Лодка с трудом двигалась по каналу навстречу холодно-му ветру с гор, и он наслаждался древней магией города и его красотой; очертания домов были четки и рельефны, как в зимний день, а день и в самом деле был зимний. Но для полковника прелесть была еще и в том, что он знал многих обитателей этих палаццо, а если там сейчас никто и не жил, знал судьбу этих зданий.

«Вот дом матери Альварито»,— подумал он, но промолчал.

Она здесь теперь почти не живет и редко выезжает из имения возле Тревизо, где растет много деревьев. Ее угнетает, что в Венеции совсем нет деревьев. Она потеряла хорошего мужа, и теперь ее мало что интересует, кроме хозяйства.

В свое время ее семья уступила этот дом Джорджу Гордону, лорду Байрону, и в его кровати с тех пор никто не спит; не спят и в другой кровати, двумя этажами ниже, где он проводил ночи с женой гондольера. И не потому, что кровати эти — святыня или реликвия. Это просто лишние кровати, которыми не пользуются по разным причинам, а может, из уважения к лорду Байрону, которого тут, в городе, очень любили, несмотря на все его ошибки. Тут, видно, надо быть парнем бедовым, чтобы тебя полюбили. Они ведь так и не признали ни Роберта Браунинга, ни госпожу Браунинг, ни их собаку. Эти трое так и не стали венецианцами, что бы там мистер Браунинг об этом ни писал. «А что значит «бедовый»? — спросил себя полковник.— Я так часто употребляю это слово, что должен бы знать его смысл. Сорвиголова? Скорее, тот, кто умеет все поставить на карту и не выйдет из игры, сколько бы ни проиграл. Или просто тот, кто готов играть до конца. И речь идет отнюдь не о театре,— думал он.— Как бы я ни любил театр».

«Так ли?» — подумал он, увидев маленькую виллу над самой водой, ничуть не менее уродливую, чем любой домишко в предместье Парижа, который видишь из окна поезда по дороге из Гавра или Шербура. Вокруг виллы густо росли плохо ухоженные деревья, и по доброй воле вы бы там жить не стали. Но там жил он.

«А вот его любили за талант, за пороки и за смелость. Нищий еврейский мальчик, он покориł страну своим талантом и своим красноречием. Я не встречал человека более жалкого и более подленького. Но тот, с кем я мог бы его сравнить, не рисковал всем, что у него было, и сам не воевал, а Габриэле д'Аннунцио (интересно, как его звали на самом деле, кому могут дать имя д'Аннунцио¹ в такой земной стране, как эта; может, он и не был евреем, да и какая разница, был он им или не был) перепробовал разные роды войск, так же как перепробовал любовь разных женщин».

Ни один род войск не утруждал его службой, походы его были молниеносны, он всегда выходил сухим из воды. Полковник помнил, как д'Аннунцио потерял глаз, когда разбился самолет, на котором он летал не то над Триестом, не то над Пулой, и как он потом всегда носил черную повязку, а люди, не знавшие, где это произошло, ибо тогда этого еще никто как следует не знал, думали, что глаз ему выбили под Велики, или Сан-Микеле, или еще в каком-нибудь злосчастном месте по ту сторону Карста, где все либо полегли, либо стали калеками. Для д'Аннунцио война была только воинственной жестикуляцией. У пехотинца свое особое ремесло, не похожее на другие. Габриэле летал, но он не был летчиком. Он служил в пехоте, но не был пехотинцем, он и там соблюдал одну видимость.

И полковник вспомнил, как однажды, когда он командовал взводом первого эшелона, а погода стояла дождливая, как всегда в те бесконечные зимы или, уж во всяком случае, во время всех парадов или военных смотров, д'Аннунцио, с черной повязкой вместо глаза и мучнисто-белым лицом, белым, как брюхо у камбалы, только что перевернутой на сковороде, сырой стороной кверху, и с таким видом, будто он уже вторые сутки мертвый, кричал им: «*Morige non è basta!*»² — и полковник, бывший тогда лейтенантом, подумал: «Какого рожна им от нас еще надо?»

¹ Благовест (ит.).

² Умереть — это еще не все! (ит.)

Он слушал речь и в конце, когда подполковник д'Аннунцио, писатель и национальный герой, явный и патентованный, раз уж нужны герои — а полковник в героев не верил, — попросил минуту помолчать в память о павших героях, лейтенант покорно вытянулся. Но взвод его, который не слышал речи, потому что тогда еще не было громкоговорителей, а ветер относил слова оратора в сторону, как только наступило молчание в честь павших героев, единодушно и раскатисто рывкнул: «Evviva d'Annunzio!»¹

Д'Аннунцио не раз поздравлял их с победами и зывал к ним перед поражениями, и они знали, что им кричать, когда оратор делает паузу.

Полковник, который тогда был лейтенантом и любил свой взвод, крикнул вместе с ними, словно отдавая команду: «Evviva d'Annunzio!» — тем самым выгораживая тех, кто не слышал этого призыва, и пытаясь скромно, как и положено лейтенанту (если только речь не идет о защите безнадежной позиции или инициативе в бою), разделить с ними вину.

А вот теперь лодка проезжает мимо дома, где этот старый греховодник жил со своей актрисой — великой, печальной и не очень любимой, и полковник вспоминает его поразительные пальцы и волшеббно преображающееся лицо, — оно не было красивым, зато умело передать всю любовь, все величие, все восторги и всю боль на свете, — вспоминает, как легкий взмах ее руки надрывал ему сердце, и думает: «Господи, ведь оба они уже умерли, а я понятия не имею даже, где их похоронили. Но от души надеюсь, что в этом доме им все-таки бывало хорошо».

— Джексон, — сказал он. — Эта маленькая вилла слева принадлежала Габриэле д'Аннунцио. Он был великий писатель.

— Так точно, господин полковник, — сказал Джексон. — Спасибо, что вы мне сказали. Никогда о нем не слышал.

— Я вам скажу, что он написал, если вам захочется его прочесть. Он неплохо переведен на английский.

— Спасибо, господин полковник, — ответил Джексон. — С удовольствием почитаю, если будет время. Домик у него подходящий. Как, вы говорите, его фамилия?

— Д'Аннунцио, — сказал полковник, — писатель.

¹ Да здравствует д'Аннунцио! (ит.).

Он добавил мысленно, не желая путать Джексона и его стеснять, как делал уже сегодня не раз: писатель, поэт, национальный герой, фашистский фразер и полемист, эгоист и певец смерти, авиатор, полководец, участник первой атаки торпедных катеров, подполковник пехотных войск, толком не умевший командовать ротой и даже взводом, большой, прекрасный писатель, которого мы почитаем, автор «Notturmo»¹ и хлюст.

Впереди, у Санта-Мария-дель-Джилло, был перекресток двух каналов, а за ним деревянный причал «Гритти».

— Вот и наша гостиница, Джексон.

Полковник показал на небольшой розоватый трехэтажный дворец, выходящий прямо на канал. Раньше это был филиал «Гранд-отеля», но теперь стал самостоятельной и очень хорошей гостиницей. В городе, где столько прекрасных отелей, это, пожалуй, самый лучший, если вы не любите, когда перед вами угодничают, заискивают и не дают вам самому шагу ступить.

— Местечко, по-моему, приличное,— сказал Джексон.

— Вполне приличное.

Моторная лодка с шиком подошла к деревянным сваям причала. «Каждое ее движение,— думал полковник,— это подвиг изношенного механизма. У нас теперь нет боевых коней, таких, как знаменитый Путник или как Лизетта генерала Марбо, воевавшая при Эйлау. Теперь мы почитаем стойкость изношенных рычагов, которые не выходят из строя, хотя давно имеют на это право».

— Причалили, господин полковник,— сказал Джексон.

— Конечно, причалили! А что нам еще делать? Ну-ка, прыгайте, а я расплачусь с этим гонщиком.

Повернувшись к лодочнику, он спросил:

— С меня ведь три с половиной тысячи, а?

— Так точно, полковник.

— Пасчет списанного «виллиса» я не забуду. Полу-чайте и купите своей лошадке овса.

Швейцар, который брал у Джексона чемоданы, засмеялся:

— Нет такого ветеринара, который возьмется вылечить его лошадь.

— Но она еще бегаёт! — сказал лодочник.

— А вот призов на скачках уже не берет. Как поживаете, полковник?

¹ «Ноктюрн» (ит.).

- Лучше не бывает. А как члены Ордена?
- Все в порядке.
- Хорошо,— сказал полковник.— Пойду повидаюсь с Гроссмейстером.
- Он вас ждет.
- Ждать мы его заставлять не можем. Джексон, пройдите в холл с этим джентльменом и попросите меня отметить. Позаботьтесь, чтобы сержанту дали комнату,— сказал он швейцару.— Мы только на одну ночь.
- Вас спрашивал барон Альварито.
- Я увижусь с ним у «Гарри».
- Хорошо, господин полковник.
- А где Гроссмейстер?
- Сейчас я его разыщу.
- Скажите, что я буду в баре.

Глава седьмая

Бар «Гритти» был сразу за холлом, хотя холл, подумал полковник, неподходящее слово для зала с таким благородством пропорций. Кажется, Джотто дал определение круга? Нет, это один математик. Из анекдотов о Джотто ему нравился вот какой: «Это так просто!» — сказал художник, начертив безукоризненный круг. Кто и где, черт побери, ему это рассказывал?

— Добрый вечер, Тайный Советник,— сказал он бармену; тот был только кандидатом в члены Ордена, но полковнику не хотелось его обижать.— Чем могу служить?

— Выпейте рюмочку, полковник.

Полковник поглядел через окна и стеклянную дверь на Большой канал. Он увидел высокий черный столб, к которому причаливают гондолы, и отсвет вечернего зимнего солнца на беспокойной от ветра воде. На той стороне стоял старинный дворец, а по каналу двигалась деревянная баржа, черная и широкая, разводя тупым посом волну, хотя ветер был попутный.

— Дайте мне сухого мартини,— сказал полковник.— Большую рюмку.

Тут вошел Гроссмейстер. На нем был фрак, как и положено метрдотелю. Он был по-настоящему, по-человечески красив — изнутри: улыбка его шла от самого сердца или от того, что зовут душой человека, а потом весело и открыто выходила на поверхность, то есть освещала лицо.

Лицо у него было лукавое, с длинным прямым носом, как у всех уроженцев этой части Венето, с добрыми, веселыми, правдивыми глазами и седыми волосами, приличествующими его возрасту, — он был на два года старше полковника.

Он подошел с сердечной улыбкой, хотя и с видом заговорщика — ведь у них было немало общих тайн, — и протянул свою руку, большую, сильную руку с длинными пальцами, холеную, как и подобало человеку в такой должности, а полковник протянул ему свою, дважды простреленную и чуть-чуть скрюченную. Так встретились два старожилы Венето, двое мужчин, два брата из рода человеческого — единственного клуба, в который тот и другой платили взносы, братья в своей любви к этой древней стране, издавна бывшей яблоком раздора, но победоносной даже в поражении, к стране, которую оба они защищали мальчишками.

Короткое рукопожатие, только чтобы ощутить близость и радость встречи; потом метрдотель сказал:

— Здравствуйте, полковник.

— Здравствуйте, Gran Maestro¹, — сказал полковник.

Полковник пригласил Gran Maestro выпить с ним рюмочку за компанию; метрдотель ответил, что он на работе. Пить на работе не полагается, да и запрещено.

— Ну их к разэтакой матери с их запрещениями, — сказал полковник.

— Само собой, — сказал Gran Maestro, — но обязанности свои надо выполнять, правила у нас разумные, их надо уважать, особенно мне, раз я должен подавать пример.

— Но вы же все-таки Gran Maestro! — сказал полковник.

— Ну что ж, дайте мне рюмочку Carpano punto e mezzo², — сказал Gran Maestro бармену, который все еще не был принят в Орден по какой-то пустяковой, неясной и скрытой причине. — Я выпью за Ordine³.

Так, нарушая порядки и правила поведения старшего по званию, который должен служить примером, Gran Maestro и полковник опрокинули по рюмке. Они не торопились, и Gran Maestro был спокоен. Опрокинули по рюмке, и все тут.

¹ Гроссмейстер (ит.).

² Название аперитива.

³ Орден (ит.).

— А теперь давайте обсудим дела Ордена,— сказал полковник.— Как, сессия у нас секретная?

— Да,— сказал Gran Maestro.— Я объявляю ее секретной.

— Давайте,— сказал полковник.

Орден, чистейший плод их фантазии, был основан во время бесед Gran Maestro с полковником. Он назывался El Orden Militar, Noble y Espirituoso de los Caballeros de Brusadelli¹. И полковник и метрдотель говорили по-испански, а поскольку, если вы хотите основать Орден, этот язык самый подходящий, они им и воспользовались, присвоив своему Ордену имя известного миланского спекулянт-миллиардера, уклонявшегося от уплаты налогов; на бракоразводном процессе, во время спора из-за раздела имущества, он публично обвинил молодую жену в том, что своим необычайно страстным темпераментом она довела его до умственного расстройства.

— Gran Maestro, что слышно о нашем патроне, благословенно имя его? — спросил полковник.

— Ничего. Он что-то в последнее время притих.

— Должно быть, думает.

— Должно быть.

— Видно, придумывает новые и еще более выдающиеся подлости.

— Вероятно. Он мне ничего не сообщал.

— Но на него можно положиться.

— До последнего вздоха. Потом пусть черти жарят его в аду, а мы будем благословлять его память.

— Джорджо,— сказал полковник,— принесите Gran Maestro еще рюмку карпано.

— Если это приказ,— сказал Gran Maestro,— мне остается только повиноваться.

Они чокнулись.

— Джексон! — крикнул полковник.— В этом городе вы гость. Харчи бесплатные, только счет подпишите. Будьте завтра в одиннадцать ноль-ноль в холле, а до тех пор чтоб глаза мои вас не видели, но смотрите, как бы с вами чего не стряслось. Деньги у вас есть?

— Да, господин полковник,— сказал Джексон и подумал: старый хрыч и вправду рехнулся. Чем орать во все горло, мог бы меня позвать вежливо.

¹ Военный, аристократический и духовный Орден кавалеров Брусаделли (исп.).

— Убирайтесь с глаз долой,— повторил полковник.

Джексон стоял перед ним, вытянувшись в струнку.

— Вы мне надоели, вы все хлопочете и не умеете жить в свое удовольствие! Господи боже мой, поживите вы хоть день в свое удовольствие.

— Слушаюсь, господин полковник.

— Вы поняли, что я сказал?

— Да, господин полковник.

— Повторите.

— Рональду Джексону, личный номер сто тысяч шестьсот семьдесят восемь, явиться в холл гостиницы «Гритти» в одиннадцать ноль-ноль, завтра, числа не помню, а до тех пор не показываться полковнику на глаза и жить как вздумается, в свое удовольствие.

— Простите, Джексон,— сказал полковник.— Я просто дерьмо.

— Разрешите возразить, господин полковник? — сказал Джексон.

— Спасибо, Джексон,— сказал полковник.— Может, я и не дерьмо. Хорошо, если вы правы. А теперь сматывайтесь. Комнату вам уже дали или должны дать, и харчи вам тут обеспечены. Постарайтесь пожить в свое удовольствие.

— Слушаюсь, господин полковник,— сказал Джексон.

Когда он ушел, Gran Maestro спросил:

— Что он за парень? Из породы мрачных американцев?

— Да,— сказал полковник.— Господи, сколько их у нас развелось. Мрачные, добродетельные, раскормленные и недоразвитые. В том, что они недоразвиты, есть и моя вина. Но у нас попадают и хорошие ребята.

— Вы думаете, они держались бы на Гранпе, на Пасубио и на Пьяве, как мы?

— Хорошие ребята держались бы. Может, даже и лучше нас. Но, знаете, у нас в армии не ставят к стенке даже за самострел.

— Господи! — сказал Gran Maestro.

И он и полковник — оба знавали людей, которые ни за что не хотели умирать, забывая о том, что тот, кто умер в четверг, уже не должен умирать в пятницу; они помнили, как один солдат привязывал мешок с песком к ноге другого, чтобы не осталось пороховых ожогов, и стрелял в товарища с такой дистанции, с какой, по его расчетам, мог попасть в голень, не задев кости, а потом разика два палил

в воздух, изображая перестрелку. Да, оба они это знали, и в память о войне, а также из настоящей хорошей ненависти ко всем, кто на ней наживается, они и основали свой Орден.

Они помнили, эти двое, любя и уважая друг друга, как бедные солдатики, ни за что не хотевшие умирать, делились друг с другом содержимым спичечной коробки, чтобы заразиться и не ходить в очередную кровавую атаку.

Они знавали и таких ребят, которые засовывали себе под мышку большие медные монеты, чтобы вызвать желтуху. И ребят побогаче, которым впрыскивали парафин под коленную чашечку, чтобы им вовсе не пришлось воевать.

Они знали, как применять чеснок, чтобы увильнуть от участия в атаке, знали все или почти все уловки — ведь один из них был сержантом в пехотной части, а другой лейтенантом, и оба сражались на трех ключевых участках — на Пасубио, на Граппе, и на Пьяве, а уж где, как не там, стоило увильнуть!

Еще раньше они прошли сквозь бессмысленную мясорубку на Изонце и на Карсте. Им было стыдно за тех, кто ее устроил, и они старались не думать о ней, об этой позорной, дурацкой затее — поскорее бы ее забыть. Правда, полковник вспоминал ее иногда, поскольку она могла послужить уроком в других войнах. Вот они и основали Орден Брусаделли, аристократический, военный и духовный, насчитывающий всего пять членов.

— Что слышно в Ордене? — спросил полковник.

— Шеф-повара ресторана «Манифик» мы произвели в командоры. В день, когда ему стукнуло пятьдесят, он трижды показал себя мужчиной. Я принял его заявление к сведению без проверки. Он никогда не лгал.

— Верно. Он никогда не лгал. Но в этом вопросе люди склонны преувеличивать.

— Я поверил ему на слово. На нем лица не было.

— А ведь бедовый был парпешка, любил девке подол задрать. Я помню.

— Anch'io ¹.

— У вас есть какие-нибудь планы работы Ордепа на зиму?

— Нет, Верховный Магистр.

— А вам не кажется, что следует устроить манифестацию в честь высокочтимого Паччарди?

¹ Я тоже (ит.).

— Как прикажете.

— Давайте отложим этот вопрос,— сказал полковник. Он подумал и заказал еще рюмку сухого мартини.

— А не устроить ли нам в честь нашего великого патрона Брусаделли, благословенно имя его, шествие и манифестацию в каком-нибудь из исторических мест — на площади Святого Марка или у старой церкви в Торчелло?

— Сомневаюсь, чтобы в данный момент это разрешили церковные власти.

— Тогда давайте откажемся на эту зиму от публичных манифестаций и будем действовать на благо Ордена нашими собственными силами.

— По-моему, это самое разумное,— сказал Gran Maestro.— Мы перестроим свои ряды.

— Ну, а вы-то сами как поживаете?

— Отвратительно,— сказал Gran Maestro.— Пониженное кровяное давление, язва желудка и долги.

— Но вы же не жалуетесь на жизнь?

— Никогда,— сказал Gran Maestro.— Я очень люблю свою работу, мне приходится иметь дело с необыкновенными, прелюбопытнейшими людьми и с великим множеством бельгийцев. Они в этом году — как саранча. Прежде у нас бывало много немцев. Как это Цезарь сказал? «И храбрейшими из них были белги». Но отнюдь не самыми элегантными. Верно?

— В Брюсселе, я видел, они одеваются прилично,— сказал полковник.— Сытая, веселая столица.

— Вот бы нам повоевать в старину во Фландрии.

— В старину нас на свете не было,— сказал полковник.— Поэтому мы никак не могли там воевать.

— Жаль, что мы не воевали при кондотьерах; стоило тебе тогда перехитрить противника — и он сдавался. Вы бы придумывали разные хитрости, а я бы передавал ваши приказы.

— Сперва пришлось бы взять несколько городов, чтобы запугать противника нашими хитростями.

— Но если бы города вздумали сопротивляться, мы бы их разграбили,— сказал Gran Maestro.— Какие города вы бы взяли?

— Только не этот,— сказал полковник.— Я бы взял Виченцу, Бергамо и Верону. Может быть, сперва Верону или Бергамо.

— Мало. Надо взять еще два города.

— Верно,— сказал полковник. Теперь он снова стал генералом и блаженствовал.— Я думаю, что Брешию можно оставить у себя в тылу. Она бы сдалась сама.

— Ну, а ваше здоровье как? — спросил Gran Maestro; он понимал, что взятие городов для него слишком сложное дело. Он чувствовал себя как дома в своем Тревизо, на берегу быстрой речки, под старыми городскими стенами. Течение шевелило водоросли, а под ними неподвижно стояла рыба и всплывала в сумерках, когда на воду садились мошки. Он чувствовал себя как дома и на войне, но если в деле участвовало не больше роты; тогда он разбирался в операции не хуже, чем в сервировке маленького банкетного зала, да и большого банкетного зала тоже.

А когда полковник снова превращался в генерала и начинал орудовать понятиями, такими же темными для метрдотеля, как интегралы для человека, знающего только арифметику, тогда ему становилось не по себе, одиноко, ему хотелось поскорей вернуть полковника к той поре, когда один из них был лейтенантом, а другой сержантом.

— А как бы вы поступили с Мантуей? — спросил полковник.

— Не знаю. Я же понятия не имею, с кем вы воюете, какие у них силы и какие у вас.

— Вы сами, по-моему, сказали, что мы кондотьеры. И базируемся либо здесь, в Венеции, либо в Падуе.

— Полковник,— сказал Gran Maestro, ничуть не приукрашивая истины,— честно говоря, я понятия не имею о кондотьерах. И о том, как они воевали. Я ведь только пожалел, что в те времена не воевал под вашим командованием.

— Те времена ушли и не вернуться,— сказал полковник, п воздушного замка как не бывало.

«А ну их к дьяволу, все эти воздушные замки,— думал полковник,— может, их никогда и не было. А ну тебя самого к дьяволу,— сказал он себе.— Не валяй дурака и будь человеком, ведь тебе уже полста».

— Еще рюмочку карпано,— предложил он.

— Вы мне позволите отказаться? У меня язва.

— Да, да. Конечно. Эй, как вас там зовут, Джорджо! Еще рюмку сухого мартини. Secco, molto secco e doppio¹.

«Разрушать воздушные замки — это не мое ремесло,— думал он.— Мое ремесло — убивать вооруженных солдат.

¹ Сухого, очень сухого, большую рюмку (ит.).

Воздушный замок должен превратиться в крепость, чтобы я стал его разрушать. Но мы убивали не одних только вооруженных солдат. Ладно, разрушитель замков, заткнись».

— Gran Maestro,— сказал он.— Вы все равно Gran Maestro, и ну их к разэтакой матери, всех этих кондотьеров.

— Они давным-давно там, Верховный Магистр.

— Так точно,— сказал полковник.

Но воздушный замок все-таки рухнул.

— Увидимся за ужином,— сказал полковник.— Есть что-нибудь хорошее?

— Все, что хотите, а чего у нас нет, я достану.

— Свежая спаржа найдется?

— Вы же знаете, что сейчас для нее не сезон. Ее привозят из Бассано в апреле.

— Ладно,— сказал полковник.— Тогда придумайте что-нибудь сами. Я съем все, что подадите.

— Вы будете один? — спросил метрдотель.

— Нас будет двое,— сказал полковник.— Когда закрывается ваш bistro? ¹

— Мы будем вас ждать, когда бы вы ни пришли.

— Постараюсь быть вовремя,— сказал полковник.— До свидания, Gran Maestro.— Он улыбнулся и протянул Gran Maestro искалеченную руку.

— До свидания, Верховный Магистр,— сказал Gran Maestro, и воздушный замок вырос снова, будто он и не был разрушен.

Но чего-то все же не доставало, и полковник это чувствовал, он подумал: «Отчего я такой ублюдок, отчего я не могу бросить свое военное ремесло и быть добрым и хорошим, каким мне хочется быть?»

Я всегда стараюсь быть справедливым, но я резок и груб, и дело не только в том, что я не хочу ни перед кем пресмыкаться и это служит мне защитой против пачальства и против всего света. Жить осталось немного, и мне бы следовало быть подороже, унять свой нрав. Попробуем сегодня вечером,— подумал он.— Да, но с кем и где? — подумал он.— Дай только бог не сорваться!»

— Джорджо,— подозвал он бармена; лицо Джорджо было белое, как у прокаженного, но без бугров и без серебристого налета.

¹ Кабачок (фр.).

Джорджо недолюбливал полковника, а быть может, он просто был из Пьемонта и никого не любил,— разве можно этого требовать от холодных людей из пограничной провинции? Пограничные жители — народ недоверчивый, полковник это знал, он не ждал от людей того, чего они не могут дать.

— Джорджо,— сказал он бледному бармену,— пожалуйста, запишите все на мой счет.

Он вышел из бара привычной походкой, шагая чуть тверже, чем надо, и, помня о своем неуклонном стремлении вести себя любезно, скромно и доброжелательно, поздоровался со своим приятелем швейцаром и с помощником управляющего, который был военнопленным в Кении и умел говорить на суахили; это был очень приветливый человек, молодой, жизнерадостный, с хорошей внешностью. И хотя он еще не был членом Ордена, горя на своем веку он уже хлебнул.

— А где же управляющий? — спросил полковник. — Где мой друг?

— Его нет,— ответил помощник управляющего. — Разумеется, в данный момент,— добавил он.

— Передайте ему привет,— сказал полковник. — И пусть меня кто-нибудь проводит в мой номер.

— Мы вам отвели ваш обычный номер. Он вам еще не надоел?

— Ничуть. А о сержанте позаботились?

— Да, конечно.

— Отлично,— сказал полковник.

Он отправился в свой номер в сопровождении рассыльного, который нес его чемодан.

— Прошу вас,— сказал рассыльный, когда лифт остановился, чуть-чуть не дотянув до верхнего этажа.

— Неужели вы не можете как следует управлять лифтом? — спросил полковник.

— Не могу, полковник,— ответил рассыльный. — С током у нас неладно.

Глава восьмая

Полковник ничего не сказал и пошел по коридору впереди рассыльного. Коридор был длинный, просторный, с высоким потолком и по-барски большими промежутками между номерами, выходящими на Большой канал. И так

как раньше это был дворец, из всех номеров открывался прекрасный вид, если не считать, конечно, бывших людских.

Путь показался полковнику длинным, хотя идти было совсем недалеко, и когда наконец появился коридорный — пизенький, черноволосый, с поблескивающим в левой глазнице стеклянным глазом — и, сдерживая широкую улыбку, стал ворочать в скважине большим ключом, полковник никак не мог дожидаться, чтобы дверь поскорее открылась.

— Отворяйте же,— сказал он.

— Сейчас, сейчас,— сказал коридорный.— Вы знаете, какие тут замки.

«Да,— подумал полковник,— знаю. Но я хочу, чтобы он отпер побыстрее».

— Как поживают ваши домашние? — спросил он коридорного, когда тот наконец распахнул дверь. Полковник вошел и очутился в комнате с высоким, потемпевшим, но хорошо полированным гардеробом, двумя удобными кроватями и большой люстрой; через еще закрытые окна была видна исхлестанная ветром вода Большого капала.

В ущербном свете зимнего дня канал был серый, как сталь, и полковник попросил:

— Арнальдо, откройте, пожалуйста, окна.

— Сегодня сильный ветер, а комната плохо птопле-на — не хватает электричества.

— А для электричества не хватает дождей,— сказал полковник.— Откройте окна. Все окна.

— Сию минуту, полковник.

Слуга растворил окна, и в комнату ворвался северный ветер.

— Будьте добры, соединитесь с портье и попросите позвонить по этому телефону.

Слуга позвонил, пока полковник был в ванной. Потом он доложил:

— Графини нет дома. Но там думают, что вы найдете ее у «Гарри».

— Чего только не найдешь у «Гарри»!

— Да, полковник, кроме счастья.

— Ну его-то я, черт возьми, тоже пайду! — заверил его полковник.— Счастье, сами знаете, понятие относительное.

— В этом вы правы. Я принес горькую настойку и бутылку джина. Смешать вам кампари и джин с содовой?

— Вы славный малый,— сказал полковник.— Откуда вы это принесли, из бара?

— Нет. Купил, пока вас не было, чтобы вам не пришлось переплачивать в баре. Больно уж там все дорого.

— Верно,— согласился полковник.— Зря только вы вкладывали свои деньги в такую аферу.

— Риск — благородное дело. А мы оба рисковали не раз. Джин стоил три тысячи двести лир, он не контрабандный. Кампари — восемьсот.

— Вы очень славный малый,— сказал полковник.— Как вам понравились утки?

— Жена до сих пор их вспоминает. Нам еще не приходилось есть диких уток — они ведь дорого стоят, такое лакомство не для нас. Но один сосед рассказал ей, как их готовить, а потом мы вместе с этими соседями их и съели. Ну до чего же вкусно! В жизни не думал, что на свете бывает такая еда! Возьмешь в рот кусочек — ну просто сердце тает!

— И для меня тоже ничего нет вкуснее этих жирных уток из-за железного занавеса. Они летят через громадные поля Дунайской равнины. У нас тут утки делают короткие перелеты, но прилетают к нам всегда по одному и тому же пути, с тех времен, когда еще и ружей не было.

— Я плохо разбираюсь в охотничьих делах,— сказал слуга.— Мы для этого слишком бедны. Нам не до охоты.

— Но в Венето охотятся не одни только денежные люди.

— Да. Оттуда всю ночь доносится стрельба. Но мы еще беднее их. Мы беднее, чем вы себе представляете.

— Почему же, я вполне могу себе представить.

— Не знаю,— сказал слуга.— Жена даже все перья собрала. Она просила вас поблагодарить.

— Если послезавтра нам повезет, мы настроляем много дичи. Больших селезней с зелеными головами. Скажите жене, что, если нам повезет, она получит очень вкусных уток — жирных, как поросята,— они здорово отъелись у русских — и с красивыми перьями.

— А как вы относитесь к русским, полковник, если это, конечно, не секрет?

— Говорят, это наш будущий враг. Так что мне, как солдату, может, придется с ними воевать. Но лично мне они очень нравятся, я не знаю народа благороднее, народа, который больше похож на нас.

— Мне ни разу не посчастливилось с ними встретиться,

— Не горюйте, у вас еще все впереди. Встретитесь. Разве что почтенный Паччарди задержит их на реке Пьяве, в которой, правда, больше не осталось воды. Ее разбирают гидростанции. Может, господин Паччарди решит драться с ними там. Но не думаю, чтобы бой очень затянулся.

— А я даже не знаю, кто он такой, этот господин Паччарди.

— Зато я знаю. А теперь попросите соединить вас с «Гарри» и спросите, нет ли там графини. Если нет, позвоните еще раз домой.

Полковник проглотил смесь, приготовленную Арнальдо, коридорным со стеклянным глазом. Пить ему не хотелось, и он знал, что ему это вредно.

Но он пил с тем же упорством дикого кабана, с каким жил всю жизнь, и когда он шел к открытому окну, движения его были по-кошачьи мягки, хотя это был уже довольно старый кот; он поглядел на Большой канал, который серел на глазах, словно его написал Дега в один из своих самых сереньких дней.

— Большое спасибо, Арнальдо,— сказал полковник. Тот разговаривал по телефону и только кивнул, блеснув в улыбке стеклянным глазом.

«Жаль, что ему пришлось вставить стеклянный глаз,— думал полковник.— Жаль,— подумал он,— что я люблю только тех, кто воевал или был искалечен.

Среди остальных тоже есть славные люди, я к ним отношусь хорошо и даже с симпатией; однако настоящую нежность я питаю только к тем, кто был там и понес кару, которая постигает всех, пробывших там достаточно долго.

Ну да, любой калека может меня обдурить,— думал он, допивая джин, который ему не хотелось пить.— Любой сукин сын, если только ему как следует попало,— а кому же не попадает из тех, кто там долго пробыл? Вот таких я люблю.

— Да,— согласилась другая, лучшая сторона его натуры.— Таких ты любишь.

А зачем мне это надо? — думал полковник.— Зачем мне кого-то любить? Лучше бы поразвлечься напоследок.

Но и поразвлечься,— говорила лучшая сторона его натуры,— ты не сможешь, не любя.

Ладно, ладно, вот я и люблю, как последний сукин сын», — сказал себе полковник, правда, не вслух.

А вслух он сказал:

— Ну как, дозвонились, Арнальдо?

— Чиприани еще не пришел, — сказал слуга. — Его ждут с минуты на минуту, а я не кладу трубку на случай, если он сейчас появится.

— Дорогое удовольствие, — сказал полковник. — Ну-ка, доложите, кто там есть, и не будем терять время попусту. Я хочу знать точно, кто там сейчас есть.

Арнальдо что-то вполголоса произнес в трубку.

Потом он прикрыл трубку рукой:

— Я разговариваю с Этторе. Он говорит, что барона Альварито еще нет. Граф Андреа там, он довольно пьян, но, как говорит Этторе, не так пьян, чтобы вы не могли с ним повеселиться. Там все дамы, которые обычно бывают после обеда, ваша знакомая греческая княжна и несколько человек, с которыми вы не знакомы. И разная шушера из американского консульства — они сидят там с полудня.

— Пусть позвонит, когда эта шушера уберется, — я тогда приду.

Арнальдо сказал что-то в трубку, а потом повернулся к полковнику, который смотрел в окно на купол Доганы.

— Этторе говорит, что он бы их выпроводил, но боится, не рассердится ли Чиприани.

— Скажите, чтобы он их не трогал. Раз им сегодня после обеда не нужно работать, почему бы им не папиться, как всяким порядочным людям? Но я не хочу их видеть.

— Этторе говорит, что он позвонит. Он просит передать, что, по его мнению, они сами сдадут позиции.

— Поблагодарите его, — сказал полковник.

Он смотрел, как гондола с трудом движется по каналу против ветра, и думал, что уж если американцы пьют, их с места не сдвинешь. «Я ведь понимаю, им здесь скучно. Да, здесь, в этом городе. Им тут очень тоскливо. Здесь холодно, платят им маловато, а топливо стоит дорого. Жены их молодцы, они мужественно делают вид, будто живут не в Венеции, а у себя в Киокаке, штат Айова, а дети уже болтают по-итальянски, как маленькие венецианцы. Но сегодня, Джек, мне не хочется разглядывать любительские снимки. Сегодня мы обойдемся без любительских снимков, без полупьяных откровений, назойливых уговоров выпить и скучных неурядиц консульского быта».

— Нет, Арнальдо, мне сегодня что-то не хочется ни второго, ни третьего, ни четвертого вице-консулов.

- В консульстве есть очень милые люди.
- Да,— сказал полковник.— В девятьсот восемнадцатом тут был чертовски симпатичный консул. Его все любили. Сейчас вспомню, как его фамилия.
- Вы любите уходить далеко в прошлое, полковник.
- Так дьявольски далеко, что меня это даже не веселит.
- Неужели вы помните все, что было когда-то?
- Все,— сказал полковник.— Его фамилия была Керрол.
- Я о нем слышал.
- Вас тогда еще и на свете не было.
- Неужели вы думаете, что надо вовремя родиться, чтобы знать все, что тут происходит?
- Да, вы правы. Неужели все тут знают всё, что происходит в городе?
- Не все. Но почти все,— сказал слуга.— В конце концов, простыни есть простыни, кто-то должен их менять, кто-то должен их стирать. Я не говорю, конечно, о постельном белье в таком отеле, как наш.
- Мне случалось совсем неплохо обходиться и без постельного белья.
- Еще бы! Но гондольеры, хоть они и самые компанейские люди и самые, на мой взгляд, у нас порядочные, любят поболтать.
- Я думаю!
- Потом священники. Они хоть никогда и не парушают тайны исповеди, но тоже любят почесать языки.
- Еще бы!
- А их домоправительницы — посплетничать друг с другом.
- Это их право.
- Теперь — официанты. Люди разговаривают за столом так, словно официант — глухонемой. У официанта есть правило никогда не подслушивать беседы клиентов. Но уши-то ведь себе не заткнешь! У нас, между собой, тоже идут разговоры,— конечно, не в таком отеле, как этот... И так далее.
- Да, теперь понятно.
- Я не говорю уже о парикмахерах!
- Какие новости на Риальто?
- Вам расскажут у «Гарри» всё, кроме того, в чем замешаны вы сами.

— А я в чем-нибудь замешан?
— Все обо всем знают.
— Ну что ж, меня это только украшает.
— Кое-кто не понимает той истории в Торчелло.
— Да будь я проклят, если я и сам что-нибудь понимаю!

— А сколько вам лет, полковник, простите за нескромность?

— Пятьдесят да еще один. Почему вы об этом не спросили портье? Я всегда заполняю листок для квестуры¹.

— Я хотел это услышать от вас самих и поздравить.

— О чем это вы? Не понимаю.

— Разрешите вас все-таки поздравить.

— Не могу, раз не знаю с чем.

— Вас очень любят у нас в городе.

— Спасибо. Вот это мне приятно слышать!

В эту минуту зазвонил телефон.

— Я возьму трубку,— сказал полковник и услышал голос Этторе:

— Кто говорит?

— Полковник Кантуэлл.

— Позиция сдана, полковник.

— Куда они пошли?

— В сторону Пьяццы.

— Хорошо. Я сейчас буду.

— Приготовить вам столик?

— В углу,— сказал полковник и положил трубку.— Я пошел к «Гарри».

— Счастливой охоты.

— Охотиться я буду на уток послезавтра утром в botte² на болотах.

— Ну и холодно же там будет!

— Наверно,— сказал полковник, надел плащ и поглядел на себя в большое зеркало, надвигая фуражку.— Ну и уродина! — сказал он в зеркало.— Вы когда-нибудь видели более уродливое лицо?

— Да,— сказал Арнальдо.— Мое, каждое утро, когда бреюсь.

— Нам обоим лучше бриться в темноте,— сказал полковник и вышел.

¹ Квестура — полиция.

² Бочка (ит.).

Когда полковник Кантуэлл шагнул за порог гостиницы «Гритти-палас», солнце уже заходило. На той стороне площади еще было солнечно, но там дул холодный ветер, и гондольеры предпочли укрыться под стенами «Гритти», пожертвовав остатками дневного тепла.

Отметив это про себя, полковник пошел направо по площади до угла мощеной улицы, сворачивавшей тоже вправо. Там он задержался и поглядел на церковь Санта-Мария-дель-Джиллио.

«Какое красивое, компактное здание, а в то же время так и кажется, что оно вот-вот оторвется от земли. Никогда не думал, что маленькая церковь может быть похожа на Р-47¹. Надо выяснить, когда она была построена и кто ее строил. Ах, черт, жаль, что я не могу всю жизнь бродить по этому городу. Всю жизнь? — подумал он. — Вот умора! Умереть можно от смеха. Подавиться от смеха. Ладно, брось, — сказал он себе. — На похоронной кляче далеко не уедешь.

К тому же, — думал он, разглядывая витрины, мимо которых шел (*charcuterie*² с сырами пармезан, окороками из Сан-Даниеле, колбасками *all cacciatore*³, бутылками хорошего шотландского виски и настоящего джина «Гордон»; лавок ножовых изделий антиквара со старинной мебелью, старинными гравюрами и картами; второсортного ресторана, пышно разукрашенного под первосортный), а потом, приближаясь к первому мостику через один из боковых каналов, где ему надо было подняться по ступенькам, — я не так уж плохо себя чувствую. Вот только этот шум в ушах. Помню, когда он у меня появился, я думал, что в лесу гудят цикады; мне тогда не хотелось спрашивать молодого Лаури, но я все-таки спросил. Он ответил: «Нет, генерал, я не слышу ни кузнечиков, ни цикад. Ночь совсем тихая, и слышно только то, что слышно всегда».

Потом, поднимаясь по ступенькам, он почувствовал боль, а спускаясь с моста, увидел двух красивых девушек. Они были хороши собой и одеты бедно, но с природным шиком; они с жаром о чем-то болтали, а ветер трепал их

¹ Марка самолета.

² Колбасная (*фр.*).

³ По-охотничьи (*ит.*).

волосы, когда они взбегали по лестнице на длинных, стройных, как у всех венецианок, ногах. Полковник подумал, что ему, пожалуй, не стоит глазеть на витрины,— ему ведь надо взобраться еще на один мост, пройти еще две площади, свернуть направо, а потом идти все прямо, пока он наконец не дойдет до «Гарри».

Он так и поступил, с трудом преодолев боль, двигаясь обычным размашистым шагом и только изредка поглядывая на прохожих. «В этом воздухе много кислорода»,— думал он, подставляя лицо ветру и глубоко вдыхая.

Но вот он отворил дверь в бар «Гарри» и вошел туда,— он и на этот раз добрался благополучно и наконец был дома.

Возле стойки он увидел высокого, очень высокого человека с помятым, но породистым лицом, веселыми синими глазами и длинным разболтанным телом, как у поджарого волка.

— Привет, о мой маститый, но нечестивый полковник,— сказал он.

— Привет, мой беспутный Андреа.

Они обнялись, и рука полковника почувствовала грубую дмотканую шерсть нарядного пиджака Андреа, который тот носил вот уже лет двадцать.

— У вас прекрасный вид, Андреа.

Это была ложь, что оба они отлично знали.

— Еще бы,— сказал Андреа, платя ему той же монетой.— Никогда не чувствовал себя лучше. Но и вы прекрасно выглядите.

— Спасибо. Ох, и здоровы же мы, черти, всей земли наследники!

— Прекрасно сказано! Я бы не прочь получить в наследство хоть клочок земли!

— Что вы канючите! Дадут вам не меньше ста девяноста сантиметров земли.

— Мой рост сто девяносто пять,— сказал Андреа.— Ах вы безбожник! Ну как, все еще тянете лямку *la vie militaire*?¹

— Тяну, но не надрываюсь,— сказал полковник.— Приехал поохотиться у Сан-Релахо.

— Знаю. Альварито вас искал. Просил сказать, что еще вернется.

— Хорошо. А ваша милая жена и дети здоровы?

¹ Солдатской жизни (*фр.*).

— Вполне, просили передать вам привет, если я вас увижу. Они сейчас в Риме. Вот идет ваша девушка. Или одна из ваших девушек.

Он был такой высокий, что ему было видно даже то, что делается на улице; там уже стемнело; правда, эту девушку можно было узнать и в полной темноте.

— Пригласите ее выпить с нами у стойки, прежде чем уведете в угол, к своему столику. А ведь хороша, верно? — Да.

И вот она вошла — во всей своей красе и молодости, — высокая; длинноногая, со спутанными волосами, которые растрепал ветер. У нее была бледная, очень смуглая кожа и профиль, от которого у тебя, да и не только у тебя щемит сердце, блестящие темные волосы падали на плечи.

— Здравствуй, чудо ты мое, — сказал полковник.

— Здравствуй! — сказала она. — А я уж боялась, что тебя не застану. Прости, что я так поздно.

Голос у нее был низкий, нежный; она старательно выговаривала английские слова.

— Сiao, Андреа, — сказала девушка. — Как Эмили и дети?

— Наверно, не хуже, чем в полдень, когда вы задали мне этот же самый вопрос.

— Пожалуйста, простите, — сказала она и покраснела. — Я почему-то ужасно волнуюсь, и потом, я всегда говорю невпопад. А что мне надо было спросить? Ах да, вы весело провели здесь день?

— Да, — сказал Андреа. — Вдвоем со старым другом и самым нелюбимым судьей.

— А кто он такой?

— Шотландское виски с содовой.

— Ну что ж, если он хочет меня дразнить, пусть дразнит, — сказала она полковнику. — Но ты не будешь меня дразнить, правда?

— Ведите его к тому столику в углу и разговаривайте с ним там. Вы оба мне надоели.

— А вы мне еще не надоели, — сказал полковник. — Но мысль у вас правильная. Давай, Рената, лучше сядем за столик, ладно?

— С удовольствием, если Андреа не рассердится.

— Я никогда не сержусь.

— А вы с нами выпьете, Андреа?

— Нет. Ступайте к вашему столику. Мне тошно, что он пустой.

— До свиданья, сара! ¹ Спасибо за компанию, хоть вы и не хотите с нами посидеть

— Сiao, Рикардо,— коротко сказал Андреа. Он повернулся к ним сухой, длинной, нервной спиной, поглядел в зеркало, которое всегда висит за стойкой, чтобы видеть, когда выпьешь лишнего, и решил, что лицо, которое на него оттуда смотрит, ему не нравится.— Этторе,— сказал он,— запишите эту мелочь на мой счет.

Он спокойно дождался, чтобы ему подали пальто, раз-
машисто сунул руки в рукава, дал на чай швейцару ровно столько, сколько полагалось, плюс двадцать процентов и вышел.

За столиком в углу Рената спросила:

— Как ты думаешь, он на нас не обиделся?

— Нет. Тебя он любит, да и ко мне хорошо относится.

— Андреа очень милый. И ты тоже очень милый.

— Официант! — позвал полковник, а потом спросил: — Тебе тоже сухого martini?

— Да. Пожалуйста.

— Два самых сухих martini «Монтгомери».

Официант, который когда-то воевал в пустыне, улыбнулся и отошел, а полковник обернулся к Ренате.

— Ты милая. И к тому же очень красивая. Ты мое чудо, и я тебя люблю.

— Ты всегда так говоришь; я, правда, не очень понимаю, что это значит, но слушать мне приятно.

— Сколько тебе лет?

— Почти девятнадцать. А что?

— И ты еще не понимаешь, что это значит?

— Нет. А почему я должна понимать? Американцы всегда так говорят, когда собираются уехать. У них, наверно, так принято. Но я тебя тоже очень люблю.

— Давай веселиться,— сказал полковник.— Давай ни о чем не думать.

— С удовольствием. Вечером я все равно не умею как следует думать.

— Вот и наши коктейли,— сказал полковник.— Помни, когда пьешь, нельзя говорить «ну, поехали»!

— Я уже помню. Я теперь никогда не говорю «ну, поехали», или «раздавим по маленькой», или «пей до дна».

— Надо просто поднять бокалы и, если хочешь, можно чокнуться.

¹ Дорогой (ит.).

— Да, хочу,— сказала она.

Мартини было холодное, как лед, настоящее «Монтгомери», и, чокнувшись, они почувствовали, как веселый жар согревает им грудь.

— А что ты без меня делала? — спросил полковник.

— Ничего. Я все жду, когда мне надо будет ехать в школу.

— В какую теперь?

— А бог ее знает. Куда-нибудь, где я выучусь по-английски.

— Будь добра, поверни голову и подыми подбородок.

— Ты надо мной смеешься?

— Нет. Не смеюсь.

Она повернула голову и вскинула подбородок без тени кокетства, без малейшего тщеславия. И полковник почувствовал, как сердце у него в груди перевернулось, словно спавший в норе зверь перевалился с боку на бок, приятно напугав спавшего с ним рядом другого зверя.

— Ах, ты,— сказал он,— ты ни разу не пыталась попасть в царицы небесные?

— Что ты, разве можно так богохульничать!

— Наверно, нельзя, и я снимаю свое предложение.

— Ричард...— начала она.— Нет, не скажу.

— Скажи!

— Не хочу.

Полковник подумал: «Сейчас же скажи, я приказываю!» И она сказала:

— Не смей никогда на меня так смотреть!

— Прости! Я нечаянно. Вспомнил свое ремесло.

— А если бы мы были с тобой — как это говорят? — замужем, ты бы и дома занимался своим ремеслом?

— Нет! Клянусь, что нет. Дома — нет. Душой, во всяком случае.

— Ни с кем?

— С людьми твоего пола — нет.

— Мне не нравится, как ты это говоришь: «твоего пола». Это опять оттуда, из твоего ремесла.

— Плевал я на мое ремесло. Хочешь, я выброшу его в Большой канал?

— Видишь,— сказала она,— ты опять берешься за свое ремесло.

— Ладно,— сказал он.— Я тебя люблю и могу распрощаться с моим ремеслом вежливо.

— Дай я подержу твою руку,— попросила она.— Ну вот. Теперь можешь опять положить ее на стол.

— Спасибо,— сказал полковник.

— Не смейся. Мне надо было ее потрогать, потому что всю неделю, каждую ночь или почти что каждую ночь, она мне снилась. Сон был такой странный, мне снилось, что это рука нашего Спасителя.

— Нехорошо! Такие вещи не должны сниться.

— Конечно. Но чем я виновата, что мне это снилось?

— А ты чего-нибудь не нанюхалась, а?

— Не понимаю, и, пожалуйста, не смейся, когда я говорю правду. Мне это на самом деле снилось.

— А как вела себя рука?

— Никак. Ну, это, может, и не совсем правда. Но почти все время это была просто рука.

— Такая, как эта? — спросил полковник, с отвращением глядя на искаленную руку и вспоминая те два дня, которые ее такой сделали.

— Не такая, как эта, а эта самая. Можно мне ее чуть-чуть потрогать, если тебе не больно?

— Нет, не больно. У меня болит только голова, ноги и ступни. А рука, по-моему, вовсе ничего не чувствует.

— Неверно, Ричард,— сказала она.— Эта рука все отлично чувствует.

— Я не люблю на нее смотреть. Давай-ка лучше закроем на нее глаза.

— Давай. Но тебе она не снится?

— Нет. Мне снятся другие сны.

— Да. Наверно. А вот мне последнее время снится эта рука. Теперь, когда я ее потрогала, мы можем поговорить о чем-нибудь веселом. О чем бы это веселом нам с тобой поговорить?

— Давай смотреть на людей, а потом будем о них разговаривать.

— Чудно! — сказала она.— Но мы не будем говорить о них гадости. Только чуть-чуть посмеемся. Мы ведь это умеем, правда? И ты и я.

— Ладно,— сказал полковник.— Официант! *Ansogna due Martini*¹.

Ему не хотелось громко произносить слово «Монтгомери», потому что за соседним столиком сидела какая-то пара, явно англичане.

¹ Еще два мартини (ит.).

«А вдруг этот англичанин был ранен в пустыне? — подумал полковник. — Хотя что-то не похоже. Но не дай бог вести себя по-свински. Посмотри лучше, какие глаза у Ренаты, — думал он. — Это самое красивое из всей ее красоты, и таких длинных ресниц я ни у кого не видел, и глазок она не строит, а смотрит всегда прямо и открыто. Она замечательная девушка, но я-то что делаю? Ведь это подло! Она твоя последняя, настоящая и единственная любовь, — думал он, — и ничего тут подлого нет. Это просто твоя беда, вот и все. Неправда, это счастье, тебе очень повеселилось».

Они сидели за маленьким столиком в углу, а справа от них, за столиком побольше, сидели четыре женщины. Одна из них была в трауре, но траур выглядел так театрально, что напоминал полковнику Диану Маннерс, игравшую монахиню в «Чуде» Макса Рейнгардта. У женщины было миловидное, пухлое, веселое от природы лицо, и траур выглядел на ней нелепо.

«У другой женщины за этим же столиком волосы в три раза белее, чем обыкновенная седина, — думал полковник. — Лицо у нее тоже симпатичное». Лица остальных женщин ему ничего не говорили.

— По-твоему, они лесбиянки? — спросил он Ренату.

— Не знаю. Но они очень милые.

— По-моему, лесбиянки. А может, просто подруги. Или и то и другое. Мне-то все равно, я их не осуждаю.

— Я люблю, когда ты добрый.

— Как ты думаешь, слово «доблестный» произошло от слова «добрый»?

— Не знаю, — сказала девушка и кончиками пальцев погладила его искалеченную руку. — Но я люблю тебя, когда ты добрый.

— Тогда я постараюсь быть добрым, — сказал полковник. — А кто, по-твоему, вон тот сукин сын, который сидит за ними?

— Ненадолго же хватает твоей доброты, — сказала девушка. — Давай спросим Этторе.

Они поглядели на человека, сидевшего за третьим столиком. У него было странное лицо, напоминавшее увеличенный профиль обиженного судьбою хорька или ласки, а кожа испещрена оспинами и пятнами, как поверхность луны, на которую смотришь в дешевый телескоп; полковник подумал, что человек этот похож на Геббельса, если бы у герра Геббельса загорелся самолет и он не смог оттуда вовремя выброситься.

Над лицом, которое беспрерывно во что-то вглядывалось, словно все на свете можно узнать — стоит только разглядеть или выспросить как следует, — торчали черные волосы, но совсем не такие, как у людей. Казалось, будто с него спяли скальп, а потом наклеили волосы обратно. «Занятный тип, — думал полковник. — Неужели он мой соотечественник? Похоже, что да».

Когда тот, прищурившись, разговаривал с пожилой цветущей дамой, сидевшей рядом, в уголках его рта выступала слюна. А эта женщина похожа на американских матерей, которых изображают в «Ледис хоум джорнэл». «Ледис хоум джорнэл» регулярно выписывали для офицерского клуба в Триесте, и полковник всегда его просматривал. «Превосходный журнал, — думал он, — сексуальность наряду с самой изысканной кулинарией. Возбуждает и тот и другой аппетит.

Но кто же он такой, этот тип? Чем не карикатура на американца, которого наскоро пропустили через мясорубку, а потом окунули в кипящее масло. Что-то я, кажется, опять не очень добрый», — подумал полковник.

К их столику подошел Этторе. Лицо у него было аскетическое, но он любил пошутить и не верил ни в бога, ни в черта. Полковник его спросил:

— Кто эта одухотворенная личность?

Но Этторе только развел руками.

Человек был невысокий, смуглый, гляпцевитые черные волосы удивительно не шли к его странному лицу. «У него такой вид, — думал полковник, — будто он забыл поменять парик, когда постарел. Но лицо поразительное. Похоже на холмы вокруг Вердена. Не думаю, чтобы это был Геббельс, зачем бы он выбрал себе такое лицо в те дни, когда все они разыгрывали «Сумерки богов»? «Komm, süßer Tod»¹. Ну что ж, в конце концов, все они отхватили по большому, сочному ломтю этой самой süßer Tod».

— Не хотите ли бутерброд с süßer Tod, мисс Рената?

— Пожалуй, нет, — сказала она. — Хотя я люблю Баха и знаю, что Чиприани мог бы приготовить мне такой бутерброд.

— А я ничего и не говорю против Баха.

— Знаю.

¹ «Приди, сладостная смерть» (нем.) — название духовной песни Баха.

— Черт подери! — сказал полковник. — Бах ведь, в сущности, был нашим союзником. Как и ты, — добавил он.

— Ну, меня ты, пожалуйста, не трогай!

— Дочка, — сказал полковник, — когда же ты поймешь, что мне можно над тобой шутить, — ведь я тебя люблю!

— Я это поняла. Но, знаешь, гораздо веселее, когда шутки не очень грубые.

— Хорошо. И я понял.

— Сколько раз ты думал обо мне на этой неделе?

— Все время.

— Нет, скажи правду!

— Правда. Все время.

— Ты думаешь, у нас с тобой это такой уж тяжелый случай?

— Почему я знаю, — сказал полковник. — Как я могу знать?

— Надеюсь все-таки, что у нас с тобой это не такой уж тяжелый случай. Я никак не думала, что это будет такой тяжелый случай!

— А теперь думаешь?

— Да, теперь я вижу, — сказала девушка. — Теперь, и навсегда, и во веки веков. Я правильно сказала?

— Довольно и одного «теперь». Скажите, Этторе, а этот тип с обаятельным лицом — рядом с ним сидит такая симпатичная женщина, — он не в «Гритти» живет, а?

— Нет, — сказал Этторе. — Он живет поблизости, но иногда ходит в «Гритти» обедать.

— Великолепно, — сказал полковник. — Теперь я знаю, за что мне смотреть, когда нападет тоска. А кто ему эта женщина? Жена? Мать? Дочь?

— Увы! Не знаю! — сказал Этторе. — Мы тут в Венеции почему-то за ним плохо следили. Он у нас почему-то не вызвал ни любви, ни ненависти, ни страха, ни подозрений. Но вас он в самом деле интересует? Я могу расспросить Чиприани.

— Давай-ка лучше закроем на него глаза, — сказала девушка. — Ты так, кажется, говоришь?

— Что ж, давай закроем.

— Ну да, раз у нас так мало времени, Ричард. Зачем на него тратить время?

— Я смотрел на него, как на рисунок Гойи. Лица ведь — те же картины.

— Смотри на мое лицо, а я буду смотреть на твое.

Давай па него закроем глаза, хорошо? Он ведь пришел сюда просто так и никому не мешает.

— Давай я буду смотреть на твое лицо, а ты на мое не смотри.

— Нет,— сказала она.— Это нечестно. Мне ведь твое лицо надо запомнить на целую неделю.

— Ну, а что ж тогда прикажешь мне делать? — спросил ее полковник.

К ним опять подошел Этторе,— это был отчаянный заговорщик,— и, быстро, как истинный венецианец, наведя справки, он сообщил:

— Мой товарищ, который работает в той гостинице, говорит, что он выпивает три-четыре рюмки виски, а потом садится и пишет очень длинно и бегло далеко за полночь.

— Представляю, как это увлекательно будет читать!

— Да, и я себе представляю,— сказал Этторе,— Данте, паверно, работал иначе.

— Данте был тоже *viuix con*¹,— сказал полковник.— Как мужчина, а не как писатель.

— Вы правы,— признал Этторе.— Никто из знатоков, кроме флорентийцев, не будет этого отрицать.

— Начхать нам на Флоренцию,— сказал полковник.

— Ну, это не так-то просто,— сказал Этторе.— Многие пытались, но редко кому это удавалось. А чем она вам, полковник, не нравится?

— Трудно объяснить. Когда я был мальчишкой, там был сборный пункт моего полка.— Он сказал по-итальянски — *deposito*.

— Тогда понятно. У меня тоже есть причины ее не любить. А вы знаете какие-нибудь хорошие города?

— Да,— сказал полковник.— Этот. Кое в чем Милан, Болонья. И Бергамо.

— Чиприани припас много водки на случай, если придут русские,— сказал Этторе. Он любил отпустить крепкую шуточку.

— Они привезут свою водку. И пошлины платить не будут.

— А Чиприани все же подготовился к их приходу.

— Ну, тогда он — единственный, кто к этому готов. Посоветуйте ему не брать от младших офицеров чеков на Одесский банк, и спасибо вам за сведения о моем соотечественнике. Больше я не буду отнимать у вас время.

¹ Старый хрен (*фр.*).

Этторе отошел. Девушка заглянула в старые стальные глаза полковника и положила обе свои руки на его искалеченную руку.

— Ты сегодня довольно добрый,— сказала она.

— А ты ужасно красивая, и я тебя люблю.

— Ну что ж, это приятно слышать!

— Где мы будем ужинать?

— Мне надо позвонить домой и спросить, можно ли мне не ужинать дома.

— А почему ты стала грустная?

— Разве я грустная?

— Да.

— И совсем я не грустная. Такая же веселая, как всегда. Честное слово, Ричард. Но, ты думаешь, приятно, если тебе девятнадцать лет и ты влюбились в человека, которому за пятьдесят, и ты знаешь, что он скоро умрет?

— Ну зачем так прямо? — спросил полковник. — Но когда ты это говорила, ты была очень красивая!

— Я никогда не плачу,— сказала девушка. — Никогда. У меня даже есть такое правило — никогда не плакать. Но сейчас я заплачу.

— Не плачь,— сказал полковник. — Ведь я сегодня добрый, правда? А что до всего прочего — ну его к дьяволу!

— Скажи еще раз, что ты меня любишь.

— Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя.

— И ты постараешься не умирать?

— Да.

— Что говорил доктор?

— Да ничего особенного...

— Но хуже тебе не стало?

— Нет,— солгал он.

— Тогда выпьем еще по одному martini. Ты знаешь, я до тебя никогда не пила martini.

— Знаю. Но теперь здорово пьешь.

— А лекарство тебе принимать не пора?

— Пора,— сказал полковник. — Лекарство пора принимать.

— Можно, я тебе его дам?

— Да,— сказал полковник. — Можно.

Они всё сидели за столиком в углу, и какие-то люди входили в бар, а другие выходили. У полковника от лекарства слегка закружилась голова, и он ждал, пока это пройдет. «Каждый раз одно и то же,— думал он. — Черт бы его побрал, это лекарство!»

Он видел, что девушка наблюдает за ним, и улыбнулся. Это была привычная, испытанная улыбка, которой он пользовался вот уже пятьдесят лет, с тех пор как улыбнулся впервые, и она до сих пор ему не изменяла, как дедушкино охотничье ружье. Ружье, наверно, взял старший брат. «Что ж, он всегда стрелял лучше меня,— думал полковник,— ружье принадлежит ему по праву».

— Слушай, дочка,— сказал он.— Ты только из-за меня не расстраивайся.

— Я и не расстраиваюсь. Ни чуточки. Но я тебя люблю.

— Тоже не бог весть какое занятие, правда? — Он сказал *oficio* вместо «занятие»,— когда им надоедало говорить по-французски, а по-английски при посторонних разговаривать не хотелось, они иногда разговаривали по-испански. «Испанский язык грубый,— думал полковник,— иной раз грубее кукурузной кочерыжки. Но зато всегда можно точно выразить свою мысль, и она запомнится».

— *Es un oficio bastante malo*,— повторил он,— любить меня.

— Да. Но это единственное мое занятие.

— А стихов ты больше не пишешь?

— Ну, это были школьные стихи. Так же как и мое рисование. У всех у нас в детстве бывают таланты.

«В каком же возрасте у них тут стареют? — думал полковник.— В Венеции не бывает стариков, но мужают здесь очень быстро. Я и сам быстро возмужал в Венеции и никогда уж потом не был таким взрослым, как в двадцать один год».

— Как мама? — спросил он ласково.

— Очень хорошо. Она никого не припимает и почти не видит людей. У нее ведь такое горе.

— Как ты думаешь, она очень расстроится, если у нас будет ребенок?

— Трудно сказать. Она очень умная. А мне все равно придется за кого-нибудь выйти замуж. Но очень не хочется.

— Мы могли бы с тобой пожениться.

— Нет,— сказала она.— Я подумала и решила, что лучше не надо. Это такое же решение, как насчет того, что не нужно плакать.

— А что, если ты решила неверно? Видит бог, я тоже принимал неверные решения, и очень много людей погибло из-за того, что я ошибался,

— По-моему, ты преувеличиваешь. Не верю, чтобы ты часто ошибался.

— Не часто. Но бывало,— сказал полковник.— В моем деле трех раз больше чем достаточно, а я ошибся целых три раза.

— Расскажи, как это было.

— Тебе будет скучно,— сказал полковник.— Мне самому до смерти тошно, когда я вспоминаю, а другим — тем более.

— А я разве другая?

— Нет. Ты моя любовь. Моя последняя, единственная и настоящая любовь.

— А ты их принял, эти решения, давно или недавно?

— Одно давно. Другое попозже. А третье недавно.

— Может, ты мне все-таки расскажешь? Я тоже хочу заниматься твоим скверным ремеслом вместе с тобой.

— А ну его к дьяволу! — сказал полковник.— Ошибки были сделаны, и я заплатил за них сполна. Беда только в том, что расплатиться невозможно.

— Расскажи, как это было и почему невозможно.

— Не хочу,— сказал полковник. И переубеждать его было бесполезно.

— Тогда давай веселиться.

— Давай,— сказал полковник.— Жизнь-то ведь у нас только одна.

— А вдруг не одна? Вдруг будут еще другие?

— Не думаю,— сказал полковник.— Ну-ка, повернись ко мне в профиль, чудо мое!

— Вот так?

— Так,— сказал полковник.— Именно так.

«Ну вот,— подумал полковник,— начался последний раунд, а я даже не знаю, какой он по счету. Я любил в своей жизни только трех женщин и трижды их терял.

Женщину теряешь так же, как теряешь свой батальон,— из-за ошибки в расчетах, приказа, который невыполним, и немыслимо тяжелых условий. И еще — из-за своего скотства.

Я потерял в своей жизни три батальона и трех женщин, а теперь у меня четвертая, самая красивая из всех, и чем же, черт подери, это кончится?

А ну-ка, объясните, генерал,— ведь у нас сейчас не военный совет, а свободный обмен мнениями по поводу создавшейся обстановки,— ответьте мне, генерал, на но-

прос, который вы мне сами не раз задавали: *где же ваша кавалерия, генерал?*

Ну вот, так я и думал,— сказал он себе.— Командир не знает, где его кавалерия, а кавалерия не разбирается ни в своем положении, ни в своих задачах, и часть ее, ровно столько, сколько для этого нужно, изгадит все дело, как гадила кавалерия во всех войнах, с тех самых пор, как ее посадили на коней¹.

— Чудо ты мое,— сказал он.— *Ma très chère et bien aimée*¹. Я очень скучный человек, ты уж меня, пожалуйста, прости.

— Мне с тобой никогда не скучно, я ведь тебя люблю. Мне только хочется, чтобы сегодня мы были повеселее.

— Будь я проклят, но сегодня мы будем веселые,— сказал полковник.— Ты не знаешь чего-нибудь особенно веселого?

— А мы сами разве не веселые, да и все, что творится тут, в городе... Ты ведь часто бывал веселый.

— Да,— признал полковник,— бывал.

— Неужели мы не можем еще хоть раз повеселиться?

— Конечно. Можем. Отчего же...

— Видишь того молодого человека с волнистыми волосами — он их не завизает, он их только аккуратно укладывает, чтобы казаться покрасивее.

— Вижу.

— Это очень хороший художник, но передние зубы у него вставные. Он был раньше *pédéraste*, но другие *pédérastes* как-то раз напали на него на Лидо во время полнолуния.

— Сколько тебе лет?

— Скоро будет девятнадцать.

— Откуда же ты все это знаешь?

— Мне рассказывал один гондольер. Этот молодой человек по нашим временам очень хороший художник. Теперь ведь настоящих художников не бывает. Но подумай, ходить с вставными зубами в двадцать пять лет — это просто смешно!

— Я тебя очень люблю,— сказал полковник.

— И я тебя очень люблю. Я только не знаю, что это значит по-вашему, по-американски. Но я люблю тебя и по-итальянски, хотя это против моих взглядов и против моего желания.

¹ Моя самая дорогая и любимая (*фр.*).

— Нельзя так чертовски много желать,— сказал полковник,— не то, смотри, желание возьмет да исполнится!

— Верно,— сказала она.— Но я бы хотела, чтобы мое теперешнее желание исполнилось.

Оба помолчали, потом девушка сказала:

— Этот молодой человек,— он теперь уже настоящий мужчина и ухаживает за женщинами,— чтобы скрыть, что он такое, написал мой портрет. Хочешь, я тебе его подарю?

— Спасибо. Я буду очень рад,— сказал полковник.

— Там все так поэтично! Волосы куда длиннее, чем у меня на самом деле; и кажется, будто я выхожу из моря, даже не намочив головы! А когда выходишь из воды, волосы прилизанные, концы у них слипшиеся и вся ты похожа на дохлую крысу. Но папа хорошо заплатил за портрет, и хотя это совсем не я, но такой ты бы хотел меня видеть.

— Я часто себе представляю, как ты выходишь из моря.

— Ну да? Ужасное уродство!.. Может, ты правда возьмешь этот портрет на память?

— А твоя мама возражать не будет?

— Нет, мама возражать не будет. По-моему, она будет даже рада от него избавиться. У нас есть картины лучше.

— Я очень люблю вас обеих — и тебя, и твою маму.

— Я ей это непременно скажу.

— Как ты думаешь, этот конопатый хлюст в самом деле писатель?

— Да. Этторе ведь тебе сказал. Этторе любит пошутить, но никогда не врет. Ричард, что такое хлюст? Только ты надо мной не смейся.

— Боюсь, что это трудно объяснить. По-моему, хлюст — это человек, который никогда всерьез не занимался делом (oficio) и только раздражает всех своим нахальством.

— Мне надо научиться правильно употреблять это слово.

— Не стоит употреблять его вообще.— Потом он спросил: — А когда я получу твой портрет?

— Если хочешь, сегодня. Я попрошу, чтобы его упаковали и послали тебе. Где ты его повесишь?

— У себя дома.

— А туда никто не придет и не будет надо мной смеяться и говорить гадости?

— Нет. Пусть только попробуют. И потом, я им скажу, что это портрет моей дочери.

- А у тебя когда-нибудь была дочь?
- Нет, но мне всю жизнь хотелось, чтобы она была.
- Но я могу быть тебе и дочерью тоже.
- Тогда это будет кровосмешением.
- В таком старинном городе, как наш, это никого не пугает. Чего тут только не видали!
- Послушай, дочка...
- Вот и хорошо,— сказала она.— Мне это очень нравится.
- Ну и слава богу,— сказал полковник. Его голос звучал чуть-чуть хрипло.— Мне тоже нравится.
- Теперь ты понимаешь, за что я тебя люблю, хоть и знаю, что этого не надо?
- Послушай, дочка... Где мы будем ужинать?
- Где хочешь!
- Давай поужинаем в «Гритти»?
- Давай.
- Тогда позвони домой и спроси разрешения.
- Не хочу. Я не буду просить разрешения, я просто им скажу, где я ужинаю, чтобы они не беспокоились.
- Но ты в самом деле хочешь ужинать в «Гритти»?
- Конечно. Это очень хороший ресторан, и ты там живешь, и все могут нас там видеть.
- С каких пор ты стала такой?
- А я и была такая. Мне всегда было все равно, что обо мне думают. И потом, я никогда не делала того, чего надо было бы стыдиться, разве что врала, когда была маленькая, и грубила.
- Эх, как бы я хотел, чтобы мы могли пожениться и родить пятерых сыновей,— сказал полковник.
- Я тоже,— сказала девушка.— И разослать их в пять разных концов света.
- А разве у света пять концов?
- Не знаю,— сказала она.— Пока я говорила, мне казалось, что да. Ну вот видишь, мы опять веселимся, правда?
- Да, дочка.
- Ну-ка, скажи еще раз. Повтори, как ты сказал.
- Да, дочка.
- Ах,— сказала она.— Почему у людей все так сложно? Можно мне подержать твою руку?
- Она такая уродливая, мне самому противно на нее смотреть.
- Ты даже не понимаешь, какая у тебя рука!

— Это, конечно, дело вкуса,— сказал он.— Но ты, дочка, все же не права.

— Может быть. Но видишь, мы опять веселимся, а то плохое, что у нас было на сердце, теперь ушло.

— Ушло, как туман из низины, когда над холмами встает солнце,— сказал полковник.— И ты — это солнце.

— А мне хочется быть похожей на луну.

— Ты и луна тоже. И любая другая планета, какая тебе нравится, и я даже могу тебе точно сказать, где эта планета находится. Господи Иисусе, дочка, да если хочешь, будь хоть целым созвездием!

— Нет, лучше я буду луной. У нее тоже есть свои неприятности.

— Да. Невзгоды и к ней приходят в положенный срок. Но прежде чем луне пойти на убыль, всегда бывает полнолуние.

— Она мне кажется иногда такой грустной там, над каналом, что у меня даже сердце щемит.

— Ей немало досталось на ее веку.

— Как ты думаешь, мы можем заказать еще по одному «Монтгомери»? — спросила девушка. И только тут полковник заметил, что англичане уже ушли.

Он ничего не видел, кроме ее лица. «Смотри, тебя еще убьют, если так будешь зевать,— сказал он себе.— С другой стороны, это своего рода сосредоточенность. Но так вести себя чертовски неосторожно!»

— Конечно. Почему же нет?

— Мне от них делается очень приятно,— сказала девушка.

— У Чиприани их здорово готовят, они действуют даже на меня.

— Чиприани ужасно умный!

— Мало этого — он еще и мастер своего дела.

— Когда-нибудь он приберет к рукам всю Венецию.

— Не всю,— возразил полковник.— Тебя он не получит.

— Нет. Ни он и никто другой, пока ты меня хочешь.

— Я хочу тебя, дочка. Но я не хочу прибирать тебя к рукам.

— Знаю. Я тебя люблю и за это тоже.

— Давай позовем Этторе и попросим его позвонить к тебе домой. Ты им скажешь насчет портрета.

— Правильно. Если хочешь получить портрет сегодня, я попрошу дворецкого его упаковать и отправить. А потом

я позову к телефону мамочку, скажу ей, где мы будем ужинать, и, если пужно, спрошу у нее разрешения.

— Не надо,— сказал полковник.— Этторе, дайте нам два самых лучших «Монтгомери» с мелкими оливками и, пожалуйста, позвоните домой к этой даме. Скажите нам, когда там кто-нибудь подойдет к телефону. И сделайте все побыстрей.

— Слушаюсь, полковник.

— Ну, а теперь, дочка, давай опять веселиться.

— Мы ведь уже начали, когда ты его подозвал,— сказала она.

Глава десятая

Они шли по правой стороне улицы, которая вела к «Гритти». Ветер дул им в спину и трепал волосы девушки. Ветер разделил волосы на затылке, и они улетали вперед, прилипая к щекам. Они шли, заглядывая по дороге в витрины; девушка задержалась у освещенного окна ювелирного магазина.

Там было много старинных драгоценностей; они стали их разглядывать и показывать друг другу самые лучшие; для этого им пришлось разнять руки.

— Может, тебе что-нибудь тут хочется? Я могу утром купить. Чиприани даст мне денег взаймы.

— Нет,— сказала она,— мне ничего не хочется, ты ведь все равно никогда мне не даришь подарков.

— Ты гораздо богаче меня. Я привожу тебе из армейского магазина всякие мелочи и плачу в ресторанах.

— И катаешь меня в гондоле, и возишь в разные красивые места за город.

— Вот не думал, что тебе хочется получить в подарок камушки!

— Не потому, что это камушки. А потому, что это подарок, и на них можно смотреть, о них можно думать, когда их носишь.

— Для меня это новость,— сказал полковник.— Но разве я смог бы купить тебе на армейское жалованье что-нибудь вроде твоих квадратных изумрудов?

— Ах, ты не понимаешь! Они же мне достались по наследству. Их мне завещала бабка, а она получила их от своей матери, а та получила их от своей матери. Думаешь, приятно носить камни, которые достались тебе от мертвецов?

— Никогда об этом не думал.

— Хочешь, я тебе их дам, если ты любишь камни? Для меня они просто наряд, вроде парижского платья. Ты-то любишь носить парадный мундир?

— Нет.

— И саблю носить не любишь?

— Да нет же, говорю тебе, нет!

— Значит, ты не настоящий военный, а я не настоящая девушка. Но подари мне что-нибудь надолго, чтобы я могла это носить и радоваться каждый раз, когда надену.

— Хорошо,— сказал полковник.— Подарю.

— Видишь, какой ты сообразительный,— сказала девушка.— И как хорошо, что ты решаешь сразу. Пожалуй-ста, возьми мои изумруды, ты можешь носить их в кармане как талисман и трогать их каждый раз, когда со-скупчишься.

— На службе я редко держу руки в карманах. Я либо верчу в руках стек, либо показываю что-нибудь карандашом.

— Но ты можешь сунуть руку в карман хотя бы изредка и там их потрогать?

— Мне не скучно, когда я работаю. Так приходится голову ломать, что тут уж не до скуки.

— Но ты же теперь не работаешь.

— Да. Только делаю все, чтобы меня поскорее списали в расход.

— Я все равно тебе их отдам. Мама поймет, я уверена. Да мне и не надо ей сразу об этом рассказывать. Она никогда не проверяет, целы ли мои вещи. А горничная ей по скажет.

— Нет, пожалуй, я их все-таки не возьму.

— Нет возьмешь, я тебя прошу.

— Я не уверен, что это порядочно.

— Это все равно, как если бы я сказала: я не уверена, что я девушка! Все, что доставляет удовольствие тому, кого любишь, всегда порядочно.

— Ладно,— сказал полковник.— Возьму, и будь что будет.

— Ну, а теперь скажи «спасибо»,— сказала девушка и так ловко сунула ему в карман изумруды, что ей позавидовал бы любой карманник.— Я взяла их с собой потому, что давно это придумала и собиралась сделать всю неделю.

— А говоришь, что думала о моей руке.

— Не придирайся, Ричард. Тебе-то стыдно быть таким глупым! Ведь ты же трогаешь их рукой. Неужели ты сразу не догадался.

— Нет, не догадался. Ты права, я глупый. А что тебе хотелось из того, что выставлено тут, в витрине?

— Вон того негретенка с головой из черного дерева в тюрбане из мелких алмазов с маленьким рубином посредине. Я бы носила его вместо брошки. В старину все женщины у нас носили такие фигурки: им придавали сходство с любимым арапчонком. Я очень давно о нем мечтаю и хотела, чтобы мне подарил его ты.

— Я пришлю тебе его утром.

— Нет. Подари мне его за обедом, перед отъездом.

— Ладно.

— Ну, а теперь нам пора идти, не то мы опоздаем к ужину.

Они пошли дальше рука об руку, и когда поднимались на первый мост, в лицо им яростно ударил ветер.

Почувствовав боль, полковник подумал: «Ну и черт с тобой!»

— Ричард,— попросила его девушка,— будь добр, положи руку в карман и потрогай их.

Полковник послушался.

— Знаешь, а они очень приятные на ощупь! — сказал он.

Глава одиннадцатая

Они вошли через главный подъезд в светлый, теплый холл гостиницы «Гритти-палас», оставив за собой ветер и непогоду.

— Добрый вечер, графиня. Добрый вечер, полковник! Сегодня, кажется, очень холодно? — сказал портье.

— Да,— ответил полковник и не одобрил ответа грубоватой шуточкой насчет того, как именно холодно или с какой силой дует ветер, что обычно доставляло им такое удовольствие, когда они бывали одни.

Они вошли в коридор, который вел к главной лестнице и лифту, справа находились вход в бар, выход на Большой канал и дверь в ресторан; из бара вышел Gran Maestro.

На нем был белый смокинг; он улыбнулся и поздоровался с ними.

— Добрый вечер, графиня. Добрый вечер, полковник.

— Здравствуйте, Gran Maestro,— ответил полковник. Gran Maestro улыбнулся и, еще раз поклонившись, сказал:

— У нас ужинают в баре, в самом конце. Зимой тут почти никого не бывает, и ресторан слишком велик. Я оставил вам столик. Если хотите, на закуску можно подать хорошего омара.

— А он свежий?

— Я видел его утром, когда его принесли в корзинке с базара. Он был еще живой, темно-зеленый и смотрел на меня очень недружелюбно.

— Хочешь на закуску омара, дочка?

Полковник поймал себя на том, что назвал ее дочкой. Это заметил и Gran Maestro, и сама девушка. Но для каждого из них слово это прозвучало по-разному.

— Я решил придержать его для вас, на случай, если придут pescesani. Они сейчас играют на Лидо. Не думайте, что я хочу его вам сбыть.

— С удовольствием съем омара,— сказала девушка.— Холодного, с майонезом. Майонез, пожалуйста, поострее.— Она сказала это по-итальянски.— А омар — это не очень дорого? — озабоченно спросила она полковника.

— Ау, *hija mia!*¹

— Потрогай, что у тебя в правом кармане,— сказала она.

— Я позабочусь, чтобы он не стоил слишком дорого,— сказал Gran Maestro.— А могу и сам за него заплатить. Недельного жалованья хватит с избытком.

— Нет, он уже продан Тресту,— сказал полковник; слово «трест» означало в военном коде войска, оккупирующие Триест.— Мне на это хватит дневного жалованья.

— Сунь руку в правый карман, и ты почувствуешь, какой ты богатый,— сказала девушка.

Gran Maestro сразу понял, что эта шутка не предназначена для чужих ушей, и молча удалился. Он радовался за девушку, которую уважал, и радовался за своего полковника.

— Я очень богатый,— сказал полковник,— но если ты будешь меня ими дразнить, я их тебе отдам, тут же, на глазах у всех, возьму и положу прямо на скатерть.

Теперь он дразнил ее сам, опрометью кипувшись в контратаку.

¹ Ах, дочка! (*исп.*)

— Нет, не отдашь,— сказала она.— Ты уже их полюбил.

— Мало ли что! Я могу кинуть все, что люблю, с самого высокого утеса, какой только есть на свете, и уйду, даже не обернувшись!

— Нет, не можешь,— сказала девушка.— Ты меня не кинешь с высокого утеса.

— Не кину,— признался полковник.— И прости мне эти злые слова.

— Слова были не такие уж злые, да потом, я тебе и не поверила,— сказала девушка.— Ты мне лучше скажи, куда мне пойти причесаться — в дамскую комнату или к тебе?

— Куда хочешь.

— Конечно, к тебе, я хочу посмотреть, как ты живешь и как там все устроено.

— А что скажут в гостинице?

— В Венеции и так все всё знают. Но они знают, что я из хорошей семьи и девушка порядочная. И что ты — это ты, а я — это я. Мы у них еще пользуемся доверием.

— Ладно,— сказал полковник.— Пешком или на лифте?

— На лифте,— ответила она, и он заметил, что голос у нее не дрогнул.— Позови лифтера, а если хочешь, давай поедем сами.

— Поедем сами,— сказал полковник.— Я давно научился управлять лифтом.

Поездка прошла благополучно, если не считать небольшого толчка вначале и того, что лифт чуть-чуть не дотянул до площадки; полковник подумал: «Ничего себе, научился! Лучше подучись еще!»

Коридор казался ему сейчас не только красивым, но и каким-то таинственным, а ключ он поворачивал в замке так, словно совершал обряд.

— Ну вот,— сказал полковник, распахивая дверь.— Вот и все, что я могу тебе предложить.

— Очень мило,— сказала девушка.— Но ужасно холодно — у тебя открыты окна.

— Сейчас закрою.

— Не надо. Пусть будут открыты, если тебе так лучше.

Полковник поцеловал ее и всем телом почувствовал ее длинное, молодое, гибкое, крепко сбитое тело; сам он был еще сильный и мускулистый, но его здорово покалечило; целую ее, он ни о чем не думал.

Поцелуй был долгий; они стояли, прижавшись друг к другу, а из открытых окон, выходивших на Большой канал, тянуло холодом.

— Ох! — вздохнула она. А потом снова: — Ох!

— Не охай. На что тебе жаловаться? — сказал полковник. — Не на что!

— Ты на мне женишься, и мы родим пятерых сыновей?

— Да! Да!

— Но ты этого хочешь?

— Конечно, хочу.

— Поцелуй меня еще раз, чтобы пуговицы на твоей куртке сделали мне больно. Только не очень больно.

Так они стояли и целовались.

— Ричард, знаешь, я должна тебя огорчить... — сказала она. Она сказала это просто, напрямик.

— Обидно?

— Да.

— Ну, что поделаешь, доченька!

Теперь в этом слове больше не было другого, тайного смысла — она и в самом деле была ему дочкой, он нежно любил ее и жалел.

— Ничего, — сказал он. — Ничего. Причешись, намажь губы и все такое прочее, а потом пойдем и хорошенько поужинаем.

— Нет, сначала повтори, что ты меня любишь, и прижми ко мне крепче свои пуговицы.

— Я люблю вас, — церемонно сказал ей полковник.

А потом он прошептал ей на ухо так тихо, как он, бывало, шептал, когда до врага оставалось всего семь шагов, а сам он был молоденьким лейтенантом в патруле:

— Я люблю тебя, моя единственная, моя самая лучшая, самая последняя и настоящая любовь.

— Хорошо, — сказала она и поцеловала его так крепко, что он почувствовал приторно-соленый вкус крови на десне.

«Да, хорошо!» — подумал он.

— Ну, а теперь я причешусь, намажу губы, а ты на меня смотри.

— Хочешь, я закрою окна?

— Нет. Мы можем побыть с тобой и на холоде.

— Кого ты любишь?

— Тебя, — сказала она. — А ведь нам с тобой не очень-то везет?

— Не знаю,— сказал полковник.— Ладно, причесывайся!

Полковник пошел в ванную, чтобы умыться перед ужином. Ванная была единственным неудобством его номера. «Гритти» был когда-то дворцом, а в ту пору, когда его строили, особых мест для ванн не отводили, их пристроили потом в конце коридора, и если ты хотел умыться, надо было предупреждать заранее: тогда грели воду и вешали чистые полотенца.

Его ванная была выгорожена из угла какой-то комнаты и казалась полковнику скорее оборонительной, чем наступательной позицией. Умываясь, он заглянул в зеркало, чтобы проверить, не выпачкан ли он губной помадой, и увидел там свое лицо.

«У этого лица такой вид, будто его высек из дерева бездарный ремесленник»,— подумал он.

Он стал рассматривать рубцы и шрамы, оставшиеся еще с тех времен, когда не умели делать пластических операций, и незаметные для постороннего глаза следы отличных пластических операций после ранения в голову.

«Ну что же, вот и все, что я могу вам предложить в качестве *gueule*¹ или *façade*²,— думал он.— Жалкий подарок. Одно утешение — загар, он прячет мое безобразие. Но боже ты мой, какой урод!»

Он не замечал, что глаза у него серые, как старый боевой клинок, от уголков глаз сбегают тоненькие морщинки — следы улыбок, а сломанный нос — как у гладиатора на какой-нибудь древней скульптуре. Не замечал он и доброго от природы рта, который умел порою быть беспощадным.

«Ах, будь ты проклят,— сказал он себе в зеркало.— Злосчастный ты калека. Ну что ж, вернемся к нашим дамам».

Он вошел в комнату и сразу стал молодым, как во времена своей первой атаки. Все, что у него было никудышного, осталось там, в ванной. «Правильно,— подумал он.— Там ему и место».

«Où sont les neiges d'antan? Où sont les neiges d'autrefois? Dans le pissoir toute la chose comme ça»³

¹ Рожа (*фр.*).

² Фасад (*фр.*).

³ Где вы, снега минувших дней? Где вы, снега былого? Все это в писсуаре (*фр.*).

Девушка, которую звали Ренатой, распахнула дверцы высокого гардероба. Внутри были вставлены зеркала, и она расчесывала волосы.

Расчесывала она их не из кокетства и не для того, чтобы понравиться полковнику, хотя и знала, как это ему нравится. Она расчесывала их с трудом и без всякой жалости, а так как волосы были густые и непокорные, словно у крестьянок или великосветских красавиц, грёбенке трудно было с ними справиться.

— Ветер их ужасно спутал,— сказала она.— Ты меня еще любишь?

— Да. Можно, я тебе помогу?

— Нет. Я всегда причесываюсь сама.

— Ты могла бы повернуться в профиль?

— Нет. Это все — для наших пятерых сыновей и для того, чтобы тебе было куда положить голову.

— Я думал только о лице,— сказал полковник.— Но спасибо, что ты напомнила. Какой я стал рассеянный!

— А я, наверно, слишком смелая.

— Нет,— сказал полковник.— В Америке эти штуки делают из проволоки и губчатой резины, как сиденья танков. И никогда не узнаешь, где свое, а где чужое, если только ты не такой нахал, как я.

— У нас не так,— сказала она и гребнем перекинула уже разделенные пробором волосы; прикрыв ей щеку, они спустились на шею и плечо.— Ты любишь, когда они гладко причесаны?

— Ну, не такие уж они гладкие, но зато дьявольски красивые.

— Я могла бы поднять их вверх, если тебе нравится гладкая прическа. Но я всегда теряю шпильки, и возиться с ними ужасно глупо!

Голос был такой красивый и так напоминал ему виолончель Пабло Казальса, что внутри у него невыносимо ныло, как от раны. «Но вынести можно все»,— подумал он.

— Я тебя люблю такой, какая ты есть,— сказал полковник.— Ты самая красивая женщина, каких я знал или видел — даже на картинах старых мастеров.

— Не понимаю, почему они до сих пор не прислали портрета.

— За портрет большое спасибо,— сказал полковник и вдруг добавил совсем по-генеральски: — Но это все равно что шкура с дохлого коня.

— Пожалуйста, не будь таким грубым. Сегодня мне не хочется, чтобы ты был грубый.

— Я нечаянно вспомнил язык моего *sale métier*¹.

— Не надо,— сказала девушка.— Пожалуйста, обними меня. Нежно, покрепче. Пожалуйста. И ремесло твое совсем не грязное. Это самое древнее и самое лучшее ремесло, хотя большинство тех, кто им занимается,— ничтожные люди.

Он прижал ее к себе изо всех сил, стараясь не причинить ей боли, и она сказала:

— Я бы не хотела, чтобы ты был адвокатом или священником. Или чем-нибудь торговал. Или чем-нибудь прославился. Мне нравится, что ты занимаешься твоим ремеслом, и я тебя люблю. Если хочешь, можешь мне шепнуть на ухо что-нибудь хорошее.

Полковник зашептал, крепко прижав ее к себе, и в этом прерывистом шепоте, который едва можно было расслышать, как тихий посвист собаке возле самого ее уха, звучала безысходность.

— Я люблю тебя, ты, проклятая! Но ты ведь мне и дочка тоже. И что мне все наши потери, если нам светит луна, наша мать и отец наш? Ну, а теперь пойдем ужинать!

Он прошептал ей это так тихо, что тот, кто не любит, никогда бы не услышал.

— Хорошо,— сказала девушка.— Хорошо. Но сначала поцелуй.

Глава двенадцатая

Они сидели за столиком в самой глубине бара, где у полковника были прикрыты оба фланга, а угол зала надежно защищал тылы. Gran Maestro это понимал, недаром он когда-то был превосходным сержантом в хорошей роте отборного пехотного полка; он не стал бы сажать своего полковника посреди зала, как сам никогда бы не занял невыгодную оборонительную позицию.

— Омар,— объявил Gran Maestro.

Омар был внушительный. Он был вдвое больше обычного омара, а его недружелюбие выварилось в кипятке, и теперь, со своими выпученными глазами и длинными

¹ Грязное ремесло (фр.).

чуткими щупальцами, которые рассказывали ему о том, чего не видели глупые глаза, он был похож на памятник самому себе.

«Омар немножко напоминает Джорджи Паттона,— подумал полковник.— Но омар-то небось не плакал, когда бывал растроган».

— Как ты думаешь, он не жестковат? — спросил полковник девушку по-итальянски.

— Нет,— заверил их Gran Maestro, застывший в поклоне с омаром в руках.— Он совсем не жесткий. Он просто крупный, вот и все. Вы же знаете, какие они бывают.

— Ладно,— сказал полковник.— Давайте его сюда.

— А что вы будете пить?

— Ты что хочешь, дочка?

— А ты?

— Капри бьянка,— сказал полковник.— Сухое. И заморозьте его как следует.

— Уже готово,— сказал Gran Maestro.

— Как нам весело,— сказала девушка.— Видишь, нам опять весело и ничуть не грустно. А омар очень внушительный, правда?

— Очень,— сказал полковник.— Но пусть этот черт только попробует быть жестким!

— Он не будет жестким,— сказала девушка.— Gran Maestro не лжет. Как хорошо, что есть люди, которые не лгут!

— Замечательно, но они встречаются очень редко,— сказал полковник.— Я как раз думал о человеке по имени Джорджи Паттон, который, вероятно, ни разу в жизни не сказал правды.

— А ты когда-нибудь говоришь неправду?

— Я врал четыре раза в жизни. Всякий раз — когда уставал до смерти. Но и это не оправдание,— добавил он.

— Я очень много врала, когда была маленькая. Хотя чаще выдумывала всякие истории. Фантазировала. Я никогда не врала с корыстной целью. Этим я себя утешаю.

— А я врал,— сказал полковник.— Четыре раза.

— А ты бы стал генералом, если бы не врал?

— Если бы я врал, как другие, у меня было бы уже три генеральских звезды.

— А ты был бы счастливее, если бы у тебя было три звезды?

— Нет,— сказал полковник.— Ничуть.

— Положи в карман свою правую руку, ту самую руку, и скажи, что ты чувствуешь.

Полковник послушался.

— Здорово! — сказал он. — Но знаешь, я должен буду их тебе вернуть.

— Пожалуйста, не надо.

— Ладно, давай сейчас этого не обсуждать.

Тут подали разделанного омара.

Он был нежный, с какой-то особенной, тающей прелестью двигательных мышц, то есть хвоста, да и клешни были превосходные — не слишком тощие, но и не слишком мясистые.

— Омар отъедается в полнолуние, — сказал полковник. — Когда луны нет, его не стоит и заказывать.

— Я этого не знала.

— Это, наверно, потому, что в полнолуние он может есть всю ночь. Или в полнолуние пищи больше.

— Их, кажется, привозят с берегов Далмации?

— Да, — подтвердил полковник. — Это у вас тут самые рыбные места. Пожалуй, я мог бы сказать — у нас.

— Вот и скажи, — сказала девушка. — Ты и представить себе не можешь, как иногда важно что-то высказать.

— Да, но куда важнее написать это на бумаге.

— Нет, — сказала девушка. — Неправда. Разве бумага поможет, если слова не идут от сердца?

— А что, если у тебя нет сердца или сердце твое подлое?

— У тебя есть сердце, и оно совсем не подлое.

«Эх, с каким удовольствием я променял бы его на новое, — подумал полковник. — И зачем только из всех моих мышц сдает именно эта?» Но вслух полковник ничего не сказал и сунул руку в карман.

— На ощупь они чудные, — сказал он. — И ты у меня просто чудо.

— Спасибо, — сказала она. — Я буду вспоминать это всю неделю.

— Тебе достаточно взглянуть в зеркало.

— Терпеть не могу смотреться в зеркало, — сказала она. — Красить губы и облизовать их, чтобы помада легла ровнее, расчесывать такую копну волос — разве это жизнь для женщины или для влюбленной девушки? Не так уж весело смотреться в зеркало и тратить время на женские уловки, когда тебе хочется быть луной и самими

разными звездами и жить со своим мужем и родить ему пятерых сыновей!

— Тогда давай поженимся.

— Нет,— сказала она.— Мне пришлось принять на этот счет решение. Как и насчет всего остального. У меня ведь целая неделя, чтобы принимать решения.

— Я тоже принимаю решения,— сказал полковник.— Но твоё решение меня просто убивает.

— Давай тогда не будем о нем говорить. А то и у меня вот здесь немножко ноет. Давай лучше узнаем, что еще нам подаст Gran Maestro. Пожалуйста, пей вино. Ты его даже не попробовал.

— Сейчас попробую,— сказал полковник.

Он выпил глоток, вино было холодное и прозрачное, как вина Греции, но не терпкое, а запах был таким же свежим и ароматным, как у Ренаты.

— Оно похоже на тебя.

— Да. Знаю. Потому я и хотела, чтобы ты его попробовал.

— Я пью,— сказал полковник.— И выпью весь бокал.

— Ты хороший.

— Спасибо,— сказал полковник.— Я это буду вспоминать всю неделю и постараюсь быть хорошим.— Потом он позвал Gran Maestro.

Gran Maestro подошел к ним с видом заговорщика, совсем позабыв о своей язве.

— Что вы предложите нам еще? — спросил полковник.

— Надо подумать,— сказал Gran Maestro.— Сейчас узнаю. Ваш земляк сел тут рядом, ему все слышно. Он отказался сесть в дальний угол.

— Ладно,— сказал полковник,— мы уж позаботимся, чтобы ему было о чем писать.

— Знаете, он ведь пишет каждую ночь! Мне рассказывал мой товарищ из той гостиницы.

— Отлично,— сказал полковник.— Это показывает, что он человек прилежный, даже если он уже исписался.

— Все мы люди прилежные,— сказал Gran Maestro.

— Кто в чем.

— Пойду выясню, что у нас сегодня из мясного.

— Выясните как следует.

— Я человек прилежный.

— И к тому же чертовски рассудительный.

Когда Gran Maestro отошел, девушка сказала:

— Он прекрасный человек, я рада, что он тебя любит.

— Мы с ним друзья,— сказал полковник.— Надеюсь, у него найдется для тебя хороший бифштекс.

— Есть один отличный бифштекс,— сообщил, возвратившись, Gran Maestro.

— Возьми его, дочка. Меня все время кормят бифштексами в офицерской столовой. Хочешь с кровью?

— Да, пожалуйста, с кровью.

— Al sangue¹,— заявил полковник.— Как говорил Джон, объясняясь с официантом по-французски: crudo², bleu³, а проще говоря — с кровью.

— Значит, с кровью,— повторил Gran Maestro.— А вам, полковник?

— Эскалоп в сладком винном соусе и цветную капусту в масле. Если найдется, дайте еще артишок с уксусом. Тебе что к мясу, дочка?

— Картофельное пюре и салат.

— Не забывай, что ты еще растешь.

— Да, но я не хочу расти слишком или не там, где надо.

— Тогда все,— сказал полковник.— Как насчет fiasco⁴ вальполичеллы?

— Мы не держим вина в fiasco. У нас ведь перво-классная гостиница. Вино мы получаем в бутылках.

— Совсем забыл,— сказал полковник.— А помните, оно стоило тридцать чентезимо литр?

— А помните, как на станциях мы швыряли из эшелонов пустыми бутылками в жандармов?

— А возвращаясь с Граппы, побросали под гору оставшиеся гранаты!

— И те, кто видел взрывы, решили, что австрийцы прорвали фронт, и как вы перестали бриться, и мы носили fiamme nere⁵ на серых тужурках, а под тужуркой серый свитер!

— И как я напивался до того, что даже вкуса вина не различал! Ну и бедовые же мы были ребята,— сказал полковник.

— Еще какие бедовые,— сказал Gran Maestro.— Просто головорезы, а вы были из нас самый отпетый!

¹ С кровью (ит.).

² Сырой (ит.).

³ Синий (фр.).

⁴ Двухлитровая бутылка (ит.).

⁵ Черные нашивки в виде языков пламени (ит.).

— Да,— сказал полковник.— Это верно, мы были головорезы. Ты уж нас прости, дочка, ладно?

— А у тебя не осталось фотографии тех лет?

— Нет. Мы тогда не снимались, кроме того раза, с господином д'Аннунцио. К тому же большинство из нас плохо кончили.

— Кроме нас двоих,— сказал Gran Maestro.— Ладно, пойду присмотрю за бифштексом.

Полковник задумался — теперь он снова был младшим лейтенантом и ехал на грузовике, весь в пыли, на лице его были видны только стальные глаза, веки были красные, воспаленные.

«Три ключевые позиции,— вспоминал он.— Массив Граппы с Ассалоне и Пертикой и высотой справа, названия которой не помню. Вот где я повзрослел, каждую ночь просыпаясь в холодном поту,— мне все снилось, будто я не смогу заставить своих солдат вылезти из машин. И зря они вылезли, как потом оказалось. Ну и ремесло!»

— В нашей армии,— сказал он девушке,— ни один генерал, в сущности, никогда не воевал. Для них это занятие непривычное, поэтому наверху у нас не любят тех, кто воевал.

— А генералы вообще воюют?

— Ну да, пока они еще капитаны или лейтенанты. Потом это выглядело бы просто глупо. Разве что отступашь, тогда волей-неволей приходится драться.

— А тебе много пришлось воевать? Я знаю, что много. Но ты расскажи.

— Достаточно, чтобы наши мудрецы причислили меня к разряду дураков.

— Расскажи.

— Когда я был мальчишкой, я дрался против Эрвина Роммеля на полпути между Кортиной и Граппой, которую мы тогда удерживали. Он был еще капитаном, а я исполнял обязанности капитана, хоть и числился всего младшим лейтенантом.

— Ты его знал?

— Нет. Я познакомился с ним только после войны, когда нам можно было поговорить. Он оказался человеком приятным, мне он понравился. Мы вместе ходили на лыжах.

— А ты много знал немцев, которые тебе нравились?

— Очень много. Больше всех мне нравился Эрнст Удет.

— Но ведь они так подло поступали!

— Конечно. А разве мы всегда поступали благородно?

— Я не могу относиться к ним так терпимо, как ты,— ведь это они убили моего отца и сожгли нашу виллу на Бренте! Мне они никогда не нравились. Особенно с того дня, как немецкий офицер у меня на глазах стрелял из дробовика по голубям на площади Святого Марка.

— Я тебя понимаю,— сказал полковник.— Но, пожалуйста, дочка, пойми и ты меня. Когда убьешь так много врагов, можно позволить себе быть снисходительным.

— А сколько ты убил?

— Сто двадцать два верных. Не считая сомнительных.

— И совесть тебя не мучит?

— Никогда.

— И дурные сны не снятся?

— Нет, дурные не снятся. Странные снятся все время. После боя я всегда дерусь во сне. Чаще всего вижу какую-нибудь местность. Ведь для нашего брата главное — какой попадется рельеф. Вот об этом и думаешь во сне.

— А меня ты никогда не видишь во сне?

— Стараюсь. Но не могу!

— Надеюсь, портрет тебе поможет.

— Будем надеяться,— сказал полковник.— Напомни мне, чтобы я вернул тебе камни.

— Ты нарочно хочешь меня огорчить?

— У меня есть свои скромные правила чести, и они мне так же дороги, как нам обоим наша любовь. И одно не может существовать без другого.

— Но ты бы мог мне иногда уступить.

— А я тебе и уступаю,— сказал полковник.— Ведь камни пока у меня в кармане.

К ним подошел Gran Maestro, сопровождая бифштекс, эскалоп и овощи. Их нес парнишка с гладко прилизанными волосами, он плевал на всех и на всё, но из кожи лез вон, чтобы стать хорошим младшим официантом. Его уже приняли в члены Ордена. Gran Maestro ловко разложил еду, с уважением и к ней самой, и к тем, кто ее будет есть.

— На здоровье,— сказал он.— Открой-ка эту бутылку вальполичеллы,— обратился он к парнишке, который поглядывал на них глазами недоверчивого спаниеля.

— А за что вы взъелись на этого типа? — спросил полковник, кивая на своего рябого земляка, который шумно жевал; его пожилая спутница ела с жеманством провинциалки.

— Скорее я должен вас об этом спросить. А не вы меня.

— Я его никогда раньше не видел,— сказал полковник.— Но он портит мне аппетит.

— Он смотрит на меня сверху вниз. Упорно не желает говорить со мной по-английски, а по-итальянски двух слов связать не может. Осматривает все подряд по Бедекеру, ест и пьет что попало. Женщина симпатичная. Кажется, это его тетка. Но точно не знаю.

— Мы бы вполне могли без него обойтись.

— Я тоже так думаю. Крепя сердце.

— Он о нас расспрашивал?

— Спросил, кто вы такие. Имя графини он слышал — в путеводителе указаны дворцы, которые принадлежали ее роду. Ваше имя, сударыня, произвело на него впечатление, я для этого вас и назвал.

— Как вы думаете, он нас опишет в какой-нибудь книге?

— Не сомневаюсь. Он описывает все подряд.

— Мы должны попасть в какую-нибудь книгу,— сказал полковник.— Ты, дочка, не возражаешь?

— Конечно, нет,— сказала девушка.— Но лучше бы ее написал Данте.

— Что-то давно его не видно, этого Данте,— сказал полковник.

— Расскажи мне что-нибудь о войне,— попросила девушка.— Из того, что мне можно знать.

— Пожалуйста. Все, что хочешь.

— Что за человек генерал Эйзенхауэр?

— Само благонравие. Хотя я к нему, видно, несправедлив. Да он и не всегда сам себе хозяин. Отличный политик. Политический генерал. Это он умеет.

— А другие ваши полководцы?

— Лучше о них не говорить. Они достаточно говорят о себе сами в своих мемуарах. Почти все они и в самом деле смахивают на полководцев и состоят в «Ротари-клубе», о котором ты и не слыхала. Члены этого клуба носят эмалированный жетон со своим именем, там штрафуют, если назовешь кого-нибудь по фамилии. Воевать им, правда, не приходилось. Никогда.

— Неужели среди них нет хороших военных?

— Нет, почему же. Школьный учитель Брэдли, да и многие другие. Вот хотя бы Молниеносный Джо. Он парень славный. Очень славный.

— А кем он был?

— Командовал седьмым корпусом, куда входила моя часть. Умен как бес. Быстро принимает решения. Точен. Теперь он начальник штаба.

— Ну, а великие полководцы, о которых мы столько слышим, вроде генералов Монтьери и Паттона?

— Забудь их, дочка. Монти — это такой тип, которому пужен пятнадцатикратный перевес над противником, да и тогда он никак не решается выступить.

— А я всегда считала его великим полководцем!

— Никогда он им не был, — сказал полковник. — И хуже всего, что он это знает сам. Как-то при мне он приехал в гостиницу, снял военный мундир и напялил юбочку, чтобы поднять дух населения.

— Ты его не любишь?

— Почему? Просто он типичный английский генерал, отсюда все его качества. Так что ты насчет великих полководцев помалкивай.

— Но он ведь разбил генерала Роммеля.

— А ты думаешь, там, кроме него, против Роммеля никого не было? Да и кто не победит, имея пятнадцатикратный перевес? Когда мы тут воевали мальчишками, Gran Maestro и я, мы побеждали целый год, побеждали в каждом бою при их перевесе в три или четыре к одному. Выдержали три тяжелых сражения. Вот почему мы не прочь подшутить над собой и не пыжимся, как индюки. В тот год мы потеряли больше ста сорока тысяч убитыми. Вот почему мы умеем подурочиться и нет в нас никакого чвапства.

— Какая страшная наука, если только это вообще наука, — сказала девушка. — Терпеть не могу военные памятники при всем моем уважении к погибшим.

— Да я и сам их не люблю. Как и дела, во славу которых их воздвигали. Ты когда-нибудь над этим думала?

— Нет. Но я хотела бы об этом знать.

— Лучше не знать, — сказал полковник. — Ешь бифштекс, пока он не остыл, и прости, что я заговорил о своем ремесле.

— Я его ненавижу. И люблю.

— Видно, мы смотрим на вещи одинаково, — сказал полковник. — Но о чем сейчас размышляет там, через два столика от нас, мой рябой земляк?

— О своей новой книге или о том, что написано в Бедкере.

— Не поехать ли нам после ужина покататься на ветру в гондоле?

— Это было бы чудесно.

— Скажем рябому, куда мы едем, а? Мне почему-то кажется, что у него дырявое не только лицо, но и сердце, и душа, а может, интерес к жизни дырявый.

— Ничего мы ему не скажем,— возразила девушка.— Gran Maestro передаст ему все, что мы сочтем нужным.

Она прилежно принялась за бифштекс, а потом сказала:

— Как ты думаешь, правда, что после пятидесяти на лице у человека все написано?

— Надеюсь, что нет. У меня бы тогда было другое лицо.

— Ты,— сказала она.— Ты...

— Как бифштекс? — спросил полковник.

— Замечательный. А твой эскалоп?

— Очень нежный, и соус совсем не приторный. А гарнир вкусный?

— Цветная капуста даже хрустит, как сельдерей.

— Надо было заказать сельдерей. Но вряд ли у них есть сельдерей, не то Gran Maestro сам бы его припес.

— Правда, нам весело ужинать? Вот если бы мы могли всегда есть вдвоем!

— Я тебе это предлагал.

— Не будем об этом говорить.

— Ладно,— сказал полковник.— Я тоже принял одно решение. Я брошу армию и поселюсь тут, в Венеции; буду жить очень скромно, на пенсию.

— Вот было бы хорошо! А как ты выглядишь в штатском?

— Ты же меня видела.

— Конечно, милый. Я просто пошутила. Ты ведь тоже иногда шутишь не очень деликатно.

— Штатское мне идет. Если только у вас тут есть хороший портной.

— У нас нет, но в Риме найдется. А мы не можем поехать в Рим на машине и заказать тебе костюм?

— Давай. Мы остановимся за городом, в Витербо, и будем ездить в город только на примерки и ужинать. А ночью будем возвращаться к себе.

— И встречаться с кинозвездами, говорить о них то, что думаем, а может, и выпивать с ними иногда.

— Да, уж кинозвезд там сколько угодно.

— А мы увидим, как они женятся во второй и третий раз и получают папское благословение?

— Если тебе это интересно.

— Нет, не интересно,— сказала девушка.— Я ведь поэтому и не могу выйти за тебя замуж.

— Понятно,— сказал полковник.— Спасибо.

— Но я буду любить тебя, чего бы мне это ни стоило, а мы с тобой прекрасно знаем, чего это стоит, я буду любить тебя, пока мы живы и даже после.

— Я не уверен, что можно любить после того, как умрешь,— сказал полковник.

Он принялся сосать артишок, отрывая листок за листком и макая их мясистым концом в соус.

— Я тоже в этом не уверена,— сказала девушка.— Но я постараюсь. Разве тебе не приятно, что тебя любят?

— Да,— сказал полковник.— Я чувствую себя так, словно был раньше на голом скалистом пригорке,— кругом камень, ямки не выроешь, нигде ни кустика, ни выступа, и вдруг оказывается, ты укрылся, ты в танке. Тебя теперь защищает броня, и поблизости нет ни одной противотанковой пушки.

— Расскажи это нашему другу писателю, у которого лицо изрыто, как поверхность луны,— пусть запишет сегодня ночью.

— Я бы рассказал это Данте, будь он тут поблизости,— заметил полковник, который вдруг разбушевался, как бушует море, когда налетит шквал.— Я бы ему объяснил, что это такое — вдруг очутиться в танке, когда ты уверен, что тебе крышка.

В этот миг в зал вошел барон Альварито. Он искал их; взглядом охотника он их сразу приметил.

Подойдя к столику, он поцеловал у Ренаты руку и сказал:

— Ciao, Рената.

Альварито был довольно высок, костюм отлично сидел на его складном теле, однако это был самый застенчивый человек, какого полковник знал в своей жизни. Он был застенчив не от невежества, неловкости или какого-нибудь физического недостатка. Он был застенчив по природе, как некоторые звери, ну, хотя бы антилопа-бонго — ее никогда не увидишь в джунглях, и на нее охотятся с собаками.

— Здравствуйте, полковник,— сказал он и улыбнулся, как может улыбаться только очень застенчивый человек.

Это не было ни спокойной усмешкой человека, уверенного в себе, ни кривой, язвительной улыбкой пройдохи или подлеца, ни деланной, расчетливой улыбочкой придворного или политикана. Это была удивительная, редкая улыбка, которая поднимается из самых сокровенных глубин, более глубоких, чем колодец или глубочайшая шахта, из самого нутра.

— Я зашел на минутку. Я хотел вам сказать, что виды на охоту прекрасные. Утки летят с севера тучами. И крупных много. Таких, как вы любите,— улыбнулся он снова.

— Садитесь, Альварито. Прошу вас.

— Нет,— сказал Альварито.— Встретимся в гараже в два тридцать, хорошо? Вы на своей машине?

— Да.

— Вот и отлично. Если выедем вовремя, увидим уток еще до темноты.

— Великолепно,— сказал полковник.

— Сiao, Рената. До свидания, полковник. Значит, завтра, в два тридцать.

— Мы знаем друг друга с детства,— сказала девушка.— Он старше меня года на три. Но он уже родился стариком.

— Да. Знаю. Мы с ним большие приятели.

— Как ты думаешь, твой земляк нашел его в своем путеводителе?

— Кто его знает,— сказал полковник.— Gran Maestro,— спросил он,— вы не видели, мой прославленный соотечественник искал баропа в Бедекере?

— По правде говоря, полковник, я не заметил, чтобы он вынимал Бедекер во время еды.

— Поставьте ему за поведение пятерку,— сказал полковник.— А знаете, это вино лучше, когда оно не слишком выдержанное. Вальполичелла не grand vin;¹ когда его разливают в бутылки и держат годами, оно дает только осадок. Согласны?

— Согласен.

— Как же нам тогда быть?

— Сами знаете, полковник, в большой гостинице вино должно стоить денег. И в «Рице» вы дешевого вина не получите. Я бы вам посоветовал купить несколько fiasco хорошего вина; вы можете сказать, что оно из имения графини Ренаты и прислано вам в подарок. Потом я

¹ Коллекционное вино (фр.).

перелью его в графины. Таким образом, и вино у нас будет получше, и мы еще на этом порядочно сэкономим. Если хотите, я объясню управляющему. Он человек славный.

— Объясните. Он ведь тоже не из тех, кто выбирает вино по этикеткам.

— Правильно. А пока пейте это. Оно тоже хорошее.

— Да,— сказал полковник.— Но ему далеко до шамбертена.

— А что мы пили когда-то?

— Что попало,— сказал полковник.— Но теперь я ищу совершенства. Или, вернее, не совершенства вообще, а того, какое могу купить за свои деньги.

— Я ищу его тоже,— сказал Gran Maestro.— Но тщетно. Что вы хотите на десерт?

— Сыр,— сказал полковник.— А ты, дочка?

Увидев Альварито, девушка притихла и теперь казалась рассеянной. Она о чем-то раздумывала, а голова у нее была светлая.

— Пожалуйста, сыру,— сказала она. В эту минуту она была далеко от них.

— А какого вам сыру?

— Принесите что есть, а мы выберем,— сказал полковник.

Когда Gran Maestro ушел, полковник спросил ее:

— Что с тобой, дочка?

— Ничего. Ровно ничего. Как всегда, ничего.

— Тогда не витай в облаках. У нас для такой роскоши нету времени.

— Да. Ты прав. Давай займемся сыром.

— Тебе не нравится, что я сказал?

— Да нет,— сказала она.— Положи правую руку в карман.

— Хорошо,— сказал полковник.— Сейчас.

Он положил правую руку в карман и нащупал то, что там лежало, сперва кончиками пальцев, потом всеми пятью пальцами и, наконец, ладонью, искалеченной ладонью.

— Прости,— сказала она.— А теперь, давай опять вселиться. И займемся сыром.

— Отлично,— сказал полковник.— Интересно, какой сыр он нам принесет?

— Расскажи о последней войне. А потом мы поедем кататься на холодном ветру в гондоле.

— Да это не так уж интересно,— сказал полковник.— Правда, для нас, военных, такие вещи всегда интересны.

Но в этой войне было всего три, самое большее четыре этапа, которые интересовали меня.

— Почему?

— Мы сражались с уже разбитым противником, у которого были прерваны коммуникации. На бумаге мы уничтожили целую уйму дивизий, но все это были призрачные дивизии. Не настоящие. Их уничтожала наша тактическая авиация, прежде чем они успевали сосредоточиться. Трудно было только в Нормандии из-за рельефа, да еще когда мы прорвали фронт и должны были держать брешь, чтобы могли пройти танки Джорджи Паттона.

— А как это делают прорыв для танков? Расскажи, пожалуйста.

— Сперва дерутся, чтобы захватить город на скрещении главных дорог. Назовем этот город хотя бы Сен-Ло. Потом надо оседлать дороги, взяв соседние города и деревни. Противник удерживает главную линию обороны, но не может стянуть дивизии для контрудара, так как штурмовая авиация перехватывает их на дорогах. Тебе не скучно? Мне все это надоело до чертиков.

— А мне нет. Я еще никогда не слышала, чтобы объясняли так понятно.

— Спасибо,— сказал полковник.— Ты уверена, что тебе хочется обучиться этой страшной науке?

— Да,— сказала она.— Ведь я тебя люблю и хочу, чтобы ты разделил ее со мною.

— Никто не может разделить мое ремесло с кем бы то ни было,— сказал полковник.— Я только рассказываю тебе, как это делается. И могу добавить несколько анекдотов, чтобы тебе было интереснее.

— Пожалуйста.

— Взять Париж ничего не стоило,— сказал полковник.— Пустая жестикюляция, войны тут никакой не было. Мы застрелили несколько писарей — сняли заслон, который, как всегда, оставили немцы, чтобы прикрыть свой отход. Наверно, они решили, что им уже больше не понадобится столько писарей, и поставили их под ружье.

— Разве взятие Парижа не было большой победой?

— Люди Леклерка — еще один хлюст третьего или четвертого сорта, чью кончину я отпраздновал бутылкой перье-жуэ сорок второго года,— расстреляли немало патронов, чтобы это выглядело шикарнее, благо патронов они получали от нас вдоволь. Но все это была чепуха.

— Ты там участвовал?

— Да,— сказал полковник.— Смело могу сказать, что участвовал.

— И это не произвело на тебя впечатления? В конце концов, это же был Париж, и не каждому приходилось его брать.

— Сами французы взяли его четырьмя днями раньше. Но по великому плану штаба Верховного командования союзных экспедиционных сил, где собрались все тыловые политиканы из военных,— они носили нашивку, изображавшую что-то пламенное, а мы листик клевера как опознавательный знак, но больше на счастье,— так вот, по этому хитроумному плану город надо было окружить. Просто взять его мы не могли. К тому же нам пришлось дожидаться прибытия генерала и даже фельдмаршала Бернарда Лоу Монтгомери, который не сумел заткнуть брешь у Фалеза, продвигаться вперед было нелегко, вот он к нам вовремя и не поспел.

— Наверно, вам его очень не хватало,— сказала девушка.

— Еще бы,— откликнулся полковник.— Ужасно не хватало.

— Но разве во всем этом не было ничего благородного, ничего героического?

— А как же,— сказал полковник.— Мы пробивались из Ба-Медона через Пор-де-Сен-Клу по улицам, которые я знал и любил, и у нас не было ни одного убитого, и мы старались причинить городу как можно меньше вреда. На площади Звезды я взял в плен дворецкого Эльзы Максвелл. Это была очень сложная операция. На него донесли, будто он японский снайпер и застрелил несколько парижан. Такого мы еще не слыхали! Вот мы и послали трех солдат на крышу, где он прятался, но он оказался безобидным парнишкой из Индокитая.

— Я начинаю понемножку понимать. Но как все это обидно!

— Всегда обидно, еще как обидно! Но в нашем ремесле нельзя ничего принимать близко к сердцу.

— Ты думаешь, что во времена кондотьеров было то же самое?

— Уверен, что еще хуже.

— Но рука у тебя ранена честно?

— Да. В самом что ни на есть честном бою. На каменистой, голой, как плешь, высоте.

— Пожалуйста, дай мне ее потрогать,— сказала она.

— Только поосторожнее с ладонью,— сказал полковник.— Она пробита, и рана нет-нет да и открывается.

— Тебе надо писать,— сказала девушка.— Я говорю серьезно. Люди должны обо всем этом знать.

— Нет,— возразил полковник.— У меня нет таланта, и я знаю слишком много. Любой враль почти всегда пишет убедительнее очевидца.

— Но писали же другие военные!

— Да. Мориц Саксонский. Фридрих Великий. Су Цинь.

— А в наше время?

— Ты, не задумываясь, сказала «в наше». Но мне это нравится.

— Ведь многие из нынешних военных пишут!

— Пишут. Ну, а ты их читаешь?

— Нет. Я читаю главным образом классиков и скандальную хронику в иллюстрированных журналах. И твои письма.

— Ты бы их сожгла,— сказал полковник.— Они ни к черту не годятся.

— Пожалуйста, не будь таким грубым.

— Не буду. Что бы тебе рассказать поинтереснее?

— Расскажи, как ты был генералом.

— Ах, об этом.— Он сделал Gran Maestro знак принести шампанское. Это был редерер сорок второго года, который он любил.— Если ты занимаешь генеральскую должность, ты живешь в прицепном фургоне, и твой начальник штаба живет в таком же фургоне, и у тебя есть выпивка, когда у других ее нет. Твои начальники отделов живут на КП. Я бы мог о них рассказать, но тебе будет скучно. Я бы мог рассказать о начальниках первого, второго, третьего, четвертого и пятого отделов, но у немцев был и шестой. Боюсь только, что тебе будет скучно... Если ты генерал, у тебя есть карта под плексигласом и на ней — три полка из трех батальонов каждый. Все это нанесено на карту цветным карандашом. На карте указаны разграничительные линии, чтобы батальоны не лезли куда попало и не перестреляли друг друга. Каждый батальон состоит из пяти рот. Все батальоны должны быть хорошими, но среди них есть хорошие, а есть и похуже. Кроме того, у тебя есть дивизионная артиллерия, танковый батальон и целая гора запчастей. Вся твоя жизнь сводится к координатам на карте.

Он помолчал, пока Gran Maestro разливал редерер сорок второго года.

— Из корпуса, из cuerpo d'Armata,— перевел он, и в голосе его зазвучала неприязнь,— дают указания, что делать, а ты решаешь, как это сделать. Диктуешь приказы писарю, а чаще отдаешь их по телефону. Вынимаешь душу из людей, которых ты уважаешь, заставляя их делать заведомо невозможное, потому что приказ есть приказ. Ломаешь себе голову, ложишься бог знает когда, а встаешь чуть свет.

— И ты об этом не напишешь? Даже чтобы доставить мне удовольствие?

— Нет,— сказал полковник.— Книжки о войне обычно пишут нервные юноши, они чуть-чуть свихнулись и сохранили свежесть воспоминаний о первом дне боя или о первых трех или четырех таких днях. Это неплохие книги, но тому, кто там был, они кажутся скучными. Другие пишут, чтобы пожить на войне, которой они и не нюхали,— те, что удирали в тыл, чтобы поскорее сообщить новости с фронта. И не такие уж это были новости. Профессиональные писатели пристроились на службе в тылу и писали о боях, в которых ничего не смыслили, так, словно видели их своими глазами. Не знаю, как назвать такой грех! Вот и какой-то лохотечный моряк в звании капитана, который даже шлюпкой не смог бы командовать, написал про тайную подоплеку поистине Великой войны. Рано или поздно каждый выпускает свою книгу. Может, нам когда-нибудь перепадет и хорошая. Но я, дочка, книг не пишу.

Он сделал Gran Maestro знак налить бокалы.

— Gran Maestro,— спросил он,— вы любите воевать?

— Нет.

— Но мы ведь воевали?

— Да. Слишком много.

— А как у вас со здоровьем?

— Великолепно, если не считать язвы, ну и сердце чуть-чуть пошаливает.

— Не может быть,— сказал полковник и почувствовал, как забилося его сердце, у него даже перехватило дыхание.— Вы мне говорили только про язву.

— Ну вот, а теперь вы все знаете...— Gran Maestro не закончил фразы и улыбнулся широкой, ясной улыбкой, озарившей его лицо, как луч солнца.

— Сколько у вас было приступов?

Gran Maestro поднял два пальца, как человек, который сигнализирует на скачках своему букмекеру и ждет ответного кивка, скрепляющего сделку.

— Я вас обскакал,— сказал полковник.— Но довольно ныть! Подлейте лучшие донне Ренате этого превосходного вина.

— Ты не говорил мне, что у тебя они были опять,— сказала девушка.— Ты от меня это скрыл.

— С тех пор как мы в последний раз виделись, ничего больше не было.

— А ты не думаешь, что это из-за меня? Не то я приеду к тебе, и останусь с тобой, и буду о тебе заботиться.

— Это всего-навсего мышца,— сказал полковник.— Но, видишь ли, это главная мышца. Она работает, как хорошо налаженная машина. И беда в том, что, когда она сдает, ее не пошлешь в гарантийный ремонт. А когда она остановится, ты этого даже не узнаешь. Умрешь — и все.

— Пожалуйста, не надо об этом.

— Ты сама меня спросила,— сказал полковник.

— А у этого рябого с потешным лицом, у него таких вещей не бывает?

— Конечно, нет,— сказал полковник.— Если он посредственный писатель, он будет жить вечно.

— Почему ты знаешь? Ты ведь не писатель.

— Бог миловал, я не писатель. Но кое-что читал. У нас, пока мы не женаты, на чтение остается уйма времени. Может, и не столько, сколько у моряков торгового флота. Но все же достаточно. Я могу отличить одного писателя от другого, и уж ты мне поверь: посредственному писателю суждена долгая жизнь. Им всем надо назначить пенсию по старости.

— Давай не будем об этом говорить — слишком мне это горько, расскажи лучше какую-нибудь историю.

— Я могу рассказать тебе сотню всяких историй. Ничего не выдумывая.

— Расскажи хотя бы одну. Потом мы допьем вино и поедем кататься.

— А тебе не будет холодно? — спросил полковник.

— Конечно, нет.

— Что бы тебе рассказать? Тем, кто не воевал, скучно слушать про войну. Разве какие-нибудь небылицы

— Я бы хотела знать, как вы брали Париж.

— Почему? Ты вспомнила, что я тебе говорил, будто ты похожа на Марию-Антуанетту по дороге на казнь?

— Нет. Я, правда, была польщена и знаю, что в профиль мы немножко похожи. Но меня никогда не везли в тележке на казнь, и я хочу, чтобы ты мне рассказал о Париже. Когда любишь и он для тебя герой, всегда интересно слушать, где он был и что делал.

— Пожалуйста, повернись в профиль,— сказал полковник,— и я все тебе расскажу. Gran Maestro, в этой несчастной бутылке еще что-нибудь осталось?

— Нет,— ответил Gran Maestro.

— Тогда дайте другую.

— Я ее уже заморозил.

— Отлично. Несите ее сюда. Итак, дочка, мы отделились от колонны генерала Леклерка в Кламаре. Они пошли на Монруж и Пор-д'Орлеан, а мы двинулись прямо на Ба-Медон и захватили мост в Пор-де-Сен-Клу. Это не слишком подробно, тебе не скучно?

— Ничуть.

— Жаль, что нету карты.

— Дальше.

— Мы захватили мост и предмостные укрепления на той стороне реки, сбросив в Сену немцев, оборонявших мост,— и живых и мертвых.— Он помолчал.— Да, мост они нам просто подарили. Его надо было взорвать. Немцев сбросили в Сену. Но, кажется, там были одни писари.

— Дальше.

— На следующее утро нам сообщили, что немцы укрепились в ряде мест, стянули на Мон-Валерьен артиллерию, а по улицам шныряют танки. Кое-что тут было правдой. К тому же нам приказали не торопиться, так как город полагалось взять генералу Леклерку. Я послушался приказа и стал продвигаться как можно медленнее.

— А как это делается?

— Откладываешь атаку часика на два и потягиваешь шампанское, кто бы тебе его ни подносил — патриоты, коллаборационисты или просто болельщики.

— Но неужели там не было ничего потрясающего или величественного, как пишут в книгах?

— Конечно, было. Сам город. Народ был вне себя от счастья. Старые генералы расхаживали по улицам в изъеденных молю мундирах. Да мы и сами радовались, что нам не пришлось драться.

— Неужели вам совсем не пришлось драться?

— Всего три раза. Да и то не по-настоящему.

— Всего три раза, чтобы взять такой город?

— Дочка, мы двенадцать раз вступали в бой от Рамбуе до Парижа. Но настоящих боев было только два. В Туссю-ле-Нобль и в Лебюке. Остальное было просто приправой. Мне, в общем, и не пришлось драться, если не считать этих двух стычек.

— Расскажи, как дерутся.

— Скажи, что ты меня любишь.

— Я люблю тебя,— сказала девушка.— Если хочешь, можешь напечатать об этом в «Gazzetino». Я люблю твое жесткое, сухое тело и твои странные глаза — я их боюсь, когда они злеют. Я люблю твою руку и все твои раны.

— Теперь и я должен сказать тебе что-нибудь очень хорошее. Во-первых, я люблю тебя.

— А почему бы тебе не купить хорошего стекла? — спросила вдруг девушка.— Мы можем вместе съездить в Мурано.

— Я ничего не понимаю в стекле.

— Я могу тебя научить. Вот было бы весело!

— В нашей бродячей жизни не обзаводятся венецианским стеклом.

— Ну, а когда ты выйдешь в отставку и поселишься здесь?

— Тогда и купим.

— Я бы хотела, чтобы это было сегодня.

— Я тоже, но сегодня это сегодня, а завтра я поеду на охоту за утками.

— А мне можно поехать с тобой на охоту?

— Если Альварито тебя пригласит.

— Я могу заставить его меня пригласить.

— Сомневаюсь.

— Невежливо сомневаться в том, что говорит твоя дочка, она уже слишком взрослая, чтобы лгать.

— Ладно, дочка. Беру свои слова обратно.

— Спасибо. За это я не поеду и не буду вам мешать. Я останусь в Венеции и пойду к мессе с мамой, и ее теткой, и с моей теткой, а потом навещу своих бедняков. Я ведь единственная дочь, и у меня много обязанностей.

— Меня всегда интересовало: что ты делаешь целый день?

— Вот это я и делаю. А потом попрошу горничную помыть мне голову и сделать маникюр.

— Но ведь будет воскресенье.

— Тогда я займусь этим в понедельник. А в воскресенье прочту все иллюстрированные журналы, и самые неприличные тоже.

— Может, там будет фотография мисс Бергман. Ты все еще хочешь быть на нее похожа?

— Уже нет,— сказала девушка.— Я хочу быть похожа на самое себя, только много, много лучше, и я хочу, чтобы ты меня любил. И еще,— добавила она вдруг, глядя на него прямо и не таясь,— я хочу быть такой, как ты. Можно мне сегодня быть такой, как ты?

— Конечно. И спасибо, что ты больше не просишь рассказывать про войну.

— Ну, ты должен будешь мне потом рассказать!

— Должен? — переспросил полковник, и в его странных глазах сверкнула такая жестокая решимость, словно неприятельский танк навел на него жерло своей пушки.— Ты, дочка, кажется, сказала «должен»?

— Да. Но не в том смысле. А если я не так сказала, прости. Я хотела сказать — пожалуйста, расскажи мне попозже еще какую-нибудь настоящую историю про войну. И объясни мне, пожалуйста, то, чего я не понимаю.

— Можешь говорить «должен», дочка. Черт с ним!

Он улыбнулся, и глаза его опять подобрели, хотя — он это знал и сам — они никогда не бывали совсем добрыми. Но тут уж ничего не поделаешь, он и так старался быть поласковей со своей последней, настоящей и единственной любовью.

— Честное слово, дочка, я не возражаю. Право же, нет. Я знаю, что такое отдавать приказы, и в твои годы сам это любил.

— Но я вовсе не хочу приказывать,— сказала девушка. Хоть она и приняла решение не плакать, в глазах у нее стояли слезы.— Я хочу тебе подчиняться.

— Знаю. Но и приказывать тебе тоже хочется. В этом нет ничего дурного. Такие, как мы, без этого не могут.

— Спасибо за «такие, как мы».

— Мне это было совсем нетрудно...— сказал полковник. И добавил: — Дочка.

В эту минуту к их столику подошел портье.

— Извините,— обратился он к полковнику.— Там пришел какой-то человек — кажется, ваш слуга, сударыня,— с довольно большим пакетом для полковника. Оставить пакет в камере хранения или послать наверх, к вам в номер?

— Ко мне в номер,— сказал полковник.

— Пожалуйста, давай посмотрим здесь,— попросила девушка.— Нам ведь все равно, что скажут другие?

— Разверните его и принесите сюда.

— Слушаюсь.

— А потом отнесите поосторожней ко мне и запакуйте как следует к двенадцати часам завтрашнего дня. Я возьму его с собой.

— Слушаюсь, полковник.

— Тебе хочется на него посмотреть? — спросила девушка.

— Очень,— ответил полковник.— Gran Maestro, пожалуйста, еще бутылку редерера и, прошу вас, поставьте стул так, чтобы мы могли поглядеть на портрет. Мы страстные поклонники живописи.

— Больше редерера не заморожено,— сказал Gran Maestro.— Но, если хотите, есть перье-жуэ.

— Несите его сюда,— сказал полковник и добавил: — Пожалуйста.— Он обратился к девушке: — Я не привык говорить с людьми, как Джорджи Паттон. Не вижу в этом нужды. К тому же Джорджи Паттон умер.

— Бедняга.

— И был беднягой всю жизнь. Хотя денег у него куры не клевали, да и танков была уйма.

— Тебе не нравятся танки?

— Нет. Не столько танки, сколько те, кто в них сидит. Броня превращает людей в наглецов, а это первый шаг к трусости, к настоящей трусости. Может, тут виновата и боязнь пространства.

Он взглянул на нее, улыбнулся и пожалел, что заговорил о вещах, которые ей непонятны. У нее был вид неопытного пловца, который привык плавать на мелком месте, у отлогого берега, и вдруг не чувствует больше дна под ногами; он постарался ее ободрить:

— Прости меня, дочка. Я часто бываю несправедлив. И все же в том, что я говорю, больше правды, чем в генеральских мемуарах. После того как человек получит генеральскую звезду или несколько звезд, правда становится для него такой же недостижимой, как святой Грааль для наших предков.

— Но ведь ты и сам занимал генеральскую должность.

— Не бог весть как долго,— сказал полковник.— Капитаны — вот кто знает настоящую правду и может ее рассказать. А кто не может, тех надо разжаловать.

— А меня ты разжалуешь, если я солгу?

— Смотря по тому, о чем ты будешь лгать.

— А я не собираюсь лгать о чем бы то ни было. Я не хочу, чтобы меня разжаловали. Это звучит так страшно.

— Еще бы,— сказал полковник.— Тебя отошлют в тыл вместе с рапортом в одиннадцати экземплярах — и все одиннадцать я подпишу собственноручно.

— А ты многих разжаловал?

— Порядочно.

В бар вошел портье; он нес портрет в большой раме, лавируя между столиками, как яхта, поднявшая слишком много парусов.

— Возьмите два стула и поставьте их вон туда,— сказал полковник младшему официанту.— Смотрите не заденьте холст. И придерживайте портрет, не то он упадет.— Повернувшись к девушке, он заметил: — Раму надо будет сменить.

— Знаю,— сказала она.— Не я ее выбирала. Увези его без рамы, а на будущей неделе мы купим другую, получше. А теперь смотри на портрет. Не на раму. Смотри. Говорит он что-нибудь обо мне или нет?

Портрет был хорош — не ремесленный, не холуйский, не манерный и не архисовременный. Вот так бы, наверно, писали наших возлюбленных Тинторетто или, на худой конец, Веласкес, если бы жили среди нас. Однако это не было подражанием ни тому, ни другому. Просто великолепный портрет,— они еще попадают в наше время.

— Поразительно,— сказал полковник.— Вот молодец!

Портье и младший официант держали портрет, заглядывая сбоку. Gran Maestro не скрывал своего восхищения. Двумя столиками дальше сидел американец и пытался определить своим журналистским глазом, кто написал этот портрет. Ко всем остальным портрет был повернут тыльной стороной.

— Поразительно,— сказал полковник.— Но ты не можешь делать мне таких подарков.

— Я его уже тебе подарила,— сказала девушка.— Хотя я знаю, что волосы у меня никогда не доставали до плеч.

— А мне кажется, что доставали.

— Если хочешь, я попробую их отрастить.

— Попробуй,— сказал полковник.— Ах ты, чудо мое. Я так тебя люблю. Тебя и ту, что там, на холсте.

— Можешь сказать это громко. Я уверена, что официантов ты не удивишь.

— Отнесите холст наверх, в мой номер,— сказал полковник портье.— Большое спасибо, что вы его нам показали. Если цена будет сходная, я его куплю.

— Цена сходная,— заметила девушка.— А может, сказать им, чтобы они пододвинули стулья вместе с портретом к твоему земляку? Давай устроим для него специальный просмотр. Gran Maestro сообщит ему адрес художника, и твой земляк посетит его мастерскую.

— Это очень красивый портрет,— сказал Gran Maestro.— Но его надо отнести в номер. Не следует давать воли шампанскому.

— Отнесите его в мой номер.

— Ты забыл сказать: «пожалуйста».

— Спасибо, что ты это заметила. Портрет меня так взволновал, что я не отвечаю за свои слова.

— Давай не будем ни за что отвечать.

— Идет,— сказал полковник.— Пусть за все отвечает Gran Maestro. Он всегда за все отвечал.

— Нет,— сказала девушка.— Он сказал это не только из чувства ответственности, но и со зла. Знаешь, в каждом из нас в этом городе сидит что-то злое. Может, он не хотел, чтобы тот человек даже краешком глаза заглянул в чужое счастье.

— Каким бы оно ни было.

— Я научилась этому выражению у тебя, а теперь ты перенял его у меня.

— Так обычно и бывает,— сказал полковник.— Что наживешь в Бостоне, потеряешь в Чикаго.

— Не понимаю.

— Этого, пожалуй, не объяснишь,— сказал полковник.— Хотя нет,— добавил он,— почему же? Объяснять — это главное в моем ремесле. Кто сказал, что чего-то нельзя объяснить? Знаешь, это как в футболе. Те, что выигрывают в Милане, проигрывают в Турине.

— Я не люблю футбола.

— Я тоже,— сказал полковник.— Особенно матчи между командами армии и флота. И когда футбольные термины употребляют наши военные шипки. Правда, им тогда самим легче понять, о чем они говорят.

— Сегодня нам с тобой будет хорошо. Как бы там ни было.

— Давай захватим с собой эту бутылку.

— Давай,— сказала девушка.— И бокалы побольше. Я скажу Gran Maestro. Возьмем пальто и пойдем.

— Хорошо. Я только приму лекарство, распишусь на счете, и мы пойдем.

— Жалко, что я не могу принимать за тебя лекарство.

— Нет уж, черт возьми, лучше не надо,— сказал полковник.— Мы сами выберем гондолу или скажем, чтобы наняли какую попало?

— Давай рискнем. Пускай выбирают они. Что мы теряем?

— Терять нам, пожалуй, нечего. Совсем, пожалуй, нечего.

Глава тринадцатая

Они вышли через боковой подъезд на imbarcadero, и в лицо им сразу ударил ветер. Свет из окон отеля падал на черную гондолу, и вода казалась зеленой. «Она красива, как хорошая лошадь или как летящий снаряд,— подумал полковник.— Почему я раньше не замечал, до чего гондолы красивые? Какие нужны были руки и глаз, чтобы создать такую соразмерность линий!»

— Куда мы поедем? — спросила девушка.

Ее тоже освещали лучи, падавшие из подъезда и окон отеля; она стояла у причала, возле черной гондолы, волосы ее развеивал ветер, и она была похожа на статую на носу галеры. «И не только лицом»,— думал полковник.

— Давай прокатимся по парку,— сказал полковник.— Или через Булонский лес. Пускай он свезет нас в Эрменвилль.

— А мы с тобой поедем в Париж?

— Конечно! — сказал полковник.— Попроси сго, чтобы он часок покатал нас там, где полегче грести. Мне не хочется мучить его на таком ветру.

— От этого ветра вода очень поднялась,— сказала девушка.— Кое-где в наших любимых местах нельзя будет проехать под мостами. Можно, я скажу ему, куда нас везти?

— Конечно, дочка. Поставьте ведро со льдом в лодку,— сказал полковник младшему официанту, который вышел их проводить.

— Gran Maestro просил передать, что эта бутылка — вам в подарок.

— Поблагодарите его хорошенько и скажите, что это невозможно.

— Пусть сначала выгребет против ветра, а потом я знаю, куда мы поедем,— сказала девушка.

— Gran Maestro послал вам еще это,— сказал официант.

Он подал старое армейское одеяло. Рената разговаривала с гондольером — волосы ее трепал ветер. На гондольере был толстый синий морской свитер; голова у него тоже была не покрыта.

— Передайте ему от меня большое спасибо,— сказал полковник.

Он сунул официанту в руку бумажку. Тот вернул деньги.

— Вы мне уже подписали чаевые на счете. Ни вы, ни я, ни Gran Maestro еще с голоду не помираем.

— А как насчет жены и bambini?

— У меня их нету. Ваши средние бомбардировщики разбили наш дом в Тревизо.

— Обидно.

— Вы тут ни при чем,— сказал официант.— Вы были такой же пехтурой, как и я.

— И все равно обидно. Разрешите мне вам это сказать?

— Пожалуйста,— сказал официант.— Но разве это поможет? Счастливо, полковник. Счастливо, сударыня.

Они спустились в гондолу, и сразу же началось всегдашнее волшебство: послушная лодка вдруг качнулась у них под ногами, потом они стали усаживаться в темноте, потом пересели, когда гондольер принялся горланить и чуть накренил лодку, чтобы легче было править.

— Ну вот,— сказала девушка,— теперь мы дома, и я тебя люблю. Поцелуй меня, пожалуйста, чтобы я знала, как ты меня любишь.

Полковник прижал ее к себе, она закинула голову, и он целовал ее, пока от поцелуя не осталось ничего, кроме горечи.

— Я люблю тебя.

— Что бы это ни значило,— прервала она его.

— Я люблю тебя и знаю, что это значит. Портрет красивый. Но что же тогда ты сама?

— Дикарка? — спросила она.— Растрепана? Неряха?

— Нет.

— Неряха — одно из первых слов, которому я выучилась от гувернантки. Так говорят, когда плохо причешешься. А лентяйка — это когда на ночь проведешь по волосам щеткой меньше ста раз.

— Я сейчас проведу рукой, и они растреплются еще больше.

— Раненой рукой?

— Да.

— Но мы не так сидим. А ну-ка, поменяемся местами!

— Ладно. Вот это разумный приказ, ясный и понятный.

Они очень веселились, пересаживаясь и стараясь не нарушить равновесия гондолы.

— Ну вот, — сказала она. — Но обними меня крепко другой рукой.

— Ты всегда знаешь, чего тебе хочется?

— Всегда. По-твоему, это нескромно? Слову «нескромно» меня тоже научила гувернантка.

— Нет, это хорошо. Подтяни повыше одеяло — чувствуешь, какой ветер?

— Он дует с гор.

— Да. И откуда-то еще дальше.

Полковник слышал, как бьет волна по доскам гондолы, ощущал резкие порывы ветра и знакомую издавна шершавость одеяла, а потом почувствовал прохладное тепло и прелесть ее тела, и упругость груди, которой легко касалась его левая рука. Тогда он провел искалеченной рукой по ее волосам раз, другой и третий, а потом поцеловал ее, чувствуя, как из души его уходит даже горечь.

— Пожалуйста, — попросила она, совсем спрятавшись под одеяло, — теперь я тебя поцелую.

— Нет, — сказал он. — Я тебя.

Ветер был ледяной и резал лицо, но под одеялом ветра не было, там не было ничего, кроме его искалеченной руки.

— Пожалуйста, милый, — сказала девушка, — пожалуйста, не надо.

— А ты ни о чем не думай. Ни о чем на свете.

— Я не думаю,

— Ни о чем.

— Молчи.

— Тебе хорошо?

— Сам знаешь.

— Ты уверена?

— Молчи. Пожалуйста.

Она молчала. Молчал и он, и когда большая птица, сорвавшись, пропала вдали, за закрытым окошком гондолы, оба не сказали ни слова. Он легонько придерживал ее голову здоровой рукой.

— Выпей вина,— сказал полковник, ловко достав ведро со льдом и открывая бутылку, которую уже откупорил для них Gran Maestro, а потом заткнул обыкновенной винной пробкой,— тебе это полезно, дочка. Это помогает от всех наших недугов, от всех печалей и страхов.

— У меня ничего этого нет,— сказала она, старательно выговаривая слова, как учила ее гувернантка.— Я просто женщина или девушка, не знаю, как лучше сказать, которая делает то, что ей не следует делать. Ну что ж, обними меня опять.

— Хорошо,— сказал полковник.— Хорошо, если хочешь.

— Пожалуйста, обними меня. Я ведь тебя прошу.

«Голос у нее ласковый, как у котенка,— думал полковник,— даром что бедные котята не умеют разговаривать». Но потом он перестал думать о чем бы то ни было и очень долго не думал ни о чем.

Гондола шла сейчас по одному из поперечных каналов. Когда они выходили из Большого канала, ветер так ее накренил, что гондольеру пришлось всем телом налечь на противоположный борт, а полковник и девушка тоже были вынуждены передвинуться под своим одеялом, и туда, под одеяло, с ожесточением ворвался ветер.

Они долго не произносили ни слова, и полковник заметил, что, когда гондола проходила под последним мостом, между ее верхом и пролетом моста оставалось всего несколько дюймов.

— Ну как, дочка?

— Хорошо.

— Ты меня любишь?

— Пожалуйста, не задавай глупых вопросов.

— Вода очень высокая, мы едва прошли под последним мостом.

— Ну, я знаю, как ехать. Я здесь родилась.

— Я, бывало, совершал ошибки и в родном городе,— сказал полковник.— Родиться — это еще не все.

— Нет, это ужасно много,— сказала девушка.— И ты это сам знаешь. Пожалуйста, обними меня крепко-крепко,

так, чтобы нас хоть минутку нельзя было оторвать друг от друга.

— Попробуем,— сказал полковник.

— И я смогу быть тобой?

— Это очень трудно. Но мы постараемся.

— Вот теперь я — это ты,— сказала она.— Я только что взяла город Париж.

— Господи, дочка,— сказал он.— У тебя же теперь хлопот полон рот! Берегись! Сейчас выведут на парад Двадцать восьмую дивизию!

— А мне наплевать!

— Ну, а мне нет.

— Разве она такая плохая?

— Отнюдь. И командиры хорошие. Это были национальные гвардейцы, но такие невезучие! Тридцать три несчастия, да и только. Хоть патент на невезенье получай.

— Я в этих вещах ничего не понимаю.

— Да их и объяснять не стоит,— сказал полковник.

— А ты мне правда можешь рассказать про Париж? Я так его люблю, и когда я думаю, что ты его брал, мне кажется, будто я еду в гондоле с самым маршалом Исем.

— Вот уж совсем не интересно,— сказал полковник.— Особенно после того, как он выдержал столько аррьергардных боев, отступая от какого-то русского города. Он дрался по десять, двенадцать, пятнадцать раз в день, иногда еще чаще. И потом даже людей не узнавал. Нет, и не думай кататься с ним в гондоле!

— Он всегда был одним из моих самых любимых героев.

— Еще бы. И моим тоже. До Катр-Бра. А может, это было не у Катр-Бра, а где-нибудь еще. Память у меня сдает. Давай назовем это просто Ватерлоо.

— У него там ничего не вышло?

— Ни черта,— сказала ей полковник.— Нет, ты его брось. У него было слишком много аррьергардных боев на обратном пути из Москвы.

— По его же звали храбрейшим из храбрых.

— Ну и что? Из этого каши не сваришь. Храбрым тебе полагается быть всю жизнь. И еще — умнейшим из умников. А ко всему этому нужно хорошее спаждение.

— Пожалуйста, расскажи мне о Париже. Я вижу, что целоваться нам больше нельзя.

— А я не вижу. Кто тебе сказал, что нельзя?
— Я сама, потому что я тебя люблю.
— Ладно. Ты сама, и ты меня любишь. Ну, нельзя так нельзя, будь оно трижды проклято.
— А ты думаешь, можно еще немножко, если тебе это не вредно?
— Мне вредно? — спросил полковник. — К черту! Раз-ве мне что-нибудь бывает вредно?

Глава четырнадцатая

— Пожалуйста, не злись, — сказала она, натягивая одеяло повыше. — Пожалуйста, выпей со мной вина. Ты сам знаешь, что тебе вредно злиться.

— Верно. И давай об этом не вспоминать.

— Слушаюсь, — сказала она. — Это я у тебя научилась так говорить. Видишь, мы уже больше не вспоминаем.

— Почему тебе так нравится эта рука? — спросил полковник, положив свою руку туда, где ей хотелось лежать.

— Пожалуйста, не прикидывайся, что ты глупый, и не смей, пожалуйста, ни о чем думать, ни о чем, ни о чем на свете!

— А я и на самом деле глупый, — сказал полковник. — Но я ни о чем не буду думать, ни о чем, даже о том, что на свете есть ничто и брат его — завтра.

— Пожалуйста, будь хорошим. Будь добрым.

— Буду. А сейчас я открою тебе военную тайну. Совершенно секретно: я тебя люблю.

— Вот это мило, — сказала она. — И ты это очень мило сказал.

— А я вообще милый, — сказал полковник, быстро прикинул в уме высоту моста, к которому они приближались, и рассчитал, что гондола пройдет свободно. — Это сразу бросается людям в глаза.

— Я вечно путаю слова, — сказала девушка. — Ты меня все равно люби. Я бы очень хотела, чтобы это я любила тебя.

— А ты разве меня не любишь?

— Люблю, — сказала она. — Всей душой.

Теперь они шли по ветру. Оба устали.

— Как ты думаешь...

— А я совсем не думаю, — сказала девушка.

— А ты попробуй подумать.

— Хорошо.

— Выпей вина.

— С удовольствием. Оно очень вкусное.

Вино было вкусное. Лед в ведерке еще не растаял, вино было холодное и прозрачное.

— Можно мне остаться в «Гритти»?

— Нет.

— Почему?

— Нехорошо. Из-за них. И из-за тебя. На меня-то наплевать.

— Значит, мне идти домой?

— Да,— сказал полковник.— По логике вещей получается, что да.

— Разве можно так говорить, когда нам грустно? Ну неужели нельзя ничего придумать?

— Нет. Я провожу тебя домой, ты хорошенько выспишься, а завтра мы с тобой встретимся, где и когда ты захочешь.

— Можно позвонить тебе в «Гритти»?

— Конечно. Я не буду спать, когда бы ты ни позвонила. Ты позвонишь, как только проснешься?

— Да. Но почему ты всегда встаешь так рано?

— Профессиональная привычка.

— Ах, как бы я хотела, чтобы у тебя была другая профессия и чтобы ты не умирал!

— Я тоже. Но я бросаю свою профессию.

— Ну да,— сказала она сонно, с довольной улыбкой.— И тогда мы поедem в Рим и закажем тебе костюм.

— И будем жить счастливо до самой смерти.

— Пожалуйста, не надо,— сказала она.— Ну, пожалуйста, пожалуйста, не надо! Ты же знаешь, что я приняла решение не плакать.

— А все равно плачешь! Какого же черта было принимать это решение?

— Проводи меня, пожалуйста, домой.

— Я и сам собирался это сделать,— сказал полковник.

— Нет, сначала докажи, что ты добрый.

— Сейчас,— сказал полковник.

После того как они, или, вернее, полковник, расплатились с гондольером,— этот коренастый, крепкий, надежный и знающий свое место гондольер делал вид, будто ничего не замечает, а на самом деле все замечал,— они вышли на Пьяцетту и пересекли огромную, холодную пло-

щадь, где гулял ветер, а древние камни под ногами казались такими твердыми. Грустные, но счастливые, они шли, тесно прижавшись друг к другу.

— Вот место, где немец стрелял в голубей,— сказала девушка.

— Мы его, наверно, убили,— сказал полковник.— Или его брата. А может, повесили. Почему я знаю? Я ведь не сыщик.

— А ты меня еще любишь на этих старых, изъеденных морем, холодных камнях?

— Да. Если б я мог, я расстелил бы здесь мое солдатское одеяло и это доказал.

— Тогда ты был бы еще большим варваром, чем тот стрелок по голубям.

— А я и так варвар,— сказал полковник.

— Не всегда.

— Спасибо и за это.

— Тут нам надо свернуть.

— Кажется, я уже запомнил. Когда они наконец снесут проклятый кинотеатр и построят здесь настоящий собор? На этом настаивает даже рядовой первого взвода Джексон.

— Когда кто-нибудь опять привезет из Александрии святого Марка, спрятав его под свиными тушами.

— Ну, для этого нужен парень из Торчелло.

— Ты ведь сам парень из Торчелло.

— Да. Я парень из Бассо-Пьяве, и с Граппы, и даже из Пертики. Я парень из Пасубио, а это не шутка: там было страшнее, чем в любом другом месте, даже когда не было боев. В нашем взводе делили гонококки — их привозили из Скио в спичечной коробке. Делили, чтобы хоть как-нибудь сбежать, до того там было нестерпимо.

— Но ты же не сбежал?

— Конечно, нет,— сказал полковник.— Я всегда ухажу последний — из гостей, конечно, а не с собраний. Таких, как я, зовут каменный гость!

— Пойдем?

— Но ты же, по-моему, приняла решение?

— Да. Но когда ты сказал, что ты — нежеланный гость, я перерешила.

— Нет. Раз уж решила, значит, решила.

— Я умею выдерживать характер.

— Знаю. Чего только ты не умеешь выдерживать! Но есть такие вещи, дочка, за которые держаться не стоит.

Это занятие для дураков. Иногда надо быстро перестроиться.

— Если хочешь, я перестроюсь.

— Нет. Решение, по-моему, было здоровое.

— Но ведь до завтрашнего утра так долго ждать!

— Это как повезет.

— Я-то, наверно, буду спать крепко.

— Еще бы,— сказал полковник.— Если ты, в твои годы, не будешь спать, тебя просто надо повесить!

— Как тебе не стыдно!

— Извини,— сказал он,— я хотел сказать: расстрелять.

— Мы почти дошли до дому, и ты мог бы разговаривать со мной поласковее.

— Я такой ласковый, что просто тошнит. Пусть уж кто-нибудь другой будет ласковее.

Они подошли к дворцу; вот он, дворец, перед ними. Оставалось только дернуть ручку звонка или отпереть дверь ключом. «Я как-то раз даже у них здесь заблудился,— подумал полковник,— а со мной этого никогда не случалось».

— Пожалуйста, поцелуй меня на прощанье. Но только ласково.

Полковник послушался; он любил ее так, что казалось, уже больше не мог этого вынести.

Она отперла дверь ключом, который лежал у нее в сумочке.

А потом она ушла, и полковник остался один, с ним были только истертые камни мостовой, ветер, все еще дувший с севера, да тень, упавшая оттуда, где зажгли свет. Он отправился домой пешком.

«Только туристы и влюбленные нанимают гондолы,— думал полковник.— И те, кому надо пересечь через канал там, где нет моста. Пожалуй, стоило бы зайти к «Гарри» или в какой-нибудь другой кабак. Но пойду-ка я лучше домой».

Глава пятнадцатая

«Гритти» и в самом деле был для него домом, если только можно так называть номер в гостинице. Пижама была разложена на кровати. Возле настольной лампы стояла бутылка вальполичеллы, а на ночном столике — мине-

ральная вода во льду и бокал на серебряном подносе, Портрет вынули из рамы и поставили на два стула, так чтобы полковник мог видеть его лежа.

На постели, рядом с тремя подушками горкой, лежало парижское издание «Нью-Йорк геральд трибюн». Арнальдо знал, что он кладет себе под голову три подушки, а запасная бутылочка с лекарством — не та, что он всегда носил в кармане, — стояла под рукой, рядом с лампой. Дверцы шкафа с зеркалами внутри были распахнуты, и он мог видеть в них портрет сбоку. Старые шлепанцы стояли возле кровати.

— Порядок! — сказал полковник, обращаясь к самому себе, потому что, кроме портрета, тут никого не было.

Он открыл бутылку, которая уже была откупорена, а потом старательно, любовно и аккуратно заткнула снова, и налил себе в бокал вина — таких дорогих бокалов обычно не подают в отеле, где стекло часто бьют.

— За твоё здоровье, дочка, — сказал он. — За твою красоту, чудо ты мое! А ты знаешь, что, кроме всего, ты ещё и хорошо пахнешь? Ты замечательно пахнешь и тогда, когда дует сильный ветер, и когда лежишь под одеялом, и когда целуешь меня на прощанье. Ведь это так редко бывает, а ты к тому же совсем не любишь духов.

Она поглядела на него с портрета, по ничему не сказала.

— К черту! — сказал он. — Не желаю я разговаривать с портретом!

«Почему сегодня все вышло так нескладно? — думал он. — Это я виноват. Ну что ж, завтра постараюсь вести себя хорошо; начну с самого рассвета».

— Дочка, — сказал он, обращаясь уже к ней самой, а не к ее портрету, — пойми, я ведь тебя очень люблю, и мне правда хочется быть чутким и ласковым. И больше никогда от меня не уходи, пожалуйста.

Но портрет на это не откликнулся.

Полковник вынул из кармана изумруды и поглядел, как они льются из его раненой руки в здоровую, прохладные и в то же время теплые, потому что они вбирают тепло и, как всякие хорошие камни, хранят его.

«Надо положить их в конверт и запереть, — думал он. — Но какая сволочь сохранит их лучше, чем я? Нет, надо поскорее вернуть их тебе, дочка!»

Держать их в руке приятно. Да и стоят они не больше четверти миллиона. Столько, сколько я могу заработать за четырьеста лет. Надо будет высчитать это поточнее.

Он положил камни в карман пижамы и прикрыл их сверху носовым платком. Потом застегнул карман. «Первая предосторожность, к которой себя приучаешь,— думал он,— это чтобы на всех твоих карманах были клапаны и пуговицы. Я, кажется, приучился к этому даже слишком рано. Приятно, когда эти твердые и теплые камни прикасаются к твоей сухой, жилистой, старой и теплой груди». Он поглядел, как сильно дует ветер, еще раз взглянул на портрет, налил себе второй бокал вальполичеллы и стал читать парижское издание «Нью-Йорк геральд трибюн».

«Надо бы принять таблетки,— подумал он.— А ну их к дьяволу, эти таблетки».

Но он все-таки принял лекарство и стал читать газету дальше. Он читал Реда Смита как всегда с большим удовольствием.

Глава шестнадцатая

Полковник проснулся перед рассветом и сразу же почувствовал, что в постели он один.

Ветер дул с прежней силой; полковник подошел к открытому окну, чтобы проверить, какая сегодня погода. На востоке по ту сторону Большого канала еще не начинало светать, но он все же мог разглядеть, как ветер вздымает волну. «Ну и прилив будет сегодня,— думал он.— Наверно, зальет площадь. Вот здорово. Только не для голубей».

Он пошел в ванную, захватив с собой «Геральд трибюн» со статьей Реда Смита и стакан вальполичеллы. «Эх, хорошо, если Gran Maestro достанет большие fiasco,— подумал он.— Это вино всегда даст такой осадок».

Он сидел с газетой в руках и раздумывал, что его сегодня ждет.

Сперва телефонный звонок. Правда, это может случиться поздно, ведь она будет спать долго. Молодые рано не просыпаются, а красивые и подавно. Рано она, во всяком случае, не позвонит, да и магазины открываются только в девять или еще позже.

«Ах ты черт,— подумал он,— ведь эти проклятые камни все еще у меня в кармане! Как можно делать такие глупости!»

Ты-то знаешь как,— сказал он себе, просматривая объявления на последней странице газеты.— Достаточно их

наделал на своем веку. У нее это не сумасбродство и не прихоть. Просто ей этого хотелось. Хорошо еще, что она напала на меня.

Вот и все, в чем ей со мной повезло,— раздумывал он.— А впрочем, я — это я, и ничего тут не попишешь. И кто его знает, к лучшему оно или к худшему. А как бы вам понравилось сидеть с такими драгоценностями в солдатском сортире, как я сидел чуть не каждое утро своей рэпроклятой жизни?»

Вопрос его не был обращен ни к кому персонально, разве что к потомкам вкуче.

«Сколько же раз ты сидел орлом по утрам бок о бок со всеми остальными? Это было самое неприятное. Это да еще бриться на людях. А если отойдешь в сторонку, чтобы побыть в одиночестве, или о чем-нибудь подумать, или ни о чем не думать, найдешь надежное укрытие — глядь, там уже развалились двое пехотинцев или дрыхнет какой-нибудь малый.

В армии ты можешь рассчитывать на уединение не больше, чем в публичном доме. Никогда не бывал в публичных домах, но, вероятно, там так же, как в воинской части. Я бы мог научиться командовать публичным домом», — думал он.

«Главных завсегдатаев я бы возвел в ранг послов, а те, кто со своим делом не справляется, могли бы в мирное время командовать армейским корпусом или военным округом. Только не злись, дружище,— одернул он себя.— Да еще в такую рань и когда ты не кончил всех своих дел.

А что бы ты сделал с женщинами? — спросил он себя.— Купил бы им по шляпке или поставил к стенке. Какая разница?»

Он посмотрел на себя в зеркало, вправленное в полуоткрытую дверь ванной комнаты. Отражение было чуть-чуть смещено, словно снаряд, который отклонился от цели. И промазал. «Эх ты, потасканная, старая кляча,— сказал он себе.— Теперь изволь побриться — ничего, полюбуешься на эту физиономию, не помрешь. Да и постричься пора. Здесь, в городе, это несложно. Ты же полковник. Полковник пехоты США. Тебе нельзя разгуливать с длинными патлами, как Жанна д'Арк или как тот красавчик кавалерист, генерал Джордж Армстронг Кэстер. А ведь неплохо быть таким красавчиком, иметь любящую жену и труху вместо мозгов. Но он небось усомнился, правильно ли выбрал профессию, когда дело дошло до развязки, на той

высоте у Литл-Биг-Хорн, когда вокруг в тучах пыли, уминая копытами степной шалфей, кружили вражеские кони, а от жизни только и осталось что знакомый, любимый запах черного пороха да солдаты, стреляющие в себя или друг в друга, чтобы не попасть в руки индианок.

Труп его был изуродован до неузнаваемости, как любили писать тогда в газете, которая сейчас тут лежит. Да, на той высоте он, должно быть, понял, что совершил большую ошибку — окончательную и непоправимую. Бедный кавалерист. Все его надежды рухнули сразу. Что и говорить, пехота имеет свои преимущества. В пехоте никогда ни на что не надеешься.

Ладно,— сказал он себе,— вот мы и кончили все наши дела, а скоро будет светло, и я как следует увижу портрет. Будь я проклят, если я его отдам. Нет, его я оставляю себе».

— Господи,— сказал он,— хоть бы посмотреть, как она выглядит сейчас, во сне. Но я знаю как,— сказал он себе.— Ах ты, чудо мое. Даже и не заметно, что спит. Будто прилегла отдохнуть. Дай-то бог, чтобы она отдохнула. Отдохнула получше. Господи, как я ее люблю и как боюсь причинить ей хоть малейшую боль.

Глава семнадцатая

Едва только начало светать, полковник увидел портрет. Он увидел его сразу — всякий цивилизованный человек, привыкший просматривать и подписывать бумажки, в которые он не верит, схватывает все с первого взгляда. «Да,— сказал он себе,— глаза у меня еще есть и зоркость прежняя, а когда-то было и честолубие. Недаром я тогда повел моих чертей в бой, где им так здорово всыпали. Из двухсот пятидесяти в живых осталось только трое, да и тем суждено просить милостыню где-нибудь на окраине до конца своих дней».

— Это Шекспир,— объяснил он портрету.— Победитель и по сей день неоспоримый чемпион.

Кто-нибудь, может, и одолеет его в случайной схватке. Но лично я могу преклоняться только перед ним. Ты когда-нибудь читала «Короля Лира», дочка? Мистер Джин Тэнней прочел и стал чемпионом мира по боксу. Я эту пьесу тоже читал. Воспанные, как ни странно, любят мистера Шекспира.

— Что ты можешь сказать в свое оправдание? Ну, закинь хотя бы голову назад! — сказал он портрету. — Хочешь, я тебе еще расскажу про Шекспира?

Глупости, оправдываться тебе не в чем. Отдыхай, а там будь что будет. Все равно дело наше дрянь. Сколько бы мы с тобой ни оправдывались, ни черта у нас не выйдет. Но кто же заставлял тебя совать голову в петлю, как мы с тобой это делаем?

— Никто, — ответил он себе и портрету. — И, уж во всяком случае, не я.

Он протянул здоровую руку и обнаружил, что коридорный поставил рядом с бутылкой вальполичеллы еще одну, запасную.

«Если ты любишь какую-нибудь страну, — думал полковник, — не бойся в этом признаться! Признавайся.

Я любил три страны и трижды их терял. Ну зачем же так? Это несправедливо. Две из них мы взяли назад.

И возьмем третью, слышишь, ты, толстозадый генерал Франко? Ты сидишь на охотничьем стульчике и с разрешения придворного врача постреливаешь в домашних уток под прикрытием мавританской кавалерии».

— Да, — тихонько повторил он девушке; ее ясные глаза глядели на него в раннем свете дня.

— Мы возьмем ее снова и повесим вас всех вниз головой возле заправочных станций. Имейте в виду, мы вас честно предупредили, — добавил он.

— Портрет, — сказал он, — ну почему бы тебе не лечь рядом со мной, вместо того чтобы прятаться за восемнадцать кварталов отсюда? А может, и еще дальше. Я ведь теперь не так быстро считаю.

— Портрет, — сказал он и самой девушке, и портрету; но девушки не было, а портрет оставался таким, каким его нарисовали.

— Эй, портрет, а ну-ка подними повыше подбородок, чтобы совсем меня погубить!

«И все-таки это прекрасный подарок», — думал полковник.

— А маневрировать ты умеешь? — спросил он у портрета. — Быстро, не мешкая?

Портрет молчал, и полковник ответил: сам знаешь, что умеет. Какого же черта спрашивать? Она обойдет тебя за просто в твой самый удачливый день, займет рубеж и будет драться, а ты только слюни распустишь.

— Портрет,— сказал он,— дочка, сынок, или моя единственная и настоящая любовь, или кто бы ты ни был. Ты ведь сам знаешь, кто ты.

Но портрет опять ничего не ответил. А полковник теперь снова был генералом и ранним утром, да еще с помощью вальполичеллы, знал все насквозь, он знал, словно трижды проверил по Вассерману, что в портрете нет никакой подлости, и стыдился, что нагрубил ему.

— Слышишь, портрет, я сегодня постараюсь быть таким хорошим, каких ты, черт побери, еще не видел. Можешь сообщить об этом своей хозяйке.

Но портрет, по своему обыкновению, молчал.

«Небось с кавалеристом она держалась бы иначе»,— думал генерал. Теперь у него уже было две звезды, они давили ему на плечи и белели на мутно-красной потертой дощечке, прибитой к капоту его «виллиса». Он никогда не пользовался ни штабными машинами, ни бронированными автомобилями, обложенными изнутри мешками с песком.

— Ну тебя к черту, портрет! И пусть тебе отпустит грехи вселенский поп, мастер по всем религиям сразу.

— Поди к черту сам,— сказал ему портрет, не разжимая губ.— Солдатское отребье!

— Что правда, то правда,— сказал полковник, который снова стал полковником, отказавшись от былых чинов и званий.— Я очень тебя люблю за твою красоту. Но девушку я люблю больше, в миллион раз больше.

Девушка на полотне не откликнулась, и эта игра ему надоела.

— Ты скован по рукам и по ногам, портрет. Даже если бы тебя вынули из рамы. А я еще буду маневрировать.

Портрет молчал так же, как и тогда, когда его принес портье и, с помощью второго официанта, показывал полковнику и девушке. Полковник посмотрел на него и теперь, когда в комнате стало совсем или почти совсем светло, увидел, как он беззащитен.

Он увидел, что это портрет его единственной настоящей любви, и сказал:

— Прости меня за все глупости, которые я тебе наговорил. Мне ведь и самому не хочется быть хамом. Давай попробуем немножко поспать, вдруг нам это удастся, а там, глядишь, и твоя хозяйка позвонит нам по телефону.

«Может, она наконец позвонит»,— думал он.

Посыльный просунул под дверь «Gazzetino», и полковник бесшумно поднял ее, как только она проскользнула в щель.

Он взял газету чуть ли не из рук посыльного. Он не выносил этого посыльного с тех пор, как, случайно вернувшись в номер, застал его за обыском своего чемодана. Полковник забыл бутылочку с лекарством и возвратился с полпути, а посыльный шарил у него в чемодане.

— В такой гостинице как-то неловко командовать: «Руки вверх!» — сказал полковник. — Но вы, ей-богу, позорите свой город!

Человек в полосатом жилете, с мордой фашиста только отмалчивался, и полковник его подзадорил:

— Валяй, уж досматривай до конца. Но военных тайн я в мыльнице не вожу.

С тех пор они друг друга недолюбливали, и полковнику пришлось выхватывать утреннюю газету чуть ли не из рук человека в полосатом жилете — бесшумно, как только он замечал, что газета появляется под дверью.

— Ладно, сегодня твоя взяла, хлюст ты этаким, — произнес он на отличном венецианском диалекте, что было ему совсем не легко в столь ранний час. — Чтоб тебе удавиться!

«Но такие не давятся. Они знай себе суют под дверь газеты людям, которые уже не чувствуют к ним ненависти. Да, бывший фашист — это нелегкое ремесло. А может, он и не бывший, а настоящий? Почему ты знаешь?»

«Мне нельзя ненавидеть фашистов, — думал он. — И фрицев тоже, потому что, к несчастью, я военный».

— Послушай, портрет, — сказал он. — Разве я должен ненавидеть фрицев за то, что мы их убиваем? Разве я должен их ненавидеть и как полковник и как человек? По-моему, это уж больно простое решение вопроса.

— Ладно, портрет. Не думай об этом. Брось! Ты еще слишком молод, чтобы в этом разбираться. Ты на два года моложе той девушки, с которой тебя писали, а она и моложе и древнее самой преисподней — хотя у этого местечка большое прошлое.

— Послушай, портрет, — сказал он и, говоря это, знал, что теперь у него до самой смерти будет с кем поговорить по утрам, когда проснешься.

— Слушай, что я тебе говорю, портрет. К черту, ты ведь до этого еще не дорос. Такие мысли нельзя произносить вслух, как бы верны они ни были. Многого я так и не смогу тебе сказать, и, может, для меня это к лучшему. Пора, чтобы и мне хоть немножко было лучше. А как ты думаешь, портрет, для меня ведь так будет лучше?

— Чего же ты приумолк, портрет? — спросил он. — Проголодался? Я-то, кажется, проголодался.

И он позвонил коридорному, который приносил ему завтрак.

Он знал, что, хотя уже светло и на Большом канале видна каждая свинцовая и выпуклая от ветра волна, а прилив нагнал много воды к причалу Дворца прямо против окон его комнаты, — телефонного звонка он еще долго не услышит.

«Молодые спят крепко, — думал он. — Им так и полагается».

— Почему мы стареем? — спросил он коридорного со стеклянным глазом, который подал ему меню.

— Откуда я знаю, полковник? Наверно, это закон природы.

— Да. И я так подозреваю. Глазунью, чай и поджаренный хлеб.

— А из американских блюд ничего не хотите?

— К чертовой матери все американское, кроме меня самого. А Gran Maestro уже пришел?

— Он достал для вас вальполичеллу в больших оплетенных флягах по два литра; вот я принес вам графин.

— Ну и человек, — сказал полковник. — Господи Иисусе, как бы я хотел дать ему полк.

— Вряд ли он возьмет.

— Да, — сказал полковник. — Мне и самому он совсем ни к чему.

Глава девятнадцатая

Полковник позавтракал неторопливо, как боксер, который после зверского удара слышит счет «четыре» и умеет за оставшиеся пять секунд дать отдых мышцам.

— Портрет, — сказал он, — тебе бы тоже не мешало дать отдых мышцам. Боюсь только, что вот как раз это тебе и не удастся. Мы тут ограничены тем, что зовут статическим началом в живописи. Понимаешь, портрет, почти

ни в одной картине — я говорю о живописи — нет движения; только некоторые художники это умеют. Очень немногие.

Я бы очень хотел, чтобы твоя хозяйка была здесь и принесла с собой движение. Откуда девушки, вроде тебя или нее, так много знают с самых ранних лет и почему вы такие красивые?

У нас в Америке, если девушка хороша, она наверняка из Техаса и, если тебе повезет, знает, какой нынче месяц. Но вот считают они все хорошо.

Их учат считать, держать колени вместе и накручивать локоны на бигуди. За свои грехи, если у тебя есть грехи, — попробуй как-нибудь, портрет, поспать в одной постели с девушкой, которая закрутила волосы на бигуди, чтобы завтра быть покрасивее! Не сегодня, а именно завтра. Сегодня они никогда не стараются быть красивыми. А вот завтра — другое дело. Завтра надо выдержать конкуренцию.

А Рената — то есть ты сама — спит, не думая о своих волосах. Они разметались по подушке, эти темные шелковистые волосы — для нее всего-навсего надоедливая обуза — их вечно забываешь расчесать, несмотря на причитания гувернантки.

Я так и вижу, как она идет по улице легким, размашистым шагом, ветер треплет ее волосы, как хочет, а грудь приподнимает свитер, и потом я вижу ночи в Техасе, тягостные, словно натянутые на металлические бигуди.

— Не коли меня этими железками, любимая, — сказал он портрету, — а я уж тебе отплачу круглыми, полновесными серебряными долларами или чем-нибудь еще.

«Опять грубишь», — подумал он.

И вдруг сказал уже совсем по-свойски:

— Ты так чертовски красива, что даже тошно. И к тому же с тобой непременно угодишь в тюрьму за растление малолетних. Рената все же старше тебя на два года. А тебе нет и семнадцати.

Почему она не может быть моей, почему я не могу любить ее и тешить, быть всегда добрым и ласковым, родить с ней пятерых сыновей, а потом разослать их во все пять концов света, где бы эти концы ни были? Не понимаю. Такая уж, видно, мне выпала карта. А ты не пересдашь ли мне, банкомет?

Нет. Карты сдают только раз, а ты их берешь и начинаешь играть.

И я бы мог выиграть, если бы вытянул хоть что-нибудь подходящее,— сказал он портрету, но тот не выказал никакого сочувствия.

— Портрет,— сказал он,— отвернись-ка лучше, будь поскромнее. Я сейчас приму душ и побреюсь,— тебе-то никогда не приходится бриться,— а потом надену военную форму и пойду пройдуся по городу, хотя сейчас еще очень рано.

И он вылез из кровати, осторожно ступив на раненую ногу, которая всегда у него болела. Он выключил раненой рукой настольную лампу. В комнате было достаточно светло, и он уже целый час зря жег электричество.

Он пожалел об этом,— полковник всегда жалел о своих промахах. Он обошел портрет, мельком взглянул на него и стал рассматривать себя в зеркало. Скинув пижаму, он стал разглядывать себя критически и непредвзято.

— Ах ты, искореженный старый хрыч,— сказал он зеркалу.— Портрет — прошлое. Настоящее — сегодняшний день.

«Брюхо не торчит,— сказал он мысленно.— Грудь тоже в порядке, если не считать больной мышцы внутри. Ну что ж, кого на казнь ведут, того и повесят, а уж на радость это или на горе — там видно будет.

Тебе уже полста лет, старый хрыч! Ступай-ка прими душ, хорошенько потрись мочалкой, а потом надень свою военную форму. Тебе ведь отпущен еще денек».

Глава двадцатая

Полковник подошел к конторке в вестибюле, но портье еще не было на месте. Дежурил ночной швейцар.

— Вы можете запереть одну мою вещь в сейф?

— Не могу, полковник. Никто не имеет права открывать сейф, пока не придет помощник управляющего или портье. Но у себя спрячу все, что хотите.

— Спасибо. Не стоит,— сказал полковник и положил адресованный на свое имя конверт со штампом «Гритти», где лежали камни, во внутренний левый карман мундира.

— У нас тут настоящего воровства теперь не бывает,— сказал ночной швейцар. Ночь была долгая, и он был рад случаю перекинуться словом.— Да никогда и не было. Вот только убеждения бывают разные, и политика тоже.

— А как у вас насчет политики? — спросил полковник; он тоже устал от одиночества.

— Да сами знаете — ни шатко ни валко.

— Понятно. А ваши дела как идут?

— По-моему, хорошо. Может, не так хорошо, как в прошлом году. Но все же вполне прилично. Нас побили на выборах, и теперь надо немножко выждать.

— Но вы-то сами что-нибудь делаете?

— Как вам сказать. Политика ведь у меня скорее для души. То есть умом я тоже в нее верю, да вот больно плохо развит.

— А ведь слишком большое развитие тоже вредно — души не останется.

— Может, и так. А у вас в армии политикой занимаются?

— Еще как,— сказал полковник.— Но не в том смысле, в каком вы думаете.

— Ну, тогда нам лучше этого не касаться. Я вас выспрашивать не хотел.

— Да ведь это я у вас первый спросил, я сам начал разговор. Мы просто болтаем. Никто друг у друга ничего не выспрашивает.

— Конечно. Вы, полковник, на инквизитора не похожи. Я знаю про ваш Орден, хоть в нем и не состою.

— Вы можете стать членом-соревнователем. Я поговорю с Gran Maestro.

— Мы с ним из одного города, но из разных районов.

— Город у вас хороший.

— Понимаете, полковник, я политически так плохо развит, что считаю всех порядочных людей порядочными.

— Ну, это у вас пройдет,— заверил его полковник.— Не беспокойтесь. Партия ваша молодая. Не удивительно, что вы впадаете в ошибки.

— Прошу вас, не надо так говорить.

— Рано утром можно и пошутить.

— Скажите откровенно, полковник, что вы думаете о Тито?

— Разное. Но он мой ближайший сосед. А я не привык сплетничать о соседях.

— А мне хотелось бы знать...

— Узнаете на собственной шкуре. Разве вы не понимаете, что на такие вопросы не отвечают?

— А я надеялся, что отвечают.

— Зря,— сказал полковник.— Во всяком случае, в моем положении. Могу вам только сказать: забот у мистера Тито немало.

— Ну, это я уже понял,— сказал ночной швейцар. Он и в самом деле был еще мальчишкой.

— Еще бы,— сказал полковник.— Мудрости тут особой не нужно. Ну, пока, мне надо пройтись — для пицеварения и вообще.

— До свидания, полковник. Fa brutto tempo¹.

— Bruttissimo²,— сказал полковник; затянув потуже пояс плаща, расправив плечи и обдернув полы, он переступил порог и вышел на улицу, где гулял ветер.

Глава двадцать первая

Полковник спустился в гондолу, которая за десять чептезимо перевозила пассажиров через канал, заплатил грязной ассигнацией сколько положено и встал в толпу людей, осужденных всю жизнь подниматься чуть свет.

Он оглянулся на гостиницу «Гритти» и увидел окна своей комнаты; они все еще были открыты настежь. Дождем не пахло, но дул тот же резкий, порывистый, холодный ветер с гор. Люди в гондоле посинели, и полковник подумал: «Вот бы выдать всем по такому ветро-непроницаемому дождевику, как у меня. Господи, любой офицер, носивший такой дождевик, знает, что от дождя он не спасает; любопытно, кто на этом наживается?»

Настоящий дождевик вода не проймает. А наши протекают всюю, зато какой-нибудь ловкач, наверно, пристроил сынишку в Гротон, а может, в Кентербери, где учатся отпрыски крупных военных поставщиков.

Кому из моих братьев-офицеров он сунул в лапу? Кто у нас в армии берет взятки? Наверно,— подумал полковник,— не один. Наверно, их очень много. Ты, кажется, еще не проснулся как следует, уж больно ты разоткровенничался. Но от ветра они все-таки защищают. Дождевики! Дождевики, держи карман шире!»

Гондола подошла к причалу на другой стороне канала, и полковник стал наблюдать, как одетые в черное люди выбираются из черной плавучей колымаги. «Разве же это колымага? — подумал он.— У колымаги должны быть колеса или, на худой конец, гусеницы.

¹ Погода сегодня мерзкая (*ит.*).

² Премерзкая (*ит.*).

Какая ерунда лезет в голову,— думал он.— Особенно сегодня утром. Но помню, и у меня бывали здравые мысли, когда игра шла ва-банк».

Он попал в дальнюю часть города, которая прилежала к Адриатике,— эти кварталы он любил больше всего. Шагая по узенькой улочке, он решил не считать, сколько пересек переулков и мостов, а потом сориентироваться и выйти прямо к рынку, не попав ни разу в тупик.

Это была такая же игра, как для других людей пасьянс. Но она имела то преимущество, что, играя в нее, вы двигаетесь и любуетесь домами, городским пейзажем, лавками, trattoriaми и старыми дворцами Венеции. Если любишь Венецию, это отличная игра.

Да, это своего рода *solitaire ambulante*¹, а выигрываешь радость для глаз и для сердца. Если доберешься в этой части города до рынка, ни разу не сбившись с пути, игра твоя. Но нельзя облегчать себе задачу и вести счет переулкам и мостам.

По другую сторону канала игра заключалась в том, чтобы, выйдя из дверей «Гритти», попасть, не заблудившись, прямо на Риальто через *Fondamente Nuove*.

Оттуда можно было подняться на мост, перейти через него и спуститься к другому рынку. Рынки полковник любил больше всего. В каждом городе он первым делом осматривал рынки.

Тут он услышал, как двое юнцов прохаживаются на его счет у него за спиной. Он определил их возраст по голосу и не оглянувшись, но старался на слух сохранить дистанцию, ожидая поворота, чтобы обернуться и посмотреть, что это за птицы.

«Они идут на работу,— решил он.— Может, это бывшие фашисты, а может, кто-нибудь еще, а может, просто любители почесать языки. Но они говорят обо мне обидно. И дело вовсе не в том, что я американец,— им не нравлюсь я сам, моя седина, то, что я прихрамываю, мои походные сапоги. (Молодчикам такого сорта удобные походные сапоги не нравились. Они любили сапоги с подковками, которые гулко стучали по плитам мостовой и блестели как зеркало.)

Вот и мой плащ, на их взгляд, мешковат. А теперь они толкуют о том, почему это я вышел в такую рань, и готовы голову прозакладывать, что я уже не мужчина».

¹ Бродячий пасьянс (*фр.*).

Дойдя до угла, он круто свернул налево, посмотрел, с кем ему предстоит иметь дело, смерил разделявшее их расстояние, и когда юнцы обогнули угол, образуемый апсидой церкви Фрари, полковника не было и в помине. Он стоял в мертвом пространстве за апсидою старинной церкви, а услышав, что они подошли вплотную, выступил вперед, засунув кулаки в карманы дождевика, и повернулся к ним — он сам, и дождевик, и два кулака в карманах.

Они остановились, и он поглядел им обоим в глаза, и его улыбка была похожа на оскал мертвеца — старый, испытанный прием. Потом он посмотрел им на ноги — таким типам всегда смотришь на ноги, ведь они носят слишком узкие ботинки, и если их снять, увидишь одни мозоли. Не говоря ни слова, полковник сплюнул.

Оба молодчика — да они и в самом деле были фашисты — смотрели на него с ненавистью и еще с каким-то чувством. Затем они снялись с места, как болотные птицы, вскидывая поги, будто цапли, и в то же время напоминая чем-то ибисов в полете; они то и дело злобно оглядывались, надеясь оставить за собой последнее слово, когда отойдут достаточно далеко.

«Жаль, что их не было десять на одного, — подумал полковник. — Тогда они, пожалуй, и решились бы на драку. Впрочем, что их винить, ведь они побежденные.

Но вели они себя совсем неподобающе с человеком моего звания и возраста. И потом, глупо думать, что ни один полковник пятидесяти лет от роду не поймет их языка. И еще глупее думать, что старый пехотинец не захочет драться рано поутру при таком небольшом перевесе у противника, как два к одному.

Мне было бы неприятно драться в этом городе, ведь я так люблю здешний народ. Я бы этого не хотел. Но разве не могли эти дурно воспитанные юнцы сообразить, на кого они нарвались? Разве они не знают, откуда у человека берется такая хромота? Разве они не могли разглядеть признаки, по которым узнаешь старых фронтовиков так же безошибочно, как рыбака по шрамам на ладонях, которые прорезала бечева с большой рыбой?

Правда, они видели только мою спину, мою задницу, ноги и сапоги. Но они могли узнать меня по походке. Или, может, походка у меня изменилась? Впрочем, когда я посмотрел на них и подумал — конец вам обоим! — они меня как будто поняли. Поняли как нельзя лучше.

Чего стоит человеческая жизнь? У нас в армии — десять тысяч долларов, если ты застрахован. К чему это я? Ах да, я как раз думал об этом, когда появились эти хлюсты; я думал о том, сколько денег сберег на своем веку моему правительству, пока всякое жулье опустошало казенную кормушку».

«Да,— сказал он себе,— а сколько ты пустил по ветру в тот раз у Шато, считая по десять косых за голову? Ну, никто этого, кажется, так и не понял, кроме меня самого. А сейчас незачем им и объяснять. Начальство любит все сваливать на военную удачу. В армии знают, что на войне бывает всякое. Поступай, как приказано, не считаясь с потерями,— вот ты и герой».

«Господи,— подумал он,— посылать людей на убой мне совсем не по нутру. Но когда получаешь приказ, приходится его выполнять. Ошибки — вот что не дает тебе потом покоя. Но какого черта о них вспоминать! От этого никому еще не было легче. Да только иной раз мысли к тебе как привяжутся... Привяжутся так, что не отвяжешься».

«Гляди веселей! — подумал он.— Не забудь, какой при тебе капитал, а ты чуть было не впутался в драку. Если бы тебе попало, они бы непременно обшарили твои карманы. Ты уже не можешь бить наповал этими руками, а оружия при тебе нету».

Вот и печего напускать на себя меланхолию, малый. Малый, или старый, или полковник, или неудавшийся генерал. Мы уж почти дошли до рынка, а ты и не заметил.

Плохо не замечать, что вокруг тебя делается», — добавил он про себя.

Глава двадцать вторая

Он любил этот рынок. Здесь негде было яблоку упасть, люди теснились в соседних улочках, а давка стояла такая, что трудно было не толкнуть кого-нибудь ненароком, и всякий раз, как ты останавливался поглазеть, купить или просто прицениться, ты создавал *îlot de résistance*¹ перед фронтом утренней атаки покупателей.

Полковник любил разглядывать огромные, высоченные груды сыра и больших колбас. «У нас в Америке воображают, будто *mortadella* — это сосиски», — подумал он.

¹ Очаг сопротивления (*фр.*).

Он сказал женщине в палатке:

— Дайте мне, пожалуйста, попробовать кусочек этой колбасы. Совсем маленький.

Она сердито и вместе с тем любовно отрезала ему тонкий, как бумага, ломтик, и когда полковник его попробовал, он почувствовал отдающий дымком вкус проперченной свинины; этих кабанов откармливали в горных лесах желудями.

— Я возьму двести пятьдесят граммов.

Завтраки, которыми барон кормил охотников, были спартанскими, и полковник уважал этот обычай, зная, что на охоте наедаться не следует. Но он решил, что все же может добавить к завтраку эту колбасу и поделиться ею с лодочником и егерем. Гончая Бобби тоже получит свой ломтик — зря, что ли, ей мокнуть до костей, ведь, даже дрожа от холода, она работает на совесть.

— А лучше колбасы у вас нет? — спросил он у женщины. — Какой-нибудь еще, из тех, что держите под прилавком для постоянных покупателей?

— Лучше этой не бывает. Другая есть, сами видите. Но эта лучше всех.

— Дайте мне еще полтораста граммов пожирнее и без перца.

— Это можно, — сказала она. — Еще не вылежалась как следует, но как раз то, что вам нужно.

Эта колбаса предназначалась для Бобби.

В Италии, где худшее преступление — прослыть дураком и где столько людей недоедает, лучше и не заикаться, что вы покупаете колбасу для собаки. Можно скормить ей кусок дорогой колбасы на глазах у рабочего человека, который знает, почем фунт лиха и каково собаке в воде зимой. Но никто не объявляет во всеуслышание, для чего покупается эта колбаса. Кроме дураков или миллионеров, нажившихся на войне и послевоенных трудностях.

Полковник расплатился и продолжал свой путь через рынок, вдыхая аромат жареного кофе и разглядывая залитые жиром туши в мясном ряду, словно наслаждался полотнами фламандских мастеров — их имен никто не помнит, но они с непревзойденной точностью изобразили в красках все, что можно застрелить или съесть.

«Рынок сродни хорошему музею, вроде Прадо или Академии», — подумал полковник.

Переулком он вышел в рыбные ряды.

Здесь прямо на осклизлых каменных плитах или в корзинах и ящиках с веревочными ручками лежали тяжелые зеленовато-серые омары с темно-кирпичным отливом, предвещавшим близкую смерть в кипятке. «Всех их изловили предательским образом,— подумал полковник,— вот и клешни им даже связали».

Были здесь небольшие камбалы, несколько тунцов и пелагиды. Эти большеглазые рыбы морских глубин сохраняют достоинство даже в смерти; они похожи на торпеды, подумал полковник.

Их бы никогда не поймали, не будь они такими прожорливыми. Несчастные камбалы для того и живут на мелководье, чтобы кормить человека. Но эти блуждающие торпеды держатся в глубине синих вод и большими стаями странствуют по морям и океанам.

«Чего только не приходит тебе в голову,— подумал он.— Но посмотрим, что тут есть еще».

Было здесь великое множество угрей, еще живых, хоть они и потеряли всякую веру в свое первородство. Были здесь и сочные рачки, из которых готовят *scampi brochetto* (они с шипением жарятся на остром вертеле вроде рапаны, который в Бруклине пригодился бы для колки льда). Были тут небольшие креветки, серые, с молочным отливом,— они тоже ждали своей очереди, чтобы попасть в кипяток и обрести бессмертие; их легкую скорлупу понесет отлив по Большому каналу.

«Проворная креветка, чьи щупальца длиннее усов того старого японского адмирала, приходит сюда, чтобы отдать нам свою жизнь,— подумал полковник.— О христианнейшая креветка, мастер отступления, у тебя ведь такая прекрасная разведка — эти две тоненькие антенны впереди, почему же они не донесли тебе, как опасны огни и сети?»

Наверно, по недосмотру,— ответил он себе.

Он глядел на горы маленьких моллюсков с острыми, как бритва, створками раковин,— их непременно надо есть сырыми, если у вас еще действует прививка против брюшного тифа.

Он обошел весь ряд, остановился возле одного из продавцов и спросил, где поймали его моллюсков. Их поймали в хорошем месте, куда не спускают сточные воды, и полковник попросил вскрыть ему полдюжины. Выпив сок, он вырезал мякоть, соскоблив ее кривым ножом, который вручил ему продавец. Тот передал ему нож, зная по опыту, что полковник вырежет мякоть лучше, чем он сам.

Полковник заплатил продавцу какие-то гроши — но куда больше, чем те гроши, которые достались рыбакам, выловившим моллюсков, — а затем подумал: «Взгляну-ка я еще на речных рыб, и пора возвращаться в гостиницу».

Глава двадцать третья

Полковник вернулся в «Гритти-палас». Он расплатился с гондольерами и вошел в вестибюль; тут ветра не было.

Провести гондолу от рынка вверх по Большому каналу можно было только вдвоем. Оба гондольера потрудились повсю, и полковник заплатил им как положено и даже несколько больше.

— Мне никто не звонил? — спросил он дежурного портье.

Портье — умный, подвижной блондин с острым лицом — был неизменно вежлив, но без всякой угодливости. Он скромно носил на лацкане синей ливреи эмблему своей должности — скрещенные ключи. Хотя и был портье. «По званию — вроде капитана, — думал полковник. — Офицер, но не из благородных. В прежние времена был бы старшим сержантом; правда, дело ему приходится иметь только с высоким начальством».

— Сударыня уже звонила два раза, — сказал портье по-английски.

«Так принято называть язык, на котором мы все говорим, — подумал полковник. — Ну что ж, давайте звать его английским. Это, пожалуй, все, что у нас от них осталось. Можно сделать им любезность и сохранить старое название. Хотя Стаффорд Криппс, наверно, и язык скоро будет выдавать по карточкам».

— Будьте добры, соедините меня с ней поскорее, — сказал он портье.

Портье принялся набирать номер.

— Вы можете поговорить отсюда, полковник, — сказал сп. — Я вас уже соединил.

— Быстро!

— Пройдите в кабину, — сказал портье.

Войдя в кабину, полковник снял трубку и по привычке сказал:

— Полковник Кантуэлл слушает.

— Ричард, я звонила два раза. Но мне сказали, что ты ушел. Где ты был?

— На рынке. Ну, как ты, прелесть моя?

— Все еще спят, и нас никто не слышит. Поэтому — да, я твоя прелесть. Что бы это ни значило.

— Хорошо спала?

— Мне снилось, что я скольжу в темноте, как на лыжах. Может, и не на лыжах, но в темноте.

— Правильно, это и должно было тебе присниться. Почему ты так рано проснулась? Ты даже перепугала нашего портье.

— Наверно, это нескромно, но скоро я тебя увижу? И где?

— Когда и где хочешь.

— Камни еще у тебя? Приятно ты провел время с мисс Портрет?

— Да. И снова да. Камни у меня в верхнем левом кармане, а карман застегнут. С мисс Портрет мы болтали поздно ночью и рано утром, она мне очень скрасила жизнь.

— Ты ее теперь любишь больше, чем меня?

— По-моему, я пока еще человек нормальный. А может, это одно хвастовство. Она очень красивая.

— Где мы встретимся?

— Давай позавтракаем в кафе «Флориан», на правой стороне площади. Площадь, наверно, залило водой, интересно будет поглядеть.

— Хочешь, я приду туда через двадцать минут?

— Хочу,— сказал полковник и повесил трубку.

Он вышел из будки, и вдруг ему стало плохо, а потом показалось, будто дьявол загнал его в железную клетку — в Железную Деву, а может, в Железное Легкое; лицо у него посерело, он еле доплелся до конторки портье и сказал ему по-итальянски:

— Доменико, будьте добры, дайте воды.

Портье ушел, а он привалился к конторке, с трудом переведя дух. Он стоял неподвижно, не теша себя никакими иллюзиями. Портье принес стакан воды, и полковник принял четыре таблетки вместо положенных двух, по-прежнему не шевелясь, как усталый ястреб.

— Доменико,— позвал он.

— Да?

— У меня тут в конверте одна вещь, прошу вас, положите ее в сейф. Ее могу потребовать у вас либо я сам, лично или письменно, либо та особа, с которой вы меня только что соединяли по телефону. Дать вам письменное распоряжение?

— Нет. Это ни к чему.

— Ну, а если с вами что-нибудь приключится? Вы ведь тоже не бессмертны, а?

— Да, наверно,— сказал портье.— Но я все это запишу, а кроме меня, есть еще управляющий и его помощник.

— И оба люди хорошие,— признал полковник.

— Вы бы присели, полковник.

— Не хочу. Кто же позволяет себе расслаживаться, кроме ничемных стариков и старух в дешевых мебелирашках? Вы разве сидите?

— Нет.

— Я могу передохнуть стоя или приткнувшись к любому вонючему дереву. Мои соотечественники вечно присаживаются или просто валяются. И чтобы заглушить свое нытье, жуют укрепляющие галеты.

Он говорил без умолку, стараясь поскорее прийти в себя.

— Неужели у вас продают такие галеты?

— Факт. В них кладут какое-то снадобье, чтобы вы не волновались. Вроде атомной бомбы обратного действия.

— Что-то не верится!

— Ну, у нас есть такие военные тайны, что о них только генеральские жепы друг другу рассказывают! Укрепляющие галеты — это еще самая безвредная! Следующий раз мы засыплем всю Венецию бактериями с высоты в пятьдесят шесть тысяч футов. И ничего против этого не поделаешь,— сказал полковник.— Они тебе бирскую язву, а ты им другую заразу!

— Но это ужасно!

— Просто кошмар,— заверил его полковник.— Невиданный и неслыханный. Об этом сообщали в печати. Но зато вы в это время сможете поймать по радио принцессу Маргарет, она вам споет американский гимн. Думаю, что это мы устроим. Голос у нее я бы не сказал, что большой. В свое время и не такие слыхали. Но теперь ведь кругом жульничество. Радио само делает голоса. А гимн «Звездное знамя» — он вас поддержит почти до самого конца.

— Вы думаете, они в самом деле на нас что-нибудь сбросят?

— Что вы! Когда они это делали?

От гнева, от боли, от чувства беспомощности полковник вел себя так, будто он генерал армии, но, приняв таблетки, почувствовал облегчение и сказал:

— Сiao, Доменико!

Выйдя из отеля, он подсчитал, что ему нужно двенадцать с половиной минут, чтобы добраться до кафе, где он встретится с Ренатой; впрочем, она, наверно, чуть опоздает. Он шел осторожно, не ускоряя шага. Но мосты ему все равно давались с трудом.

Глава двадцать четвертая

Точно в назначенное время Рената сидела за столиком. В резком утреннем свете, который падал на залитую водой площадь, она была все такой же красивой. Она сказала:

— Ричард, сядь. Тебе нехорошо? А?

— Ну что ты! — сказал полковник. — Чудо ты мое!

— Ты обошел все наши любимые места на рынке?

— Не все. Я не ходил туда, где продают диких уток.

— Спасибо.

— Не за что, — сказал полковник. — Я никогда не хожу туда без тебя.

— Ты думаешь, мне не надо ехать на охоту?

— Нет. Безусловно, нет. Если бы Альварито хотел, он бы тебя пригласил.

— Он мог меня не пригласить именно потому, что этого хотел.

— Верпо, — сказал полковник, обдумывая эту догадку. — Что будешь есть?

— Тут очень невкусно кормят утром, и потом, я не люблю площадь, когда она затоплена. У нее такой унылый вид, и голубям некуда сесть. Весело бывает попозже, когда дети прибегают играть. Пойдем завтракать в «Гритти»?

— Тебе туда хочется?

— Да.

— Ладно. Позавтракаем там. Я, правда, уже поел.

— Да ну?

— Я выпью кофе с горячими слоями, а если есть не захочется, хотя бы в руках подержу. Ты очень голодна?

— Ужасно, — призналась она простодушно.

— Тогда мы сделаем всю процедуру как следует. Тебе от одного слова «завтрак» станет противно.

Когда они шли, ветер дул им в спину и развеивал ее волосы веселее, чем знамя; держа его крепко за руку, она спросила:

— А ты меня еще любишь при резком холодном свете венецианского утра? Он ведь правда такой резкий и холодный, да?

— Я люблю тебя, хотя он и резкий и холодный.

— Я любила тебя всю ночь, когда бежала в темноте па лыжах.

— Как же тебе это удавалось?

— Лыжня была такая, как всегда, но только кругом темно и снег не светлый, а темный. А идешь на лыжах обыкновенно: не торопясь, легко.

— И ты бежала на лыжах всю ночь? Сколько же ты прошла?

— Нет, не всю. Потом я крепко спала, а когда проснулась, мне было хорошо. Ты лежал рядом и спал, как ребенок.

— Я не был рядом с тобой, и я не спал.

— Но сейчас ты со мной,— сказала она и прижалась к нему еще крепче.

— И мы почти дошли.

— Да.

— А я тебе уже говорил, что я тебя люблю?

— Говорил, но скажи еще раз.

— Я люблю тебя,— сказал он.— Говорю тебе это прямо и официально.

— Говори как хочешь, если только это правда.

— Молодец,— сказал он.— Ты добрая, славная и красивая девушка. Повернись-ка на мосту в профиль, и пусть ветер треплет твои волосы.

— Ну, это легко,— сказала девушка.— Вот так?

Он посмотрел, увидел ее профиль, утреннюю свежесть кожи, грудь, приподнимающую черный свитер, глаза, прищуренные от ветра, и сказал:

— Да, так.

— Ну и слава богу,— сказала она.

Глава двадцать пятая

Gran Maestro посадил их за столик у окна, выходявшего на Большой канал. В ресторане, кроме них, никого не было.

Вид у Gran Maestro с утра был здоровый и праздничный. По утрам он забывал о своей язве, да и о сердце

также. Когда у него ничего не болело, он старался не думать о боли.

— Мой товарищ рассказывает, что ваш рябой соотечественник завтракает в постели,— поведал он полковнику.— Сюда, правда, могут прийти несколько бельгийцев. «Храбрейшие из них были белги»,— процитировал он.— Есть у нас тут и парочка ресесепи; сами знаете, откуда их принесло. Но они переутомились и, по-видимому, будут есть, как свиньи, у себя в номере.

— Отлично доложили обстановку,— сказал полковник.— Проблема, которую нам надо решить, Gran Maestro, состоит в том, что я уже поел у себя в номере, как тот щербатый и ваши ресесепи. А вот эта дама...

— Молодая девушка,— поправил его Gran Maestro, улыбаясь во весь рот. Настроение у него было хорошее, ибо день еще только начинался.

— Эта молодая девушка хочет так позавтракать, чтобы никогда уже больше к этому не возвращаться.

— Понятно,— сказал Gran Maestro; он поглядел на Ренату, и сердце у него в груди перекувырнулось, как морская черепаха в океане. Редкостное ощущение, мало кому на этом свете удастся его пережить.

— Что ты будешь есть, дочка? — спросил полковник, любуясь ее утренней, ничем не прикрашенной красотой.

— Все подряд.

— Может, ты все-таки уточнишь?

— Чай вместо кофе и все, что Gran Maestro удалось для меня припасти.

— Старыми запасами, дочка, я вас кормить не буду.

— Дочкой зову ее только я.

— Я это сказал от души. Мы можем *fabriquer*¹ *gognons*², зажаренные с шампиньонами. Грибы собрали люди, которых я хорошо знаю. Или вырастили у себя в сыром погребе. Могут подать омлет с трюфелями — их вырыли очень благородные свиньи. И канадскую грудинку, полученную по случаю из самой Канады.

— Все равно откуда,— сказала девушка, улыбаясь и не теша себя пустыми иллюзиями.

— Все равно откуда,— серьезно повторил полковник.— Я-то уж знаю, откуда. Ну ладно, пошутили и хватит. Давайте теперь поедим.

¹ Приготовить (исп.).

² Почки (фр.).

— Если это не очень нескромно, я бы и сама была за это.

— А мне принесите флягу вальполичеллы.

— И больше ничего?

— Порцию грудинки, если она и правда из Канады.

Он поглядел на девушку, потому что теперь они остались одни, и сказал:

— Ну, как ты, прелесть моя?

— Наверно, я очень хочу есть. Но спасибо тебе за то, что ты сегодня добрый так долго.

— Мне это было нетрудно,— объяснил полковник по-итальянски.

Глава двадцать шестая

Они сидели за столиком и любовались, как утренний беспокойный свет золотит воду канала. Теперь, на солнце, вода была уже не серая, а желто-серая, и волны шли навстречу отливу.

— Мама уверяет, будто не может подолгу жить в Венеции, потому что тут нет деревьев,— сказала девушка.— Она то и дело уезжает за город.

— Все ездят за город,— сказал полковник.— Мы могли бы посадить деревья и здесь, если бы нашли дом с мало-мальски приличным участком.

— Я больше всего люблю ломбардские тополя и платаны, но я в этом плохо разбираюсь.

— Я тоже их люблю, однако мне нравятся и кипарисы и каштаны. Обыкновенные каштаны и конские. Но настоящих деревьев, дочка, ты не увидишь, пока мы не поедем в Америку. Вот тогда ты согласишься, что такое белая сосна или желтая сосна!

— А мы их увидим, когда поедем путешествовать и будем останавливаться на всех заправочных и общественных станциях, или как там они у вас называются?

— Туристские лагеря,— сказал полковник.— Мы будем там останавливаться, только не на ночь.

— Мне ужасно хочется подкатить к общественной станции, шваркнуть об стол деньги и крикнуть: «А ну-ка, Мак, заправь машину и проверь масло!» — как это делают во всех американских романах и фильмах.

— Их называют заправочные станции.

— А что же тогда общественная станция?

— Общественные бывают не станции, а уборные. Куда ты заходишь, когда...

— А-а...— сказала девушка и покраснела.— Извини, пожалуйста. Я ужасно хочу научиться правильно говорить по-американски. Но, наверно, еще долго буду путать, как ты по-итальянски.

— Язык у нас очень простой. И чем дальше на Запад, тем он проще и яснее.

Gran Maestro подал завтрак, и хотя блюда были покрыты серебряными крышками, они почувствовали аромат жареной грудинки и почек, отдающий темным, приглушенным духом тушеных грибов.

— Выглядит все это просто чудно,— сказала девушка.— Большое спасибо, Gran Maestro. Хочешь, я буду разговаривать по-американски? — спросила она полковника.— А ну-ка, приятель, вали сюда! — произнесла она коротко, ткнув рукой, как рапирой.— Жратва мировая!

Gran Maestro ответил:

— Благодарю вас, сударыня.

— Как правильное сказать: шамовка или жратва? — спросила девушка.

— Одинаково.

— А на Западе так разговаривали, когда ты был маленький? Что там говорят за завтраком?

— Завтрак подавал сам повар. Он бы сказал: «А ну-ка навались, сучьи дети, не то я вышвырну все на помойку».

— Мне это надо выучить и сказать у нас в имении. Как-нибудь, когда к нам придет в гости английский посол со своей очень скучной женой, я подучу лакея сказать: «А ну-ка навались, сучьи дети, не то я вышвырну все на помойку».

— Гость мигом вылетит как пуля,— сказал полковник.— Но опыт будет интересный.

— Научи, что мне сказать по-постоящему, по-американски этому рябому, если он, конечно, появится. Я тихонько шепну ему на ухо, будто назначаю свиданье, как когда-то делали дамы.

— Это зависит от того, какой у него будет вид. Если очень кислый, ты ему шепни: «Что ж ты, Мак, ты же грозился набить мне рыло!»

— Какая прелесть! — воскликнула она и повторила эту фразу, подражая Иде Люпино.— А можно мне это сказать Gran Maestro?

— Почему же нет? Gran Maestro!

Gran Maestro подошел и заботливо к ним наклонился.

— Эй, Мак! Ты ж грозился набить мне рыло! — резко выкрикнула девушка.

— Не отрицаю, — ответил Gran Maestro. — Благодарю, что вы мне так недвусмысленно об этом напомнили.

— Если тот тип придет и ты захочешь поговорить с ним, когда он позавтракает, шепни ему на ухо: «Утри бороду, Джек, она вся в яичнице, оправься и катись отсюда».

— Я запомню и поупражняюсь дома.

— А что мы будем делать после завтрака?

— Давай поднимемся наверх и поглядим на портрет при дневном свете, а вдруг он ничего не стоит, я хочу сказать — никуда не годится?

— Идем, — сказал полковник.

Глава двадцать седьмая

Полковник боялся застать наверху обычный для гостиницы утренний ералаш, но номер уже прибрали.

— Стань с ним рядом, — сказал он. А потом спохватился и прибавил: — Пожалуйста!

Она встала рядом с портретом, и он поглядел на них оттуда, откуда смотрел ночью.

— Никакого сравнения, — сказал он. — Я говорю не о сходстве. Сходство схвачено отлично.

— А разве ты хотел нас сравнивать? — спросила девушка, закинув голову: на ней был тот же черный свитер, что на портрете.

— Конечно, нет. Но прошлой ночью и на рассвете я разговаривал с портретом, словно это была ты.

— Вот это мило. Значит, от портрета была какая-то польза.

Они лежали на кровати, и девушка его спросила:

— Ты никогда не закрываешь окон?

— Нет. А ты?

— Только когда идет дождь. По-твоему, мы похожи друг на друга?

— Не знаю. Нам с тобой так и не удалось это проверить.

— Нам с тобой вообще не очень-то везет. Но мне все же повезло, раз я тебя знаю.

— Ну, а что это тебе дало? — спросил полковник.

— Понятия не имею. Наверно, что-то дало, и мне лучше, чем другим.

— Верно! Этого и будем добиваться. Я, правда, не люблю ограничиваться малым, но иногда приходится с этим мириться.

— Что тебя огорчает больше всего на свете?

— Когда мне приказывают,— сказал он.— А тебя?

— Ты.

— Я не хочу тебя огорчать. Я не раз бывал последним сукиным сыном. Но еще никогда никому не причинял горя.

— Кроме меня, горе ты мое.

— Ладно,— сказал он.— Допустим.

— Спасибо, что ты это допускаешь. Ты сегодня добрый. Мне стыдно, что у нас так получается... Обними меня, пожалуйста, покрепче, и давай не будем говорить или думать о том, что все могло быть совсем иначе.

— А знаешь, дочка, это как раз одна из тех немногих вещей, которые я умею.

— Ты умеешь очень, очень много разных вещей. Но смей так о себе говорить.

— Ну да,— сказал полковник,— я умею наступать, я умею отступать, а еще?

— Ты все понимаешь в картинах, в книгах и в жизни.

— Ну, это наука нехитрая! Смотри на картины непредвзято, читай книги честно и живи, как живет.

— Не снимай, пожалуйста, мундира.

— Ладно.

— Ты всегда меня слушаешься, если я говорю «пожалуйста».

— Бывало, я слушался и без этого.

— Не очень часто.

— Не очень,— признался полковник.— Пожалуйста — очень приятное слово.

— Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!

— *Per piacere* — это значит: сделай милость. Жаль, что мы не можем всегда говорить по-итальянски.

— Можем, но только в темноте. Хотя есть такие вещи, которые лучше звучат по-английски. «Я люблю тебя, моя последняя, настоящая и единственная любовь», — процитировала она. — «Когда сирень в последний раз цвела у нас в саду». «Из колыбели, вечно баюкавшей». «А ну-ка навались, сучьи дети, не то я выпшвырну все на помойку». Тебе это больше нравится на другом языке, Ричард?

— Нет.

— Поцелуй меня еще раз, пожалуйста.

— В этом случае «пожалуйста» лишнее.

— Я, того и гляди, сама стану лишняя. Если ты умрешь, ты, по крайней мере, не сможешь меня бросить.

— Ну, знаешь, это уже грубо,— сказал полковник.— Последи-ка за своим язычком.

— Я становлюсь грубой, когда ты грубишь,— сказала она.— Ты ведь сам хочешь, чтобы я была хоть немножко на тебя похожа.

— Я не хочу, чтобы ты хоть в чем-нибудь была не такая, какая ты есть. Я люблю тебя всей душой, окончательно и бесповоротно.

— Иногда ты умеешь говорить приятные вещи очень понятно. А что, если не секрет, вышло у тебя с женой?

— Она была женщина честолюбивая, а я слишком часто бывал в отъезде.

— Ты хочешь сказать, что она ушла от тебя из честолюбия, а тебя никогда не бывало дома из-за твоего ремесла?

— Вот именно,— сказал полковник, вспоминая прошлое почти без горечи.— Честолюбия у нее было больше, чем у Наполеона, а таланта — как у первого зубрили в школе.

— Что бы это ни значило,— сказала девушка.— Но не будем о ней говорить. Жаль, что я тебя о ней спросила. Ей, должно быть, очень обидно, что она с тобой не живет.

— Ничуть. С таким самомнением, как у нее, не обижаются, а замуж она вышла, чтобы примазаться к военной верхушке и приобрести связи, полезные для ее профессии или, может, для ее искусства. Она была журналисткой.

— Но это ужасные люди! — воскликнула девушка.

— Верпо.

— Как ты мог жениться на журналистке и позволить ей этим заниматься?

— Я же говорил, что у меня в жизни бывали ошибки,— сказал полковник.

— Давай поговорим о чем-нибудь приятном.

— Давай.

— Нет, это ужасно! Как ты на это решился?

— Не знаю. Я бы мог тебе рассказать подробно, но давай лучше обойдем этот вопрос.

— Давай обойдем. Все-таки я не думала, что это так ужасно. А ты больше такой глупости не сделаешь?

— Клянусь тебе, нет!

— И ты с ней не переписываешься?

— Конечно, нет.

— Ты не расскажешь ей о нас с тобой, она не сможет об этом написать в газетах?

— Нет. Я этой стерве кое-что рассказал, и она об этом написала. Но дело было совсем в другой стране. И к тому же она умерла.

— Правда умерла?

— Начисто и бесповоротно. Как Феб Финикийский. Но она сама еще об этом не знает.

— А что, если бы мы с тобой гуляли по Пьяцце и ты бы ее встретил?

— Я бы посмотрел на нее в упор и не заметил. Пусть знает, что умерла.

— Большое спасибо,— сказала девушка.— Ты ведь понимаешь, как трудно неопытной девушке справиться с другой женщиной или с памятью о другой женщине.

— У меня нет другой женщины,— сказал полковник, и глаза у него от невеселых воспоминаний стали злые.— И нет памяти о другой женщине.

— Большое спасибо,— повторила девушка.— Сейчас я тебе верю. Но, пожалуйста, никогда не смотри на меня так и никогда обо мне так не думай!

— Давай поймаем ее и вздернем на высоком дереве! — запальчиво сказал полковник.

— Нет. Давай о ней лучше забудем.

— Я ее и так забыл,— сказал полковник.

И, как ни странно, это была правда. Странно потому, что на миг она появилась в комнате и чуть было не нагнала на него панику; это уж совсем странно, подумал полковник. Он-то знал, от чего люди впадают в панику.

Но теперь она ушла, ушла безвозвратно; она выжжена, изгнана, разжалована по рапорту в одиннадцати экземплярах, к которому приложено официальное, заверенное у нотариуса, свидетельство о разводе.

— Я ее забыл,— сказал полковник.

Это была чистая правда.

— Я очень рада,— сказала девушка.— Не понимаю, как ее вообще пустили сюда, в гостиницу.

— Да, мы с тобой здорово похожи,— сказал полковник.— Нельзя этим так чертовски злоупотреблять!

— Ладно, можешь ее повесить, ведь это из-за нее нам нельзя пожениться.

— Я ее забыл,— сказал полковник.— Пусть лучше разглядит себя в зеркале и повесится сама.

— Теперь, когда ее здесь больше нет, не будем желать ей всяких бед. Но, как настоящая венецианка, я бы хотела, чтобы она умерла.

— И я тоже,— сказал полковник.— Но раз она не умерла, давай забудем ее навсегда.

— Навсегда и на веки вечные,— сказала девушка.— Правильно я выговариваю? По-испански это будет *para sempre*.

— *Para sempre* и все такое прочее,— добавил полковник.

Глава двадцать восьмая

Они молча лежали рядом, и полковник чувствовал, как бьется ее сердце. Приятно чувствовать, как бьется сердце под черным свитером, который связала ей тетка, и ощущать тяжесть длинных темных волос на здоровой руке. «Но разве это тяжесть,— думал полковник,— они же легче легкого». Она лежала тихая и ласковая, и все, что им обоим было дано пережить, неразрывно связывало их друг с другом. Он нежно и требовательно поцеловал ее рот, и все вдруг замерло, осталось только ощущение нерасторжимой связи.

— Ричард,— сказала она.— Как обидно, что у нас все так получается...

— А ты никогда ни о чем не жалеешь,— сказал полковник.— Никогда не считай потерь, дочка.

— Повтори.

— Дочка...

— Расскажи мне что-нибудь хорошее, чтобы я могла думать об этом всю будущую неделю, и еще про войну.

— Давай не будем говорить о войне.

— Нет. Я должна о ней больше знать.

— Я тоже должен,— сказал полковник.— Но не о военных хитростях. Один наш офицер в должности генерала как-то словчил и раздобыл план передвижения войск противника. Он заранее знал о каждом их шаге и провел такую блестящую операцию, что его повысили в чине и отдали ему под начало людей, куда более достойных. Вот почему нас одно время били. Да еще потому, что отдых в субботу и воскресенье у нас такая святыня.

— Сегодня у нас суббота.

— Я знаю,— сказал полковник.— Считать до семи я еще не научился.

— Но почему ты на всех сердисься?

— Неправда. Мне просто пошел шестой десяток, и я знаю, что к чему.

— Расскажи мне еще что-нибудь о Париже, я люблю всю неделю думать о тебе и о Париже.

— Дочка, почему ты все время пристаешь ко мне с Парижем?

— Но я же была в Париже и непременно поеду туда опять. Это самый чудесный город на свете, не считая нашего, и мне хочется побольше о нем узнать.

— Мы поедем вместе, и я там тебе все расскажу.

— Спасибо. Но ты расскажи мне хоть немножко сейчас, чтобы хватило на будущую неделю.

— Я тебе, кажется, объяснял, что Леклерк был хлюст из благородных. Человек очень смелый, очень заносчивый и на редкость честолюбивый. И я уже тебе сказал — он умер.

— Да, это ты мне сказал.

— О мертвых не принято дурно говорить. Но, по-моему, именно о мертвых нужно говорить правду. Я никогда не говорю о мертвых того, чего не сказал бы им при жизни. Напрямик, в лицо,— добавил он.

— Давай не будем о нем говорить. В душе я его уже разжаловала.

— Но что же тебе рассказать? Что-нибудь романтическое?

— Да, пожалуйста. У меня очень дурной вкус, я ведь читаю иллюстрированные журналы. Но когда ты уедешь, я всю неделю буду читать Данте. И каждое утро ходить к мессе. Это, наверно, поможет.

— А перед обедом заходи к «Гарри».

— Хорошо,— сказала она.— Расскажи мне что-нибудь романтическое.

— А не лучше ли нам просто заснуть?

— Разве можно сейчас спать, ведь у нас осталось так мало времени! Хочешь, полежим вот так,— сказала она и уткнулась головой ему в шею, под подбородок, заставив его откинуться назад.

— Ладно, сейчас расскажу.

— Сначала дай мне твою руку. Я буду чувствовать ее в своей, когда стану читать Данте и делать все остальное.

— Данте был отвратный тип. Еще заносчивее Лек-
лерка.

— Говорят. Но писал он совсем не отвратно.

— Да. А Леклерк умел здорово воевать.

— Ну, расскажи!

Теперь ее голова лежала у него на груди. Полковник
сказал:

— Почему ты не хотела, чтобы я снял мундир?

— Мне приятно чувствовать твои пуговицы. Это нехо-
рошо?

— Почему? Я был бы самым последним сукиным сы-
ном, если б так подумал. В вашем роду многие воевали?

— Все,— сказала она.— Всегда. Были у нас и купцы
и дожи, ты ведь знаешь.

— И все воевали?

— Все,— сказала она.— По-моему, все.

— Ладно,— сказал полковник.— Тогда я тебе рас-
скажу.

— Что-нибудь романтическое. Такое, о чем пишут в
иллюстрированных журналах, или даже хуже.

— В «Доменика дель коррьере» или «Трибуна иллю-
страта»?

— Еще хуже.

— Сначала ты меня поцелуй.

Она поцеловала его нежно, крепко, с отчаянием, и
полковнику стало трудно думать о боях. Он думал только
о ней, о том, что она сейчас чувствует, и о том, как близко
граничит жизнь со смертью в минуту высокого блажен-
ства. Но что же такое, черт побери, это блаженство, како-
во его звание и к какой оно приписано части? И не раз-
дражает ли ей кожу черный свитер? И откуда взялись
вся эта мягкость, и прелесть, и удивительное достоинство,
и жертвенность, и ребячья мудрость? Да, ты мог узнать
блаженство, а вместо этого вытянул пиковую даму.

«Но смерть — дерьмо,— думал он.— Смерть приходит
к тебе мелкими осколками снаряда, снаружи даже не вид-
но, где она вошла. Иногда она ужасна. Она может прийти
с некипяченой водой, с плохо натянутым противомосkit-
ным сапогом или с грохотом добела раскаленного железа,
который никогда не смолкал. Она приходит с негромким
потрескиванием, предвещающим очередь из автомата.
Она приходит с дымящейся параболой летящей гранаты и
с резким ударом мины.

Я видел, как она падает, оторвавшись от бомбодержателя, и описывает в воздухе причудливую дугу. Она приходит с оглушительным скрежетом металла, когда ломается машина или когда просто отказывает управление на скользкой дороге.

Но я знаю, что ко многим она приходит в постели как обратная сторона любви. Я прожил с ней по соседству почти всю жизнь и отмеривал ее другим — в этом было мое ремесло. Но что же мне рассказать моей девушке в это холодное ветреное утро, здесь, в «Гритти-палас»?»

— О чем бы тебе рассказать, дочка? — спросил он ее.

— Обо всем.

— Ладно, — сказал полковник. — Тогда слушай.

Глава двадцать девятая

Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, на приятной, жестковатой, только что постеленной кровати; она положила ему голову на грудь, и волосы ее рассыпались по его старой, жилистой шее. Он начал рассказывать.

— Мы высадились, но не встретили серьезного сопротивления. Настоящую встречу нам готовили в другом месте. Затем мы соединились с воздушным десантом, заняли и закрепили за собой несколько городов и наконец захватили Шербур. Это было нелегко, операцию пришлось провести очень быстро; командовал ею генерал по прозвищу Молниеносный Джо, о котором ты, верно, никогда и не слыхала. Хороший генерал.

— Пожалуйста, дальше. Про Молниеносного Джо ты мне уже говорил.

— После Шербура у нас всего было вдоволь. Себе я не взял ничего, кроме адмиральского компаса, — у меня тогда была моторка на Чизапикском заливе. Нам достался весь коньяк германского интендантства, а кое-кто из офицеров прикарманил миллионы по шести французских франков, которые печатали фрицы. Их принимали до прошлого года; за доллар давали пятьдесят франков, и те, кто ухитрился переслать франки домой — через любовниц или адъютантов, — неплохо на этом нажились.

Я-то ничего не украл, кроме компаса, — мне казалось, что зря красть на войне не стоит: это приносит несчастье. Но коньяк я пил и в свободные минуты учился читать этот сложный компас. Компас был моим единственным

другом, а телефон поглощал всю жизнь. Проводов у нас было больше, чем б... в Техасе.

— Пожалуйста, рассказывай, но, если можешь, говори помельше грубых слов. Этого слова я не понимаю и не желаю его понимать.

— Техас — большой штат,— сказал полковник.— Вот почему я привел в пример его женское население. Я же не мог привести в пример Вайоминг — народу там не больше тридцати, ну от силы пятидесяти тысяч, а проводов была уйма, их то и дело приходилось тянуть, свертывать, а потом тянуть снова.

— Дальше.

— Перейдем сразу к прорыву,— сказал полковник.— Но скажи, тебе не скучно?

— Нет.

— Так вот, об этом сволочном прорыве,— сказал полковник, повернув к ней голову. Теперь он уже не рассказывал, а, скорее, исповедовался.— В первый же день появилась их авиация и сбросила такие игрушки, которые сбивают с толку радар, и наше наступление отменили. Мы были готовы, но его отменили. Начальству, конечно, виднее. Ох, до чего ж я люблю начальство, прямо как горькую редьку.

— Рассказывай и не злись.

— Условия, видите ли, не благоприятствовали,— сказал полковник.— Ну, на другой день мы все-таки бросили вызов врагу, как говорят наши двоюродные братья англичане, которые не в состоянии прорвать даже мокрое полотенце; вот тут над нами и стали парить наши короли воздуха. Когда мы увидели первые самолеты, остальные еще только поднимались с насиженных мест на поросшем зеленой травкой авианосце, который зовется Англией. Они так и сияли, светлые, красивые,— к тому времени защитную окраску первых дней вторжения уже соскоблили, а может, ее и раньше не было. Точно не помню.

Так или иначе, дочка, вереница самолетов тянулася на восток, насколько хватал глаз. Похоже было на бесконечно длинный поезд. Они летели высоко в небе, красота, да и только! Я еще сказал своему начальнику разведки, что этот поезд можно окрестить «Валгалла». Тебе не надоело слушать?

— Нет. Я так и вижу этот экспресс «Валгалла». У нас тут никогда не бывало столько самолетов. Но вообще самолеты мы видели. Даже часто.

— Мы находились в двух тысячах ярдов от исходного рубежа. А ты знаешь, дочка, что такое две тысячи ярдов перед атакой?

— Нет. Откуда мне знать?

— Тут головная часть экспресса «Валгалла» сбросила дымовые бомбы, развернулась и пошла домой. Бомбы были сброшены точно, они ясно указали цель — позиции фрицев. Хорошие у них были позиции, ничего не скажешь: пожалуй, мы бы их оттуда не выбили, если бы не весь тот пышный аттракцион, который мы тогда наблюдали.

Ну, а потом чего только не сбросил экспресс «Валгалла» на фрицев — туда, где они засели и где пытались нас задержать!

Позднее там все выглядело как после землетрясения, а пленные, которых мы брали, дрожали, словно в лихорадке. Это были храбрые парни из Шестой парашютной дивизии, но их трясло, и они никак не могли взять себя в руки.

Сама видишь, бомбежка была что надо. Как раз то, о чем можно мечтать, если хочешь повергнуть противника в страх и трепет.

Короче говоря, дочка, ветер подул с востока, и дым стало относить назад, прямо на нас. Тяжелые бомбардировщики бомбили линию дымовой завесы, а она висела теперь над нами. Вот авиация и принялась нас бомбить так же усердно, как раньше фрицев. Сперва это были тяжелые бомбардировщики, и тому, кто там побывал, уже нечего бояться ада. Потом, чтобы подготовить прорыв лучше и оставить как можно меньше людей с обеих сторон, налетели средние бомбардировщики и принялись за тех, кто был еще жив. Ну, а потом, как только экспресс «Валгалла» повернул домой, растянувшись во всей своей красе и величии от французского побережья через всю Англию, мы пошли на прорыв.

«Если у человека есть совесть,— сказал себе полковник,— ему иногда не мешает подумать, что такое военная авиация».

— Дай-ка мне бокал вальполичеллы,— сказал полковник и чуть не забыл добавить «пожалуйста». — Извини,— сказал он.— Пожалуйста, ляг поудобней, киса. Ты ведь сама просила, чтобы я тебе рассказал.

— Я не киса. Ты меня, наверно, с кем-нибудь спутал.

— Правильно. Ты моя последняя, настоящая и единственная любовь. Так? Но ты сама просила меня рассказывать.

— Пожалуйста, рассказывай,— сказала девушка.— Я бы хотела быть твоей кисой, но не знаю, что для этого нужно. Я ведь всего-навсего девушка из Венеции и люблю тебя.

— Так и запишем,— сказал полковник.— И я тебя люблю; а это словечко я, кажется, подцепил на Филиппинах.

— Может быть. Но мне бы хотелось быть просто твоей девушкой.

— Ты и есть моя девушка,— сказал полковник.— Вся, целиком, со всеми потрохами.

— Пожалуйста, не говори грубостей,— сказала она.— Пожалуйста, люби меня и расскажи все, как было, но только не расстраивайся.

— Я расскажу тебе все, как было,— сказал оп.— Во всяком случае, постараюсь, и будь что будет. Если уж ты этим интересуешься, лучше тебе все узнать от меня, чем прочесть в какой-нибудь дерьмовой книжке.

— Пожалуйста, не надо быть грубым. Ты просто расскажи мне все, как было, и обними меня покрепче, но рассказывай по порядку, чтобы у тебя на душе стало легче. Если тебе это удастся.

— Мне не от чего облегчать душу,— сказал он.— Разве что от воспоминаний о том, как тяжелые бомбардировщики действуют в тактических целях. Я ничего против них не имею, если они действуют правильно,— пусть даже тебе грозит смерть. Но для поддержки наземных сил мне подавай кого-нибудь вроде Кесады. Вот кто влепит им пинка в задницу.

— Пожалуйста, не надо...

— Если ты захочешь бросить такую старую клячу, как я, этот парень всегда окажет тебе поддержку.

— Ты вовсе не старая кляча, что бы это ни значило, и я тебя люблю.

— Пожалуйста, дай мне две таблетки вон из той бутылочки и налей бокал вальполичеллы, который ты так и не налила, а я расскажу тебе еще кое-что.

— Не надо. Не надо рассказывать, я теперь знаю, что тебе это вредно. Особенно — про тот день, когда появился экспресс «Валгалла». Я не инквизиторша, или как там называют инквизиторов женского рода. Давай положим тихо и поглядим в окно, что творится у нас на Большом канале.

— Пожалуй, это и в самом деле лучше. Да и кому какое дело до этой проклятой войны?

— Разве что нам с тобой,— сказала она и погладила его по голове.— Вот тебе две таблетки из квадратной бутылочки. Вот бокал вина. Надо мне в самом деле прислать тебе вина из нашего имения. Давай немножко поспим. Только будь хорошим, и давай просто полежим. Положи, пожалуйста, сюда свою руку.

— Здоровую или раненую?

— Раненую,— сказала девушка.— Ту, которую я люблю и не могу забыть всю неделю. Я же не могу взять ее на память, как ты взял камни.

— Они лежат в сейфе,— сказал полковник.— Положены на твое имя,— добавил он.

— Давай просто поспим и не будем больше говорить ни о камнях, ни о грустном.

— К черту грусть,— сказал полковник, лежа с закрытыми глазами и положив голову на черный свитер, который был ему дороже родины.

«Надо же иметь настоящую родину,— подумал он.— Моя — вот она».

— Жаль, что ты не президент,— сказала девушка.— Ты был бы замечательным президентом.

— Президентом? Когда мне было шестнадцать, я записался в национальную гвардию штата Монтана. Но я никогда в жизни не носил галстука бабочкой и никогда не был прогоревшим галантерейщиком. Нет у меня данных, чтобы стать президентом. Я даже оппозиции не мог бы возглавить, ведь мне не приходится подкладывать под зад телефонные справочники, когда меня фотографируют. И я не из тех генералов, которые пороха не нюхали. Какого черта, меня даже к Верховному союзному командованию не прикомандировали! И убеленным сединами сенатором мне тоже не быть. Для этого я недостаточно стар. Теперь ведь нами правят подонки. Муть, вроде той, что остается на дне пивной кружки, куда проститутки накидали окурков. А помещение еще не проветрено, и на разбитом рояле брэнчит тапер-любитель.

— Я не все поняла, ведь я так плохо понимаю по-американски. Но это звучит ужасно. А ты все равно не сердись. Лучше я буду сердиться.

— Ты знаешь, что такое прогоревший галантерейщик?

— Нет.

— Само по себе это еще не позор. У нас в Америке их

видимо-невидимо. По крайней мере, по одному на каждый город. Но я-то, дочка, всего лишь старый солдат, самый последний человек на свете. Кандидат в Арлингтон, если тело будет возвращено семье. Выбор кладбища остается за семьей.

— Арлингтон красивое место?

— Не знаю,— сказал полковник.— Меня там пока не хоронили.

— А где бы ты хотел, чтобы тебя похоронили?

— Высоко в горах,— сказал он, мгновенно приняв решение.— На любой высоте, где мы били противника.

— Тогда тебя надо похоронить на Граппе.

— В каком-нибудь уголке, на любом изрытом снарядами склоне, лишь бы летом надо мной пасли скот.

— А там пасут скот?

— Конечно. Скот пасут летом повсюду, где трава густая. А девушки из горных поселков, крепко сбитые девушки из крепко сбитых домов, которым не страшны снежные выюги, загнав осеью скот, ставят капканы на лис.

— И тебе не нравится Арлингтон, или Пер-Лашез, или то, что здесь у нас?

— Эта ваша гнусная свалка?

— Да, хуже, чем это кладбище, у нас в городе нет ничего. Но я постараюсь, чтобы ты лежал там, где тебе нравится, а если хочешь, сама лягу рядом.

— Нет. Это делают всегда в одиночку. Ведь не ходят же вдвоем в сортир!

— Не говори грубых слов, пожалуйста.

— Я хотел сказать, что мне было бы хорошо рядом с тобой. Но смерть — дело сугубо личное и довольно противное.— Он остановился, подумал и неожиданно сказал: — Нет. Выходи замуж, роди пятерых сыновей и всех назови Ричардами.

— Львиное Сердце,— без запинки сказала девушка, вступив в игру и положив карты на стол.

— Паршивое сердце,— сказал полковник.— Сердце несправедливого, желчного придиры, который хулит все на свете.

— Пожалуйста, не смей так себя называть,— сказала девушка.— Ты ведь хуже всего говоришь о себе самом. Обними меня крепче, и давай ни о чем не думать.

Он обнял ее крепко, как только мог, и попытался ни о чем не думать.

Полковник и девушка лежали молча, и полковник старался ни о чем не думать, как это часто с ним бывало в разное время и в разных местах. Но сейчас у него ничего не выходило. Не выходило потому, что времени осталось так мало.

Слава богу, они не Отелло и Дездемона, хотя дело происходит в том же городе и девушка куда красивее, чем та, у Шекспира, а полковник повоевал ничуть не меньше, а то и больше, чем болтливый мавр.

«Они отличные солдаты,— подумал он,— эти проклятые мавры. Но сколько же мы их истребили на моем веку! Кажется, больше целого поколения, если считать последнюю марокканскую кампанию против Абд-эль Керима. А ведь каждого из них приходилось убивать отдельно. Никто никогда не истреблял их скопом, как мы истребляли фрицев, пока они не получили свое *Einheit*»¹.

— Дочка,— спросил он,— ты в самом деле хочешь, чтобы я все тебе рассказал, лишь бы не рассказывал слишком грубо?

— Хочу больше всего на свете. Тогда мы сможем делиться хоть воспоминаниями.

— Стоит ли ими делиться,— сказал полковник.— Бери себе все, дочка. Но это будут только самые яркие эпизоды. Тебе не понять всех военных тонкостей кампании, да и мало кто их понимал. Может быть, Роммель. Правда, во Франции он не вылезал из котлов, да к тому же мы уничтожили его коммуникации. Это сделали военно-воздушные силы — наши и английские. Но с ним я бы не прочь кое-что обсудить. С ним и с Эрнстом Удетом.

— Рассказывай все, что хочешь, и выпей бокал вальполличеллы; но если тебе будет тяжело, замолчи. Или вообще ничего не рассказывай.

— Вначале я был полковником резерва. Их держат, чтобы затыкать дыры: командиры дивизий заменяют ими тех, кого убили или разжаловали,— добросовестно принялся объяснять полковник.— Убивают редко, а разжалуют многих. Хорошие получают повышение. И довольно быстро, когда все кругом горит.

— Говори, говори. А тебе не пора принять лекарство?

¹ Единство (нем.).

— А будь оно проклято, это лекарство! И Верховное командование союзными экспедиционными силами.

— Это ты мне уже объяснял,— сказала девушка.

— Жаль, черт возьми, что ты не солдат: ты так здорово соображаешь, и память у тебя прекрасная.

— Я бы хотела быть солдатом, если бы ты был моим командиром.

— Только не вздумай воевать под моим началом,— сказал полковник.— Я свое дело знаю. Но мне не везет. Наполеон подбирал командиров, которым везло, и он был прав.

— Но нам ведь с тобой везло.

— Да,— сказал полковник.— Как когда.

— Все равно это было везенье.

— Ну да,— сказал полковник.— Но на войне теперь одного везенья мало. Хотя и без него не обойтись. Те, кто выезжал на одном везенье, пали на поле брани, как наполеоновская кавалерия.

— Отчего ты так ненавидишь кавалерию? Почти все мои знакомые молодые люди из хороших семей служили в трех хороших кавалерийских полках или на флоте.

— Никого я не ненавижу, дочка,— сказал полковник и отпил глоток легкого сухого красного вина, душевного, как дом брата, если вы с братом живете душа в душу.— Просто у меня своя точка зрения, я долго размышлял и понял, на что она годится, эта кавалерия.

— И она действительно так уж плоха?

— Никуда не годится,— сказал полковник. Потом, вспомнив о своем намерении быть добрым, добавил: — В наше время.

— Каждый день теряешь какую-нибудь иллюзию.

— Нет. Каждый день — это новая, прекрасная иллюзия. Но все, что в ней есть фальшивого, надо отрезать, как бритвой.

— Пожалуйста, только не отрезай меня

— Тебя не возьмет никакая бритва.

— Поцелуй меня и обними покрепче, и давай смотреть на Большой канал,— он сейчас так красиво освещен,— и рассказывай дальше.

Они посмотрели на Большой канал, который и в самом деле был красиво освещен, и полковник продолжал:

— Я получил полк потому, что командующий сместил одного паренька, которого я знал еще тогда, когда ему было восемнадцать. Понятно, пареньком он уже не был.

Полк оказался ему не по плечу, но для меня этот полк был пределом мечтаний, пока я его не потерял. — Он добавил: — Разумеется, по приказу начальства.

— А как люди теряют полк?

— Ты бьешься, чтобы занять выгодные позиции, и вот тебе остается только послать парламентаря, чтобы противник обдумал свое положение и, если ты прав, сдался. Профессиональные военные — люди разумные, а эти фрицы были профессионалы, а не фанатики. Но тут трещит телефон, говорит кто-нибудь из штаба корпуса и передает приказ из штаба армии или, может, армейской группы, а то и приказ самого Верховного командования; дело в том, что там вычитали в какой-то газетной заметке, присланной, скажем, из Спа, название этого города и отдали приказ взять город штурмом. Город, видите ли, очень важный — не зря ведь попал в газету. И ты должен штурмовать.

Вот и кладешь целый батальон на мосту. Один батальон теряешь целиком, да и от трех других мало что остается. Танки выходят из строя, едва они успели двинуться с места, а двигаются они быстро и вперед и назад.

Подбит первый танк, за ним второй, третий, четвертый, пятый.

Из пяти человек, сидящих в танке, обычно вылезают трое; они пускаются наутек, как участники кросса, отстаивающие честь Миннесоты в соревновании с городом Белуа, штат Висконсин. Я тебе еще не надоел?

— Нет. Я не поняла, что ты сказал про эти американские города. Но ты сможешь мне потом объяснить, когда захочешь. Пожалуйста, продолжай.

— Ты врываешься в город, и тут какой-то штабной ферт бросает на тебя авиацию. Может быть, налет был назначен заранее, и его просто забыли отменить. Не будем никого судить слишком строго. Я рассказываю в общих чертах. Уточнять ни к чему, да штатский все равно и не поймет. Даже ты. От этого воздушного налета не бог весть какая польза, дочка. В городе, пожалуй, тебе все равно не удержаться — слишком мало у тебя осталось людей, а теперь еще надо кого-то выкапывать из-под развалин. Или, наоборот, там и бросить — на этот счет существуют две разные теории. А тебе приказывают штурмовать. Приказывают снова.

Приказ категорически подтвердил некий политик в мундире, который за всю свою жизнь ни разу не был ра-

нен и никого никогда не убил, разве что по телефону или на бумаге. Если хочешь, вообрази его нашим будущим президентом. Или кем угодно. Но все-таки вообрази и его, и весь его штат, вообрази себе эту огромную контору, расположенную так далеко в тылу, что с нею было бы проще всего сноситься голубиной почтой. Только вот при тех мерах предосторожности, которые они соблюдали для защиты своей персоны, зенитки наверняка сбили бы голубей. Если бы смогли в них попасть.

Вот ты и пошел опять на штурм. Теперь я расскажу тебе, на что это похоже.

Полковник вглядывался в игру света на потолке. Там отражалась поверхность канала. Что-то причудливо дрожало и переливалось, как ручей, где ловят форель, двигалось вместе с солнцем, и все лилось куда-то, но никуда не уходило.

Потом он посмотрел на девушку, на ее прекрасное смуглое лицо взрослого ребенка; всякий раз, когда он глядел на это лицо, у него сжималось сердце; ему надо с ней расстаться в тринадцать тридцать пять, и тут уж ничего не поделаешь. Он сказал:

— Давай не будем больше говорить о войне, дочка.

— Нет,— сказала она.— Поговорим еще. Тогда мне хватит этого на всю неделю.

— Неделя — короткий срок. Если речь идет о тюремном заключении.

— Ты не знаешь, какая неделя длинная, когда тебе девятнадцать.

— Мне не раз приходилось чувствовать, каким длинным бывает час,— сказал полковник.— Я бы мог тебе рассказать, как бесконечно тянутся две с половиной минуты.

— Пожалуйста, расскажи.

— Я проводил двухдневный отпуск в Париже после боев у Шнее-Эйфель и по знакомству удостоился чести поехать на совещание, куда были допущены только избранные и где генерал Уолтер Беделл Смит объяснял нам, какой легкой будет операция, получившая позднее название «операции Хертгенского леса». Название, собственно, неточное. Хертгенский лес был только небольшим участком фронта. Вся местность называлась Штадтсвальд; там немецкое верховное командование и решило дать нам сражение, после того как мы взяли Аахен и проложили себе дорогу в Германию. Я тебе еще не надоел?

— Ты не можешь мне надоест. И о войне ничего не может мне надоест, кроме лжи.

— Странная ты девушка.

— Да,— сказала она.— Это я и сама давно знаю.

— Ты действительно хотела бы пойти на войну?

— Не знаю, смогла бы я или нет. Но я бы попробовала, если бы ты меня научил.

— Ни за что не буду тебя учить. Я только рассказываю тебе забавные истории.

— Предания о смерти королей.

— Нет. У нас их называли Джи-Ай. Господи, как я ненавижу эту кличку и как ее затрепали! Особенно любители комиксов. Те, кого так звали, пришли из самых разных мест. Большинство поневоле. Не все. Но все читали газету «Старс энд страйпс», и непременно нужно было, чтобы там упомянули часть, которой ты командуешь, иначе тебя считали неудачником. Обычно я и был неудачником. Я пытался дружить с корреспондентами, и на том совещании, о котором я говорю, было несколько очень хороших. Не стану называть их фамилий, не то еще пропущу кого-нибудь, а это было бы несправедливо. Всех хороших корреспондентов я не запомнил. Но были среди них и такие, которые уваливали от военной службы; были жулики, которые вопили, что ранены, когда их задевал рикошетом осколок железа, и носили нашивки за ранение, если попадали в автомобильную аварию; были пролазы, трусы, вруны, мародеры и карьеристы. На совещании не присутствовали только убитые. Среди корреспондентов тоже были убитые. Немалый процент. Но убитые, как я уже сказал, не пришли. Зато там были женщины в потрясающих мундирах.

— Как же ты все-таки женился на одной из них?

— Я ведь объяснял — по ошибке.

— Рассказывай дальше.

— В комнате висело больше карт, чем сам господь бог мог бы изучить за рабочий день, даже если бы он был в ударе,— продолжал полковник.— Большие карты, средние карты и гигантские карты. Все эти люди прикидывались, будто запросто в них разбираются, как, впрочем, и штабисты с указками в руках,— указка — это нечто вроде бильярдного кия с куцом задом.

— Не говори грубых слов. Я не знаю, что такое куций зад.

— Обрубленный или укороченный на скорую руку, — объяснил полковник. — Ничемный инструмент или ничемная личность. Это старинное выражение. Его, наверно, можно найти даже в санскрите.

— Ладно, рассказывай.

— А зачем? Разве позор заклеямишь словами?

— Если хочешь, я все запишу. Я умею точно записывать все, что слышу и о чем думаю. Конечно, иногда я делаю ошибки.

— Ну, ты просто счастливица, если умеешь точно записывать все, что слышишь или о чем думаешь. Но не смей ничего записывать из того, что я рассказываю.

Он продолжал:

— Комната была набита корреспондентами, одетыми как бог на душу положит. Одни скалят зубы, другие полны рвения. Чтобы пасти это стадо, тут же толпится, размахивая указками, кучка пистолетных фертиков. Так мы зовем тыловых крыс, выряженных в мундиры, как на маскараде; пистолетный фертик возбуждается всякий раз, когда кобура бьет его по ляжкам. Между прочим, дочка, наш пистолет, в отличие от доброго старого револьвера, дает промах в бою чаще всякого другого оружия. Не бери в подарок пистолета, разве что захочешь стукнуть им кого-нибудь по голове у «Гарри».

— Мне никогда никого не хотелось стукнуть, кроме, пожалуй, Андреа.

— Если вздумаешь когда-нибудь стукнуть Андреа, бей его дулом, а не рукояткой. Рукояткой бить неудобно и легко промазать, а если попадешь, у тебя все руки в крови, когда прячешь пистолет. А вообще бить Андреа не надо — он мой друг. И не думаю, что ударить его будет так просто.

— Да, я тоже не думаю. Пожалуйста, рассказывай дальше об этом совещании. Мне кажется, я бы теперь могла узнать пистолетного фертика сразу. Но, конечно, лучше сначала потренироваться.

— Так вот, пистолетные фертики, гордые собой и своими пистолетами, ожидали появления великого полководца, который должен был объяснить предстоящую операцию. Корреспонденты ворчали, хихикали, а те, кто был поумнее, либо сидели насупившись, либо на все плевали. У каждого был складной стульчик, как летом в университете в Чаутокве. Прости, что я употребляю американские словечки, но без этого у нас, американцев, не обойдешься.

И вот вошел генерал. Это тебе не пистолетный фертик, он крупный делец, знает толк в политике, привык ворочать большими делами. А сейчас армия — самое большое предприятие в мире. Он берет в руки указку с кучым задом и уверенно, не чуя беды, объясняет, как пойдет наступление, зачем мы его затеяли и как все это легко. Проще простого.

— Дальше,— сказала девушка.— Дай я долю тебе вина, и, пожалуйста, посмотри, как играет свет на потолке.

— Долей, а я посмотрю на свет и буду рассказывать дальше.

— Затем этот ловкий деляга — я говорю без всякой насмешки, отдавая должное его талантам,— сообщил, что у нас будет все необходимое. Всего будет вдоволь. Организация, которую именовали Верховным командованием союзными экспедиционными силами, размещалась тогда в городе Версале, возле Парижа. Нам предстояло наступать к востоку от Аахена, примерно в трехстах восьмидесяти километрах от этой резиденции. Как бы армия ни была велика, штабу все же нужно подтянуться поближе к фронту. В конце концов они перебрались в Реймс, который находился всего в двухстах сорока километрах от передовой. Но только много месяцев спустя. Я понимаю, что директору крупной фирмы лучше не общаться со своими рабочими. Я понимаю, что армия большая и это создает свои трудности. Я даже кое-что понимаю в организации передвижения войск, что вовсе не так сложно. Но во всей мировой истории ни один командующий не сидел так далеко в тылу.

— Расскажи, как вы взяли город.

— Хорошо. Но я бы не хотел тебя огорчать.

— Ты меня никогда не огорчаешь. У нас старинный город, и наши люди всегда воевали. Мы уважаем военных больше других людей и, по-моему, немощно их понимаем. Мы знаем, что характер у них нелегкий. Женщинам они надоедают быстро.

— А я тебе надоел?

— А как ты думаешь? — спросила девушка.

— Я даже себе надоел, дочка.

— Вряд ли, Ричард; вряд ли ты занимался бы чем-нибудь всю жизнь, если бы тебе это надоело. Пожалуйста, милый, не лги, ведь у нас осталось так мало времени.

— Хорошо, не буду.

— Видишь, ты должен мне все рассказать, чтобы избавиться от горечи.

— Я тебе все расскажу.

— Понимаешь, я хочу, чтобы ты умер с легким сердцем. Ах, я совсем не то говорю! Не давай мне говорить чепуху!

— Не дам, дочка.

— Пожалуйста, рассказывай дальше и говори все, что у тебя на душе.

Глава тридцать первая

— Слушай, дочка,— сказал полковник.— Хватит говорить о великих мира сего, о больших шишках, которых у нас в одном Канзасе больше, чем на всех ваших кипарисах. В пищу они не годятся — это чисто канзасский продукт. Но мы на фронте их получали большими порциями. Каждый божий день. Они входили в паек. А пайки у нас были разные, одни получше, другие похуже.

Так мы и воевали. Скучная это материя, хоть и поучительная. Вот как бывает на войне — не знаю только, кому это интересно.

Вот как это бывает. В тринадцать ноль-ноль Красные передают, что двинутся вслед за Белыми. В тринадцать ноль пять (запомни, если можешь, дочка, это пять минут второго) Синие запрашивают (надеюсь, ты знаешь, кто такие Синие!): «Сообщите, когда выступаете». Красные сообщают, что двинутся вслед за Белыми.

Видишь, как просто. Каждый может поупражняться в этом перед завтраком.

— Но не могут же все служить в пехоте,— вполголоса сказала девушка.— Пехотинцев я уважаю больше всего на свете, кроме разве что хороших, честных летчиков. Пожалуйста, рассказывай; а я тебя обниму.

— Хорошие летчики — молодцы, их и надо уважать,— сказал полковник.

Он поднял глаза, посмотрел, как мерцает свет на потолке, и с отчаянием вспомнил о потерянных батальонах и загубленных людях. Никогда больше не будет у него такого полка, никогда! Правда, не он его сколачивал. Он получил его в наследство. Но какое-то время полк доставлял ему огромную радость. Теперь половина его убита, а остальные покалечены. Кто был ранен в живот, кто в

голову, в руки или в ноги, в шею, в спину, кому повезло — в ягодицы, кому нет — в грудь. В лесу людей ранило в такие места, куда ни за что не попало бы в открытом поле. И раненые становились инвалидами на всю жизнь.

— Это был хороший полк,— сказал оп.— Можно даже сказать, прекрасный полк, пока я не уничтожил его по приказу начальства.

— Но зачем слушаться чужих приказов, если ты знаешь, что они неправильные?

— В нашей армии ты должен слушаться, как собака,— пояснил полковник.— Одна надежда, что тебе попадетсЯ хороший хозяин.

— А какие тебе попадались на самом деле?

— Хорошие мне попадались только два раза. После того как я сам стал командовать, мне часто попадались славные люди, но хорошие хозяева — только два раза.

— И поэтому ты сейчас не генерал? Мне бы так хотелось, чтобы ты был генералом.

— Мне тоже,— сказал полковник.— Хотя, может быть, и не так, как тебе.

— А ты не попробуешь заснуть? Засни, я тебя прошу.

— Хорошо,— сказал полковник.

— Я подумала, что, если ты заснешь, ты хотя бы во сне избавишься от дурных воспоминаний.

— Хорошо,— сказал полковник.— Большое тебе спасибо.

Что поделаешь, господа! Повиноваться — удел мужчины.

Глава тридцать вторая

— Ты хорошо поспал,— нежно и ласково сказала ему девушка.— Тебе ничего не нужно?

— Ничего,— сказал полковник.— Спасибо.

Тут он вдруг ошетинился и добавил:

— Дочка, я бы мог заснуть, сидя на электрическом стуле с разрезанными штанинами и остриженной головой. Я сплю, когда нужно и сколько нужно.

— Я так не могу,— ответила сонным голосом девушка.— Я сплю, только когда меня клонит ко сну.

— Ты мое чудо,— сказал полковник.— Ты и спишь лучше всех.

— Вот уж нечем хвастать,— сквозь сон сказала девушка.— Мне просто хорошо спится.

— Вот и поспи, пожалуйста.

— Нет. Рассказывай мне тихо-тихо и положи свою большую руку в мою.

— А ну ее к черту, мою руку! — сказал полковник. — И с каких это пор она такая больная?

— Она больная, — сказала девушка. — Больнее, чем ты даже можешь себе представить. Ну, рассказывай, пожалуйста, о войне, но не будь таким кровожадным.

— Что ж, это не трудно, — сказал полковник. — Не будем уточнять время. Погода облачная, а место действия — отметка 986 342. Обстановка? Выкуриваем противника огнем артиллерии и минометов. Начальник оперотдела передает приказ начальника штаба — привести Красных в боевую готовность к семнадцати ноль-ноль. Начальник штаба приказывает тебе привести себя в боевую готовность и пустить в ход побольше артиллерии. Белые сообщают, что дела идут педурно. Начальник штаба передает, что рота «А» перебрасывается на усиление роты «Б». Рота «Б» остановлена огнем противника и, не выполнив задания, застряла. Начальник штаба недоволен оборотом дела. Но это совершенно секретно. Он приказывает усилить артподготовку, а в резерве артиллерии не осталось...

И на что тебе сдалась эта война, дочка? Не понимаю. А может, и понимаю. Кому нужна правда о войне? Ну да ладно, вот тебе настоящая война, война по телефону, а потом, если хочешь, я опишу звуки, запахи и распишу, кто, когда и где был убит.

— Я хочу, чтобы ты рассказывал только то, что сам хочешь.

— Я расскажу тебе все, как было, — сказал полковник. — А генерал Уолтер Беделл Смит и по сей день этого не знает. Но, может, я ошибаюсь, как ошибался не раз.

— Хорошо, что нам не нужно встречаться ни с ним, ни с тем салонным шаркуном, — сказала девушка.

— На этом свете нам они не встретятся, — сказал полковник. — А к воротам ада я приставлю караул, чтобы туда таких типов не впускали.

— Ты говоришь, как Данте, — сказала она спросонок.

— Я и есть мистер Данте, — сказал он. — В данный момент.

Так оно теперь и было, и он описал все круги ада. Он был так же пристрастен, как когда-то Данте, но он их все-таки описал,

— Я опущу подробности, тебе ведь хочется спать, и в этом нет ничего удивительного,— сказал полковник.

Он снова стал наблюдать за причудливой игрой света на потолке. Потом посмотрел на девушку,— она была красивее всех девушек на свете.

Он видел, как красота приходит и уходит, а уж когда уходит, то летит быстрее, чем на крыльях. Красавицы так быстро превращаются в старую рухлядь! Но эта, пожалуй, долго не сойдет с круга. «Темноволосые женщины сохраняются лучше,— подумал он и потом посмотрел, какое у нее тонкое лицо.— У нее хорошая порода, она может держаться вечно. В Америке большинство знаменитых красавиц вышли из-за прилавка, торговали газированной водой и не помнят фамилии деда, разве что он был из немцев и звался Шульд. Или Шлиц».

«Ну, это уж нехорошо,— сказал он себе,— не смей говорить такие вещи этой девушке, они ей не понравятся, а она крепко спит, свернувшись калачиком, как кошка».

— Спи спокойно, дорогая любовь моя, а я, так и быть, расскажу тебе, как было дальше.

Девушка спала, она все еще держала его искалеченную руку, которая ему так опротивела, а он чувствовал ее дыхание,— так дышат только в молодости, когда заснуть легко.

Полковник рассказывал ей, не произнося ни слова.

«Итак, после того, как я имел честь услышать от генерала Уолтера Беделла Смита, как легко будет наступать, мы перешли в наступление. Тут была и знаменитая Красная дивизия, она свято верила во всю ту шумиху, которую сама вокруг себя подняла. И Девятая — та была лучше, чем наша. Наконец, были мы — когда нам говорили «вперед», мы поднимались и шли».

На чтение комиксов времени у нас не хватало, да, впрочем, и ни на что другое: еще не рассвело, а мы уже на марше. Это не так-то легко, тут уж не до Великого Плана, думаешь о своей дивизии, и только.

Мы носили четырехлистник клевера — это ничего не означало, но нам нравилось. И стоит мне теперь увидеть такую нашивку, как внутри у меня все переворачивается. Люди принимали это за плющ. Но ничего подобного, это был клевер с четырьмя листиками, делавший вид, будто он плющ.

Согласно приказу, мы должны были наступать вместе со знаменитой Красной дивизией — Первой пехотной дивизией американской армии, а эта дивизия и ее офицер по связи с печатью, вечно напевавший модную песенку, не давали нам забыть, с кем мы имеем дело. Сам он был славный малый, да такая уж у него была должность.

Втирать очки — дерьмовое дело, и оно легко может осточертеть, если только вы не любите запаха или вкуса дерьма. Я никогда не любил ни того, ни другого. Правда, когда я был мальчишкой, я любил ходить босиком по коровьему навозу. Но теперь я не люблю дерьма и слышу его вонь за добрую тысячу ярдов.

Итак, мы двинулись в наступление, растянувшись всеми тремя дивизиями в одну линию, как раз там, где этого хотели немцы. Не будем поминать лихом генерала Уолтера Беделла Смита. Он не злодей. Он только наобещал с три короба и расписал, как пойдет дело. В нашем демократическом обществе злодеев как будто быть не должно. Генерал Уолтер Беделл Смит всего-навсего дьявольски просчитался. Точка,— добавил про себя полковник.

Вплоть до второго эшелона у всех поснимали нашивки — фрицы не должны были знать, что наступаем именно мы, хорошо знакомые им три дивизии. А мы наступали, растянувшись в линию, без всяких резервов. Не берусь тебе объяснять, дочка, что это значит. Во всяком случае, ничего хорошего. Месту, где мы должны были дать бой,— а я к нему как следует присмотрелся,— суждено было стать новым Пашендейлем. Только это был лес, и снаряды обладали двойной убойной силой. Может, я перехватил. Но так уж я думаю.

Злосчастная Двадцать восьмая дивизия, наш сосед справа, торчала здесь уже довольно давно, так что мы знали точно, какво воевать в этих лесах. Думаю, что обстановку, мягко говоря, можно было назвать неблагоприятной.

Нам приказали ввести в бой один полк еще до начала наступления. Значит, противник мог захватить, по крайней мере, одного пленного, и снимать дивизионные нашивки теперь уже было глупо. Все равно они нас будут ждать. Будут ждать наших ребят с листиками клевера, и те, как ослы, отправятся прямо в ад, где пробудут ровно сто пять дней. Не будем приводить цифры — штатским они все равно ничего не скажут. Да и типам из штаба

Верховного командования тоже — никого из них мы, правда, в тех лесах и не видели. По чистой случайности, — а наверху такие происшествия всегда зовут случайностью, — весь полк был уничтожен. Никто ни сном ни духом не был в этом виноват, и меньше всего тот, кто этим полком командовал. Это был человек, с которым я бы охотно делил свои досуги в аду, и, кто его знает, может, мне это еще удастся.

Вот будет смешно, если вместо того, чтобы отправиться в ад, как мы рассчитываем, мы попадем в одно из этих заведений для фрицев, вроде «Валгаллы», и не сумеем там ужиться с местными жителями. Но, даст бог, меня посадят за один столик с Роммелем и Удетом — тогда это будет точь-в-точь как в горном пансионе для лыжников. Нет, скорее всего мы все-таки попадем в ад, но я вот даже в ад не верю.

Так или иначе, полк получил свежее пополнение, как и всякий американский полк. Не буду объяснять, как это происходит, — ты всегда сможешь прочесть книгу, написанную кем-нибудь из пополнения. В конечном счете дело сводится к тому, что ты остаешься на передовой, пока тебя не убьют, не ранят или пока ты не спишишь и не получишь увольнение вчистую. В общем, система не хуже всякой другой, и ей нельзя отказать в логике, учитывая трудности войсковых перевозок. Но при этом остается несколько недобитых субъектов, которые ведут счет потерям и не больно-то хотят оставаться в этом лесу.

Их настроение можно довольно точно передать словами: «А подите вы все к разэтакой матери».

И поскольку я сам вот уже двадцать восемь лет недобитый субъект, я их отлично понимал. Но они были солдатами, деваться им было некуда, и большинство из них полегло в этих лесах, когда мы брали три городка, которые выглядели так безобидно, а на деле оказались настоящими крепостями. Они были просто ловушкой, а мы об этом и не подозревали. Выражаясь на глупом языке моего ремесла, не исключено, что тут не сработала разведка».

— Мне ужасно жалко тот полк, — произнесла девушка.

Она сказала это со сна.

— Да, — ответил полковник. — Мне тоже. Давай-ка выпьем за него. А потом поспи, пожалуйста, еще, дочка. Война кончилась и уже позабыта.

«Только, пожалуйста, не думай, что я такого высокого о себе мнения, дочка,— сказал он, но не произнес этого вслух. Его последняя любовь заснула опять. Спала она совсем не так, как журналистка. Он не любил вспоминать, как та спит, но помнил. И хотел позабыть.— Та спала не очень-то красиво,— думал он.— Не то что эта девушка, которая будто и не спит, а только веки опустила, хотя и спит. Спи спокойно»,— подумал он.

«А кто ты, черт возьми, такой, чтобы ругать ремесло журналисток? Ведь и сам ты выбрал неважное ремесло, да и в нем не очень-то преуспел.

Я хотел дослужиться до генеральской должности в американской армии и своего достиг. Но карьеры так и не сделал и теперь ругаю всех, кто добился успеха».

Его покаянное настроение длилось недолго, и он про себя добавил: «Помолчим о подхалимах, взяточниках и пролазах, которые хоть и командовали, но никогда не дрались.

Правда, под Геттисбергом было убито несколько воспитанников военной академии. Но то было знаменитое побоище, и обе стороны дрались не за страх, а за совесть.

Не злись. В тот день, когда налетел экспресс «Валгалла», по ошибке убили генерала Макнейра. Так что же ты злишься? Значит, убивают и выпускников военной академии, ведь статистика это подтверждает.

А как же я могу вспоминать, если не буду злиться?

Ладно, злись, если иначе не можешь. И расскажи обо всем этой девушке, но только молча, чтобы ее не огорчать,— посмотри, как хорошо она спит».

Глава тридцать четвертая

«Спи спокойно, любовь моя, а когда проснешься, все уже будет досказано, я шуткой отвлеку тебя от расспросов о моем *triste métier*¹, и мы отправимся покупать маленького негра или мавра из черного дерева с точеным лицом и тюрбаном, усыпанным алмазами. Ты его приколешь к платью, мы пойдем выпить к «Гарри» и повидаемся с друзьями, которые окажутся там в этот час.

Мы пообедаем у «Гарри» или вернемся обедать сюда; в это время мои вещи будут уже уложены. Мы с тобой

¹ Скверное ремесло (фр.).

попрощаемся, и я спущусь с Джексонсом в motoscafo¹, переброшусь веселой шуткой с Gran Maestro, помашу рукой всем прочим кавалерам Ордена, и, судя по тому, как я себя чувствую, ставлю один против десяти или два против тридцати, что больше мы с тобой никогда не увидимся».

«К дьяволу! — сказал он, ни к кому не обращаясь, и, уж во всяком случае, не произнося этого вслух, — сколько раз я чувствовал себя так перед боем, и почти каждую осень, и всегда, когда покидал Париж. Самочувствие, верно, ничего еще не доказывает.

Да и кому до этого дело, кроме меня самого, Gran Maestro и этой девушки? Уж во всяком случае, не начальству!

Мне и самому на это в высшей степени наплевать. Хотя пора бы мне научиться или привыкнуть не плевать на то, что и плевать не стоит. Это так же ясно, как то, что шлюха — всего только шлюха, то есть женщина, которая... и т. д.»

«Но давай не будем об этом думать, мой лейтенант, капитан, майор, полковник или господин генерал. Брось, и будь ты проклята, уродливая старуха, которую когда-то так здорово написал Иероним Босх. Вложи свою косу в ножны, старушка, если у тебя есть для нее ножны. Или, — подумал он, вспомнив о Хертгенском лесе, — возьми косу и подавись!»

«Да, это был Пашендейл, настоящий Пашендейл с взлетающими в воздух стволами деревьев», — рассказывал он одним только отсветам на потолке. Он посмотрел, крепко ли спит девушка, боясь огорчить ее даже своими мыслями.

Потом он взглянул на портрет и подумал: «Вот она передо мной сразу в двух положениях: одна лежит, чуть-чуть повернувшись на бок, а другая глядит мне прямо в лицо. Ну и повезло же тебе, старый хрыч, чего же ты ноешь!»

Глава тридцать пятая

«В первый же день мы потеряли там трех батальонных командиров. Одного убили через двадцать минут, двух других — чуть позже. Для какого-нибудь журналиста это холодные цифры потерь. Но хорошие командиры батальо-

¹ Моторная лодка (ит.).

нов не растут на елке, даже на рождественских елках, которых не счесть в тех лесах. Не знаю, сколько раз мы теряли командиров рот. Но я мог бы установить и это.

Их тоже не пекут и не выращивают, как картошку. Мы получали кое-какое пополнение, но, помнится, я думал: проще и целесообразнее пристреливать их сразу, на месте, где они высаживаются, приезжая из тыла, чем потом тащить оттуда, где их все равно убьют, и хоронить по всем правилам. Чтобы везти их трупы, нужны люди и горючее; чтобы рыть могилы, опять же нужны люди. А эти люди тоже должны воевать и подставлять грудь под пули.

Все время сыпал снег или какая-то крупа, похожая на снег, был дождь, туман; дороги были заминированы, кое-где лежало чуть не по четырнадцать мин в ряд, машины вязли в грязи, буксовали, мы постоянно теряли машины и, конечно, людей, которые в них ехали.

Противник вел адский минометный огонь и простреливал все просеки из пулеметов и автоматов; он продумал все до тонкостей, и, как ни хитри, ты все равно попадад в ловушку. К тому же он пустил в ход тяжелую артиллерию.

Человеку очень трудно было там выжить, даже если он сидел смирно. А мы еще ходили в атаку — все время, изо дня в день.

Не будем больше об этом думать. Ну его к черту. Вот вспомню еще только два случая, чтобы от них отвяжаться. Один произошел на голом пригорке, по дороге в Гроссгау.

Как раз перед тем, как выбраться на открытое место, — а оно просматривалось противником и простреливалось полевыми пушками, — вы попадали в мертвое пространство, где вас могли достать только гаубичным заградительным огнем или из минометов справа. Когда мы выбили противника, оказалось, что его минометчики хорошо просматривали и этот участок.

И все-таки это было довольно безопасное место; ей-богу, не вру, да тут и не соврешь. Попробуй-ка, обмани тех, кто побывал в Хертгенском лесу; соври — и тебя уличат, не успеешь и рта открыть, будь ты хоть трижды полковник.

Вот тут мы и встретили грузовик. Лицо у водителя было такое же серое, как у всех, и он сказал:

— Господин полковник, там впереди, посреди дороги, лежит убитый солдатик; всякий раз, когда идет машина, приходится по нему ехать, и это, наверно, производит на людей скверное впечатление.

— Мы его уберем.

И мы его убрали с дороги.

Не могу забыть, какой он был на ощупь, когда мы его поднимали, как его сплющило и как странно видеть сплюснутую голову человека.

И еще. Мы сбросили целую кучу белого фосфора на город, прежде чем его, так сказать, захватили. Я первый раз в жизни видел, как немецкая собака жрет поджаренного фрица. Потом я видел, что за него принялась еще и кошка. Голодная кошка, хотя в общем и симпатичная с виду. Но ты бы могла себе представить, дочка, чтобы добрая немецкая кошка закусывала добрым немецким солдатом? Или что добрая немецкая собака может слопать окорок доброго немецкого солдата, поджаренный на белом фосфоре?

Сколько можно рассказать таких историй? Уйму, но что проку? Расскажи их хоть тысячу — войне все равно не помешаешь. Люди возражат: мы же теперь не воюем с фрицами, да и кошка ела не меня и не моего брата Гордона, тот был на Тихом океане. Может, Гордона съели крабы. А может, он просто растворился в океане.

В Хертгене убитые превращались в сосульки, а холод стоял такой, что даже мертвые были румяными от мороза. Очень это было странно. Летом все мертвецы были серые и желтые, как восковые куклы. А зимой мертвецы были румяные.

Настоящий солдат не станет рассказывать, как выглядят свои мертвецы, — сказал он, обращаясь к портрету. — Впрочем, с этой темой я покончил. А вот как насчет роты, которая полегла на мосту? Что ты скажешь о ней, старый вояка?

Они мертвы, — сказал он. — Лопни мои глаза.

Так с кем же мне чокнуться бокалом вальполичеллы? Скажи, портрет, когда мне разбудить твой оригинал? Нам еще надо зайти к ювелиру. И я буду шутить и занимать тебя веселым разговором.

А что на свете веселого, а, портрет? Тебе ведь и карты в руки. Ты умнее меня, хотя я и больше твоего поштался по свету.

Ладно, нарисованная девушка,— сказал полковник, не произнося вслух ни слова,— на этом мы кончим рассказ, а ровно через одиннадцать минут я разбужу живую девушку, мы выйдем с ней в город, будем веселиться, а тебя оставим здесь, и тебя здесь запакуют.

Я не хотел тебя обидеть. Это просто неуклюжая шутка. Я вообще не хочу тебя обижать, ведь отныне мы будем жить с тобой вместе. Надеюсь, что будем жить»,— добавил он и выпил бокал вина.

Глава тридцать шестая

День был ветреный, холодный и ясный; они стояли у витрины ювелира и рассматривали фигурки негритят из черного дерева, украшенные драгоценными камнями. «Какой из них лучше?» — думал полковник.

— Какой тебе больше нравится, дочка?

— Пожалуй, тот, что справа. У него лицо симпатичнее, верно?

— Они оба симпатичные. Но живи мы с тобой в прежние времена, я бы все же предпочел, чтобы тебе прислуживал тот.

— Хорошо. Тогда купим его. Давай войдем в магазин и посмотрим на них поближе. А я спрошу, сколько они стоят.

— Я один схожу.

— Нет, цену лучше спрошу я. С меня возьмут меньше. Ты же все-таки богатый американец.

— Et toi ¹, Рембо?

— Верлен из тебя вышел бы очень смешной,— сказала девушка.— Давай будем какими-нибудь другими знаменитостями, ладно?

— Входите, ваше величество, и поскорее купим эту проклятую побрякушку.

— Настоящий Людовик Шестнадцатый из тебя тоже не получится.

— Но зато я поеду вместе с тобой на казнь и плюну с эшафота.

— Давай забудем о казнях и обо всех горестях, купим игрушку, а потом пойдем к Чиприани и будем играть в каких-нибудь знаменитостей.

¹ А ты (фр.).

Они вошли в магазин и попросили показать им негритят. Девушка узнала, сколько они стоят, завязался оживленный разговор, после чего цену порядком снизили. Все же денег потребовалось больше, чем было у полковника.

— Я схожу к Чиприани и возьму у него взаймы.

— Не надо,— сказала девушка. Она попросила продавца: — Положите это в футляр и отправьте к Чиприани. Скажите, что полковник просит заплатить и спрятать до его прихода.

— Пожалуйста,— сказал продавец.— Все будет сделано.

Они снова вышли на улицу, на солнце, под беспощадные удары ветра.

— Имей в виду, твои камни я оставил в сейфе «Гритти» на твое имя,— сказал полковник.

— Не мои, а твои.

— Нет,— сказал он ей мягко, но так, чтобы она хорошенько поняла.— Есть вещи, которых делать нельзя. Ты это знаешь. Ты вот не выходишь за меня замуж, и я это понимаю, хотя и не могу с этим согласиться.

— Ну что ж,— сказала девушка.— Понятно. Но возьми хоть один камень на счастье.

— Нет. Не могу. Он слишком дорого стоит.

— И портрет стоит денег!

— Это другое дело.

— Да,— признала она.— Верно. Кажется, я начинаю понимать.

— Я бы взял у тебя в подарок лошадь, если бы я был беден, молод и хорошо ездил верхом. Но не мог бы принять автомобиль.

— Да, теперь я наконец поняла. Куда бы нам пойти, сейчас, сию минуту, чтобы ты мог меня поцеловать?

— В этот переулок, если ты тут никого не знаешь.

— А мне все равно, кто здесь живет. Я хочу, чтобы ты меня покрепче обнял и поцеловал.

Они свернули в переулок и дошли до тупика, которым он кончался.

— Ох, Ричард,— сказала она.— Дорогой...

— Я тебя люблю.

— Пожалуйста, люби меня.

— Я тебя люблю.

Ветер поднимал ее волосы и закидывал ему за шею, и он поцеловал ее снова, чувствуя, как ветер треплет по его щекам шелковистые пряди.

Потом она вдруг резко вырвалась, посмотрела на него и сказала:

— Пойдем-ка лучше к «Гарри».

— Пошли. Давай играть в великих людей?

— Да,— сказала она.— Давай играть, будто ты — это ты, а я — это я.

— Давай,— сказал полковник.

Глава тридцать седьмая

У «Гарри» никого не было, кроме редких утренних посетителей, которых полковник не знал, и двоих людей, занимавшихся своим делом за стойкой.

В баре бывали часы, когда он наполнялся знакомыми с такой же неумолимой быстротой, с какой растет прилив у Мон-Сен-Мишеля. «Вся разница в том,— думал полковник,— что часы прилива меняются каждый день, а часы наплыва у «Гарри» неизменны, как Гринвичский меридиан, метр-эталон в Париже или самомнение французского командования».

— Ты знаешь кого-нибудь из этих любителей выпить с утра? — спросил он девушку.

— Нет. Сама с утра не пью и никогда их не встречала.

— Их отсюда смоем, когда начнется наплыв.

— Нет. Как только народу прибавится, они уйдут сами.

— Тебе не обидно, что мы пришли сюда не вовремя?

— Ты думаешь, что я сноб, если наш род такой старый? Как раз мы-то снобами и не бываем. Снобы — это те, кого ты зовешь хлюстами, и богатые выскочки. Ты когда-нибудь видел столько новых богатей?

— Да,— сказал полковник.— В Канзас-Сити, в загородном клубе. Я туда ездил из Форт-Райли играть в поло.

— И это было так же противно?

— Наоборот, очень мило. Мне там нравилось, а эта часть Канзас-Сити очень красивая.

— Правда? Мне хочется туда с тобой поехать. А у них там тоже есть туристские лагеря? Такие, где мы сможем с тобой остановиться?

— Конечно. Но мы остановимся в гостинице «Мюльбах»,— там самые огромные в мире кровати,— и сделаем вид, будто мы нефтяные магнаты.

— А где мы поставим наш «кадиллак»?

— Ага, теперь это «кадиллак»!

— Да. Если не хочешь брать большой «бьюик» с гидравлическим управлением. Я объехала на нем всю Европу. Он снят в том номере «Вог», который ты мне послал.

— Придется, пожалуй, выбрать что-нибудь одно,— сказал полковник.— В общем, ту машину, на которой мы решим поехать, поставим в гараж возле «Мюльбаха».

— А «Мюльбах» очень роскошный отель?

— Необычайно. Тебе понравится. Когда выедем из города, мы двинем на север до Сент-Джо, чего-нибудь выпьем в баре Рубиду, может, закажем и по второй, переедем через реку и свернем на запад. Сначала будешь вести ты, а потом мы сможем меняться.

— То есть как, меняться?

— Будем вести по очереди.

— Сейчас веду я.

— Давай поскорее проедем через эти скучные места и доберемся до Чимни-Рока и дальше до Скотсблаффа и Торрингтона. Вот когда ты увидишь настоящую природу!

— У меня есть все дорожные карты и книжка с советами, где надо обедать, и путеводитель по туристским лагерям и гостиницам.

— И ты все это изучаешь?

— Да, я это изучаю по вечерам, вместе с книжками, которые ты мне послал. А где мы получим права?

— В Миссури. Машину мы купим в Канзас-Сити. А туда мы летим, разве ты забыла? Можно, конечно, сесть и на хорший поезд.

— Я думала, мы полетим до Альбукерке.

— Это в другой раз.

— Мы будем останавливаться, как только стемнеет, в самых лучших гостиницах, по путеводителю. Я приготовлю тебе твой любимый напиток, ты в это время будешь читать газеты и «Лайф», «Тайм» или «Ньюсуик», а я — свеженький «Вог» и «Харперс базар».

— Да. Но мы непременно вернемся в Венецию.

— Конечно. И машину привезем. Мы поедem на итальянском пароходе, выберем самый лучший. А из Генуи на машине прямо сюда.

— Ты не хочешь где-нибудь переночевать по дороге?

— Зачем? Нам надо поскорей попасть домой.

— А где будет наш дом?

— Ну, это мы еще решим. В Венеции всегда сколько угодно домов. А тебе не хочется жить иногда за городом?

— Хочется,— сказал полковник.— Конечно, хочется.

— Тогда, проснувшись, мы будем видеть деревья. А какие деревья мы увидим во время путешествия?

— Главным образом сосну и тополь вдоль ручьев и еще осину. Подожди, ты увидишь, как осенью желтеет осина.

— Ладно, подожду. А где мы остановимся в Вайоминге?

— Сначала заедем в Шеридан, а там будет видно.

— Шеридан — красивое место?

— Замечательное. Мы поедем на машине туда, где шел бой с индейцами, — я тебе о нем расскажу. Потом мы отправимся дальше, в сторону Биллинса, где погиб этот дурень Джордж Армстронг Кэстер, ты увидишь мемориальные доски на том месте, где их всех перебили, а я объясню тебе, как шло сражение.

— Ах, как здорово! А на что Шеридан больше похож: на Мантую, на Верону или на Веченцу?

— Ни на один из этих городов. Он стоит высоко в горах, почти как Скио.

— Значит, он похож на Кортину?

— Ничуть. Кортина — это высокое плато, окруженное горами. Шеридан прилепился прямо к склону. Возле Биг-Хорна нет холмов. Горы поднимаются прямо из долины. Оттуда виден Облачный пик.

— А наши машины туда взберутся?

— Еще как взберутся. Но только я бы предпочел машину без гидравлического управления.

— Да и я могу без нее обойтись, — сказала девушка. Потом она выпрямилась, чтобы не заплакать. — Как и без всего остального.

— Что ты будешь пить? — спросил полковник. — Мы еще ничего не заказали.

— Я, пожалуй, ничего не буду пить.

— Два очень сухих martini и стакан холодной воды, — сказал полковник бармену.

Он сунул руку в карман, отвинтил крышку у бутылочки с лекарством и вытряхнул две большие таблетки на ладонь левой руки. Держа их, он снова завинтил крышку. Это было не так уж трудно для человека, который нередко обходился без помощи правой руки.

— Я ведь сказала, что ничего не буду пить.

— Ладно, дочка. По-моему, тебе не мешает выпить. Пусть пока постоит. А не то я сам выпью. Пожалуйста, не сердись. Я нечаянно заговорил так резко.

— Мы еще не взяли нашего маленького негритечка, который будет за мной ухаживать.

— Да. Я не хотел его брать, пока не придет Чиприани и я не расплачусь.

— Какие у тебя на все строгие правила!

— Да, строгие,— сказал полковник.— Ты уж меня, дочка, прости.

— Скажи три раза «дочка».

— *Ni ja, figlia*¹, дочка.

— Не знаю, что и делать,— сказала она.— Давай лучше отсюда уйдем. Я люблю, когда на нас с тобой смотрят, но сегодня мне никого не хочется видеть.

▲ Футляр с негретенком лежит на кассе, сверху.

— Знаю. Я давно его заметила.

К ним подошел бармен и принес напитки, холодные как лед, судя по запотевшему стеклу бокалов; он подал и стакан воды.

— Принесите тот пакетик, который прислали на мое имя, он лежит сверху на кассе,— сказал полковник.— Скажите Чиприани, что я пришлю ему чек.

Он изменил свое решение.

— Хочешь выпить, дочка?

— Да. Если ты не рассердишься, что я тоже передумала.

Они чокнулись и выпили. Чокнулись они так легко, что бокалы едва коснулись друг друга.

— Ты был прав,— сказала она, чувствуя, как внутри разливается тепло и мгновенно пропадает грусть.

— Ты тоже была права,— сказал он, сжимая в ладони две таблетки.

Он решил, что принять их сейчас с водой неприлично. Поэтому, когда девушка отвернулась, провожая взглядом одного из утренних посетителей, он запил их martini.

— Ну как, пойдем, дочка?

— Да. Конечно.

— Бармен! — позвал полковник.— Сколько с меня? Не забудьте сказать Чиприани, что за эту ерунду я пришлю ему чек.

Глава тридцать восьмая

Они пообедали в «Гритти», и, развернув негретенка из черного дерева, девушка приколотла его у левого плеча. Фигурка была длиной около трех дюймов и довольно кра-

¹ Дочка (*исп., ит.*).

сивая, если любишь такие вещи. «А не любят их только дураки»,— думал полковник.

«Не смей говорить грубости даже про себя,— сказал он мысленно.— Постарайся получше себя вести, пока вы с ней не распрощались. Что это за слово «прощай»,— думал он.— Так и просится в альбомные стишки».

«Прощай и *bonne chance*¹, и *hasta la vista*², а мы говорили просто *merde*³. И все тут! Счастливый путь — вот это хорошие слова! Прямо из песни,— думал он.— Счастливый путь, счастливый путь, вот и ступай в дорогу, унося с собой эти слова. И точка»,— думал он.

— Дочка,— сказал он,— давно я не говорил, что тебя люблю?

— С тех пор, как мы сели за столтик.

— Ну вот, а теперь говорю.

Когда они пришли в гостиницу, она сходила в дамскую комнату и терпеливо расчесала волосы. Вообще она не любила дамских комнат.

Она подкрасила губы, чтобы сделать рот таким, какой любит он, и сказала себе, старательно размазывая помаду: «Только ни о чем не думай. Только не думай. И не смей быть грустной, ведь он уезжает».

— Какая ты красивая.

— Спасибо. Мне хочется для тебя быть красивой, если у меня это выйдет и если я вообще могу быть красивой.

— Какой звучный язык итальянский.

— Да. Мистер Данте тоже так думал.

— *Gran Maestro*,— позвал полковник.— Чем нас покоряет в вашем *Wirtschaft*?⁴

Gran Maestro искоса наблюдал за ними — ласково и без всякой зависти.

— Вы хотите мясо или рыбу?

— Сегодня не пятница,— сказал полковник.— Рыбу есть не обязательно. Поэтому я буду есть рыбу.

— Значит, камбала,— сказал *Gran Maestro*.— А вы, сударыня?

— Все, что вы мне дадите. Вы больше меня понимаете в еде, а я люблю все.

¹ Всего хорошего (*фр.*).

² До свидания (*исп.*).

³ Дерьмо (*фр.*).

⁴ Заведение (*нем.*).

— Решай сама, дочка.

— Нет. Пусть решает тот, кто больше меня понимает. Я после пансиона все никак досыта не наемся.

— Я вам приготовлю сюрприз,— сказал Gran Maestro.

У него было длинное доброе лицо, седые брови над чуть дряблыми веками и всегда веселая улыбка старого солдата, который радуется тому, что еще жив.

— Что новенького у нас в Ордене? — спросил полковник.

— Я слышал, что у нашего патрона неприятности. Конфисковали все имущество. Или, по крайней мере, наложили арест.

— Надеюсь, ему не грозит ничего серьезного?

— За патрона можно не беспокоиться. Он пережил бури пострашнее.

— За здоровье нашего патрона! — сказал полковник.

Он поднял бокал, наполненный только что откупоренной настоящей вальполичеллой.

— Выпей за него, дочка.

— Не буду я пить за такую свинью,— сказала девушка.— И к тому же я не принадлежу к вашему Ордено.

— Нет, вы уже в него приняты,— сказал Gran Maestro.— *Per merito di guerra*¹.

— Тогда, видно, придется за него выпить,— сказала она.— Но я в самом деле принята в Орден?

— Да,— ответил Gran Maestro.— Правда, диплома вы еще не получили, но я назначаю вас Верховным Секретарем. Полковник откроет вам тайны Ордена. Откройте ей все, прошу вас, полковник.

— Сию минуту,— сказал полковник.— А рябых поблизости нет?

— Нет. Он ушел со своей возлюбленной. С мисс Бедкер.

— Тогда другое дело,— сказал полковник.— Сейчас открою. Есть только одна великая тайна, которую тебе надо постичь. Поправьте меня, Gran Maestro, если я допущу ошибку.

— Приступайте,— сказал Gran Maestro.

— Приступаю,— сказал полковник.— Слушай внимательно, дочка. Это Высочайшая тайна. Слушай! «Любовь есть любовь, а радость есть радость. Но все замирает, когда золотая рыбка умирает».

¹ За военные заслуги (ит.).

— Ты приобщилась к тайне,— возгласил Gran Maestro.

— Я счастлива и очень горжусь, что вступила в Орден,— сказала девушка.— Но, честно говоря, какой-то он грубый, ваш Орден.

— Что верно, то верно,— сказал полковник.— А теперь, Gran Maestro, долой таинственность и скажите, что мы будем есть?

— На первое: жюльен из крабов по-венециански, но холодный. В кокотнице. Потом камбала для вас, а для вас, сударыня, поджарка. Какие прикажете овощи?

— Все, какие есть,— сказал полковник.

Gran Maestro ушел, и полковник сперва посмотрел на девушку, а потом на Большой канал за окном, на волшебные переливы света, которые были видны даже отсюда, из самого дальнего конца бара, ловко переоборудованного в ресторан, и сказал:

— Дочка, я тебе говорил, что я тебя люблю?

— Ты мне давно этого не говорил. Но я тебя люблю.

— А что бывает с людьми, которые любят друг друга?

— У них, наверное, что-то есть — что бы оно ни было,— и они счастливее других людей. А потом одному из них навек суждена пустота.

— Не хочу быть грубым,— сказал полковник.— А то я мог бы тебе ответить. Но, пожалуйста, чтобы не было у тебя никакой пустоты!

— Постараюсь,— сказала девушка.— Я сегодня стараюсь с самого утра, с тех пор как проснулась. Я стараюсь с тех пор, как мы узнали друг друга.

— Вот и старайся, дочка.

Потом полковник сказал Gran Maestro, который отдал свои распоряжения и вернулся:

— Бутылку этого vino secco¹ со склонов Везувия к камбале. Ко всему остальному у нас есть вальполичелла.

— А мне нельзя запивать поджарку вином с Везувия? — спросила девушка.

— Рената, дочка, конечно, можно. Тебе все можно.

— Если уж пить вино, я хочу пить такое, как ты.

— Хорошее белое вино в твоем возрасте идет и к поджарке,— сказал полковник.

— Жалко, что у нас такая разница в возрасте.

¹ Сухое вино (ит.).

— А мне это как раз нравится, — возразил полковник. — Не считая того... — прибавил он и вдруг осекся, а потом сказал: — Давай, будем *fraîche et rose comme au jour de bataille* ¹.

— Кто это сказал?

— Понятия не имею. Я это слышал, когда учился в *Collège des Maréchaux* ². Довольно претенциозное название, правда? Коллеж я все-таки кончил. Но лучше всего я знаю то, чему выучился у фрицев, воюя с ними. Самые лучшие солдаты — это они. Вот только силы свои рассчитывать никак не умеют.

— Давай будем такими, как ты сказал, и, пожалуйста, повтори, что ты меня любишь.

— Я тебя люблю, — сказал он. — Можешь не сомневаться. Уж ты мне поверь.

— Сегодня суббота, — сказала она. — А когда будет следующая суббота?

— Следующая суббота — праздник ненадежный, дочка. Покажи мне человека, который что-нибудь может сказать про следующую субботу.

— Ты бы сам сказал, если бы захотел.

— Спрошу *Gran Maestro*, может, он знает. *Gran Maestro*, когда будет следующая суббота?

— А *Pâques* ou à la *Trinité* ³, — сказал *Gran Maestro*.

— Но почему из кухни не доносится никаких ароматов для поднятия нашего духа?

— Потому, что ветер дует не в ту сторону.

«Да, — думал полковник. — Ветер дует не в ту сторону, а как бы я мог быть счастлив, если бы у меня была эта девушка, а не та женщина, которой я плачу алименты, хотя она не смогла даже родить мне ребенка! А ведь грозилась, что родит. Но разве поймешь, кто тут виноват?»

«Ладно, держись, — сказал он себе. — И люби свою девушку.

Она тут, рядом, и хочет, чтобы ее любили, если у тебя осталась хоть капля любви, которую ты можешь ей дать». На него нахлынула горячая волна, как бывало всегда, когда он видел Ренату, и полковник спросил:

¹ Свежа и румяна, как в день битвы (*фр.*).

² Маршалский коллеж (*фр.*).

³ На пасху или на троицу (*фр.*) — поговорка, соответствующая русской: «После дождичка в четверг».

— Ну, как ты, как твои волосы, словно вороново крыло, и лицо, от которого сжимается сердце?

— Хорошо.

— Gran Maestro, — сказал полковник, — сделайте ~~там~~, чтобы до нас дошли запахи из вашей закулисной кухни, хотя ветер и дует не в нашу сторону.

Глава тридцать девятая

Портье распорядился, швейцар позвонил по телефону, и им подали ту же лодку, в которой они ехали сюда.

Джексон сел в лодку рядом с чемоданами и портретом, который заботливо упаковали. Ветер дул все так же жаростно.

Полковник расплатился по счету и rozdal положенные чаевые. Служащие гостиницы уложили чемоданы и портрет в лодку и устроили в ней Джексона поудобнее. Потом они ушли.

— Ну вот, дочка, — сказал полковник.

— А мне нельзя доехать с тобой до гаража?

— В гараже будет ничуть не лучше.

— Пожалуйста, разреши мне доехать до гаража.

— Ладно, — сказал полковник. — Дело твое. Садись.

Они не разговаривали: ветер дул в корму, поэтому при той скорости, которую можно было выжать из жалких останков мотора, казалось, будто ветра нет вовсе.

На пристани Джексон отдал чемоданы носильщику, а портрет понес сам. Полковник спросил:

— Хочешь, простимся здесь?

— А разве иначе нельзя?

— Можно.

— Давай я провожу тебя до бара и подожду, пока подадут машину.

— Так будет еще хуже.

— Пусть.

— Отправьте вещи в гараж и попросите присмотреть за ними, пока не выведете машину, — сказал полковник Джексону. — Проверьте, в порядке ли ружья, и уложите вещи так, чтобы на заднем сиденье было как можно свободнее.

— Слушаюсь, господин полковник, — сказал Джексон.

— Значит, я еду? — спросила девушка.

— Нет, — сказал ей полковник.

— Почему мне нельзя с вами поехать?

— Сама знаешь. Тебя никто не приглашал.

— Отчего ты такой злой?

— Господи, дочка, если бы ты знала, как я стараюсь быть добрым! Но человеку легче на душе, когда он злой. Давай-ка расплатимся с нашим приятелем лодочником и посидим вон там на скамейке под деревьями.

Он заплатил хозяину лодки и сказал, что не забудет насчет мотора с «виллиса». Он, правда, посоветовал особенно на это не рассчитывать, хоть дело вполне могло и выгореть.

— Мотор будет подержанный. Но все равно лучше того кофейника, который стоит у вас сейчас.

Они поднялись по истертым каменным ступеням, прошли по дорожке, усыпанной гравием, и сели на скамейку под деревьями.

Черные деревья раскачивались от ветра, и ветви на них были голые. Листья в этом году опали рано, их давно вымели.

К ним подошел человек и предложил купить почтовые открытки. Но полковник ему сказал:

— Ступай отсюда, сынок. Тебе тут делать нечего.

Девушка наконец расплакалась, несмотря на решение никогда не плакать.

— Слушай, дочка,— сказал полковник.— Ну что я могу тебе сказать? На машине, на которой мы с тобой едем, к сожалению, нет амортизаторов.

— Я больше не плачу,— сказала она.— Я не истеричка.

— Нет, этого я про тебя сказать не могу. Я могу сказать, что ты самая красивая и самая милая девушка на свете. Во все времена. На всей земле. Во всем мире.

— Но какой в этом толк, даже если бы это была правда?

— Вот это верно,— сказал полковник.— Но это правда.

— Ну и что же теперь будет?

— Теперь мы с тобой поцелуемся и скажем друг другу «прощай».

— А что такое «прощай»?

— Не знаю,— сказал полковник.— Но думаю, что это одно из тех слов, которые каждый толкует по-своему.

— Попробую и я.

— Ты не очень расстраивайся, дочка, слышишь?

— Хорошо,— сказала девушка.— Хотя в нашей машине и нет амортизаторов.

- Тележка, в которой возили на эшафот, — самая подходящая для тебя машина. С того дня, как ты меня узнала.
- Неужели ты не можешь быть добрее хоть сейчас?
- Видно, нет. Но я все время старался.
- Постарайся еще. Это все, что нам остается.
- Конечно, постараюсь.

И они тесно прижались друг к другу и поцеловались, а потом полковник повел девушку по дорожке, усыпанной гравием, и вниз по каменным ступеням.

— Возьми лодку получше. Зачем тебе эта рухлядь с испорченным мотором?

— Я поеду на этой рухляди, если ты не рассердишься.

— Рассержусь? — спросил полковник. — Нет, я не сержусь. Я только отдаю приказы и выполняю приказы. Но не сержусь. Прощай, дорогая, прощай, чудо мое.

— Прощай, — сказала она.

Глава сороковая

Он сидел в дубовой бочке, врытой в дно лагуны, — в Венето из таких бочек стреляют охотники. Это укрытие, где стрелок прячется от тех, кого хочет застрелить, в данном случае — от уток.

Ехали они куда весело: сначала встретились в гараже, а потом приятно провели вечер и вкусно поели, — ужин готовили на открытом очаге в старинной кухне. На заднем сиденье уместилось еще три охотника. Даже те, кто не любил врать, не могли удержаться от преувеличений, а уж вруны превзошли самих себя.

«Самозабвенный враль, — думал полковник, — прекрасен, как цветущая яблоня или вишня. Зачем их обескураживать, — думал он, — разве что они перевернут координаты».

Полковник всю жизнь коллекционировал врунов, как другие коллекционируют почтовые марки. Правда, он их не раскладывал по сериям и особенно не берег. Он просто радовался, слушая, как они врут, если только, конечно, это не мешало делу. Вчера вечером, после того как все угостились граппой, вранья было хоть отбавляй, но оно было безвредное, и полковник слушал с удовольствием.

«В комнате было дымно от древесного угля, нет, в очаге, кажется, жгли поленья, — подумал он. — Во всяком случае, враль врет лучше всего, когда в комнате пахнет дымком или после захода солнца».

Он сам два раза чуть было не соврал, но сдержался и только слегка преувеличил. «Будем верить, что только преувеличил», — подумал он.

А вот теперь кругом расстилается замерзшая лагуна, и охота, кажется, пойдет прахом. Но он зря отчаивается.

Вдруг неизвестно откуда появились две шилохвостки, одна ринулась наискось вниз так быстро, как не сумел бы спикировать ни один самолет, и полковник, услышав шум крыльев, вскинул ружье и убил селезня. Тот ударился о лед с такой силой, с какой может удариться только птица, но прежде чем он упал, полковник убил его самку, которая быстро уходила вверх, вытянув длинную шею.

Утка упала рядом с селезнем.

«Это же убийство, — думал полковник. — А что в наши дни не убийство? Да, малый, ты еще мастер стрелять! Хорош малый! Ах ты старый калека! Но гляди, вон они летят».

Это были свистухи; сначала они казались прозрачным облачком, которое затвердело, вытянулось и словно растворилось. Потом облачко затвердело снова, и сидевшая на льду утка-предательница стала его подманивать.

«Дай им повернуть еще разок, — сказал себе полковник. — Пригни пониже голову и даже бровью не смей шевельнуть. Они сейчас прилетят».

И они прилетели — на голос предательства.

Они разом сложили крылья для посадки, как опускают закрылки у самолета. Но увидели под ногами лед и взмыли высь.

Охотник — уже не полковник, а кто-то другой — поднялся в одной из бочек и подстрелил двух свистух. Они шлепнулись на лед почти так же грузно, как большие утки.

«Хватит нам и двух из одного выводка, — сказал полковник. — А может, у них не выводок, а племя? Как потвоему?»

Полковник слышал выстрел за спиной, где, как он знал, не было ни одной бочки; повернув голову, он поглядел через замерзшую лагуну на дальний, поросший осокой берег.

«Вот и конец охоте», — подумал он.

Низко летевшая стайка взвилась в небо; казалось, утки стоят на хвостах, так круто они поднимались.

Полковник увидел, как одна утка упала, и тут же услышал еще выстрел.

Это сердитый лодочник стрелял по уткам, которые должны были достаться полковнику.

«Да как же он смеет?» — подумал полковник.

Ему дано охотничье ружье, чтобы добивать подранков, если собака не может их достать и они пытаются уйти. Стрелять по уткам, летящим на бочку, по законам охоты — преступление.

Лодочник был слишком далеко, чтобы его можно было окликнуть. Поэтому полковник дал по нему два выстрела.

«Дробь до него не долетит, — думал полковник, — а он, по крайней мере, поймет, что я все знаю. Но какого дьявола ему нужно? Да еще на такой первоклассной охоте? Никогда не видел, чтобы охота на уток шла так гладко и была так превосходно устроена; никогда не стрелял с таким удовольствием, как сегодня. Какая муха укусила этого сукина сына?»

Он знал, как ему вредно злиться. Поэтому он принял две таблетки и запил их глотком джина из фляжки — воды у него не было.

Он знал, что и джин ему вреден, и подумал: «Мне вредно все, кроме покоя и самой легкой гимнастики. Вот именно, брат, покоя и самой легкой гимнастики. По-твоему, это легкая гимнастика?»

«Ах ты, чудо мое, — сказал он. — Как бы я хотел, чтобы ты была здесь, мы сидели бы с тобой рядом в бочке на двоих и могли бы касаться друг друга спиной или плечом. Я бы поглядел на тебя и, пуская пыль в глаза, метко подстрелил высоко летящую утку, так, чтобы она упала прямо в бочку, конечно, не задев тебя. А ну-ка, попытаюсь попасть хотя бы в одну», — сказал он себе, услышав шелест крыльев. Полковник встал, повернулся, заметил одиноко летевшего селезня — красивого, с длинной шеей; быстрые взмахи крыльев уносили его прямо в море. Он вырисовывался в небе четко и ясно на фоне дальних гор. Полковник высоко вскинул мушку, прицелился и выстрелил.

Селезень упал как раз за бочкой и, ударившись, пробил корку льда. Это был тот лед, который они ломали, расставляя чучела, но воду чуть-чуть затянуло снова. Подсадная утка поглядела на лежащего селезня, переминаясь с ноги на ногу.

— Ты никогда его раньше не видела, — сказал ей полковник. — По-моему, ты даже не видела, как он прилетел. А если и видела, ничего ему не сказала.

Селезень ударился головой, и теперь голова была в во-

де. Полковник видел красивое зимнее оперение на его грудке и крыльях.

«Я хотел бы подарить ей наряд из птичьих перьев вроде тех, какими в древней Мексике украшали своих богов,— думал он.— Но всех этих уток, наверно, отошлют на рынок, да и кто здесь сумеет содрать с птицы шкурку и выдубить ее? А как бы это было красиво: перья дикого селезня пошли бы на спину, серой утки — на грудь, с двумя полосами из перьев чирка сверху вниз. Вот был бы наряд! Ей бы, верно, понравилось».

«Эх, хоть бы они полетели,— думал полковник.— Несколько глупых уток могло бы залететь и сюда. На всякий случай я должен быть наготове». Но утки не появлялись, и он был наедине со своими мыслями.

Из других бочек тоже не было слышно выстрелов, время от времени доносились выстрелы с моря.

При таком ярком свете птицы видят лед и больше сюда не летят; они уходят в открытое море, собираются там стаями и садятся на воду. «Стало быть, охоты больше не будет»,— думал он. Такова уж судьба, хотя ему и хотелось понять, что же все-таки произошло. Он знал, что не заслуживает такого отношения, но вынужден был смириться, как мирился всю жизнь, хотя всегда пытался найти причину.

У девушки все началось после драки с матросами. Как-то ночью, когда они гуляли, два матроса ей свистнули, и сначала полковник не придал этому значения.

Но что-то явно было неладно. Полковник это сразу почувствовал. А потом он в этом уверился, нарочно остановившись под фонарем, чтобы те увидели знаки различия у него на погонах и перешли на другую сторону улицы.

На каждом погоне у него было по маленькому орлу с распростертыми крыльями. Они были вышиты на его мундире серебром. «Орлы не очень заметные, и ношу я их давно, но все же они видны»,— думал полковник.

Матросы засвистали снова.

— Встань к стенке, если тебе хочется поглядеть,— сказал полковник девушке.— А если нет, отвернись.

— Смотри, какие они высокие и молодые.

— Сейчас станут пониже,— пообещал ей полковник. Он подошел к свистунам.

— Где ваш береговой патруль? — спросил он.

— Почему я знаю? — сказал высокий матрос.— Мне ведь что надо? Полюбуюсь на дамочку, и все.

— Как ваши фамилии? У вас есть личные номера?

— Почему я знаю? — ответил тот.

Другой сказал:

— Если бы и были, стану я тебе говорить, тыловая крыса!

«Старый служака,— подумал полковник, прежде чем его ударить.— Дошлый морячок! Все свои права знает».

Но он все-таки ударил его левой рукой,— то ли снизу, то ли сбоку,— ударил еще и еще раз, и матрос стал падать.

Другой, тот, что свистнул первый, яростно с ним сцепился, хотя и был пьян; полковник двинул ему локтем в зубы, а потом при свете фонаря изо всех сил ударил правой рукой. Затем оглянулся на второго свистуна и понял, что о нем беспокоиться нечего.

Тогда он ударил левой сбоку. А когда матрос попытался выпрямиться, ударил правой. Потом еще раз ударил сбоку левой, повернулся и пошел к девушке; ему не хотелось слышать, как голова стукнется о тротуар.

На ходу он взглянул, как себя чувствует тот, что свалился первый, и увидел, что он мирно спит, уткнувшись в землю подбородком, а изо рта у него течет кровь. Кровь такого цвета, как надо, отметил полковник.

— Плакала моя карьера,— сказал он девушке.— Какова бы она ни была. Но эти типы носят ужасно нелепые штаны!

— Как ты себя чувствуешь? — спросила девушка.

— Прекрасно. Ты все видела?

— Да.

— Утром у меня будут болеть руки,— сказал он рассеянно.— Теперь, по-моему, мы можем спокойно уйти. Давай только пойдем помедленнее.

— Да, пожалуйста, иди медленно.

— Нет, я не то хотел сказать. У нас должен быть такой вид, будто мы не торопимся.

— Мы пойдем как можно медленнее.

И они пошли.

— Хочешь сделать опыт?

— Какой?

— Пойдем так, чтобы на нас жутко было смотреть даже со спины.

— Постараюсь. Но думаю, что у меня ничего не выйдет.

— Ну тогда пойдем просто так.

— Неужели они тебя ни разу не ударили?

— Один раз, и как следует. Второй матрос, когда он на меня кинулся.

— Это и есть настоящая драка?

— Да, если тебе везет.

— А если не везет?

— Тогда и у тебя ноги подкашиваются. И ты падаешь либо вперед, либо назад.

— А ты меня еще любишь, после того, как ты подрался?

— Я люблю тебя еще больше, чем раньше, если это возможно.

— А почему невозможно? Вот хорошо! Я тебя теперь люблю больше. Я не слишком быстро иду?

— Ты идешь, как лань по лесу, а иногда ты ходишь, как волчица или как большой старый койот, когда он никуда не торопится.

— Мне не очень хочется быть большим старым койотом.

— Ты же их никогда не видела,— сказал полковник.— Погоди, еще захочешь. Ты ходишь, как все крупные хищники, когда они не спешат. Только ты совсем не хищник.

— В этом можешь не сомневаться.

— Пройди немножко вперед, а я на тебя погляжу.

Она пошла вперед, и полковник сказал:

— Ты ходишь, как чемпион, пока он еще не стал чемпионом. Будь ты лошастью, я бы тебя купил, даже если бы пришлось занимать деньги у ростовщика из двадцати процентов в месяц.

— Тебе не надо меня покупать.

— Знаю. Речь-то идет не об этом. Речь идет о твоей походке.

— Скажи,— сказала она,— что теперь будет с этими людьми? Я мало понимаю в драках. Может, мне надо было остаться и о них позаботиться?

— Ни в коем случае,— сказал полковник.— Запомни: ни в коем случае. Надеюсь, они схлопотали хоть одно сотрясение мозга на двоих. Пусть подышают. Сами виноваты. И никакой уголовной ответственности я не несу. Да и все мы застрахованы. Могу сказать тебе насчет драки только одно...

— Ну, говори!

— Если ты полез в драку, ты должен победить. Вот что важно. Все остальное не стоит и выеденного яйца, как говорил мой старый друг доктор Роммель.

— Неужели тебе правда нравился Роммель?

— Очень.

— Но ведь он был твой враг.

— Я люблю своих врагов иногда больше, чем друзей. А моряки всегда выигрывают во всех сражениях. Это я усвоил в доме, который зовется Пентагоном, когда мне еще разрешали входить туда через парадные двери. Хочешь, прогуляемся или даже сбегает назад и спросим тех двоих, верно ли это.

— Сказать по правде, Ричард, с меня хватит на сегодня и одной драки!

— Говоря откровенно, и с меня тоже, — признался полковник. — Но сказал он это по-итальянски, начав фразу с «Anch'io». — Давай зайдем к «Гарри», а потом я провожу тебя домой.

— Ты не ушиб раненую руку?

— Нет! Только раз его стукнул по голове, — объяснил он. — А больше бил по туловищу.

— Можно мне ее потрогать?

— Да, только потихоньку.

— Но она ужасно распухла!

— Перелома нет, а опухоль всегда быстро спадает.

— Ты меня любишь?

— Да. Я люблю тебя двумя довольно вспухшими руками и всем сердцем.

Глава сорок первая

«Вот как это было, и в тот день, а может, в какой-нибудь другой, произошло чудо. А ты о нем и не подозревал, — думал полковник. — Случилось величайшее чудо, но ты ничего для этого не сделал. Правда, ты, сукин сын, никак этому и не препятствовал».

Стало еще холоднее, чистая вода снова покрылась коркой льда, а подсадная утка даже перестала смотреть на небо. Она теперь забыла о предательстве, тревожась только о своей судьбе.

«Ну и сука, — думал полковник. — Хотя я знаю, что это несправедливо. Ведь измена — ее ремесло. Но почему самка приманивает лучше, чем селезень? Кому же это знать, как не тебе, — думал он. — Хотя и это неправда. А что же правда? Самцы все-таки приманивают лучше».

«Только не думай о ней! Не думай о Ренате, пользы от этого не будет. Тебе это даже вредно. И ты ведь с ней уже

распростался. Господи, что это было за прощание! Не обошлось даже без эшафота. А она ведь полезла бы за тобой и на этот чертов эшафот. Если бы эшафот был настоящий. Распроклятое ремесло, — думал он. — Любить и расставаться. Людям от этого бывает больно.

Кто тебе дал право связываться с такой девушкой?

Никто. Меня познакомил с ней Андреа.

Но как она могла полюбить такого несчастного сукина сына?»

«Не знаю, — ответил он искренне. — Искренне говорю, что не знаю».

Он и не подозревал, что девушка его любит за то, что он никогда не чувствует себя несчастным, есть у него сердечный приступ или нет. Горе он испытывал, и страдание тоже. Но несчастным он себя не чувствовал ни разу в жизни. Особенно по утрам.

Таких людей на свете почти не бывает, и девушка, хоть и очень молодая, сразу это поняла.

«Сейчас она дома и спит, — думал полковник. — Там ей и место, а не в какой-то чертовой бочке для охоты на уток, да еще когда все чучела, как назло, вмерзли в лед.

И все же, если бы эта бочка была на двоих, как бы я хотел, чтобы она была здесь; она могла бы смотреть на запад, не появится ли оттуда вереница уток. Но она бы тут замерзла. Может, мне удастся выменять у кого-нибудь настоящую куртку на пуху — продать ее никто не продаст. Такие куртки как-то по ошибке выдали летному составу.

Я бы мог узнать, как их стегают, и заказать ей такую куртку на утином пуху, — думал он. — Я бы нашел хорошего портного, он бы ее скроил двубортной, без кармана справа и нашил кусок замши, чтобы не цеплялся приклад».

«Так и сделаю, — сказал он себе. — Так и сделаю или достану такую куртку у какого-нибудь франта, а потом дам перешить ей по росту. Надо бы достать ей хорошее ружье — «Парди-12», только не слишком легкое, или пару «боссов». У нее должны быть ружья не хуже, чем она сама. Да, пожалуй, лучше всего два ружья «Парди», — думал он.

В этот миг он услышал легкий шорох крыльев, быстро машущих в небе, и взглянул вверх. Но птицы летели слишком высоко. Полковник только поднял на них глаза. Птицы летели так высоко, что им была видна бочка, и он в бочке, и вмерзшие в лед чучела с невеселой подсадной уткой, которая их тоже видела и громко закрикала, как ра-

болезненный Иуда. Утки — это были шилохвостики — спокойно продолжали свой лет к морю.

«Я никогда ей ничего не дарю — это она мне правильно сказала. Не считая негритенка. Но разве это подарок? Она сама его выбрала, а я только купил. Так подарков не дарят.

Эх, как бы я хотел подарить ей уверенность в завтрашнем дне, но ее больше не существует. Я бы хотел подарить ей мою любовь, но она ничего не стоит, мои богатства, но их, в сущности, нет, если не считать двух хороших охотничьих ружей, солдатского обмундирования, орденов, медалей и книг. Да еще полковничьей пенсии».

«Всеми моими земными благами одарю я тебя», — думал он.

«А она подарила мне свою любовь, камни, которые я ей вернул, и портрет. Что ж, и портрет я всегда могу отдать обратно. Я бы мог отдать ей мое кольцо, — думал он, — но куда, черт возьми, я его дел?

Разве она возьмет мой Крест за боевые заслуги с дубовыми листьями, или две Серебряные звезды, или весь остальной мусор — даже ордена ее родины? Или Франции? Или Бельгии? Да и не надо. Больно уж это смахивает на похороны.

Лучше я отдам ей свою любовь. Но как ее, проклятую, пошлешь? И как ее сохранить, чтобы она не увяла? Не положишь ведь ее на лед?

А может, теперь кладут? Надо спросить. А как мне достать этот чертов мотор для старика?»

«Найди. Находить выход из положения было твоим ремеслом. Находить выход из положения, когда в тебя стреляют, — поправился он.

Жаль, что у того стервеца, который портит мне охоту на уток, нет настоящего ружья; правда, его нет сейчас и у меня. Мы бы с ним быстро выяснили, кто умеет находить выход из положения. Даже в этой вонючей бочке, посреди болота, где нельзя маневрировать. А ему бы пришлось подойти совсем близко, чтобы меня достать».

«Брось, — сказал он себе, — и подумай лучше о девушке. Ты больше не хочешь убивать, никого и никогда».

«Кому ты морочишь голову? — сказал он себе. — Ты что, в святые записался? Что ж, попробуй, как это у тебя выйдет. Ей ты тогда больше понравился. Ты уверен? Нет, не уверен, — признался он откровенно. — Видит бог, но уверен».

«А вдруг я стану святым перед самой смертью? Да,— сказал он,— может быть. Ну, кто хочет на это поставить?»

— Ты на это поставишь? — спросил он подсадную утку.

Но она смотрела в небо за его спиной и потихоньку вела свой мирный, кричащий разговор.

Утки пролетали слишком высоко, не сворачивая. Взглянув вниз, они летели дальше, к морю.

«Видно, они в самом деле сядут там на воду,— думал полковник.— А где-нибудь в лодке их поджидает охотник. Они подлетят с подветренной стороны совсем близко, и кто-нибудь непременно их подстрелит. Ну что ж, когда этот охотник начнет стрелять, несколько уток могут кинуться назад, в мою сторону. Но ведь все замерзает, мне давно бы пора уехать, зачем я сижу тут, как болван?»

Я настрелял достаточно дичи и охотился не хуже, а даже лучше, чем всегда. Конечно, лучше,— думал он.— Никто не стреляет здесь лучше тебя, разве что Альварито, он еще совсем мальчишка и потому стреляет быстрее. Но ты убиваешь меньше уток, чем многие плохие и даже средние стрелки.

Да, знаю. И знаю почему: мы ведь за количеством больше не гонимся, мы ведь теперь живем не по уставу, разве ты не помнишь?»

Он вспомнил, как однажды, по прихоти войны, он встретился ненадолго со своим лучшим другом; это было во время битвы в Арденнах, и они гнали противника.

Стояла ранняя осень, вокруг была гористая местность с песчаными дорогами и тропками, поросшая низкорослыми дубками и соснами. На влажном песке отчетливо отпечатались следы вражеских танков и полугусеничных машин.

Накануне шел дождь, но теперь прояснилось, видимость была хорошая, можно было разглядеть даже дальние холмы, и они с другом внимательно рассматривали все кругом в бинокль, словно охотились за дичью.

Полковник, который в ту пору был генералом и заместителем командира дивизии, знал, сколько прошло вражеских машин. Он знал, когда у противника кончатся мины и сколько примерно патронов у них еще осталось. Он рассчитал, где немцам придется принять бой, прежде чем они достигнут линии Зигфрида. Он был уверен, что они не станут драться ни в одном из тех двух мест, где ожидали боев, и поспешно отойдут дальше.

— Мы довольно далеко забрались для людей нашего высокого звания, Джордж,— сказал он своему лучшему другу.

— Смотрите не зарвитесь, генерал.

— Ничего, все в порядке,— сказал полковник.— Хватит нам жить по уставу, теперь мы просто вышвырнем их вон.

— С превеликой радостью, генерал. Тем более, что устав писал я сам,— сказал его лучший друг.— Ну, а если они там оставили заслон?

Он показал на то место, где, по логике вещей, противник должен был перейти к обороне.

— Ничего они там не оставили,— заявил полковник.— У них нет снаряжения даже для пожарной команды.

— Человек всегда прав, пока не ошибется,— сказал его лучший друг и добавил: — Господин генерал.

— Да, я прав,— сказал полковник.

Он и в самом деле был прав, хотя для того, чтобы получить нужные сведения, ему пришлось слегка нарушить принципы Женевской конвенции.

— Ну что ж, в погоню так в погоню! — сказал его лучший друг.

— Мешкать нам нечего, я ручаюсь, что они не задержатся в этих двух пунктах. И открыл мне это не какой-нибудь фриц. А собственная смекалка.

Он еще раз оглядел местность, услышал, как в ветвях шумит ветер, как пахнет вереск под ногами, и еще раз посмотрел на отпечатки гусениц на мокром песке — этим дело и кончилось.

«Интересно, понравилась бы ей такая история? — подумал он.— Нет, мне рассказывать ее нельзя. Уж больно я в ней хорош. Вот если бы кто-нибудь другой ей рассказал, да еще и расписал бы меня получше... Джордж рассказать не может. Он единственный, кто бы мог это сделать, но, увы, не может. Да уж, черта лысого он теперь сможет!

Я бывал прав в девятости пяти случаях из ста, а это чертовски высокий процент даже в таком простом деле, как война. Но и те пять процентов, когда ты не прав, не шутка.

Нет, я не расскажу тебе эту историю, дочка. Это только неясный шум у меня в сердце. В моем проклятом, никчемном сердце. Да, это поганое сердце не может за мной угнаться».

«А вдруг оно еще может?» — подумал он, проглотил две таблетки, запив их глотком джина, и поглядел на серую пелену льда.

«Сейчас крикну этому хмурому парню, снимусь с места и поеду на ферму, или как там ее — охотничий домик, что ли. Охоте все равно конец».

Глава сорок вторая

Полковник выпрямился, дал два выстрела в пустое небо и замахал рукой лодочнику, подзывая его к себе.

Лодка шла медленно, всю дорогу приходилось раскалывать лед; лодочник собрал деревянные чучела, поймал подсадную утку, сунул ее в мешок и с помощью собаки, у которой на льду разъезжались лапы, подобрал убитых уток. Гнев у лодочника явно прошел, и вид у него был довольный.

— Немного же вы настреляли, — сказал он полковнику.

— С вашей помощью.

Больше они ничего не сказали друг другу, и лодочник аккуратно разложил уток на носу грудками кверху, а полковник подал ему ружья и складной стул с ящичком для патронов.

Полковник влез в лодку, а лодочник проверил, не забыто ли что-нибудь в бочке, и снял с крючка нечто вроде передника с кармашками для патронов, который там висел. Потом он тоже сел в лодку, и они медленно, с трудом поплыли по замерзшей лагуне туда, где виднелась бурая вода канала. Полковник с силой отталкивался кормовым веслом, как и по дороге сюда. Но теперь, при ярком свете солнца, видя снежные вершины гор на севере и полосу осоки, обозначающую вход в канал, они работали дружно.

Вот они вошли в канал, с треском соскользнув с крошки льда; лодка двинулась легко, и, отдав весло лодочнику, полковник сел. С него лился пот.

Собака, дрожавшая у его ног, перелезла через борт лодки и поплыла к берегу. Страхивая воду со своей белой, свалившейся шерсти, она скрылась в зарослях коричневой осоки и кустарника; по колыханию кустов полковник мог проследить ее путь домой. Колбасы она так и не получила.

Полковник чувствовал, что он весь потный, и, хотя теплая куртка защищала его от ветра, все же принял две

таблетки из бутылочки и отхлебнул глоток джина из фляжки.

Фляжка была плоская, серебряная, в кожаном футляре. Под футляром, уже засаленным и потертым, было выгравировано: «Ричарду от Ренаты с любовью». Никто не видел этой надписи, кроме девушки, полковника и гравёра, который ее делал. Надпись выгравировали не там, где купили фляжку. «Это было в самом начале,— думал полковник.— Кто бы теперь стал прятаться?»

На завинченном колпачке было выгравировано: «Р. К. от Р.».

Полковник протянул фляжку лодочнику, тот посмотрел сначала на него, потом на фляжку и спросил:

— Что это?

— Английская граппа.

— Попробуем...

Он отхлебнул большой глоток, как все крестьяне, когда пьют из фляжки.

— Спасибо.

— А вы хорошо поохотились?

— Убил четырех уток. Собака подобрала еще трех подранков, подбитых другим.

— Зачем вы стреляли?

— Да я теперь и сам жалею, что стрелял. Со зла, наверно.

«А я разве так не поступал?» — подумал полковник и не спросил, из-за чего тот злился.

— Жаль, что лёт такой плохой.

— Бывает,— сказал полковник.

Полковник следил за тем, как в камышах и высокой траве движется собака. Вдруг она сделала стойку и замерла. Потом прыгнула. Прыгнула высоко и, распластавшись, нырнула вниз.

— Нашла подранка,— сказал он лодочнику.

— Бобби,— крикнул тот.— Апорт! Апорт!

Осока заколыхалась, из нее появилась собака, неся в пасти дикого селезня. Серовато-белая шея и зеленая голова покачивались, как головка змеи. В этом движении была обреченность.

Лодочник поставил лодку носом к берегу.

— Я возьму,— сказал полковник.— Бобби!

Он вынул селезня из пасти собаки, державшей его очень осторожно; птица была цела и приятна на ощупь.

Сердце у нее билось, а в глазах стояло отчаяние и ужас перед неволей.

Полковник внимательно ее осмотрел, поглаживая ласково, как гладят лошадь.

— Ему только задела крыло,— сказал он.— Давайте его оставим живым манком либо выпустим весной на волю. Возьмите-ка его и посадите в мешок.

Лодочник бережно взял селезня и посадил его в холщовый мешок, который лежал на носу. Полковник услышал, как подсадная утка сразу же закрикала. «Может, она оправдывается,— подумал он.— Трудно понять утиный разговор через холстину мешка».

— Выпейте еще глоток,— сказал он лодочнику.— Сегодня чертовски холодно.

Лодочник взял фляжку и снова отхлебнул как следует.

— Спасибо,— сказал он.— Да, хороша ваша грация.

Глава сорок третья

На причале, перед длинным, низким каменным зданием на самом берегу канала, были разложены убитые утки.

Они были разложены неравными кучками. «Тут всего несколько взводов, ни одной роты, а у меня едва ли наберется и отделение»,— подумал полковник.

Старший егерь, в высоких сапогах, короткой куртке и сдвинутой на затылок старой фетровой шляпе, ждал их на берегу и, когда они подошли, скептически посмотрел на уток, лежавших в лодке.

— Возле нашей бочки вода совсем замерзла,— сказал полковник.

— Так я и думал,— сказал старший егерь.— Обидно. А ведь ваше место считается лучшим.

— Кто убил больше всех?

— Барон настрелял сорок две. Там течение, и воду затянуло не сразу. Вы, наверно, не слышали выстрелов, потому что ветер дул в другую сторону.

— А где же остальные?

— Все разъехались, кроме барона,— он вас ждет. Ваш шофер спит в доме.

— Как и следовало ожидать,— сказал полковник.

— Разложи уток как положено,— сказал старший егерь лодочнику, который был и егерем тоже.— Мне надо записать их в охотничью книгу.

- В мешке у нас еще селезень, у него подбито крыло.
- Хорошо. Я за ним присмотрю.
- Я пойду повидаюсь с бароном. С вами я еще не прощаюсь.
- Вам надо хорошенько согреться, полковник,— сказал старший егерь.— Сегодня настоящий мороз. Полковник направился в дом.
- Мы еще увидимся,— сказал он лодочнику.
- Да, полковник,— ответил тот.

Барон Альварито стоял посреди комнаты, у камина. Он улыбнулся своей застенчивой улыбкой и сказал, как всегда, негромко:

- Обидно, что вам сегодня не удалось пострелять как следует.
- Нас совсем затянуло льдом. Но я все равно получил большое удовольствие.
- Вы очень замерзли?
- Не очень.
- Давайте чего-нибудь поедим.
- Спасибо. Я не голоден. А вы ели?
- Да. Остальные поехали по домам, и я отдал им свою машину. Вы довезете меня до Латизаны или куда-нибудь поблизости? Оттуда я уже доберусь.
- Конечно.
- Вот беда, что вода замерзла. Виды на охоту были прекрасные.
- За лагуной, наверно, тьма уток.
- Да. Но они там не останутся, раз у них вся пища подо льдом. Ночью двинутся на юг.
- Неужели все улетят?
- Все, кроме наших местных уток, которые тут вывелись. Те побудут здесь, пока вся вода не замерзнет.
- Обидно, что с охотой так получилось.
- Обидно, что вам пришлось столько ехать из-за нескольких уток.
- Я люблю всякую охоту,— сказал полковник.— И люблю Венецию.

Барон Альварито отвел глаза и протянул руки к огню.

- Да,— сказал он.— Все мы любим Венецию. А вы, может, больше всех.

Полковнику не хотелось вести светскую беседу на эту тему, и он сказал:

— Вы-то знаете, как я ее люблю.

— Знаю,— ответил барон. Взгляд у него был рассеянный. Помолчав, он сказал: — Пора будить вашего шофера.

— А он поел?

— Поел и поспал, а потом опять поел и поспал. И немножко почитал книжку с картинками, которую привез с собой.

— Комиксы,— сказал полковник.

— Надо бы мне научиться их читать,— сказал барон. Он улыбнулся застенчивой, затаенной улыбкой.— Вы бы не могли мне достать их в Триесте?

— Сколько хотите,— сказал полковник.— И похождения сверхчеловека, и уж совсем фантастические. Почитайте их вместо меня. Послушайте, Альварито, что с егерем, который был на моей лодке? Поначалу он просто видеть меня не мог.

— Это из-за вашего мундира. Военная форма союзников всегда на него так действует. Видите ли, его чересчур ретиво освобождали.

— То есть как?

— Когда пришли марокканцы, они изнасиловали его жену и дочь.

— Мне, пожалуй, надо чего-нибудь выпить,— сказал полковник.

— Там, на столе, есть граппа.

Глава сорок четвертая

Они довели барона до огромных ворот и аллеи, посыпанной гравием,— вилла, к счастью, стояла больше чем в шести милях от ближайшего военного объекта и не пострадала от бомбежки.

Полковник распрощался с Альварито, тот пригласил его приезжать на охоту хоть каждое воскресенье.

— Может, вы все-таки к нам зайдете?

— Нет. Мне надо назад, в Триест. Передайте привет Ренате.

— Непременно. Это ее портрет лежит у вас на заднем сиденье?

— Да.

— Я скажу ей, что вы хорошо поохотились и что портрет в полной сохранности.

- И не забудьте передать ей привет.
- Не забуду.
- Сiao, Альварито, большое спасибо.
- Сiao, полковник. Если можно говорить сiao полковнику.
- А вы забудьте, что я полковник.
- Это очень трудно. До свиданья, полковник.
- В случае непредвиденных обстоятельств, попросите ее зайти в «Гритти» и взять портрет.
- Хорошо, полковник.
- Ну, кажется, все.
- Прощайте, полковник.

Глава сорок пятая

Они выехали на дорогу, и ранняя тьма стала сгущаться вокруг.

- Сверните налево, — сказал полковник.
- Но ведь та дорога не на Триест, господин полковник, — сказал Джексон.
- Ну и шут с ней, с дорогой на Триест. Я приказал вам свернуть налево. Вы думаете, на свете только одна дорога на Триест?
- Нет, господин полковник. Я только хотел обратить внимание господина полковника...
- А вас, черт возьми, никто не просит обращать мое внимание на что бы то ни было! И пока я сам не заговорю, извольте молчать.
- Слушаюсь, господин полковник.
- Извините, Джексон. Я хотел сказать, что знаю, куда ехать, и мне хочется спокойно подумать.
- Так точно, господин полковник.

Они ехали по старой дороге, которую он так хорошо помнил, и полковник думал: «Ну вот, я послал четыре обещанных утки в «Гритти». Охота была не очень удачная, жене того парня немного достанется перьев. Да, от перьев ей проку не будет. Но утки крупные, жирные — просто объедение. Эх, забыл дать Бобби колбасы».

Написать Ренате записку не было времени. Но что бы я мог написать в записке, кроме того, что мы уже сказали друг другу?

Он сунул руку в карман и достал карандаш и блокнот. Включив лампочку для чтения карты, он раненой рукой

написал заглавными печатными буквами короткий приказ.

— Спрячьте в карман, Джексон, и, если придется, действуйте соответственно. Если произойдет то, что здесь указано, выполняйте.

— Слушаюсь, господин полковник, — сказал Джексон и, взяв свободной рукой сложенный листок, сунул его в верхний левый карман мундира.

«Ну, а теперь отдыхай, — сказал себе полковник. — У тебя осталась одна забота — о себе, а это уже роскошь. Армии Соединенных Штатов ты больше не нужен. Тебе это ясно дали понять.

С девушкой своей ты простился, и она простилась с тобой.

Тут дело обстоит совсем просто.

Стрелял ты хорошо, и Альварито все понимает. Ну что ж.

Так какого черта ты волнуешься? Ты же не из тех хлюстов, которые беспокоятся, что с ними будет, когда уже все равно ничем не поможешь? Думаю, что ты не такой».

И тут его схватило — он этого ждал с тех пор, как они собрали чучела.

«Еще два раза — и конец, — думал он, — хотя мне обещали, что я выдержу четыре. Я всегда был везучий, как последний сукин сын».

Тут его опять схватило, и очень сильно.

— Джексон, — сказал он, — знаете, что однажды сказал генерал Томас Джексон? В тот раз, когда его настигла безвременная кончина? Я даже выучил это наизусть. За достоверность, конечно, не ручаюсь. Но так, во всяком случае, передают. «А.-П. Хиллу приготовиться к атаке», — сказал он. Потом начал бредить. А потом сказал: «Нет, нет, давайте переправимся и отдохнем там, за рекой, в тени деревьев».

— Очень интересно, господин полковник, — сказал Джексон. — Верно, это был Джексон Каменная Стена, господин полковник?

Полковник хотел ответить, но оскес, потому что его схватило в третий раз и стиснуло так, что он понял: вот и конец.

— Джексон, — сказал полковник, — поставьте машину на обочину и погасите фары. Вы знаете, как ехать отсюда в Триест?

— Да, господин полковник. У меня есть карта.

— Хорошо. Я сейчас перейду на заднее сиденье этой дерьмовой сверхроскошной машины.

Это были последние слова, которые полковник произнес в своей жизни. Но до заднего сиденья он добрался и даже закрыл за собой дверцу. Он закрыл ее тщательно и плотно.

Через некоторое время Джексон повел машину с зажженными фарами по дороге, вдоль канавы, обсаженной ветлами, и стал искать, где бы ему повернуть. Наконец он осторожно развернулся. На правой стороне дороги, став лицом к югу — к развилку, от которого шло знакомое шоссе на Триест, — Джексон зажег свет в кабине, вынул листок с приказом и прочел:

В СЛУЧАЕ МОЕЙ СМЕРТИ УПАКОВАННУЮ КАРТИНУ
И ДВА ОХОТНИЧЬИХ РУЖЬЯ ИЗ ЭТОЙ МАШИНЫ
ВЕРНУТЬ В ГОСТИНИЦУ «ГРИТТИ», ВЕНЕЦИЯ,
ГДЕ ИХ ПОЛУЧИТ ЗАКОННЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ.

Подпись: *Ричард Кантуэлл*,
полковник пехотных войск США.

«Не беспокойся, вернут законным порядком», — подумал Джексон и включил первую скорость.

Очерки

РЕЙС К ПОБЕДЕ

«Кольерс», 22 июля 1944

Никто теперь не помнит дату библейской битвы при Сплеме. Но день, в который мы заняли береговой район Фокс-Грин, известен точно: это было шестого июня и дул свирепый норд-вест. Когда мы серым утром шли к берегу, крутые зеленые волны вставали вокруг длинных, похожих на стальные гробы десантных барж и обрушивались на каски солдат, сгрудившихся в тесном, напряженном, неловком молчаливом единении людей, идущих на бой. Впереди, в стальном трюме, стояли ящики с тринитротолуолом, обвязанные резиновыми спасательными поясами, чтоб можно было пустить их вплавь по волнам прибоя, и противотанковые ружья в непромокаемых чехлах, напоминающих прозрачные дождевики американских школьников.

К каждому предмету был тоже прикручен резиновый спасательный пояс и такие же серые резиновые пояса, застегнутые под мышками, были на всех солдатах.

Когда в баржу ударяла волна, зеленая вода вспенивалась добела и захлестывала людей, оружие и ящики боеприпасов. Впереди видел был берег Франции. Серые глыбы транспортов с целым лесом подъемных стрел остались позади, и море кругом усеяно было десантными судами, ползущими вперед, к Франции.

Когда нашу баржу выносило на гребень волны, мы видели невысокие силуэты крейсеров, вытянувшихся в один ряд, и два больших линкора, стоящих бортом к берегу. Мы видели яркие вспышки оружейных залпов и коричневый дым, который клубился и постепенно таял на ветру.

— Какой у вас курс, штурвальный? — крикнул с кормы лейтенант Роберт Эндерсон из Ронока, штат Виргиния.

— Два двадцать, сэр, — ответил штурвальный Фрэнк Кэрир из Согэса, штат Массачусетс. Это был худенький веснушчатый паренек, не сводивший глаз с компаса.

— Вот и держите два двадцать, черт вас возьми! — сказал Эндерсон. — Нечего кататься по всему океану.

— Я держу два двадцать, сэр, — кротко возразил штурвальный.

— Ну и держите так, — сказал Энди. Он нервничал, но экипаж, впервые совершавший высадку под огнем, знал, что этот офицер водил десантные суда и к африканским берегам, и в Сицилию, и в Салерно, и люди чувствовали доверие к своему командиру.

— Не врежьтесь вон в ту баржу! — крикнул Энди, и мы пронеслись совсем близко от безобразного стального корпуса десантной баржи для танков — по ним хлестали волны, солдаты сгрудились в укрытии.

— Я держу два двадцать, — сказал штурвальный.

— Это не значит, что вы должны наткнуться на все, что плавает по океану, — сказал Энди. Он был красивый молодой человек с впалыми щеками, подчеркнуто военной выправкой и немного перевозный. — Мистер Хемингуэй, будьте добры, вы разглядите в ваш бинокль, какой там флаг?

Я достал из внутреннего кармана маленький цейсовский бинокль, завернутый в шерстяной носок вместе с тряпкой для протирания стекол, и стал наводить на флаг. Не успел я поймать флаг в фокус, как стекла залило волной.

— Зеленый.

— Значит, мы уже в заминированной зоне, — сказал Энди. — Прекрасно. Штурвальный, что с вами такое? Неужели вы не можете держать курс два двадцать?

Я пытался протереть бинокль, но это было безнадежное дело, и я опять завернул его до поры до времени и стал смотреть, как линкор «Техас» обстреливает берег из артиллерии. Он сейчас находился позади нас, чуть правее, и посылал снаряды через наши головы, пока мы продвигались к французскому берегу, который становился виден все яснее, по курсу два двадцать, а может быть и нет, смотря по тому, кому верить — Энди или штурвальному Кэриру.

Цепь невысоких скалистых гор кое-где прерывали долины.

Видна была деревня в одной из долины с торчащим над крышами церковным шпилем. Виден был лесок, сбегающий к самому морю. Виден был одинокий дом, справа, совсем на берегу. На всех мысах горели заросли дрока, но норд-вест гнал дым низко над землей.

Наши солдаты, кроме тех, которые, позеленев от морской болезни, только о том и думали, как бы сдержать рвоту, пока не доберутся до стального борта баржи, наблюдали за огнем «Техаса» с удивлением и радостью. В своих стальных касках они напоминали средневековых копейщиков, на помощь которым неожиданно-негаданно явилось странное, невиданное чудище.

Когда с «Техаса» били четырнадцатидюймовые орудия, вспышка слепила, как при пуске металла из домны, и пламя высоко выносилось вперед. Потом каждый раз за клубится желто-бурый дым, и сила удара докатится до нас. Каски солдат задребезжат от сотрясения. В ушах звон, точно от удара тяжелой боксерской перчаткой.

Потом на зеленом склоне холма, теперь уже ясно видном впереди, взметнутся два высоких черных фонтана земли и дыма.

— Гляди, как они долбают этих немцев,— расслышал я сквозь рев мотора голос одного из солдат.— Небось перебьют там всех до единого,— добавил он радостно.

Это единственное, что я услышал от наших солдат за все утро. Между собой они изредка переговаривались, но все голоса перекрывал рев серого скоростного дизеля в 225 лошадиных сил. Впрочем, почти все время они стояли молча, и после того, как огонь линкоров остался в стороне, я не увидел на лицах ни одной улыбки. Тайнственное чудище, помогавшее им, пропало, и теперь они снова были одни.

Я заметил, что, если открыть рот, как только блеснет вспышка, и не закрывать, покуда не долетит звук, сотрясение чувствуется меньше.

Я рад был, когда мы вышли за пределы выстрелов «Техаса» и «Арканзаса». Весь день вчера над нашими головами летали снаряды с других судов, и от глухих, коротких раскатов артиллерийского огня некуда было уйти. Но теперь чем ближе мы подходили к берегу, тем дальше оставались тяжелые орудия «Техаса» и «Арканзаса», стрелявшие с таким грохотом, словно целые железнодорожные составы взлетали в воздух. Они перестали быть

частью нашего мира, когда мы шли по серому в белых гребешках морю туда, куда, опережая нас, точно по намеченному адресу спешила смерть в надежной, экономной и аккуратной упаковке. Они были словно отголоски грозы, разразившейся где-то не слишком близко, когда вы уверены, что дождь пройдет стороной. Но они выводили из строя береговые батареи, чтобы эсминцы без помехи могли подойти к самому берегу потом, когда придет время прикрывать десант.

Теперь уже ясно было видно, что делается на берегу. Энди раскрыл подробную карту, на которой нанесены были все бухты и все ориентиры местности, а я взял бинокль и, прикрывая его полой своего непромокаемого плаща, стал протирать стекла. Кругом, куда ни глянь, двигались по серому морю десантные суда. Солнце еще не всходило, а дым стлался вдоль всего берега.

Карта, которую Энди развернул у себя на коленях, состояла из десяти отдельных листов, скототых скрепками, с пометкой вверху: «Приложение I к дополнению А». Если разложить все десять листов по порядку, вышла бы полоса вчетверо длиннее человеческой руки. Когда Энди стал перелистывать ее, вдруг налетел ветер, и те страницы, на которых были районы Дог-Уайт, Фокс-Ред, Фокс-Грин, Дог-Грин, Изи-Ред и часть сектора Чарли, дважды весело кувыркнулись в воздухе и исчезли за бортом.

Я хорошо изучил эту карту и помнил ее чуть не паизусть, но одно дело помнить, а другое — видеть на бумаге, где всегда можно проверить и исключить сомнение.

— У вас маленькой карты нет, Энди? — крикнул я. — Чтобы был один лист, только Фокс-Грин и Изи-Ред?

— Нет и не было, — сказал Энди. А мы уже подходили к французскому берегу и глядел он на нас все более враждебно.

— Эта была единственная? — спросил я, наклонясь к его уху.

— Ну да, — ответил Энди. — А теперь и той нет. Ее волной накрыло, она и расползлась. По-вашему, прямо перед нами какой район?

— Это должен быть Кольвиль, если судить по церковному шпилю, — сказал я. — А тогда, значит, тут и есть Фокс-Грин. И дом такой тоже показан на карте, а вон и лес спускается по прямой к самой воде, ближе к Изи-Ред.

— Верно,— сказал Энди.— Но мне кажется, мы слишком уклонились влево.

— Все данные совпадают,— сказал я.— Карту я знаю наизусть, только вот скал, по-моему, не должно быть. Скалы начинаются левее Фокс-Грин, ближе к Фокс-Ред. А если так, то Фокс-Грин у нас сейчас должен быть справа.

— Где-то тут ходит диспетчерское судно,— сказал Энди.— Там известно, что это за район.

— Раз тут скалы, значит, это не Фокс-Грин,— сказал я.

— Ладно,— сказал Энди.— Узнаем на диспетчерском судне. Правьте вон на ту баржу, штурвальный. Да нет же, не туда. Разве вы сами не видите? Заходите с той стороны. Так вы его никогда не догоните.

Мы его и не догнали. Мы стали врезаться в волны вместо того, чтобы подниматься и опускаться вместе с ними, и диспетчерское судно ушло от нас. Груз тринитротолуола и тяжесть стальной брони делали нашу баржу неповоротливой, она зарывалась носом, и волны все время заливали ее.

— Ну и черт с ним! — сказал Энди.— Сейчас спросим вон на том бронекатере.

Из всех десантных судов только бронекатера имеют сколько-нибудь морской вид. Они хоть по форме напоминают корабль, тогда как баржа для автотранспорта похожа на железную ванну, а баржа для танков — на плавучую товарную платформу. Все водное пространство вокруг нас было усеяно десантными судами, но лишь немногие из них шли по направлению к берегу. Остальные, пройдя часть пути, поворачивали, описывали полукруг и ложились на обратный курс. На самом берегу, прямо против того места, где мы находились, чернело что-то похожее на танки, но мой бинокль был еще мокрый, и в него ничего нельзя было разглядеть.

— Где Фокс-Грин? — Это Энди, сложив ладони рупором, крикнул вверх на мчащийся навстречу нам, перегруженный пехотой бронетанкер.

— Не слышно! — крикнули оттуда. Мегафона у нас не было.

— Какой район? — проорал Энди.

Офицер на бронетанкере покачал головой. Остальные офицеры даже не посмотрели в нашу сторону. Они смотрели через плечо на берег.

— Правьте ближе, штурвальный,— приказал Энди.— Еще ближе, борт к борту.

Мы с ревом подлетели к бронетанкеру и заглушили мотор.

— Где Фокс-Грин? — крикнул Энди, и ветер тут же отнес его слова в сторону.

— Прямо, справа от вас, — крикнули в ответ.

— Спасибо. — Энди оглянулся назад, на две другие баржи, и приказал сигнальщику Эду Банкеру: — Пусть подтянутся к нам. Вплотную.

Эд Банкер обернулся и, вытянув указательный палец, помахал рукой от локтя вниз и вверх.

— Подтягиваются, сэр, — сказал он.

Я видел, как две тяжело груженные баржи взбираются на волны, теперь уже зеленые, потому что солнце вошло, и валяются с волны вниз.

— Промокли, сэр? — спросил Энди.

— Насквозь.

— Я тоже, — сказал Энди. — Аж до пупа.

— Все-таки это Фокс-Грин, — сказал я Энди. — Я теперь вижу, где кончаются скалы. А справа уже Фокс-Грин. Вон кольцевидная церковь. Вон дом на берегу. Вот, еще правее, долина Рюкэ, значит — Изи-Ред. Фокс-Грин и есть.

— Проверим, когда подойдем ближе, — сказал Энди. — Вы правда думаете, что это Фокс-Грин?

— Иначе быть не может.

Впереди нас десантные суда вели все ту же непонятную игру: устремлялись к берегу, поворачивали и, описав полукруг, возвращались.

— Что-то там неладно, — сказал я Энди. — Видите танки? Стоят вдоль всего берега, у самой воды. Никуда не продвинулись.

В ту же секунду один из танков вспыхнул и загорелся — взметнулся черный дым и желтое пламя. Чуть дальше загорелся второй. Они сидели у воды как большие желтые жабы. На глазах у меня загорелись еще два. Из первых валил теперь густой серый дым, и ветер гнал его низко над берегом. Пока я вглядывался, пытаюсь разобрать, есть ли какое-нибудь движение дальше, за линией танков, один из горящих танков взорвался яркой вспышкой в сером дыму.

— Сверимся вот у них, — сказал Энди. — Штурвальный, держите вон на то судно. Да, да, правильно. Правее берите, давайте, давайте.

Это был черный катер, по виду быстроходный, с двумя пулеметами, он вперевалку удалялся от берега на еле работающем моторе.

— Какой это район? — крикнул Энди.

— Дог-Уайт.

— Точно?

— Дог-Уайт, — крикнули с черного катера.

— Проверено? — крикнул Энди.

— Район Дог-Уайт, — прозвучало с катера, и его винт вспенил воду. Он набрал скорость и умчался.

Я совсем приуныл: впереди, на берегу, я видел все ориентиры, которые запомнил для Фокс-Грин и Изи-Ред. Ясно видна была линия скал, отмечавшая левый конец Фокс-Грин. Каждый дом стоял там, где ему полагалось. Шпиль кольвильской церкви находился в точности там же, где и на аэроснимках. Я посвятил целое утро изучению снимков, карт, всех данных о подводных и наземных оборонительных сооружениях и, помнится, еще спросил тогда нашего командира, капитана второго ранга У.-И. Лихи с транспорта «Доротей», будет ли нашей задачей тактическая диверсия.

— Нет, — ответил он. — Ни в коем случае. А почему вы спрашиваете?

— Потому что этот участок основательно укреплен.

— За первые же полчаса все препятствия и мины будут обезврежены, — заверил меня капитан Лихи. — Сквозь них прорежут проходы для десантных частей.

Хотелось бы мне подробно рассказать, что значит провести десантное судно через заминированный пролив — про математическую точность маневрирования, про разработанный до секунды расчет всей операции — от подъема якоря до спуска шлюпок, на которых пехота в реве и вихре прибора устремится к месту сбора, чтобы влиться затем в атакующий эшелон.

Нужно написать о том, какая слаженная за этим стоит работа, но это была бы целая книга, а я пишу всего лишь отчет о том, как шли дела на одной десантной барже в тот день, когда мы штурмовали Фокс-Грин.

Была минута, когда никто как будто не знал, где этот Фокс-Грин находится. Я был уверен, что он прямо перед нами, но дозорный катер сказал, что это Дог-Уайт, а я считал, что Дог-Уайт от нас справа, в 4295 ярдах.

— Не может это быть Дог-Уайт, Энди, — сказал я. — Вон там, левее, скалы, это уже начинается Фокс-Грин.

— А он говорит, что Дог-Уайт, — сказал Энди.

Из гущи плечом к плечу стоявших солдат на нас смотрел, качая головой, человек с вертикальной белой полосой на каске. У него сильно выдавались скулы, лицо было туповатое, неуверенное.

— Лейтенант говорит, что знает эти места, это Фокс-Грин! — крикнул нам Эд Банкер. Он снова заговорил с лейтенантом, но слов было не разобрать.

Энди что-то крикнул лейтенанту, и тот покивал головой в каске.

— Он говорит, это Фокс-Грин, — сказал Энди.

— Спросите его, где лучше пристать, — сказал я.

Но тут к нам подошел со стороны берега еще один дозорный катер, маленький и черный. На нем было несколько офицеров, и один встал и прокричал в мегафон:

— Есть тут суда седьмого эшелона в район Фокс-Грин?

С нами была одна баржа из этого эшелона, и офицер крикнул, чтобы она шла за катером.

— Это Фокс-Грин? — крикнул Энди.

— Да. Видите вон тот разрушенный дом? Район Фокс-Грин тянется на тысячу сто тридцать пять ярдов вправо от этого дома.

— Пристать там можно?

— Этого не знаю. Справьтесь на диспетчерском судне.

— Где оно?

— Вон в той стороне.

— Мы могли бы войти там, где побывало какое-нибудь десантное судно, — сказал я. — Раз они приставали, значит, там путь свободен. Могли бы к кому-нибудь пристроиться.

— Поищем диспетчерское судно, — сказал Энди, и мы понеслись прочь от берега, в гущу десантных барж и лихтеров.

— Не вижу, — сказал Энди. — Нет его там. Наверно, разминулись. А нам, черт возьми, надо подходить. И так запаздываем. Идем к берегу.

— Спросите его, где лучше пристать, — сказал я.

Энди пошел к лейтенанту. Я видел, как тот шевелит губами, но ничего не слышал, мешал мотор.

— Он говорит, прямо у разрушенного дома, — сказал Энди, вернувшись.

Мы понеслись ко входу в бухту. Когда мы на полном ходу огибали мыс, нас снова нагнал черный дозорный катер.

— Встретили диспетчерское судно? — крикнули оттуда в мегафон.

— Нет.

— Что думаете делать?

— Идти к берегу! — проревел Энди.

— Что ж, пожелаем вам удачи, — сказал мегафон. Слова прозвучали медлительно и торжественно, как рекевию. — Пожелаем удачи всем вам.

Это относилось к Томасу Е. Нэшу из Сиэтла, механику, чья добродушная улыбка обнаруживала отсутствие двух передних зубов. Это относилось к Эдварду Ф. Бэнкеру из Бруклина, сигнальщику, и к Лэси Т. Шифлету из Орэнджа, штат Виргиния, который был бы командиром оружейного расчета, если бы у нас нашлось место для орудия. Это относилось к Фрэнку Кэриру из Согеса, штат Массачусетс, штурвальному, и еще это относилось к Энди и ко мне. Зловещий тон этого прощального напутствия сразу дал нам почувствовать, что высадка будет серьезным делом.

Я устроился на корме повыше, чтобы увидеть, что нас ждет. Бинобль мой наконец просох, и можно было обозреть берег. Берег несся на нас с невероятной быстротой, а в бинокль — еще быстрее.

На берегу, слева, там, где не было каменистого обрыва, нависшего сверху естественным прикрытием, лежали люди из первого, второго, третьего, четвертого и пятого эшелонов, и казалось, что на устланной галькой полосе между морем и откосами разбросано множество туго набитых узлов. Справа было открытое пространство, доходившее до того места, где к бухте подходила поросшая лесом долина. Именно здесь немцы надеялись нам напасть, что несколько позже и сделали.

Правей, на высотке, горели два танка, дым над ними, густой и черно-желтый сразу после взрыва, успел уже стать серым. Когда мы входили в бухту, я заметил два пулеметных гнезда. Один пулемет бил из разрушенного дома справа от маленькой долины. Второй находился ярдов на двести правее и ярдов на четыреста дальше от моря.

Лейтенант, командовавший частями, которые мы везли, просил держать курс прямо на разрушенный дом.

— Прямо туда, — повторял он. — Прямо.

— Энди, — сказал я, — весь этот участок простреливается пулеметным огнем. Вот только сейчас они дали две очереди по тому поврежденному судну.

Среди свай пьяно покачивалась пехотная баржа — протекшая стальная ванна. Пули летели у самой кромки воды и высекали из волн острые фонтанчики.

— Он говорит, ему туда и нужно, — сказал Энди. — Значит, туда мы его и доставим.

— Нет смысла, — сказал я. — Оба пулемета ведут огонь, я сам видел.

— А ему нужно туда, — сказал Энди. — Так что полный вперед. — Он повернулся к корме и посигналил остальным баржам — вверх и вниз рукой с вытянутым указательным пальцем.

— Давай сюда, ребята, — произнес он неслышно — мотор ревел, как самолет при взлете. — Давай, давай, не мешкай. Штурвальный, вперед и до места!

Мы вошли в поле обстрела обоих пулеметов, и я весь сжегился от оглушительного треска над головой. Потом нырнул под кормовой брезент, в нишу, где стоял бы артиллерист, если б у нас была артиллерия. Пулеметный огонь обливал водой поврежденную баржу, одна противотанковая граната окатила водой и нас.

Лейтенант что-то говорил, я не слышал, только Энди, пригнувшись к самому его рту, расслышал и заржал:

— Штурвальный, уходите отсюда к черту! Уходим отсюда!

Как только мы повернулись на собственной оси и отошли, пулеметный огонь прекратился. Но пули снайперов еще свистели над головой или плюхались в воду. Я не без усилия распрямился и опять стал смотреть на берег.

— И мины не были убраны, — сказал Энди. — Вот сколько их висело на сваях.

— Пройдемся вдоль берега, — сказал я, — поищем хорошего места, где их высадить. Если не будем соваться под пулеметы, едва ли они станут стрелять по нас из орудий. Мы ведь всего-навсего баржа, а у них есть мишени и поважнее.

— Поищем места, — сказал Энди.

— Что ему еще нужно? — спросил я Энди.

Губы лейтенанта опять шевелились — очень медленно и словно без всякой связи с ним или с его лицом.

Энди сходил к нему и вернулся ко мне на корму.

— Хочет подойти к одной барже, там его командир.

— Можно ссадить его подальше, где начинается Изи-Грин.

— Он хочет поговорить со своим командиром. Те люди на черном судне из его части.

Неподалеку на волнах переваливалась с боку на бок пехотная баржа, и, подходя к ней, я увидел в ее стальной броне, впереди рубки, рваную пробойну от 88-миллиметрового немецкого снаряда. При каждом наклоне баржи с блестящих краев пробойны стекала в море кровь. Борты были заляпаны следами морской болезни, убитые сложены впереди рубки. Наш лейтенант побеседовал с другим офицером, пока мы вздымались и падали в волны у черного корпуса, после чего мы отошли.

Энди прошел на нос, поговорил с лейтенантом, вернулся, и мы уселись на корме и смотрели, как от восточных участков берега к нам движутся два эсминца, стреляя из орудий по целям, расположенным на мысах и выше, на травянистых склонах.

— Он говорит, ему приказали пока не причаливать,— сказал Энди.— Подождать. Пропустим-ка этот эсминец.

— И сколько он собирается ждать?

— Он говорит, ему приставать рано. Еще не высадились другие части, которые должны были пройти до него. Ему велено ждать.

— Подойдем где-нибудь, откуда будет видно,— сказал я.— Вот, берите бинокль и глядите на тот участок, только не говорите, что там увидите.

Энди поглядел, вернул мне бинокль и покачал головой.

— Пройдемся вправо, посмотрим, как дела на том конце,— сказал я.— Сдается мне, что там мы сумеем причалить, когда он захочет. Вы уверены, что он получил приказ ждать?

— Я с его слов говорю.

— Проверьте-ка еще раз.

Энди вернулся.

— Он говорит, сейчас не время. Там, видите ли, убивают мины, чтобы могли пройти танки, и для высадки еще ничего не готово. Говорит, ему сказали, что произошла неувязка и чтобы ждать.

Эсминец стрелял в упор по бетонному доту, который обстрелял нас при первом заходе в бухту, и слышны были разрывы и видно было, как вздрагивала земля и почти одновременно пустые латунные гильзы со звоном падали на стальную палубу. Пятидюймовые орудия эсминца били по разрушенному дому в начале узкой долины, откуда все тогда огонь второй пулемет.

— Вот теперь, когда эта посудина прошла, можно и подыскать удобное местечко,— сказал Энди.

— Эта посудина убрала там какое-то препятствие,— сказал я.— Уже видно, пехота полезла по ложине вверх. Вот, держите бинокль.

Медленно, с натугой, словно каждый из них был Атласом, поддерживающим на своих плечах вселенную, шли солдаты вверх по долине, справа от нас. Они не стреляли. Они только медленно поднимались в гору, точно вычужный обоз, под конец рабочего дня ползущий устало в противоположную от дома сторону.

— Пехота подходит к перевалу в том конце долины,— крикнул я лейтенанту.

— Мы им пока не нужны,— сказал он.— Было ясно сказано, что мы им не нужны.

— Дайте-ка я посмотрю в бинокль, или Хемингуэй,— сказал Энди. Потом вернул мне бинокль.— Вон там кто-то сигналил желтым флагом и какое-то судно вроде терпит бедствие. Штурвальный, держите прямо на берег.

Мы полным ходом шли к берегу. Эд Бэнкер оглянулся и сказал:

— Мистер Эндерсон, другие баржи уже входят в бухту.

— Верните их,— сказал Энди.— Верните их!

Бэнкер прошел на корму и стал сигнализировать. Сигнал был принят не сразу, но наконец его поняли, обе баржи замедлили ход и отстали.

— Вернули? — спросил Энди, продолжая смотреть вперед. Там, среди заминированных свай, застряла полузатонувшая баржа.

— Да, сэр,— сказал Эд Бэнкер.

Прямо навстречу нам шел бронекатер, возвращающийся с берега. Когда он поравнялся с нами, какой-то человек крикнул оттуда в мегафон:

— На той барже есть раненые, а она идет ко дну.

— А подойти к ней можно?

Ветер отнес ответ в сторону, и мы успели разобрать только слова «пулеметное гнездо».

— Что такое они сказали про пулеметное гнездо? — спросил Энди.

— Не расслышал.

— Догоните их, штурвальный,— сказал Энди.— Подойдите к ним вплотную.

— Эй, что вы там говорили про пулеметное гнездо? — прокричал Энди.

Офицер с мегафоном перегнулся за борт.

— Их обстреляли из пулеметного гнезда. Они идут ко дну.

— Штурвальный, правьте на берег,— скомандовал Энди.

Это была нелегкая задача. Приходилось лавировать между свай, опущенных на дно в качестве заградительного сооружения и соединенных с ударными минами, похожими на большие круглые блюда, сложенные попарно, дном наружу. Они были неопределенного безобразного серо-желтого цвета, как все почти вещи на войне.

Когда мы видели перед собой такую сваю, мы оттакивались от нее руками. О других сваях, которые оставались под нами в глубине, мы не знали и не думали, продолжая подвигаться к тонущей барже.

Нелегко оказалось поднять на борт солдата, раненного в низ живота,— в тесноте среди свай некуда было спустить трап.

Не знаю, почему немцы по нам не стреляли, разве что линкор подавил пулеметные гнезда. А может, они ждали, когда мы подорвемся на минах. Ставить эти мины, несомненно, было кропотливой работой, и немцам, естественно, хотелось посмотреть их в действии. Мы находились в пределах досягаемости противотанковой пушки, которая обстреляла нас раньше, и все время, что мы маневрировали и работали среди свай, я ждал, что она вот-вот откроет огонь.

Когда мы все же спустили трап, стоя впрытик к поврежденной барже, и еще до того, как она затонула, я увидел, как по прибрежной полосе очень медленно подвигаются три танка. Немцы дали им пересечь открытое место при выходе из долины, где они представляли собой идеальную мишень, а потом над головным танком, чуть сбоку от него, взметнулся фонтан воды. Потом из головного танка, дальнего от нас, вырвался дым, и я увидел, как два танкиста выскочили из башни и шлепнулись ничком на береговую гальку. Я даже видел их лица, но за ними никто не последовал, а танк тут же запылал.

К тому времени мы успели взять на борт раненого и всех уцелевших, убрали трап и стали отходить, петляя между свай. Когда последняя свая осталась позади и Кэрир дал полный ход, уже и другой танк загорелся.

Мы доставили раненого на линкор. Его подняли на борт в особой металлической корзине, забрали и уцелевших.

Линкоры тем временем подошли почти к самому берегу и своими пятидюймовыми снарядами выковыривали из земли дот за дотом. При одном из разрывов высоко и плавно вознесся в воздух кусок немца фута в три длиной. Это напомнило мне сцену из «Петрушки».

Пехота уже одолела подъем и скрылась за перевалом. Можно было больше не дожидаться. Мы подошли к удобному местечку, которое облюбовали еще раньше, и солдаты высадились на берег вместе со своим тринитротолуолом, своими ПТР и своим лейтенантом. Дело было сделано.

Немцы все еще вели огонь из противотанковых пушек, поворачивая их по долине и тщательно пристреливаясь к выбранной цели. Минометы еще стреляли по берегу. Отступая, немцы оставили на берегу снайперов, и ясно было, что они будут продолжать стрельбу по крайней мере до темноты.

Теперь перегруженные транспорты один за другим подходили к берегу. Пресловутые проходы, прорезанные среди мин в первые же полчаса, все еще оставались мифом, а сейчас, когда прилив накрывал сваи, приставать было еще опаснее.

Из двадцати четырех барж нашего эшелона мы не досчитывались шести, но могло случиться, что экипажи их подобрали другие суда. Это была лобовая атака среди бела дня в заминированном районе, обороняемом всеми средствами, какие только способна изобрести военная мысль. Оборона берега велась с упорством и с толком. Но наша десантная флотилия сумела доставить на место людей и грузы. Мы потеряли несколько барж, но ни одна из них не погибла по вине команды. Это были потери, причиненные огнем противника. И мы взяли Фокс-Грип.

Обо многом еще я не написал. Пиши хоть педелю, все равно не отдашь должного всем, кто действовал тогда на участке берега длиной в тысячу сто тридцать пять ярдов. Настоящая война совсем не такая, как на бумаге, и читать о ней — не то что видеть своими глазами. Но если вам интересно узнать, как оно было на одной десантной барже 6 июня 1944 года, когда мы заняли Фокс-Грип и Изи-Ред, — вот вам самый правдивый отчет об этом, какой я сумел написать.

ЛОНДОН ВОЮЕТ С РОБОТАМИ

«Кольерс», 19 августа 1944 г.

«Буря» — это большой сухопарый самолет. Это самый быстрый истребитель на свете, упрямый и выносливый, как мул. Скорость его достигает 400 миль в час, и в пике он намного опережает собственный звук. Там, где мы жили, в задачу его входило перехватывать самолеты-снаряды и взрывать их над морем или над открытой местностью, когда они с прерывистым ревом устремлялись к Лондону.

Эскадрилья летала с четырех часов утра до полуночи. Все время несколько пилотов сидели в кабинах, готовые взлететь по сигналу Вери, и несколько машин все время патрулировало в воздухе. Самое короткое время, которое я засек от вспышки сигнального пистолета, бросавшей двойную световую дугу из двери барака связи в сторону стоянки машин, и до взлета, было 57 секунд.

Хлопает пистолет — и тут же слышится сухой лай стартового заряда, нарастающий вой мотора, и большие голодные длинноногие птицы, споткнувшись и подпрыгнув, взмывают ввысь с таким воем, словно двести циркулярных пил вгрызаются в бревно красного дерева. Они взлетают по ветру, против ветра, как угодно, зацепляются за какой-то кусок неба и лезут в него, подбирая под себя свои длинные тощие ноги.

Многих и многое в жизни начинаешь любить, когда поживешь рядом, но ни одна женщина, ни одна лошадь и, уж конечно, ничто другое не вызывает такой любви, как большой самолет, и люди, которые их любят, остаются им верны, даже когда покидают их и уходят к другим. Летчик-истребитель только раз теряет девственность, и если

он теряет ее с достойной машиной, значит, сердце его отдано навеки. А П-51 безусловно пленяет сердца.

«Мустанг» — грубое, хорошее название для поровистого, грубого, хриплого, сердитого самолета, который мог бы подружиться с Гарри Гребом, если бы у Гребя был мотор вместо сердца. «Буря» — сентиментальное название из Шекспира. Шекспир, конечно, великий человек, но название-то дали самолету, представляющему собой помесь из Броненосца и Таллулы в их лучшие годы. А это были неплохие годы, и не один человек попался на удочку букмекера, потому что смотрел на трехлетку с такой же шеей, как у Рыжего, а на другие стати не обратил внимания. И хриплых голосов с тех пор было сколько угодно, но ни одного такого, который был бы слышен через весь Западный океан.

Так вот, поговорим об эскадрилье «Бурь». Давая им название, кто-то явно напрашивался на метеорологические неприятности. И изо дня в день с утра до ночи они сбивают это безымянное новое оружие. Командир эскадрильи — очень привлекательный человек, рослый, немногословный, как леопард, со светло-коричневыми подглазниками и лиловым от ожогов лицом, и историю своего подвига он рассказал мне очень спокойно и правдиво, стоя возле дощатого стола в столовой летного состава.

Он знал, что говорит правду, и я это знал, и он очень точно помнил, как все было, потому что это был один из первых самолетов-снарядов, которые он расстрелял, и он очень точно описал все подробности. О себе он говорил неохотно, но хвалить самолет ему не казалось зазорным. Потом он рассказал мне о другом способе с ними расправляться. Если не удастся взорвать их в воздухе, их сбивают.

— Из них поднимается такой огромный пузырь, — сказал он.

Слово было смелое, оно придало ему бодрости, и он попробовал дать еще другое определение:

— Скорее, как будто вырастает этаким исполинский цветок.

Это было выражено так четко, что мы оба смутились, но пока я представлял себе, как расцветает этот гигантский пузырь, один американец из той же эскадрильи рассеял всякое напряжение, сказав:

— Я сегодня сшиб один на парники, стекло взлетело прямо вверх, на миллион футов. Что я скажу владельцу парников, когда мы вечером пойдем в пивную?

— В точности просто невозможно определить, куда он упадет,— сказал командир эскадрильи, сказал робко, терпеливо, но очень настойчиво, из-под лиловой маски, которую он теперь всегда будет носить вместо лица,— Они ведь летят очень быстро.

Вошел командир авиаполка, рассерженный, довольный. Он был маленького роста и здорово форсил и сквернословил. Позже я узнал, что ему 26 лет. Я как-то видел его, когда он выходил из самолета, но не знал, что он и есть командир полка. Тогда это не бросалось в глаза, да и теперь, когда он заговорил, тоже. Единственное, по чему можно было понять, что он командир полка, было то, каким тоном другие летчики говорили ему «сэр». Они говорили «сэр» и обоим командирам эскадрилий, из которых один был крепкий бельгиец, похожий на гонщика-велосипедиста, а другой — тот самый тихий, привлекательный человек, что жил с обожженным лицом. Но «сэр», обращенное к командиру полка, было чуть-чуть другое, и командир полка никак не отвечал на это обращение, даже не показывал виду, что заметил его.

Цензура в военное время — вещь необходимая. Особенно она необходима во всем, что касается авиации: пока новый тип самолета не попал в руки противника, нельзя публиковать никаких сведений относительно его скорости, размеров, летных данных и вооружения, поскольку все эти сведения важны и нужны противнику.

Самолет любят как раз за его внешний вид и летные качества, и только правдивое его описание и могло бы вдохнуть чувство в посвященную ему статью. В этой корреспонденции ничего такого нет. Я надеюсь, что противник не сойдет ни одной «Бури», что «Буря» навсегда останется в секретном списке и все, что я о ней знаю и за что ее люблю, можно будет опубликовать только после войны.

Не пишу я ничего и о тактике, которая применяется при уничтожении самолетов-снарядов, и о тех разговорах, из которых вам стало бы ясно, как чувствуют себя те, кто эту тактику применяет. Потому что нельзя дать разговор и умолчать о тактике. Так что в этой корреспонденции нет почти ничего, кроме любви человека к самолету.

Написана она грубым языком, потому что и разговоры в этой воинской части звучали, как правило, грубые. Единственным исключением был тот командир эскадрильи,

несколько слов которого я привел выше. В иных частях Королевского воздушного флота очень распускают языки, в других же выражаются изящно и правильно, как в фильме «Цель на сегодня». Мне нравится («нравится» — очень слабое слово для испытываемых мною чувств) как тот, так и другой стиль, и когда-нибудь, если настанет такое время, когда можно будет написать что-нибудь интересное, что цензор найдет возможным пропустить, мне хотелось бы попытаться изобразить обе эти крайности. А пока довольствуйтесь тем, что есть.

В военное время без цензуры не обойтись, и мы сами опускаем все, что, по нашему мнению, могло бы заинтересовать противника. Но когда пишешь о войне в воздухе, пытаешься все же вместить и колорит, и подробности, и эмоции, в этом есть известная аналогия с работой спортивного обозревателя.

Чем-то это напоминает прежние дни, когда ты в девять часов утра заставлял Гарри Гребя в постели, за завтраком из яичницы с ветчиной и жареной картошки, в день его встречи с Микки Уокером. Весил он в то утро ровно на двенадцать фунтов больше, чем те 162, которые ему полагалось весить в два часа дня. Теперь представьте себе, что вы видели, как этот лишний вес сгоняют с него массажем, обстукиванием и прочими способами, а потом тащат его на весы, ослабевшим до того, что он не в состоянии сам идти и почти не в состоянии ругаться.

Дальше предположим, что вы видели, сколько он съел, и видели, как он вышел на ринг, причем вес его был точно такой же, как когда он утром встал с постели. И предположим, вы видели, какой он дал великолепный, с жестокими крюками, джебами и свингами, глусный, кровавый, чудесный бой, — и все это вам нужно изложить в таких словах: «По имеющимся сведениям, один из наших боксеров, по фамилии Греб, чьи качества неизвестны, встретился вчера вечером с пеки М. Уокером. Дальнейшие подробности будут опубликованы в свое время».

Если моя корреспонденция покажется вам несколько бредовой, вспомните, что по небу во всякое время суток летят самолеты-снаряды, которые в полете выглядят как уродливые металлические дробинки с добела раскаленной пастью, покрывают 400 миль в час, несут в голове по 2200 фунтов взрывчатых веществ, шум производят как некий супермотоцикл и как раз сейчас проносятся над тем местом, где пишутся эти строки,

В Нью-Йорке один мой очень уважаемый коллега сказал мне, что не намерен возвращаться на европейский театр военных действий, потому что не сможет написать ничего, кроме повторений уже написанного. Пользуясь случаем заверить моего уважаемого коллегу, что опасность повториться в корреспонденции — отнюдь не самая серьезная из тех, которым сейчас подвергаются его бывшие товарищи по работе.

Итак, если вы читаете внимательно — сам я, надо сказать, немного отвлекся из-за неполадок с оконными стеклами, — вы помните, что мы находимся где-то на юге Англии, где группа летчиков, летающих на «Бурях», за семь дней сбила положенное им количество самолетов-снарядов. Это оружие называют и бомба-робот, и самострел, и жуужалка, и всякими другими именами, рожденными в изобретательных умах молодчиков с Флит-стрит, но я никогда не слышал, чтобы боксеры называли Джо Луиса Тутси. Поэтому в данной корреспонденции мы будем по-прежнему называть это оружие самолетом-снарядом, а вы можете называть его любым оригинальным или ласкательным именем, но только, пожалуйста, про себя.

Накануне того дня, когда ваш референт по самолетам-снарядам приступил к изучению угла перехвата, он, или я (скорее всего я, хотя порой мне кажется, что я тут не на месте и, пожалуй, следует бросить все это дело и вернуться к писанию книг в жестких переплетах), летал на одном из сорока восьми бомбардировщиков «Митчелл» — восемь треугольников по шесть самолетов — бомбить одну из баз, с которых запускают самолеты-снаряды.

Любой новичок с легкостью определит местоположение этих баз по количеству валяющихся вокруг них старых «Митчеллов», а также по тому, что, когда к ним приближаешься, рядом с твоей машиной появляются большие черные кольца дыма. Эти черные кольца дыма называются флак, или зенитный огонь, и этот самый флак породил всем известную формулу умолчания — «два наших самолета на базу не вернулись».

Так вот, мы (вернее, командир авиаполка Линн, человек, с которым хорошо летать и который отвечает бомбардиру Кису, когда тот, зайдя на цель, докладывает в переговорную трубку: «Раз... два... три... четыре», таким же ровным, обыденным голосом, каким говорят на земле) разбомбили эту базу точно, как по нотам. Я хорошо разглядел ее — огромное бетонное сооружение, которое лежа-

ло то на боку, то на брюхе (в зависимости ст того, видишь ли его перед заходом на цель или после), в лесу, со всех сторон окруженном воронками от бомб. Над ним висело два облачка, отнюдь не казавшихся одинокими, как те, про которые написано в стихах «Подобно облаку, бродил я, одинок».

Те самые кольца черного дыма в большом количестве поднимались к нам, возникали все в ряд, внутри треугольника, между нами и соседним «Митчеллом» справа от нас, очень похожим на изображение «Митчелла» на рекламе фирмы. И пока рядом возникали кольца дыма, брюхо машины раскрылось, с силой оттолкнуло воздух — прямо как в кино, — и из нее косо выпали все бомбы, точно она в спешке разродилась восемью длинными металлическими котятками.

Все мы одновременно проделывали то же самое, по видна нам была только эта одна машина. Потом мы все полетели домой как можно быстрее. Вот это и есть бомбежка. В отличие от многих других случаев жизни, приятнее всего бывает после. Пожалуй, это немного напоминает пребывание в университете. Главное не то, много или мало ты выучишь. Главное — каких чудесных людей узнаешь.

Ваш референт по самолетам-снарядам никогда не учился в университете, поэтому теперь он поступил в Королевские воздушные силы, и главный предмет его учебной программы — научиться понимать англичан по радиотелефону. Лицом к лицу с англичанином я понимаю почти все, что он говорит. Я вполне прилично говорю, читаю и пишу по-канадски, немножко знаком с шотландским и знаю несколько слов по-новозеландски. Австралийский я знаю достаточно для того, чтобы перекинуться в карты, заказать выпивку и протиснуться к стойке, если бар переполнен. Разговорным южноафриканским языком владею почти так же хорошо, как языком басков. Но английский по радиотелефону остается для меня тайной.

На близком расстоянии, по переговорному устройству в бомбардировщике, я улавливаю почти все. Надавишь кнопку на ручке управления, чтобы было слышно только то, что говорится в кабине, и начинаются долгие интимные беседы, вроде: «Какой это сукин сын там разговаривает?» — и ты отвечаешь: «Не знаю. Наверно, тот же фриц, который в день вторжения все твердил: «Назад, назад, операцию отменили!» — «И как он умудрился поймать нашу волну?»

Пожимаешь плечами и снимаешь палец с кнопки. Такой разговор мне доступен, но когда настоящие англичане начинают переговариваться по-английски с самолета на самолет или с носа на хвост, я вслушиваюсь изо всех сил, точно готовлю домашний урок, да притом по чужому учебнику высшей математики, когда сам не одолел еще и планиметрии.

Я и по обыкновенному-то телефону понимаю английский еще неважно и поэтому, усвоив правила добрососедской политики, всегда отвечаю «да» и только прошу повторить, в котором часу завтра утром придет машина, чтобы везти нас на тот аэродром, откуда нам предстоит взлететь.

Этим объясняется участие вашего референта по самолетам-снарядам во многих любопытных вылазках. Он вовсе не из тех, кого вечно тянет искать опасности в небе или бросать вызов законам земного притяжения; просто он, не всегда ясно понимая, что именно ему предлагают по телефону, раз за разом оказывается вовлеченным в уничтожение этих чудовищ в их жутких логовах или в попытки перехватить их на прелестном, развивающем скорости до 400 миль в час самолете «Москит».

В настоящее время ваш референт по самолетам-снарядам прекратил какие бы то ни было телефонные разговоры, чтобы подогнать свои записи, — не то кто-нибудь, чего доброго, великодушно предложит ему что-нибудь столь захватывающее по части воздушных операций, что он не выполнит своего долга по отношению к этой великой книге. Впрочем, до того, как разговоры были прекращены, поступило два-три достаточно заманчивых предложения, и, насколько мне известно, в некоторых кругах не стесняются высказывать мнения вроде следующих:

— Эрри — трус. Мог бы летать на черт знает какие интересные задания, а он заперся в своей комнате и знаешь что делает?

— Что?! (В голосе ужас.)

— Пишет.

— Ну и ну! Долетался, бедняга!

БИТВА ЗА ПАРИЖ

«Кольерс», 30 сентября 1944 г.

19 августа я в сопровождении рядового Арчи Пелки из Кантона, штат Нью-Йорк, заехал на КП пехотного полка дивизии, расположенный в лесу близ Ментенона, чтобы получить информацию об участке фронта, который удерживал этот полк. Начальник разведки и начальник оперативного отдела показали мне, где стоят их батальоны, и сообщили, что самый передовой отряд боевого охранения находится в пункте сразу за Эперноном, на дороге в Рамбуйе (23 мили к юго-западу от Парижа), где расположены летняя резиденция и охотничий домик президента Франции. Мне сказали также, что под Рамбуйе идут тяжелые бои. Я хорошо знал местность и дороги в районе Эпернона, Рамбуйе, Траппа и Версаля, потому что много лет путешествовал по этой части Франции пешком, на велосипеде и в машине. Лучше всего знакомишься с какой-нибудь местностью, путешествуя на велосипеде, потому что в гору пыхтишь, а под гору можно ехать на свободном ходу.

Вот так и запоминаешь весь рельеф, а из машины успеваешь заметить только какую-нибудь высокую гору, и подробности ускользают — не то что на велосипеде. В боевом охранении полка мы застали нескольких французов, только что прикативших на велосипедах из Рамбуйе. Кроме меня, никто из наших военных не говорил по-французски, и они рассказали мне, что последние немцы ушли из Рамбуйе в три часа ночи, но дороги, ведущие в город, заминированы.

С этими сведениями я двинулся было обратно в штаб полка, но, проехав немного, сообразил, что лучше вернуть-

ся и забрать французов с собой, чтобы их самих допросили и получили более полные данные. Когда я снова прибыл в сторожевое охранение, там оказались две машины, полные французских партизан, по большей части голых до пояса. Они были вооружены пистолетами и двумя автоматами «Стэн», которые им сбросили с парашютом. Они только что прибыли из Рамбуйе, и их рассказ об отходе немцев совпал с тем, что сообщили другие французы.

Мы с рядовым Пелки доставили их в штаб полка — панджип шел впереди, а их две машины следом, — и там я перевел соответствующему начальству их рассказ о положении в городе и о состоянии дорог.

Потом мы вернулись в боевое охранение, чтобы дожидаться отряда разминирования и разведотряда, которые должны были туда прибыть. Мы ждали довольно долго, и французские партизаны стали терять терпение. Выходило, что нужно ехать до первого минного поля и поставить там охрану, чтобы на мины не парвались какие-нибудь американские машины, которые могли там оказаться.

Мы продвигались в сторону Рамбуйе, когда к нам присоединился офицер противотанковой роты пехотного полка лейтенант Ирвинг Кригер из Ист-Оренджа, штат Нью-Джерси. Лейтенант Кригер был низенький, коренастый, донельзя грубый и очень веселый. Я сразу заметил, что партизанам он понравился, а стоило им увидеть, как он находит и извлекает мины, они прониклись к нему полным доверием. Когда работаешь с нерегулярными частями, единственная дисциплина — это дисциплина личного примера. Пока они в тебя верят, они будут драться. Перестав верить в тебя или в необходимость порученного им дела, они тотчас исчезают.

Военным корреспондентам запрещено командовать войсками, и этих партизан я просто доставил в штаб пехотного полка, чтобы они там рассказали, что знают. Как бы то ни было, этот день начался замечательно, а потом, приближаясь к Рамбуйе по ровной, черной, обсаженной большими платанами дороге, вдоль которой слева тянулась стена парка, мы увидели впереди завал.

Во-первых, слева лежал разбитый джип. Затем две германские танкетки — они их используют как противотанковые торпеды. Одна расположилась на дороге и смотрела прямо нам навстречу, когда мы ехали под гору к завалу из срубленных деревьев. Другая стояла справа от обочины. В каждой было по двести фунтов тринитротолуола, а под-

ключенные к ним провода уходили на заднюю сторону завала. Если бы на дороге появилась колонна танков, одну из этих самоходок можно было выпустить прямо ей в лоб. Если бы машины свернули правее, а ничего другого им бы не оставалось, поскольку слева тянулась стена, вторую танкетку можно было пустить им во фланг. Они сидели на дороге, как две мерзкие жабы. Перед самым завалом валялся еще один разбитый джип и большой грузовик, тоже разбитый.

Лейтенант Кригер нырнул в минное заграждение, поставленное вокруг двух больших, брошенных поперек дороги деревьев, как мальчишка, которому не терпится пайти свое имя на пакетах с подарками, сложенных под рождественской елкой. Под его руководством рядовой Пелки и партизаны стали складывать мины на стенку у обочины. От французов мы узнали, что в этом месте немцы расстреляли американский разведывательный патруль. Броневи́к, который шел впереди, они пропустили к Рамбу́е, а грузовик и оба джипа обстреляли из противотанковых ружей и пулеметов и убили семь человек. А потом достали из грузовика американские мины и заминировали дорогу.

Французы похоронили американцев в поле, близ дороги, где они попали в засаду, и пока мы убрали мины, пришли несколько французских женщин, положили на могилы цветы и помолились о погибших. Разведотряд так и не появился, но прибыли люди лейтенанта Кригера, и он наладил радиосвязь с полком.

Я отправился в город с патрулем французских партизан, и мы узнали, на какое расстояние отошли немцы и какова их численность. Эти сведения я сообщил лейтенанту Кригеру, и поскольку между нами и немцами не было никакого заслона, а у немцев, как мы выяснили, сейчас же за городом имелось не меньше десяти танков, было решено восстановить минное заграждение на случай, если немцы вздумают вернуться, и оставить возле него охрану. К счастью, в эту минуту подошла разведывательная рота под командованием лейтенанта Питерсона из Кливленда, штат Огайо, и одной заботой у нас стало меньше.

Вечером наши французские партизаны выставили патрули на главных дорогах, ведущих из Рамбу́е, чтобы оградить разведроту лейтенанта Питерсона, расположившуюся в центре города. Ночью лил дождь, и к утру французы промокли и устали. Накануне днем они облачились

в комплекты полевой формы, оставшиеся в грузовике, в котором тех американцев перебили из засады.

Когда мы входили в город в первый раз, все они, кроме двух, были голые до пояса, и население при виде их не выказало никакого восторга. Во второй раз они все уже были в форме, и нам досталась изрядная доля приветствий. Когда мы проходили по улицам в третий раз, все были в касках, и нас встречали оглушительными криками, душили в объятиях и поили шампанским, и мы устроили свой штаб в отеле «Гран Венер», где имелся превосходный винный погреб.

На второй день утром я вернулся на КП пехотного полка, чтобы доложить о положении в Рамбуйе и о том, какие силы немцев действуют между Рамбуйе и Версалем. Люди из французской жандармерии и партизаны в жандармских мундирах то и дело заглядывали в Версаль, и чуть ли не каждый час поступали сведения от французских групп Сопротивления. У нас были точные данные о передвижении немецких танков, огневых позициях, зенитных батареях, о численности и расположении немецких войск.

Сведения эти все время уточнялись и дополнялись. Командир пехотного полка попросил меня проехать в штаб дивизии, и там я доложил обстановку в Рамбуйе и его окрестностях, и для отрядов французского Сопротивления было получено кое-какое оружие из запасов трофейного имущества в Шартре.

Когда я вернулся в Рамбуйе, оказалось, что лейтенант Питерсон немного продвинул свою роту по дороге к Версалию и что в поддержку ему прибыл еще один разведотряд с танками. Приятно было видеть в городе войска и знать, что между нами и немцами не пустое пространство, — ведь нам теперь было известно, что среди пятнадцати немецких танков, действующих в районе севернее Рамбуйе, есть три «тигра».

Во второй половине дня в город наехало много народу. Здесь собрались офицеры разведки, английской и американской, вернувшиеся с заданий или отбывающие на задания, несколько корреспондентов, полковник из Нью-Йорка — старше его американских офицеров не было — и капитан-лейтенант Лестер Армор из резерва военно-морских сил США, и вдруг оба бронетанковых разведотряда получили приказ, гласящий, что все задания

отменяются, и с указанием пункта, куда им надлежит отойти.

С их уходом между городом и немцами не осталось никаких войсковых частей. Мы теперь точно знали и численность немцев, и их тактику. Они гоняли свои танки в районе между Траппом и Ноф-ле-Вье, блокируя дорогу в Версаль из Гудона. Время от времени они то тут, то там высылали танки по боковым дорогам на главное шоссе между Рамбуйе и Версалем, а район к востоку от Шеврез и Сен-Реми-ле-Шеврез патрулировали их легкие тапки и мотоциклисты.

К ночи, когда американские разведотряды отошли, оборону Рамбуйе составляли только смешанные патрули из регулярных войск и партизан, вооруженные противотанковыми гранатами и стрелковым оружием. Всю ночь лил дождь, и часть этой ночи, между двумя и шестью часами, была, кажется, самой тоскливой в моей жизни. Не знаю, поймете ли вы, что это значит — только что впереди у вас были свои части, а потом их отвели, и у вас на руках остался город, большой, красивый город, совершенно не пострадавший и полный хороших людей. В книжке, которую раздали корреспондентам в виде руководства во всех тонкостях военного дела, не было ничего, применимого к такой ситуации; поэтому было решено по возможности прикрыть город, а если немцы, обнаружив отход американских частей, пожелают установить с нами соприкосновение, в этом желании им не отказывать. В таком духе мы и действовали.

В последующие дни немецкие танки бродили впереди нас по всем дорогам. Они брали заложников в деревнях. Хватали людей из отрядов Сопротивления и расстреливали их. Совались куда хотели. Но все это время по пятам за ними следовали французские партизаны на велосипедах, доставлявшие точные данные об их передвижениях.

Человек не должен был появляться в каком-то месте больше одного раза, если только у него не было законного предлога для езды туда и обратно. Иначе немцы заподозрили бы его и пристрелили. Людей, зпавших, как нас мало, по возвращении с задания держали под арестом, чтобы лишить их возможности вернуться на захваченную немцами территорию, где их могли схватить и заставить отвечать на вопросы.

Из одной германской танковой части, расположенной впереди нас, дезертировал совсем юный поляк. Свой мун-

дир и автомат он закопал в землю и пробрался к нам в нижнем белье и в брюках, которые нашел в каком-то разбомбленном доме. Он принес полезные сведения, и мы отправили его работать в кухне отеля.

Секретная служба у нас была отнюдь не на должной высоте, поскольку все, кто носил оружие, были заняты в патрулях, но я помню, как шокирован был полковник, когда повар, явившись в столовую, служившую командным пунктом, попросил разрешения послать пленного одного в пекарню за хлебом. Полковник был вынужден отклонить эту просьбу. Позже пленный как-то попросил меня послать его под конвоем откопать мундир и автомат, чтобы он мог сражаться. Эту его просьбу тоже пришлось скрепя сердце отклонить.

В этот период войны без правил немецкий танк подобрался однажды на расстояние в три мили от города и убил очень симпатичного полисмена, стоявшего в дозоре, и одного из наших местных партизан. Все, кто видел это, нырнули в канаву и стали стрелять по танку, а он, установив соприкосновение, удалился. Немцы в то время проявляли прискорбную склонность воевать строго по уставу. Если бы они послали устав к черту, они могли бы войти в город и распивать превосходные вина в отеле «Гран Венера» и даже вытащить из кухни своего поляка и либо расстрелять его, либо опять нарядить в мундир.

Странно протекала в те дни жизнь в отеле «Гран Венера». Один старик, которого я видел за неделю до того при взятии Шартра и подвез на своем джипе до Эпернона, потом явился ко мне и заявил, что, по его мнению, в лесу близ Рамбуи можно собрать много интересных сведений. Я сказал ему, что я корреспондент и что это не мое собачье дело. И вот теперь я встречаю его на какой-то дороге в шести милях к северу от города, и он выкладывает мне полные данные относительно минного поля и противотанковой батареи на шоссе сейчас же за Траппом. Послали проверить его сведения, они подтвердились. После этого пришлось взять старика под стражу, потому что он хотел опять отправиться за информацией, а он слишком много знал о нашем положении, нельзя было рисковать, что его сдадут немцы. И он оказался под арестом вместе с юным поляком.

Всем этим должна была заниматься контрразведка. Но у нас таковой не было, как не было и отдела связи с местным населением. Помню, полковник как-то сказал: «Эх,

Эрни, если бы у нас было хоть немножко Си-Ай-Си, хоть самый паршивый отдел связи с населением! Передоверьте все это французам». Все приходилось передоверять французам. Обычно, хоть и не всегда, все без промедления передоверялось обратно нам.

В эти дни партизаны величали меня «капитан». Для человека сорока пяти лет это очень низкий чин, поэтому при посторонних они обычно называли меня «полковник». Но мой низкий чин немного огорчал их и тревожил, и как-то один из них, который до этого целый год занимался тем, что перетаскивал мины и взрывал германские грузовики с боеприпасами и штабные машины, доверительно спросил меня:

— Мой капитан, как случилось, что вы, в вашем возрасте, после, несомненно, долгих лет службы и при явных ранениях (это я в Лондоне налетел на ни в чем не повинную цистерну с водой) до сих пор всего лишь капитан?

— Молодой человек, — отвечал я ему, — я не мог получить более высокого чина, потому что не сбучен грамоте.

В конце концов прибыла другая американская разведчасть и расположилась на дороге в Версаль. Таким образом город оказался прикрыт, и мы могли посвятить все свое время засылке патрулей на территорию немцев и сбору подробных сведений об их обороне, с тем чтобы, когда начнется наступление на Париж, части, осуществляющие это наступление, могли опираться на точные данные.

О самых ярких из запомнившихся мне моментов (если не считать того, что много раз я пережил сильный испуг) сейчас еще нельзя писать. Мне бы, например, очень хотелось рассказать о том, как проводил время полковник и днем и ночью. Но опубликовать это рано.

Вот как выглядел в то время так называемый фронт. Спускаешься по шоссе к деревне с запраvoyной станцией и кафе. Деревня маленькая, напротив кафе — церковный шпиль. С этого места виден длинный подъем шоссе позади и длинный кусок шоссе впереди. Два человека стоят на дороге с биноклями. Один просматривает дорогу в северном направлении, другой — в южном.

Это необходимо, потому что немцы есть и впереди нас, и в тылу. Две девушки идут по дороге к городу, занятому немцами. Девушки хорошенькие, в туфлях на красных каблуках. Подходит партизан и говорит:

— Эти спали с немцами, когда те стояли здесь. Теперь идут к немецким позициям, могут чего-нибудь наболтать.

— Задержать их,— говорит кто-то.

Тут раздается крик:

— Машина! Машина!

— Их или наша?

— Ихняя.

Все, у кого есть винтовки или автоматы, прячутся за кафе и заправочной станцией, а несколько осторожных граждан удирают в поле. Приближается крошечный немецкий джип и с дороги напротив заправочной станции открывает огонь из 20-миллиметровой пушки. Все по нему стреляют, и он разворачивается и уходит, откуда пришел. Вслед ему стреляют осторожные граждане — убедившись, что джип уходит, они очень расхрабрились. Всего потерял два энтузиаста, которые со стаканами в руках упали на пол в кафе и слегка порезались.

Обеих девиц, которые, как выясняется, не только питали симпатии к немцам, но и говорят по-немецки, вытаскивают из канавы и запирают на замок, чтобы потом отослать в тыл. Одна из них уверяет, что только ходила с немцами купаться.

— Голая? — спрашивает партизан.

— Нет, мосеь,— отвечает она.— Они всегда держались очень прилично.

В сумочках у них находят много адресов, записанных по-немецки, и других предметов, не вызывающих к ним любви местного населения, и их отсылают обратно в Рамбулье. Никаких истерик, их не бьют, не пытаются остричь им волосы. Немцы еще слишком близко.

В двух милях отсюда, левее, немецкий танк входит в деревню, и танкисты узнают трех партизан, которые несколько раз попадались им на глаза, когда следили за их передвижениями.

Одного из этих партизан я как-то спросил, видел ли он танк своими глазами, и он ответил: «Капитан, я до него дотронулся». Немцы пристреливают партизан и трупы их оставляют у дороги. Через час эту новость сообщает нам другой партизан, прибывший из этой деревни. Люди качают головами, и теперь немцев, которых все время вылавливают в лесах — это остатки частей, успевших спастись из Шартра,— будет труднее отправлять живыми в тыл для допроса.

Появляется какой-то старик и говорит, что его жена держит под дулом револьвера пятерых немцев. Револьвер ему дали вчера вечером, когда он рассказал, что немцы

заходят из лесу в его дом просить еды. Это — не те организованные немцы, что воюют впереди нас, а остатки разгромленных частей, прячущиеся в лесу. Некоторые из них пытаются найти свою армию и воевать дальше. Другие мечтают сдаться в плен, если додумаются, как это сделать и притом не быть убитыми.

Посылаем машину за пятью немцами, которых держит на мушке старуха.

— Убить их можно? — спрашивает боец из патруля.

— Только если они эсэсовцы, — отвечает один из партизан.

— Давайте их сюда, допросим и переправим в штаб дивизии, — говорю я, и машина отъезжает.

Тот юный поляк — лицом он похож на Джеки Купера в детстве — протирает стаканы в столовой отеля, а старик курит трубку и размышляет, когда его выпустят отсюда и он снова пойдет на задание.

— Мой капитан, — говорит старик, — почему мне не разрешают делать нужное дело, вместо того чтобы отдыхать здесь, в саду отеля, когда на карту поставлен Париж?

— Вы слишком много знаете, — отвечаю я, — нельзя рисковать, что вы попадете к немцам.

— Мы с полячком могли бы выполнить полезное задание, а если он попробует сбежать, я его убью.

— Он не может идти на полезное задание, — говорю я. — Его можно только включить в какую-нибудь часть.

— Он говорит, что вернется в мундире и доставит любые нужные сведения.

— Хватит рассказывать сказки, — говорю я старику. — А стеречь полячка здесь некому, значит, вы за него отвечаете.

Тут доставили множество всякой информации, которую нужно было проанализировать, оценить и отпечатать на машинке, и мне пришлось уехать в Сен-Реми-ле-Шеврез. Поступило сообщение, что к Рамбуи подходит французская Вторая бронетанковая дивизия генерала Леклерка, следующая на Париж, и нам нужно было подготовить для нее все данные о расположении немцев.

КАК МЫ ПРИШЛИ В ПАРИЖ

«Кольерс», 7 октября 1944 г.

Нет слов, чтобы описать чувства, которые я испытал, когда к юго-востоку от Парижа появилась бронетанковая колонна генерала Леклерка. Я только что вернулся из района, где действовал наш патруль, где я пережил минуты смертельного страха и где нас перецеловали все подонки городка, вообразившего, что, случайно оказавшись там, мы его освободили, и вдруг мне говорят, что сам генерал находится на подступах к Рамбуйе и желает нас видеть. Вместе с одним из крупных командиров Сопротивления и с полковником Б., который к тому времени был известен всему Рамбуйе как доблестный офицер и важная персона и который, как нам казалось, командовал в городе с незапамятных времен, мы не без торжественности приблизились к генералу. Его приветствие — абсолютно непечатное — будет звучать у меня в ушах, пока я жив.

— Катитесь отсюда, такие-растакие, — вот что произнес доблестный генерал тихо, почти шепотом, после чего полковник Б., король Сопротивления и ваш референт по бронетанковым операциям удалились.

Позже начальник разведки дивизии пригласил нас на обед, и уже на следующий день они действовали, опираясь на данные, которые собрал для них полковник Б. Но для вашего корреспондента описанная встреча была кульминационной точкой наступления на Париж.

Военный опыт убедил меня в том, что грубый генерал — это генерал, который нервничает. В то время я не сделал такого вывода, а поспешил снова уехать в патруль, где мог надежно держать собственные нервы в джипе, а

мои друзья могли попытаться выяснить, какого рода сопротивление мы встретим на следующий день между Туссю-ле-Ноблем и Ле-Крист-де-Сакле.

Выяснив, каково будет это сопротивление, мы возвратились в отель «Гран Венер» в Рамбуйе и провели беспокойную ночь. Я уже точно не помню, что породило это беспокойство, — возможно, то, что в доме было слишком много народу, включая одно время даже двух военных полицейских. А может, оно объяснялось тем, что мы ушли слишком далеко вперед от своих запасов витамина В₁ и под действием алкоголя расшатались нервы даже у самых стойких партизан, которые освободили слишком много городов в слишком короткий срок. Так или иначе, я был беспокоен, и едва ли будет преувеличением сказать, что те, кого мы с полковником Б. к тому времени привыкли называть «наши люди», тоже были беспокойны.

Начальник партизан, фактически командовавший «нашими людьми», говорил:

— Мы хотим в Париж. К чему эти чертовы проволочки?

— Никаких проволочек, начальник, — отвечал я. — Все это — часть грандиозной операции. Имейте терпение. Завтра мы войдем в Париж.

— Надеюсь, — сказал начальник партизан. — Меня там уже давно жена дожидается. Я, черт возьми, желаю войти в Париж и повидаться с женой и не понимаю, зачем это мы должны ждать, пока подойдут какие-то части.

— Потерпите, — сказал я ему.

В ту знаменательную ночь мы спали. Пусть ночь знаменательная, но завтра, конечно же, будет еще более знаменательный день. Я уже предвкушал завтра настоящий хороший бой, но меня ждало разочарование: среди ночи в отель явился партизан, разбудил меня и сообщил, что все немцы, какие в состоянии двигаться, уходят из Парижа. Боев завтра было не миновать, судя по заслону, который оставила германская армия. Но ничего серьезного мы не ждали, поскольку немецкие расположения были нам известны и мы могли либо атаковать их, либо обойти, и я заверил своих партизан, что если они наберутся терпения, то при вступлении в Париж регулярные части будут впереди нас, а не позади, что, конечно, предпочтительнее.

Однако они не оценили этого преимущества. Правда, один из подпольных командиров был со мной согласен и заявил, что простая вежливость требует пропустить войска

вперед, а к тому времени, как мы достигли Туссю-ле-Нобля, где произошел короткий, но ожесточенный бой, был получен приказ, запрещающий как партизанам, так и корреспондентам двигаться вперед, пока не пройдет вся колонна.

В тот день, когда мы наступали на Париж, шел сильный дождь, и через час после выхода из Рамбуи все промокло до нитки. Мы двигались через Шеврез и Сен-Реми-ле-Шеврез, где до того разъезжали наши патрули и где нас хорошо знали местные жители, у которых мы собирали сведения и с которыми распили не один стакан арманьяка, чтобы заглушить недовольство наших партизан, уже тогда бредивших Парижем. В те дни я убедился, что единственный способ прекратить спор — это выставить бутылку все равно чего, было бы крепко.

Пройдя через Сен-Реми-ле-Шеврез, где нас восторженно приветствовал местный мясник, участвовавший в предыдущих операциях и с тех пор бывший немного не в себе, мы допустили небольшую ошибку — оказались раньше главной колонны в деревне Курсель. Там нам сообщили, что впереди нас нет ни одной машины, и, к великому возмущению наших людей, которые желали идти, как им казалось, кратчайшим путем в Париж, мы возвратились в Сен-Реми-ле-Шеврез на соединение с бронетанковой колонной, следовавшей на Шатофор. Местного мясника наше возвращение сильно встревожило. Но когда мы объяснили ему ситуацию, он опять стал восторженно нас приветствовать, и мы, наскоро выпив по маленькой, решительно двинулись к Туссю-ле-Ноблю, где, как я знал, колонно предстояло сражаться.

Я знал, что здесь немцы окажут сопротивление — и прямо впереди, и справа от нас, у Ле-Крист-де-Сакле. У них был подготовлен ряд оборонительных огневых точек между Шатофором и Туссю-ле-Ноблем, а также дальше, за развилкой дорог. За аэродромом, ближе к Бюку, стояли их 88-миллиметровые орудия, державшие под обстрелом весь этот участок дороги. По мере приближения к Траппу, где действовали танки, беспокойство мое нарастало.

Французские бронечасты действовали превосходно. По доходя Туссю-ле-Нобля, где, как мы знали, немцы с пулеметами прятались в копнах пшеницы, танки развернулись и прикрыли нас с обоих флангов, и нам было видно, как они катят вперед по сжатому пшеничному полю, точно на маневрах. Немцев никто не видел до тех пор, пока они,

уже после прохода танков, не стали выходить из своих укрытий с поднятыми руками. Вот как надо использовать бронесилы, тактика которых вызывает столько споров. И зрелище это было великолепное.

И против тех самых танков и четырех 88-миллиметровых орудий, которые были у немцев за аэродромом, французы тоже хорошо себя показали. Их артиллерия находилась позади, на другом поле, и когда германские орудия — четыре из них подвезли только ночью и оставили без всякого укрытия — стали обстреливать колонну, на них обрушилась французская механизированная артиллерия. В грохоте германских снарядов, 20-миллиметровок и пулеметного огня не слышно было собственного голоса, но командир партизан, тот, что обрабатывал данные о расположении немцев, крикнул мне по-французски прямо в ухо: «Соприкосновение прекрасное. В точности там, где мы указали. Прекрасно!»

На мой вкус, это было даже слишком прекрасно — я вообще не любитель соприкосновения, — к тому же, когда у самой дороги разорвался 88-миллиметровый снаряд, меня сбило с ног. Соприкосновение — дело очень шумное. Поскольку наша колонна здесь задержалась, наиболее энергичные из партизан стали помогать ремонтировать дорогу, которую бронемашины размесили в кашу, и это отвлекло их внимание от окружающего концерта. Они засыпали ямы кирпичом и черепицей от разрушенного дома, передавали по цепи куски бетона и обломки стен. Дождь лил не переставая, и к тому времени, когда соприкосновение кончилось, в колонне было двое убитых и пять раненых, один танк сгорел, а из семи вражеских танков мы вывели из строя два и подавили все их 88-миллиметровые пушки.

— C'est un bel accrochage! — ликовал командир партизан.

Это значит приблизительно «здорово мы с ними схлестнулись» или «зпатно мы их прижали», а технически употребляется в тех случаях, когда две машины сцепятся бамперами.

Я крикнул:

— Здорово, здорово!

Услышав это, молодецкий французский лейтенант, который, судя по его виду, не успел принять участия в особенно многих accrochages, но мог иметь их на счету и сотни, сказал мне:

— А вы, черт возьми, кто такой и что вы тут делаете в нашей колонне?

— Я военный корреспондент, мосье,— ответил я.

Лейтенант заорал:

— Не пропускать никаких военных корреспондентов, пока не пройдет колонна! А главное — не пропускать вот этого.

— Есть, мой лейтенант,— сказал военный полицейский.— Я за ним посижу.

— И этот партизанский сброд задержите,— приказал лейтенант.— Ни одного из них не пропускать, пока не пройдет вся колонна.

— Мой лейтенант,— сказал я,— весь сброд будет убран с глаз долой, как только закончится этот небольшой assgoshage и колонна двинется дальше.

— Какой еще небольшой assgoshage? — спросил он, и в голосе его мне определенно послышалась неприязнь.

Тут, поскольку обогнать колонну нам все равно бы не разрешили, я избрал тактику ускользания и зашлепал по мокрой дороге в какой-то трактир. Там сидело множество партизан, они орали песни и развлекались с прелестной молодой испанкой из Бильбао, которую я в последний раз видел на знаменитом пропускном пункте возле города Коньер. Это тот город, который мы брали у немцев всякий раз, как из него уходил один из их танков, а стоило нам отойти с дороги, как они брали его обратно. Испанка эта с пятнадцати лет следовала за войсками и предшествовала войскам, и ни она, ни партизаны не обращали на assgoshage ни малейшего внимания.

Один партизанский командир по имени К. предложил: «Выпейте этого превосходного белого вина». Я как следует потянул из бутылки, а в ней оказался невероятно крепкий ликер, отдающий апельсинами и называемый «Гран Марнье».

Мимо окна пронесли носилки с раненым.

— Вот, смотрите,— сказал один партизан,— воинские части все время допускают потери. Почему нам не разрешают пройти вперед как разумным людям?

— Ладно, ладно,— сказал другой партизан в американской полевой форме и с нарукавной повязкой французских сил Сопротивления.— А тех товарищей, что были убиты вчера на дороге, ты забыл?

Еще кто-то сказал:

— Все равно сегодня войдем в Париж.

— Давайте немного вернемся и попытаем счастья через Ле-Крист-де-Сакле,— сказал я.— Здесь понаехало много начальства, нас не пропустят вперед ни на шаг, пока не пройдет колонна. И дороги разворочены. Легковые машины мы бы еще могли протолкнуть, но грузовик завязнет, тогда что делать?

— Можно пробраться по одной из боковых дорог,— сказал командир партизан К.— Что это за новая мода — плестись в хвосте колонны?

— По-моему, лучше вернуться в Шатофор,— сказал я.— Так получится намного быстрее.

На перекрестке у Шатофора мы встретились с полковником Б. и командиром А., которые отделились от нас еще до того, как мы попали в *assgoshage*, и рассказали им, какое замечательное получилось соприкосновение. В поле все еще стреляла артиллерия, и наши два доблестных офицера успели позавтракать на какой-то ферме. Французские солдаты из колонны жгли ящики от снарядов, использованных артиллерией, и мы сняли мокрую одежду и посушили ее у костров. Подходили немецкие пленные, и офицер из колонны попросил нас послать партизан туда, где только что сдалась в плен группа немцев, прятавшихся в копнах пшеницы. Партизаны доставили их шикарпо, по-военному, живыми и невредимыми.

— Но ведь это идиотство, мой капитан,— сказал старший из конвоя.— Теперь кому-то придется их кормить.

Пленные сказали, что работали в Париже в разных учреждениях, а сюда их привезли только вчера, в час ночи.

— И вы верите в эту чепуху? — спросил старший из партизан.

— Это возможно. Вчера днем их здесь не было,— отвечал я.

— Претит мне эта армейская капитель,— сказал старший из партизан. Ему был сорок один год, у него было худое, острое лицо с ясными голубыми глазами и редкая, но очень хорошая улыбка.— Эти немцы замучили и расстреляли одиннадцать человек из нашего отряда. Меня они били и пинали ногами и расстреляли бы, если бы знали, кто я. А теперь нам предлагается охранять их бережно и уважительно.

— Они не ваши пленные,— объяснил я.— Их захватила армия.

Дождь превратился в легкий подвижный туман, потом небо расчистилось. Немцев отправили в Рамбуйе на боль-

шом немецком грузовике, который партизанскому начальнику хотелось — и не без оснований — на время убрать из отряда. Сообщив военному полицейскому на перекрестке, где грузовик может нас снова найти, мы поехали за колонной дальше.

Мы нагнали танки на одной из боковых дорог, идущих параллельно магистрали Версаль — Париж, и вместе с ними спустились в лесистую долину, а потом выехали в зеленые поля, среди которых высился старинный замок. Здесь танки снова развернулись, как овчарки, охватывающие с боков отару овец. Пока мы возвращались посмотреть, свободна ли дорога через Ле-Крист-де-Сакле, они уже побывали в деле, и мы проехали мимо сожженного танка и трех немецких трупов. Один из немцев попал под гусеницы и расплюснулся так, что ни у кого не могло остаться сомнений в мощи бронесил при надлежащем их использовании.

На шоссе Версаль — Виллакубле колонна проследовала мимо разбитого аэродрома Виллакубле к развилке на Порт-Клармар. Здесь колонна задержалась и какой-то француз, подбежав к нам, сообщил, что на дороге, ведущей в лес, появился небольшой германский танк. Я стал просматривать дорогу в бинокль, но ничего не увидел. Тем временем германская машина, которая оказалась не танком, а джипом, защищенным легкой броней, на котором были установлены пулемет и 20-миллиметровая пушка, развернувшись в лесу и на полной скорости помчалась в нашу сторону, стреляя по развилке.

Все стали по ней палить, но она снова развернулась и умчалась в лес. Арчи Пелки, мой шофер, выстрелил по ней два раза, но не был уверен, что попал. Двое людей были ранены, их отнесли под прикрытие углового дома для оказания первой помощи. Теперь, когда снова началась стрельба, партизаны воспрянули духом.

— Работы еще хватит. Еще будет работка, — сказал партизан с острым лицом и голубыми глазами. — Хорошо хоть, немножко этой сволочи здесь пока осталось.

— Вы как думаете, придется нам еще воевать? — спросил меня партизан К.

— Без сомнения, — ответил я. — Их и в самом Париже еще достаточно.

Для меня лично военной задачей в это время было попасть в Париж живым. Достаточно мы представляли головы под пули. Париж вот-вот будет взят. Теперь во время

уличных боев я искал укрытия — как можно более надежного и чтобы знать, что кто-то прикрывает меня с лестницы, если я стою в дверях фермы или в подъезде квартир-ного дома.

Колонна теперь наступала так, что любо-дорого было смотреть. Вот впереди завал из срубленных деревьев. Танки обходят их или раскидывают, как слоны, разбирающие бревно. А не то вгрызаются в баррикаду из старых автомобилей и мчатся дальше, волоча за собой какую-нибудь развалюху, зацепившуюся за гусеницы. Танки, столь уязвимые и робкие в тесных, пересеченных изгородями районах, где с ними легко расправляются и противотанковые пушки, и базуки, и всякий, кто их не боится, здесь крушили все вокруг, как стадо пьяных слонов в туземной деревне.

Впереди нас, слева, горел немецкий склад боеприпасов, разноцветные зенитные снаряды рвались в несмолкаемом стуке и хлопанье 20-миллиметровых. Когда жар еще увеличился, стали рваться самые крупные снаряды, создавая впечатление бомбардировки. Я потерял из виду Арчи Пелки, но потом оказалось, что он двинулся к горящему складу, вообразив, что там идет бой.

— Там никого нет, Папа,— сказал он.— Просто горят какие-то боеприпасы.

— Никуда один не ходи,— сказал я.— Прикажешь тебя искать? А если бы нужно было трогаться?

— Хорошо, Папа. Виноват, Папа. Понятно, Папа. Только я, мистер Хемингуэй, пошел туда с frère, с моим братом, потому что он сказал, что там идет бой.

— О, черт,— сказал я.— Вконец испортили тебя партизаны.

Мы на большой скорости проехали по дороге, где рвался склад боеприпасов, и Арчи, у которого ярко-рыжие волосы, шесть лет службы в армии, четыре французских слова в запасе, выбитый передний зуб и frère из партизанского отряда, весело смеялся тому, как громко взлетало к небу все это имущество.

— Ох, и хлопает, Папа! — кричал он. Его веснушчатое лицо сияло от радости.— А Париж, говорят, город что падо. Вы там бывали?

— Бывал.

Теперь мы ехали под гору, и я знал это место и знал, что мы увидим за следующим поворотом.

— Мне frère кое-что о нем порассказал, пока колонна стояла,— сказал Арчи,— только я не совсем понял. Одно

понял ясно, город — во! И что-то он еще толковал насчет того, что едет в Панам. Ведь к Панаме Париж не имеет отношения?

— Нет, Арчи,— сказал я,— французы называют его Репаме, когда очень его любят.

— Понятно,— сказал Арчи.— Compris. Все равно как девушку можно назвать не по имени, а еще как-нибудь. Верно?

— Верно.

— А я-то все думаю, что́ это frère мне толкует. Это выходит вроде, как они меня зовут Джим. Меня в части все называют Джим, а имя-то мое Арчи.

— Может быть, они тебя любят,— сказал я.

— Они хорошие ребята,— сказал Арчи.— В такой хорошей части я еще никогда не служил. Дисциплины никакой. Это точно. Пьют без передыху. Это точно. Но ребята боевые. Убьют не убьют — им наплевать. Compris?

— Да,— сказал я. Больше я в ту минуту ничего не мог сказать: в горле у меня запершило, и пришлось протереть очки, потому что впереди нас, внизу, жемчужно-серый и, как всегда, прекрасный, раскинулся город, который я люблю больше всех городов в мире.

СОЛДАТЫ И ГЕНЕРАЛ

«Кольерс», 4 ноября 1944 г.

Пшеница созрела, но сейчас некому было ее убирать, и следы гусениц пролегли через поле вверх, туда, где в кустах, притаившись в засаде, стояли танки и откуда открывался вид на леса и дальше на холм, который им предстояло взять завтра. В этих лесах и на том холме не было ни души между нами и немцами. Мы знали, что у них здесь есть пехота и от пятнадцати до сорока танков. Но дивизия продвинулась так быстро, что оторвалась от другой дивизии, наступавшей слева, и вся местность, расстилавшаяся перед нами, ее мирные холмы, долины, крестьянские домики с полями и фруктовыми садами и серый город с черными крышами и остроконечным шпилем колокольни представляли собой открытый левый фланг. И все это было смертоносно.

Дивизия не продвинулась дальше своей цели. Она дошла до нее, до этой высоты, где мы теперь находились, точно в срок. Так шло день за днем, а потом неделю за неделей и вот уже второй месяц, как она наступала. Никто не помнил больше отдельных дней, и история, свершающаяся ежедневно, оставалась незамеченной, расплывалась в усталости и пыли, в запахах павшего скота и взрытой толмой земли, в скрежете танков и бульдозеров, стрельбе автоматов и пулеметов — в прерывистой сухой болтовне немецких автоматов, сухой, как треск трещоток, и в торопливом, захлебывающемся стрекоте немецких ручных пулеметов — и в вечном ожидании, когда подойдут остальные.

Все в памяти слилось в одно сражение на смертоносной, поросшей кустарником низине, которое потом перешло

на высоту и через лес на равнину, входя в города или минуя их — одни разрушенные, другие совсем не тронутые обстрелом, и опять вверх, на эти холмы с лесами и полями, где мы теперь находились.

Теперь история — это банки из-под НЗ, пустые стрелковые ячейки, сохнувшие листья на ветках, срезанных для маскировки. Это — сожженные немецкие машины, сожженные танки «шерман», много сожженных немецких «пантер» и кое-где сожженные «тигры», мертвые немцы на дорогах, в кустах и садах, немецкая техника, разбросанная повсюду, немецкие лошади, бродящие по полям, и наши раненые и наши мертвые, которых везли нам навстречу связанными по двое на крышах эвакуационных джипов. Но прежде всего история — это дойти до места назначения вовремя и ждать там, когда подойдут остальные.

Сейчас в этот ясный летний день мы стояли и смотрели туда, где завтра дивизия будет драться. Это был один из первых дней по-настоящему хорошей погоды. Небо было высокое и голубое, а впереди нас и слева от нас наши самолеты атаковали немецкие танки. Сверкая на солнце серебром, крошечные П-47 шли пара за парой высоко в небе и описывали круги, прежде чем, отделившись от строя, сбросить бомбы. Когда они снижались в пики, становясь большеголовыми и громоздкими, появлялись вспышки с дымом и раздавался тяжелый грохот. А П-47 взмывали и кругами шли на новый заход, и серый дым от их 50-миллиметровых пушек стлался за ними, а они пикировали впереди него. Над островком леса, над которым пикировали самолеты, взметнулось яркое пламя, за ним столб черного дыма, а самолеты продолжали снижаться и все били и били по цели.

— Это они ударили по фрицевскому танку, — сказал танкист. — Одним гадом меньше стало.

— Вы видите его в бинокль? — спросил танкист в шлеме.

Я ответил:

— С нашей стороны его закрывают деревья.

— Ага, деревья, — сказал танкист. — Если бы мы пользовались прикрытием, как эти чертовы колбасники, гораздо больше наших парней дошло бы до Парижа или Берлина или куда мы там идем.

— Домой, — сказал другой танкист, — вот куда я хочу попасть. До остального мне дела нет. А во все эти осталь-

ные места нас и так не пустят. Мы никогда не входим в города.

— Легче,— сказал высокий танкист.— Всему свое время.

— Скажи, корреспондент,— обратился ко мне другой солдат.— Никак не могу понять. Ответишь, а? Что ты делаешь здесь, ведь тебе здесь не надо быть? Ты делаешь это ради денег?

— Конечно,— ответил я,— ради больших денег. Колоссальных.

— Мне это непонятно,— сказал он серьезно.— Я понимаю, что это можно делать, потому что надо. Но ради денег — непонятно. Нет таких денег на свете, за которые я стал бы это делать.

Немецкая фугасная граната с дистанционным взрывателем щелкнула над нами и разорвалась где-то справа, оставив в воздухе клуб черного дыма.

— Эти гады колбасники пускают свои штучки слишком высоко,— сказал боец, который не стал бы делать этого ради денег.

В этот момент немецкая артиллерия ударила по холму за городом, слева от нас, где залег один из батальонов первого из трех пехотных полков дивизии. От непрерывных взрывов склон холма запрыгал в воздухе бьющими черными фонтанами.

— Теперь на очереди мы,— сказал один из танкистов.— Здесь мы у них на виду.

— Если начнут стрелять, ложись под танк сзади,— сказал высокий танкист, который говорил другому, что всему свое время.— Самое надежное место.

— Машина-то тяжелая,— сказал я ему.— Вдруг ты в спешке дашь задний ход?

— Я тебе крикну,— сказал он, ухмыльнувшись.

Наши 105-миллиметровки открыли ответный огонь, и обстрел прекратился. Над нами медленно кружил аэростат. Другой отшесло правее.

— Они не любят стрелять, когда эти штуки в воздухе,— сказал высокий танкист,— потому что они засекают их огневые точки, а потом наша артиллерия или авиация задают им жару.

Мы пробыли здесь некоторое время, но немецкая артиллерия только изредка постреливала по холму, который удерживал батальон. Наши так и не начали атаку.

— Вернемся назад и посмотрим, где находится командование, — предложил я.

— О'кей, — сказал Кимбраф, он водил захваченный у немцев мотоцикл, на котором мы разъезжали. — Пошли.

Мы попрощались с танкистами, повернули назад, пересекли пшеничное поле, сели на мотоцикл, я сзади, и выехали на дорогу, взбитую танками в густые облака серой пыли. В коляске мотоцикла лежали боеприпасы, фотоаппараты, запчасти, захваченные у немцев бутылки с разнообразным содержимым, ручные гранаты и автоматическое оружие самого разного типа, и все это принадлежало капралу (ныне сержанту) Джону Кимбрафу из Литтл-Рока, штат Арканзас.

Все это с успехом могло послужить в качестве рекламы — мечта хорошо вооруженного партизана, но я часто задумывался, как собирается действовать Ким в том случае, если в одной из наших поездок по территории, неизвестно кем занятой, нам не удастся уклониться от боя. Хотя Ким человек разносторонний и я ценю его находчивость, все же при мысли, что он будет стрелять одновременно более чем из трех автоматов, пистолетов различных образцов, карабина да еще из немецкого ручного пулемета, при этом недостаточно рассеивая огонь, мне становилось не по себе. Но в конце концов я сообразил, что он, должно быть, собирается вооружить местное население, если мы продвинемся в глубь территории противника. Однажды такой случай представился, все сработало великолепно, и мой предусмотрительный и, как мне тогда казалось, не в меру вооруженный товарищ даже получил повышение.

Мы поехали по дороге назад к городу, который наши взяли в тот день, и остановились у кафе напротив церкви. Дорога была забита танками, они проходили с лязгом и скрежетом; шум удалявшегося танка тонул в нарастающем рокоте следовавшего за ним. У танков были открыты башенные люки, и бойцы небрежно отвечали на приветствия деревенских мальчишек, махавших рукой каждой машине. На ступенях церкви, возвышаясь над дорогой, стоял с букетом цветов в правой руке старый француз в черной фетровой шляпе, крахмальной рубашке, черном галстуке и пыльном черном костюме и церемонно приветствовал каждый танк, поднимая букет.

— Кто это? — спросил я хозяйку кафе, в дверях которого мы стояли, пропуская танки,

— Он немного не в себе,— сказала она,— но он — патриот. Он здесь с самого утра, с того времени, когда вы вошли в город. Он ничего не ел с тех пор. Дважды родные приходили за ним, но он остался здесь.

— Он и немцев приветствовал?

— О нет,— сказала хозяйка.— Он человек исключительного патриотизма, только с некоторых пор, понимаете, немного помешался.

В кафе за столиком сидело трое солдат перед опорожненным наполовину графином сидра и тремя стаканами.

— Этот живодер,— говорил один из них, небритый, высокий, худой и размякший от вина,— этот проклятый живодер сидит в шестидесяти милях от фронта. Он не успокоится, пока всех нас не угробит.

— О ком это ты говоришь? — спросил Ким солдата.

— У, этот живодер! Генерал!

— Где, говоришь, он находится? — спросил Ким.

— В шестидесяти милях отсюда и ни на дюйм ближе. В шестидесяти милях, на которых мы проливали кровь. Мы все мертвы. Он-то знает об этом, только ему плевать. Живодер!

— Знаешь, где он находится? В трех тысячах ярдов отсюда,— сказал Кимбраф.— Может быть, он уже прошел вперед. Мы встретили его на дороге, когда возвращались сюда.

— Эх ты, болван,— сказал небритый солдат.— Много ты знаешь о войне. Этот живодер в шестидесяти милях отсюда и ни на дюйм ближе. Посмотри на меня! Я когда-то пел, выступал с очень хорошими оркестрами, да — очень, очень хорошими. А моя жена мне изменяет. Мне не надо даже проверять. Она мне сама сказала. А вот там все, во что я верю.

И он показал рукой на противоположную сторону дороги, где пожилой француз все еще поднимал свои цветы, приветствуя каждый проходящий танк. Священник в черном шел по кладбищу позади церкви.

— В кого ты веришь? В этого француза? — спросил другой солдат.

— Нет. Я не верю в этого француза,— сказал солдат, который выступал с хорошими оркестрами.— Я верю в то, что представляет священник. Я верю в Церковь. А моя жена изменяла мне не один раз, а много раз. Я никогда не дам ей развода, потому что я верю в *это*. Вот почему она не захотела подписать мои документы. Вот почему я не

унтер-офицер артиллерии. Я закончил унтер-офицерскую школу, а она не подписала документов, а сейчас, в эту самую минуту, она мне изменяет.

— Он и петь может,— сказал мне второй солдат.— Я слышал однажды ночью, как он поет. Здорово поет.

— Не могу сказать, что ненавижу свою жену,— сказал солдат, который выступал с хорошими оркестрами.— Она изменяет мне сейчас, сию минуту, когда мы здесь и только что взяли этот город. Не могу сказать, что я ненавижу ее, хотя она испортила мне жизнь и из-за нее я не унтер-офицер. Но я ненавижу генерала. Ненавижу этого живодера.

— Пусть поплачет,— сказал второй солдат.— Это ему помогает.

— Слушай,— сказал третий солдат.— У него семейные дела, у него свои неприятности. Но я тебе вот что скажу. Это — первый город, в который я вошел. Пехота берет их, а чаще обходит, а потом, когда мы возвращаемся назад, оказывается, что в город вход воспрещен и он наводнен военной полицией. Здесь, в этом городе, нет ни одного военного полицейского, только регулировщик на перекрестке. Это несправедливо, что мы не можем войти ни в один город.

— Позже...— начал я. Солдат, который выступал с хорошими оркестрами, перебил меня.

— Здесь не может быть никаких позже,— сказал он,— этот живодер угробит нас всех до одного. Ему нужно прославиться, и он не понимает, что солдаты — люди.

— На передовой мы или нет, это ему неизвестно, так же как и мне,— сказал Ким.— Ты же не знаешь, что делает дивизионный генерал, а он получает приказы, как ты и я.

— Хорошо. Тогда тыпусти нас с передовой. Раз все знаешь, ты ипусти. Я хочу домой. Будь я дома, может быть, ничего бы и не случилось. Может быть, жена никогда бы мне не изменила. Теперь мне наплевать на все. Мне на все наплевать.

— Почему же ты тогда не заткнешься? — спросил Кимбраф.

— Я заткнусь,— сказал эстрадный певец.— И не произнесу ни слова о генерале, который убивает меня каждый день.

В ту ночь мы возвратились в штаб дивизии поздно. Оставив солдат в кафе в только что взятом городе, мы проследовали за танками до того места, где они были оста-

повлены минами, завалом на дороге и огнем противотанковых орудий.

В штабе кто-то сказал:

— Генерал хочет тебя видеть.

— Пойду помоюсь.

— Нет. Иди сейчас же. Он беспокоился о тебе.

Я нашел его в трейлере, где он, одетый в старое серое шерстяное белье, лежал, растянувшись на спальной полке. Его лицо, все еще красивое после отдыха, было серым, осунувшимся и бесконечно усталым. Только глаза были веселые, и он произнес своим добрым ласковым голосом:

— Я беспокоился о тебе. Что тебя задержало?

— Мы напоролись на танки, и я вернулся кружным путем.

— Каким?

Я сказал ему.

— Расскажи, что ты видел сегодня там-то и там-то. (Он перечислил места расположения пехотных частей.)

Я рассказал ему.

— Люди очень устали, Эрни,— сказал он.— Им надо отдохнуть. Даже одну ночь отдохнуть как следует было бы неплохо. Если бы они могли отдохнуть четыре дня... только четыре дня. Но это все старая песня.

— Вы сами устали,— сказал я.— Поспите немного. Гоните меня прочь.

— Генералы не имеют права уставать,— сказал он,— а болеть тем более. Я устал не так, как они.

В этот момент зазвонил телефон, он поднял трубку и назвал пароль.

— Да,— сказал он.— Да. Как поживаешь, Джим? Нет. Я их уложил спать на эту ночь. Я хочу, чтобы они немного поспали... Нет. Утром я наступаю, но на штурм не пойду. Собираюсь обойти город. Я не верю в штурм городов. Тебе следовало бы уже это знать... Нет. Я выйду ниже... Да, правильно.

Он вскочил с застеленной одеялом полки и подошел к огромной стенной карте, держа телефон в руке, и я вспомнил, глядя на его крепкую подтянутую фигуру в сером шерстяном белье, каким щеголеватым генералом он был, пока его дивизия не побывала в бою.

Он продолжал говорить по телефону: «Джим?.. Да. У тебя впереди будет только один тяжелый участок — трехпутная развилка. Ее надо обойти... Да, были кой-какие разговоры... Да. Понимаю. Но если это случится, когда ты

соединишься со мной, моя артиллерия к твоим услугам... Да. Безусловно. Совершенно верно... Конечно, нет. Я это и имею в виду, иначе бы не стал говорить... Точно. Хорошо... Спокойной ночи».

Он повесил трубку. Его лицо было подернуто серым налетом усталости.

— Это был наш левый фланг. Они хорошо дрались, но очень долго пробирались через лес. Когда они соединятся с нами и пройдут вперед, у нас будет четырехдневный отдых. Пехоте он очень нужен. Я рад, что люди отдохнут.

— А вам сейчас надо бы поспать,— сказал я.

— Я должен работать. Остерегайся ты этих уединенных дорог и береги себя.

— Спокойной ночи, сэр,— сказал я.— Зайду рано утром.

Все думали, что у дивизии будет четырехдневный отдых, и на следующий день было много разговоров о душе, клубах-передвижках, красивых девушках из Красного Креста, в том числе о Уитни Борн, которая играла когда-то в фильме «Преступление без страсти», и мы все так радовались предстоящему отдыху, что нас не смутило и то, как давно этот фильм снимался. Но все вышло иначе. Немцы начали сильное контрнаступление, и сейчас, когда я пишу это, дивизия все еще находится на передовой.

ВОЙНА НА ЛИНИИ ЗИГФРИДА

«Кольерс», 18 ноября 1944 г.

Многие будут вам рассказывать, как они первыми оказались в Германии и первыми прорвали линию Зигфрида, — и многие ошибутся. Эту корреспонденцию цензура не станет задерживать, пока там разбираются со всеми претензиями. Мы ни на что не претендуем. Никаких претензий, понятно? Абсолютно никаких. Пусть себе решают, а тогда посмотрим, кто пришел туда первым. Я имею в виду — какие части, а не какие именно люди.

Линию Зигфрида прорвала пехота. Прорвала в холодное дождливое утро, когда даже вороны не летали, не говоря уже о самолетах. За два дня до этого, в последний солнечный день, закончился наш парад бронетанковых войск. Парад был замечательный, от Парижа до Ле-Като, с жестоким сражением у Ландреси, которое мало кто видел и в котором почти никто не уцелел. Потом форсировали проходы в Арденнском лесу, где местность напоминает иллюстрации к сказкам братьев Гримм, только гораздо сказочнее и мрачнее.

Потом в холмистой, лесистой местности парад продолжался. Временами мы на полчаса отставали от отступающих мотомехчастей противника. Временами почти догоняли их. Временами обгоняли, и тогда слышно было, как позади бьют наши 50-миллиметровки и 105-миллиметровые самоходные пушки, и смешанный огонь противника сливался в оглушительный грохот, и поступало сообщение: «Вражеские танки и бронетранспортеры в тылу колонны. Передайте дальше».

А потом, внезапно, парад кончился, лес остался позади, мы стояли на высокой горе, и все холмы и леса, видные впереди, были Германией. Снизу, со дна глубокой долины, слышался знакомый глухой грохот — взорвали мост, —

и было видно черное облако дыма и взлетевших в воздух обломков, а чуть дальше — два вражеских бронетранспортера удирали вверх по белой дороге, ведущей в немецкие горы.

Впереди них снаряды нашей артиллерии вздымали желто-белые облака дыма и дорожной пыли. Один из транспортеров забуксовал, став поперек дороги. Второй, на повороте дороги, два раза дернулся, как раненое животное, и замер. Еще один снаряд поднял фонтан дыма и пыли рядом с поврежденной машиной, и когда дым рассеялся, на дороге стали видны трупы. Это был конец парада, и мы спустились по лесной дороге к речке и переехали ее вброд по плоским камням и поднялись на другой берег, в Германию.

В тот вечер мы миновали брошенные старомодные доты, которые многие на свое горе приняли за линию Зигфрида, и проехали еще хороший кусок в гору. На следующий день миновали вторую линию бетонированных дотов, охранявших развилки дорог и подступы к главному Западному валу, и в тот же вечер достигли высшей точки возвышенности перед Западным валом, с тем чтобы утром начать атаку.

Погода испортилась. Шел дождь, дул ледяной ветер, и впереди нас высилась темная, поросшая лесом гряда Шнее Эйфель, где жил дракон, а позади на ближайшем холме стояла немецкая трибуна, с которой командование наблюдало за маневрами, долженствовавшими доказать, что прорыв Западного вала неосуществим. Мы готовились атаковать его в том самом пункте, который немцы выбрали, чтобы в показательном бою подтвердить его неприступность.

Все нижеследующее рассказано словами капитана Хоурда Блазарда из Аризоны. Его рассказ даст вам некоторое представление о том, как шли бои.

«С вечера мы ввели в город третью роту. Противника там, в сущности, не было. Шесть фрицев, мы их застрелили. *(Речь идет о городке, или, вернее, деревушке, из которой утром началось наступление — в гору, под обстрелом, по ровному сжатому полю пшеницы, уставленному копами, на штурм главных укреплений Западного вала, скрытых в густом еловом лесу на горе по ту сторону поля.)*

Полковник из Вашингтона, округ Колумбия, вызвал всех трех батальонных командиров, пачальника разведки

и начальника оперотдела штаба и изложил план завтрашнего прорыва. В пункте, где мы будем прорываться (*заметьте стиль, — не «попытаемся прорваться», а «будем прорываться»*), нам полагалось иметь одну танковую роту и одну роту самоходных противотанковых пушек, но дали нам всего один танковый взвод (пять танков). Самоходок должны были дать двенадцать, а дали девять. Вы помните, как тогда было, и горячего не хватало, и все прочее.

Теперь дело представлялось так (*на войне то, как оно представляется и как бывает на самом деле, — очень разные вещи, такие же разные, как то, какой представляется жизнь и какая она есть на самом деле*). Третья рота, вступившая в город накануне, наступает на правом фланге и сковывает противника огнем.

Вторая рота выступает рано, еще до 6 утра, она передвигается на танках и самоходках. Пока она подходила, мы ввели самоходки в город и наконец в 12.30 получили свой танковый взвод. Пять штук. Не больше и не меньше.

Первая рота так отстала, что никак не могла подоспеть. Вы помните, что творилось в тот день. (*Много, много чего творилось!*) Поэтому полковник снял одну роту из первого батальона и подкинул ее нам, чтобы у нас было для атаки три роты.

Это было примерно в час дня. Мы с полковником пошли по левой развилке, чтобы слева смотреть, как начнется атака. Началась она отлично. Вторая рота погрузилась на танки и самоходки, они продвинулись под самый гребень и развернулись веером. Все как полагается. И только они достигли гребня, третья рота, на правом фланге, открыла огонь из пулеметов и 60-миллиметровых минометов, чтобы отвлечь внимание от второй.

Танки и самоходки полезли дальше вверх, и тут их встретили огнем зенитки (*немецкие зенитные орудия, стреляющие почти так же быстро, как пулеметы, использовались для стрельбы прямой наводкой по наступающим наземным войскам*). Мы знали, что у них там есть и 88-миллиметровые, но те пока молчали. Когда стали стрелять пулеметы и зенитки, наши солдаты соскочили с танков, все как полагается, и пошли дальше, и шли хорошо, пока не оказались на большом голом поле, за которым начинался лес.

И вот тут-то заговорили 88-миллиметровые — это уж вдобавок к зениткам. Одна самоходка наскочила на мину — слева, помните, у той узкой дороги, перед тем как ей

войти в лес, — и танки попятились. Один танк и одна самоходка вышли из строя, и все дали задний ход. Знаете, как это бывает, когда они начинают пятиться.

Солдаты стали возвращаться назад через поле, таща нескольких раненых, нескольких охромевших. Знаете, как они выглядят, когда возвращаются. Потом стали возвращаться танки, и самоходки, и люди прямо толпами. Не могли они удержаться на этом голом поле, и те, что не были ранены, стали звать санитаров для раненых, а вы знаете, как это всех выводит из равновесия.

Мы с полковником сидели возле дома и видели весь бой и как хорошо он начался. Мы уж думали, что они прошли. А потом началась эта петрушка. И вдруг несутся пешком четыре танкиста и орут как оглашенные, что все пропало.

Тут я обратился к полковнику — я служил в третьем батальоне давно — и говорю:

— Сэр, разрешите мне пойти туда, я бы дал этим мерзавцам под зад и захватил цель.

А он говорит:

— Вы — начальник разведки штаба, оставайтесь на месте.

Прицелил мне, значит, хвост. Очень это было досадно.

Посидели мы там еще минут десять — пятнадцать, а раненые все шли, а мы все сидели, и я уж стал подумывать, что мы этот бой проиграем. А потом полковник сказал:

— Пошли. Надо их завести. Не допущу, чтобы это дерьмо сорвало атаку.

И мы двинулись в гору и встречали кучки людей — вы знаете, как они сбиваются в кучки, и можете себе представить, какой вид был у полковника, когда он шагал в гору со своим револьвером сорок пятого калибра. Там наверху, где начинается спуск, есть такой узенький карниз. Под прикрытием этого карниза собрались все танки и самоходки, и вторая рота растянулась там вроде как стрелковой цепью, и все они были как мертвые, и атака выдохлась.

Полковник поднялся в гору, стал над карнизом, где они все залегли, и говорит:

— А ну-ка, ударим по этим фрицам. Ну-ка, перебьем эту сволочь. Ну-ка, перевалим на ту сторону и выполним задачу.

Он поднял свою пушку, пальнул раза три в сторону, откуда фрицы вели огонь, и говорит:

— Доберемся до этих треклятых фрицев! Вперед! Чтобы ни одного человека здесь не осталось!

Они тряслись от страха, но он все уговаривал их и убеждал, и скоро сначала несколько человек, а потом и почти все зашевелились. А уж когда они зашевелились, тут полковник, и я, и Смит (*сержант Джеймс Дж. Смит из Туллахоми, штат Теннесси*) пошли вперед, и атака возобновилась, и мы вошли в лес. В лесу было скверно, но шли они теперь хорошо.

Когда мы вошли в лес (*лес этот саженный, еловый, очень густой, снаряды расщепляли и ломали деревья, и обломки пролетали в полумраке леса, как копы, а люди теперь кричали и переключались, чтобы не поддаться жути лесных потемок, и стреляли, и убивали немцев, и шли все вперед!*), танкам там было не пробраться, и они вышли на опушку. Они стали было стрелять в лес, но скоро пришлось это прекратить, потому что вторая рота продвинулась лесом далеко вперед.

Мы с полковником и со Смитом продолжали идти вперед и нашли между деревьями проход, куда можно было ввести самоходку. Продвигались мы теперь хорошим темпом и вдруг увидели рядом с собой блиндаж, и оттуда в нас стали стрелять. Мы решили, что там сидят какие-нибудь фрицы. (*Блиндаж этот был полностью замаскирован — обложен дерном и засажен елями. Это был подземный форт, вроде тех, что строили на линии Мажино, с автоматической вентиляцией, взрывоустойчивыми дверями, койками на глубине пятнадцати футов и запасными выходами на тот случай, чтобы, если противник минует блиндаж, атаковать его с тыла; а находилось в нем пятьдесят эсэсовцев с заданием пропустить наступающие части, а потом ударить им в спину.*)

Нас там всего и было что полковник, я, Смит и Роже, молодой француз, который с нами не расставался с самого Сен-Пуа. Фамилии его я так и не узнал, но это был замечательный француз. Другого такого бойца я не запомню. Так вот, фрицы стали стрелять в нас из блиндажа. Тогда мы пошли вперед, решили их оттуда выгнать.

С нашей стороны у них была амбразура, но ее не было видно, очень густо все кругом было засажено. У меня была всего одна граната, я ведь не думал, что придется заниматься таким делом. Подошли мы к блиндажу ярдов на десять, а амбразуры все не видно. Холмик в лесу — и все.

Стреляли они как-то беспорядочно. Полковник и Смит шли в обход правее. Роже шагал прямо на амбразуру. Огня не было видно.

Я крикнул Роже, чтобы ложился, и тут они в него попали. Тогда только я увидел эту проклятую дыру и швырнул в нее гранату, но края у нее скошенные, сами знаете, и граната ударилась о край и выскочила обратно. Смит схватил француза за ноги и стал оттаскивать его в сторону — он был еще жив. Слева в щели сидел немец, тут он встал, и Смит застрелил его из своего карабина. Как быстро все это произошло — судите по тому, что в эту секунду граната взорвалась, и мы все пригнулись.

Потом нас стали сильно обстреливать с поля — того, которое мы перешли, прежде чем вступить в лес, — и Смит сказал:

— Полковник, вы бы спустились в эту щель, немцы подходят.

Они стреляли из копен пшеницы, что были ближе всего к опушке, и из кустарника, который языком выдавался в поле. Стреляли оттуда, где должен бы быть наш тыл.

Полковник уложил одного фрица из револьвера. Смит — двоих из карабина. Я стоял по другую сторону блиндажа и застрелил того, который был позади нас на дороге, шагах в пятнадцати. Мне пришлось выстрелить три раза, прежде чем он остановился, да и то я его не убил — когда наконец подошла самоходка, он лежал посреди дороги и, увидев самоходку, вроде бы попробовал отползти, но самоходка прошла по нему и расплющила его в блин.

Остальные немцы пустились наутек через поле, с ними особых хлопот не было. Стрельба на дальнюю дистанцию. Тронх мы, я знаю, убили и нескольких ранили, только они ушли.

Ручных гранат у нас больше не было, а те сволочи все сидели в блиндаже, сколько мы им ни орали, чтобы выходили. Тогда мы с полковником остались ждать, а Смит пошел влево, нашел самоходку и привел ее — ту самую, что переехала фрица, в которого я три раза стрелял из своего маленького немецкого револьвера.

На разговоры немцы по-прежнему не отвечали, и тогда мы подвели самоходку вплоты к стальной двери, которую к тому времени отыскиали, и наша пушечка ударила по ней раз шесть и выбила-таки ее к черту, и уж тут им сразу захотелось выйти. Слышали бы вы, как они вопили и стонали и стонали и вопили: «Kamerad!»

Самоходка глядела дулом прямо в дверь, и они стали выходить, и такого вы в жизни не видели. Каждый был ранен в шести-семи местах обломками бетона и стали. Всего их вылезло восемнадцать, а изнутри неслись жалостные крики и стоны, одному обе ноги отрезало стальной дверью. Я спустился туда посмотреть, что там делается, и вытащил чемодан, в котором было несколько кварт виски, три ящика сигар и револьвер для полковника.

Один из пленных, унтер-офицер, был еще ничего, то есть не так чтобы совсем ничего, но ходить мог. Остальные только лежали и стонали.

Унтер-офицер показал нам, где находится следующий блиндаж. Теперь мы уже знали, как они выглядят, — могли и сами обнаружить по тому, как над ними возвышалась почва. Так что забрали мы свою самоходку и прошли по дороге еще ярдов семьдесят пять до второго блиндажа — вы знаете которого, — и приказали этому типу крикнуть им, чтобы сдавались. Поглядели бы вы на этого немца! Он был из вермахта, из регулярной армии, и все повторял: «Битте. СС». Он хотел сказать, что там засели те, самые поганые, и они убьют его, если он велит им сдаваться. Все-таки он крикнул им, чтобы выходили, но они не вышли. Даже не ответили. Тогда мы подвели самоходку к задней двери, в точности как в тот раз, и заорали: «Выходи!» — а они не выходят. Тогда мы саданули по двери раз десять, и тут уж они вышли — сколько их осталось. Вид у них был жалкий. Все до одного изранены — смотреть страшно.

Все до одного были эсэсовцы. Один за другим они падали на колени посреди дороги — думали, что их тут же расстреляют. Но нам пришлось их разочаровать. Вышло их человек двенадцать. Остальных разорвало в клочья или изранило насмерть. По всему блиндажу валялись руки, ноги, головы.

Пленных у нас набралось много, а стеречь их было некому — только полковник, да я, да Смит, да самоходка, и мы просто сидели и ждали, пока что-нибудь проявится. Через некоторое время появился санитар и осмотрел того молодого француза Роже. Он так и пролежал там все время, а когда к нему подошли, чтобы перевязать, сказал:

— Mon colonel, je suis content ¹. Я счастлив, что умираю на германской земле.

¹ Мой полковник, я доволен (фр.).

К нему пришили карточку с надписью «Свободная Франция», но я сказал: «К черту», — и переписал на карточке: «Третья рота».

Как вспомню этого француза, так опять руки чешутся убивать немцев...»

Можно бы рассказывать еще и еще. Но, пожалуй, па сегодня хватит — больше вам не выдержать. Я мог бы рассказать вам, как действовала первая рота, как действовали два других батальона. Мог бы рассказать, если б вы могли это выдержать, как было у третьего блиндажа, и у четвертого, и еще у четырнадцати. Все они были взяты.

Если это вас интересует, расспросите кого-нибудь, кто там был. Если захотите и я еще не забуду, я с удовольствием расскажу вам когда-нибудь, каково было в этих лесах в последующие десять дней: о контратаках и о германской артиллерии. Это очень, очень интересно, если только запомнить как следует. Вероятно, в этой истории есть даже эпический элемент. Когда-нибудь вы, безусловно, увидите ее на экране.

Надо полагать, она вполне годится для экранизации, потому что я помню, как полковник сказал мне:

— Эрн, у меня то и дело появлялось такое чувство, будто я смотрю фильм категории Б, и я все говорил себе: «Вот сейчас мой выход».

Единственное, что, вероятно, будет нелегко изобразить в фильме, это эсэсовцев — как они с почерневшими от взрыва лицами стоят на коленях, захлебываясь кровью и держась за живот, или из последних сил отползают с дороги, чтобы не попасть под танк, хотя в кино это, возможно, получится еще более реалистично. Но за такую ситуацию несут вину инженеры — когда они проектировали эту взрывоустойчивую дверь, им в голову не пришло, что к ней снаружи подойдет 105-миллиметровая самоходка и станет стрелять в нее в упор.

При составлении спецификации это не было предусмотрено. И порой, когда я наблюдаю такие печальные картины и вижу, как идут насмарку такие тщательные приготовления, мне начинает казаться, что лучше было бы для Германии, если бы она вообще не начинала этой войны.

ГОДЫ СВЕРШЕНИЙ И ПЕРЕЛОМА

Три романа Эрнеста Хемингуэя, которые вошли в этот том, были опубликованы (вместе со многими рассказами и очерками) за два десятилетия: «Прощай, оружие!» в 1929 году, «Иметь и не иметь» — в 1937 году, «За рекой, в тени деревьев» — в 1950 году. За этот долгий срок писатель прошел сложный идейный путь, что сказалось как на содержании его книг, так и на их художественных особенностях.

В романе «Прощай, оружие!» с редкой экспрессивностью и пластичностью запечатлена первая мировая война. Личный военный опыт Хемингуэя (еще юношей он вступил добровольцем в итальянскую армию и был тяжело ранен) в какой-то степени помог ему осознать ошибочность тех наивных представлений о войне 1914—1918 годов как якобы благородной, патриотической, которые будущий писатель первоначально разделял. Понимание Хемингуэем истинного характера войны углубилось в результате его участия в начале двадцатых годов — в качестве корреспондента — в войне греко-турецкой (однажды он прямо сказал, что узнал войну «по-настоящему... когда увидел сражения в Малой Азии»).

О первой мировой войне — ее ходе и последствиях — Хемингуэй писал также в романе «Фиеста» («И восходит солнце») (1926) и в ряде новелл: «На сон грядущий», «Какими вы не будете», «Дом» и других. Но ни в одном другом своем произведении он не воплотил с такой полнотой и с такой художественной силой правды о всемирной войне, унесшей миллионы жизней, как именно в романе «Прощай, оружие!». Наряду с романом «По колу звонит колокол» (1940) эта книга принадлежит к вершинам творчества Хемингуэя и к числу самых значительных произведений мировой литературы XX века.

Если в романе «Фиеста» художник нарисовал образ американца Джейка Барнса, которого первая мировая война уже успела искалечить физически, а одновременно и духовно, превратив его в бесспорного представителя так называемого «потерянного поколения», то в «Прощай, оружие!» воспроизведен сам процесс *рождения* «потерянного» человека. У процесса этого есть две стороны.

Огромное значение имеет прежде всего то обстоятельство, что главный герой романа лейтенант итальянских войск американец Фредерик Генри, опираясь на собственные наблюдения и под влиянием суждений о войне многих фронтовых друзей, начинает видеть не только разрушительный характер войны, но и ее неоправданность, антинародность.

Самый сильный военный эпизод в книге связан с отступлением итальянских войск после их разгрома под Капоретто. Бессмысленная жестокость империалистической войны находит ярчайшее выражение в действиях молодых офицеров, которые, как с ядовитым сарказмом говорит лейтенант Генри, вели допрос отступивших военнослужащих «с неподражаемым бесстрашием и законоблустительским рвением людей, распоряжающихся чужой жизнью, в то время как их собственной ничто не угрожает», и расстреливали, расстреливали, расстреливали...».

О том, что итальянским солдатам, среди которых было много крестьян, война, в которую их втянули, оторвав от земли, была чужда и враждебна, ясно сказал близкий герою книги добрый и думающий священник. Крестьянин, заметил он, «потерпел поражение» с самого начала войны. Но отчетливее всего антивоенный пафос романа воплощен в прямых выступлениях против войны шоферов, с которыми Генри связан как командир отряда санитарных автомобилей. Хемингуэй хотел, чтобы его читатели осознали: не случайная кучка людей отвергает первую мировую войну, а народ в целом. Вот почему он сталкивает Фредерика с двумя группами шоферов, и все они настроены одинаково. Вот почему в уста американца вложено такое замечание: «Они все четверо были механики и ненавидели войну». Вот почему особенно выпукло отношение людей к войне представлено в том месте романа, где эти механики выступают точно античный хор, выражающий общее мнение народа, а не только мысли отдельных индивидуумов. Хемингуэй приводит высказывания этих людей, но всегда даже уточняя, кому принадлежат какие слова.

Шоферы говорят:

« — Мы думаем. Мы читаем. Мы не крестьяне. Мы механики. Но даже крестьяне не такие дураки, чтобы верить в войну. Все ненавидят эту войну.

— Страной правит класс, который глуп и ничего не понимает и не поймет никогда. Вот почему мы воюем.

— Эти люди еще наживаются на войне.

— Многие даже и не наживаются... Они слишком глупы. Они делают это просто так. Из глупости».

Хемингуэй заклеил своей книгой первую мировую войну как преступление господствующих классов против человечности, против народа. Такова одна сторона идейного содержания романа «Прощай, оружие!». Но в этом произведении есть и другая сторона, тоже имеющая немалый смысл. Хотя Фредерик Генри во многом угадывает правду, он не способен присоединиться к тем, кто готов активно и целеустремленно действовать против войны. Лейтенант заключает «сепаратный мир», дезертируя из армии, но его идейная эволюция в конечном счете оказывается довольно ограниченной. Слова Генри: «Я создан не для того, чтобы думать. Я создан для того, чтобы есть» — порождены не только мгновенной вспышкой отчаяния. Он снова и снова выражает желание спрятаться от проблем социальной жизни. И уже в этом смысле он действительно человек «потерянный»...

Термин «потерянное поколение» появился впервые в одном из эпиграфов к ранним изданиям романа «И восходит солнце». Позднее этот эпиграф (со ссылкой на слова американской писательницы Гертруды Стайн) был снят. Но в романе «Прощай, оружие!» «потерянность» главного героя раскрывается с непреложной очевидностью. Было время, когда Фредерик верил в оправданность первой мировой войны, а также в истинность многих высоких понятий, которые ему внушались с детства («священный», «славный», «жертва»). Испытания военных лет заставили его почувствовать, что война, в которой он участвовал, ничего «священного» не содержала. Ушла в прошлое и вера в другие привычные идеалы. Однако иных — непреходящих — общественных принципов герой романа не воспринял.

В результате он оказывается скованным, замороженным идейно. Им не только владеет стремление уйти от беспокойных дум, от важнейших проблем современности, — основой мироощущения хемингуэевского героя становится полная безнадежность, безысходность для человека и человечества («Тебя просто швыряют в жизнь и говорят тебе правила, и в первый же раз, когда тебя застанут врасплох, тебя убьют»).

Естественно, возникает вопрос: является ли эта сторона романа столь же правдивой, соответствующей истине жизни и истории, как и та сторона, о которой шла речь раньше? Ответ может быть только положительным. Ведь нельзя отрицать, что война 1914—1918 годов заставила определенные слои американцев (а

также и людей других наций), разочаровавшихся в буржуазных ценностях, потерять веру в любые благородные человеческие идеалы. Ведь резкое нарастание скепсиса в отношении духовных ценностей, которые еще недавно пользовались в капиталистическом мире широчайшим признанием, далеко не всегда в США и в странах Западной Европы приводило к приятию позиций передовых кругов современного общества, позиций пролетариата, Растерянность, чувство неприкаянности, внутренняя опустошенность, иными словами, «потерянность» — все это после первой мировой войны стало уделом не единиц в буржуазном обществе, а очень и очень многих людей.

Возникновение своего рода «потерянного поколения» — отнюдь не фикция, не плод фантазии беллетристов, а подлинная черта жизни на Западе, в частности в США.

Разумеется, «Прощай, оружие!» — это не трактат о порочности первой мировой войны и о людях, не сумевших до конца понять ее истоки, смысл и следствия, а художественное произведение, притом произведение огромной эстетической ценности. И именно потому, что Хемингуэй сумел вылепить трехмерные образы, создать роман о людях, в реальность которых читатель безоговорочно верит, о людях, которые дышат, движутся, любят, страдают, как живые человеческие существа, антивоенное звучание книги оказывается особенно мощным.

Хемингуэй сопоставил как-то героев своего романа с бессмертными образами из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Он имел на это право. «Прощай, оружие!» — это книга о нежной, верной, преданной и трагической любви Фредерика Генри и англичанки — медицинской сестры Кэтрин Баркли. Превосходно запечатлены писателем этапы нарастания чувства героев — на смену цинизму лейтенанта, поначалу искавшего только легкой интрижки, на смену известной болезненности ощущений женщины, которая недавно потеряла на войне жениха, приходит истинная любовь — светлая и немеркнущая. И эта любовь так прекрасна, под ее влиянием люди становятся настолько лучше, содержательней, богаче душой, что война, — а ведь в конечном счете именно война безжалостно уничтожила со смертью Кэтрин счастье главных героев, — с предельной убедительностью воспринимается во всей своей бесчеловечной и варварской сущности. Мера художественности тех глав произведения, где раскрываются интимнейшие, потаеннейшие сферы внутренней жизни Кэтрин и Фредерика, во многом становится и мерой антивоенного звучания романа.

Эстетическая специфика книги «Прощай, оружие!» определяется как общими особенностями дарования Хемингуэя, так и теми чертами его мастерства, которые были порождены творче-

скими задачами, вставшими перед художником именно в связи с этим романом.

Уже давно замечено, что Хемингуэй отличается удивительной точностью и скрупулезностью — а одновременно и лаконизмом — в показе явлений жизни во всей их конкретной сущности. «Прощай, оружие!» — одно из тех произведений мировой литературы, в которых выверена каждая деталь и которые на первый взгляд могут показаться как бы сжатым, деловитым, безукоризненно правдивым отчетом о фактически происходивших событиях.

Совершенно очевидно, однако, что писателю (хотя он и прошел большую школу репортерской работы) была чужда присущая газетчику (хорошему — тем более) неизбежная зависимость от истинных фактов. Хемингуэй строит свои произведения на основе не только подлинного, но и воображаемого, придуманного, сохраняя при этом верность правде жизни, требованиям реалистического искусства.

Важнейшая черта хемингуэевского реализма — присутствие в произведениях художника лирической стихии, которая прописывает буквально все картины природы, а также описания событий и человеческих переживаний. Этот лиризм существует, как правило, отнюдь не в каких-либо особых лирических отступлениях — больших или малых; писатель избегает и пространных описаний внутреннего состояния героев. Может создаться впечатление, будто единственная его цель — безошибочно и без лишних слов запечатлеть внешние проявления жизни людей. На самом деле, конечно, Хемингуэй — тончайший психолог, а вместе с тем лирик из лириков.

Некоторое представление о сущности творческой манеры писателя дает следующее замечание в одном сравнительно малоизвестном его письме тридцатых годов молодому литератору: «Установите, что вызвало в вас данное чувство, какое действие заставило вас испытать волнение. Затем занесите все это на бумагу так, чтобы было отчетливо видно, — в результате читатель тоже сумеет это увидеть и почувствует то же самое, что почувствовали вы». Художник исходит из убеждения, что нет необходимости специально описывать чувства персонажей или же превращать произведение в рассказ об эмоциональном состоянии самого автора. Нужно только очень точно и зримо запечатлеть те вещи и явления, «которые вызывают испытываемые чувства» (так говорится в книге «Смерть после полудня»). И Хемингуэй ставил себе задачу — «проникнуть в самую суть явлений, понять последовательность фактов и действий, вызывающих те или иные чувства, и так написать о данном явлении, чтобы это оставалось действенным и через год, и через десять лет».

Все это не значит, разумеется, что эмоциональный «подтекст» возникает в романе «Прощай, оружие!» просто в результате бесхитростного воспроизведения писателем «фактов и действий». Художественные средства, применяемые Хемингуэем для того, чтобы заставить читателя поверить в реальность Фредерика, Кэтрин и других героев романа, весьма многообразны. Здесь можно остановиться лишь на отдельных их элементах.

В книге мы находим, например, не только скупые описания важнейших событий в жизни действующих лиц, но и фиксацию совсем случайных и как будто ни к чему не ведущих наблюдений. Кэтрин при смерти, а Фредерик пошел поужинать в кафе. И вот писатель сообщает нам, что «яичницу с ветчиной подали в круглом судочке» и что «она была очень горячая, и первый кусок... пришлось запить пивом, чтобы остудить рот». Эта информация, похоже, никому не нужна... На самом деле, однако, она помогает строить эстетическое целое. У нас невольно возникает ощущение, будто это мы сами подметили все эти незначительные факты из жизни героя, а следовательно, чуть ли не лично присутствовали при его трапезе. Вместе с тем писатель передает нам владевшее тогда Фредериком желание заглушить хоть на миг нестерпимую боль — ведь умирал самый дорогой ему человек. Поэтому-то герой романа и пытается сосредоточить свое внимание на всяких мелочах: на процессе еды, на том, что, войдя в кафе, двое мужчин «не могли найти себе места», и т. д. и т. п.

Немаловажную роль в создании эмоциональной окраски романа играют повторы слов, а также многократные ссылки на одни и те же образы, что позволяет художнику вызывать у читателя устойчивые и многозначительные ассоциации, создавая волнующие лейтмотивы. Так, почти все печальные события в жизни Кэтрин происходят во время дождя, и Хемингуэй снова и снова вводит в эпизоды, где действующим лицом является возлюбленная Генри, слово «дождь». У Кэтрин уже давно родилось ощущение, что она умрет в дождь, и на последних страницах романа, где рассказывается о смерти героини, дождь упоминается много раз («Я... вышел из подъезда больницы и под дождем... направился в кафе», «Под дождем я вернулся в больницу», после смерти Кэтрин Фредерик «пошел к себе в отель под дождем»).

Особенно важно то, что самые страшные сцены войны тоже разворачиваются под аккомпанемент дождя (отступающие после Капоретто войска медленно шагали «под дождем»; когда погиб особенно близкий Фредерику шофер — Аймо, снова «шел дождь»). В результате всего этого гибель Кэтрин и то злодейское, что происходит на войне, оказываются для читателя связанными в один эмоциональный узел. А это заставляет нас еще сильнее почувст-

зовать, что, хотя смерть героини не была вызвана непосредственно событиями войны, Кэтрин, как и столь многие другие персонажи романа,— жертва военного урагана.

В романе «Прощай, оружие!», одна из важнейших тем которого — возникновение «потерянного поколения», многократно повторяются сцены, где косвенным образом запечатлено гнетущее состояние духа «потерянных» американцев, а одновременно и их стремление хранить в тайне — даже от самых близких людей — свои думы и переживания. Классический, можно сказать, эпизод такого характера — тот, в котором на вопрос Кэтрин, о чем он думает, Фредерик отвечает: «О виски», — а на просьбу сказать, «о чем именно?», говорит: «О том, какая славная вещь виски».

Роман «Прощай, оружие!» — это поразительная по богатству инструментовки словесная симфония. И великолепное звучание этого произведения определяется гармоническим сочетанием мотивов, порожденных реальной жизнью.

Надо добавить, что с годами отрицательное отношение Хемингуэя к первой мировой войне углублялось, о чем говорит, в частности, его предисловие к изданию романа «Прощай, оружие!» 1948 года. В этом предисловии война — нет сомнений, что речь идет именно об империалистической войне, — охарактеризована как наглое и грязное преступление. И тех, «кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию», писатель с законной яростью предлагает расстреливать «в первый же день военных действий».

Над романом «Иметь и не иметь» Хемингуэй работал дольше, нежели над каким-либо другим крупным произведением, опубликованным при его жизни. И история создания этой книги была особенно сложной. Еще в первой половине тридцатых годов появилась одна из новелл, которые позднее вошли в роман. Есть данные, что Хемингуэй считал работу над книгой завершенной в начале 1937 года, однако после поездки в Испанию, уже охваченную огнем гражданской войны, снова вернулся к своему произведению, придал ему окончательную форму и наконец опубликовал.

В нынешнем своем виде роман «Иметь и не иметь» не отличается таким прочным композиционным единством, как книги «Прощай, оружие!» или «По ком звонит колокол». Некоторые главы романа (например, о писателе Гордоне, ветеранах войны или владельцах яхт) могут показаться (во всяком случае, на первый взгляд) не связанными достаточно тесным образом с повествованием о главном герое — владельце моторной лодки и контрабан-

дисте Гарри Моргане. Впрочем, в конце концов читатель убеждается, что то широкое полотно жизни в США, которое возникает в этом произведении, не могло бы существовать без эпизодов, относящихся к ветеранам, яхтовладельцам и Гордону. А известные трудности, которые испытывал писатель в работе над романом, отчасти вызваны именно тем, что в середине тридцатых годов Хемингуэй попытался проложить себе дорогу в новые для него сферы американской жизни и к новым идейным позициям.

Основная идея романа частично выражена в его названии — «Иметь и не иметь» (именно частично — ведь писатель не только вскрыл в этой книге наличие в американском обществе противостоящих друг другу социальных слоев, но и сказал средствами искусства о необходимости сплочения низов для совместной защиты своих прав). И примечательно, что даже та остросюжетная новелла приключенческого как будто характера, с которой началась работа писателя над романом (она составляет ныне первую его часть), уже содержит в себе эту тему: «иметь и не иметь». Писатель не просто рассказывает о том, как некий богатый человек, нагло обманув Моргана, бежал, не уплатив ему за многодневное пользование лодкой. Преступление это становится завязкой книги и, по существу, определяет весь дальнейший трагический путь героя. Можно сказать больше — уже в начальных главах произведения возникает и мотив солидарности неимущих, хотя ему придана несколько авантурная топальность (Морган сознательно идет на убийство китайца Синга, чтобы спасти двенадцать обманутых этим негодяем бедняков от верной смерти).

Во второй части романа (в основу ее положен другой ранний рассказ Хемингуэя) «один из трех самых влиятельных людей в Соединенных Штатах» — Гаррисон изображен с заразной ненавистью. Сей состоятельный человек самодоволен, жесток, он — доносчик и уж подавно враг всех тех, для кого такое огромное значение имеет цена хлеба или рыбы. И этому мерзавцу противопоставлен такой же малоимущий человек, как Морган, — капитан Уилли, который, чтобы выручить товарища, смело и с немалым риском для себя отказывается подчиниться приказам Гаррисона.

Дальше оба взаимосвязанных лейтмотива романа — мотив противопоставления неимущих имущим и мотив солидарности низов — звучат все более настойчиво и сильно. Возникает образ Элберта — бедняка, который не умер с голоду вместе со своей семьей только потому, что во время кризиса получил работу в какой-то полуфилантропической государственной организации. Даже то троих его малышей «нечем кормить, когда они приходят из школы», у них «животы подводит от голода». Почти никогда раньше в произведениях Хемингуэя такие персонажи не возни-

кали. И писатель не ограничивается констатацией, что «нигде теперь нет такой работы, чтобы можно было жить не впроголодь». Даже столь чуждый идеям классовой борьбы человек, как Гарри Морган, начинает говорить, «как красный». А это значит, что в бедах голодающих и унижаемых бедняков он видит (и его «уже давно зло берет») следствие эгоистических, бесчеловечных деяний богатых — тех, что, например, «скупают земельные участки», прогоняя бедняков с насиженных мест.

В романе возникают картины жизни, полные кричащих противоречий, самых неожиданных контрастов. Впавший в отчаяние Гарри — он успел потерять руку и лишился моторной лодки, — стремясь любой ценой спасти семью от нужды, идет на все более рискованные дела. Он ставит на карту собственную жизнь и готовится отнять жизнь у других. Идейная слепота Моргана позволила этому субъективно честному человеку уничтожить — без особенно долгих размышлений — группу кубинцев, называвших себя революционерами. А ведь среди них были не только ожесточившиеся и опасные для окружающих люди, — убит и умный, искренний юноша, который всей душой стремился покончить «с американским империализмом... с тиранией военщины».

Итак, герой романа, который вызывал все растущую симпатию у читателя, совершает акт злодейства. А все-таки, рисуя это, автор не погрешил против правды обстоятельств и характера. Нет сомнений, что такой индивидуалист, как Морган, действительно мог исходить из убеждения: «К черту все эти их революции. Я знаю одно: мне нужно прокормить свою семью...»

И, конечно, не менее реалистично показаны последние минуты жизни героя, когда в его предсмертный бред начинают врываться смутные мысли (смутные не только потому, что путается сознание тяжело раненного человека, но и потому, что новые идеи еще не успели вполне овладеть его существом) о бесперспективности индивидуализма, о необходимости объединения бедняков.

Хемингуэй также раскрывает читателю правду о жизни тех самых ветеранов войны, о которых он писал несколько раньше в своем страстном памфлете «Кто убил ветеранов войны во Флориде» (1935). В этом произведении гневно рассказывалось о том, как безработных американцев, когда-то участвовавших в первой мировой войне, согнали в ураганный период на Флоридские острова, для того чтобы строить дороги, и как многие из них по вине правительственных чиновников нашли там смерть.

В романе «Иметь и не иметь» мы не находим рассказа об урагане, унесшем сотни жизней ветеранов войны, но читатель видит этих несчастных, потерявших надежду людей в их реальной сущности. Они пьянствуют, дерутся, они полны чудовищных

предрассудков. Однако среди этих ветеранов войны есть и «красные». Впервые в творчестве Хемингуэя громко звучит голос коммунистов. «Высокий» ветеран, который называет своих товарищей «отпетыми», ибо «единственное наше утешение — алкоголь», а «единственная гордость — уметь все вытерпеть», добавляет вместе с тем: «Но не все мы такие. Кое-кто из нас сумеет и сдачи дать». Речь, конечно, идет о коммунистах, о тех, кто имеет голову на плечах, о тех, кому не противопоставлены «дисциплина и воздержание», — отнюдь не о «пьянчугах».

Несколько особняком развивается в романе тема Гордона — человека морально ничтожного, писателя-приспособленца, готового сочинять даже «левые» романы, поскольку в тридцатых годах на них была мода. Характерно, что верную оценку романов Гордона («все они — дерьмо») Хемингуэй вкладывает в уста все того же коммуниста.

Величайшего значения слова умирающего Моргана: «Все равно человек один не может ни черта», — автор романа сопровождает важным комментарием: «Потребовалось немало времени, чтобы он выговорил это, и потребовалась вся его жизнь, чтобы он понял это». Можно добавить, что и от писателя потребовалось много лет упорных раздумий над всем, что происходит в мире, прежде чем он сумел нарисовать образ человека, в душу которого проникла высокая мысль, что «нельзя теперь, чтобы человек один».

Эта мысль — центр и итог книги. Вот почему роман «Иметь и не иметь» стал крупнейшей вехой на том пути, который вскоре привел Хемингуэя к пьесе «Пятая колонна» (1938) и к роману «По ком звонит колокол». Можно с уверенностью сказать, что Морган сумел наконец выразить то, что он «понял» в конце жизни, лишь после того, как создатель этого образа окунулся в гущу всенародной антифашистской войны в Испании. Названные же только что два более поздних произведения Хемингуэя отразили опыт боев против Франко и его покровителей в самой прямой и непосредственной форме.

О последних словах Моргана мы узнаем в двадцать третьей главе. Но дальше следуют еще три главы. В самой пространной из них о главном герое нет речи, Хемингуэй лишь описывает — одного за другим — людей, которые спят (или не спят) в каютах дорогих яхт в той самой гавани, куда прибыла лодка с едва живым Гарри Морганом. Однако рассказ о флоридских богачах, их любовницах и приживалах — важнейшая часть повествования. Он помогает читателю глубже ощутить гибельность общества, в котором мучительной жизни людей, не имеющих собственности, трагическим судьбам таких, как Гарри Морган, противопоставит расточительство и распутство кучки толстосумов.

В тридцатых годах Хемингуэй писал много раз о том, как деньги богачей калечат и уничтожают тела и души человеческие (вспомним хотя бы один из лучших образцов американской новеллистики нашего столетия — рассказ «Снега Килиманджаро»). Но пигде художник не выразил с такою испепеляющей мощью своего гнева против тех, кто обладает привилегией «иметь», как в главе двадцать четвертой романа «Иметь и не иметь». Перед читателем возникает галерея богатых мерзавцев и воров — людей пустых, продажных и растленных.

Они мыслят «акциями, кипами, тысячами бушелей, названиями держательских компаний, трестов и монополий», они не знают «правственных правил», лишены способности к «раскайанию или жалости». И даже тогда, когда перед умственным взором писателя возникает богатое семейство, которое охарактеризовано как «симпатичное, добропорядочное», оно предельно далек от умиления. Напротив, с неукротимой язвительностью Хемингуэй задает решающий вопрос: «...откуда же взялись те деньги, которые они расходуют с такой пользой и удовольствием, чувствуя себя при этом вполне счастливыми?» В самом вопросе слышится убийственный ответ, заключено отрицание всего мира крупных собственников, ибо нельзя раздобыть много денег праведным путем, ибо именно неумная жадность и непомерные богатства немногих порождают нищету, горе, ужасы существования огромного большинства людей земли.

Роман «За рекой, в тени деревьев» — первое художественное произведение Хемингуэя, в котором идет речь о второй мировой войне.

Вскоре после окончания войны немолодой уже полковник американской армии Ричард Кантуэлл приезжает в любимый им с давних пор уголок Италии — Венецию, чтобы провести там несколько дней. Кантуэлл многое влечет в эти края. Он хочет там поохотиться. В Венеции живет его возлюбленная — юная графиня Рената. Наконец, неподалеку от Венеции находится то хорошо памятное ему место, где он был ранен еще в первую мировую войну.

Полковник серьезно болен, у него никуда не годное сердце.

По сути дела, Кантуэлл смертник. Но врач решает все же дать ему возможность провести последние несколько лет, месяцев, а может быть, и дней так, как ему хочется. Врач не раз повторяет, что у полковника «со здоровьем... все в порядке», хотя ему известно, что этот мужественный человек «набит нитроглицерином».

Во всем этом есть очень много знакомого по ранним книгам Хемингуэя. Перед читателями еще один человек, превосходно сознающий, что ему плохо, а будет еще хуже. Но он воспринимает свою судьбу стойчески, не жалуется, а шутит. Кантуэлл часто говорит о пустяках вместо того, чтобы сказать о том, что его на самом деле тревожит. «Он говорил без умолку, стараясь поскорее прийти в себя», — пишет Хемингуэй о своем герое. В эту печальную «игру» включаются и окружающие.

С большим мастерством написаны сцены охоты, занимающие в романе значительное место. Впечатление лично пережитого нами оставляют посвященные охоте страницы этой книги.

Хемингуэй пишет, например: «Втянув голову в плечи, он широко занес ружье, вскинул ствол, целясь туда, куда летела утка, а потом, не глядя, попал он или нет, плавно поднял ружье, целясь выше и левее того места, куда летела другая утка, и, нажав курок, увидел, как, сложив на лету крылья, она упала среди чучел и осколков льда». Однако сцены охоты в романе существуют не сами по себе. Мы вскоре начинаем понимать, что, пристально подмечая каждую подробность охоты, Хемингуэй запечатлевает то, что творится в душе его героя. А Кантуэлл напряженно впитывает все происходящее вокруг по причинам, очень сходным с теми, которые определили повышенную чувствительность Ника Адамса — героя рассказа «На Биг-Ривер» к деталям его трапезы в лесу. Совершенно ясно, что и Кантуэлл, и Ник потрясены до глубины души чем-то тяжким, мучительным, а охота и еда помогают им в какой-то степени отвлечься от беспокоящих их мыслей и ощущений.

Но только ли грозная болезнь заставляет полковника Кантуэлла отдаваться стрельбе на болоте с необычайной даже для такого заядлого охотника страстью?

На первый взгляд кажется, что все дело действительно в болезни главного персонажа романа. Кантуэлл может умереть в любую минуту (и действительно он вскоре умирает). Не потому ли Кантуэлл и его друзья так много «болтают», что хотят избежать разговоров и мыслей о смерти?

Было бы неверно, конечно, преуменьшать значение мотива приближающейся смерти в романе «За рекой, в тени деревьев». И все же нельзя не видеть, что Хемингуэй волнует не просто общечеловеческая тема старости и смерти. В образе Кантуэлла явственно ощущаются приметы времени. Герой книги не только пожилой человек, страдающий от сознания близости конца. Он несчастен и по причинам, бросающим свет на существенные стороны современной ему жизни США, по причинам, социальный

характер которых несомненен. Героя романа терзает важнейшая проблема современности — проблема войны.

Вначале может создаться впечатление, что в книге «За рекой, в тени деревьев» Хемингуэй лишь повторяет сказанное им о войне давным-давно — в романе «Прощай, оружие!», в новеллах о Нике и т. д., где была осуждена империалистическая война 1914—1918 гг.

В одном из первых эпизодов романа рассказывается о том, как Кантуэлл отправился в Фоссальту, где «он был тяжело ранен тридцать лет назад» и где, узнаем мы дальше, пострадала его «правая коленная чашечка» (любопытно, что сам Хемингуэй был ранен там же, тогда же и так же, как его герой). Полковника влекут в эти места не сентиментальные причины. Он хочет осуществить (и в самом деле осуществляет) символический акт, исполненный для него большого значения. Кантуэлл закапывает в землю на том месте, где его ранило, банкнот, равный сумме, выплаченной ему за медаль, которую он получил после ранения.

Иными словами, он отказывается от денег за медаль, ибо война, в которой он участвовал «мальчишкой», для него ненавистна так же, как и для Ника Адамса и Фредерика Генри. Каждый из последних двух героев заключил, по характеристике писателя, сепаратный мир. Надо полагать, что в молодости Кантуэлл не был на это способен, но отрицание им первой мировой войны тридцать лет спустя несомненно.

Писатель показывает, что полковник склонен теперь рассматривать ту войну в целом как грязное и страшное дело. Нестерпимая и неоправданная жестокость первой мировой войны ясно раскрывается, к примеру, в беседе Кантуэлла с лодочником-итальянцем. На вопрос о том, когда был убит его брат, лодочник отвечает: «В восемнадцатом. Он был патриот... Пошел добровольцем, хотя его год еще не призвали. Мы к нему и привыкнуть толком не успели, больно быстро он от нас ушел». Полковник узнает, что из шести братьев в семье лодочника остался жив только один он.

Порою полковник вообще весьма отрицательно отзывался о своей профессии. Когда Рената говорит о военной науке: «Какая страшная наука, если только это вообще наука... Терпеть не могу военные памятники при всем моем уважении к погибшим», — Кантуэлл отвечает ей: «Да я и сам их не люблю. Как и дела, во славу которых их воздвигали».

Каково же, однако, отношение Кантуэлла к конкретной войне, которая только что завершилась, к войне, в которой он принимал самое активное участие?

Совершенно очевидно, что полковника не радует многое из того, что случилось в 40-х годах, и в частности в первой половине этого десятилетия. Он понимает, например, что для некоторых людей вторая мировая война была средством обогащения. Вот почему «в память о войне, а также из настоящей, хорошей ненависти ко всем, кто на ней наживается», Кантуэлл и его друзья основали шуточный «военный, аристократический и духовный Орден», которому издевательски присвоили имя «известного миланского спекулянта-миллиардера, уклонявшегося от уплаты налогов».

Героя книги волнует то, что и после второй мировой войны «толстозадый» генерал Франко остался у власти в Испании. Он выражает надежду, что Франко, подобно Муссолини, еще будет повешен «вниз головой возле заправочной станции». Полковника бесит, что и в самой Италии с фашизмом еще далеко не покончено. Людей с «мордой фашиста» он видит повсюду и относится к ним с пескрываемой враждебностью.

Нет сомнений, что полковнику (как и автору) не по душе и заправилы послевоенной Америки. Президента Трумэна Кантуэлл характеризует с явным презрением. Имея в виду именно его, он говорит: «...я никогда в жизни не носил галстука бабочкой и никогда не был прогоревшим галантерейщиком. Нет у меня данных, чтобы стать президентом». А дальше выражено резко отрицательное отношение к правящим кругам США в целом — этим, по определению Хемингуэя, «подонкам». Полковник характеризует «верхи» Америки весьма недвусмысленно: это, говорит он, «муть, вроде той, что остается на дне пивной кружки, куда проститутки накидали окурков. А помещение еще не проветрено, и на разбитом рояле бренчит тапер-любитель».

В уста Кантуэлла вложено также немало довольно простран-ных рассуждений о разных американских военачальниках периода второй мировой войны. Называя известных генералов, он отзывается о них крайне язвительно. Мы читаем, например, что генерал Паттон, вероятно, ни разу в жизни не сказал правды.

Вместе с тем полковник очень тепло отзывается о русских: «...лично мне они очень нравятся, я не знаю народа благороднее, народа, который больше похож на нас». (Впрочем, он тут же замечает: «Говорят, это наш будущий враг. Так что мне, как солдату, может, придется с ними воевать»).

Автор романа «За рекой, в тени деревьев» хорошо знал, конечно, что влиятельные элементы в США активно готовятся к войне против Советского Союза. Он понимал и то, что американская военщина играет в этом весьма заметную роль.

Знаменательно, что Хемингуэй подчеркивает при этом экономическую подоплеку войны: военные конфликты вызываются, утверждает он, прямой конкуренцией в экономической области.

В полковнике Кантуэлле есть и что-то от тех ранних героев Хемингуэя, которых терзало ощущение «потерянности». Недаром, читая роман «За рекой, в тени деревьев», находишься под впечатлением, что перед тобой лейтенант Гепри из романа «Прощай, оружие!», только дослужившийся до полковника и постаревший.

В этот том включены также некоторые из репортажей, которые Хемингуэй присылал во время второй мировой войны в американские журналы.

Непременная особенность этих репортажей — несомненная правдивость всего того, что написал художник, выступая в роли военного корреспондента. Хемингуэй честно воспроизводит детали виденного во время операций, свидетелем, а то и участником которых он был. Воспроизводит не просто верно, но и с не изменяющим ему даже в самые страшные дни и часы смертельных боев чувством юмора.

Годы жизни Хемингуэя, когда были созданы произведения, опубликованные в этом томе, были годами крупных творческих достижений писателя и существеннейших сдвигов в его взглядах на мир, на человека, на общество, на многие решающие проблемы социального бытия.

М. Мендельсон

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

Р о м а н.

Перевод Е. Калашниковой

Предисловие автора	7
Книга первая	11
Книга вторая	71
Книга третья	132
Книга четвертая	188
Книга пятая	223

ИМЕТЬ И НЕ ИМЕТЬ

Р о м а н.

Перевод Е. Калашниковой

Часть первая. Гарри Морган (Весна)	265
Часть вторая. Гарри Морган (Осень)	304
Часть третья. Гарри Морган (Зима)	317

ЗА РЕКОЙ, В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ

Р о м а н.

Перевод Е. Голышевой и Б. Изакова

ОЧЕРКИ

Рейс к победе. <i>Перевод М. Лорие</i>	617
Лондон воюет с роботами. <i>Перевод М. Лорие</i>	631
Битва за Париж. <i>Перевод М. Лорие</i>	638
Как мы пришли в Париж. <i>Перевод М. Лорие</i>	647
Солдаты и генерал. <i>Перевод Т. Тихменевой</i>	656
Война на линии Зигфрида. <i>Перевод М. Лорие</i>	664
<i>М. Мендельсон. Годы свершений и перелома</i>	672

Хемингуэй Э.

Х 37 Собрание сочинений: В 4-х т.— М.: Худож. лит., 1981.—.

Т. 2. Прощай, оружие!; Иметь и не иметь; За рекой, в тени деревьев; Очерки. Пер. с англ. Послесл. М. Мендельсона. 1981. 687 с.

Во второй том настоящего Собрания сочинений крупнейшего американского писателя Э. Хемингуэя (1899—1961) включены романы «Прощай, оружие!», «Иметь и не иметь», «За рекой, в тени деревьев» и очерки о второй мировой войне.

70304-371

Х 028(01)-81 подп. 4703000000

И(Амер)

Эрнест Хемингуэй

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том 2

Редактор Э. Шахова

Художественный редактор И. Сальникова

Технический редактор Л. Платонова

Корректоры

Т. Сидорова и Н. Усольцева

ИБ № 2045

Сдано в набор 26.09.80. Подписано к печати 11.08.81. Формат 84×108^{1/32}. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 36,12 усл. печ. л. 36,12 усл. кр.-отт. 38,250 уч.-изд. л. Тираж 200 000 экз. (1-ый завод 1—100 000 экз.). Изд. № У1-253. Зак. № 1025. Цена 4 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Минское производственное полиграфическое объединение им. Я. Коласа, 220005, Минск, Красная, 23,